This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

S12V 4353.3.915

HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

обн-ф 117

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

О ПРОИЗВЕДЕНІЯХЪ

М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ,

написаннымъ Н. ДЕНИСЮКЪ.

Выпускъ пятый.

(1889—1899 гг.)

Въ пятый выпускъ вошли статьи:

А. Н. Пыпина, К. К. Арсеньева, Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, А. И. Введенскаго, В. Чуйко, К. Ѳ. Головина, Н. А. Каблукова, Евг. Соловьева, Р. И. Сементковскаго, С. Трубачева и др.; статьи изъ „Вѣстника Европы", „Русскихъ Вѣдомостей", „Русской Мысли" „Наблюдателя", „Историческаго Вѣстника", „Русскаго Богатства", „Жизни" и т. д.

357 бл. р. № 2103

Цѣна 1 р.

МОСКВА.
ИЗДАНІЕ А. С. ПАНАФИДИНОЙ.
Покровка, Лялинъ переулокъ, собств. домъ.
1905.

56

Slav 4353.5.975(5)

ПОСТАВЩ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ... Т-во СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ
МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, ... ПАМОНОВСКІЙ ПЕР., СОБ. Д.

ОГЛАВЛЕНІЕ

пятаго выпуска.

Стр.

Журнальная дѣятельность М. Е. Салтыкова. **А. Пыпинъ.** *(Вѣстникъ Европы, 1889 г., №№ 10 и 11)* 1

Щедринъ. Отношеніе къ литературѣ. **Н. Михайловскій.** *(Русскія Вѣдомости, 1889 г.)* 92

Щедринъ. Женскій вопросъ. **Н. Михайловскій.** *(Русск. Вѣдомости, 1889 г.)* . 107

Щедринъ. Умѣренность и аккуратность. **Н. Михайловскій.** *(Русскія Вѣдомости, 1889 г.)* 124

Беллетристы - публицисты. М. Е. Салтыковъ - Щедринъ. **А. М. Скабичевскій.** *(Исторія новѣйшей русской литературы)* 140

Сказки Щедрина. (Беллетристы-публицисты). **А. М. Скабичевскій.** *(Исторія новѣйшей русской литературы)* 157

Сочиненія М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина). *(Русская Мысль, 1889 г., № 7).* 162

„Забытыя слова". *(Русская Мысль, 1889 г., № 7)* 166

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ. **К. Арсеньевъ.** *(Вѣстникъ Европы, 1889 г., № 6)* 175

Идеализмъ Салтыкова. **А. Пыпинъ.** *(Вѣстникъ Европы, 1889 г., № 6)* . . 190

М. Е. Салтыковъ. (Опытъ литературной характеристики.) **В. Чуйко.** *(Наблюдатель, 1889 г., № 6)* 201

Литературная дѣятельность Щедрина. **С. Трубачевъ.** *(Историческій Вѣстникъ, 1889 г., № 7)* 230

Брусинъ. **А. И. Введенскій** 245

Писатель-пессимистъ. („Запутанное дѣло", „Исторія одного города", „Губернскіе очерки", „Помпадуры и помпадурши", „Господа Ташкентцы", „Дневникъ провинціала", „Убѣжище Монрепо", „Отецъ и сынъ", „Господа Головлевы", „Пошехонская старина", „Пошехонскіе разсказы", „Мелочи жизни", „Письма къ тетенькѣ", „Пестрыя письма", „Сказки"). **К. Ѳ. Головинъ (Орловскій).** *(Русскій романъ и русское общество)* 251

Экономическіе и юридическіе мотивы произведеній М. Е. Салтыкова. **Н. Каблуковъ.** *(Русское Богатство, 1892 г., № 10)* 278

Русскій мужикъ въ сатирѣ Щедрина. **Евг. Соловьевъ.** *(Жизнь, 1899 г., томъ III)* 306

Трагическое въ сатирѣ Щедрина. **Евг. Соловьевъ.** *(Жизнь, 1899 г., томъ III)* 328

Стр.

Холопы и холопство въ сатирѣ Щедрина. **Е. Соловьевъ.** *(Жизнь, 1899 г., № 4)* 335

Значительный ли писатель Салтыковъ? **Р. И. Сементковскій.** *(Литературное приложеніе къ „Нивѣ“, 1899 г., № 5)* 364

Памяти Салтыкова. **Н. Михайловскій.** *(Русское Богатство, 1899 г., № 6)*. 373

ОГЛАВЛЕНІЕ

примѣчаній о журналахъ и авторахъ, статьи которыхъ помѣщены въ пятомъ выпускѣ.

Стр.

А. Н. Пыпинъ 1

К. Ѳ. Головинъ (Орловскій) 251

Н. А. Каблуковъ 278

Е. Соловьевъ 306

Р. И. Сементковскій 364

ОГЛАВЛЕНІЕ

статей пятаго выпуска въ тематическомъ порядкѣ.

Журнальныя статьи Салтыкова:

О печати 11

Общественные вопросы 19

О русской литературѣ 28

О „Русскомъ Вѣстникѣ“ 35

Русскій народъ и исторія 43

Объ искусствѣ 49

О романѣ А. Толстого—„Князь Серебряный“ 66

О поэзіи 72

О Москвѣ и славянофилахъ 79

Заключеніе 87

Статьи А. Н. Пыпина 1

Письма къ тетенькѣ. Статьи:

Н. Михайловскаго 92, 101, 111

К. Ѳ. Головина 274

Сказки. Статьи:

Н. Михайловскаго 93, 104, 128, 382

А. М. Скабичевскаго 155, 157

К. Ѳ. Головина 275

Н. Каблукова 293

Е. Соловьева 344, 354

Стр.

Благонамѣренныя рѣчи. Статьи:
Н. Михайловскаго 95, 109, 112, 135, 385
К. Ѳ. Головина 270
Н. Каблукова 285

Похороны. Статьи:
Н. Михайловскаго 94, 101, 104
А. М. Скабичевскаго 151

Круглый годъ. Статьи:
Н. Михайловскаго 96, 100, 110

За рубежомъ. Статьи:
Н. Михайловскаго 99, 137, 138

Пестрыя письма. Статьи:
Н. Михайловскаго 102
К. Ѳ. Головина 274

Мелочи жизни. Статьи:
Н. Михайловскаго 105, 123, 124, 138
А. М. Скабичевскаго 155
К. Арсеньева 175
С. Трубачева 242
К. Ѳ. Головина 274
Н. Каблукова 283

Сонъ въ лѣтнюю ночь. Статьи:
Н. Михайловскаго 107

Ташкентцы. Статьи:
Н. Михайловскаго 109, 137
А. М. Скабичевскаго 146
С. Трубачева 234
К. Ѳ. Головина 269
Н. Каблукова 298

Письма о провинціи. Статьи:
Н. Михайловскаго 119, 134

Недоконченныя бесѣды. Статьи:
Н. Михайловскаго 122

Дворянская хандра. Статьи:
Н. Михайловскаго 123
А. М. Скабичевскаго 151

Имярекъ. Статьи:
Н. Михайловскаго 127, 135
Е. Соловьева 331, 363

Чудиновъ. Статьи:
Н. Михайловскаго 136

Запутанное дѣло. Статьи:
Н. Михайловскаго 129
А. Пыпина 199
К. Ѳ. Головина 251

Стр.

Въ средѣ умѣренности и аккуратности. Статьи:
Н. Михайловскаго 130, 133
А. М. Скабичевскаго 144
Н. Каблукова 294

Дневникъ провинціала. Статьи:
Н. Михайловскаго 131
А. М. Скабичевскаго 147
К. Ѳ. Головина 269

Новый Нарциссъ. Статьи:
Н. Михайловскаго 134
А. М. Скабичевскаго 142

Пошехонскіе разсказы. Статьи:
Н. Михайловскаго 136
С. Трубачева 242
К. Ѳ. Головина 274

Скрежетъ зубовный. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 142

Исторія одного города. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 143, 144
А. Пыпина 197
С. Трубачева 235
К. Ѳ. Головина 253
Н. Каблукова 291
Е. Соловьева 323

Помпадуры и помпадурши. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 145
С. Трубачева 235
К. Ѳ. Головина 266
Н. Каблукова 298

Убѣжище Монрепо. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 148
К. Ѳ. Головина 273
Н. Каблукова 288

Господа Головлевы. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 148
С. Трубачева 243
К. Ѳ. Головина 271
Е. Соловьева 348

Больное мѣсто. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 153
Е. Соловьева 329

Пошехонская старина. Статьи:
А. М. Скабичевскаго 155
„Русской Мысли“ 163, 171, 174
К. Арсеньева 177
С. Трубачева 239

Стр.

К. Ѳ. Головина 272, 275
Н. Каблукова 283

Губернскіе очерки. Статьи:
„Русской Мысли“ 162
К. Ѳ. Головина 252
Н. Каблукова 284
Е. Соловьева 318, 337, 343

Забытыя слова. Статьи:
„Русской Мысли“. 166
С. Трубачева 231

Невинные разсказы. Статьи:
С. Трубачева 233

Сатиры въ прозѣ. Статьи:
С. Трубачева 233
Е. Соловьева 324

Брусинъ. Статьи:
А. И. Введенскаго 245

Признаки времени. Статьи:
Н. Каблукова 293

Журнальная дѣятельность М. Е. Салтыкова [1]).

„Современникъ“, 1863—1864 г.

I.

*) Салтыковъ былъ такою крупною и оригинальною силою нашей литературы въ теченіе четырехъ десятилѣтій, что ему, безъ сомнѣнія, посвящено будетъ не мало изученій, и литературныхъ и историческихъ. Это писатель художественный и публицистъ въ одно и то же время. При жизни онъ развѣ только однажды встрѣтилъ подробную и цѣльную оцѣнку своихъ произведеній, которая отдавала справедли-

---

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1889 г., кн. 10 и 11.

*) 26 ноября 1904 г. умеръ одинъ изъ самыхъ видныхъ сотрудниковъ „Вѣстника Европы“ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, крупный русскій ученый, журналистъ и переводчикъ Александръ Николаевичъ Пыпинъ. По окончаніи петерб. университета Александръ Николаевичъ занялъ каѳедру, но вскорѣ долженъ былъ ее оставить (1861 г.), вслѣдствіе особенно неблагопріятныхъ условій, въ которыхъ находилась въ нашихъ университетахъ наука и научная пропаганда. Журнальную дѣятельность Пыпинъ началъ тоже чуть ли не со школьной скамьи, въ „Отечественныхъ Запискахъ“, въ 50-хъ годахъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ Пыпинъ былъ избранъ въ академію, но утвержденіе его встрѣтило препятствіе. Послѣ закрытія „Современника“, въ 1866 г., гдѣ А. Н. былъ сотрудникомъ, онъ переходитъ въ „Вѣст. Европы“ и работаетъ здѣсь до самой своей смерти. За этотъ сорокалѣтній періодъ почти ни одна книжка журнала не выходила безъ статей Пыпина, и теперь, когда это имя больше не встрѣчается на страницахъ почтеннаго журнала, читатель чувствуетъ, что ему недостаетъ многаго. Въ области исторіи русской литературы Пыпинъ сдѣлалъ очень много. Здѣсь мы приводимъ его статью о Щедринѣ, въ которой покойный указываетъ на огромныя достоинства Щедрина, какъ журналиста. Изъ напечатанной здѣсь статьи мы видимъ, что Щедринъ не исчерпывается своими художественными произведеніями; что въ его чисто-публицистическихъ статьяхъ заключены оригинальныя мысли, изложенныя съ тѣмъ талантомъ, логическою стройностью, блескомъ стиля и остроуміемъ, на которые былъ способенъ Щедринъ.

Прим. Н. Денисюка.

вость всему объему и значенію его громаднаго труда, съ обѣихъ сторонъ его содержанія. Его произведенія, въ большинствѣ, были такъ тѣсно связаны съ современностью, что въ нихъ читатель искалъ, прежде всего, его отзывовъ на „злобу дня“ и слишкомъ часто не оцѣнивалъ высокой художественности его многихъ изображеній; съ другой стороны, такъ-называемая художественная критика не разъ упрекала его въ излишествахъ его сатиры, въ недостаткѣ вниманія къ художественному исполненію, въ преувеличеніи, даже карикатурѣ и т. д. Правдивую оцѣнку Салтыкова дастъ, конечно, историческая критика: она укажетъ какъ свойства дарованія писателя, такъ и тѣ внѣшнія условія, которыя направляли его дѣятельность и отъ которыхъ въ большой мѣрѣ именно зависѣли форма и тонъ его произведеній. Современникамъ еще слишкомъ близка та дѣйствительность, которая доставляла матеріалъ для его творчества, которая возбуждала его чувство, наполняла его душу негодованіемъ и горечью; современникамъ трудно, а иногда и невозможно бываетъ отдать себѣ полный отчетъ въ истинномъ характерѣ этой дѣйствительности, въ томъ впечатлѣніи, какое оказывала она на чуткую, нервную натуру писателя,—и вмѣстѣ трудно было бы со всею полнотой изобразить тѣ обстоятельства, ту среду, въ которыхъ совершалась вся эта дѣятельность; а безъ этого невозможно вполнѣ оцѣнить писателя, который весь поглощенъ былъ тревожными вопросами жизни и волновался ея возмутительными неправдами.

При жизни Салтыковъ, какъ всякій писатель, затрогивающій чувствительныя и больныя струны времени, возбуждалъ и самыя горячія сочувствія—въ тѣхъ, кто находилъ у него высказанными свои задушевныя мысли, и настоящую ненависть—въ тѣхъ, для кого онъ являлся суровымъ обличителемъ; но не много было писателей, которые возбуждали бы въ обществѣ эти противоположныя чувства въ такой степени. Это указываетъ опять, какъ сильна была въ Салтыковѣ эта обличающая и осуждающая сторона его произведеній, какъ-будто бравшая верхъ надъ чисто-поэтическими, художественными замыслами. Намъ кажется, что сужденія о Салтыковѣ будутъ ошибочны, если критика будетъ относиться къ нему только съ чисто-эстетическими требованіями, потому что очень часто онъ самъ приступалъ къ своему труду не какъ художникъ, а именно какъ публицистъ.

Даже въ тѣхъ произведеніяхъ, гдѣ видятъ особенную высоту художественнаго исполненія, Салтыковъ вовсе не былъ тѣмъ традиціоннымъ художникомъ, который „поетъ какъ птица“; даже здѣсь у него бываетъ „намѣреніе“ или „тенденція“, то-есть совершенно опредѣленный, почти прямо публицистическій взглядъ на изображаемыя явленія жизни. Онъ не подходитъ подъ обычныя—уцѣлѣвшія отъ временъ романтизма—опредѣленія художественнаго творчества во множествѣ тѣхъ случаевъ, гдѣ онъ рисуетъ не столько живыя, реальныя лица, сколько общія настроенія, ходячія въ обществѣ понятія, словомъ, изображаетъ цѣлое состояніе общественныхъ отношеній. Этихъ, такъ-сказать, теоретическихъ картинъ разсѣяно такъ много въ его произведеніяхъ, что, очевидно, ихъ тема составляла для него предметъ самаго глубокаго интереса. Этотъ интересъ былъ именно публицистическій. Для стариннаго художества это былъ, собственно говоря, сюжетъ невозможный; поэтъ и художникъ говоритъ и дѣйствуетъ образами, а здѣсь ихъ иногда вовсе не было: передъ читателемъ, напротивъ, проходила вереница общихъ положеній, казуистическихъ аллегорій, развиваемыхъ авторомъ со всѣхъ сторонъ въ разнообразныхъ комбинаціяхъ; интересъ разсужденія заключался именно въ томъ, что здѣсь разбиралась путаница ходячихъ мнѣній, которыя нерѣдко бывали логическою нелѣпостью, безсмысленнымъ увлеченіемъ, остаткомъ стараго злобнаго крѣпостничества и обскурантизма, и т. д., и задача, которую ставилъ себѣ авторъ, была именно въ томъ, чтобы раскрыть эту логическую нелѣпость, обнаружить непривлекательную или прямо отвратительную подкладку и заднюю мысль, прятавшуюся за фразами объ общественномъ благѣ или даже о спасеніи отечества. Мы не сомнѣваемся, что позднѣе, когда пройдетъ современная „злоба дня“ и для нея самой начнется исторія, будетъ глубже и справедливѣе оцѣненъ этотъ господствующій нервъ литературной дѣятельности Салтыкова. Онъ никогда не былъ спокоенъ; его жизнь пришлась въ такую пору нашей исторіи, когда, послѣ многихъ десятилѣтій застоя, гоненія на мысль, общественной безурядицы и крѣпостного насилія, покрываемыхъ молчаніемъ или рабскими панегириками, наступало, повидимому, время освобожденія—по крайней мѣрѣ, отъ самыхъ крупныхъ золъ только-что пережитаго порядка вещей; но уже вскорѣ стало оказываться, что надежды были прежде-

временны, что старые нравы, воспитывавшіеся безпрепятственно цѣлыми вѣками, уступаютъ не такъ легко—уже вскорѣ эти нравы успѣли взять верхъ надъ слабыми начатками новаго порядка вещей и сумѣли, не отвергая новыхъ словъ, вошедшихъ въ употребленіе, подложить подъ нихъ старое содержаніе. Салтыковъ былъ глубоко и страстно преданъ мысли и надеждѣ общественнаго преобразованія; какъ авторъ *Губернскихъ очерковъ*, которые сами были своеобразнымъ, небывалымъ изображеніемъ обыденной русской жизни, еще нетронутой никакими новыми идеями, онъ не мало участвовалъ въ созданіи новаго настроенія, охватывавшаго наше общество во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ онъ чутко слѣдилъ за всѣми проявленіями этой внутренней, сначала глухой, потомъ открытой борьбы новыхъ начинаній со старыми инстинктами въѣвшагося въ нравы крѣпостничества и обскурантизма. Нерѣдко съ удивительною проницательностью онъ раскрывалъ эти старые инстинкты въ подкладкѣ либерализма, становившагося модой; угадывалъ фальшивый тонъ мнимыхъ ревнителей общественнаго блага; указывалъ пустоту тѣхъ фразъ, какими наполнялось тогда общество и литература. Его проницательность рѣдко ошибалась: чѣмъ дальше шло время, тѣмъ шире и грандіознѣе вырастала реакція, зачатки которой онъ услѣдилъ при самомъ первомъ ихъ проявленіи; и чѣмъ сильнѣе самъ онъ проникнутъ былъ желаніемъ видѣть водвореніе общественной правды или даже просто здраваго смысла и элементарной справедливости, тѣмъ больше его настроеніе становилось желчнымъ и раздражительнымъ.

Эта мысль объ общественномъ благѣ, эта скорбь и негодованіе, какими его наполняло зрѣлище всякихъ нарушеній самаго основного общественнаго интереса, составляютъ существенную черту, проходящую чрезъ все содержаніе его произведеній отъ начала и до конца. Трудно сказать, что́ больше и чаще возбуждало его писательскую дѣятельность—потребность художественнаго воспроизведенія образовъ, создаваемыхъ богатою фантазіей, или чисто-публицистическая потребность отозваться на волненія своего времени и карать тѣ безсмысленныя явленія, которыя возмущали въ немъ гражданское чувство. Быть-можетъ, скорѣе послѣднее; но необычайный талантъ дѣлалъ то, что публицистическая мысль подъ его перомъ сама-собою облекалась въ плоть и кровь,

и онъ заставлялъ ее высказываться въ живыхъ лицахъ и реальныхъ положеніяхъ. Не разъ онъ начинаетъ рѣчь съ общихъ вопросовъ, и тотчасъ, въ видѣ комментарія, въ его воображеніи создается эпизодъ изъ дѣйствительной жизни съ тонко-подмѣченными чертами характеровъ, нравовъ и понятій. Борьба, происходившая въ обществѣ и имъ наблюдаемая, захватывала, наконецъ, самые широкіе интересы, совершалась въ сферахъ, очень трудно доступныхъ для общественнаго мнѣнія и литературы, и это опять съ самаго начала побуждало Салтыкова прибѣгать къ тому языку иносказаній, намековъ, туманныхъ разсужденій, который онъ самъ характеризовалъ, какъ „езоповскій“ и „рабій“ языкъ, и который, къ сожалѣнію, въ самомъ дѣлѣ оставался единственнымъ возможнымъ. Нерѣдко бывало и то, что иносказательная, фантастическая картина сама вызывала на развитіе, аллегорія переходила почти въ сказку, но читатель, привыкшій къ своему автору, чувствовалъ, что это не была, однако, только произвольная и безплодная игра воображенія; что въ основѣ фантастической сказки или карикатурнаго преувеличенія лежала совершенно серіозная мысль.

Въ тѣхъ сочиненіяхъ Салтыкова, какія собиралъ онъ въ изданныхъ имъ книжкахъ и которыя объединяются въ послѣднемъ начатомъ имъ собраніи, недостаетъ цѣлаго ряда его произведеній, которыя не были внесены въ его сборники, очевидно, потому, что въ нихъ преобладаетъ именно публицистическій интересъ, слишкомъ привязанный къ извѣстной минутѣ и къ даннымъ литературнымъ спорамъ и столкновеніямъ. Салтыковъ былъ правъ, когда не вносилъ въ свои сборники этого рода произведеній: они имѣли слишкомъ тѣсный журнальный характеръ, понятны были бы вполнѣ только въ свое время, въ обстановкѣ данныхъ литературныхъ отношеній. Точно такъ же въ извѣстныя собранія сочиненій не вошло множество небольшихъ статей критическаго содержанія, чисто-публицистическихъ трактатовъ, полемическихъ замѣтокъ и т. п., которыя еще болѣе носили этотъ временный журнальный характеръ. Но если изучать Салтыкова исторически, то, безъ сомнѣнія, необходимо собрать и разсмотрѣть и эти журнальные труды, тѣмъ болѣе, что они представятъ особенное удобство изученія его непосредственнаго, такъ-сказать, обыденнаго настроенія. Дѣятельность художественная, какъ бы тѣсно ни примыкала она къ

жизни, всегда носитъ въ себѣ извѣстную условность, нераздѣльную съ искусствомъ. Въ простой журнальной бесѣдѣ писатель остается свободнѣе; не стѣсняемый формой, онъ высказываетъ прямо свои взгляды, вступаетъ въ полемику, вдается въ теоретическія толкованія, имѣетъ возможность говорить и о крупныхъ и о мелкихъ явленіяхъ данной минуты, и, въ концѣ-концовъ, его общее содержаніе выясняется въ непринужденной бесѣдѣ чертами личныхъ взглядовъ, какихъ мы не встрѣтимъ въ его художественныхъ произведеніяхъ.

Послѣ рѣзко прерваннаго начала его писательства, въ концѣ 40-хъ годовъ, Салтыковъ возвратился къ литературной дѣятельности въ новое царствованіе, когда вернулся изъ Вятки. Это былъ конецъ Крымской войны и начало нашего возрожденія. *Губернскіе очерки* явились въ только-что основанномъ „Русскомъ Вѣстникѣ". Теперь уже немногіе помнятъ по собственному чтенію, чѣмъ начиналъ тогда этотъ журналъ. „Русскій Вѣстникъ" съ перваго раза пріобрѣлъ большую популярность: журналъ былъ однимъ изъ самыхъ яркихъ выраженій того оживленія, какое проявилось въ обществѣ подъ вліяніемъ всѣхъ условій тогдашней общественной жизни. Конецъ тяжелаго періода нашей исторіи, который лежалъ гнетомъ на умственныхъ и общественныхъ интересахъ; окончаніе войны, которая долго держала общество въ напряженіи, и среди славныхъ подробностей геройской защиты Севастополя оставляла, однако, неотразимое и всѣми чувствуемое убѣжденіе не только въ нашей военной отсталости, но и въ ложномъ направленіи всего нашего внутренняго быта; начало новаго царствованія, когда вступалъ на престолъ питомецъ Жуковскаго, отъ котораго ждали новой эпохи для цѣлой государственной и народной жизни, и когда оживленный говоръ общественнаго мнѣнія предсказывалъ, и не безъ основанія, цѣлый рядъ крупныхъ реформъ, на первомъ планѣ которыхъ стояла давно жданная образованнѣйшими людьми и обѣщавшая самые широкіе результаты крестьянская реформа; въ обществѣ—чувство облегченія, самыя свѣтлыя надежды на будущее, поспѣшное желаніе принять участіе въ предстоящемъ преобразованіи общественнаго быта; наконецъ, нѣкоторыя правительственныя мѣры, убѣждавшія, что въ самихъ высшихъ сферахъ дѣйствительно получаютъ мѣсто новыя мысли, неизвѣстныя недав-

нему прошлому—таковы были условія, опредѣлявшія литературное движеніе той эпохи, и „Русскій Вѣстникъ“, какъ разъ основанный въ это время, явился однимъ изъ главныхъ органовъ этого общественнаго возбужденія. Въ новомъ журналѣ собирались отборныя силы русской литературы, представители поколѣнія сороковыхъ годовъ; въ этомъ кругу уже давно сформировались тѣ просвѣщенные общественные взгляды, то убѣжденіе въ необходимости поднять русское просвѣщеніе и общественную самодѣятельность, которымъ не было мѣста въ прежней литературѣ и которые теперь могли почти безпрепятственно высказываться, оставаясь на законной почвѣ, какъ бы слѣдуя указаніямъ самой власти. Въ половинѣ 1856 года, перваго года изданія „Русскаго Вѣстника“, появилось въ журналѣ начало *Губернскихъ очерковъ*. Эта замѣчательная картина административныхъ и общественныхъ нравовъ, созданныхъ предыдущею эпохой, являлась драгоцѣннымъ комментаріемъ къ тѣмъ призывамъ реформы, какіе наполняли тогда литературу. *Губернскіе очерки* являлись очень кстати, въ частности, и для самого журнала: они произвели сильное впечатлѣніе и, съ своей стороны, безъ сомнѣнія, не мало содѣйствовали успѣху „Р. Вѣстника“. Они продолжались на первую половину 1857 года и въ томъ же году выдержали отдѣльною книгою два изданія. Имя Салтыкова было составлено. Въ литературныхъ кругахъ очень помнили ту оригинальную повѣсть, которая свидѣтельствовала о большомъ начинающемъ талантѣ и была причиною ссылки молодого писателя; его привѣтствовали, какъ стараго знакомаго; лучшіе журналы тѣхъ годовъ предлагали ему свои страницы, и въ томъ же 1857 году явилась его первая повѣсть въ „Современникѣ“ *(Женихъ, картина провинціальныхъ нравовъ)*; въ тѣ же годы его разсказы появлялись въ „Библіотекѣ для Чтенія“, „Атенеѣ“, „Московскомъ Вѣстникѣ“. Съ 1859 года его разсказы помѣщались почти исключительно въ „Современникѣ“—до 1862 года; послѣ перваго закрытія этого журнала, въ половинѣ того года, Салтыковъ отдалъ нѣсколько разсказовъ въ журналъ „Время“, издававшійся Достоевскими, а по возобновленіи „Современника“, въ началѣ 1863 года, Салтыковъ принялъ въ немъ самое дѣятельное участіе, между прочимъ, какъ членъ редакціи. Это ближайшее участіе въ журналѣ продолжалось два года, до конца 1864, когда Салтыковъ

оставилъ участіе въ редакціи, принявши служебное назначеніе въ провинцію. Послѣдній разсказъ его въ „Современникѣ“ явился въ первой книжкѣ за 1866, послѣдній, годъ существованія этого журнала *(Завѣщаніе моимъ дѣтямъ)*.

Рѣдко Салтыковъ бывалъ такъ плодовитъ, какъ въ упомянутые два года (1863—1864) его участія въ „Современникѣ“. До тѣхъ поръ онъ не имѣлъ ближайшихъ отношеній къ какому-либо изданію; онъ помѣщалъ свои разсказы въ томъ или другомъ изданіи, не входя съ нимъ въ непосредственную связь; здѣсь онъ въ первый разъ принимаетъ участіе въ самомъ веденіи журнала и самъ много пишетъ по разнымъ отдѣламъ его программы. Эта плодовитость показываетъ, какъ сильно занимало его журнальное дѣло,—и это было естественно. Мы замѣтили, что не легко отличить, кто былъ сильнѣе въ Салтыковѣ—художникъ или публицистъ: его живѣйшимъ образомъ интересовала и возбуждала текущая борьба жизни; онъ со вниманіемъ слѣдилъ за совершавшимися событіями и спѣшилъ отозваться на нихъ своимъ мнѣніемъ и горячимъ осужденіемъ или насмѣшкою, когда его затрогивала и волновала та или другая вопіющая неправда. Онъ съ большою охотой принялъ мысль о возстановленіи „Современника“, срокъ запрещенія котораго (послѣ 1862 г.) истекалъ къ февралю 1863; уже раньше его сочувствія принадлежали этому журналу, въ которомъ съ конца 1850-хъ годовъ онъ преимущественно помѣщалъ свои произведенія. Но времена были уже не тѣ, какъ въ то время, когда онъ выступалъ съ *Губернскими очерками*. Крестьянская реформа совершилась, были въ ходу другія преобразованія—шли приготовленія къ судебной реформѣ, собирались данныя для введенія земскихъ учрежденій, новаго положенія о печати,—но въ общемъ настроеніи и правительственной власти и общества наступала все болѣе явная перемѣна. Первое крупное дѣло какъ бы истощало силы реформы; съ 1861 года, вслѣдъ за освобожденіемъ крестьянъ, уже начинаются въ высшихъ сферахъ признаки утомленія или недовѣрія, и понятно, что въ томъ обществѣ, которое вѣками жило только по указкѣ и огромное большинство котораго было совершенно непривычно къ самостоятельному сужденію въ сложныхъ предметахъ общественной жизни, тотчасъ отразилось состояніе барометра. Отразилось оно и въ литературѣ: люди безхарактерные усомнились въ собственныхъ вчерашнихъ

восторгахъ; люди ловкіе разсчитали, что нужно произвести нѣкоторыя перемѣны въ тонѣ и направленіи своихъ разсужденій, чтобы вѣрнѣе обезпечить свое благополучіе; мистическіе патріоты нашли время удобнымъ для своихъ излюбленныхъ идей, для туманныхъ проповѣдей о народѣ и о „почвѣ"; наконецъ, вышли на сцену и явные крѣпостники, которые до тѣхъ поръ не рѣшались выступать открыто съ своими тенденціями, а теперь стали излагать ихъ весьма откровенно и недвусмысленно. Положеніе возобновленнаго журнала было очень затруднительное: редакція журнала и Салтыковъ, въ особенности, не измѣнили того общаго взгляда на положеніе вещей, какой образовывался во второй половинѣ 50-хъ годовъ, и если ужъ раньше, въ 1861 и въ 1862 годахъ, этотъ взглядъ начиналъ, по условіямъ времени, терять свою правоспособность въ глазахъ возраставшей реакціи, то теперь онъ становился почти прямо опальнымъ. Думаемъ, что теперь еще не пришло время для болѣе подробныхъ объясненій того положенія вещей, и обратимся къ самымъ произведеніямъ Салтыкова.

Мы сказали, что срокъ запрещенія журнала истекалъ къ февралю 1863 года, и потому, чтобы восполнить количество книжекъ, въ февралѣ издана была двойная книга—за январь и февраль. Въ этотъ томъ вошелъ цѣлый рядъ крупныхъ и мелкихъ статей Салтыкова: три эпизода *Невинныхъ разсказовъ* (Деревенская тишь.—Для дѣтскаго возраста.—Миша и Ваня. Забытая исторія), съ подписью Н. Щедрина; затѣмъ нѣсколько статей въ отдѣлѣ Современнаго обозрѣнія: *Нѣсколько словъ по поводу „Замѣтки", помѣщенной въ октябрьской книжкѣ „Русскаго Вѣстника" за 1862 годъ*, съ подписью: „Т—нъ"; далѣе *Московскія письма*, съ подписью: „К. Гуринъ"; статьи: *Петербургскіе театры*, *Наша общественная жизнь* и нѣсколько рецензій въ библіографическомъ отдѣлѣ—безъ подписи. Кромѣ беллетристическихъ разсказовъ, которые здѣсь, какъ и въ другихъ книжкахъ, Салтыковъ подписывалъ псевдонимомъ Н. Щедрина, его публицистическія статьи, подписанныя другими псевдонимами или безыменныя, какъ выше замѣчено, не вошли потомъ въ собранія его сочиненій и въ настоящее время почти забыты.

Въ каждой изъ этихъ публистическихъ статей мы встрѣтимся съ тѣмъ или другимъ вопросомъ, занимавшимъ тогда общественное мнѣніе, и особенно съ вопросами, составля-

вшими предметъ литературныхъ толковъ и нерѣдко весьма мудреными. Выше мы дали понятіе о томъ, какъ стоялъ тогда общественный барометръ. Въ короткій промежутокъ времени, въ теченіе 1861—1862 года, этотъ барометръ пошелъ сильно назадъ: вопросы, еще недавно вызывавшіе въ литературѣ оживленные толки, отступаютъ на второй планъ; задорныя фразы о „нашемъ времени, когда“ и т. д. смѣняются разсудительными объясненіями о вредѣ излишней поспѣшности въ общественныхъ преобразованіяхъ, о преимуществахъ постепенности, о томъ, какъ полезно было бы дорожить опытами прошедшаго, которое было не такъ дурно, и, наконецъ, ожесточенными нападеніями на либерализмъ и вольнодумство; Тургеневъ подсказалъ тогда извѣстный терминъ нигилизма, которому обрадовались, какъ находкѣ, озлобленные люди, не умѣвшіе сами опредѣлить, что́ собственно вызываетъ ихъ вражду въ новѣйшемъ критическомъ и отрицательномъ направленіи. Салтыковъ больше, чѣмъ многіе другіе, стоялъ въ средѣ самаго вопроса. Онъ воочію видѣлъ и мастерски описалъ то старое міровоззрѣніе, которое было именно главнымъ предметомъ новѣйшаго отрицанія; либерализмъ молодыхъ поколѣній являлся прежде всего антитезомъ этого стараго міросозерцанія. Далѣе, Салтыковъ, снова вернувшись въ литературу, также воочію ознакомился съ ея содержаніемъ и главными дѣйствующими лицами: онъ зналъ московскіе литературные кружки—редакцію „Русскаго Вѣстника“, И. С. Аксакова и пр.—и кружки петербургскіе въ первомъ разгарѣ нашего возрожденія; его наблюдательность помогла ему оцѣнить личные характеры, и послѣ, когда стали совершаться колебанія и отступленія, ему нетрудно было по страницамъ журналовъ угадывать психологическіе процессы, совершавшіеся съ извѣстными ему людьми. Столько же понятны были ему происходившія теперь колебанія въ общественномъ мнѣніи; его не удивляла ни путаница понятій ни возвраты мнимаго либерализма къ любимымъ привычкамъ недавнихъ нравовъ; онъ предвидѣлъ, чѣмъ должны кончаться начинавшіяся колебанія или намѣренные повороты мнѣній; словомъ, онъ ясно понималъ, что въ цѣломъ общественномъ настроеніи готовится реакціонный переворотъ, и желалъ, сколько было возможно, бросить свѣтъ въ эту мглу, начинавшую облегать общественную жизнь. Говорить прямо, называть вещи ихъ именами было невоз-

можно, какъ было невозможно прежде, да и послѣ: уже теперь Салтыковъ прибѣгаетъ къ иносказаніямъ, къ отвлеченнымъ разсужденіямъ на темы общественныхъ отношеній, какъ часто онъ употреблялъ этотъ способъ бесѣды впослѣдствіи; но было также не мало случаевъ, когда онъ велъ прямую, недвусмысленнную полемику. Поводы къ этой полемикѣ представлялись нерѣдко: онъ не разъ обращается къ „Русскому Вѣстнику", который онъ близко зналъ въ эпоху его либерализма и который теперь, въ новомъ поворотѣ своей политики (съ 1861 года), внушалъ ему весьма непріязненное чувство; онъ спорилъ противъ И. С. Аксакова, котораго, помнится, лично зналъ довольно хорошо и у котораго, однако, не сочувствовалъ изысканно-высокопарному, мистическому тону, который мѣшалъ ему говорить прямѣе о простыхъ реальныхъ вещахъ или, какъ думалось, кажется, Салтыкову, предохранялъ отъ непріятныхъ столкновеній; наконецъ, столь же отрицательно, съ оттѣнкомъ пренебреженія, говорилъ Салтыковъ о недавно передъ тѣмъ начавшемся журналѣ „Время" съ его народническими прорицаніями, которыхъ Салтыковъ никакъ не хотѣлъ понимать сколько-нибудь серіозно.

II.

Первая статья, на которой мы здѣсь остановимся (по поводу „Замѣтки" „Русскаго Вѣстника"), относится къ вопросу о печати. Въ числѣ предметовъ, на которые было тогда обращено вниманіе правительства, какъ предметовъ, требующихъ преобразованія и улучшенія, былъ вопросъ о печати, рѣшенный впослѣдствіи извѣстнымъ уставомъ о печати 1865 года. Въ тѣ годы назначена была особая комиссія для разсмотрѣнія этого вопроса, которая и выработала проектъ новыхъ положеній о печати. „Русскій Вѣстникъ" имѣлъ возможность получить этотъ проектъ, и въ своей „Замѣткѣ" изложилъ содержаніе документа, снабдивъ его своими замѣчаніями. Этому и посвящена статья Салтыкова. Все это дѣло принадлежитъ теперь исторіи; самый уставъ 1865 года, близкій къ этому проекту, съ тѣхъ поръ, какъ извѣстно, былъ сильно видоизмѣненъ, но статья Салтыкова остается любопытна по взгляду на положеніе нашей печати, въ общемъ, сохраняющееся до сихъ поръ. Извѣстно, что въ уставѣ (какъ было

уже намѣчено и въ проектѣ) прежнее положеніе печати было очень измѣнено сравнительно съ прежнимъ: во-первыхъ, цензурное вѣдомство перенесено было изъ министерства просвѣщенія въ министерство внутреннихъ дѣлъ; во-вторыхъ, введена была цензура карательная, кромѣ цензуры предварительной, которая, впрочемъ, продолжала существовать, и вообще веденіе цензурныхъ дѣлъ обставлено формальностями, заимствованными изъ тогдашняго французскаго законодательства о печати, придуманнаго правительствомъ второй имперіи. Не приводя всѣхъ подробностей взгляда Салтыкова, укажемъ изъ него только два-три пункта.

Весь проектъ 1862 года и замѣчанія къ нему „Русскаго Вѣстника", очевидно, проникнуты были извѣстною недовѣрчивостью къ нашей печати, опасеніями ея вреднаго вліянія, противъ котораго должны быть приняты строгія, но и тонкія мѣры. Можно себѣ представить, что Салтыковъ, который, конечно, былъ компетентный судья въ этомъ вопросѣ и какъ писатель и какъ человѣкъ, до всѣхъ мелочей знакомый и съ общественными и съ административными нравами и, наконецъ, съ содержаніемъ самой литературы, вовсе не раздѣлялъ этихъ опасеній; онъ думалъ, напротивъ, что русская литература была такъ подавлена окружавшею ее издавна подозрительною опекой и, вмѣстѣ, такъ извращена, что, напротивъ, нуждалась именно въ бо́льшей свободѣ, которая была бы предоставлена ей открыто безъ всякихъ заднихъ мыслей и опасеній, и возвратила (или доставила въ первый разъ) возможность серіозной рѣчи и нравственнаго достоинства.

Онъ сожалѣлъ, во-первыхъ, о перенесеніи цензуры въ министерство внутреннихъ дѣлъ. Онъ зналъ очень хорошо, что, собственно говоря, все въ этомъ случаѣ будетъ зависѣть отъ личнаго взгляда того или другого министра; что литература можетъ почувствовать себя хорошо подъ начальствомъ министра внутреннихъ дѣлъ и очень худо подъ начальствомъ министра просвѣщенія.

„Но съ раціональной точки зрѣнія,—продолжаетъ онъ,—это совсѣмъ не такъ безразлично. Не надо забывать, что литература есть одинъ изъ могущественнѣйшихъ рычаговъ народнаго просвѣщенія, и что, напротивъ того, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, въ томъ составѣ, въ какомъ существуетъ это учрежденіе въ Россіи, сосредоточивается высшая полицейская власть. Какое отношеніе можетъ существовать между литературой, какъ о́рганомъ просвѣщенія, и полиціей, какъ о́рганомъ охраненія государствен-

ной безопасности,—угадать хотя нетрудно, но нетрудно именно вслѣдствіе той перепутанности понятій и опредѣленій, которая въ послѣднее время, вслѣдствіе разныхъ случайныхъ причинъ, такъ сильно господствуетъ въ обществѣ нашемъ. Сфера дѣйствій полиціи, сама-по-себѣ очень почтенная и заслуживающая полнаго сочувствія людей благомыслящихъ, есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, сфера совершенно особая и, притомъ, строго ограниченная; она сообщаетъ всей ея дѣятельности особенный характеръ и даже особенныя привычки. Постоянно имѣя дѣло съ противообщественными попытками и наклонностями самаго грубаго, несложнаго и незамысловатаго свойства, полиція и въ дѣйствіяхъ своихъ противъ нихъ обнаруживаетъ нѣкоторую грубость, несложность и незамысловатость. Теперь же она будетъ поставлена лицомъ къ лицу съ преступленіями мысли—преступленіями свойства деликатнаго и почти неуловимаго; преступленіями, уже по тому одному относящимися къ особому разряду, что при обсужденіи ихъ невозможно не принять высшій противъ обыкновеннаго умственный и нравственный уровень совершившихъ ихъ лицъ. Полиція, очевидно, затруднится. Привыкнувъ имѣть дѣло съ врагами общества, она, не слышно для самой себя, и на литературу перенесетъ это воззрѣніе; обращаясь съ фактами грубыми, конкретными, не имѣя надобности прибѣгать ни къ анализу побужденій ни къ болѣе или менѣе тонкимъ толкованіямъ содержанія этихъ фактовъ, она тотчасъ же почувствуетъ свою несостоятельность въ отношеніи преступленій слова и постарается замѣнить ее чѣмъ-нибудь. Что́ если она, по свойственной человѣчеству слабости, не захочетъ сознаться въ этой несостоятельности и замѣнитъ ее подозрительностью и придирчивостью?"

Очень извѣстно, что въ тѣ времена, когда цензура находилась въ рукахъ министерства просвѣщенія, литературѣ приходилось испытывать не мало крупныхъ и мелкихъ неудобствъ [1]); тѣмъ не менѣе, замѣчанія Салтыкова заключали въ себѣ большую правду.

Его представленіе о русской литературѣ не сходилось съ представленіями тѣхъ, кто думалъ, что противъ нея должны быть принимаемы усиленныя предосторожности. Напротивъ, надо желать, чтобы она получила, наконецъ, возможность говорить прямо о тѣхъ предметахъ, о которыхъ ей допущено высказываться. Салтыковъ приводитъ примѣры тогдашняго положенія.

„Извѣстно, что литература наша до сихъ поръ состоитъ подъ покровительствомъ цензуры; но, быть-можетъ, не всякому извѣстно, что покрови-

---

[1]) Извѣстно, притомъ, что и въ тѣ времена въ литературныхъ дѣлахъ большое вліяніе имѣло также другое вѣдомство, именно—высшая полиція; въ царствованіе императора Николая въ вопросы литературы безпрестанно вмѣшивалось III отдѣленіе Собственной Его Величества канцеляріи, а въ концѣ царствованія получили право такого вмѣшательства всѣ министерства и отдѣльныя управленія, имѣвшія своихъ особыхъ цензоровъ на тѣ случаи, когда литература касалась предметовъ ихъ вѣдомствъ.

тельство это заключается не столько въ расширеніи свободы печатнаго слова, сколько въ снисходительномъ огражденіи его отъ разнаго рода излишествъ. Оказывается, что въ настоящее время эту послѣднюю обязанность можетъ принять на себя само общество, которое уже достаточно созрѣло для того, чтобы различить вредныя и антисоціалистскія ученія отъ невредныхъ и соціалистскихъ [1]). Оказывается также, что цензура, какъ учрежденіе попечительное, не только ставила литературу въ условія стѣснительныя и несоотвѣтствующія ея нынѣшнему развитію, но даже не достигала и той предупредительно-полицейской цѣли, для которой она была создана. Писатели съ антисоціалистскими намѣреніями находили способъ проводить свои идеи подъ покровомъ идей соціалистскихъ; мысль скрывалась, нельзя было ничего разобрать... Мало того: мысль до такой степени сжилась съ различными покровами и изворотами, что даже откровенно приняла ихъ за единственно нормальный способъ выраженія; литература до такой степени пріучила публику читать между строками, что не было того темнаго намека, который оставался бы для нея тайной; не было полуслова, котораго бы она не прочла всѣми буквами и даже съ нѣкоторыми прибавленіями. Прохаживался ли, напримѣръ, „Русскій Вѣстникъ" насчетъ Австріи—публика знала, что это хоть и не опечатка, однако нѣчто въ родѣ опечатки; восхвалялъ ли „Русскій Вѣстникъ" австрійскаго министра Брука—публика понимала, что это значитъ: посмотримъ, дескать, что-то у насъ дѣлается... Одна цензура ничего не понимала, да, по строгому, добросовѣстному толкованію цензурнаго устава, и не имѣла права понимать. Если вѣрить „Русскому Вѣстнику" и г. Громекѣ [2]), отъ этого выигрывали только нигилисты, которыхъ рѣчь, по милости безпрерывныхъ преградъ, пріобрѣла какую-то нелишенную заманчивости таинственность и даже силу. Если вѣрить тому же „Русскому Вѣстнику", эта сила должна сама-собой уничтожиться, какъ только ей дана будетъ возможность высказаться. Тогда всякій пойметъ, что это не сила, а ложь, и всякій же получитъ средство „легко справиться съ ней безъ всякихъ карательныхъ мѣръ". Вполнѣ раздѣляемъ такое мнѣніе „Русскаго Вѣстника", радуемся его радостями и будемъ ожидать".

На дѣлѣ русская литература вовсе не столь злокачественна, и дѣйствительное положеніе ея состоитъ, по Салтыкову, въ слѣдующемъ:

„...Читая слабонервныя протестаціи „Русскаго Вѣстника", можно подумать, что и невѣсть какой ядъ заключается въ нашихъ журналахъ; что и невѣсть какою опасностью грозятъ они обществу. Если вѣрить этому, то придется, пожалуй, и усугубить „постепенность". Но не надо забывать, что протестаціи эти суть плодъ невиннаго желанія—какъ можно скорѣе сравняться въ „рвеніи" съ „Нашимъ Временемъ" [3]). Не надо забывать, что литература русская относится къ русскому правительству точно такъ

---

[1]) Салтыковъ употребляетъ здѣсь это слово въ смыслѣ „общественныхъ", ограждающихъ общественный порядокъ.

[2]) Извѣстный публицистъ, работавшій въ охранительномъ направленіи и соединявшій занятія писателя съ службой въ жандармскомъ корпусѣ. *Н. Д.*

[3]) Реакціонная газета Н. Ф. Павлова.

же, какъ Гулливеръ къ тому великану, который гдѣ-то нашелъ его въ травѣ. „Онъ схватилъ меня,—разсказываетъ Гулливеръ,—поперекъ тѣла большимъ и указательнымъ пальцами и поднесъ къ глазамъ, чтобы ближе разсмотрѣть. Я не противился; я позволилъ себѣ только поднимать къ небу глаза и складывать руки умоляющимъ образомъ, ибо я опасался, чтобъ онъ нечаянно не раздавилъ меня". Сравненіе не лестное, но правдивое и, притомъ, способное успокоить самую раздражительную подозрительность".

Далѣе Салтыковъ высказывается противъ того, что систему надзора и преслѣдованія печати сочли нужнымъ взять цѣликомъ изъ французскихъ учрежденій, когда нѣтъ ничего общаго между политическимъ бытомъ и литературой Россіи и Франціи. У насъ предполагались по тогдашнему проекту (и введены впослѣдствіи по уставу 1865 года) предварительныя и карательныя цензурныя мѣры, и въ объясненіе этого указывалось, что даже въ странахъ, гдѣ свободныя учрежденія воспитали политическій смыслъ общества, однѣ карательныя мѣры оказались недостаточными. Далѣе, по проекту, при введеніи новыхъ цензурныхъ правилъ, именно при освобожденіи тѣхъ или другихъ изданій отъ предварительной цензуры, должна была соблюдаться постепенность, и въ особенности указывалось, что сохраненіе предварительной цензуры необходимо въ тѣхъ случаяхъ, когда періодическія изданія, дѣйствуя постепенно, образуютъ *направленіе*, котораго нельзя преслѣдовать формальнымъ образомъ, и что „газеты и журналы могутъ, въ отношеніи къ преслѣдующей власти, принять особую систему, и именно, не нарушая явно важнѣйшихъ предписаній закона, тѣмъ не менѣе выходить изъ предѣловъ дозволеннаго, утомляя силы преслѣдующей власти и связывая ее безпрерывнымъ опасеніемъ неудачи или скандала".

Салтыковъ возражаетъ противъ всѣхъ этихъ соображеній. Первый аргументъ, ссылка на другія государства,—

„ложенъ въ самомъ зернѣ своемъ, потому что имѣетъ въ предметѣ указать на Францію. На это можно сказать одно: Франція, съ конца прошлаго столѣтія и до настоящаго времени, представляетъ собою страну, развивающуюся подъ вліяніемъ паническихъ восторговъ и столь же паническихъ страховъ. Если это положеніе еще и можно оспаривать относительно самой страны, то никакъ нельзя—относительно правительствъ, которыя, одно за другимъ, ее эксплуатировали. Вполнѣ свободныхъ учрежденій, свободныхъ парламентскихъ преній въ ней не было, а тѣмъ менѣе они существуютъ теперь, и отношенія нынѣшняго французскаго правительства къ странѣ слишкомъ извѣстны, чтобы допустить какое-нибудь двусмысленное въ этомъ случаѣ толкованіе. Зачѣмъ же эти вѣчныя ссылки на Францію? зачѣмъ этотъ вѣчный кошмаръ? Во Франціи такой порядокъ могъ установиться

вслѣдствіе особыхъ, ей одной свойственныхъ причинъ; во Франціи, сверхъ того, порядокъ, сегодня установленный, можетъ быть завтра развѣянъ по вѣтру; что́ для насъ Франція? что́ мы для нея? Но, вѣдь, и тамъ все-таки предупредительной цензуры нѣтъ, и тамъ все-таки оставлена писателямъ хотя незавидная свобода, но все-таки свобода: свобода грѣшить и подвергаться за грѣхи наказаніямъ. Отчего же не предоставить и русскимъ писателямъ этой свободы? Вѣдь, русская литература все-таки не больше, какъ Гулливеръ: пускай же и наслаждалась бы свободою находиться между большимъ и указательнымъ перстами великана! Что мы, русскіе, не имѣли до сихъ поръ свободныхъ учрежденій и не пользовались парламентскими преніями—тутъ, конечно, хорошаго мало; но политическій смыслъ нашъ развѣ болѣе будетъ воспитываться, если ко всему этому мы прибавимъ еще и отсутствіе свободы печатнаго слова?"

Салтыковъ не хочетъ оспаривать предположенія о томъ, чтобы новыя правила о печати вводились постепенно.

„Это правильно,—говоритъ онъ и продолжаетъ, шутя:—русская литература столько десятковъ лѣтъ притворствовала и уклонялась, что нельзя сразу дать ей возможность выложить на столъ накопившіяся въ ней сокровища, ибо легко можетъ быть, что и сокровищъ-то совсѣмъ нѣтъ. Слѣдовательно, пускай высказывается постепенно".

Но онъ настоятельно заявляетъ, что какова бы ни была эта постепенность, она должна быть *равная* для всѣхъ изданій, потому что, если бы оказано было предпочтеніе какимъ-нибудь однимъ изданіямъ передъ другими, изъ этого произошла бы несправедливая привилегія, „единоторжіе мысли". Онъ считалъ нужнымъ сказать объ этомъ особенно потому, что „въ послѣднее время,—говоритъ онъ,—„Современная Лѣтопись" [1]) начала что-то заговариваться о редакторахъ, заслуживающихъ довѣрія, и редакторахъ, довѣрія не заслуживающихъ". Онъ опасается, что эта неравномѣрность, въ какой бы формѣ она ни была предпринята, послужитъ источникомъ деморализаціи въ печати. Такъ, онъ думалъ, что подобныя слѣдствія имѣло бы предоставленіе изданіямъ *добровольно* подчиняться предварительной цензурѣ.

„Во-первыхъ, не представляется надобности предлагать опеку для всѣхъ нищихъ духомъ, точно такъ же, какъ не представляется надобности въ учрежденіи какой-либо особой палаты для управленія тѣми имѣніями, которыхъ владѣльцы не умѣютъ извлечь изъ нихъ всѣхъ выгодъ. Во-вторыхъ, если издатели сочиненій этого разряда встрѣтятъ сомнѣніе въ своей благонамѣренности, то могутъ посовѣтоваться со своими пріятелями, не затрудняя правительства. Въ-третьихъ, наконецъ, подобный легкій способъ избавляться отъ отвѣтственности можетъ породить въ литературной и издательской дѣятельности дурныя привычки. Можетъ въ литературномъ лагерѣ произойти междоусобіе, угодничество и фискальство, ибо всегда найдутся

---

[1]) Издававшаяся Катковымъ при „Р. Вѣстникѣ" и „Моск. Вѣдомостяхъ".

люди, охочіе заявлять о своемъ смиренствѣ, даже когда заявленія эти и не надобны никому. Все это можетъ ввести въ заблужденіе и само правительство насчетъ характера подобныхъ заявленій".

Онъ возстаетъ также противъ упомянутыхъ выше замѣчаній о такъ-называемыхъ „направленіяхъ", требующихъ будто бы особаго вниманія со стороны цензурной власти и особыхъ мѣръ преслѣдованія. Онъ полагаетъ, что подобныя соображенія были бы недостойны правительственной власти.

„Мы положительно думаемъ, что правительство крѣпкое, прочно установившееся, не можетъ имѣть подобныхъ соображеній... Правительство сильное, опирающееся на сочувствіе народа, не имѣетъ надобности руководиться іезуитизмомъ: оно дѣйствуетъ открыто, то-есть открыто дозволяетъ и открыто же что-либо запрещаетъ".

Только при крайнемъ стѣсненіи литературы можно было бы говорить о чемъ-то похожемъ на дѣйствованіе посредствомъ „направленій", которое состоитъ только въ употребленіи фигуры умолчанія, въ неясныхъ намекахъ и т. п.

„Но если представить себѣ русское слово освобожденнымъ отъ предварительныхъ истязаній, то всякая мысль о *направленіи*, понимаемомъ въ указанномъ выше смыслѣ, падаетъ сама-собою, ибо кто же изъ читателей будетъ столь невиненъ, чтобы подписываться на журналъ, который потчуетъ его однимъ *направленіемъ*, тогда какъ рядомъ съ нимъ стоитъ другой журналъ, разсказывающій жизненный фактъ ясно и безбоязненно? Положительно можно сказать, что *направленіе* есть плодъ предупредительной цензуры; что обаятельная сила его будетъ существовать дотолѣ, покуда будетъ существовать предупредительная цензура. Мало того, сила эта будетъ существовать и въ такомъ случаѣ, если изъятіе отъ предупредительной цензуры будетъ допущено только для *извѣстныхъ* журналовъ, а другіе останутся подъ ея вліяніемъ".

Наконецъ, Салтыковъ отвѣчаетъ на тотъ аргументъ, которымъ хотѣли объяснить тогда необходимость для цензурной власти особливо преслѣдовать „направленія", будто бы ускользающія отъ правильнаго контроля.

„Въ самомъ дѣлѣ, неужели наша литература имѣетъ такое громадное развитіе, что можетъ даже утомить силы преслѣдующей власти? И что, наконецъ, можно подумать объ этой преслѣдующей власти, которая такъ скоро утомляется? Вѣдь, нельзя же такъ жить, чтобы все доставалось даромъ: желаете *преслѣдовать*—ну и потрудитесь".

Опускаемъ другія подробности этой статьи. Изъ приведенныхъ примѣровъ можно достаточно видѣть взглядъ Салтыкова. Статья его остается любопытною и вѣрною картиной положенія нашей литературы въ тогдашнихъ и даже современныхъ цензурныхъ условіяхъ. Салтыковъ смотрѣлъ на вещи спокойно и потому не поддавался преувеличеніямъ ни въ ту ни въ другую сторону. Русская литература пред-

ставлялась ему въ тѣхъ скромныхъ размѣрахъ, какіе она и въ самомъ дѣлѣ имѣла; онъ не предвидѣлъ отъ нея опасностей, которыя вынуждали бы къ экстреннымъ мѣрамъ и строгимъ преслѣдованіямъ. Онъ справедливо указывалъ, что, собственно говоря, литература была искалѣчена тѣмъ прежнимъ режимомъ, подъ которымъ она столько времени воспитывалась — она отучилась говорить прямо о вещахъ, потому что серіозные предметы, требующіе общественнаго вниманія, были для нея закрыты; но такъ какъ о нихъ не могло не думать общество, то литература тѣмъ самымъ вынуждалась прибѣгать къ условному закрытому языку, къ намекамъ, къ умолчаніямъ, аллегоріямъ и т. д.—ко всему тому, въ чемъ и стали усматривать „направленіе". Это „направленіе" представлялось какою-то ехидною злонамѣренностью, противъ которой нужно было употреблять ехидныя средства. Салтыковъ съ негодованіемъ говоритъ объ этой травлѣ направленій, которая была бы дѣломъ недостойнымъ сильнаго, увѣреннаго въ себѣ правительства. Онъ совершенно справедливо говоритъ, что такого рода „направленія" исчезли бы сами-собою, если бы литературѣ предоставлена была возможность открыто высказывать общественное мнѣніе о тѣхъ предметахъ, которые не могли не привлекать его живѣйшаго вниманія. Съ его обычною манерой, иногда веселою шуткой, чаще желчною и горькою ироніей, онъ успокаиваетъ административные страхи, что если бы литературѣ предоставлено было выложить всѣ свои сокровища, то, можетъ-быть, ихъ бы не оказалось. Устраняя преувеличенную подозрительность, которая слишкомъ легко могла бы оканчиваться ненужнымъ вредомъ, Салтыковъ, съ другой стороны, негодуетъ на тѣ инсинуаціи, какія уже высказывались въ то время, напримѣръ, въ толкахъ „Русскаго Вѣстника" о редакторахъ, довѣрія заслуживающихъ и не заслуживающихъ. Онъ желалъ для всѣхъ изданій, въ которыхъ высказывались тогда различныя стороны общественнаго мнѣнія (и всѣхъ этихъ изданій было не много), одинаковаго положенія, безъ всякихъ предпочтеній для однихъ, которыя стали бы стѣсненіемъ и несправедливостью для другихъ.

Послѣ того, какъ писалъ Салтыковъ, цензурное положеніе русской печати установилось приблизительно такъ, какъ предполагалось въ проектѣ, который онъ разбиралъ: цен-

зура была двоякая—предварительная и карательная; введена была, именно, система денежныхъ залоговъ, предостереженій, пріостановокъ и запрещеній, заимствованная изъ тѣхъ самыхъ французскихъ пріемовъ второй имперіи; введены были, кромѣ того, судебныя преслѣдованія преступленій по дѣламъ печати и т. д. То, что предвидѣлъ Салтыковъ, исполнилось въ дѣйствительности. Сложная система надзора уже вскорѣ была по русскимъ нравамъ упрощена; оказалась привычная подозрительность и то вліяніе характера вѣдомства, завѣдывавшаго теперь печатью, которыя Салтыковъ предполагалъ: вопросы литературы и науки слишкомъ часто разбирались не съ точки зрѣнія литературы и науки, сколько съ точки зрѣнія предупрежденія и пресѣченія преступленій и съ тѣмъ пониманіемъ вопросовъ науки, какое возможно въ вѣдомствѣ, отъ нея далекомъ... Въ самомъ дѣлѣ, оглянувшись теперь на протекшее двадцатипятилѣтіе новаго цензурнаго положенія русской литературы, нельзя не прійти къ довольно печальнымъ размышленіямъ. Наша публицистическая печать, взятая въ цѣломъ, была, безъ сомнѣнія, тѣмъ скромнымъ явленіемъ, какимъ предполагалъ ее Салтыковъ; если собрать примѣры тѣхъ ея излишествъ, доказательствъ „вреднаго направленія“ и т. п., за которыя она подвергалась многоразличнымъ карамъ, административнымъ и судебнымъ, и если собрать примѣры преслѣдованія сочиненій по предметамъ чисто-литературнымъ и научнымъ, то не можетъ не броситься въ глаза чрезмѣрная недовѣрчивость, порождавшая эти факты.

Въ той же книжкѣ Салтыковъ началъ рядъ публицистическихъ статей подъ названіемъ *Наша общественная жизнь*. Тонъ съ самаго начала шутливый, но, какъ обыкновенно, при небольшомъ вниманіи нетрудно увидѣть въ шуткѣ мысль совершенно серіозную. Это была первая публицистическая статья журнала, касавшаяся тогдашнихъ общественныхъ вопросовъ, съ тѣхъ поръ какъ журналъ былъ закрытъ въ 1862 году. Это было время, когда, по разнымъ общимъ и случайнымъ обстоятельствамъ, въ обществѣ оказалось извѣстное броженіе, не совсѣмъ привычное въ русской жизни: студенческія волненія, появленіе политическихъ листковъ, распространеніе запрещенныхъ изданій и т. п.;

лѣтомъ 1862 года произошли петербургскіе пожары, причина которыхъ осталась невыясненной, и явились охотники приписать ихъ какимъ-то революціоннымъ агитаторамъ; кстати явился романъ Тургенева съ характеристикой молодого поколѣнія и „нигилизма“; наконецъ, начинались польскія волненія—и изъ всего этого вмѣстѣ образовалась еще невиданная путаница фактовъ и толковъ, которую не замедлила эксплуатировать реакціонная доля общества: послѣдней удобно было объяснять всѣ эти происшествія, какъ результатъ вреднаго вліянія реформъ и либеральныхъ попущеній правительства. Собственно говоря, происходившіе факты не были правильно изслѣдованы и безпристрастно поняты (ни тогда ни послѣ); журналъ, пытавшійся дать отчасти ихъ объясненіе, подвергся запрещенію; свободно распространялись реакціонные толки и огульныя обвиненія противъ „нигилизма“ и противъ „мальчишекъ“. Было много людей, которымъ это положеніе вещей было на-руку: это были или старые крѣпостники, до сихъ поръ скрывавшіе свою вражду къ новымъ либеральнымъ преобразованіямъ и теперь съ торжествомъ призывавшіе къ старому порядку, или вчерашніе либералы, находившіе, что по времени выгоднѣе вступить на другую дорогу... Правительство, въ общемъ, не дало устрашить себя реакціонными воплями, и задуманныя реформы продолжали вырабатываться; но были факты, гдѣ и оно отчасти было увлечено происходившимъ недоразумѣніемъ, и, къ сожалѣнію, упомянутые сейчасъ реакціонные дѣятели, прежніе и новѣйшіе, имѣли случай выставлять себя какъ бы полуофиціальными публицистами.

Въ этихъ условіяхъ Салтыковъ началъ свои публицистическія бесѣды. Если не ошибаемся, этобыли ихъ первыя бесѣды подобнаго рода, по изложенію вообще довольно близкія къ его беллетристической манерѣ, а по содержанію составляющія какъ бы начало тѣхъ его произведеній, въ которыхъ онъ изображалъ русскую послѣреформенную жизнь, общество временъ поворота или реакціи. Темы, на которыхъ онъ останавливается въ этой первой статьѣ, состоятъ, именно, въ изображеніи тогдашняго настроенія общества, гдѣ шли толки о „нигилизмѣ“ и „мальчишкахъ“ и появлялись уже опыты того, что́ онъ называлъ эквилибристикой.

Онъ начинаетъ статью объясненіемъ, что будетъ говорить не о собственно петербургской жизни, „съ ея огорченіями и

увеселеніями", а объ общемъ характерѣ русской общественности—„въ ея постепенномъ и неторопливомъ стремленіи къ идеаламъ". Петербургскій читатель знаетъ петербургскія новости, можетъ-быть, лучше самого автора; читатель провинціальный къ нимъ совершенно равнодушенъ, но онъ жаждетъ уловить господствующую ноту нашей общественности, и объ этомъ собирается говорить авторъ. На первый разъ онъ думаетъ, что долженъ отвѣтить на вопросъ, который, вѣроятно, ему предложитъ читатель, взявъ въ руки книжку возобновленнаго журнала: „Очистились ли мы постомъ и покаяніемъ?"

„Что постъ былъ—это достовѣрно, въ этомъ въ особенности убѣдилась сама редакція „Современника". Не то чтобы идея поста была совершенно противна „Современнику", но, конечно, было бы желательно, чтобы сроки воздержанія были назначаемы нѣсколько менѣе щедрою рукой. Это тѣмъ болѣе желательно, что было бы вполнѣ согласно и съ подлежащими постановленіями, которыя нигдѣ не заповѣдали, чтобы постъ продолжался восемь мѣсяцевъ. Будемъ надѣяться, что это случилось нечаянно и что, съ обнародованіемъ новыхъ законовъ о книгопечатаніи, будутъ изысканы иныя, болѣе пріятныя и не менѣе полезныя мѣропріятія"...

Что касается до вопроса о покаяніи, то на него авторъ надѣется отвѣтить въ теченіе года. Во всякомъ случаѣ, мы обѣщаемся быть благонамѣренными, говоритъ онъ; къ этому побуждаетъ и желаніе бесѣдовать съ читателемъ десять, а не пять разъ въ году, и современное настроеніе русскаго общества, и разныя другія обстоятельства. Тема „благонамѣренности", на которой Салтыковъ много разъ останавливался въ своихъ старыхъ и послѣднихъ произведеніяхъ, трактована здѣсь въ обычномъ ироническомъ тонѣ, который могъ бы иной разъ показаться преувеличеніемъ или карикатурой, если бы на это не давали ему права безчисленные примѣры пошлости, совершавшіеся въ обществѣ.

„Но прежде всего я обязанъ опредѣлить, что́ такое благонамѣренность. Признаюсь откровенно, обязанность эта застаетъ меня нѣсколько врасплохъ, ибо слово это произошло на свѣтъ такъ недавно, что даже значеніе его не вполнѣ опредѣлилось. Толкуютъ его больше фигурами и уподобленіями. Такъ, напримѣръ, если я вижу человѣка, участвующаго своими трудами въ „Сѣверной Пчелѣ", въ „Нашемъ Времени", въ „Сѣверной Почтѣ",—я говорю себѣ: этотъ человѣкъ благонамѣренный. Если я вижу человѣка, посѣщающаго балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и другихъ,—я говорю себѣ: этотъ человѣкъ благонамѣренный. Почему я такъ говорю—я не знаю, но чувствую, что говорю правду; и всякій, кто слышитъ меня говорящимъ такимъ образомъ, также чувствуетъ, что я говорю правду. Совсѣмъ другое дѣло, если я вижу человѣка, таинственно проби-

рающагося въ редакцію газеты „Голосъ"; тутъ я прямо говорю себѣ: нѣтъ, это человѣкъ неблагонамѣренный, ибо въ немъ засѣлъ Ледрю-Ролленъ [1]). И напрасно Андрей Александровичъ Краевскій [2]) будетъ увѣрять меня, что Ледрю-Ролленъ былъ, да весь вышелъ,—я не повѣрю ему ни за что, ибо знаю стойкость убѣжденія Андрея Александрыча и очень помню, какъ онъ, еще въ 1848 году, боролся съ Луи-Филиппомъ и радовался паденію царства буржуазіи.

„Но отвратимъ наши взоры отъ этого печальнаго зрѣлища и будемъ продолжать фигуры и уподобленія.

Прежде всего благонамѣренный человѣкъ долженъ обладать хорошимъ поведеніемъ, которое состоитъ въ слѣдующемъ: утромъ благонамѣренный человѣкъ встаетъ и читаетъ „Сѣверную Почту"; насладившись ея чтеніемъ и узнавъ, сверхъ того, „въ чемъ должна заключаться сегодняшняя благонамѣренность", онъ бесѣдуетъ съ г. Старчевскимъ (тогдашнимъ издателемъ „Сына Отечества"); затѣмъ, „подъ вліяніемъ этой бесѣды, благонамѣренный заходитъ къ Доминику, гдѣ съѣдаетъ три пирожка, а буфетчику сказываетъ, что съѣлъ одинъ; затѣмъ до обѣда онъ гуляетъ по Невскому, потомъ обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Михайловскій театръ, и день оканчивается блистательнымъ образомъ на балѣ у безземельныхъ, но гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга".

Можетъ показаться непонятнымъ, какимъ образомъ въ подобныхъ дѣйствіяхъ можетъ оказаться благонамѣренность; но авторъ объясняетъ, что, „сколько онъ могъ понять изъ объясненій людей свѣдущихъ", это слово имѣетъ весьма ограниченный и спеціальный смыслъ: человѣкъ, который желаетъ стать въ ряды благонамѣренныхъ, можетъ заимствовать платки изъ чужихъ кармановъ, можетъ читать „Сына Отечества", но только обязывается имѣть „хорошій образъ мыслей". Что такое этотъ хорошій образъ мыслей, авторъ отзывается, что не умѣетъ этого объяснить, „потому что это выраженіе скорѣе чувствуется, нежели понимается"; тѣмъ не менѣе, говоритъ онъ, если судьба заставитъ васъ потолкаться нѣкоторое время между людьми благонамѣренными, то вы поймете, что отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность.

„Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла. Любите отечество и читайте романы Поль-де-Кока—вотъ краткій и незамысловатый кодексъ житейской мудрости, которымъ руководствуется современный благонамѣренный человѣкъ. И благо ему. Если онъ утаилъ о двухъ излишне съѣденныхъ пирожкахъ, то это простится ему, потому что отъ этого нѣтъ ущерба ни любви къ оте-

---

[1]) Франц. госуд. дѣятель и редакторъ газеты „La Réforme"; по убѣжденіямъ—радикальный демократъ; былъ вожакомъ возстанія 13 іюля 1849 г. *Н. Д.*

[2]) Издатель „Голоса".

честву ни общественному благоустройству". Надо только не увлекаться. „Если же вамъ непремѣнно нужно мыслить, то бесѣдуйте съ „Сыномъ Отечества", ибо мысли, порождаемыя этими бесѣдами, не суть мысли, но тѣлесныя упражненія"...

„Такимъ образомъ, съ помощью фигуръ и уподобленій, мы догадываемся, наконецъ, что́ такое этотъ „хорошій образъ мыслей", который въ послѣднее время пустилъ такіе сильные корни въ нашемъ обществѣ. Сидите ли вы въ театрѣ, идете ли по улицѣ—вы на каждомъ шагу встрѣчаете людей, которыхъ наружность ничего иного не выражаетъ, кромѣ того, что ихъ отлично кормятъ. Тутъ не можетъ быть рѣчи объ убѣжденіяхъ, а тѣмъ менѣе о недовольствѣ кѣмъ и чѣмъ бы то ни было: въ этихъ ходячихъ могилахъ все покончено, все затихло. Самый добродушный изъ нихъ на ваши приставанья отвѣтитъ: mon cher! qui est-ce qui en parle! но менѣе добродушный фыркнетъ и огрызнется, какъ песъ, къ которому неосторожно подойдутъ въ то время, когда онъ ѣстъ. Слѣдовательно, благонамѣренность не исключаетъ и нѣкотораго остервенѣнія, которое и составляетъ третью характеристическую черту ея".

Авторъ недоумѣвалъ о причинахъ этого остервенѣнія и „благонамѣренной плотоядности". Мы, слава Богу, не испытали политическихъ потрясеній, никакихъ утопій, ни въ чемъ не разочаровывались (да и очаровывались ли когда-нибудь?), между тѣмъ, насъ, гибнущихъ плавателей, соблазняетъ какая-то сирена своимъ пѣніемъ.

„Многіе даже видѣли ее и увѣряютъ, что она ходитъ въ вицъ-мундирѣ".

„Увы! пѣніе сирены отразилось даже на литературѣ нашей. Изъ загнанной и трепещущей она превратилась въ торжествующую и ликующую, изъ скептической—въ вѣрующую, изъ заподозрѣнной—въ благонамѣренную и достойную довѣрія. Дѣятели, цѣлую жизнь дразнившіе и уськавшіе общественное мнѣніе, всенародно бьютъ себя въ грудь, всенародно раздираютъ на себѣ одежды и признаютъ себя удовлетворенными. „Мальчишки!" стонетъ на всѣ лады одинъ; „нигилисты!" подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвиненіе есть единственное, которое успѣла ясно сформировать кающаяся русская литература, но, вѣроятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если журналы серіозные и, повидимому, благонамѣренные рѣшаются настаивать на немъ".

Судя по тому переполоху, какой господствовалъ въ литературѣ до 1862 года, говоритъ Салтыковъ, провинціальный читатель могъ и невѣсть что подумать.

„Ему могло показаться, что старому веселью конецъ пришелъ, что хорошихъ людей моль поѣла и что на мѣстѣ ихъ неистовствуютъ все мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало!—утѣшаю я его; все это было до 1862 года; но въ этомъ году россіяне вступили въ новое тысячелѣтіе... Какъ же тутъ не созрѣть, какъ не пойти въ сѣмена!"

Такимъ образомъ, благонамѣренность заключается въ ненависти къ нигилистамъ и мальчишкамъ, и Салтыковъ разбираетъ, что́ это за новое явленіе.

Его разсужденіе есть, главнымъ образомъ, характеристика того, что говорилось въ печати, особливо въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, который въ то время занялъ главную роль въ травлѣ на молодое поколѣніе и служилъ образцомъ для мелкой печати, предавшейся тогда тому же занятію. Эта травля самымъ глубокимъ образомъ возмущала Салтыкова. Огульныя обвиненія всегда ненавистны, потому что всегда бываютъ несправедливы; они были особенно возмутительны въ данномъ случаѣ по разнымъ условіямъ. Прежде всего, обвиненія бросались на вѣтеръ; отдѣльные факты, не имѣвшіе между собою ничего общаго ни фактически ни по смыслу, обобщались въ обвиненіе противъ цѣлыхъ массъ людей и противъ цѣлыхъ отдѣловъ тогдашней литературы. Во-вторыхъ, обвиненія самыя злобныя дѣлались въ такой обобщенной формѣ, что на нихъ трудно и некому было отвѣчать, между тѣмъ подозрѣніе и вражда были заброшены. Въ-третьихъ, то броженіе, которое реакціонная литература обозначала теперь огуломъ подъ именемъ нигилизма, заключало въ себѣ, между прочимъ, и тѣ самыя идеи, какія еще недавно были въ общемъ ходу и съ особенною настойчивостью распространялись самимъ „Русскимъ Вѣстникомъ“. Все это вмѣстѣ производило вдвойнѣ отталкивающее впечатлѣніе—и какъ доносъ, сопровождающійся крайнею затруднительностью или даже невозможностью отвѣта, и какъ фактъ ренегатства. Но вопросъ былъ настоятельный—всѣ объ этомъ говорили,—и въ нашемъ обществѣ, которое вовсе не было пріучено и не умѣло разбираться въ сколько-нибудь сложныхъ общественныхъ положеніяхъ, это становилось источникомъ крайней и вредной путаницы понятій; вредной потому именно, что подъ готовыя, такъ-сказать, уличныя клички люди мало развитые подкладывали безъ разбора все: и дурное—а вмѣстѣ и хорошее; случайное—и естественное; и то, что́ общество могло и должно было отвергнуть,—и то, чѣмъ оно должно было дорожить. Салтыковъ поэтому и счелъ нужнымъ говорить. Какъ обыкновенно, тонъ его есть наполовину шутка, наполовину иронія, изъ которыхъ нетрудно было бы извлечь и весьма серіозное поученіе — если бы искали правды, а не пищи для озлобленія или своекорыстія.

„Слово „нигилисты“ пущено въ ходъ И. С. Тургеневымъ и не обозначаетъ собственно ничего. Въ романѣ г. Тургенева, какъ и во всякомъ благоустроенномъ обществѣ, дѣйствуютъ отцы и дѣти. Если есть отцы,

слѣдовательно, должны быть и дѣти—это бы, пожалуй, не новость; новость заключается въ томъ, что дѣти не въ отцовъ вышли, и вслѣдствіе этого происходятъ между ними безпрестанные реприманды.

„Отцы—народъ чувствительный и вѣруютъ во все. Они вѣруютъ и въ красоту, и въ истину, и въ справедливость; но больше прохаживаются по части красоты. Они проливаютъ слезы, читая Шиллерову „Resignation"; они играютъ на віолончели, а отчасти и на гитарѣ; но не остаются нечувствительными и къ четвертакамъ... Когда-то они были друзьями Бѣлинскаго и поклонниками Грановскаго, но, по смерти своихъ руководителей, остались какъ овцы безъ пастыря. Очарованія ихъ приняли характеръ безпорядочный, почти растрепанный; съ одной стороны—Laura am Clavier, съ другой—тысяча рублей содержанія, даровая квартира и нѣсколько пудовъ сальныхъ свѣчей: вотъ двѣ мучительныя альтернативы, между которыми проходитъ ихъ жизнь. Тѣмъ не менѣе, надо отдать имъ справедливость: Лаура съ каждымъ днемъ все дальше и дальше отодвигается на задній планъ, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержанія. Способность очаровываться осталась та же, но предметъ ея измѣнился, и измѣнился потому, что нѣтъ въ живыхъ ни Бѣлинскаго ни Грановскаго. Будь они живы, они, конечно, сказали бы „отцамъ": цыцъ!—и тогда кто можетъ угадать, чѣмъ увлекались бы въ настоящую минуту эти юные старцы?

„Въ противоположность отцамъ, дѣти представляютъ собой собраніе невѣрующихъ".

Пересчитавши разные примѣры отрицанія, которымъ заражены дѣти, по роману Тургенева, Салтыковъ продолжаетъ:

„Спрашиваю я васъ, какъ назвать совокупность всѣхъ этихъ зловредныхъ качествъ? какъ назвать людей, совокупившихъ въ себѣ эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы ихъ фармазонами, полковникъ Скалозубъ назвалъ бы вольтерьянцами; но И. С. Тургеневъ не захотѣлъ быть подражателемъ—и назвалъ нигилистами...

„Какъ бы то ни было, но „благонамѣренные" накинулись на слово „нигилистъ" съ ожесточеніемъ—точь-въ-точь какъ благонамѣренные прежнихъ временъ накидывались на слова фармазонъ и вольтерьянецъ. Слово „нигилистъ" вывело ихъ изъ величайшаго затрудненія. Были понятія, были явленія, которыя они до тѣхъ поръ затруднялись, какъ назвать; теперь этихъ затрудненій не существуетъ: все это нигилисты; были люди, которыхъ физіономіи имъ не нравились, которыхъ рѣчи производили въ нихъ нервное раздраженіе, но они не могли дать себѣ отчета, почему именно эти люди, эти рѣчи производятъ на нихъ именно такое дѣйствіе; теперь все сдѣлалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Такимъ образомъ, нигилистъ, не обозначая собственно ничего, прикрываетъ собою всякую обвинительную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному; и если бъ Иванъ Никифорычъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на свѣтѣ такое слово, то онъ, навѣрное, назвалъ бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнемъ съ писанною торбою, а нигилистомъ. Человѣкъ, который ходитъ по улицѣ безъ перчатокъ,—нигилистъ, и человѣкъ, который заявитъ со-

мнѣніе насчетъ либерализма Василья Александрыча Кокорева *),—тоже нигилистъ. Онъ нигилистъ! онъ не вѣритъ ни во что святое!—вопятъ благонамѣренные, и само-собою разумѣется, что Василію Александрычу это нравится. Однимъ словомъ, нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой-то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ!"

Салтыковъ припоминаетъ тѣ азартныя обвиненія, какія сыпались на нигилистовъ въ 1862 году.

„Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты подучили ее; пойдетъ ли безъ времени дождь—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи! Этого мало: лѣтомъ 1862 года, по случаю частыхъ пожаровъ, въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ—благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобы обвинить нигилистовъ; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература—благонамѣренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до такой степени безобразія и нелѣпости, что благонамѣренные готовы были, чтобы у нихъ поснимали головы, лишь бы имѣть право сказать: это они! это нигилисты!

„Вотъ какую страшную услугу оказалъ Тургеневъ".

Не меньше раздражало Салтыкова другое изобрѣтенное тогда слово—„мальчишки", пущенное въ ходъ „Русскимъ Вѣстникомъ". Нигилистомъ, говоритъ Салтыковъ, можетъ быть человѣкъ всякаго возраста.

„Напротивъ того, слово „мальчишки", такъ-сказать, подрываетъ будущее Россіи, ибо обращается преимущественно къ молодому поколѣнію, на которомъ, какъ извѣстно, покоятся всѣ надежды любезнаго отечества. Подъ этимъ словомъ подразумѣвается все, что не перестало еще расти: М. Н. Катковъ взираетъ на П. М. Леонтьева [1]) и говоритъ: вотъ мѣра человѣческаго роста!—и затѣмъ всякій индивидуумъ, который имѣлъ несчастіе родиться двумя минутами позднѣе г. Леонтьева, поступаетъ въ разрядъ мальчишекъ. Не хитро, но зато просто и удобно".

Мальчишество состоитъ, въ сущности, въ томъ же, въ чемъ и нигилизмъ — въ отсутствіи всякой нравственности. Мальчишки не вѣрятъ въ науку — потому что не читаютъ статей г. Молинари, объясняетъ Салтыковъ; это „пустые и безмозглые крикуны", по словамъ одного изъ тогдашнихъ благонамѣренныхъ изданій; они не могутъ серіозно думать, не смѣютъ ни о чемъ имѣть свое сужденіе, потому что они—мальчишки.

„Мальчишество—это преступленіе, за которое уличенный въ немъ лишается даже права апеллировать. Благонамѣренный не станетъ и разго-

---

*) Извѣстный откупщикъ, нигдѣ не учившійся и писавшій статьи, имѣвшія успѣхъ. *Н. Д.*

[1]) Сотрудникъ „Русск. Вѣстн.".

варивать съ мальчишкой; „это мальчишка“, скажетъ онъ и самодовольно пройдетъ себѣ мимо...

„Да, горько родиться „мальчишкой“; но какъ же, съ другой стороны, и не родиться-то имъ?“

Всякій имѣлъ свой періодъ мальчишества; только не всякій это помнитъ. „Иной забылъ, что онъ не далѣе, какъ въ 1861 г., былъ еще мальчишкой“; иной и не скрываетъ, что онъ забылъ, и готовъ снова сдѣлаться мальчишкой, если это будетъ обѣщать какую-нибудь поживу. Авторъ не обращается къ людямъ такого рода.

„Я обращаюсь къ людямъ просто забывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ дѣлѣ забыли? неужели вы дошли до состоянія опрѣсноковъ безъ всякихъ тревогъ, безъ всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипѣли? неужели сошли на путь благонамѣренности такъ же случайно и безразлично, какъ заходятъ современные франты въ тотъ или другой танцклассъ? Нѣтъ, это невѣроятно. Это невѣроятно, потому что нѣтъ того человѣка, котораго заплесневѣлая душа не умилилась бы передъ воспоминаніемъ о давно прошедшихъ сладкихъ дняхъ молодости; нѣтъ того дряхлаго, тупого старика, котораго голова не затряслась бы сочувственно, котораго морщины не освѣтились бы лучомъ радости, когда на него хоть на мгновеніе, хотя случайно пахнетъ свѣжимъ ароматомъ навсегда утраченной весны жизни“.

Салтыковъ предупреждаетъ читателя, что онъ вовсе не думаетъ обращаться къ людямъ благонамѣреннымъ, чтобы напомнить, что и они были молоды и заблуждались, и чтобы получить отъ нихъ снисхожденіе молодости и заблужденію другихъ.

„Нѣтъ, я не прошу для мальчишекъ ни сожалѣнія ни даже снисхожденія. Я нахожу, что мальчишество—сила, а сословіе мальчишекъ—очень почтенное сословіе. Самая остервенѣлость вражды противъ нихъ свидѣтельствуетъ, что къ мальчишкамъ слѣдуетъ относиться серіозно, и что слова: „мальчишки!“, „нигилисты!“, которыми благонамѣренные люди вѣнчаютъ всѣ свои диспуты, по поводу почтительно дѣлаемыхъ мальчишками представленій и домогательствъ, въ сущности изображаютъ не что иное-какъ худо скрытую досаду, нѣчто въ родѣ плача Адама объ утраченномъ раѣ“.

Если въ послѣднее время среди давящей насъ тяжести чувствуется нѣчто оживляющее и освѣжающее, то, какъ ни малъ успѣхъ, источникъ его находится все-таки не въ насъ, благонамѣренныхъ, а въ этой силѣ молодости.

„Я могъ бы привести тысячи примѣровъ изъ практики въ доказательство справедливости моего положенія, и если не дѣлаю этого, то единственно изъ опасенія, чтобъ изъ того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себѣ одинъ казенный вопросъ: давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, вольтерьянствомъ все то добро, которое нынѣ воочію совершается? И нельзя ли отсюда прійти къ заключенію,

что и то, что нынѣ называется мальчишествомъ, нигилизмомъ и другими болѣе или менѣе поносительными именами, будетъ *когда-нибудь* называться добромъ?"

Въ третьей книжкѣ „Современника" 1863 года было опять помѣщено нѣсколько статей Салтыкова. Въ статьѣ *Наша общественная жизнь* онъ возвращается съ другой стороны къ опредѣленію тогдашняго общественнаго положенія, проявленія котораго ему оставалось отмѣчать въ журналистикѣ. Мы видѣли, что данная минута не оставляла въ немъ сомнѣній относительно своего характера: было ясно, что тотъ кратковременный періодъ, когда общество, подъ вліяніемъ совершавшейся реформы, исполнено было самыхъ свѣтлыхъ надеждъ, уже кончился. Правда, реформы еще не были завершены—продолжались работы надъ другими преобразованіями (суды, земство, печать),—но чувствовалось, что время одушевленія прошло, что наступалъ другой тонъ жизни или, говоря иначе, возвращался прежній, дореформенный. Это послѣднее обстоятельство тотчасъ отразилось на литературѣ. Таковъ былъ, напримѣръ, отмѣченный Салтыковымъ поворотъ, который внезапно совершился въ руководящемъ московскомъ журналѣ, да и въ другихъ изданіяхъ, желавшихъ высказывать мнимое общественное мнѣніе.

Теперь Салтыковъ хотѣлъ, было, „объяснить читателямъ, отчего въ современномъ человѣкѣ происходитъ нѣкоторое нравственное распаденіе; отчего онъ обязывается балансировать; отчего никуда не можетъ примкнуть съ увѣренностью, что тутъ именно сила". Но въ данную минуту онъ не находитъ удобнымъ исполнить это обѣщаніе. Чтобъ исполнить это какъ слѣдуетъ, онъ долженъ былъ бы указать, что „силы, дѣйствительно, нѣтъ нигдѣ и, разумѣется, въ этомъ отсутствіи силы преимущественно обвинить мальчишество, какъ такую корпорацію, которая одна и можетъ заключать въ себѣ залоги дѣйствительной силы". При этомъ, можетъ-быть, онъ долженъ былъ бы сдѣлать мальчишеству выговоръ, преподать наставленіе, но его останавливаетъ мысль, что мальчишеству и безъ того дѣлаются выговоры; притомъ, его выговоры, быть-можетъ, не имѣютъ общаго съ тѣми, какіе дѣлаются другими, „а если не имѣютъ, какъ я и подозрѣваю, то съ какой же стати я стану производить гибельное двоегласіе въ впечатлительныхъ юношескихъ умахъ? Нѣтъ, лучше

я воздержусь, и это тѣмъ легче для меня сдѣлать, что никто меня и не пуститъ".

Данная минута представляется Салтыкову ликвидаціей.

„Говорить о прошломъ въ ту минуту, когда оно, такъ-сказать, ликвидируется,—не значитъ ли только заниматься праздными словами? Вѣдь, тутъ расчетъ ясенъ: что есть въ печи—все на столъ мечи! и еще: каждому по дѣламъ его—ну, и дѣло съ концомъ. Тутъ не поможешь ни оханьями, ни стонами, ни совѣтами, въ родѣ: кабы ты чуточку-чуточку влѣво забралъ—ну, и уцѣлѣла бы твоя голова! Нѣтъ, тутъ этимъ не поможешь! Другое дѣло—поговорить о прошломъ въ видахъ назиданія будущаго: это иногда полезно бываетъ. Но, вѣдь, это тогда только полезно и возможно, когда имѣется въ виду совершенная ясность духа, когда въ сердцѣ царитъ безмятежіе; а какая же можетъ быть ясность, какое безмятежіе въ минуты ликвидаціи!

„Слѣдовательно, этотъ разговоръ я отложу до болѣе благопріятной минуты, тѣмъ болѣе, что мудрецомъ быть во всякое время пріятно и не подозрительно".

Очевидно, Салтыковъ не считалъ возможнымъ говорить о положеніи вещей яснѣе. Онъ предпочитаетъ говорить о „той вѣчно-милой средѣ, которая выговорамъ не подвергается и наставленій не получаетъ", и вслѣдъ за тѣмъ рисуетъ картину нашей общественной жизни—точно какой-то не настоящей, а картонной: такою казалась ему эта жизнь въ началѣ шестидесятыхъ годовъ.

„Часто приходитъ мнѣ на мысль, что всѣ мы, сколько насъ ни есть, живемъ и дѣйствуемъ на какихъ-то безконечно-обширныхъ театральныхъ подмосткахъ, которые почему-то называемъ ареною жизни; что надъ нами стелется холстинное небо, освѣщаемое промасленнымъ бумажнымъ кругомъ сквозь который тускло свѣтится мерцаніе стеариноваго огарка; что вокругъ насъ простираются холстинные лѣса, разстилаются холстинные луга, ходуномъ-ходятъ холстинныя волны; что хотя на насъ падаетъ снѣгъ и дождь—но снѣгъ этотъ бумажный, дождь шнурковый; что мы питаемся картонными кушаньями, пьемъ примѣрное вино, воюемъ картонными копьями и произносимъ картонныя рѣчи.

„И чѣмъ болѣе я углубляюсь въ эту мысль, тѣмъ больше убѣждаюсь, что она совсѣмъ не заключаетъ въ себѣ парадокса. Не знаю, оттого ли, что жизнь положительно сошла съ прежней наѣзженной колеи, оттого ли, что, сошедши съ этой колеи, она не успѣла еще наѣздить себѣ колеи новой, но всѣ мы находимся въ томъ странномъ положеніи, въ какое добровольно поставила себя редакція журнала „Время": всѣ мы сидимъ между двухъ стульевъ и то-и-дѣло шлепаемся на полъ".

Онъ сравниваетъ то время съ тѣмъ возрастомъ, который непосредственно слѣдуетъ за отрочествомъ: это нѣчто неясное и, вмѣстѣ, смѣшное и горькое, въ которомъ утрачены всѣ правдивые тоны жизни и еще ничего не пріобрѣтено. Исчезла безвозвратно отроческая впечатлительность и наив-

ность, и на ихъ мѣсто является фальшивая восторженность, дѣланныя мысли, что-то чужое, непонятое.

„Давно ли казалось намъ, что жизнь наша полнымъ ключомъ кипитъ—какъ уже мы убѣдились, что это ключъ не взаправду ключъ, а ключъ театральный; давно ли казалось намъ, что вокругъ насъ произносятся новые вопросы, возстаетъ цѣлая новая обстановка—какъ мы уже убѣдились, что это вопросы картонные, обстановка картонная. Давно ли мы бѣжали, стремились, шумѣли, рукоплескали—а теперь плодомъ всей этой суеты передъ нами стоитъ, въ обидной наготѣ, вопросъ: куда стремились, чему рукоплескали? Да, именно только этотъ вопросъ и остался“.

Хуже всего то, что картонная жизнь производитъ картонную литературу; жизнь, по крайней мѣрѣ, забывается, но литература остается „вѣчнымъ монументомъ извѣстнаго строя жизни“. Признаки этой литературы—„совершенное отсутствіе содержанія и полное безплодіе, прикрываемое благородными чувствами“.

„Если дѣйствительная жизнь ускользаетъ отъ нашего пониманія; если идеалы намъ не даются; если мы до того поражены повальною неспособностью, что не знаемъ даже, за что́ намъ уцѣпиться, къ чему устремить нашу жажду подвиговъ: то очень ясно, что для насъ можетъ быть доступна только одна сфера дѣятельности —это та сфера, въ которой всѣ пути давно изборождены рутиной; та сфера, въ которой всѣ званые, а нѣтъ избранныхъ; та сфера, наконецъ, которой неприхотливое и скудное содержаніе, не измѣняясь въ своей сущности, только мѣняетъ цвѣта, только сгущается или разжижается, смотря по тону, издаваемому извнѣ“.

Въ самомъ дѣлѣ, если наша литература всегда отличалась обиліемъ безсодержательныхъ произведеній, творцы которыхъ думали, что обогащаютъ словесность благородными мыслями, то въ тѣ годы литература этого рода стала если не обильнѣе, то еще притязательнѣе, чѣмъ прежде. Въ ту минуту, когда въ общественной жизни возникало движеніе, поднимавшее, повидимому, самые широкіе вопросы и дѣйствительно возбуждавшее умы людей съ живыми общественными интересами,—въ эту минуту литература подобныхъ хорошихъ мыслей и благородныхъ чувствъ, но, въ сущности, безхарактерная, безсодержательная, могла въ особенности дѣйствовать раздражающимъ образомъ на людей, какъ Салтыковъ. Такъ или иначе, но въ жизни ставились опредѣленные вопросы; на нихъ надо было отвѣчать *да* или *нѣтъ*; люди, обращавшіеся тогда къ публикѣ, должны были потрудиться составить себѣ какой-нибудь опредѣленный взглядъ, а вмѣсто того являлись какія-то неясныя, половинчатыя мысли, не говорившія собственно ничего, но сыпавшія громкими фразами. Однимъ изъ знаменитыхъ образчиковъ лите-

ратуры подобнаго рода была извѣстная тогда комедія графа Соллогуба „Чиновникъ“; являлось затѣмъ множество повѣстей, разсказовъ, драматическихъ пьесъ, между прочимъ принадлежавшихъ даже извѣстнымъ писателямъ, гдѣ, подъ вліяніемъ конца 50-хъ годовъ, дѣлались попытки затрогивать общественные вопросы; но затрогивались они мелко, неумѣло или просто фальшиво, потому что сами авторы не отдавали себѣ отчета въ томъ, что́ значатъ эти вопросы. Эту литературу настойчиво преслѣдовалъ Добролюбовъ; не выносилъ ея и Салтыковъ.

Со свойственною ему оригинальностью мыслей и образовъ, Салтыковъ такъ характеризуетъ эту литературу:

„Что благородство чувствъ есть одинъ изъ самыхъ сильно дѣйствующихъ *ядовъ* нашей литературы—это я совсѣмъ не шутя говорю. Дѣло въ томъ, что благородныя чувства и хорошія мысли грозятъ затопить русскую литературу, по крайней мѣрѣ, въ такой же степени, въ какой, съ другой стороны, затопляетъ ее сильно дѣйствующая благонамѣренность. Если эта послѣдняя является отвратительною, вслѣдствіе своей цинически-легкой удовлетворяемости, то благородныя чувства и мысли поражаютъ своею безтактностью и сухостью, рѣжутъ глаза своимъ безсиліемъ и ограниченностью.

„Какъ благонамѣренность, такъ и благородныя чувства равно противны; это маски, за которыми скрывается отсутствіе содержанія, это искусственно напускаемый туманъ, который мѣшаетъ видѣть жизнь дѣйствительную, жизнь некартонную. Когда вы занимаетесь дѣломъ положительнымъ, имѣющимъ корни въ дѣйствительной жизни, придетъ ли вамъ въ голову мысль о необходимости подпустить туда благородства чувствъ? Нѣтъ, не придетъ, потому что дѣло есть дѣло, и ни благороднымъ ни неблагороднымъ оно не можетъ быть. Возможно ли написать благородную ариѳметику, похвальную химію и не чуждую вопроса о воскресныхъ школахъ физіологію? Нѣтъ, невозможно, потому что все это: и ариѳметика, и химія, и физіологія—все это дѣло. Такъ, стало-быть, литература...

„Ну, да, стало-быть, литература есть бездѣлье, коль скоро въ нее, какъ въ нѣкоторый непокрытый сосудъ, можно легко помѣщать всѣ плохія чувства, всѣ праздныя поползновенія, всѣ непригодныя для дѣла мысли. Дѣйствительно, благородство чувствъ тамъ преимущественно и прижилось; ибо хотя и были попытки сочинить благородную ариѳметику, но скоро было найдено, что тамъ благородство непригодно, и что всего ближе оно подходитъ къ беллетристикѣ“.

Такимъ образомъ, разсказываетъ Салтыковъ, явилась фаланга писателей, которые рѣшили, что талантъ есть вздоръ, знаніе жизни—нелѣпость, и что главное заключается въ благородствѣ чувствъ. Они принялись доказывать, напримѣръ, слѣдующее: „что образованіе—не въ примѣръ лучше необразованія; что порокъ и въ шелковомъ платьѣ—все-таки порокъ, а добродѣтель и въ рубищѣ—все-таки добродѣтель;

что дѣвица начитанная—не въ примѣръ пріятнѣе дѣвицы неначитанной; что человѣкъ, пожертвовавшій одинъ рубль въ пользу процвѣтанія общества трезвости,—несравненно добродѣтельнѣе того, который такой же рубль пропилъ въ кабакѣ; что неблагородныя чувства—неблагородны; что жизнь есть рѣка, человѣкъ—пловецъ, лодка—величественное зданіе общества, весло—прогрессъ, а волны—тщетная реакція безумныхъ ретроградовъ", и т. п. Они забыли только, замѣчаетъ Салтыковъ, что съ помощью такого же незамысловатаго кодекса уже отравлялъ человѣческую жизнь Ѳ. В. Булгаринъ.

Въ образчикъ такой же картонной литературы, Салтыковъ пишетъ тутъ же нѣсколько краткихъ повѣстей, а затѣмъ разсказываетъ содержаніе одной настоящей комедіи того же сорта, которая въ то время давалась на сценѣ и даже имѣла успѣхъ.

„Съ невольнымъ страхомъ спрашиваешь себя: неужели общественныя стремленія могутъ быть до такой степени убогими?..

„Да, стало-быть, такая жизнь возможна, коль скоро она выродила изъ себя цѣлую литературу. Для чего же мы шумѣли; куда же мы стремились; изъ-за чего мы такъ громко хлопотали? Изъ-за того ли, чтобъ въ результатѣ вышло, что жизнь есть рѣка, человѣкъ—пловецъ, лодка—величественное зданіе общества, весло—прогрессъ, а волны—тщетная реакція безсмысленныхъ ретроградовъ? Да, вѣдь, на эту тему литература наша болѣе сорока лѣтъ сряду отравляла публику! И, вѣдь, никто не хочетъ сообразить, что это картонное благородство чувствъ есть лишь ближайшій шагъ къ благонамѣренности—той самой благонамѣренности, о которой я объяснялъ читателю въ прошедшей моей хроникѣ. Скажу даже болѣе—черта, которая проведена между ними, до того тонка, что почти незамѣтна. Ибо если благородство чувствъ стоитъ на томъ, чтобы доказать, что добродѣтель добродѣтельна, а порокъ пороченъ, то и благонамѣренность не отрицаетъ этого и даже охотно погладитъ по головѣ за такія пріятныя мысли".

Этотъ переходъ совершается очень легко: никто этого не замѣтитъ. „Кто замѣтилъ, какъ „Русскій Вѣстникъ" сдѣлался благонамѣреннымъ? Никто!—всегда былъ. Кто замѣтитъ, какъ „Время" сдѣлается благонамѣреннымъ? Никто!—всегда было".

Направленіе, которое Салтыковъ характеризуетъ этими терминами, стало тогда въ особенности распространяться, и извѣстно, до какой степени оно господствовало впослѣдствіи. Точку зрѣнія этой публицистики Салтыковъ характеризуетъ такъ:

„Благородство чувствъ никогда не усматриваетъ связи между явленіями; никогда не группируетъ ихъ; никогда не размышляетъ о томъ, въ какомъ отношеніи находится частный фактъ къ цѣлой системѣ: оно слишкомъ взволновано для этого. Оно преслѣдуетъ какія-то пылинки, оно бумажку какую-то загоняетъ, оно замахивается обухомъ на божью коровку и на комара. Оттого-то оно и не огорчаетъ никого; само же, напротивъ того, легко пріобрѣтаетъ способность удовлетворяться. И однажды получивши эту способность, оно уже не останавливается; оно утрачиваетъ послѣдніе остатки своей куриной непріязненности къ куриному злу, которая составляла основу его, и дѣлается способнымъ проповѣдывать только истины въ родѣ того, что куриный міръ красенъ, что куриное солнце свѣтло и что куриный навозъ благоуханенъ".

Въ подтвержденіе своихъ словъ Салтыковъ говоритъ, что въ Петербургѣ существуетъ даже цѣлая газета, проводящая эти мысли. Онъ называетъ эту газету „Куринымъ Эхомъ", подразумѣвая подъ этимъ тогдашній „Голосъ". Содержаніе газеты слѣдующее:

„Отъ первой строки до послѣдней она все умиляется, все поетъ: „Красенъ куриный міръ!" „Тепло грѣетъ куриное солнышко!"; отъ первой строки до послѣдней все докладываетъ, какіе сдѣлались россіяне умные, какъ у нихъ все идетъ, всякія эти новыя штучки. „Изъ Рязани пишутъ, что выборы произведены въ совершеннѣйшемъ порядкѣ"; „изъ Саратова пишутъ, что, по случаю упраздненія откуповъ, ожидали нѣкоторыхъ безпорядковъ; однако, все обошлось смирно: народъ пилъ дешевку и похваливалъ"; „изъ Калуги пишутъ, что тамъ, по случаю назначенія новаго губернатора, дворяне рѣшились дать балъ"; „изъ Костромы пишутъ, что тамъ дворяне рѣшились дать балъ безъ всякаго случая"...

„Такого рода сплошнымъ благородствомъ давно уже съ величайшимъ успѣхомъ занимаются всѣ губернскія вѣдомости обширной россійской имперіи. Неужели же наша литература осуждена превратиться въ губернскія вѣдомости? ужели общество, для котораго литература все-таки служитъ органомъ, допуститъ такое нелѣпое превращеніе?"

Въ той же статьѣ Салтыковъ говоритъ о журналѣ „Время" (впослѣдствіи „Эпоха"), издававшемся М. Достоевскимъ. Въ 1862 году, когда пріостановленъ былъ „Современникъ", Салтыковъ помѣстилъ нѣсколько пьесъ въ журналѣ „Время", не вступая, впрочемъ, ни въ какую солидарность съ идеями редакціи. Къ этимъ идеямъ Салтыковъ не имѣлъ ни малѣйшей склонности, а съ тѣхъ поръ, когда „Время" стало проповѣдывать ихъ болѣе настойчиво, между прочимъ, зацѣпляя „Современникъ" и Салтыкова, послѣдній высказался объ этомъ журналѣ безъ умолчаній. Мы упоминали, что направленія въ родѣ тѣхъ, какое представляло „Время", всегда бывали Салтыкову крайне антипатичны; притязаніе сказать что-то оригинальное, быть „самостоятельнымъ", и

по этому случаю высокое мнѣніе о себѣ, а на дѣлѣ что-то темное, невразумительное —производили только скучную путаницу. Салтыковъ ни на минуту не признавалъ этой „самостоятельности“ и относился къ ней съ раздражительнымъ пренебреженіемъ. „Время“ покушалось тогда возставать противъ „Русскаго Вѣстника“ въ его новомъ направленіи и даже называло его „булгаринствующимъ“. „А знаете ли вы,—говоритъ Салтыковъ,—что съ „Русскимъ Вѣстникомъ“ все-таки пріятнѣе имѣть дѣло, нежели съ вами? По крайней мѣрѣ, не обманываешься: войдешь въ „Русскій Вѣстникъ“—ну, и знаешь, что вошелъ въ лѣсъ; а въ васъ войдешь—не можешь даже опредѣлить, во что́ попалъ“.

И онъ дѣйствительно предсказалъ то, что́ случилось.

„Вы называете г. Каткова булгаринствующимъ; но развѣ не правъ будетъ тотъ, кто васъ, „Время“, назоветъ катковствующимъ? Вотъ я, напримѣръ, именно одаренъ такою прозорливостью, которая такъ и нашептываетъ мнѣ, что вы начнете катковствовать въ самомъ непродолжительномъ времени. Мало того: я даже думаю, что если признавать силу булгаринской традиціи, то надо признать, что она уже коснулась и васъ... Разумѣется, покуда только невинной своей стороной. Вѣдь, и Булгаринъ проводилъ что-то въ родѣ сапоговъ всмятку; вѣдь, и онъ никогда не говаривалъ, что душа человѣческая не безсмертна, и что за воровство не слѣдуетъ наказывать. Вы говорите и проповѣдуете то же самое, да, притомъ, хотите еще отвести глаза; хотите увѣрить, что у васъ все это свое, самостоятельное. Напрасно. Вѣрьте, что чѣмъ больше будете такимъ образомъ самостоятельничать и своимъ умомъ доходить, тѣмъ болѣе и болѣе будете приближаться къ идеалу, отъ котораго вы теперь отвараччиваетесь съ такимъ презрѣніемъ.

„Вы говорите,—продолжаетъ Салтыковъ,—что г. Каткова оспаривать можно и слѣдуетъ (и что́ вы такъ пристали къ Каткову? Или вы получили отъ него разрѣшеніе? Смотрите, вѣдь онъ когда-нибудь и самъ на васъ замахнется—и не пикнете!); да, вѣдь, и это еще не вовсе плохое дѣло—коли есть что́ оспаривать; а вотъ когда худо—коли и спорить не объ чемъ. Возьмите, напримѣръ, „Время“: за что́ ни прицѣпись—все гладко; хоть всю книжку обшарь (разумѣется, мы не говоримъ о беллетристикѣ)—ни обо что не запнешься!“

Дѣйствительно, уже вскорѣ Катковъ „замахнулся“ на „Время“ по поводу извѣстной статьи г. Страхова: „Роковой вопросъ“ (о польскихъ дѣлахъ), и послѣднему пришлось печатать оправданія въ самомъ „Русскомъ Вѣстникѣ“...

„Вы говорите, что васъ не любятъ за то, что вы самостоятельны, за то, что вы не подражаете. Но, вѣдь, развѣ вы взаправду самостоятельны; развѣ вы не притворяетесь?..

„И еще вы объявляете, что въ тѣхъ сочиненныхъ вами врагахъ (главнѣйшіе-то враги ваши суть: М. М. Достоевскій, Страховъ и Косица), ко-

торые вами обижены и предъ которыми вы извиняетесь, ничего нѣтъ русскаго. „Духа русскаго тутъ и слыхомъ не слыхать и видомъ не видать“, говорите вы. Ну, не въ пустынѣ ли вы проповѣдуете? и о комъ это вы говорите?...

„А въ васъ-то что́ русскаго? А что́, если мы докажемъ, что все ваше русское есть не болѣе, какъ арбузныя корки, выкинутыя вамъ покойною „Русскою Бесѣдой“ за ненадобностью и обглоданіемъ?

„А что́ если мы докажемъ вамъ, что въ васъ только и есть русскаго, что „Мертвый домъ“?“

III.

Въ слѣдующей, четвертой, книжкѣ статья Салтыкова посвящена въ особенности „Русскому Вѣстнику“. Московскій журналъ въ своемъ новомъ направленіи началъ уже принимать тотъ извѣстный тонъ, какой онъ такъ упорно поддерживалъ впослѣдствіи,—будто, ему одному доступна настоящая истина; что тѣ, противъ кого онъ споритъ, неизбѣжно заблуждаются, потому что не имѣютъ правильнаго основанія. Нѣчто подобное говорилъ „Русскій Вѣстникъ“ уже въ 1863 году, и Салтыковъ, какъ показали послѣдствія, очень вѣрно опредѣлилъ эту возникающую наклонность, кончившуюся извѣстною дѣятельностью Каткова въ послѣднія десятилѣтія. Это было начало того пріема, по которому люди, не соглашавшіеся съ Катковымъ, оказывались „мошенниками пера и разбойниками печати“ („сколько душевнаго гноя надо было накопить, чтобы написать эти слова!“ говорилъ послѣ Салтыковъ) или даже „неуличенными государственными преступниками“.

Салтыковъ, какъ онъ часто имѣлъ обыкновеніе, сводитъ полемическій вопросъ на общія понятія. „Русскій Вѣстникъ“ обвинялъ своихъ противниковъ въ недостаткѣ „справедливости“; но, въ сущности, выходило, какъ объясняетъ Салтыковъ, что обладатели „привилегированныхъ идеаловъ“ не хотѣли допустить никакого другого независимаго мнѣнія. Позднѣйшіе взгляды „Русскаго Вѣстника“ въ то время, конечно, не были еще выработаны, пока онъ какъ-будто еще не совсѣмъ отказывался отъ прогрессивныхъ ожиданій, но крайняя нетерпимость уже была готова.

„Подкладка всего этого: „Мы будемъ говорить, а вы молчите; мы будемъ приговоры изрекать, а вы приводите ихъ въ исполненіе! Мы одни имѣемъ право быть мудрыми“. И не то чтобы тутъ была какая-нибудь военная хитрость, т.-е. что вотъ, дескать, отъ вашей рѣзкости и вашего нетерпѣнія только дѣлу поруха; будьте, дескать, кротки, какъ голуби, и

мудры, какъ змѣи,—нѣтъ; это просто какое-то нравственное ожирѣніе, не желающее знать никакихъ противорѣчій; это просто невинно-фаталистическое чаяніе, что все въ мірѣ строится само-собою, что былъ успѣхъ прежде, будетъ успѣхъ и впредь... самъ-собой".

Здѣсь, очевидно, недоразумѣніе,—говоритъ Салтыковъ,—потому что на обѣихъ сторонахъ исходный пунктъ есть идеалъ.

„Если общественный идеалъ еще не выяснился до той степени, чтобы быть признаннымъ всѣми одинаково, и если, съ другой стороны, общество, въ офиціальной, торжествующей своей формѣ, довольствуется однѣми азбучными истинами, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы всѣ члены общества непремѣнно обязывались довольствоваться азбучными истинами, и чтобы тотъ или другой членъ не могъ имѣть своего особаго представленія объ идеалѣ. Напротивъ того, существованіе привилегированныхъ идеаловъ, офиціальное признаніе справедливости однѣхъ старыхъ, азбучныхъ истинъ нисколько не мѣшаютъ протѣсняться въ жизнь инымъ идеаламъ, инымъ истинамъ. И эти новые идеалы, эти новыя истины, несмотря на свою непризнанность, все-таки не теряютъ права на названіе идеаловъ и истинъ, потому что они дѣйствительно идеалы, дѣйствительно истины, хотя не вошедшіе еще, такъ-сказать, въ общее употребленіе".

Къ этой общей мысли Салтыковъ прибавляетъ примѣры, взятые изъ литературы. Если журналъ не знаетъ самъ, чего хочетъ и куда идетъ, и занимается донашиваніемъ чужихъ одеждъ и догладываніемъ чужихъ оглодковъ, онъ не заслуживаетъ чести называться органомъ общественнаго мнѣнія. Съ другой стороны,

„возьмите, напримѣръ, „Русскій Вѣстникъ"—что́ можетъ быть опредѣлительнѣе и точнѣе! У него есть свой собственный взглядъ и на прогрессъ, и на зундскую пошлину, и на польскія дѣла, и даже на поджигателей. И никто ему не говоритъ: не имѣй своего взгляда; выражайся такъ, чтобы понять тебя было невозможно. Напротивъ того, всѣ говорятъ: очень пріятно, что ты такъ положительно, такъ ясно и такъ величественно-строго выражаешься! Если иногда, по обстоятельствамъ, и нельзя съ тобой спорить, то, во всякомъ случаѣ, можно тебя цитировать, и этого покамѣстъ довольно".

Свобода мысли есть такое святое дѣло, что правомъ гражданства должны пользоваться даже такія мысли, которыя кажутся намъ несправедливыми.

„Вотъ, напримѣръ, въ 1-мъ своемъ № за настоящій годъ „Русскій Вѣстникъ" дѣлаетъ легкое сопоставленіе между дѣятелями подметной литературы и петербургскими пожарами; можно на это, конечно, сказать, что такое сопоставленіе нѣсколько гадательно и отчасти пошло, что, наконецъ, не далѣе, какъ въ прошломъ году, „Современная Лѣтопись" (издававшаяся при „Р. Вѣстникѣ") публично отплевывалась отъ возможности подобныхъ сопоставленій; но запретить „Русскому Вѣстнику" производить подобныя операціи нельзя, ибо онѣ соотвѣтствуютъ его идеаламъ. Конечно,

многимъ кажется, что „Русскій Вѣстникъ“ можетъ говорить что́ ему угодно, можетъ даже ошибаться по-временамъ, именно въ силу того, что основаніе у него хорошее; а вотъ, напримѣръ, „Современникъ“ говорить не можетъ, потому что основаніе у него плохое. Но, вѣдь, не надо забывать, что вопросъ объ основаніяхъ есть вопросъ очень спорный. Почему именно основанія „Современника“, а не основанія „Сладкаго Бремени“ не основанія „Куринаго Эха“ должны считаться плохими? почему именно „Современникъ“ долженъ считать себя отверженнымъ? Вѣдь, этихъ вопросовъ никто еще не разрѣшилъ; вѣдь, объ нихъ не спорятъ“.

Салтыковъ высказывалъ уже тогда, что въ основѣ деспотическихъ притязаній московскаго журнала лежитъ „неблаговидная страсть къ единоторжію мысли и суда“.

„Спорьте, милостивые государи, опровергайте, даже доказывайте, что „Современникъ“ несправедливъ съ вашей точки зрѣнія; но позвольте же ему быть справедливымъ съ своей точки зрѣнія! Вѣдь притязанія ваши клонятся, ни много ни мало, къ тому, чтобы сдѣлать изъ всѣхъ дѣятелей литературы чистописцевъ, смиренно заносящихъ на бумагу изреченія М. Н. Каткова... Ну нѣтъ, на это мы несогласны!

„И совсѣмъ не потому мы несогласны, чтобы считали для себя унизительнымъ писать подъ диктантъ М. Н. Каткова, а просто потому, что имѣемъ свой собственный образъ мыслей!“

Возвращаясь опять къ обвиненію въ недостаткѣ справедливости, которымъ „Русскій Вѣстникъ“ укорялъ своихъ противниковъ, и къ требованію снисходительности относительно извѣстныхъ явленій, Салтыковъ снова говоритъ съ глубокой серіозностью о существѣ спора и уже въ то время намѣчаетъ тотъ путь озлобленной нетерпимости, который сталъ до конца путемъ „Русскаго Вѣстника“ и „Московскихъ Вѣдомостей“. „Справедливость и снисходительность—совсѣмъ не синонимы. Снисходительность есть дружеская стачка, есть кроткая взятка сердца, допущенная въ пользу очень милаго намъ лица или очень любезнаго намъ порядка вещей; тогда какъ справедливость есть простой анализъ факта, въ связи съ его исторіей и окружающей средой. Что́ же общаго между ними?“

Напомнивъ о томъ, почему собственно „мальчишки“ или либералы обвинялись въ несправедливости и въ неснисходительности, Салтыковъ изображаетъ настроеніе „Русскаго Вѣстника“.

„Милостивые государи! Конечно, справедливость сама-по-себѣ великое слово; но потому-то именно и слѣдуетъ пользоваться этимъ словомъ съ осторожностью. По поводу чего вы требуете справедливости? по поводу вашей же собственной несправедливости. Къ кому требуется справедливость? къ самимъ себѣ!.. Вы требуете справедливости; вы, которые сами насквозь проникнуты ненавистями и неправосудіемъ всякаго рода; вы,

которые шагу не можете ступить безъ того, чтобы не допросить съ пристрастіемъ, чтобы не кинуть тѣни язвительнаго подозрѣнія, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой на тѣхъ, которыхъ вы, правильно или неправильно, считаете врагами вашего спокойствія! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтомъ, языкъ вашъ источаетъ ядъ клеветы, руки ваши сводятся судорогою—и вы хотите, чтобы къ этому позорному зрѣлищу, чтобы къ этой „хладной" ненависти, сдѣлавшейся почти ремесломъ, оставались равнодушными и даже оказывали дань уваженія и снисходительности!

„Милостивые государи! вы ссылаетесь на прежнія ваши заслуги—никто у васъ ихъ и не отнимаетъ!.. Вамъ говорятъ одно: если вы остановились въ вашемъ развитіи; если жизнь захлопнула передъ вами свою книгу; если наплывъ новыхъ силъ, новыхъ стремленій составляетъ для васъ загадку, которую вы разрѣшить не въ силахъ,—зачѣмъ же вы усиливаетесь разгадать ее? зачѣмъ вы, не успѣвъ въ этомъ, обвиняете эти новыя силы, новыя стремленія въ противообщественности?..

„Если бы вамъ хоть однажды, хоть ошибкою, пришло это на мысль, вы сказали бы себѣ: не можетъ быть, чтобы цѣлое поколѣніе двигалось подъ вліяніемъ одуряющаго обмана чувствъ; не можетъ же быть, чтобы въ цѣломъ поколѣніи не было инстинкта правды! И сказавши себѣ это, вы, конечно, заглушили бы вопли ненависти, закипающіе въ сердцахъ вашихъ; вы стали бы въ сторону и не загораживали бы дороги молодому, потому только, что оно молодо и не можетъ пѣть вамъ въ тонъ?

„Но нѣтъ, вы носитесь съ вашимъ прошедшимъ, до котораго никому уже нѣтъ дѣла, и, убѣдившись, что дѣла до васъ дѣйствительно никто не имѣетъ, вы озлобляетесь, вы все забываете и ничему не научаетесь. Вы презрительно бросаете въ глаза вашъ безапелляціонный приговоръ, очень кстати припоминая, что на вашей сторонѣ сила дня. Это послѣднее воспоминаніе, вмѣсто того, чтобы смутить и воздержать васъ, вливаетъ, напротивъ того, бодрость въ ваши сердца, придаетъ игривости и бойкости вашимъ изреченіямъ и приговорамъ".

Послѣдующая дѣятельность московскихъ изданій была именно такова.

Общій вопросъ о „справедливости" и „снисходительности" (подъ ними разумѣлось приглашеніе либераловъ къ умѣренности и къ довольству тѣмъ, что̀ предлагала тогдашняя дѣйствительность) Салтыковъ объясняетъ въ заключеніи такъ:

„Единственная справедливость, какая возможна въ отношеніи къ подобнымъ явленіямъ, заключается въ анализѣ ихъ внутренней сущности и въ постановкѣ тѣхъ выводовъ, которые естественно изъ этого анализа вытекаютъ. Что же касается до снисходительности, то, сознаюсь откровенно, я не могу себѣ взять въ толкъ этого понятія. Кому нужна снисходительность; полезна ли для кого или для чего-нибудь снисходительность? Можетъ ли она, хоть на минуту, затемнить справедливость, и, притомъ, такъ затемнить, чтобы совершенно замѣнить эту послѣднюю?"

Что касается до упрека, будто либералы *требуютъ* „всего вдругъ“, то они „ровно ничего не требуютъ просто потому, что требованія и неумѣстны и безполезны“.

Здѣсь же Салтыковъ даетъ небольшой отвѣтъ одной московской газеткѣ [1]), которая, характеризуя „Современникъ“, замѣчаетъ, что въ немъ дѣйствуютъ нынѣ „эпигоны“ и что даже „такъ-называемые нигилисты, побойчѣе, замолкли“.

„Слышите ли вы радость, которая сочится въ этихъ словахъ прискорбнаго публициста!“ говоритъ Салтыковъ. „Замолкли“, но почему замолкли, любезный публицистъ? не извѣстна ли вамъ причина этого молчанія? Вотъ, видите ли, прискорбный публицистъ отнюдь не желаетъ стѣснять себя въ сужденіяхъ о нигилистахъ... даже замолкшихъ, и въ то же время вопіетъ о справедливости, выставляетъ на видъ какое-то кощунство надъ современною исторіей, „надо всѣмъ, что близко и дорого современному человѣку!“ Это совершенно особаго рода логика, совершенно особаго рода справедливость, въ силу которой одинъ можетъ нахальствовать, сколько душѣ угодно, а другой обязывается молчать; одинъ можетъ формулировать свои обвиненія ясно, а другой не имѣетъ права проводить свою мысль и подъ покровами!“

Въ это же время явилась въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ извѣстная статья г. Фета, гдѣ поэтъ, знаменитый своими изящными стихотвореніями, выступилъ въ качествѣ публициста съ жалобами на своихъ деревенскихъ работниковъ, на потраву его пшеницы крестьянскими гусями и т. п., и въ этихъ безпорядкахъ обвинялъ литературу, которая, вмѣсто того, чтобы обсуживать вопросы, „судачитъ о нихъ свысока“. Статья произвела тогда немалое впечатлѣніе, по своей неожиданности, и долго служила предметомъ газетнаго остроумія. И дѣйствительно, она обращала на себя вниманіе по имени автора, весьма любимаго поэта, который обратился къ весьма прозаическимъ предметамъ и въ такомъ духѣ, какого можно было бы не ожидать отъ писателя сороковыхъ годовъ. Статья г. Фета была однимъ изъ первыхъ заявленій, гдѣ весьма недвусмысленно высказывалось недовольство порядкомъ вещей, наступившимъ послѣ освобожденія крестьянъ. Салтыковъ не могъ пропустить этого оригинальнаго эпизода безъ шутки, но вообще отнесся къ дѣлу весьма серіозно. Напомнивъ образчики поэзіи Фета, Салтыковъ говоритъ, что, по его мнѣнію, другихъ подобныхъ стиховъ современная русская литература не имѣетъ: ни у кого другого читатель не

[1]) Онъ ея не называетъ; вѣроятно, это была газета „Наше Время“.

найдетъ такого олимпическаго безмятежія, такого лирическаго прекраснодушія. Но съ тѣхъ поръ, какъ г. Фетъ писалъ свои прежніе стихи, времена странно измѣнились: отмѣнено крѣпостное право, объявлены новыя начала судоустройства и судопроизводства, „правды на землѣ не стало; люди, когда-то наслаждавшіеся безмятежіемъ, попрятались въ ущелья и разсѣдины земныя"... Вмѣстѣ съ людьми, спрятавшимися въ земныя разсѣдины,—разсказываетъ Салтыковъ,—и г. Фетъ скрылся въ деревню. Тамъ на досугѣ онъ отчасти пишетъ романсы, отчасти предается человѣконенавистничеству, и все это отправляетъ для тисненія въ „Русскій Вѣстникъ". Въ его новыхъ стихотвореніяхъ замѣчался уже грустный тонъ; „въ нихъ слышится вопль души по утраченномъ крѣпостномъ раѣ". Наконецъ, объясненіе этихъ стихотвореній явилось въ статьѣ г. Фета „Изъ деревни".

„Здѣсь г. Фетъ докладываетъ читателямъ, что времена наступили крутыя и тяжкія; что равенства передъ закономъ нѣтъ; что работники его, Василій и Семенъ, пользуются покровительствомъ законовъ, а онъ, г. Фетъ, не пользуется; что у него, г. Фета, чуть-чуть не пропало за Семеномъ 11 р., а Василью, къ счастію, не было выдано задатка, а то точно такъ же чуть-чуть бы не пропалъ; что у него, г. Фета, потравили, было, пшеницы крестьянскіе гуси, и что во всѣхъ этихъ беззаконіяхъ и безпорядкахъ обвиняется литература"...

Г. Фетъ, въ самомъ дѣлѣ, думалъ, что литература въ этомъ виновата: когда приходитъ почта, и онъ вскрываетъ журналы, „ему дѣлается вдругъ и грустно и смѣшно, и стыдно и противно". Салтыковъ считалъ г. Фета счастливымъ, что онъ могъ одновременно испытывать столько ощущеній и, вмѣстѣ съ тѣмъ, не выпускать изъ головы вѣчно присущую мысль (врожденная идея) о чуть-чуть не пропавшихъ одиннадцати рубляхъ: но что́ же такъ его возмущаетъ въ литературѣ? Онъ утверждалъ, будто въ литературѣ идетъ „струя демократизма, въ самомъ циническомъ значеніи этого слова"; это будто бы „тотъ самый мотивъ, который въ парижскомъ театрѣ *для черни* заставляетъ блузниковъ выгонять чисто одѣтаго человѣка изъ партера огрызками яблокъ".

Салтыковъ отвѣчаетъ съ негодованіемъ: „Извините, г. Фетъ, но мнѣ просто „и грустно и смѣшно, и стыдно и противно" читать приведенныя выше строки". Тотъ самый журналъ, въ которомъ г. Фетъ помѣщалъ свою статью, говорилъ въ это время о необходимости „общенія", а если г. Фетъ разумѣлъ другія изданія—

„то и другая-то литература о чемъ же хлопочетъ? Она хлопочетъ о равенствѣ, милостивый государь; не о мечтательномъ какомъ-нибудь равенствѣ, а о томъ равенствѣ передъ закономъ, о которомъ хлопочете и вы. О какомъ же демократизмѣ вы говорите? Вспомните, что, вѣдь, мы не въ дикомъ государствѣ живемъ, гдѣ все можно говорить; что у насъ тоже цензура есть, цензура попечительная, налагающая на уста добровольное молчаніе... А то „демократизмъ"! Гдѣ вы такое чудо видѣли?"... Дайте намъ факты, милостивый государь, факты дайте намъ, а не наполняйте пустыню вашими воплями; не вливайте фіала, желчи и горечи въ наши груди, и безъ того уже исцарапанныя когтями премудрыхъ московскихъ совъ!"

Г. Фетъ жаловался, что литература относится легкомысленно ко всякимъ вопросамъ. „Но, вѣдь, это—смотря по тому, въ чемъ состоитъ и какого свойства вопросъ. Вотъ вы, напримѣръ, говорите, что чуть-чуть не потеряли 11 рублей, которыхъ вамъ не отработалъ работникъ Семенъ, и что крестьянскіе гуси чуть-чуть не потравили вашей пшеницы—ну, на это, пожалуй, я первый скажу: „Помилуйте! къ чему это! это вздоръ! все пустяки!" Но чтобы я сказалъ то же самое объ измѣненіяхъ паспортной системы и о другихъ матеріяхъ важныхъ—это никакъ невозможно!"

Но г. Фетъ могъ спросить, какъ отнеслась бы литература къ данному случаю; Салтыковъ отвѣчаетъ, что литература увидала бы здѣсь одну изъ случайностей сего несовершеннаго міра и что ей нѣтъ никакого дѣла до 11 рублей, потому что она занимается не частными, а общими вопросами.

„Въ настоящее время литература можетъ дать вамъ одинъ совѣтъ: относительно гусей — брать ихъ немедленно подъ арестъ и поднимать тотъ же гвалтъ, какой описанъ вами въ статьѣ вашей; относительно работника Семена — не давать ему впередъ ни копейки въ задатокъ. Извините, что считается невозможнымъ совѣтовать вамъ повѣсить Семена или содрать съ него шкуру: этого дѣлать нельзя, потому что за такой поступокъ вы можете отвѣчать передъ начальствомъ".

Въ прежнія времена, — говоритъ Салтыковъ, — когда въ насъ самихъ заключался весь судъ, мы устраивались легко, потому что задатковъ никакихъ не давали, а гусей могли всѣхъ поголовно перерѣзать; а теперь недостаточно обвинить работника, но надо привести доказательства; и надо только привыкнуть къ этому порядку. Представьте себѣ, — говоритъ Салтыковъ, — что васъ въ Москвѣ обокрали и вы поймали вора на мѣстѣ преступленія: „вѣдь, вы не стали бы требовать, чтобы вамъ того вора позволено было зарѣзать вашими собственными руками? Вѣдь, васъ не ужаснула бы мысль, что на вора вамъ слѣдуетъ принести жа-

лобу въ полицію и затѣмъ спокойно ожидать дальнѣйшаго удовлетворенія? Но повѣрьте же, г. Фетъ, что все точно такъ же должно происходить и въ томъ случаѣ, о которомъ вы разсказываете". Г. Фетъ жаловался, что въ подобныхъ спорахъ нѣтъ равенства передъ закономъ; что если бы землевладѣлецъ не удовлетворилъ рабочаго, то земская полиція не усомнилась бы описать имущество для его удовлетворенія. „Хорошо,—говоритъ Салтыковъ,—кабы вашими устами да медъ пить; но повѣрьте, г. Фетъ, что чаще, гораздо чаще бываютъ случаи, что рабочіе просто побьются, побьются, да и уйдутъ съ пустыми руками". Онъ напоминаетъ, какъ всего чаще дѣлалось и дѣлается въ нашей жизни въ подобныхъ случаяхъ и что́ было слишкомъ извѣстно.

Вообще, мнѣ кажется, что вы нѣсколько завидуете счастливымъ поселянамъ. Это неоднократно случалось и со мной; особливо когда ѣдешь, бывало, темнымъ осеннимъ вечеромъ по грязи и колоти, а на тебя такъ привѣтливо смотрятъ огоньки изъ „бѣдныхъ, Богомъ хранимыхъ" хижинъ. Но зависть эта сейчасъ же унималась, какъ только я убѣждался, что съ этими огоньками соединяется понятіе о лучинѣ, о дымѣ и смрадѣ, который при этомъ распространяется; и еще унималась зависть, когда я тутъ же встрѣчалъ обозъ и собственными глазами увѣрялся, что все-таки сижу въ болѣе или менѣе покойномъ экипажѣ, а счастливый поселянинъ идетъ за своимъ возомъ пѣшкомъ, да часто еще обязывается лично помогать своей испитой клячонкѣ. Право, займитесь когда-нибудь подобными размышленіями; это совсѣмъ нетрудно". И Салтыковъ продолжаетъ: вѣрьте, г. Фетъ, что этотъ совѣтъ даетъ вамъ не столько литераторъ, къ которому (не ко мнѣ собственно, а къ собирательному имени) вы, вообще, питаете нелюбовь, сколько сельскій хозяинъ, самъ на практикѣ испытавшій всю горечь этого ремесла.

Собственный интересъ всего дороже, и хозяину все кажется, что никто-то о немъ не радитъ, никто ничего не дѣлаетъ; но „иногда раздумаешься". И Салтыковъ рисуетъ картину того страшнаго труда, который исполняется крестьяниномъ въ сельскомъ хозяйствѣ, въ наглядныхъ цифрахъ тѣхъ верстъ, какія онъ исходитъ, распахивая десятину, въ цифрахъ пудовъ, которые онъ перетаскаетъ, раскидывая по полю навозъ и получая за такой трудъ 30, много 40 копеекъ въ день. Онъ полагалъ, что это могло бы послужить *нѣкоторымъ* облегченіемъ въ неисправности рабочаго. Г. Фетъ думалъ, что помѣщичье хозяйство есть, такъ-сказать, житница, но и крестьянское хозяйство есть также житница...

IV.

Мы остановимся еще на одной изъ общественныхъ хроникъ Салтыкова [1]). Онъ говоритъ, вообще, о томъ складѣ, какой получала тогдашняя жизнь, и, вообще, объ историческихъ силахъ русской жизни. Здѣсь опять мы найдемъ черты, чрезвычайно любопытныя для характеристики цѣлаго міровоззрѣнія Салтыкова, которое, какъ извѣстно, приводило иныхъ въ недоумѣніе и которое враги его называли простымъ голымъ отрицаніемъ, лишеннымъ положительной основы, и смѣхомъ для смѣха. Не будемъ говорить о томъ, какъ странно не видѣть, напротивъ, глубокой нравственной и гражданской основы въ созданіяхъ поэтической сатиры Салтыкова, гдѣ безконечная галлерея лицъ и общественныхъ положеній ясно говоритъ о строгомъ нравственномъ мѣрилѣ, на которомъ основано это отрицаніе. О той же основѣ говорятъ тѣ нерѣдкія „лирическія мѣста", которыя разсѣяны у Салтыкова среди полнаго разгара его сатирическаго настроенія. Наконецъ, въ томъ, что́ мы приводили до сихъ поръ изъ публицистическихъ трактатовъ Салтыкова, разсѣяна цѣлая масса прямыхъ указаній на его общественные взгляды, гдѣ уже не можетъ быть сомнѣній о томъ, что у него были совершенно ясныя представленія и о данномъ положеніи вещей и о томъ, какимъ бы желалъ онъ его видѣть не по какимъ-нибудь заоблачнымъ теоріямъ, а именно въ данныхъ предѣлахъ нашей общественности, въ тѣхъ условіяхъ, какія поставлены для нашей литературы, которая, въ концѣ-концовъ, важна была тѣмъ, что составляла единственное выраженіе нашего общественнаго мнѣнія. Мы видѣли, гдѣ были его симпатіи: освобожденіе крестьянъ, которое, кромѣ его экономическаго смысла, казалось ему дѣломъ простой человѣческой справедливости; равенство передъ закономъ; правильный судъ; въ литературѣ—возможность говорить о предметахъ, составляющихъ важнѣйшій интересъ не только общества, но и цѣлаго государства; со стороны писателей—честное отношеніе къ своему дѣлу, безъ мелкихъ и безчестныхъ расчетовъ своей личной выгоды, и т. д. Не разъ, какъ мы видѣли, онъ говоритъ своимъ противникамъ простыя, серіозныя слова, вра-

[1]) „Современникъ", 1863, № 5.

зумляющія о дѣйствительномъ положеніи вещей, съ желаніемъ предостеречь отъ грубой ошибки или грубой несправедливости (какъ, напримѣръ, въ переданномъ сейчасъ эпизодѣ съ г. Фетомъ). Изрѣдка онъ размышляетъ и о самомъ существѣ нашего общественнаго положенія и о цѣлой русской исторіи. Однимъ размышленіемъ этого рода мы закончимъ на этотъ разъ пересмотръ публицистическихъ произведеній Салтыкова и сдѣлаемъ небольшую оговорку.

Въ публицистическихъ статьяхъ, какъ вообще во всѣхъ произведеніяхъ Салтыкова, остается всегда нѣчто недоговоренное. Въ произведеніяхъ художественныхъ онъ говорилъ съ читателемъ образами: понятно, что въ этихъ случаяхъ теоретическое объясненіе и не должно было быть дѣломъ писателя; оно всегда неумѣстно въ художествѣ; притомъ, образы были почти всегда достаточно понятны. Гдѣ они получали нѣсколько преувеличенный, карикатурный, фантастическій видъ, тамъ это, если не приводилось капризомъ богатой фантазіи, то требовалось внѣшнею невозможностью говорить болѣе ясно. Это послѣднее въ особенности встрѣчалось въ его чисто-публицистическихъ трудахъ: онъ не любилъ столкновеній съ цензурой, старался избѣгать ихъ, не давать къ нимъ повода и, съ одной стороны, умѣлъ все-таки высказать свою мысль, а съ другой—хотѣлъ заставить самого читателя подумать, заставить его самого развивать тѣ мысли, которыхъ тему онъ давалъ. Это была настоящая форма бесѣды: онъ не просто догматически излагалъ свои положенія, но вводилъ самого читателя въ кругъ своихъ размышленій, предоставлялъ ему доканчивать начатую мысль и дѣлать выводъ... Такимъ образомъ, мысль Салтыкова во всемъ ея объемѣ должна быть восполняема тѣмъ, что онъ предоставлялъ завершать самому читателю.

Время, о которомъ говорилъ Салтыковъ, было еще очень близко къ великой реформѣ: прошло только два года послѣ освобожденія крестьянъ, съ котораго думали начинать новую эру, и, между тѣмъ, настроеніе нашего наблюдателя было весьма мало удовлетворительное. Оживленія общества не совершилось; новая эра открывалась скучно, почти безнадежно.

„Кислое время, кислая жизнь. Сидишь себѣ въ кабинетѣ, слѣдишь за журналами и газетами и спрашиваешь себя: да куда же она дѣвалась, эта жизнь? Остановилась она или просачивается гдѣ-нибудь; просачивается, быть-можетъ, безвѣстно гдѣ-нибудь и близко насъ, какъ просачиваются въ

болотѣ ключи, изъ которыхъ потомъ образуется хорошая, веселая и многоводная рѣка?..“

Но какую жизнь надо здѣсь понимать? Существовала ли у насъ когда-нибудь такая жизнь?

„Жизнь проявляется въ обществѣ въ двоякой формѣ. Есть жизнь всѣми признанная, пролагающая свое ложе открыто, совершенствующая себя на глазахъ всѣхъ, и есть жизнь непризнанная, но ищущая этого признанія неотступно: жизнь темная, погруженная въ подземную работу и цѣною величайшихъ жертвъ и усилій подготовляющая матеріалъ для жизни признанной. Положеніе первой очень удобное: просто, хоть не умирай. Пути себѣ она прокладываетъ по усмотрѣнію, совершенствуется не торопясь и тоже по усмотрѣнію, однимъ словомъ, устраиваетъ свой комфортъ, какъ ей хочется. Для нея собственно даже и въ путяхъ-то новыхъ нѣтъ надобности, потому что она свое ложе уже облюбовала и разлилась въ немъ со всѣми удобствами; потому что неудобства, происходящія отъ старыхъ, рутинныхъ путей, которымъ она слѣдуетъ, падаютъ всею своею тяжестью не на нее, жизнь веселую и спокойно текущую, а на другую, на ту, которая все стучится и достучаться не можетъ, на ту, которая работаетъ да работаетъ себѣ за кулисами“.

Но эта веселая, повидимому, всѣмъ довольная жизнь ищетъ все-таки обновленія; человѣкъ, находящійся, повидимому, наверху благополучія, ищетъ этого обновленія уже въ силу того, что человѣкъ не довольствуется однообразными ощущеніями. Было ли въ нашей жизни, въ тѣхъ ея сферахъ, которыя могли быть совершенно довольны, такое обновленіе?

Шесть лѣтъ тому назадъ,—говоритъ Салтыковъ,—у насъ началось какое-то движеніе, которое многихъ преисполнило гордынею и радостью. Откуда шло движеніе, мы себя не спрашивали: мы видѣли только, что нѣчто шевелилось.

„Какъ оказалось впослѣдствіи, это было движеніе мелочей и подробностей. Но кто же знаетъ? Быть-можетъ, именно этотъ-то мелочной характеръ обновленія и составлялъ тайную причину нашей радости; по крайней мѣрѣ, такъ можно догадываться изъ того, что къ этому движенію симпатически относились не только тѣ, которые, подобно г. Громекѣ, предварительно раздѣливши всѣ движенія на неподозрительныя и подозрительныя, отдаются первымъ со всею пламенностью, а послѣдними не увлекаются, но и тѣ, которые къ всякаго рода движенія поглядываютъ вообще неблагопріятно [1]). Въ немъ именно то и удобно было, что оно ничего не подкапывало, а только украшало... Понятно, что на первыхъ порахъ всякій самый маленькій смертный спѣшилъ заявить, что у него

[1]) Салтыковъ не разъ возвращается къ Громекѣ, который не мало писалъ тогда о нашихъ внутреннихъ вопросахъ (въ „Р. Вѣстникѣ“, а особенно въ „Отеч. Запискахъ“) именно въ этомъ, такъ-сказать, либерально-ретроградномъ духѣ, такъ что трудно было понять, чего онъ собственно желаетъ: такого рода направленій Салтыковъ не выносилъ.

имѣется на примѣтѣ маленькій вопросецъ, который, въ числѣ прочихъ маленькихъ вопросцевъ, своимъ разрѣшеніемъ весь этотъ вертоградъ утвердить и изукрасить можетъ, и что, такимъ образомъ, вопросовъ должно было вдругъ накопиться множество".

„И вдругъ,—говоритъ Салтыковъ далѣе,—мгновенно взбаламутившаяся поверхность общества столь же мгновенно сдѣлалась ровною и гладкою, какъ зеркало; повидимому, возможность ставить вопросы не прекратилась, повидимому, они и ставятся отъ времени до времени, а общество ни гугу, словно оцѣпенѣло, словно обуялось преднамѣренною, озорною безчувственностью. Значитъ ли это, что общество шесть лѣтъ тому назадъ жило? Значитъ ли, что оно до такой степени неустойчиво, что не можетъ вынести даже такого короткаго періода жизни; что оно равнодушно и малопризнательно, потому что мертво?"

Салтыковъ объясняетъ, что, собственно говоря, жизни и не было и нечему было останавливаться. Толки и споры были безплодны, потому что они не выходили за предѣлы простого разговора, не приводили ни къ какому практическому результату, и какъ скоро нужно было убѣдиться въ этомъ послѣднемъ, то, естественнымъ образомъ, пришло разочарованіе. „И если теперешнее мое разочарованіе доказываетъ отсутствіе жизни, то и недавнія очарованія мои отнюдь не доказывали присутствія ея". Это почти невѣроятно,—говоритъ Салтыковъ;—но если бы спросили, что онъ предпочитаетъ: теперешнее общество, совсѣмъ равнодушное и ни о чемъ не мечтающее, или общество недавнее, мечтавшее о внезапномъ водвореніи правды на землѣ посредствомъ уничтоженія чиновническихъ злоупотребленій,—онъ отдавалъ предпочтеніе первому.

„Есть что-то умиротворяющее въ этомъ спокойствіи; глаза слипаются сами-собою, въ ушахъ раздается разслабляющій звонъ. Точно вотъ плывешь по широкой рѣкѣ и вдругъ выбиваешься изъ силъ; мало-по-малу начинаютъ захлестывать волны, сознаніе постепенно ослабѣваетъ, и хотя руки и ноги еще работаютъ, но эта работа есть только послѣднее усиліе остывающей жизни; еще минута—и эти послѣднія усилія прекратятся, наступитъ спокойствіе... Хорошо это спокойствіе и само-по-себѣ, но въ особенности оно хорошо тѣмъ, что издали кажется чѣмъ-то гордымъ, какъ-будто бы человѣкъ говоритъ: вы не думайте, чтобы я не могъ бороться; а вотъ могу, да не хочу"...

Другимъ, напротивъ, нравилось то время; все-таки было веселѣе:

„Былъ шумъ, былъ говоръ, была суетня. Все равно, какъ мельница, на которую давно помольцы не везутъ никакого мелева и которой хозяинъ думаетъ: а ну-ка, пущу я снасть; пускай себѣ ходитъ жерновъ и безъ мелева! И вотъ, пошелъ стучать жерновъ, пошло ходить колесо; окрестность становится какъ-то веселѣе, кругомъ раздается шумъ и стукъ, какъ-будто

кто-то хлопочетъ, какъ-будто что-то живетъ... А кому охота справляться, что́ тутъ дѣлается? Напротивъ того, всякій думаетъ: куда хорошо въ этомъ мѣстѣ пожить; и рѣчка таково сладко журчитъ, и меленка мелетъ— все какъ-будто не одинъ, а на людяхъ!

„Вотъ какъ говорятъ защитники нашего начинавшагося молодого возрожденія, и я долженъ сознаться, что, съ точки зрѣнія мельницы, въ этомъ разсужденіи есть своя доля справедливости".

Но если жизнь признанная идетъ вяло, если ея прогрессъ является результатомъ механическаго нарастанія, которое можетъ продолжаться, можетъ и прекратиться, то гдѣ же скрывается настоящая историческая жизнь? Гдѣ другая руководящая сила?

„Да, эта сила есть; но какъ поименовать ее такимъ образомъ, чтобы читатель не ощетинился, не назвалъ меня вольтерьянцемъ или другимъ браннымъ именемъ и не заподозрилъ въ утопизмѣ? Успокойся, читатель! я не назову этой силы, а просто сошлюсь только на правительственную реформу, совершившуюся 19-го февраля 1861 года. Надѣюсь, что это не утопизмъ.

„Вникните въ смыслъ этой реформы, взвѣсьте ея подробности, припомните обстановку, среди которой она совершилась, и вы убѣдитесь: во-первыхъ, что, несмотря на всю забитость и безвѣстность, одна только эта сила и произвела всю реформу, и, во-вторыхъ, что, несмотря на неблагопріятныя условія, она успѣла положить на реформу неизгладимое клеймо свое, успѣла найти себѣ поборниковъ даже въ сферѣ ей чуждой.

„Это та самая сила, которая ничего не начинаетъ безъ толку и безъ нужды; это та сила, которая всякое начинаніе свое дѣлаетъ плодотворнымъ, претворяетъ въ плоть и кровь. Ревновали Владимиры Мономахи, ревновали Мстиславы, Ярославы, Іоанны Грозные и негрозные, склеивали, подмазывали, подглаживали, подстраивали—и все-таки оно разлеталось врозь, все-таки оно при первомъ же случаѣ оказывалось дряблымъ и несостоятельнымъ. („Что̀ такое это оно?" спроситъ читатель.—А я почемъ знаю!—отвѣчаю я.) А вотъ поревновалъ однажды Кузьма Мининъ Сухорукъ — и сдѣлалъ. Неужели же это Мининъ сдѣлалъ? И какъ онъ сюда попалъ? Какъ не затонулъ въ общей засасывающей пучинѣ? Нѣтъ, это не Мининъ сдѣлалъ, а сдѣлала сила, которая выбросила его изъ пучины; выбросила, не спросясь никого; выбросила потому, что бываютъ такія минуты въ исторіи, что самыя неизмѣримыя хляби разверзаются сами собой". Но эта сила проявляетъ себя рѣдко, и потому думаютъ часто, что ея совсѣмъ нѣтъ. „Подъ вліяніемъ этого обмана чувствъ, мы иногда заходимъ очень далеко, до того далеко, что не признаемъ никакой исторіи, кромѣ внѣшней, не допускаемъ никакого прогресса, кромѣ внѣшняго. Въ этомъ смыслѣ грѣшатъ даже такіе привилегированные народолюбцы, какими представляютъ себя, напримѣръ, славянофилы".

Правда, это заблужденіе было легко возможно, потому что внѣшняя исторія постоянно напоминала о себѣ. Мы увлекались фактами и совершенно искренно забывали, что гдѣ-то пишется другая исторія, своеобразная и не связанная

съ внѣшнею даже механически. Эта исторія пишется втихомолку и неярко: она не представляетъ собою сплошного рапорта о благосостояніи и преуспѣяніи, но, напротивъ того, не чужда скромнаго сознанія безсилія, скромныхъ сѣтованій объ ошибкахъ и неудачахъ; содержаніе ея раскрывается передъ нами туго и скорѣе поражаетъ горькимъ абсентеизмомъ и унылымъ воздержаніемъ, нежели проявленіями дѣятельной силы; но, тѣмъ не менѣе, и эта вынужденная скромность и это насильственное воздержаніе не могли безвозвратно загнать ее въ ту пучину безвѣстности, куда, рано или поздно, должна кануть исторія внѣшняя, со всѣмъ ея мишурнымъ блескомъ, со всѣмъ театральнымъ громомъ.

„Что это внутренняя, бытовая исторія существуетъ—въ томъ опять-таки служитъ порукой недавняя крестьянская реформа, на которую я уже указывалъ выше. Извѣстно, что еще очень недавно самая мысль объ освобожденіи крестьянъ казалась дикою и преслѣдовалась, какъ угрожающая общественному спокойствію. Казалось бы, что торжество такой мысли, которую все стремилось изгнать не только изъ жизни, но и изъ самаго народнаго представленія, должно было произвести въ народѣ переполохъ, должно было бы встрѣтить его неприготовленнымъ; однако, оказалось совсѣмъ напротивъ. Реформа не только привилась сразу, но сразу же оказалась заключающею въ себѣ зерно дальнѣйшаго развитія и усовершенствованій. Теперь крѣпостное право представляется почти въ такой же степени отдаленнымъ, какъ погромъ Батыевъ. И точно такое же явленіе произойдетъ и относительно другихъ реформъ, по поводу которыхъ мы загодя тужимъ и соболѣзнуемъ: не привьются, дескать, онѣ, не привьются къ нашему грубому народу.

„Поэтому мы, которые думаемъ, что родникъ жизни изсякъ, что творческая сила ея прекратилась, мы думаемъ и судимъ поверхностно. Мы принимаемъ за жизнь то, что́ собственно заключаетъ въ себѣ лишь призракъ жизни, и забываемъ, что есть жизнь иная, которая одна въ силахъ искупить наше безсиліе, которая одна можетъ спасти насъ. Эта сила не анархическая, а устроительная, и потому для всѣхъ равно симпатичная. Въ „Смутное время“ русскіе города пересылались и списывались между собою; но у какого же историка поднимется рука, чтобы назвать это движеніе анархическимъ? Вотъ, къ этой-то силѣ и должны мы обращаться и помнить, что какова бы ни была дѣятельность, но если она ищетъ себѣ опору индѣ, то эта дѣятельность пройдетъ мимо, каковы бы ни были ея намѣренія. Заботьтесь сколько угодно о насажденіи правды на землѣ—эта правда не оцѣнится и не признáется; допускайте, съ другой стороны, всякую неправду, всякую обиду—это будетъ явленіе горькое, но оно вынесется; оно вынесется, какъ выносится моровое повѣтріе. Тутъ не можетъ быть рѣчи даже о томъ, что́ хорошо и что́ худо; къ хорошему бытовая исторія отнесется точно такъ же равнодушно, какъ и къ худому.

„Итакъ, не станемъ приходить въ отчаяніе, а будемъ вѣрить. Жизнь не останавливается и не изсякаетъ. Если горькимъ насильствомъ не су-

ждено ей проявиться непосредственно, она просочится сквозь тѣ честныя сердца, которыя воспримутъ сѣмя ея и сторицею возвратятъ ей посѣянное".

Мы видѣли въ другомъ мѣстѣ, какъ самъ Салтыковъ объяснялъ *Исторію одного города*; въ приведенныхъ сейчасъ извлеченіяхъ мы находимъ положительное выраженіе его взгляда на нашу исторію и на народъ. Занятый настоящимъ, онъ рѣдко обращался къ вопросамъ исторіи; въ приведенной цитатѣ ясно, что на историческій вопросъ онъ смотрѣлъ такъ, какъ смотрѣлъ бы на него самый ревностный народникъ. Интересъ исторіи состоитъ для него не въ громкихъ фактахъ внѣшней исторіи, фактахъ весьма часто эфемернаго и сомнительнаго достоинства, а именно въ судьбѣ массы, изъ нѣдръ которой въ критическіе моменты является могущественная нравственная сила, рѣшающая самые жизненные вопросы народа и государства. Онъ высказалъ свою мысль мимоходомъ, не объясняя историческаго процесса, какимъ совершается это явленіе; но мысль понятна: она очень далека отъ того отрицанія, въ какомъ его укоряли, и даетъ то самое историческое представленіе, какимъ, если не ошибаемся, одушевлены лучшія работы по исторіи русскаго народа.

V.

Въ числѣ статей Салтыкова, не вошедшихъ въ собранія его сочиненій и частію теперь забытыхъ или совсѣмъ неизвѣстныхъ даже его почитателямъ, очень любопытны статьи, гдѣ высказываются его литературныя мнѣнія. Отчасти эти мнѣнія встрѣчаются въ тѣхъ публицистическихъ хроникахъ, на которыхъ мы до сихъ поръ останавливались, отчасти въ спеціальныхъ критическихъ замѣткахъ по поводу разныхъ явленій тогдашней литературы, крупныхъ и мелкихъ. Литературные взгляды большихъ писателей всегда интересны: они объясняютъ собственную дѣятельность писателя и могутъ доставлять важныя черты вообще для опредѣленія процесса художественнаго творчества. И въ томъ и въ другомъ отношеніи литературные взгляды Салтыкова нерѣдко чрезвычайно характерны.

Салтыковъ и въ упомянутыхъ трудахъ и, кажется, нигдѣ въ другихъ своихъ сочиненіяхъ не касался общихъ вопросовъ объ искусствѣ и о существѣ поэзіи, и вообще онъ не

вдавался въ отвлеченную философію; основа его взглядовъ въ этомъ отношеніи была, безъ сомнѣнія, та же, какая господствовала въ сороковыхъ годахъ, именно въ послѣдніе годы дѣятельности Бѣлинскаго; тѣмъ не менѣе, въ его отзывахъ о данныхъ литературныхъ фактахъ найдется много оригинальнаго. Прежде всего проходитъ во всѣхъ его сочиненіяхъ,—не говоря о тѣхъ частныхъ эпизодахъ, на которыхъ мы теперь остановимся,—высокое представленіе о литературѣ: любовь къ литературѣ, это—необходимая стихія его жизни, это точно болѣзнь по тѣмъ испытаніямъ, какія она постоянно приноситъ съ собою, но въ то же время—единственная дѣятельность, гдѣ онъ находитъ нравственное удовлетвореніе, гдѣ можетъ дать мѣсто своимъ задушевнымъ стремленіямъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, литература есть дѣятельность общественная, со всѣми обязанностями, какія налагаетъ подобная дѣятельность, и даже по преимуществу влекущая за собой строгую отвѣтственность: въ области литературы дѣйствіе писателя не есть единичный поступокъ, утопающій въ массѣ другихъ фактовъ, гдѣ ошибка можетъ не имѣть особливо серіозныхъ послѣдствій; дѣйствіе писателя не ограничивается данною минутой,—оно закрѣпляется печатью, и какъ благотворное, такъ и зловредное вліяніе его разспространяется на массу людей и на продолжительное время. Сужденія Салтыкова въ вопросахъ литературы поэтому всегда очень суровыя—не только въ публицистикѣ, гдѣ ставятся прямые общественные вопросы, но и въ поэтической области, потому что и послѣдняя всегда болѣе или менѣе, явно или косвенно, соприкасается съ тѣми же общественными вопросами. Мы увидимъ дальше, что онъ мало вѣритъ въ такъ-называемое „чистое искусство“: такимъ искусствомъ не были, по его взгляду, даже произведенія, повидимому отрѣшенныя отъ непосредственной дѣйствительности и посвященныя общимъ вопросамъ нравственной человѣческой жизни. Въ узкихъ предѣлахъ нашей литературы это чистое искусство есть тѣмъ болѣе нѣчто воображаемое. Напротивъ, литература тѣснѣйшимъ образомъ связана съ дѣйствительною жизнью, гдѣ вѣчно идетъ борьба враждебныхъ принциповъ или различныхъ ступеней развитія: писатель сознательно или безсознательно, но непремѣнно становится на ту или другую сторону, становится партизаномъ или врагомъ того или другого соціальнаго или нрав-

ственнаго начала. У него можетъ не быть такъ-называемой „тенденціи“, т.-е. какой-либо спеціальной, намѣренно-придуманной цѣли, но принадлежность къ тому или иному лагерю тѣмъ не менѣе выскажется. Мы видѣли, какъ горячо Салтыковъ принималъ къ сердцу то броженіе или то шатаніе понятій, какое послѣдовало въ нашемъ обществѣ и литературѣ тотчасъ послѣ исполненія крестьянской реформы; въ тогдашней печати не было, кажется, другого примѣра такой страстности, какая обнаруживалась въ обличеніяхъ Салтыкова. Ренегатство однихъ, запутанное резонерство другихъ вызывали въ немъ или язвительную насмѣшку, или раздражительное негодованіе, или, наконецъ, глубоко серіозныя указанія на простую сущность совершавшихся явленій. То же чуткое вниманіе направлялось у него и на произведенія чисто-литературныя.

Въ предыдущемъ изложеніи мы встрѣчались уже не разъ съ его мимоходными отзывами о романѣ Тургенева, въ то время самомъ крупномъ литературномъ явленіи, которое на многіе годы дало пищу литературнымъ толкамъ и, въ сущности, продолжаетъ давать ее до сихъ поръ. Очень возможно, что самъ Тургеневъ не ожидалъ того дѣйствія, какое произвели „Отцы и Дѣти“; дѣйствіе было однако, очень большое, не потому, чтобы романъ дѣйствительно вѣрно угадалъ и изобразилъ настоящее состояніе умовъ и характеръ двухъ поколѣній (хотя частію было и это), но потому, что общая тема, въ самомъ дѣлѣ, затронула спорный пунктъ или больное мѣсто тогдашняго общественнаго разлада. Сюжетъ, неважный въ романическомъ смыслѣ, направленъ былъ на различіе или противоположность двухъ поколѣній. Противоположность, несомнѣнно, была, и при томъ, чрезвычайно крупная, историческая. Она назрѣвала давнымъ-давно; въ молодыхъ поколѣніяхъ еще съ Николаевскихъ временъ, особливо съ „сороковыхъ“ годовъ, накоплялось отрицательное отношеніе къ господствующимъ идеямъ и нравамъ и стремленіе къ иному, болѣе человѣчному порядку вещей. Въ новое царствованіе эти давніе порывы нашли удовлетвореніе въ крестьянской реформѣ. Освобожденіе крестьянъ затронуло матеріальные интересы именно того сословія, которому принадлежало наибольшее образованіе, въ средѣ котораго, по преимуществу, развивались и созрѣвали прогрессивныя стремленія. Наиболѣе просвѣщенная и великодушная часть этого

сословія помирилась съ матеріальными потерями, привѣтствовала реформу и положила на ея осуществленіе прилежный добросовѣстный трудъ; но понятно, что не такъ относилась къ дѣлу масса этого сословія. Въ массѣ не бываетъ героевъ и великодушныхъ людей; въ ней должны были сказаться нарушенные матеріальные интéресы, тѣмъ болѣе, что для очень многихъ потеря становилась настоящимъ экономическимъ кризисомъ, и къ перенесенію этого кризиса большинство не было ни предупреждено ни подготовлено: прежніе, очень недавніе порядки, въ которыхъ еще вчера жило общество, напротивъ, категорически настаивали на незыблемости крѣпостного права, какъ одной изъ государственныхъ „основъ", сомнѣніе въ которомъ не допускалось и каралось какъ политическое преступленіе. Понятно, что вся эта масса—и къ ней принадлежало также много вліятельныхъ и богатыхъ людей стараго вѣка—хотя и покорилась необходимости, но въ душѣ отвергала реформу самымъ рѣшительнымъ образомъ, какъ несправедливость и даже какъ государственную ошибку, допустившую въ такомъ серіозномъ и громадномъ вопросѣ тотъ либерализмъ, который еще въ недавнее время столь строго преслѣдовался самою властью. Съ отрицаніемъ реформы соединялось у этихъ людей отрицаніе всего новаго порядка идей, который получилъ возможность хотя до извѣстной степени высказаться съ первыхъ годовъ новаго царствованія, и раздраженные враги освобожденія крестьянъ, разумѣется, не щадили красокъ для изображенія превратныхъ и опасныхъ принциповъ новѣйшаго либерализма. Въ первое время нашего „прогресса" послѣ Крымской войны эта консервативная точка зрѣнія замолкла и почти не высказывалась, подъ давленіемъ фактовъ, слишкомъ краснорѣчиво изобличавшихъ старый застой, а также подъ давленіемъ авторитета самой власти, которая хотя весьма осторожно и въ уклончивыхъ формахъ, но тѣмъ не менѣе рѣшительно заявила иниціативу крестьянской и другихъ реформъ; отчасти въ то время эта консервативная партія еще не имѣла достаточнаго матеріала для нападеній на либерализмъ, отождествленный съ молодымъ поколѣніемъ, которое въ то время естественно стало его ревностнымъ прозелитомъ. Но это длилось недолго. „Либерализмъ", говоря вообще, былъ по всѣмъ историческимъ преданіямъ не во вкусѣ нашего быта, и то настроеніе,

какое питалось большинствомъ, въ концѣ-концовъ взяло верхъ въ общественной массѣ, а также и во взглядахъ правительства. Началось обратное теченіе, и съ перваго раза, еще съ 1861, а особливо съ 1862 года, хлынулъ потокъ злостныхъ обвиненій противъ молодого поколѣнія, гдѣ всякое лыко стало ставиться въ строку, даже такое лыко, которое совсѣмъ къ дѣлу не относилось; въ литературѣ начались отступничества, благоразумныя разсужденія о „постепенности", философскія размышленія о „почвѣ", а затѣмъ злостные походы и прямые доносы на либерализмъ молодыхъ поколѣній и тому подобное; въ жизни общественной—соотвѣтственныя явленія.

Въ эту минуту явился романъ Тургенева. Мы говорили прежде, какъ онъ былъ принятъ разными лагерями. Салтыковъ замѣчалъ съ укоризной, что Тургеневъ оказалъ услугу реакціонному лагерю, выдумавши слово „нигилизмъ"; въ немъ нашли готовую кличку для понятія, котораго не умѣли до тѣхъ поръ выразить противники молодого поколѣнія, но кличку безсмысленную, потому что она давала только брань, а вовсе не опредѣленіе весьма серіознаго общественнаго разлада. Нѣтъ сомнѣнія, и самъ Салтыковъ, вѣроятно, не сомнѣвался, что Тургеневъ нисколько не разсчитывалъ такъ услужить крѣпостникамъ; его противоположеніе отцовъ и дѣтей вращалось въ другой области: отцы—это люди сороковыхъ годовъ, какъ онъ ихъ понималъ, идеалисты и любители изящнаго; дѣти—это сухіе реалисты, равнодушные къ искусству и доводящіе разсудочный анализъ до разрушенія всѣхъ тѣхъ поэтическихъ стремленій, которыя одни облагораживаютъ человѣческую жизнь. Но, не говоря о томъ, что внѣшнимъ образомъ появленіе романа Тургенева было обставлено весьма для него неблагопріятно, романъ появился въ журналѣ, въ то время явно вступавшемъ на реакціонный путь,—и такъ или иначе встрѣтилъ сочувствіе въ такихъ сферахъ, сочувствіе которыхъ ему самому бывало въ другое время нежелательно; и не говоря о томъ, что въ романѣ, несомнѣнно, отразились въ той или другой степени часто личныя антипатіи писателя, Салтыковъ видѣлъ глубокую ошибку въ самомъ изображеніи двухъ поколѣній. Идеализмъ людей сороковыхъ годовъ, которому Тургеневъ посвятилъ здѣсь столько сочувствій, имѣлъ свои слабыя стороны: если въ средѣ лучшихъ представителей той эпохи

этотъ идеализмъ велъ къ дѣятельному протесту противъ невѣжественнаго застоя и безчеловѣчныхъ нравовъ, то въ людяхъ средняго, обыкновеннаго уровня онъ слишкомъ часто вырождался въ простое идеальничанье, въ маниловское самодовольство, которое сводилось къ лѣнивой мечтательности въ самой средѣ крѣпостного быта. Съ другой стороны, опредѣлить стремленія новыхъ поколѣній какъ „нигилизмъ",—слово, которое, по замѣчанію Салтыкова, не имѣетъ никакого смысла,—значило совсѣмъ не понять этихъ стремленій, въ которыхъ, напротивъ, было, можетъ-быть, не вполнѣ выработанное (по внѣшней невозможности), но весьма опредѣленное содержаніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, Тургеневъ былъ авторитетный писатель, за которымъ надо было предполагать близкое знакомство съ дѣломъ, писатель, за которымъ признавали знаніе русскаго общества и въ томъ лагерѣ, противъ котораго онъ теперь, несомнѣнно, выступалъ. Потому неправильность, то-есть просто фактическую невѣрность изображенія, Салтыковъ считалъ тѣмъ болѣе предосудительною ошибкой Тургенева, тѣмъ болѣе вредными ея послѣдствія, и это было справедливо. Салтыковъ подмѣтилъ вѣрно слабую сторону тургеневскихъ идеалистовъ, изъ которыхъ, какъ онъ подозрѣвалъ, могли бы выходить отличные молодые дѣльцы новѣйшаго реакціоннаго направленія, какихъ онъ въ изобиліи изображалъ въ своихъ произведеніяхъ съ первыхъ 60-хъ годовъ [1]). Сколько мы знаемъ, у Салтыкова осталась до конца доля извѣстнаго недовѣрія къ Тургеневу, именно недовѣрія къ правильности его пониманія нашихъ общественныхъ отношеній.

---

[1]) Выше мы упоминали въ одной изъ общественныхъ хроникъ Салтыкова („Современникъ", 1864, № 3) одинъ изъ первыхъ типовъ этого рода, представленный Салтыковымъ, типъ молодого бюрократа, воспитаннаго „въ очень миломъ заведеніи, имѣвшемъ спеціальностью выпускать изъ нѣдръ своихъ совершенно готовыхъ общественныхъ дѣятелей", и, несмотря на свою молодость, уже выработавшаго теорію ежовыхъ рукавицъ, чѣмъ и обратилъ на себя вниманіе вліятельныхъ покровителей. Начиная говорить объ этомъ типѣ, Салтыковъ замѣчаетъ, что на этого рода молодомъ поколѣніи „могутъ съ довѣрчивостью и любовію отдохнуть взоры московскихъ публицистовъ". „И если бы,—продолжаетъ Салтыковъ,—И. С. Тургеневъ попристальнѣе слѣдилъ за нашею современностью, то нѣтъ сомнѣнія, что отъ наблюдательнаго взора его не ускользнуло бы это новое явленіе русской жизни. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что уже въ изображеніи молодого Кирсанова (въ „Отцахъ и Дѣтяхъ") онъ обнаружилъ нѣкоторые признаки знакомства съ нимъ".

Въ ту пору, какъ извѣстно, появился цѣлый рядъ обличительныхъ повѣстей и романовъ, направленныхъ противъ молодого поколѣнія: „Марево“ Клюшникова, „Взбаламученное море“ Писемскаго, „Некуда“ Лѣскова и т. п. Тургеневъ, въ романѣ котораго, и кромѣ фигуры Базарова, были обличительныя подробности по адресу молодого поколѣнія, являлся какъ бы иниціаторомъ этого направленія, и появленіе такихъ сотрудниковъ въ ту пору увеличивало неблагопріятное впечатлѣніе, произведенное въ другой долѣ литературы „Отцами и Дѣтьми“. Немудрено, что Салтыковъ могъ цитировать героевъ и героинь Тургенева на ряду съ таковыми же Клюшникова.

Въ началѣ 1864 года [1]) Салтыковъ далъ свой отзывъ и по поводу „Марева“. Этотъ романъ, теперь, кажется, абсолютно забытый, въ свое время произвелъ пріятное впечатлѣніе между людьми, находившими удовольствіе въ травлѣ молодого поколѣнія. Салтыковъ остановился на немъ не ради какихъ-нибудь литературныхъ достоинствъ—онъ ихъ совершенно не находилъ и считалъ романъ младенческимъ произведеніемъ,—а какъ на примѣрѣ тогдашнихъ общественныхъ вкусовъ. Романъ появился въ томъ же „Русскомъ Вѣстникѣ“. Въ немъ изображены два различные, даже противоположные типа или міровоззрѣнія въ средѣ молодого поколѣнія: одинъ типъ—спеціально „нигилистическій“, состоящій изъ всякаго рода мальчишескихъ отрицаній, будто бы „политическаго“ бреда, типъ, къ которому авторъ ощущаетъ и старается внушить величайшее презрѣніе; другой типъ въ средѣ того же молодого поколѣнія отличается, напротивъ, великимъ благоразуміемъ и даже старческою мудростью. Это нѣкто Русановъ, видимо олицетворяющій идеалы автора и заключающій въ себѣ, по его мнѣнію, полное разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ, какіе могли возникать въ нашемъ общественномъ положеніи. Типъ Русанова представлялъ собой цѣлую точку зрѣнія, которая рекомендовалась обществу, и Салтыковъ, оставляя въ сторонѣ обличительную сторону романа, рядъ лицъ, долженствовавшихъ изобразить превратныя идеи и испорченность молодого поколѣнія, остановился въ особенности на этомъ Русановѣ.

---

[1]) „Современникъ“, № 3.

„Герой этого романа, Русановъ, человѣкъ еще молодой, едва начинающій свое жизненное поприще, но уже спокойно расположившійся въ лагерѣ мысли, безопасно торжествующей и неотразимо нападающей[1]). Какимъ образомъ онъ пришелъ къ этому безмятежію, авторъ не объясняетъ и заставляетъ читателя предполагать, что человѣкъ этотъ такъ и родился ужъ мудрецомъ. Тѣ вопросы, въ постановкѣ которыхъ сгораютъ цѣлыя поколѣнія, въ его глазахъ совсѣмъ не составляютъ вопросовъ, а просто представляютъ собой явленія горячечнаго бреда, о чемъ—трудно объяснимаго, а по результатамъ своимъ даже и опаснаго. Даже не на томъ совсѣмъ настаиваетъ этотъ юный герой, что нельзя съ презрѣніемъ обходить дѣйствительность, что необходимо считаться съ нею даже въ томъ случаѣ, если она положительно тѣснитъ и гнететъ—на этомъ-то пунктѣ, пожалуй, можно было бы и поговорить съ нимъ,—но на томъ, что никто не имѣетъ даже права возмущаться дѣйствительностью уже по тому одному, что она дѣйствительность, и что ничья мысль не должна выходить за предѣлы той сферы, которая почему-то и кѣмъ-то признана для нея достаточною. Такое воззрѣніе на жизнь очень замѣчательно, въ особенности, если обладатель его, Русановъ, самъ принадлежитъ къ молодому поколѣнію, ибо молодость, при обыкновенныхъ условіяхъ, скорѣе наклонна къ преувеличеніямъ, а здѣсь она является наклонною къ сокращеніямъ. Стало-быть, здѣсь что-нибудь одно изъ двухъ: либо преждевременная зрѣлость, либо фаталистическая ограниченность“.

Салтыковъ говоритъ, что если вникнуть въ дѣло, то это скорѣе ограниченность. Герой Клюшникова не заявляетъ себя врагомъ прогресса, но, повидимому, не понимаетъ значенія этого слова.

„Умственному его оку представляются два прогресса: одинъ какой-то шутовской и пошловатый, другой разумный; противъ перваго онъ вооружается, второму сочувствуетъ. Первый представляется ему въ видѣ или гимназическихъ и кадетскихъ протестовъ (въ сущности, очень невинныхъ, существовавшихъ всегда съ тѣхъ поръ, какъ существуютъ гимназіи и корпуса, и подлежащихъ обличенію развѣ со стороны одного училищнаго начальства), или же въ видѣ темной интриги, всецѣло зиждущейся на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, которыми проникнута и столь любезная ему дѣйствительность. Если бы Русановъ тѣснѣе спеціализировалъ предметы своихъ антипатій, если бы онъ сказалъ прямо: мнѣ кажутся ничтожными гимназическіе протесты, недозволительными тѣ поползновенія, которымъ даетъ мѣсто слишкомъ возбужденное чувство національности, тогда, по крайней мѣрѣ, видно было бы, о чемъ онъ говоритъ; но онъ болѣе заставляетъ догадываться и подозрѣвать, нежели объясняетъ, и потому въ умѣ читателя невольно возникаетъ сомнѣніе, что тутъ идетъ рѣчь совсѣмъ не о школь-

[1]) Эта „безопасно торжествующая“ и „неотразимо нападающая“ мысль означаетъ то реакціонное направленіе, которое свило тогда гнѣздо въ „Русскомъ Вѣстникѣ“, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“, въ „Нашемъ Времени“ и, частью, въ другихъ изданіяхъ, и въ тогдашнемъ реакціонномъ направленіи самой власти „безопасно“ предавалась всякимъ инсинуаціямъ противъ потерявшаго право существованія либерализма.

ныхъ продѣлкахъ и не объ интригахъ, а о чемъ-то другомъ. Въ чемъ заключается это „другое", Русановъ не даетъ положительнаго отвѣта, потому что и самъ не знаетъ того явленія, которое возбуждаетъ въ немъ враждебное чувство. Очевидно, онъ имѣетъ въ виду тѣ самыя бранныя слова, о которыхъ говорено выше, но выбираетъ гимназическія продѣлки и интриги потому единственно, что онѣ болѣе доступны его пониманію, потому что онѣ представляютъ болѣе поводовъ для увеселенія и потому, наконецъ, что поражать на другой почвѣ было бы не совсѣмъ для него удобно. Отсюда непрерывная путаница; едва начнетъ читатель утѣшаться вмѣстѣ съ авторомъ описаніями невинныхъ затѣй взбудораженной гимназической мысли, какъ Русановъ уже спѣшитъ изгладить веселое впечатлѣніе непріятными намеками на то, что эти затѣи совсѣмъ не такъ невинны, какъ кажутся, но что онѣ суть порожденіе того вреднаго вліянія, которое проникаетъ извнѣ, вслѣдствіе распространенія въ обществѣ нѣкоторыхъ темныхъ силъ, о которыхъ ему, Русанову, достовѣрно извѣстно. И такъ какъ Русановъ ничего, кромѣ намековъ, все-таки не даетъ (ибо, по ограниченности своей, и дать-то ничего другого не можетъ), то простодушный читатель такъ и остается при наивномъ убѣжденіи, что въ гимназическихъ протестахъ заключается весь смыслъ русскаго прогресса".

Дальше Салтыковъ опредѣляетъ понятіе Русанова о прогрессѣ изъ его собственныхъ рѣчей и дѣйствій.

„Онъ что-то любитъ, о чемъ-то волнуется, къ чему-то стремится, но все это дѣлаетъ до такой степени *разумно, основательно и аккуратно*, что читателю кажется, что онъ вовсе ничего не любитъ, вовсе ни о чемъ не волнуется и вовсе ни къ чему не стремится. Это убѣжденіе еще больше укрѣпляется тѣмъ обстоятельствомъ, что къ чему бы ни прикоснулся нашъ юный скопецъ, за что́ бы онъ ни принялся, вездѣ онъ проваливается самымъ постыднымъ образомъ. Чтобы показать, какъ слѣдуетъ дѣйствовать истинному гражданину, онъ поступаетъ на службу въ гражданскую палату (причемъ довольствуется весьма скромною должностью) и проваливается; чтобы показать, какъ слѣдуетъ имѣть общеніе съ народомъ, онъ идетъ уговаривать взбудораженныхъ крестьянъ—и проваливается. И хотя неудачи свои онъ объясняетъ темною интригой, которая, словно чудомъ какимъ, охватила цѣлый здоровый край, однако, это—натяжка, очевидная для всякаго сколько-нибудь смышленаго читателя. Отчего же ваша *правда*, г. Русановъ, такъ слабо дѣйствуетъ, а эта *ложь*, противъ которой вы ратуете, представляется вамъ всесильною? Вотъ вопросъ, который невольно возникаетъ въ умѣ всякаго, слушающаго вашу умѣренно-либеральную размазню, и на который вы, конечно, не отвѣтите. А дѣло, между тѣмъ, очень просто; причина вашего неуспѣха заключается совсѣмъ не въ общемъ затменіи здраваго смысла и не во всесильномъ владычествѣ лжи, а въ томъ, что вы, говоря по правдѣ, ничего никогда не любили, ничего никогда не желали, и выдаете за правду ту теорію каплуньяго самодовольства, которая можетъ удовлетворять только людей положительно нищихъ духомъ".

Изъ своихъ изученій Русанова и его понятій о прогрессѣ Салтыковъ выводитъ заключеніе, что авторъ романа неправильно понялъ это лицо.

„Вообще этотъ типъ,—говоритъ онъ,—очень замѣчательный по той внутренней комической струѣ, которая изобильно течетъ въ немъ, и тѣмъ больше досадно, что талантливый авторъ не только не воспользовался этою струей, но даже относится къ своему герою очень серіозно“.

Вѣроятно, къ этому самому произведенію относится замѣтка Салтыкова въ предшествующей общественной хроникѣ. Салтыковъ выражаетъ огорченіе по поводу господства въ нашей литературѣ соглядатайскаго элемента.

„На-дняхъ, напримѣръ, я прочиталъ въ одномъ журналѣ повѣсть начинающаго писателя, и не знаю почему, но мнѣ показалось, что я провелъ нѣсколько часовъ въ обществѣ милаго, образованнаго и талантливаго квартальнаго надзирателя. Это меня огорчило. Не потому огорчило, чтобы я находилъ сравненіе съ квартальнымъ надзирателемъ невыгоднымъ для русскаго литератора, но потому собственно, что я (говоря слогомъ „Московскихъ Вѣдомостей“) осмѣливался думать, что оба эти должностныя лица могутъ приносить пользу каждый на своемъ мѣстѣ.

„Помнится, нѣкогда („Современникъ“, 1863, № 1—2, „Петербургскіе театры“) я находилъ живую органическую связь между цѣлями, которыя преслѣдуютъ искусство, и тѣми, которымъ служитъ полиція. „Цѣль искусства—красота, цѣль полиціи—порядокъ; но что такое красота? что такое порядокъ? Красота есть гармонія, есть порядокъ, разсматриваемый въ сферѣ общей, такъ-сказать, идеальной; порядокъ, въ свою очередь, есть красота... красота, такъ-сказать, государственная“. Вотъ что говорилъ я годъ тому назадъ, и такъ какъ не отрицаюсь отъ этого взгляда и доднесь, то весьма натурально, что не могу порицать его и въ начинающихъ моихъ собратьяхъ по ремеслу. Тѣмъ не менѣе, не знаю почему, но я совсѣмъ не былъ бы огорченъ, если бъ въ примѣненіи этого взгляда, въ проведеніи его въ литературу замѣшалась нѣкоторая непослѣдовательность. Мнѣ кажется, что это даже нисколько бы не отняло цѣны у дебюта молодого писателя“.

Салтыковъ находитъ, что лучше было бы, если бы у автора проявился какой-нибудь недостатокъ, какая-нибудь „юная запальчивость“, которая имѣетъ въ юности неотразимую прелесть, неумѣніе овладѣть формою: читатели оцѣнили бы этотъ молодой задоръ и, вѣроятно, не ошиблись бы въ своей снисходительности. „Но я положительно не знаю болѣе горькаго горя, какъ то, когда начинающій писатель съ перваго же раза является совсѣмъ мастеромъ своего дѣла. Такому писателю я ничего не могу предвѣщать въ будущемъ, ибо ему уже некуда развиваться, ибо онъ завялъ и сморщился при самомъ своемъ рожденіи“. И онъ прибавляетъ дальше: „Читатель! это правда, что я говорю съ тобой обиняками, но надѣюсь, что ты поймешь то чувство, которое заставляетъ меня не называть никого“.

Рѣчь шла, повидимому, о „Маревѣ“. Предсказаніе Сал-

тыкова осуществилось. Авторъ этого романа въ своихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ не выбился изъ самой ординарной посредственности.

Не болѣе высокаго мнѣнія былъ Салтыковъ о патентованномъ писателѣ, который въ тѣ же годы возымѣлъ несчастную мысль явиться обличителемъ новыхъ стремленій молодого поколѣнія. Выше мы упоминали мимоходный отзывъ Салтыкова о „Взбаламученномъ морѣ“ Писемскаго, какъ объ удручающемъ произведеніи, которое свойствами своего живописанія способно довести читателя до полной безчувственности, напр., даже къ запаху гутуевскихъ боенъ. Болѣе подробную оцѣнку литературныхъ свойствъ Писемскаго Салтыковъ далъ въ разборѣ извѣстной драмы этого писателя „Горькая судьбина“, о которой нѣкогда не мало говорили, но которая оставила въ Салтыковѣ самое неблагопріятное впечатлѣніе, какъ, впрочемъ, почти вся литературная дѣятельность Писемскаго. Салтыковъ относится къ этому писателю, который славился какъ одинъ изъ наиболѣе видныхъ нашихъ „реалистовъ“, съ нескрываемою антипатіей. И въ самомъ дѣлѣ, Писемскій, при несомнѣнномъ талантѣ, отличался такою грубоватостью формы, такимъ первобытнымъ міросозерцаніемъ, которыя дѣлали его совершенно неспособнымъ понять ни сложныхъ явленій общественной жизни, которую онъ брался, однако, изображать, ни психологическаго міра своихъ гороевъ. На этотъ разъ Салтыковъ остановился на произведеніи, представлявшемъ картину изъ народнаго быта, гдѣ Писемскій также считался знатокомъ: но по поводу „Горькой судьбины“ онъ даетъ и вообще характеристику таланта Писемскаго. Пьеса представляла эпизодъ изъ временъ крѣпостного права и нѣсколько лѣтъ не могла быть дана на сценѣ, повидимому, изъ какихъ-то опасеній, что она произведетъ слишкомъ возбуждающее дѣйствіе. Салтыковъ упоминаетъ объ этомъ обстоятельствѣ въ слѣдующихъ словахъ:

„Нѣсколько лѣтъ эту драму не давали въ театрѣ—вѣроятно, все собирались съ духомъ, какъ бы не слишкомъ ошеломить публику, но наконецъ-таки рѣшились. Оказалось, что публика осталась къ пьесѣ, поставленной на сценѣ, точно такъ же равнодушною, какъ и къ пьесѣ, нѣкогда погребенной на страницахъ „Библіотеки для чтенія“; оказалось, что въ ней нѣтъ ни гремучаго серебра, ни другихъ разрывающихъ составовъ, которые въ ней предполагались. Пьеса прошла тихо, не возбудивъ ничего, кромѣ

недоумѣнія и тѣхъ же самыхъ вопросовъ, которые слышались при первоначальномъ появленіи ея въ печати".

Салтыковъ слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Писемскаго, какъ со стороны его художественнаго исполненія, такъ и со стороны его міровоззрѣнія:

„Никто изъ самыхъ рьяныхъ поклонниковъ Писемскаго, конечно, не возьметъ на себя доказывать, что талантъ этого писателя симпатиченъ. Въ немъ прежде всего поражаетъ необыкновенная ограниченность взгляда, крайняя неспособность мысли къ обобщеніямъ и замѣчательная неразвитость. Повидимому, все, что выходитъ изъ ряда самой простой, обыденной жизни: умыванья, одѣванья, питья, ѣды и половыхъ влеченій, совершенно недоступно ему и возбуждаетъ въ немъ насмѣшку и недовѣріе. Отношенія автора къ создаваемымъ имъ образамъ и разсказываемымъ происшествіямъ имѣютъ характеръ темный и, такъ-сказать, плотяный. Онъ удачно ловитъ внѣшніе признаки и лѣпитъ изъ нихъ фигуры, по бо́льшей части довольно выпуклыя, но глаза у этихъ фигуръ всегда оловянные, а той тонкой струи жизни, которая именно и заставляетъ выхваченный изъ дѣйствительности образъ двигаться, радоваться, страдать и трепетать, здѣсь нѣтъ и въ поминѣ. Можно сказать, что г. Писемскій относительно героевъ своихъ постоянно исправляетъ роль гробовщика; подобно статуѣ командора въ „Донъ-Жуанѣ", эти лица проходятъ мимо глазъ читателя и стучатъ своими каменными ступнями.

„Даже въ нашей насквозь проникнутой реализмомъ литературѣ г. Писемскій представляетъ явленіе крайнее и исключительное: онъ и въ ней стоитъ особнякомъ, несмотря на то, что, съ точки зрѣнія внѣшнихъ признаковъ, вполнѣ принадлежитъ ей. Всякій, самый неважный писатель реальной школы, принимаясь за свое дѣло, знаетъ, что́ онъ хочетъ сказать; въ самомъ ничтожномъ разсказцѣ этой категоріи читатель чувствуетъ отношеніе автора къ факту, видитъ мысль, видитъ свѣтъ. Г. Писемскій положительно не знаетъ, что́ онъ хочетъ сказать и въ какія отношенія можетъ стать къ предмету; онъ выкладываетъ передъ читателемъ груды человѣческихъ тѣлъ и говоритъ: вотъ тѣла, которыя можно было бы назвать мертвыми, если бъ въ нихъ не проявлялось нѣкоторыхъ низшаго сорта движеній, свойственныхъ, между прочимъ, и человѣческимъ организмамъ. Отсутствіе идеала выходитъ полное, міросозерцанія никакого и въ результатѣ—страшная духота. Читатель страдаетъ, но совсѣмъ не оттого, что авторъ выводитъ его изъ состоянія безсознательнаго очарованія и заставляетъ дѣлать посылки отъ дѣйствительности художественной къ дѣйствительности настоящей, а просто оттого, что его вынуждаютъ нѣсколько времени оставаться въ злокачественной, зараженной тлѣніемъ, атмосферѣ. Ясно, что талантъ, обладающій такими грубыми свойствами, можетъ заявить свою силу только въ созданіи извѣстнаго рода диковинъ, и что интересъ, возбуждаемый этими диковинами, совершенно удовлетворительно объясняется простымъ чувствомъ любопытства" [1]).

---

[1]) Напомнимъ при этомъ характеристику Писемскаго, сдѣланную, впослѣдствіи, г. Венгеровымъ, спеціально изучавшимъ этого писателя. Его впечатлѣнія и выводы нерѣдко очень совпадаютъ съ заключеніями Салтыкова.

По этому поводу Салтыковъ объясняетъ со свойственными ему сильными оборотами, что́ значитъ это отсутствіе идеаловъ, равняющееся отсутствію общественнаго взгляда.

„Жить въ тюрьмѣ еще не значитъ понимать весь ужасъ этого положенія; быть поставленнымъ въ необходимость копаться въ навозѣ и нечистотахъ еще не значитъ сознавать, что эти нечистоты суть дѣйствительно нечистоты, и что роль изыскателя въ настоящемъ случаѣ есть роль ненормальная и даже въ высшей степени противная. Общественное значеніе писателя (а какое же и можетъ быть у него иное значеніе?) въ томъ именно и заключается, чтобы пролить лучъ свѣта на всякаго рода нравственныя и умственныя неурядицы, чтобъ освѣжить всякаго рода духоты вѣяніемъ идеала. Какимъ путемъ эта цѣль можетъ быть достигнута—это зависитъ отъ интимныхъ свойствъ каждаго отдѣльнаго таланта, но дѣло въ томъ, что писатель, котораго сердце не переболѣло всѣми болями того общества, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, едва ли можетъ претендовать въ литературѣ на значеніе выше посредственнаго и очень скоропреходящаго“.

Салтыковъ предупреждаетъ читателя, что онъ вовсе не требуетъ (какъ обыкновенно думаютъ) изображенія „идеальныхъ людей“, снабженныхъ всякими добродѣтелями; онъ требуетъ только присутствія идеала въ міровоззрѣніи писателя, и этотъ идеалъ можетъ сказаться даже въ изображеніяхъ, наполненныхъ только отрицательными типами. Таковъ „Ревизоръ“ Гоголя.

„Никто не станетъ отрицать присутствія идеала въ этой комедіи. Зритель выходитъ изъ театра совсѣмъ не въ томъ спокойномъ состояніи, въ какомъ онъ туда пришелъ; мыслящая сила его возбуждена; обокъ съ запечатлѣвшимися въ его умѣ живыми образами возникаетъ цѣлый рядъ вопросовъ, которые, въ свою очередь служатъ, исходнымъ пунктомъ для умственной работы совершенно особой и самостоятельной. Зритель становится чище и нравственнѣе совсѣмъ не потому, чтобы онъ вотъ-вотъ сейчасъ пошелъ да и сталъ благодѣтельствовать или раздавать свое имѣніе нищимъ, а просто потому, что сознательное отношеніе къ дѣйствительности уже само-по-себѣ представляетъ высшую нравственность и высшую чистоту. Тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, чтобы прописать человѣку какой-нибудь буколическій рецептъ, въ родѣ тѣхъ, которые прописываются въ каллиграфическихъ прописяхъ и тѣхъ противныхъ дѣтскихъ книжонкахъ, которыми московское общество распространенія безполезныхъ книгъ отравляетъ нашихъ дѣтей, а въ томъ, чтобы напомнить человѣку, что онъ человѣкъ. Все это очень вѣрно, хотя нѣсколько вычурно, изображено самимъ Гоголемъ въ его „Разъѣздѣ“, который мы не можемъ достаточно рекомендовать писателямъ, упражняющимся, подобно г. Писемскому, на поприщѣ русской беллетристики“.

Нельзя не видѣть, что въ этомъ теоретическомъ изложеніи высказывается собственная природа Салтыкова, какъ писателя. Его произведенія потому и производили впечатлѣніе, и самъ онъ, кромѣ своего таланта, пріобрѣталъ

первостепенное значеніе въ литературѣ, что его сердце переболѣло всѣми болями общества, въ которомъ онъ дѣйствовалъ; во всѣхъ его произведеніяхъ не найдется ни одного такъ-называемаго „идеальнаго лица", но идеалъ присутствовалъ въ нихъ неизмѣнно, какъ тотъ высшій мотивъ, который возбуждалъ его творчество и который ощущался всѣми его читателями, способными чувствовать идеалъ. Его произведенія создаютъ то самое впечатлѣніе, какимъ онъ изображаетъ впечатлѣніе „Ревизора".

Далѣе, по адресу писателей въ родѣ Писемскаго, Салтыковъ прибавляетъ другое наставленіе, въ сущности элементарное, но напомнить о которомъ было не излишне. Салтыковъ, указываетъ, что одна изъ главныхъ обязанностей художника состоитъ въ устройствѣ внутренняго міра его героевъ.

„Человѣкъ есть организмъ сложный, а потому и внутренній его міръ до крайности разнообразенъ; слѣдовательно, тотъ писатель, который населилъ этотъ міръ признаками совершенно однообразными, который исчерпаетъ его одной или немногими нотами,—тотъ писатель, говоримъ мы, быть-можетъ, нарисуетъ картину очень рѣзкую и даже въ извѣстномъ смыслѣ рельефную, но вмѣстѣ съ тѣмъ невѣрную и безобразную. Нѣтъ того человѣка на свѣтѣ, который былъ бы сплошь злодѣемъ или сплошь добродѣтельнымъ, сплошь трусомъ или сплошь храбрецомъ, и т. д. У самаго плохого индивидуума имѣются свои проблески сознанія, свои возвраты, свои, быть-можетъ, неясныя, но тѣмъ не менѣе отнюдь не выдуманныя порыванія къ чему-то такому, что зовется справедливостью и добромъ. Эта-то нравственная невыдержанность и составляетъ ту общечеловѣческую основу, на которой художественное чувство съ одной стороны мирится съ безобразіемъ извѣстныхъ жизненныхъ типовъ, а съ другой стороны не допускаетъ себя расплываться въ морѣ безразличія и отвлеченностей. Если художникъ не проникнется этимъ условіемъ всецѣло, если онъ будетъ видѣть въ людяхъ носителей ярлыковъ или представителей извѣстныхъ формъ, то результатомъ его работы будутъ не живые люди, а тѣни, или, по меньшей мѣрѣ, мертвыя тѣла".

Писемскій только въ первыхъ своихъ произведеніяхъ соблюдалъ иногда эти требованія, но въ позднѣйшихъ оно соблюдается до крайности мало.

Дальше очень любопытны замѣчанія Салтыкова объ отношеніи къ народу писателей „изъ народнаго быта". Опять Писемскій даетъ ему поводъ къ общимъ соображеніямъ. Салтыковъ находитъ, что для русскихъ писателей народъ или, лучше сказать, та его часть, которая называется простонародіемъ, составляетъ, такъ-сказать неизвѣстную землю.

„Во-первыхъ,—говоритъ онъ,—эта среда до сихъ поръ сама-по-себѣ была до крайности замкнута, а во-вторыхъ, большинство писателей нашихъ принадлежитъ къ такимъ общественнымъ сферамъ, которыя не имѣютъ съ народомъ ничего общаго, и потому весьма естественно, что въ ихъ отношенія къ послѣднему невольнымъ образомъ вносятся всѣ недоумѣнія и предубѣжденія, которыя такъ свойственны кастамъ. Слѣдовательно, здѣсь представляется обширное поле для всякаго рода предположеній, и писатель, поставившій себѣ задачею художественное возстановленіе народнаго образа, имѣетъ возможность болѣе, нежели во всякомъ другомъ случаѣ, руководствоваться угадываньемъ или даже и произволомъ, не опасаясь быть уличеннымъ въ лжесвидѣтельствѣ. А если мы, сверхъ того, не забудемъ принять въ соображеніе, что массы показываютъ себя только издали и притомъ исключительно со стороны внѣшнихъ признаковъ, которые, вслѣдствіе самыхъ условій обстановки, не могутъ быть особенно привлекательны, то поймемъ безъ труда, что здѣсь свобода писателя почти всегда сопряжена съ ущербомъ для истины, и притомъ далеко не въ пользу изслѣдуемому предмету. Тѣмъ не менѣе, и за этою свободой кроется извѣстнаго рода узда, которая не допускаетъ писателя дѣлать слишкомъ широкіе размахи пера и удерживаетъ его отъ *искушеній, граничащихъ съ клеветой*. Узду эту составляетъ, во-первыхъ, чувство приличія и, во-вторыхъ, извѣстнаго рода сообразительность, которая и въ неизвѣстномъ дозволяетъ открывать черты, не противныя законамъ вѣроятности. *Чувство приличія*, заставляющее писателя быть осторожнымъ относительно сферъ ему неизвѣстныхъ, слишкомъ понятно, чтобы нужно было много распространяться о немъ; что же касается до сообразительности, то это—то самое свойство ума человѣческаго, которое дозволяетъ человѣку, съ помощью наведенія, сравненія, анализа и отвлеченія, приближаться къ истинѣ даже тамъ, гдѣ послѣдняя является неясною. Такъ, напримѣръ, въ разсматриваемомъ нами случаѣ, сообразительность должна указать, что хотя простонародье и составляетъ массу темную, но что массу эту составляютъ индивидуумы совсѣмъ не низшей и даже не иной породы, нежели та, къ которой мы принадлежимъ сами, что самая многочисленность этихъ индивидуумовъ заставляетъ предполагать въ массѣ большое разнообразіе цвѣтовъ и тѣней, и что, слѣдовательно, ни въ какомъ случаѣ недозволительно предполагать ее сплошь грубою, нелѣпою или пьяною. Все, на что мы можемъ указать въ массахъ достаточно утвердительно,—это на ихъ замкнутость и неразвитость, но эти существенные недостатки не мѣшаютъ, однакожъ, имъ жить своею оригинальною и притомъ очень разнообразною и совершенно человѣческою жизнью. Вотъ къ какимъ результатамъ и предположеніямъ должна привести насъ сообразительность, и если мы при этомъ припомнимъ, что наша собственная жизнь есть не что иное (да и не можетъ быть ничѣмъ инымъ), какъ продуктъ той же жизни массъ, то необходимость относиться къ этой послѣдней со *всевозможною осмотрительностью* и полнымъ вниманіемъ сдѣлается для насъ еще болѣе ясною и настоятельною“.

Таковъ былъ простой и здравый взглядъ Салтыкова на отношеніе къ народу, обязательное для тѣхъ, кто брался за изображеніе его быта. Этотъ эпизодъ еще разъ устраняетъ

тѣ недоразумѣнія, какія не однажды высказывались по поводу отношеній къ народу у самого Салтыкова. Смѣшивали двѣ вещи: отрицательное отношеніе Салтыкова къ извѣстнымъ свойствамъ цѣлаго нашего быта и непосредственное отношеніе его къ народной средѣ. Въ первомъ случаѣ шла рѣчь о понятіяхъ, о неудовлетворительномъ складѣ нашей общественности, въ широкомъ смыслѣ; во второмъ—именно и прямо о народномъ бытѣ. Салтыковъ не питалъ сочувствія къ извѣстнымъ отрицательнымъ сторонамъ нашего общественнаго характера, одинаково и въ той массѣ, которая собственно называется народомъ, и въ той части его, которая называется обществомъ; но тамъ, гдѣ шла рѣчь именно о низшемъ классѣ и отношеніяхъ къ нему высшаго класса общества, литературы, гдѣ бросались на народъ взгляды высокомѣрнаго снисхожденія, говорилось о немъ какъ о грубой массѣ, заводились рѣчи о „сближеніи сословій", вынуждаемыя инстинктивно чувствуемой мыслью объ измѣнившихся экономическихъ и соціальныхъ условіяхъ, у Салтыкова всегда находилось слово защиты: онъ указывалъ страшную тягость той народной жизни, о которой говорилось обыкновенно такъ слегка; съ уваженіемъ указывалъ то „мужество", съ какимъ переносится крестьянскій трудъ; съ негодованіемъ говорилъ о томъ лицемѣріи, которое искало мнимаго „сближенія", искало только потому, что прежняя форма эксплуатаціи исчезла безвозвратно; наконецъ, требовалъ „приличія", о которомъ дѣйствительно литература слишкомъ часто забывала.

Это забвеніе приличія онъ указываетъ въ особенности у Писемскаго.

„Чувство приличія,—говоритъ онъ о Писемскомъ,—является до такой степени попраннымъ, что можно даже подумать, что авторъ лично чѣмъ-то огорченъ. Мужикъ-грубіянъ, бахвалъ, дуракъ и пьяница, однимъ словомъ, мужикъ,—вотъ единственное представленіе, которое оставляютъ въ умѣ читателя его такъ-называемые народные типы. Выйти изъ этого порочнаго круга не помогаетъ ему даже та сообразительность, о которой говорено выше, ибо г. Писемскій, какъ кажется, возмнилъ себя писателемъ политическимъ, а политика, какъ извѣстно, способствуетъ развитію только страстей и огорченій, но отнюдь не сообразительности. Стоитъ только припомнить описаніе крестьянскихъ волненій въ послѣднемъ романѣ этого автора, чтобы понять, до какихъ пагубныхъ послѣдствій можетъ довести недостатокъ проницательности и привычка останавливаться на однихъ внѣшнихъ признакахъ. Изъ этого выходитъ такая ребяческая и смѣшная безурядица, что читатель рѣшительно могъ бы усомниться въ существова-

ніи здраваго смысла на свѣтѣ, если бы не спасало его въ этомъ случаѣ то обстоятельство, что вся смѣшная и ребяческая сторона этого дѣла падаетъ исключительно на голову самого автора, а отнюдь не на изображаемый имъ предметъ"...

Свой взглядъ на Писемскаго Салтыковъ подтверждаетъ подробнымъ разборомъ его драмы: „Горькая Судьбина"; на немъ мы не будемъ останавливаться, и укажемъ въ заключеніе еще любопытныя сужденія Салтыкова о томъ направленіи, которое считается характернѣйшею особенностью нашей новой литературы, и которому принадлежатъ его собственныя произведенія. Это такъ-называемый реализмъ. Салтыковъ вообще былъ невысокаго понятія о русской литературѣ въ ея массѣ и, между прочимъ, видѣлъ глубокіе недостатки въ этомъ самомъ направленіи; онъ считаетъ нужнымъ объяснять, въ чемъ заключается настоящій реализмъ и что онъ не только не исключаетъ, но требуетъ идеалистической нравственной основы. Слѣдующія слова имѣютъ опять большой интересъ для опредѣленія его теоретическихъ понятій о литературѣ и указываютъ также внутреннюю основу его собственнаго труда.

„Что реализмъ есть дѣйствительно господствующее направленіе въ нашей литературѣ—это совершенно справедливо. Она, эта бѣдная русская литература, столько времени питалась разными чуждыми, фальшивыми, отчасти даже и нечистыми соками, что время отрезвленія настало, наконецъ, и для нея. Дѣйствуя подъ вліяніемъ какого-то одуряющаго чада, живя чужими страданіями, болѣе напускными болями, литература не могла не ужаснуться своей собственной пустоты, и, убѣдившись въ ней, весьма естественно пожелала освѣжиться. Попытки въ этомъ смыслѣ дѣлались постоянно отъ времени до времени, но рѣшительнымъ образомъ освѣженіе это начато Гоголемъ и съ тѣхъ поръ продолжается непрерывно. Гоголь положительно долженъ быть признанъ родоначальникомъ этого новаго, реальнаго направленія русской литературы; къ нему волею-неволею примыкаютъ всѣ позднѣйшіе писатели, какой бы оттѣнокъ ни представляли собой ихъ произведенія. Но дѣло въ томъ, что мы иногда ошибочно понимаемъ тотъ смыслъ, который заключается въ словѣ „реализмъ", и охотно соединяемъ съ нимъ понятіе о чемъ-то въ родѣ грубаго, механическаго списыванья съ натуры, подобно тому, какъ многіе съ понятіемъ о матеріализмѣ соединяютъ понятіе о всякаго рода физической сытости".

Это, однакожъ, не такъ. Мы замѣчаемъ, что произведенія реальной школы намъ нравятся, возбуждаютъ въ насъ участіе, трогаютъ насъ и потрясаютъ, и это одно уже служитъ достаточнымъ доказательствомъ, что въ нихъ есть нѣчто большее, нежели простое умѣнье копировать. И дѣйствительно, умъ человѣческій съ трудомъ удовлетворяется

одною голою передачей внѣшнихъ признаковъ; онъ останавливается на этихъ признакахъ только случайно, и притомъ лишь на самое короткое время. Вездѣ, даже въ самой ничтожной подробности, онъ допытывается того интимнаго смысла, той внутренней жизни, которые одни только и могутъ дать факту дѣйствительное значеніе и силу. Очевидно, что если бъ реализмъ не отвѣчалъ этой потребности, то онъ ни подъ какимъ видомъ не могъ бы войти въ искусство, какъ основной и преобладающій его элементъ.

„И въ самомъ дѣлѣ, истинный реализмъ не только не потворствуетъ исключительности и односторонности, но даже положительно враждебенъ имъ. Такимъ образомъ, имѣя въ виду человѣка и дѣла его, онъ беретъ его со всѣми его опредѣленіями, ибо всѣ эти опредѣленія равно *реальныя*, т.-е. равно законны и равно необходимы для объясненія человѣческой личности. Обращаться съ ними грубо, выставлять напоказъ только тѣ изъ нихъ, которыя сами-по-себѣ выдаются наиболѣе рѣзко, онъ не имѣетъ права, подъ опасеніемъ оказаться совершенно несостоятельнымъ передъ тѣмъ дѣломъ, которое собственно и составляетъ его задачу. Точно такимъ же образомъ, приступая къ воспроизведенію какого-либо факта, реализмъ не имѣетъ права ни обойти молчаніемъ его прошлое, ни отказаться отъ изслѣдованія (быть-можетъ, и гадательнаго, но тѣмъ не менѣе вполнѣ естественнаго и необходимаго) будущихъ судебъ его, ибо это прошедшее и будущее хотя и закрыты для невооруженнаго глаза, но тѣмъ не менѣе совершенно настолько же *реальны*, какъ и настоящее. Конечно, очерчивая, такимъ образомъ, значеніе реализма въ искусствѣ, мы очень хорошо понимаемъ, что рисуемъ идеалъ очень трудно достижимый, но дѣло не въ томъ, въ какой степени, легко или трудно, достается та или другая задача искусства, а въ томъ, чтобы отыскать мѣрило, которое дало бы намъ возможность съ бо́льшею или меньшею безошибочностью обращаться съ произведеніями человѣческой мысли, и отдавать себѣ отчетъ въ томъ впечатлѣніи, какое онѣ на насъ производятъ“.

Въ приведенныхъ цитатахъ достаточно ясно отношеніе Салтыкова къ главнымъ спорнымъ вопросамъ тогдашней литературы. Дальше мы встрѣтимся еще съ его мнѣніями объ этомъ предметѣ и съ полемическими нападеніями на извѣстныя направленія, какъ, напримѣръ, славянофильство, которыя онъ считалъ хотя болѣе или менѣе искренними, но косвенно вредными, потому что они спутывали общественное мнѣніе, не ставя вопросовъ прямо и затемняя ихъ риторическимъ или мистическимъ туманомъ.

Мы остановимся еще на нѣсколькихъ статьяхъ, вызванныхъ болѣе или менѣе случайными произведеніями и гдѣ опять высказывается оригинальнымъ образомъ та же основ-

ная мысль Салтыкова, то же строгое требованіе отъ литературы, чтобы она была не пустою забавой, а исполненіемъ серіознаго общественнаго долга. Онъ самъ до такой степени проникнутъ этимъ чувствомъ обязанности, такъ близко принималъ къ сердцу свѣтлыя и темныя стороны (и послѣднихъ было гораздо больше) общественности, что не только оставался холоденъ къ безразличнымъ произведеніямъ художественнаго дилетантства, но питалъ къ нимъ настоящую вражду.

Таковъ, напримѣръ, его отзывъ объ извѣстномъ романѣ гр. А. К. Толстого, „Князь Серебряный".

Предисловіе, которымъ Салтыковъ снабдилъ свой разборъ „Князя Серебрянаго", уже предупреждаетъ читателя объ отношеніи критика къ этому произведенію.

„Византійское это сочиненіе составляетъ, какъ по внѣшней своей формѣ, такъ и по внутреннему содержанію, явленіе столь отличное въ кругу современныхъ литературныхъ произведеній, что редакція не нашла, въ числѣ постоянныхъ своихъ сотрудниковъ, ни одного, который взялся бы написать на него рецензію. Между тѣмъ, сочиненіе произвело въ публикѣ нѣкоторое впечатлѣніе, такъ что игнонированіе 'его могло бы быть сочтено за злонамѣренность. Поэтому, редакція вынуждена была обратиться за помощью къ одному отставному учителю, нѣкогда преподававшему россійскую словесность въ одномъ изъ кадетскихъ корпусовъ. Къ сожалѣнію, почтенный педагогъ, столь обязательно принявшій наше предложеніе, не могъ выполнить его до конца; ужасный параличъ преждевременно прекратилъ дни его въ самомъ началѣ труда. Тѣмъ не менѣе, мы печатаемъ его рецензію такъ, какъ она намъ доставлена, и думаемъ, что и въ этомъ видѣ она могла бы служить украшеніемъ любой книжки „Сѣверныхъ Цвѣтовъ" точно такъ же, какъ самъ „Князь Серебряный" былъ бы весьма пріятнымъ явленіемъ въ Аонидахъ".

Такимъ образомъ, статья представляется написанною старымъ учителемъ риторики и по тому рецепту, какъ онъ обучался въ своей молодости. Салтыковъ съ большимъ мастерствомъ передалъ манеру писателей 20-хъ и 30-хъ годовъ.

„Я помолодѣлъ,—пишетъ учитель риторики;—читаю и не вѣрю глазамъ! Любезный графъ! волшебную вашу кисть вы окунули въ живую воду фантазіи и заставили меня, старика, присутствовать при „дѣлахъ давно минувшихъ дней"; исполать вамъ! Но еще больше вамъ исполать за то, что вы воскресили для меня мою юность, напомнили мнѣ появленіе „Юрія Милославскаго", „Рославлева", напомнили первыя попытки робкаго еще тогда Лажечникова. Это было счастливое время, любезный графъ; это было время, когда писатели умѣли—

Истину царямъ съ улыбкой говорить...

—когда всякій, не скрывая своего сердца, заявлялъ о чувствахъ преданности (да и зачѣмъ это скрывать?)... Но, конечно, никто еще не высказывалъ такой истины, какую вы высказали Іоанну Грозному! Да, вы воскресили для меня доброе старое время, которое я считалъ давно погибшимъ. Но довольно о себѣ.

„Внѣшнее построеніе романа графа А. К. Толстого вполнѣ соотвѣтствуетъ правиламъ, на предметъ составленія таковыхъ упражненій преподаннымъ. Въ немъ имѣется завязка (и даже, какъ увидимъ ниже, не одна, а нѣсколько завязокъ, что́ дѣлаетъ интересъ романа почти нестерпимымъ), изъ которой дѣйствіе развивается, постепенно возвышаясь, покуда, наконецъ, не достигаетъ своего зенита; по достиженіи сего, дѣйствіе развивается, уже понижаясь, и незамѣтно утопаетъ въ развязкѣ. Многіе нынѣшніе писатели правилами сими пренебрегаютъ, думая, что завязка и развязка не составляютъ еще существеннаго условія литературнаго упражненія, но доказать неосновательность подобнаго воззрѣнія очень нетрудно: стоитъ только вспомнить о томъ, что всякая вещь имѣетъ свое начало и свой конецъ. Нынѣшніе писатели думаютъ, что обязанность ихъ заключается лишь въ томъ, чтобы поставить героевъ своихъ въ критическое положеніе, и что, по исполненіи сего, можно ихъ бросить. „Сказавъ это, они вздохнули и разошлись"—вотъ фраза, которою модные современные повѣствователи позволяютъ себѣ заканчивать недозрѣлыя свои произведенія. Но читатель любопытенъ; онъ хочетъ знать, куда разошлись герои, куда пошелъ *онъ*, куда направила путь *она*; что́ они дѣлали, что́ въ тотъ день обѣдали, сколько времени жили и какъ умерли. Все это графомъ Толстымъ исполнено. Исполнено имъ и другое требованіе теоріи, касающееся характеровъ дѣйствующихъ лицъ. Въ семъ отношеніи теорія неумолима; она требуетъ, чтобы дѣйствующія лица имѣли характеры разнообразные, и даже указываетъ, какіе должны быть эти характеры. Впереди всѣхъ, разумѣется, идетъ герой; герой долженъ быть изъ хорошаго семейства, благороденъ, но твердъ, чувствителенъ, но не лишенъ разсудка, правдивъ, но не безъ надежды, что авторъ, въ сомнительномъ случаѣ, найдетъ возможность вытащить его изъ бѣды, великодушенъ до безразсудства, но знающъ, что великодушные поступки никогда не пропадаютъ даромъ; сверхъ сего, не худо, если герой—человѣкъ съ деньгами. Героинею можетъ быть всякая хорошая женщина, которой наружность представляетъ въ себѣ что-либо для мужчины привлекательное; нужно только, чтобы она была: или мужнею женою (это необходимо для завязки), или же хотя и дѣвицею, но не одинаковаго съ героемъ званія или состоянія (это также необходимо для той надобности). Засимъ лица, окружающія героя и героиню, должны раздѣляться на друзей и враговъ" и т. д.

Критикъ перечисляетъ различные сорта друзей и враговъ и другія принадлежности хорошаго романа, какіе писывалъ, напримѣръ, Загоскинъ, и находитъ всѣ требованія хорошо исполненными у гр. Толстого. Критикъ хвалитъ его слогъ (онъ можетъ быть названъ жемчужнымъ, style perlé), но дѣлаетъ такое замѣчаніе: „Одно лишь условіе не соблюдено любезнымъ сочинителемъ: обычай требовалъ, чтобы романъ

былъ раздѣленъ на четыре части, а не на двѣ, какъ это сдѣлано въ настоящемъ случаѣ; но и этому читатель легко можетъ помочь, умственно раздѣливъ каждую часть на двѣ половины".

Относительно внутренняго содержанія романа критикъ полагаетъ, что основную идею его можно отыскать въ заключительныхъ словахъ 9-й главы части 1-й.

„Молится царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ, насъ не спрошаючи: не расти двумъ колосьямъ въ-уровень, не сравнять крутыхъ горъ съ пригорками, не бывать на землѣ безбоярщины!"

По этому поводу критикъ замѣчаетъ:

„Надо сознаться, что въ государствѣ, въ коемъ еще недавно существовали такъ-называемыя „Редакціонныя Комиссіи", высказать подобную мысль есть дѣло довольно смѣлое... Умолкаю, дабы не навлечь автору непріятности".

Разборъ самаго сочиненія критикъ предполагаетъ дѣлать „по главамъ", какъ дѣлалось въ доброе старое время и „какъ невозможно дѣлать нынче, ибо нынѣшнія литературныя упражненія нельзя понимать иначе, какъ прочитавши всѣ главы въ совокупности".

Разборъ дѣйствительно начинается по главамъ, но нѣкоторыя разбираются „въ совокупности". Изъ этого разбора укажемъ только два отрывка. По поводу извѣстной перемѣны въ характерѣ царя Ивана Васильевича авторъ романа приводитъ старинную политическую теорію, что все это произошло по волѣ Божіей, карающей россіянъ для очищенія отъ грѣховъ, и рецензентъ разсуждаетъ:

„Если народъ погрязаетъ въ грѣхахъ и черезъ то оскорбляетъ Промыслъ, то какой наилучшій способъ имѣетъ сей послѣдній, чтобы напомнить о себѣ и заставить народъ восчувствовать? Тяжело сознаться, но совершенно достовѣрно, что наилучшими въ семъ случаѣ орудіями всегда почитались вожди народные. Посредствомъ ихъ Промыслъ еще древле наказывалъ Израиля, да и въ новѣйшее время, по свидѣтельству П. И. Мельникова, Розенгейма и другихъ опытныхъ обличителей, продолжаетъ слѣдовать той же системѣ. Такъ, напримѣръ, если градъ начнетъ утопать въ роскоши и богатствѣ, то Промыслъ посылаетъ въ оный градоначальника, который въ скорости доказываетъ гражданамъ, что существенными интересами человѣческой жизни должны быть не столько земные интересы, сколько небесные. Что цѣлыя страны такимъ способомъ очищаются отъ грѣховъ, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія, однакожъ, нельзя не сознаться, что и въ этой теоріи имѣется своя слабая сторона. Она заключается въ томъ, что теорія сія съ преувеличенною, какъ мнѣ кажется,

строгостью относится къ самымъ орудіямъ, посредствомъ коихъ производится очищеніе отъ грѣховъ. Положимъ, что народъ, погрязшій въ грѣхахъ, не мѣшаетъ по временамъ очищать, но чѣмъ же виноваты правители, кои, будучи сами-по-себѣ людьми невинными, именно для этой цѣли надѣляются самыми звѣрскими качествами и черезъ это погубляютъ свои души и впослѣдствіи наслѣдуютъ геенну огненную?" и т. д.

Другое размышленіе породилъ въ рецензентѣ подробный разсказъ автора о царскомъ столѣ Іоанна Грознаго. Выписавши нѣсколько отрывковъ, рецензентъ говоритъ:

„Признаюсь, я не утерпѣлъ, чтобы не показать это описаніе своему коллегѣ, учителю латинскаго языка, который имѣетъ весьма основательныя свѣдѣнія о томъ объяденьѣ, которому, въ древности, предавались римляне. Но и онъ пришелъ въ восторгъ и наотрѣзъ мнѣ сказалъ, что римляне никогда ничего подобнаго не ѣдали.

„Нѣчто подобное обжорному московскому великолѣпію видимъ мы лишь въ древнемъ Карѳагенѣ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ французскій писатель Густавъ Флоберъ, издавшій въ прошломъ году знаменитый романъ „Salammbô".

„Содержаніе сихъ романовъ („Князя Серебрянаго" и „Salammbô") во многомъ до такой степени сходствуетъ, что нелишне было бы провести между ними нѣкоторую параллель, дабы видѣть, что и кто у кого предвосхитилъ.

„Мѣсто дѣйствія „Князя Серебрянаго" происходитъ въ древней Москвѣ; мѣсто дѣйствія „Salammbô" происходитъ въ древнемъ Карѳагенѣ. Повидимому, тутъ сходства нѣтъ, но это лишь повидимому, и это-то именно я берусь дока..."

„На этомъ мѣстѣ,—замѣчено дальше въ текстѣ,—рукопись прервана несчастною смертью рецензента".

Русскій историческій романъ есть, безъ сомнѣнія, одна изъ труднѣйшихъ, хотя очень популярная между читателями литературная форма. Произведенія этого рода очень у насъ многочисленны, но нельзя сказать, чтобы огромное большинство ихъ было удачно. Самая форма была заимствованная. Успѣхъ Вальтеръ-Скотта распространилъ историческій романъ во всей европейской литературѣ, между прочимъ, и у насъ; но когда Вальтеръ-Скоттъ имѣлъ обильный матеріалъ въ старыхъ хроникахъ, живыхъ преданіяхъ, вещественныхъ остаткахъ старины, напримѣръ, въ видѣ древнихъ зáмковъ съ ихъ сохранившеюся средневѣковою обстановкой, когда, кромѣ того, въ самомъ бытѣ и нравахъ онъ встрѣчалъ извѣстную крѣпость стараго обычая, расположеніе къ старинѣ, доходящее даже до мелочей и крайностей,—совершенно въ иномъ положеніи оказывался русскій историческій романистъ. У насъ нѣтъ такой хроники, которая раскрыла бы подробности стараго общественнаго быта и мелкія

черты домашней жизни, характеровъ и т. п.; личныя свойства даже крупнѣйшихъ историческихъ дѣятелей, положимъ, XVI-го и XVII-го вѣковъ, очень часто составляютъ если не совершенную загадку, то спорный вопросъ, или являются передъ нами только въ общихъ неопредѣленныхъ очертаніяхъ; памятники вещественнаго быта почти исчезли (кромѣ старыхъ церквей) — архитектура наша была деревянная и и частью сгнила, частью сгорѣла; преданія стариннаго быта были заслонены и истреблены въ высшемъ классѣ Петровскою реформой и остались только въ томъ видоизмѣненіи, какое представляютъ они въ народной массѣ, и т. д. Такимъ образомъ, матеріалъ невеликъ; что́ же касается до освѣщенія, оно давалось не живымъ преданіемъ старины, а тѣми изслѣдованіями, которыя были уже дѣломъ кабинетныхъ ученыхъ и археологовъ. Въ эпоху первыхъ непосредственныхъ вліяній Вальтеръ-Скотта такимъ ученымъ авторитетомъ былъ Карамзинъ, у котораго къ большому, по его времени, фактическому знанію присоединилась новѣйшая политическая теорія и сентиментальная окраска всей его литературной дѣятельности, заимствованная у французскихъ и нѣмецкихъ писателей конца прошлаго и начала нынѣшняго вѣка. Живое преданіе старины замѣнялось нѣсколькими старинными документами, извлеченными изъ архивовъ, но слишкомъ скудными, чтобы по нимъ можно было сдѣлать достаточно ясную и рельефную реставрацію... На подобномъ матеріалѣ основанъ былъ первый романъ, съ котораго начинается у насъ эта отрасль литературы. Извѣстно, что „Юрій Милославскій“, который перешелъ теперь въ непритязательную область юношескаго чтенія, при первомъ появленіи произвелъ сильное впечатлѣніе въ литературныхъ кругахъ и увлекалъ даже самого Пушкина. За нимъ потянулся длинный рядъ подражаній... Возможность болѣе совершенной формы начинается только для такихъ эпохъ, до которыхъ достигаютъ преданія: таковы, напримѣръ, историко-романическіе разсказы Пушкина о XVIII вѣкѣ, который былъ еще недалекъ и о которомъ Пушкинъ собиралъ и имѣлъ много живыхъ преданій, или таковъ романъ гр. Л. Н. Толстого: „Война и миръ“. Гр. А. К. Толстой попробовалъ обратиться къ XVI-му вѣку и оказался въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ Загоскинъ: недостатокъ живого ощущенія исторіи и непосредственныхъ преданій и памятниковъ

старины пришлось дополнять извлеченіями изъ сухихъ документовъ (таковъ, напримѣръ, счетъ блюдъ за царскимъ столомъ) или чистою фантазіей, настроенною опять на прежній сентиментальный тонъ Карамзинской исторіографіи. Это и хотѣлъ указать Салтыковъ, предоставляя писать разборъ „Князя Серебрянаго" старому учителю риторики, восхищавшемуся въ юности „Юріемъ Милославскимъ". Какъ трудна у насъ реставрація старины, можно судить и по другимъ произведеніямъ А. К. Толстого: къ числу наиболѣе слабыхъ его пьесъ принадлежатъ, безъ сомнѣнія, его реставраціи древнихъ былинъ.

До какой степени Салтыкову была антипатична всякая искусственность, можно видѣть на множествѣ примѣровъ въ его отзывахъ о литературныхъ явленіяхъ нашего времени. Однажды онъ останавливается на произведеніяхъ одного изъ извѣстнѣйшихъ русскихъ лириковъ [1]). Въ нѣсколькихъ неясныхъ выраженіяхъ, темнота которыхъ, безъ сомнѣнія, производилась обычнымъ нежеланіемъ Салтыкова спорить со своимъ цензоромъ, онъ вспоминаетъ старыя, еще не очень давнія времена русской поэзіи и указываетъ ея общественную роль.

„Для всѣхъ очевидно, что искусство мало-по-малу начинаетъ расширять свои предѣлы и допускать въ свою область такіе элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдѣльною отъ дѣлъ сего міра жизнью; оно направлено было исключительно къ тому, чтобы украшать и утѣшать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, т.-е. обманывало и обольщало, насколько хватало у него силъ. Будучи плодомъ досужества, оно обращалось исключительно къ досужеству же; услаждало досуги досужихъ людей, и это сообщало ему тотъ чистенькій, аристократическій характеръ, который составляетъ необходимую принадлежность всякаго рода успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ.

Я лиру томно строю
Пѣть скорбь, объявшу духъ;
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ! [2]).

„Такъ говорилъ поэтъ-художникъ, и совершенно основательно изображался на картинкахъ съ лирой въ рукахъ и съ обращенными къ небу

---

[1]) „Современникъ", 1864, № 2, въ отдѣлѣ „Русской литературы", стр. 260 и слѣд.

[2]) Примѣръ, помѣщавшійся обыкновенно въ старинныхъ учебникахъ риторики.

очами. „Скорбь“, которую онъ намѣревался воспѣть, вовсе не была скорбью дѣйствительною, хватающею за живое; это была та тихая, сладкая и неопредѣленная скорбь, потребность которой въ особенности сильно чувствуется досужествомъ. Это не скорбь, а пріятное чувство томнаго разслабленія; человѣкъ доволенъ и счастливъ; онъ хорошо обставленъ, не чувствуетъ надъ собой тяготѣнія страшной матеріальной нужды, но въ то же время смутно ощущаетъ, что ему чего-то недостаетъ. Это что-то недостающее, это нѣчто, составляющее необходимую подробность въ общей картинѣ жизни, и есть та самая „грусть“, во свидѣтельницы которой приглашается луна, и которая, въ видѣ утратившаго свою ѣдкость дыма, доходитъ до обонянія досужаго человѣка (благо, щели не окончательно наглухо законопачены!) изъ тѣхъ низменныхъ пространствъ, гдѣ она зарождается со всѣми признаками дѣйствительнаго, а не увеселительнаго горя, гдѣ она зрѣетъ и обсѣменяетъ почву своими проклятыми сѣменами. Коли хотите, это даже и не грусть совсѣмъ, а просто увеселительное представленіе, которому, для разнообразія, дается меланхолическій характеръ.

„Тѣмъ не менѣе, мы были бы неправы, не отдавши поэтамъ-художникамъ должной справедливости. Какъ ни лимфатична была ихъ „грусть“, какъ ни незначительна была ея доля въ той общей массѣ всякаго рода воинственно-увеселительно-полового клубницизма, составлявшаго главное содержаніе ихъ пѣснопѣній, все-таки эта „грусть“ о чемъ-то напоминала, все-таки она была отблескомъ (хоть и очень слабымъ) той дѣйствительной грусти, которая росла и растетъ, невидимая даже сквозь щели, въ тѣхъ темныхъ пространствахъ, о которыхъ сказано выше“.

Такъ характеризировалъ Салтыковъ тѣ времена русской поэзіи, когда она была только-что перенесеннымъ къ намъ плодомъ чужого общества и чужихъ нравовъ. Это были извѣстныя времена псевдо-классицизма, когда поэзія служила въ особенности „украшеніемъ“ придворной и аристократической жизни, и у насъ также была долго достояніемъ образованнаго класса, искала и находила „меценатовъ“ и любителей именно въ обезпеченной, привилегированной средѣ, что́ Салтыковъ обозначаетъ названіемъ „досужества“. „Поэты-художники стараго времени,—продолжаетъ Салтыковъ,—несмотря на свое умственное малокровіе все-таки имѣли органическую связь съ такъ-называемымъ темнымъ царствомъ. Настоящіе досужіе люди, предававшіеся искусству, не въ состояніи были произвести ничего, кромѣ безсмыслицы, и для оживленія своего досужества необходимо должны были обращаться къ людямъ второго сорта, даже къ людямъ настоящаго темнаго царства, и только здѣсь получались и настоящіе таланты и присутствіе жизни. Связь этихъ послѣднихъ людей съ досужествомъ заражала и ихъ умственнымъ малокровіемъ, но въ концѣ-концовъ число ихъ такъ размножилось, что роли перемѣнились: прежде досужество

развращало пришельцевъ; теперь они стали развращать его и постепенно „подкрашивать его лимфу". Дѣло происходитъ, впрочемъ, само-собою; досужество чувствуетъ, что полная замкнутость носитъ въ себѣ сѣмена смерти".

„Досужество растлѣвается, но растлѣвается, такъ-сказать, добровольно, ибо растлѣніе это таится въ немъ самомъ, въ томъ малокровіи, на которое оно фаталистически осуждено, въ томъ опасеніи смерти, которое преслѣдуетъ его съ самой минуты его рожденія. И вотъ, оно ищетъ возобновиться и освѣжить себя притокомъ свѣжаго, неспертаго воздуха; со временемъ, быть-можетъ, этотъ свѣжій воздухъ сшибетъ его съ ногъ; быть-можетъ, оно даже не предвидитъ этотъ конецъ, но предвидитъ или не предвидитъ, а идетъ къ нему непринужденно и даже, такъ-сказать, веселыми ногами".

Наконецъ, развитіе жизни дѣлаетъ свое дѣло.

„По мѣрѣ вторженія въ сферу досужества новыхъ силъ, прежнія отношенія искусства къ жизни дѣлаются все болѣе и болѣе невозможными. Жизнь заявляетъ претензію стать исключительнымъ предметомъ для искусства, и притомъ не праздничными, безмятежно идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, рѣжущими глаза сторонами. Мало того: она претендуетъ, что въ этихъ-то послѣднихъ сторонахъ и заключается самая „суть" человѣческой поэзіи; что игривые ландшафты и надзвѣздныя пространства, хотя и могутъ еще, по нуждѣ, оставаться болѣе или менѣе пріятными аксессуарами, но дѣйствительнаго, истинно-человѣческаго содержанія искусству ни подъ какимъ видомъ дать не могутъ. Искусство, слѣдуя этой теоріи, принимаетъ характеръ преимущественно человѣческій, или, лучше сказать, общественный (такъ какъ человѣкъ, изолированный отъ общества, немыслимъ), и чѣмъ ближе вглядывается въ жизнь, чѣмъ глубже захватываетъ вопросы, ею выдвигаемые, тѣмъ достойнѣе носитъ свое имя".

Въ такомъ видѣ представляется Салтыкову развитіе нашей литературы или собственно лирики, отъ старинной восхвалительной оды до Фета и Майкова, и съ другой стороны, напримѣръ, до Некрасова. Здѣсь опять литература является передъ нимъ въ особенности, почти исключительно, со стороны ея общественнаго значенія. Въ цѣломъ, во взглядѣ Салтыкова, могла быть односторонность, потому что старая поэзія, во-первыхъ, была необходимою ступенью въ развитіи самой возможности литературы, а во-вторыхъ, по содержанію служила не одному досужеству и на свою долю участвовала въ распространеніи болѣе человѣчныхъ понятій въ общественной массѣ и самой привычки къ искусству. Салтыковъ, по обыкновенію, беретъ предметъ въ наиболѣе рѣзкихъ чертахъ его сущности.

Онъ говоритъ затѣмъ о томъ положеніи, въ какомъ очу-

тилась старая поэзія досужихъ людей, встрѣтившись лицомъ къ лицу съ вопросами и стремленіями современности.

Переворотъ, совершившійся въ понятіяхъ о значеніи искусства, потребовалъ, конечно, новыхъ дѣятелей; но онъ до того жизненъ и силенъ, что охватываетъ собою даже и тѣхъ старыхъ поэтовъ-художниковъ, которые до тѣхъ поръ пѣли исключительно о счастьѣ птицъ. Всѣмъ хочется пріобщиться къ движенію, ибо, благодаря своей жизненности, оно всѣхъ затрогиваетъ за живое, всѣхъ неслышно въ себя втягиваетъ.

„Но понятно, въ какомъ затрудненіи должны находиться эти благонамѣренные и восчувствовавшіе старички. Съ одной стороны, сердца ихъ несутся къ птицамъ и надзвѣзднымъ высотамъ, съ другой—нѣчто смутно говоритъ имъ, что птичьи пѣсни уже никого не удовлетворяютъ и никому не нужны. И вотъ, они начинаютъ соединять несоединимое, начинаютъ склеивать старое, привычное и любезное для нихъ дѣло съ дѣломъ новымъ, привлекающимъ ихъ взоры своею жизненностью. И начинаютъ они вдумываться, куда бы имъ примкнуться; начинаютъ вникать въ смыслъ происходящаго передъ ними движенія, но смысла этого угадать не могутъ, а только улавливаютъ одни внѣшніе признаки, тѣ самые, которые и въ старинныхъ риторикахъ уже были помѣчены извѣстными рубриками.

„Вторженіе новой жизни, собственно, въ нашу литературу (разумѣется, въ смыслѣ искусства, а не науки) выразилось или въ формѣ сатиры, которая провожаетъ въ царство тѣней все отживающее, или же въ формѣ не всегда ясныхъ и опредѣленныхъ привѣтствій тѣмъ темнымъ, еще неузнаннымъ силамъ, которыхъ наплывъ такъ ясно всѣми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не можетъ и выразиться иначе, какъ отрицательно, въ формѣ сатиры или въ формѣ предчувствія и предвѣдѣнія. Но и для того, чтобы имѣть право выразить ихъ такимъ образомъ, искусство все-таки обязано имѣть понятіе о томъ, о чемъ оно ведетъ свою рѣчь, и сверхъ того обладать какимъ-нибудь идеаломъ. Вотъ этимъ-то послѣднимъ условіямъ и не можетъ никакъ отвѣчать „поэтъ высотъ надзвѣздныхъ“, ибо все, что ни дѣлается новаго въ мірѣ, все это, такъ-сказать, не при немъ дѣлается, и какъ ни усиливается онъ пріобщиться къ движенію, но успѣваетъ въ этомъ только отчасти, т.-е. именно схватываньемъ только нѣкоторыхъ внѣшнихъ его признаковъ“...

Салтыковъ посвящаетъ довольно подробный разборъ, между прочимъ, двумъ вышедшимъ тогда стихотвореніямъ г. Майкова: одно — „Другу Ильѣ Ильичу“ — представляло сатиру на тогдашній либерализмъ; другое, подъ названіемъ „Картинка“, написанное „послѣ манифеста 19-го февраля 1861 года“, разсказывало, какимъ образомъ маленькая грамотная дѣвочка, будто бы, читала про волю собравшимся въ избѣ мужикамъ. Салтыковъ очень сурово отнесся къ обоимъ произведеніямъ, видя тамъ и здѣсь превратное пониманіе

дѣйствительности, отсутствіе общественнаго идеала или — выдумку.

Такимъ образомъ, Салтыковъ относится недовѣрчиво къ воспѣванію надзвѣздныхъ высотъ, о которыхъ поэтъ, конечно, знаетъ столь же мало, какъ и обыкновенный человѣкъ. Салтыкову понятна только поэзія, посвященная изображенію дѣйствительной жизни, дѣйствительнаго чувства, истинно человѣчныхъ идеаловъ, личныхъ и общественныхъ. „Надзвѣздныя высоты“ были ему тѣмъ болѣе сомнительны, что современная поэзія слишкомъ ими злоупотребляла, нерѣдко прикрывая ими простое отсутствіе здраваго содержанія.

Для знакомства со взглядами Салтыкова въ этомъ отношеніи любопытна статья его по поводу поэмы Альфреда Мюссе: „Ролла“, явившейся тогда въ русскомъ переводѣ.

„Міръ поэзіи—безграничное; поэтъ творитъ подъ вліяніемъ возбужденнаго чувства (вдохновенія); вдохновеніе, съ своей стороны, есть нѣчто совершенно особливое, независимое, не столько управляемое поэтомъ, сколько управляющее имъ. Поэтому поэтъ имѣетъ такія свойства, какихъ не имѣютъ другіе смертные, а именно, онъ можетъ непосредственно проникать въ тайны природы и даже прорицать будущее.

„Съ природой одною онъ жизнію жилъ,
Онъ чувствовалъ (sic) травъ прозябанье...

„Таковы приблизительно понятія, которыя не только у насъ, но и въ Европѣ (особливо же въ отечествѣ всякаго фразерства—Франціи) до сихъ поръ соединяются со словами: поэтъ, поэзія. Разумѣется, если вдуматься въ нихъ попристальнѣе, то очень скоро окажется, что въ нихъ, кромѣ ребячества и великолѣпной чепухи, ничего нѣтъ, тѣмъ не менѣе авторитетъ ихъ несомнѣненъ и имѣетъ силу не только для толпы непосвященной и безсознательно повторяющей всякаго рода опредѣленія съ чужого голоса, но и для самихъ такъ-называемыхъ жрецовъ искусства. Сами поэты (по крайней мѣрѣ, огромное ихъ большинство) очень серіозно мнятъ себя служителями безграничнаго, прорицателями невѣдомаго и на указанія науки, здраваго смысла и опыта смотрятъ какъ на что-то такое, что подрываетъ поэзію въ самомъ ея корнѣ и существенно противорѣчитъ провиденціальной ихъ миссіи. И лишь немногія уже совершенно геніальныя личности уразумѣли, что конкретность, отсутствіе преувеличеній, опредѣлительность представленій и ощущеній и всегдашнее пребываніе въ здравомъ умѣ и твердой памяти не только не враждебны поэзіи, но даже представляютъ существенныя условія, обезпечивающія этой послѣдней здоровое, живое и разнообразное содержаніе.

„Нѣтъ сомнѣнія, что вся изложенная выше путаница происходитъ, какъ выражается у Островскаго Липочка Большова, единственно отъ необразованія. Чѣмъ болѣе знаній проникаетъ въ массы, тѣмъ менѣе дѣ-

лаются возможными разнузданность фантазіи и „смѣлость полета“. Точно то же должно произойти и относительно многихъ другихъ неосновательныхъ фразъ и выраженій, которыя нынѣ, благодаря вдохновеннымъ жрецамъ искусства, пользуются правомъ гражданственности. Призраки разсѣются, туманы упадутъ, неопредѣленность исчезнетъ; ихъ мѣсто заступятъ: знаніе, ясность представленій и жизнь, настоящая, невыдуманная жизнь... что-то станется тогда съ тобою, служительница безграничнаго, безконечнаго, неизвѣданнаго и неисповѣдимаго?“

Но это еще — гадательное будущее, а въ ожиданіи мы должны довольствоваться маленькими поэтиками, которые, по мнѣнію Салтыкова, „всѣми силами своихъ легкихъ отстаиваютъ права мрака и невѣжества на господство надъ міромъ“.

„У этихъ маленькихъ поборниковъ таинственной чепухи бываютъ иногда престранныя фантазіи. То кажется имъ, что міръ исполненъ свѣта, красоты, чудесъ и всякой благодати, то вдругъ покажется, что міръ погрязъ во злѣ и безобразіи. Сегодня они будутъ радоваться и пѣть восторженные гимны, завтра—посыплютъ главы пепломъ и разразятся проклятіями всему человѣческому роду. Однимъ словомъ, это народъ, живущій вдохновенно-безсознательною жизнью, восторгающійся и проклинающій подъ игомъ перваго и притомъ всегда случайнаго впечатлѣнія, а потому въ высшей степени непостоянный и малосообразительный“.

Поднимая на смѣхъ этихъ маленькихъ поэтовъ, Салтыковъ утверждаетъ, что какъ ихъ скорбь, такъ и безсознательное ликованіе происходятъ единственно отъ необразованія. Если, напримѣръ, поэтъ говоритъ:

И не зналъ я, что буду
Пѣть, но только пѣсня зрѣетъ...

то это выходитъ только красивая безсмыслица, и человѣкъ, находящійся въ здравомъ умѣ и твердой памяти, не можетъ не знать, что́ будетъ дѣлать при извѣстныхъ обстоятельствахъ. Еще не было бы большой бѣды, если бы все это кончалось однимъ „волтижерствомъ“ самихъ поэтовъ, но заурядная поэзія дѣлается и вредною, потому что прямо способствуетъ распространенію предразсудковъ. Салтыковъ думаетъ, что когда поэтъ говоритъ о ночи:

Спитъ съ Ѳетидой Фебъ влюбленный...

или объ утрѣ:

Аврора ужъ не спитъ,
И, смутясь блаженствомъ бога,
Изъ подводнаго чертога
Съ яркимъ факеломъ бѣжитъ...

то поэтъ мало чѣмъ отличается отъ толпы, не понимающей явленій природы.

Но, — говоритъ Салтыковъ, — сказанное выше вовсе не означаетъ неуваженія къ поэзіи; напротивъ, поэзія есть одна изъ самыхъ законныхъ отраслей умственной человѣческой дѣятельности и нисколько не враждебна ни истинѣ ни знанію.

„Въ доказательство можно бы было привести множество примѣровъ, что чѣмъ выше поэтическая сила, тѣмъ реальнѣе и истиннѣе ея міросозерцаніе. Не говоря уже о Шекспирѣ, этомъ царѣ поэтовъ, у котораго всякое слово проникнуто дѣльностью, не упоминая также о множествѣ менѣе сильныхъ поэтовъ, которые тоже были непричастны лганью, мы можемъ на примѣрахъ гораздо болѣе намъ близкихъ удостовѣриться, что невѣжество, преувеличенія и фальшь никакъ не могутъ считаться неотъемлемою принадлежностью поэзіи“.

И онъ приводитъ описаніе весенняго вечера изъ одного рускаго писателя. „Наблюдатель не-поэтъ,—говоритъ Салтыковъ, — описалъ бы этотъ вечеръ иначе, напримѣръ: означилъ бы часъ и минуту захожденія солнца, состояніе термометра и барометра и т. п., но это былъ бы лишь тощій формулярный списокъ весенняго вечера“.

„Нѣтъ сомнѣнія, что г. Тургеневъ (приведенное выше описаніе принадлежитъ ему) тотъ же самый предметъ изобразилъ несравненно поэтичнѣе, тѣмъ не менѣе описаніе его ни въ одной чертѣ не противорѣчитъ истинѣ, и ни одинъ метеорологъ или астрономъ-наблюдатель не позволитъ себѣ сказать, что тутъ есть что-нибудь невѣрное, нелѣпое или преувеличенное. Спрашивается теперь: утратила ли картина сколько-нибудь своей поэтической прелести оттого, что въ ней нѣтъ ни „влюбленнаго Феба, спящаго съ Ѳетидой“, ни Авроры, бѣгущей съ факеломъ изъ подводнаго чертога?“

Все это пришло на мысль Салтыкову по поводу поэмы Альфреда Мюссе: „Сама-по-себѣ поэма поразительна по своему ничтожеству, — говоритъ Салтыковъ, — но въ ней типически выразились тѣ стремленія къ милому невѣжеству, которыя, къ сожалѣнію, еще въ весьма большомъ ходу между такъ-называемыми поэтами“. Содержаніе поэмы, повидимому, очень простое. „Дрянной человѣчишка“, по имени Ролла, растратившій свои силы и состояніе въ гадкомъ развратѣ, рѣшается покончить съ жизнью; для этого онъ совершаетъ еще одно дѣло гадкаго разврата и, выпивши ядъ, умираетъ.

„Сюжетъ, какъ видится, дюжинный, и проникаться по поводу его негодованіемъ къ человѣческому роду, выставлять подобный поганый случай, какъ результатъ распространившейся страсти къ анализу, совершенно ни

на что не похоже. Конечно, и нынѣ встрѣчается на свѣтѣ довольное количество шелопаевъ и негодныхъ людей, но, вѣдь, никакъ нельзя же сказать, чтобы и въ прежнія времена въ нихъ ощущался недостатокъ. Напротивъ того, исторія и этнографія самымъ убѣдительнымъ образомъ доказываютъ, что въ тѣ времена и въ тѣхъ странахъ, гдѣ знанія слабы, негодяевъ и безнравственныхъ людей бываетъ гораздо болѣе, нежели въ тѣ времена и въ тѣхъ странахъ, гдѣ сумма знаній сравнительно больше, гдѣ люди осмысливаютъ свои поступки и желаютъ видѣть факты въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, а не окруженными непроницаемымъ мракомъ невѣжества.

„Но не такъ мыслитъ маленькій поэтикъ Альфредъ Мюссе. Пошлый поступокъ своего пошлаго героя онъ приписываетъ—чему бы вы думали?—приписываетъ вліянію Вольтера!! Что можетъ быть общаго между Вольтеромъ и дряннымъ человѣчишкомъ, называющимся Роллою, этого постичь совершенно невозможно; тѣмъ не менѣе, Мюссе твердо стоитъ на своемъ и всячески клянется, что не будь Вольтера, не было бы и его дрянного Роллы. По несообразительности своей, онъ даже не задаетъ себѣ вопроса: а что, если бы, вмѣсто исторіи Роллы, разсказать исторію какого-нибудь Катилины или другого, подобнаго ему, древняго героя,—возможно ли было бы обвинить по поводу его Вольтера и страсть къ анализу? Онъ—поэтъ, и въ этомъ качествѣ не хочетъ имѣть никакого дѣла съ показаніями исторіи. Полагая всю сущность поэзіи въ смѣлости полета, а всю прелесть жизни—въ невѣжествѣ, онъ весьма естественно желаетъ уязвить если не самое знаніе, то, по крайней мѣрѣ, поползновеніе къ знанію. Однимъ словомъ, онъ чувствуетъ необходимость защитить дорогое его сердцу невѣжество, подъ покровомъ котораго, по мнѣнію его, неприкосновенно сохраняется поэтическая свѣжесть и цѣльность жизни“.

Не будемъ останавливаться на критическихъ отзывахъ Салтыкова о другихъ менѣе крупныхъ явленіяхъ того времени, какъ романы Лажечникова, Леонтьева, пьесы Ѳ. Устрялова, стихотворенія Крестовскаго (не псевдонима); не будемъ также приводить его небольшихъ критическихъ замѣтокъ въ библіографической хроникѣ,—хотя всѣ онѣ заключаютъ обыкновенно мѣткія и остроумныя сужденія. Упомянемъ еще только о нѣкоторыхъ фактахъ его литературной полемики. Кромѣ того, что уже было упомянуто выше, Салтыковъ въ тѣ годы нѣсколько разъ возвращался къ изданіямъ, которыя возбуждали въ немъ бо́льшую или меньшую антипатію. Въ своихъ хроникахъ онъ высказывалъ весьма положительно свои возраженія на теоріи, какія излагались въ изданіяхъ, выступившихъ на реакціонную дорогу; въ другихъ случаяхъ онъ дѣйствовалъ уже только насмѣшкой, считая безполезнымъ какой-нибудь серіозный разговоръ.

Главнымъ мѣстопребываніемъ реакціонной печати была тогда, какъ и впослѣдствіи, Москва. Между Москвой и Петер-

бургомъ издавна велось нѣкоторое соперничество, не однажды проникавшее въ литературу. Въ сущности, оно было лишено всякаго серіознаго основанія: Москва и Петербургъ находились и находятся въ одномъ и томъ же государствѣ, подъ тѣми же самыми законами, съ тѣми же условіями общественности и литературы, но московскіе писатели издавна воображали, что они гораздо лучшіе русскіе люди, чѣмъ петербуржцы, въ которыхъ предполагалось меньше знанія „русскаго духа", больше погони за иноземными новизнами и даже меньше патріотизма. До какой степени увѣрены были въ этомъ славянофилы, извѣстно. Этотъ особый московскій патріотизмъ сказывался одновременно даже въ противоположныхъ лагеряхъ. Истинные ревнители просвѣщенія гордились тѣмъ, что Москвѣ принадлежитъ старѣйшій и заслуженный русскій университетъ; патріотическіе мечтатели убѣждены были, что только въ Москвѣ находится хранилище истиннаго русскаго духа; даже московскіе ретрограды полагали, что старая Москва придаетъ силы ихъ мрачнымъ воззваніямъ... Отсутствіе движенія и шума настоящей столицы привлекали въ Москвѣ больше вниманія къ общественнымъ явленіямъ, которыя бывали гораздо менѣе замѣтны въ Петербургѣ, и москвичи, дѣйствительно, привыкали придавать имъ значеніе событій. Московскій журналъ, публичная лекція, концертъ, полемика и т. п. дѣлали иной разъ въ Москвѣ больше шуму, чѣмъ было бы въ Петербургѣ, и такъ какъ въ этой общественной жизни, въ 30-хъ, въ 40-хъ годахъ и послѣ, появлялись дѣятели съ истинными дарованіями, то это чувство московской особности какъ-будто получало нѣкоторое основаніе... Славянофилы, впервые начавшіе со второй половины 50-хъ годовъ свои изданія и въ особенности развивавшіе эту черту мѣстнаго патріотизма, утверждали цѣлою своей теоріей, что иначе и не должно быть; что только въ Москвѣ и возможно настоящее русское сознаніе, потерянное въ петербургской Русляндіи. Салтыковъ, какъ мы упоминали, очень хорошо зналъ Москву и зналъ также эту московскую слабость. Начиная въ „Современникѣ" свои *Московскія письма*, онъ дѣлаетъ слѣдующее предварительное замѣчаніе:

„Я не знаю отчего, но всякій разъ, какъ я проѣзжаю мимо нашего Малаго театра, мною овладѣваетъ какой-то священный ужасъ. Мнѣ все кажется, что тамъ не играютъ, а совершаютъ какія-то таинства, произво-

дять какія-то возліянія. Мнѣ кажется, что тамъ, въ темномъ углу, стоитъ стыдливая богиня Искусства; что Разсказовъ сметаетъ съ нея пыль; что Садовскій стоитъ въ одеждахъ верховнаго жреца и нюхаетъ табакъ, окруженный Шумскимъ, Самаринымъ и Никифоровымъ; что Дмитревскій произноситъ возгласы, а М. С. Щепкинъ, въ видѣ стараго причетника, сдавшаго дьяческое мѣсто дочери, дрожащимъ отъ слезъ голосомъ поетъ:

„Мы искусству честно служимъ,
Даже денегъ не беремъ,
Мы, не ѣвши день, не тужимъ
И, не ѣвши жъ, спать идемъ!“ [1]).

„Впрочемъ, Москва вообще производитъ на меня это подавляющее впечатлѣніе. Ѣду ли мимо университета, мнѣ кажется, что тамъ передъ лицомъ Науки, г. Никита Крыловъ возлагаетъ руки на г. Бориса Чичерина, при чемъ гг. Бабстъ, Бодянскій и Капустинъ поютъ:

„Не увлекшійся прогрессомъ,
Ты, продуктъ родной страны,
Служишь скромно интересамъ
Государственной казны“ [2]).

„Ѣду ли по Спиридоновкѣ, мимо редакціи „Дня“ *), мнѣ чудится, сквозь тьму, царствующую въ ея окнахъ, что тамъ есть какой-то храмъ, въ которомъ стоитъ богиня Народности, передъ которою преклоняетъ колѣна И. С. Аксаковъ и приноситъ въ жертву цыпленка, приготовленнаго à la polonaise, а гг. Погодинъ, Безсоновъ и Бѣляевъ поютъ:

„Ты, Аксаковымъ воспѣтый,
О, славянъ могучій родъ!
Что-то выйдетъ изъ атлета?
Мускулистѣйшій уродъ!“ [3]).

„Знаете ли чтó? Даже, когда я проѣзжаю мимо Лоскутнаго трактира— и тогда мнѣ кажется, что тамъ не готовятъ, а молебны Молоху служатъ. Мнѣ чудится, что стоитъ главный поваръ и обдумываетъ, какимъ бы образомъ устроить, чтобы цѣлаго слона въ кастрюлю уложить; стоятъ кругомъ поварята и, разиня ротъ, ожидаютъ, что вотъ-вотъ главный поваръ скажетъ предику, и вдругъ вода закипитъ въ кастрюляхъ, и вдругъ начнутъ съ-боку-на-бокъ перевертываться на сковородкахъ чудодѣйственные поросята и до отвращенья откормленныя индѣйки. Даже, когда я проѣзжаю по Арбату, Плющихѣ и проч., мимо всѣхъ этихъ запустѣлыхъ и неосвѣщенныхъ домовъ, то и тогда мнѣ кажется, что тамъ скрываются безвѣст-

---

[1]) Примѣчаніе Салтыкова: Взято изъ водевиля: „Гризетка Лизетта, или Насъ не оставитъ Богъ!“

[2]) Тоже: Взято изъ водевиля: „Сила судьбы, или Волшебный четвертакъ“.

*) Газета, издававшаяся главою славянофиловъ И. С. Аксаковымъ. *Н. Д.*

[3]) Взято изъ водевиля: „Невинное препровожденіе времени“.

ные, покрытые пылью богини и боги, вокругъ которыхъ стоятъ почтенные московскіе обыватели и поютъ гимны Праздности“ [1]).

Такимъ образомъ, и дѣятельность Ивана Аксакова представлялась ему самому священнодѣйствіемъ и жертвоприношеніемъ. Салтыковъ сомнѣвался въ результатахъ этихъ священнодѣйствій. Онъ жалѣетъ, что Иванъ Сергѣевичъ [2]) недостаточно вразумительно объясняетъ своимъ почитателямъ значеніе таинственнаго слова: „общество“, и, по мнѣнію Салтыкова, это происходитъ оттого, что Иванъ Сергѣевичъ дѣйствуетъ, вообще, какъ-то не прямо, а больше посредствомъ фигуръ и уподобленій; онъ подсмѣивается надъ однимъ изъ этихъ уподобленій, гдѣ изображается какое-то величественное дерево, которое верхушками упирается въ небо, а корнями высасываетъ изъ земли соки. „Дерево это прообразуетъ общество; верхушка, вѣроятно,—разумную этакую устроительную выспренность (земскій соборъ); сосущіе корни—вѣроятно, прожорливость, а земля... земля-то что означаетъ?“ Это дерево подаетъ Салтыкову поводъ ко всякимъ размышленіямъ; онъ признается, что такія деревья очень мало его соблазняли; ему казалось обыкновенно, что эти деревья, набравшись изъ земли соками, забываютъ о землѣ-кормилицѣ...

„Но допустимъ, наконецъ, что всѣ эти мечтанія совершались воочію, что у насъ есть дерево-общество, которое вершиной упирается въ небо, а корнями въ землю,—что́ выйдетъ изъ этого? Боюсь сказать, но думаю, что изъ этого выйдетъ новый манеръ питанія соками земли—и ничего больше“.

Намъ твердятъ, что нынѣшнее русское общество виновато тѣмъ, что растетъ корнями не въ землю, а куда-то вверхъ, на воздухъ. Салтыковъ находитъ, что это было бы недурно,—„вѣдь, это просто означало бы, что общество живетъ и ничего лишняго не беретъ“, то-есть не грабитъ народнаго труда. Но увы, всякое дерево, хотя бы и стояло корнями въ землѣ, все-таки растетъ, и, по мѣрѣ того, горизонтъ его верхушки расширяется, а горизонтъ земли остается тотъ же тѣсный и низменный. Ремесло общества-дерева—мыслить, воображать, стремиться; ремесло земли—быть погруженною въ матеріальные интересы. „Для перваго—науки и искусства, для второй—заботы объ удовлетвореніи грубыхъ потребностей жизни; первое, съ помощью науки,

---

[1]) „Современникъ“, 1863, № 1, стр. 163, 164.

[2]) Аксаковъ.

очистило себя отъ предразсудковъ, вторая—вся лежитъ въ предразсудкахъ".

Въ слѣдующихъ затѣмъ словахъ, среди шутокъ и насмѣшекъ надъ невразумительными аллегоріями, читатель можетъ усмотрѣть и совершенно серіозный взглядъ Салтыкова на внутреннія задачи русскаго общества.

„Не ясно ли, что, вооружаясь противъ современнаго русскаго общества, вы на мѣсто его хотите создать нѣчто такое, что́ совершенно подобно ему, и что́ не только не разрѣшаетъ дѣла, но даже какъ-будто запутываетъ его, ибо нагромождаетъ надъ землею новую тяжесть, совершенно излишнюю?

„Если вы дѣйствительно хлопочете о землѣ, то для васъ это будетъ ясно. Но это вамъ только такъ кажется, что вы хлопочете о землѣ, да притомъ еще *о русской* землѣ. Въ сущности, вы проповѣдуете ту же самую политическую теорію, которая давнымъ-давно процвѣтаетъ на западѣ: вѣдь, и тамъ существуетъ земля, и тамъ произрастаютъ на землѣ деревья. Чѣмъ же вы отличаетесь отъ тѣхъ, которыхъ называете „западниками"? Или, въ самомъ дѣлѣ, только тѣмъ, что исторія, писанная Мстиславами Удалыми и Іоаннами Грозными, милѣе для васъ, нежели исторія, писанная лейбъ-гвардіи преображенскимъ полкомъ? Да, вѣдь, это вашъ капризъ. А вы по любите исторію, писанную преображенцами, и возненавидите исторію, писанную Мстиславами—все это въ вашихъ рукахъ.

„Ко всѣмъ вашимъ мечтаніямъ о сближеніяхъ вы подмѣшиваете политическаго элемента—и это васъ спутываетъ. Не однимъ западникамъ, но и вамъ политическая тріада кажется чѣмъ-то въ родѣ очарованнаго круга, за черту котораго невозможно перейти; не одни западники, но и вы предаетесь сухотѣ отъ заботъ объ устройствѣ какой-то неестественной комбинаціи, которая обезпечивала бы... что́ обезпечивала бы? обезпечивала бы все ту же самую сущность, противъ которой вы, повидимому, сами ратуете. И потому, какъ вы ни стараетесь придумать что-нибудь народное, вы все-таки вращаетесь въ томъ же кругѣ, въ которомъ вращаются и оппоненты ваши; перетираете тѣ же идеи, которыя давнымъ-давно уже перетерты другими, до того перетерты, что даже приготовляются къ сдачѣ въ архивъ.

„Мнѣ кажется, вы были бы гораздо ближе къ истинѣ, если бъ отказались навсегда отъ политическихъ утопій и перенесли вопросъ на другую почву. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь, весь вопросъ состоитъ въ томъ, какъ бы устроить сближеніе такимъ образомъ, чтобы этому не мѣшали ни образованіе, ни необразованіе, ни различіе способностей, ни другія случайности"...

Салтыковъ вспоминаетъ, что было бы желательно, напримѣръ, уравненіе передъ закономъ образованнаго г. Фета съ необразованнымъ работникомъ Семеномъ [1]).

Къ Ивану Аксакову Салтыковъ возвращается еще нѣсколько разъ, обыкновенно подшучивая надъ его публици-

[1]) „Современникъ", 1863, № 4, стр. 399—401.

стическими затѣями, напримѣръ: надъ изобличеніемъ шатающихся по Европѣ соотечественниковъ [1]), надъ желаніемъ пробудить общественные интересы въ провинціи и привлечь корреспонденціи изъ всѣхъ губерній [2]). При этомъ послѣднемъ случаѣ произошелъ, между прочимъ, эпизодъ, которымъ и занялся Салтыковъ. Изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Аксаковъ дѣйствительно получилъ корреспонденціи (которыя показались Салтыкову балетными), но другія губерніи упорно молчали, между прочимъ, Тамбовская. Аксаковъ былъ такъ огорченъ или приведенъ въ такое негодованіе этимъ молчаніемъ, что написалъ объ этомъ въ „Днѣ", выразивъ сомнѣніе, существуетъ ли дѣйствительно Тамбовская губернія, или это только такъ, географическій терминъ. Оказалось, однако, что въ Тамбовской губерніи живетъ въ своемъ помѣстьѣ не кто иной, какъ самъ г. Чичеринъ, который вступился за честь своей губерніи. Онъ удостовѣрилъ, что Тамбовская губернія стоитъ на своемъ мѣстѣ и что въ ея молчаніи нѣтъ ничего дурного,— даже напротивъ. По мнѣнію его, въ такую минуту, когда „Россію постигла язва непомѣрнаго языкочесанія", когда свое слово хочетъ сказать даже тотъ, кому и говорить-то, въ сущности, нечего, губернія, которая молчитъ о себѣ, должна быть названа „мудрѣйшею изъ губерній"... Затѣмъ, г. Чичеринъ объявлялъ, что молчаніе тамбовцевъ означаетъ, что они заняты дѣломъ, и что тамъ, въ этой степи, „въ тишинѣ совершается великое превращеніе народной жизни". „Повѣрьте,—заканчивалъ онъ,—молчаливыя губерніи—столпы русской земли. Вѣдь, между нами, мы отъ русскаго слова большого прока до сихъ поръ не видали, но въ русскомъ молчаніи таится громадная сила".

Аксаковъ не убѣдился этими доводами и объяснялъ, что если Тамбовская губернія молчитъ теперь потому, что занята великимъ превращеніемъ народной жизни, то почему же она молчала во времена крѣпостного права? и что по логикѣ г. Чичерина выходитъ, что мы окружены цѣлымъ океаномъ гражданскаго благополучія и мудрости. Аксаковъ поздравлялъ г. Чичерина съ этимъ тамбовскимъ счастіемъ при сіяніи тамбовской мудрости.

---

[1]) Кромѣ приведеннаго въ предыдущей статьѣ, см., напр., „Свистокъ", „Современникъ", 1863, № 4, „Письма отца къ сыну", стр. 19 и далѣе.

[2]) „Современникъ", 1863, № 12, стр. 230 и слѣд.

Салтыковъ замѣчаетъ, что ему очень бы хотѣлось теперь же объяснить читателю, что́ такое тамбовское счастіе и тамбовская мудрость; но, оставляя этотъ предметъ до другого случая, онъ хочетъ заняться только даннымъ вопросомъ: чего хочетъ Аксаковъ, что́ отстаиваетъ отъ него г. Чичеринъ? Аксаковъ, очевидно, добивается истины; онъ хочетъ, чтобы всякій россіянинъ въ разговорѣ съ какимъ-нибудь липпедетмольдскимъ подданнымъ могъ сознательно сказать: „Да, я люблю Россію, ибо въ отечествѣ моемъ есть Тамбовская губернія, которая столько-то сотъ тысячъ пудовъ ржи производитъ на продажу; есть село Кимра, въ которомъ работается ежегодно до десяти тысячъ паръ сапоговъ, и есть городъ Ржевъ, въ которомъ приготовляется прекраснѣйшая яблочная пастила". „Такимъ стремленіямъ рѣшительно нельзя не сочувствовать", говоритъ Салтыковъ,—но, съ другой стороны, онъ не можетъ не отдать справедливости и г. Чичерину, который, „становясь на точку зрѣнія общечеловѣческую, защищаетъ любезнѣйшее изъ правъ человѣка,—право молчанія. Такому стремленію тоже нельзя не сочувствовать, ибо право молчать должно быть столь же неприкосновенно сохранено человѣку, какъ и право говорить, и г. Чичеринъ, взявъ на себя защиту этого права, поступилъ какъ настоящій гражданинъ". Салтыковъ ведетъ и дальше этотъ вопросъ о Тамбовской губерніи, старается вникнуть въ интимныя мысли Аксакова и Чичерина и, между прочимъ, полагаетъ, что послѣдній могъ опасаться, что Тамбовской губерніи, можетъ-быть, совсѣмъ нечего и сказать о себѣ: что́, если она найдется говорить только о скотоводствѣ, и притомъ съ грамматическими ошибками? [1]).

Въ нѣсколько пріемовъ Салтыковъ обращался къ журналу „Время" (позднѣе „Эпоха") *). Мы замѣчали выше, что это изданіе было ему, вообще, антипатично по тому неопредѣленному туману, которымъ покрыты были его разсужденія о тогдашнихъ общественныхъ дѣлахъ и при которомъ, однако, журналъ отличался немалымъ задоромъ. Мы приводили, отчасти, споры Салтыкова съ этимъ направленіемъ.

Въ первой книжкѣ „Времени" за 1863 годъ помѣщено было стихотвореніе г. Ѳ. Берга, начинавшееся такъ:

---

[1]) „Современникъ", 1863, № 12, стр. 230 и далѣе.

*) И тотъ и другой журналъ издавались Достоевскимъ. *Н. Д.*

„Изъ-за моря птицы прилетали,
Прилетали, въ рощѣ толковали.

— Эхъ, бѣда теперь намъ, птицамъ смирнымъ,
Смирнымъ птицамъ, утицамъ залетнымъ.

На землѣ житья совсѣмъ не стало
Птицѣ смирной, птицѣ перелетной.

Полетимъ мы, птицы, на болота,
На болота, дальнія озера;

Въ камышахъ повьемъ мы, птицы, гнѣзда,
Въ камышахъ, туманахъ непроглядныхъ“ (?) и т. д.

Стихотвореніе кончается:

Изъ-за моря птицы прилетали,
Прилетали, въ рощѣ толковали“.

Салтыковъ обратилъ вниманіе на это стихотвореніе. Выписавши первые стихи, онъ говоритъ: „Такъ гласитъ въ 1-мъ № „Времени“ поэтъ Ѳ. Бергъ, отнюдь не подозрѣвая, что онъ пишетъ самую язвительную характеристику того самаго журнала, въ которомъ помѣщаетъ стихи свои. Прилетали птицы: М. Достоевскій, А. Григорьевъ, гг. Страховъ и Косица—

Прилетали, въ рощѣ толковали...

„Разумѣется, толковали чепуху“.

И, выписавши это стихотвореніе, онъ продолжалъ: „Какая поэзія! Хорошо, что все это не взаправду написано; хорошо, что все это изображено съ язвительною цѣлью представить вѣрную характеристику „Времени“ [1]).

Не будемъ перечислять, какъ онъ возвращался къ этой темѣ, при чемъ публицистика „Времени“ казалась ему только птичьими толками [2]). Не будемъ останавливаться и на другихъ его полемическихъ статьяхъ и литературныхъ обозрѣніяхъ: кромѣ тѣхъ писателей, которые выше названы, онъ говоритъ подробно или мимоходомъ о Лажечниковѣ, Крестовскомъ (не псевдонимѣ), Ѳ. Устряловѣ, М. и. Ѳ. Достоевскихъ, Плещеевѣ, Майковѣ, Григоровичѣ, Леонтьевѣ, Гр. Данилевскомъ, Костомаровѣ (Н. И.) и „лже-Костомаровѣ“

---

[1]) „Современникъ“, 1863, № 3, стр. 194 и далѣе.

[2]) Ср. тамъ же, 1863, № 12, стр. 252; 1864, № 5, стр. 17—26 и пр.

(Всеволодѣ), Мельниковѣ, сопоставляемомъ съ Булгаринымъ, и пр.

Надо полагать, что когда-нибудь будутъ собраны тѣ крупныя и мелкія статьи, на которыхъ мы останавливались въ настоящемъ обзорѣ, и Салтыковъ явится передъ читателями еще съ новой интересной стороны,—хотя и здѣсь, какъ вообще всякій сильный русскій писатель, Салтыковъ является передъ читателемъ далеко не во всей цѣлости своего содержанія и своего таланта, а напротивъ, по его собственному выраженію, съ большими „изъянами“ [1]).

Читатель, слѣдившій за настоящимъ изложеніемъ, безъ сомнѣнія, согласится, что эти произведенія Салтыкова—не входившія до сихъ поръ въ собранія его сочиненій, какъ чисто-публицистическія или слишкомъ привязанныя къ данной минутѣ—исполнены великаго интереса. Интересъ заключается въ томъ, что здѣсь, въ прямомъ отношеніи къ вопросамъ даннаго положенія, Салтыковъ, быть-можетъ, больше чѣмъ когда-нибудь высказывалъ то міровоззрѣніе, которое обыкновенно облекалось имъ только въ художественную, часто фантастическую форму, и вслѣдствіе того иногда оставалась неясною, почти загадочною, особенно для людей поверхностныхъ, которыхъ увлекала всего больше, и иногда только чисто-анекдотически, блестящая остроуміемъ сатира. Здѣсь, напротивъ, Салтыковъ не однажды раскрываетъ свою мысль до тѣхъ предѣловъ, какіе были возможны по внѣшнимъ условіямъ литературы; даетъ гораздо ближе угадывать свои общественные идеалы; высказываетъ свое высокое понятіе о достоинствѣ литературы, объ обязанностяхъ, лежащихъ на самомъ художественномъ творчествѣ; оставляетъ внѣ всякихъ сомнѣній свое отношеніе къ народу—отношеніе серіозное, исполненное уваженія къ „мужеству“ этого народа въ борьбѣ съ тяжкими обстоятельствами его быта, отношеніе прямое и свободное отъ всякихъ фантастическихъ преувеличеній и мечтаній, которыя такъ легко иногда испаряются на практикѣ, но проникнутое глубокимъ желаніемъ серіознаго улучшенія его быта, матеріальнаго и нравственнаго. Рядомъ съ этимъ, Салтыковъ открыто и во многихъ случаяхъ съ боль-

---

[1]) „Современникъ“, 1863, № 12, ст. 239-241.

шою силой негодующаго чувства вооружается противъ тѣхъ безнравственныхъ явленій, какія совершались въ тогдашней литературѣ, въ угоду надвигавшейся реакціи, или противъ безхарактерныхъ, и тѣмъ самымъ, по его мнѣнію, вредныхъ произведеній тогдашней публицистики, гдѣ мнимые народолюбцы, не выяснившіе самимъ себѣ, чего хотятъ, предавались либеральному празднословію, сами не подозрѣвая, что приближаются къ лагерю настоящихъ обскурантовъ. Рѣчь его та же, какую онъ велъ въ теченіе всей своей литературной дѣятельности, съ конца 1840-хъ до конца 80-хъ годовъ: серіозная мысль, задушевное стремленіе къ общественному благу облекаются въ необычайно живую форму бесѣды съ читателемъ, переплетающейся съ разсказомъ, размышленіями, то шутливыми, то ироническими, то въ основѣ глубоко-печальными; оригинальное, неистощимое остроуміе блещетъ на каждой страницѣ. Въ цѣломъ мы видимъ здѣсь тотъ же необычайный талантъ, и разсмотрѣнныя нами крупныя и мелкія его произведенія должны стать рядомъ съ другими его сочиненіями, которыя до послѣдняго времени онъ вносилъ въ свои сборники.

Но если эти произведенія въ высокой степени любопытны для характеристики самого Салтыкова, раскрывая намъ этого писателя въ его непосредственномъ вмѣшательствѣ въ вопросы и борьбу общественной жизни, то, съ другой стороны, онѣ имѣютъ величайшій интересъ для исторіи нашего общества. Никогда впослѣдствіи Салтыковъ не являлся въ такой прямой публицистической роли, какъ въ описываемые годы: насколько было возможно при неизбѣжныхъ „изъянахъ", онъ старался выяснить общественное положеніе, и въ его публицистикѣ остался матеріалъ для общественной исторіи того времени, который будетъ драгоцѣненъ для будущаго историка. Салтыковъ началъ этотъ публицистическій трудъ въ крайне трудныхъ условіяхъ. Только-что исполненная реформа повлекла за собой уже вскорѣ приступъ реакціи. Разсматриваемое теперь издали, почти черезъ тридцатилѣтній промежутокъ времени, это явленіе становится весьма понятно. Наше общество такъ долго, въ сущности во все теченіе своей исторіи, отрѣшено было отъ какой-нибудь самодѣятельности, владѣло такою умѣренною долей просвѣщенія, такъ долго жило въ идеяхъ крѣпостного права и въ то же время въ такой привычкѣ къ собственному безправію,

что невозможно было думать, чтобы новая эпоха реформъ въ состояніи была въ три-четыре года измѣнить этотъ вѣками создававшійся общественный характеръ. Первый сильный толчокъ къ новому движенію дало внѣшнее событіе, Крымская война, указавшая крупные органическіе недостатки прежняго порядка вещей: урокъ былъ вразумителенъ, но въ той средѣ, какую представляло общество, съ его упомянутыми качествами, онъ оставилъ только поверхностное дѣйствіе. Когда разъ было какъ-будто понято и высказано, что вреденъ застой, что необходимъ „прогрессъ", толки на эту тему стали ходячею фразой, на которой общество и успокоилось. Въ тѣсномъ кругу началась усиленная умственная работа, но большинство пребывало въ прежней умственной лѣни, и урокъ остался безполезенъ. Для умовъ проницательныхъ было въ самомъ началѣ ясно, какъ поверхностно было это мнимое возрожденіе въ массѣ общества, и послѣдствія оправдали это предвидѣніе. Крестьянская реформа имѣла, конечно, свое нравственное дѣйствіе, но и въ этомъ дѣйствіи было опять много неяснаго и обоюднаго: фактически она произвела переворотъ въ отношеніяхъ сословій и въ положеніи народной массы: возвратить прежняго было нельзя, но тѣмъ не менѣе были всѣ данныя для реакціи. Матеріально реформа тяжело и непріятно отозвалась на интересахъ, именно, вліятельнаго класса, и его недовольство или раздраженіе, при нерѣшительности самой власти, повлекло, наконецъ, поворотъ съ пути „прогресса" на старую привычную дорогу, чтобы если не возвратить потерянное, то, по крайней мѣрѣ, пріостановить или задержать дальнѣйшее движеніе. Въ то же самое время происходило и другое явленіе: общественное возбужденіе, какъ и естественно, всего сильнѣе подѣйствовало на новыя поколѣнія; если гдѣ былъ настоящій, хотя, быть-можетъ, нѣсколько наивный энтузіазмъ отъ наступленія эпохи реформъ, то, именно, въ этомъ поколѣніи, видѣвшемъ отчасти послѣднюю пору прежняго порядка вещей и не сомнѣвавшагося, по юношеской горячности, что наступаетъ новая, небывалая пора во всей русской исторіи. Это выражалось живымъ интересомъ къ новой литературѣ и публицистикѣ, стремленіемъ въ школы и университеты, попытками служить самимъ народному образованію (воскресныя и безплатныя школы), вообще сильнымъ, неизвѣстнымъ прежде развитіемъ чувства

общественности. Была, кромѣ того, и другая сторона дѣла: было значительное число людей изъ того самаго дворянства, особливо средняго и мелкаго, которое поставлено было крестьянскою реформой въ неизвѣстныя прежде тяжелыя матеріальныя условія; въ то время, когда „отцы" скорбѣли и негодовали на реформу, „дѣти" встрѣчали ее съ смѣлыми надеждами молодости и искали новыхъ путей труда, который далъ бы имъ средства существованія, и свободное положеніе въ новомъ образующемся, по ихъ мнѣнію, обществѣ; тѣ и другія побужденія, нравственныя и матеріальныя, охватили и значительную часть женскаго молодого поколѣнія. Отсюда та возбужденная жизнь, особливо въ молодыхъ поколѣніяхъ, которая отличаетъ то время—конецъ 50-хъ и 60-е годы. Это возбужденіе заключало въ себѣ вполнѣ заслуживавшіе сочувствія нравственные мотивы, великодушные, хотя, повторимъ опять, иногда наивные порывы служить обществу и народу, съ другой стороны, весьма серіозные мотивы матеріальные, потому что для очень многихъ юношей и дѣвушекъ дворянскихъ семей шла рѣчь буквально о кускѣ хлѣба [1]). Къ глубокому сожалѣнію, это положеніе вещей, которое, между прочимъ, старалась объяснить нѣкоторая часть тогдашней литературы, не было понято вліятельными сферами, которыя, напротивъ, поддались инсинуаціямъ изъ реакціоннаго лагеря, и это движеніе, которое было самымъ естественнымъ результатомъ реформы (и съ нравственной и съ матеріальной стороны) и которое, между прочимъ, вызывалось самыми человѣчными и законными стремленіями молодыхъ поколѣній, приняло въ глазахъ вліятельныхъ сферъ какой-то законопреступный характеръ,—печальное недоразумѣніе, имѣвшее и крайне прискорбныя послѣдствія. Принадлежность къ молодому поколѣнію дѣлала человѣка подозрительнымъ; заблужденія нѣсколькихъ отдѣльныхъ лицъ ставились въ вину цѣлому классу людей; на молодое поколѣніе огуломъ взводились даже небывалыя преступленія (какъ, напримѣръ, петербургскіе пожары лѣтомъ 1862 года—злобное и грубое обвиненіе, которое, однако, никогда ничѣмъ не было доказано).

---

[1]) Припомнимъ, напр., изъ отчетовъ бывшихъ женскихъ курсовъ, что огромный, преобладающій процентъ ихъ слушательницъ принадлежалъ именно лицамъ дворянскаго сословія.

Реакціонная печать самымъ гнуснымъ образомъ эксплуатировала это положеніе вещей. Вотъ условія, въ которыхъ Салтыковъ открывалъ свое публицистическое поприще. Журналъ, въ редакціи котораго по его возобновленіи Салтыковъ принялъ участіе, только-что вынесъ административную опалу; изъ всей литературы на немъ, въ особенности, сосредоточены были полемическія нападенія и инсинуаціи реакціонной печати, и это, однако, былъ единственный органъ, въ которомъ могла найти мѣсто дѣятельность Салтыкова. Мы видѣли, сколько неутомимаго труда, сколько искренняго чувства положилъ Салтыковъ на эту работу; въ немъ самомъ широкія прежнія надежды (которыя, вѣроятно, были передъ тѣмъ) были подорваны открывавшимся передъ нимъ зрѣлищемъ нашей дѣйствительности, но, сколько было въ его силахъ, онъ стремился внести свѣтъ сознанія въ этотъ мракъ, окутывавшій общественный умъ и общественную совѣсть; онъ старался объяснить положеніе вещей; разоблачить себялюбивую и предательскую интригу и клевету; защитить „чуть-чуть пробивавшуюся жизнь"... Въ его хроникахъ, полемическихъ статьяхъ, критическихъ обзорахъ, собраны черты тогдашней общественной жизни, которыя будутъ драгоцѣнны для будущаго безпристрастнаго изображенія этого времени. Изъ первой половины 60-хъ годовъ нельзя назвать другого писателя, который доставилъ бы столько этого *историческаго* матеріала. Остаются недомолвки (общій недостатокъ всей нашей литературы), но онѣ будутъ понятны, какъ понятны и теперь. Изъ-за мысли даровитаго писателя, возмущаемаго мрачными явленіями своей эпохи, проглядываетъ судъ исторіи.

А. Пыпинъ.

Щедринъ. Отношеніе къ литературѣ *).

Почти ребенкомъ Салтыковъ писалъ стихи; двадцати двухъ лѣтъ онъ напечаталъ свою первую повѣсть „Запутанное дѣло“, за которую поплатился нѣсколькими годами невольной службы въ Вяткѣ. Затѣмъ, внѣ писательской дѣятельности онъ жилъ подобно большинству образованныхъ русскихъ людей, то-есть опять-таки служилъ, писалъ или подписывалъ отношенія и предписанія, подвигался вверхъ по лѣстницѣ табели о рангахъ, хозяйничалъ въ деревнѣ, бывалъ, конечно, въ обществѣ, бесѣдовалъ съ дамами, игралъ въ карты и т. д. Но во всѣхъ этихъ очень обыкновенныхъ житейскихъ положеніяхъ его какъ-то трудно себѣ представить. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, знавшему Салтыкова въ послѣднія двадцать лѣтъ его жизни, онъ представляется, внѣ литературы и литературныхъ отношеній, чѣмъ-то въ родѣ рыбы, вытащенной изъ воды: безпомощно и неумѣло бьется рыба на берегу, и все ея существо проникнуто одною инстинктивною тоской тяготѣнія къ родной стихіи, безъ которой ей не жить. Такою родною стихіей была для Салтыкова литература. Тяготѣлъ онъ къ ней всѣмъ существомъ своимъ, почти стихійно, какъ бы изъ чувства самосохраненія. Именно такъ мучительно бьется и тоскуетъ рыба, вытащенная изъ воды: нельзя ей остаться на берегу — уснетъ. Перелетныя птицы тоже такъ тянутъ осенью въ теплые края: нельзя имъ остаться на нашемъ сѣверѣ—замерзнутъ. Лично для Салтыкова самая жизнь, наконецъ, со всѣми ея красками и звуками, получила интересъ только въ качествѣ возможности литературной работы и въ качествѣ матеріала, подлежащаго литературной обработкѣ. Онъ и самъ сознавалъ непреоборимо стихійный характеръ своей любви къ литературѣ. Въ *Письмахъ къ тетенькѣ* онъ писалъ:

---

[1]) „Русск. Вѣдом.“, 1889 г. (См. выпускъ III, стр. 1.)

„Этотъ уголокъ (литература) мнѣ особенно дорогъ, потому что на немъ съ дѣтства были сосредоточены всѣ мои упованія, и она, въ свою очередь, дала мнѣ гораздо больше того, что я достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого замкнутаго, по волѣ судебъ, міра былъ моимъ личнымъ жизненнымъ процессомъ; его незащищенность—моей незащищенностью; его замученность—моей замученностью; наконецъ, его кратковременныя и рѣдкія ликованія—моими ликованіями. Это чувство отождествленія личной жизни съ жизнью излюбленнаго дѣла такъ сильно и принимаетъ съ годами такіе размѣры, что заслоняетъ отъ глаза даже широкую, не знающую береговъ жизнь".

Въ *Приключеніи съ Крамольниковымъ*, этой сказкѣ-элегіи, изображающей нравственное состояніе самого Салтыкова послѣ закрытія *Отечественныхъ Записокъ*, герой печальнаго приключенія характеризуется такъ:

„Крамольниковъ былъ коренной пошехонскій литераторъ, у котораго не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ... Въ этой привязанности къ отвлеченной личности было что-то исключительное, до болѣзненности страстное. Цѣлые десятки лѣтъ она одна питала его и съ каждымъ годомъ дѣлалась все больше и больше настоятельною. Наконецъ, пришла старость, и всѣ блага жизни, кромѣ одного, высшаго и существеннѣйшаго, окончательно сдѣлались для него безразличными и ненужными... Все разнообразіе жизни представляется фиктивнымъ; весь интересъ ея сосредоточивается въ одной свѣтящей точкѣ".

Такая спеціализація жизни, такое сведеніе всего ея пестраго шума къ одной, хотя бы и дѣйствительно свѣтящей точкѣ, грозили бы очень печальными слѣдствіями, если бы дѣло шло о комъ-нибудь другомъ, а не о Салтыковѣ. Какъ бы ни было велико значеніе литературы, но она есть только одна изъ функцій жизни, и если она заслоняетъ собою то цѣлое, которому призвана служить, то это противоестественно, — до такой степени противоестественно, что, въ концѣ-концовъ, даже просто невозможно. Знаменитыя формулы „наука для науки" и „искусство для искусства" были порожденіемъ этого стремленія заслониться отъ жизни щитами самодовлѣющихъ спеціальныхъ функцій. Формулы эти очень торжественно провозглашались, очень яростно защищались, но практически едва ли когда-нибудь осуществлялись въ сколько-нибудь широкихъ размѣрахъ. Гордо священнодѣйствуя у своихъ алтарей, служители чистаго искусства и чистой науки находятся во власти недоразумѣнія, которое отчасти даже забавно: они возсылаютъ свои ѳиміамы куда-то ужасно высоко, къ небесамъ небесъ, а вѣтромъ эти ѳиміамы отбиваетъ все-таки на землю, и вды-

хаетъ ихъ всякій, кто можетъ оплатить продукты
науки и чистаго искусства и воспользоваться ими либо
для развлеченія, либо для своихъ практическихъ
А вѣдь, цѣли эти не всегда возвышенны; руки у
развлекающихся и пользующихся не всегда чисты: бы
въ грязи, бываютъ и въ крови... Такимъ образомъ
всемъ величественномъ презрѣніи къ нашей бѣдной
къ нашимъ маленькимъ земнымъ дѣламъ, служители
мысли и чистаго воображенія все-таки не выбиваютс
круга земныхъ дѣлъ и отношеній. Да иначе и быть
жетъ: „всякъ земнородный“ въ концѣ-концовъ непре
на землѣ останется, къ какимъ бы ухищреніямъ ни
галъ и какъ бы ни старался перепрыгнуть черезъ св
мнородную природу,—такой ужъ ему предѣлъ положен
ница только въ томъ, что можно сознательно оста
на землѣ, стараясь о доведеніи земныхъ дѣлъ до во
наго для нихъ совершенства, а можно вырвать изъ
одинъ маленькій клочокъ, одну „свѣтящую точк
сотворивъ себѣ изъ нея кумира, отмести остальное,
презрѣнія достойное, но въ то же время безсознат
послужить худшему изъ этого остального.

Великое личное счастіе Салтыкова и великое с
русской литературы состояло въ томъ, что, рядомъ с
хійнымъ, почти инстинктивнымъ тяготѣніемъ къ литер
какъ профессіи, въ немъ жило сознаніе огромнаго зн
литературы, а слѣдовательно, и лежащей на ней отвѣ
ности. Онъ часто говорилъ о счастіи, которое ему давала
ратурная дѣятельность, несмотря на терніи, попадав
на его пути. Литература была для него та „она“, ко
поэты и поэтики неотступно преслѣдуютъ своими п
ніями, хотя „она“ не всегда даритъ своихъ поклонн
лаской и улыбкою, а оказывается подчасъ и очень
кою; но самыя муки, претерпѣваемыя отъ „нея“, отъ
сердцу и желанной, только еще болѣе затягиваютъ
любви, только сдабриваютъ и оттѣняютъ общее ч
счастья. Маленькій писатель Пименъ, такими трогатель
чертами изображенный въ разсказѣ *Похороны*, говорилъ
на его памятникѣ (если таковой будетъ на его могилѣ
ставленъ) надо надписать: „Литература освѣтила ему ж
но она же напоила ядомъ его сердце“. Великому пис
Щедрину памятникъ будетъ поставленъ, и на немъ м

бы было то же слово да иначе молвить: „Литература напоила ядомъ его сердце, но она же освѣтила ему жизнь“. Какія бы невзгоды ни постигли Салтыкова на жизненномъ и, въ частности, на литературномъ пути, онъ былъ все-таки счастливъ; счастливъ сознаніемъ того, что его излюбленное дѣло, мало того—дѣло, безъ котораго онъ жить не можетъ, какъ рыба безъ воды, есть вмѣстѣ съ тѣмъ великое, всеобъемлющее и, какъ онъ иногда гаворитъ, „вѣчное“ дѣло. Его „муза“ лишь очень изрѣдка выбивалась изъ-подъ строжайшаго контроля сознанія, подъ которымъ онъ ее постоянно держалъ. Онъ не довѣрялъ своему огромному таланту, мало того—даже не вѣрилъ въ него. Никогда не полагаясь на „вдохновеніе“, онъ работалъ постоянно и упорно, иногда по нѣскольку разъ переписывая и передѣлывая свои рукописи, и въ разговорѣ я не разъ слыхалъ отъ него, что онъ будто бы только упорнымъ трудомъ и беретъ. Въ *невѣріи* своемъ онъ былъ, конечно, неправъ, это слишкомъ ясно, но его *недовѣріе* къ стихійной силѣ таланта имѣло для русской литературы чрезвычайно благотворныя слѣдствія. Именно потому, что его несравненный талантъ выходилъ далеко изъ ряда вонъ и имѣетъ мало соперниковъ во всемірной литературѣ, именно поэтому онъ могъ бы надѣлать большихъ бѣдъ, если бы его не обуздывало сознаніе. Давно сказано, что быстроногій, попавъ на ложную дорогу, дальше убѣжитъ по ней, чѣмъ тихоходъ; большая и быстрая рѣка натворитъ въ разливѣ больше несчастій, чѣмъ ничтожная и вялая рѣчонка. Любопытно, что въ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ*, а помнится, и еще гдѣ-то, Щедринъ выводитъ на сцену какъ бы самого себя въ видѣ литератора и влагаетъ самымъ глупымъ изъ своихъ дѣйствующихъ лицъ (преимущественно „дамочкамъ“) такія обращенія къ нему: „Вѣдь, вы по смѣшной части!“ или: „Я намеднись что-то ваше читала! такъ хохотала! такъ хохотала!“ Сатирика, очевидно, оскорбляла мысль о томъ, что какая-нибудь глупая Марья Потапьевна или еще болѣе глупая Нонночка найдутъ въ его писаніяхъ веселое развлеченіе для себя. Это и теперь можетъ, конечно, случиться, и тутъ, собственно, нѣтъ ничего оскорбительнаго, хотя увеселять Марью Потапьевну и Нонночку не особенно лестно и пріятно. Но если бы Салтыковъ вздумалъ служить „искусству для искусства“ и распустилъ свой искрометный заразительный юморъ по-вѣтру, не сдерживая его опредѣ-

ленною, сознательно выработанною программой, мы имѣ
бы не Щедрина, какимъ теперь его знаемъ, не велика
будильника, а именно только блестящаго писателя „по смѣ
ной части“. Его писаніями увеселялись бы тѣ, кому и бе
того живется весело, и увеселялись бы, можетъ-быть
счетъ и въ ущербъ тѣхъ, кому живется слишкомъ горьк
Къ счастью, щедринская единственная „свѣтящая точк
не имѣла ничего общаго съ двусмысленнымъ искусство
для искусства. Это не былъ кумиръ, ревниво требующ
исключительнаго поклоненія; это была дѣйствительно „св
тящая точка“, единственная въ томъ смыслѣ, что по обст
ятельствамъ жизни сатирика въ ней и, только въ ней, с
средоточивались всѣ лучи жизни. Въ своей страстной пр
вязанности къ литературѣ Салтыковъ дошелъ постепен
до того, что всѣ явленія жизни—крупныя и мелкія, траг
ческія и комическія, яркія и блѣдныя, возвышенныя
отвратительныя—оказались ничтожными въ сравненіи с
литературою и получили для него интересъ только въ св
емъ литературномъ отраженіи. Это было бы уродство, есл
бы онъ въ то же время не требовалъ отъ литературы, чтоб
она, въ свою очередь, отражала въ себѣ всѣ явленія жизн
При этомъ условіи его восторженныя разсужденія о лит
ратурѣ являются только оригинальными комментаріями к
евангельскому тезису: „Въ началѣ бѣ Слово“.

Въ *Кругломъ годѣ* нѣсколько скучающихъ въ Ниццѣ ру
скихъ людей придумываютъ развлеченіе: составляютъ из
себя „комиссію объ искорененіи“ сначала „всего“, а потом
спеціально литературы, ибо при ближайшемъ разсмотрѣн
оказалось, что „ничто не будетъ надлежащимъ образом
искоренено, покуда не будетъ искоренена литература“. Когд
одинъ изъ членовъ комиссіи предложилъ „одну часть пр
изведеній литературы сжечь рукою палача, а другую пот
пить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздны
городъ Мезень“—авторъ не выдержалъ и произнесъ защ
тительную рѣчь, въ которой, между прочимъ, читаемъ:

„Милостивые государи! Вамъ, конечно, не безызвѣстно выражені
scripta manent. Я же, подъ личною за сіе отвѣтственностью, присовокупля
semper manent, in saecula saeculorum! Да, господа, литература не умрет
Не умретъ вовѣки вѣковъ!.. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все в
свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ,—од
литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литератур
изъята изъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Несмотр

ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, при которомъ можно бы было съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ. Ибо ничто такъ не соприкасается съ идеею о вѣчности, ничто такъ не поясняетъ ея, какъ представленіе о литературѣ".

Въ томъ же *Кругломъ годѣ* племянникъ Ѳеденька Неугодовъ сообщаетъ автору о своихъ служебныхъ успѣхахъ и, между прочимъ, о томъ, что онъ засѣдаетъ въ комиссіи „о мѣрахъ, которыя надо принять на случай могущаго быть свѣтопреставленія". Авторъ освѣдомляется, не предстоятъ ли въ томъ числѣ какія-нибудь мѣропріятія по адресу литературы. Ѳеденька отвѣчаетъ: „Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: рѣшено предложить г. Майкову написать, на случай свѣтопреставленія, гимнъ". Въ дальнѣйшемъ разговорѣ свѣдѣніе это даетъ автору поводъ для слѣдующаго замѣчанія: „Даже комиссія на случай могущаго быть свѣтопреставленія—и та прежде всего сочла нужнымъ открыть это торжество гимномъ. Почему она такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смягчатся черезчуръ суровые тоны торжества, и затѣмъ—кто же знаетъ?—быть-можетъ, и самое свѣтопреставленіе будетъ отмѣнено". Но и независимо отъ этого отдаленнаго событія, авторъ всѣми возможными способами старается убѣдить суроваго Ѳеденьку Неугодова, что гнать литературу не годится, что она даже ему, Ѳеденькѣ, необходима.

„Даже дамочки отвернутся отъ тебя,—говоритъ онъ,—ибо и онѣ понимаютъ, что неприлично и скучно по цѣлымъ часамъ только жестикулировать, но надо по временамъ и поговорить. И поговорить не о лишеніи правъ состоянія, а о Дюма-фисѣ, о Бело, о Монтепэнѣ, т.-е. все-таки о литературѣ... Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который надѣтъ на твоихъ плечахъ, чай, который ты сію минуту пьешь, булка, которую ты ѣшь, все, все идетъ оттуда. Если бы не было литературы, этого единственнаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человѣческая можетъ оставить прочный слѣдъ, ты ходилъ бы теперь на четвереньках, обросшій шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался бы сырыми злаками и акридами..." И далѣе: „Я страстно и исключительно преданъ литературѣ; нѣтъ для меня образа достолюбезнѣе, похвальнѣе, дороже образа, представляемаго литературою; я признаю литературу всецѣло, со всѣми уклоненіями и осложненіями, даже съ московскими кликушами".

Не черезчуръ ли ужъ это? Не безумно ли слѣпа та любовь къ литературѣ, которая обнимаетъ даже „московскихъ кликушъ" и литературные сюжеты для разговора съ „дамоч-

ками“ въ свободное отъ жестикуляцій время? Есть, вѣдь, въ литературѣ своего рода волки и овцы, и нельзя же любить единовременно и овцу и волка,—чѣмъ-нибудь да надо пожертвовать. Есть литература, зовущая къ истинѣ, къ подвигу, къ идеалу, и есть литература пасквиля, доноса, лжи, скоморошества, издѣвательства надъ честью и совѣстью. Салтыковъ на себѣ испыталъ всю низкую злобу, на которую способна эта послѣдняя. И не ему бы, кажется, какъ лично претерпѣвшему и какъ свидѣтелю многихъ чужихъ претерпѣній, простирать любящія объятія къ литературѣ вообще.

Дѣло объясняется очень просто. „Осложненія и уклоненія“ въ родѣ „московскихъ кликушъ“ и прочаго печальнаго или позорнаго отребья литературы „порою бываютъ мучительны, но, вѣдь, они пройдутъ, исчезнутъ, растаютъ, и навѣрное одни только усилія честной мысли останутся незыблемыми“. „Таково мое глубокое убѣжденіе,—прибавляетъ сатирикъ,—не будь у меня этого убѣжденія, этой вѣры въ литературу, въ ея животворящую мощь, мнѣ было бы больно жить“. Салтыковъ желаетъ, чтобы вся жизнь, во всѣхъ ея подробностяхъ, со всѣми ея мучительствами и мученіями, возвышенностями и низменностями, радостями и печалями, отражалась въ „свѣтящей точкѣ“ литературы; чтобы было, все равно, какъ въ сказкѣ: на небѣ солнце и въ теремѣ солнце, на небѣ мѣсяцъ и въ теремѣ мѣсяцъ. Пусть все, что пресмыкается и летаетъ, смѣется и плачетъ, торжествуетъ и терпитъ пораженіе въ жизни,—пусть все это отражается въ литературномъ зеркалѣ. „Литература имѣетъ право допускать заблужденія, потому что она же сама и поправляетъ ихъ“. Но никто, никакая посторонняя сила не должна сюда вмѣшиваться, бросая свой мечъ Бренна на ту или другую чашку вѣсовъ, оказывая покровительство однимъ элементамъ литературы и насильственно подавляя другіе. Безъ этого посторонняго вмѣшательства все само-собою перемелется, и животворящая мощь литературы вынесетъ изъ свободной борьбы мнѣній только чистое, свѣтлое, а вся муть осядетъ на дно житейскаго моря и пропадетъ тамъ пропадомъ. Туда ей и дорога, а не то, чтобы, въ самомъ дѣлѣ, сами-по-себѣ московскіе кликуши и литературные сюжеты для игривыхъ собесѣдованій съ „дамочками“ представляли что-нибудь цѣнное. При полной свободѣ печати вредъ, приносимый ими, былъ бы ничтоженъ,—они растаяли бы въ лучахъ правды, яко таетъ

воскъ отъ лица огня, потому что, въ концѣ-концовъ, не могутъ они выдержать открытую, прямую борьбу съ „усиліями честной мысли“. Если бы же они и сохранились частью, то лишь въ качествѣ Сенькиной шапки, въ качествѣ подлиннаго выраженія аппетитовъ извѣстной части общества. Они были бы даже полезны этою подлинностью выраженія совершенно опредѣленныхъ житейскихъ теченій и настроеній. Истина не манна небесная, питавшая евреевъ въ пустынѣ. Она не готовая съ неба людямъ сваливается, а достигается трудными путями всесторонняго изслѣдованія, и на путяхъ этихъ нельзя обойтись безъ заблужденій. Но истина и заблужденіе должны быть поставлены лицомъ къ лицу, безъ постороннихъ покровителей хотя бы и истины, безъ постороннихъ препятствій хотя бы и заблужденію.

Такъ объясняются странныя на первый взглядъ указанія Салтыкова на заслуги Бело и признанія въ любви къ московскимъ кликушамъ. Область литературы была для него до такой степени священна, что самымъ ненавистнымъ ему элементамъ онъ предоставляетъ какъ бы право убѣжища въ ней. Такое право убѣжища признавалось въ старые годы за храмами, куда могъ правомѣрно укрыться самый отъявленный и уличенный преступникъ. По мнѣнію Салтыкова, разъ человѣкъ выступилъ на литературное поприще, онъ уже тѣмъ самымъ становится неприкосновеннымъ и подлежитъ лишь литературному же суду и расправѣ. Салтыкову казалось непререкаемо яснымъ, что на опубликованіе, путемъ печати, невѣрныхъ фактовъ можно и должно отвѣчать только опроверженіемъ и опубликованіемъ фактовъ вѣрныхъ; на неправильную аргументацію—аргументаціей правильною; на литературное нападеніе—литературною защитой. Онъ былъ въ этомъ отношеніи радикальнѣйшимъ изъ радикаловъ. Въ 1880 г. онъ былъ за границей, лѣчился и писалъ въ *Отечественныя Записки* статьи, озаглавленныя *За рубежомъ*. Мимоходомъ сказать, мнѣ, завѣдывавшему тогда редакціей *Отечественныхъ Записокъ*, приходилось подчасъ туго отъ той нетерпѣливой настойчивости, съ которою Салтыковъ требовалъ свѣдѣній о той или другой статьѣ, о цензурныхъ опасностяхъ, о томъ, когда выйдетъ наша книжка, и т. п. Онъ и за границей былъ полонъ своимъ любимымъ дѣломъ: мыслью и сердцемъ жилъ въ редакціи. Недаромъ онъ писалъ въ *За рубежомъ*: „Легко сказать: позабудь, что въ Петербургѣ существуетъ цензур-

ное вѣдомство, и затѣмъ возьми одръ твой и гряди; выполнить этотъ совѣтъ на практикѣ, право, нелегко". Та вотъ, въ этотъ самомъ 1880 году шли довольно оживленн толки о предстоящей замѣнѣ административнаго воздѣ ствія на литературу воздѣйствіемъ судебнымъ. Салтыко отнюдь не радовался этой замѣнѣ. Газетные толки о н онъ отмѣтилъ въ *За рубежомъ* нѣсколькими ворчливыми стр ницами на ту тему, что чѣмъ же, собственно, „судебные ско піоны" лучше „скорпіоновъ административныхъ".

Литература неприкосновенна, но за то она честно испо няетъ свои обязанности, зоветъ общество къ добру и правд карает зло и неправду... Таковъ былъ идеалъ Салтыкова, идеалъ, слишкомъ удаленный отъ дѣйствительности. Это разладъ дѣйствительности съ идеаломъ и былъ тѣмъ ядом которымъ литература напоила сердце сатирика, хотя лит ратура же освѣтила его жизнь.

Салтыковъ очень интересовался исторіей новѣйшей ру ской литературы и часто, въ разныхъ своихъ сочиненіях задавалъ себѣ мучительный вопросъ,—отчего все это так странно и печально и срамно вышло? Исходнымъ пу ктомъ его размышленій были, обыкновенно, сороковые год Литература того времени отнюдь не была его идеаломъ, хо бы уже потому, что она была связана по рукамъ и по ногам Были въ ней и такіе изъяны, которые стояли внѣ прямых отношеній со связанностью. Тѣмъ не менѣе, ей удалось, какъ говоритъ Салтыковъ въ *Кругломъ годѣ*,—„отыскать и вѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ о не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, т честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общ строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною из подъ ига всевозможныхъ давленій". Двѣ черты особен характерны для литературы сороковыхъ годовъ. Во-первых это была литература серіозно убѣжденная; во-вторыхъ, о не имѣла доступа къ практической жизни. Нынѣ убѣжде ность исчезла, влеченіе къ идеаламъ сгинуло, традиція лит ратурной брезгливости оборвалась, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, литер тура вступила въ общеніе съ жизнью, съ практическою злобо дня. Есть ли какая-нибудь причинная связь между серіо ною убѣжденностью литературы сороковыхъ годовъ и е изолированностью, между нынѣшнимъ оскудѣніемъ идеалов и общеніемъ литературы съ практическою жизнью? Салтыков

рѣшительно отвѣчаетъ: нѣтъ. „Изолированность,—говоритъ онъ,—конечно, имѣетъ свою красивую, а отчасти, и полезную сторону, потому что она ставитъ литературу въ положеніе жены цезаря, которой не должно касаться даже подозрѣніе въ податливости, но было бы въ высшей степени неестественно и оскорбительно, если бъ эта же самая изолированность сдѣлалась безсрочною и составила бы окончательную цѣль существованія литературы". Общеніе съ жизнью „всегда было и всегда будетъ цѣлью всѣхъ стремленій литературы". Оно само-по-себѣ не могло бы ни умалить идеаловъ литературы, ни, тѣмъ менѣе, упразднить ихъ. Напротивъ, идеалы могли бы найти здѣсь для себя лишь поправку, опору и развитіе, а никакъ не смерть. Но—

„на дѣлѣ какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь поступилась литературѣ не существенными своими интересами, не тѣмъ внутреннимъ содержаніемъ, которое составляетъ источникъ ея радостей и горестей, а только безчисленною массой пустяковъ. И въ то же время сдѣлалось яснымъ, что старинный афоризмъ „не твое дѣло" настолько заматерѣлъ и въѣлся во всѣ закоулки жизни, что слабымъ рукамъ оказалось совершенно не-подъ-силу бороться съ нимъ. И такимъ образомъ, въ концѣ-концовъ оказалось, что литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горше и чувствительнѣе этой?"

И въ разсказѣ *Похороны* Салтыковъ со вздохомъ вспоминаетъ то время, когда „была замкнутость, явленіе, конечно, не особенно плодотворное, но охранявшее литературный декорумъ и положившее начало нѣкоторымъ литературнымъ преданіямъ, на которыя не безъ пользы можно ссылаться и нынѣ".

Въ *Письмахъ къ тетенькѣ* Салтыковъ опять возвращается къ этой терзающей его темѣ. На этотъ разъ онъ сравниваетъ литературу сороковыхъ годовъ со сказочною царевной, которая „была заключена въ неприступномъ чертогѣ и только дремала, окутанная сновидѣніями". „Но въ основѣ этихъ сновидѣній,—продолжаетъ онъ,—лежало „человѣчное", такъ что ежели литература не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и „замаранность" была въ то время явленіемъ исключительнымъ, ибо гдѣ же и какъ могла „замараться" царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ?" Она пыталась временами выглянуть изъ своего очарованнаго замка, выйти изъ сферы возбужденія

благородныхъ чувствъ вообще, но тотчасъ же получала ш
чокъ и вновь удалялась въ волшебные чертоги. А когда выхо
въ жизнь былъ ей, наконецъ, предоставленъ, она, замучен
и заподозрѣнная, столкнулась съ хлынувшею въ литерат
„улицей“, и перевѣсъ оказался не на ея сторонѣ. Литерат
въ наше время, повидимому, чрезвычайно оживлена, но,
сущности, это вовсе не литература, „это только шумт
гвалтъ взбудораженной улицы, это нестройный хоръ о
стрившихся вожделѣній, въ которомъ главная нота, по
кому-то горькому фатализму, принадлежитъ подозрительнос
сыску и безшабашному озлобленію“. „Дѣло въ томъ,
вездѣ, въ цѣломъ мірѣ, улица представляетъ собою тол
матеріалъ для литературы, а у насъ, напротивъ, она госп
ствуетъ надъ литературой,—во всѣхъ видахъ господствуе
и въ видѣ частной иниціативы, частнаго насилія, и въ ви
непререкаемо-возбраняющей силы“.

Въ *Пестрыхъ письмахъ* отмѣтчикъ и корреспондентъ
также трактирный завсегдатай Подхалимовъ, разсказы
автору о позорныхъ нравахъ, господствующихъ въ его
зетѣ, нахально замѣчаетъ: „Печать-то, вѣдь, сила? Такъ
отче?“ Эти слова поражаютъ автора. Онъ вспоминаетъ,
гдѣ-то, когда-то онъ слыхалъ эти самыя слова, но не
этой обстановкѣ и не изъ устъ Подхалимова. Да, онъ слыха
эти слова, вѣрилъ въ нихъ, гордился ихъ смысломъ,
„никогда, никогда, даже въ самые черные дни, не могъ се
представить, чтобы сила печати могла осуществиться
тѣхъ поразительныхъ формахъ, въ какихъ узналъ ее здѣ
въ эту минуту! Какимъ образомъ это случилось? Какое з
волшебство передало эту силу въ руки Подхалимовых
Размышляя о причинахъ этого зловолшебнаго явленія, С
тыковъ приходитъ къ такому заключенію. Въ ту досто
мятную пору, когда литературѣ были не то чтобъ уже
стежь отворены, но все-таки пріотворены двери въ прак
ческую жизнь, разныя литературныя направленія оказал
слишкомъ несходными, чтобы прійти къ какому-нибудь
глашенію. Это и понятно, пока рѣчь идетъ о соглаше
по существу. „Но дѣло въ томъ, что въ пылу споровъ
существу утрачено было изъ виду, что печать и сама-по-се
въ качествѣ общественной силы, требуетъ огражденія, д
всѣхъ мнѣній и партій одинаково обязательнаго“. Согла
нія по этому пункту не состоялось, общаго литературн

дѣла не оказалось. Мало того, „въ самомъ непродолжительномъ времени состоялись вѣроломства, предательства, отступничества, въ сопровожденіи цѣлой свиты легкомыслій, свидѣтельствовавшихъ о полномъ отсутствіи дисциплины". Слова „печать", „литература" утратили всякій объединяющій смыслъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ неизбѣжно должно было пасть и общественное значеніе литературы.

Итакъ, та единственная точка, которая освѣщала и грѣла Салтыкова сызмалѣтства и до сѣдыхъ волосъ и до могилы, оказалась безсильною, поруганною. Онъ никогда не терялъ увѣренности, что это пройдетъ какъ сонъ, какъ тяжелый кошмаръ, и свѣтящая точка разгорится и все освѣтитъ и согрѣетъ. Но дѣйствительность все-таки обдавала его ужасомъ и отвращеніемъ. Чтобъ оцѣнить всю глубину этого ужаса и этого отвращенія, надо помнить, что мы имѣемъ дѣло съ человѣкомъ, совершенно исключительно преданнымъ литературѣ, для котораго въ ней вся жизнь сосредоточилась. И въ довершеніе ужаса, литература, въ томъ высокомъ смыслѣ, какъ ее понималъ Салтыковъ, гибла, благодаря, въ значительной степени, собственнымъ своимъ порожденіямъ. Это было какъ бы матереубійство. Въ самомъ храмѣ литературы, въ которомъ такъ благоговѣйно молился Салтыковъ и чистоту котораго онъ такъ оберегалъ, раздавались дикіе окрики: „Мошенники пера, разбойники печати!" Салтыковъ справедливо говорилъ, что если эти, въ сущности, совершенно безсмысленныя, но вполнѣ постыдныя слова появились въ литературѣ, такъ, значитъ, и подлинно въ ней завелись мошенники пера и разбойники печати. Дѣйствительно, кто, кромѣ таковыхъ, осмѣлится сказать эти слова, клеймя ими не шантажъ, не пасквиль, не клевету, а „образъ мыслей"?

Объ этихъ измѣнникахъ общему литературному дѣлу Салтыковъ говорилъ часто, но говорилъ, какъ публицистъ, и ни разу не возсоздалъ эту позорную фигуру, какъ художникъ, что охотно дѣлалъ съ другими литературными типами. Онъ точно боялся, что у него не хватитъ красокъ для художественнаго воплощенія объекта его особеннаго, преимущественнаго негодованія. Слишкомъ это негодованіе было сильно, и охваченный имъ художникъ не могъ объективировать волновавшее его явленіе во всей его жизненной цѣльности. Но онъ подходилъ къ этой задачѣ. Такова удиви-

тельная сказка *Христова ночь*, въ которой воскресшій Богъ благословляетъ всю природу, благословляетъ людей, пострадавшихъ отъ неправды, указываетъ путь спасенія всѣмъ творящимъ неправду,—всѣмъ, кромѣ предателя-Іуды...

Если, однако, Салтыковъ скорбѣлъ объ отсутствіи или распаденіи общаго литературнаго дѣла, такъ изъ этого не слѣдуетъ, чтобы онъ исключалъ изъ своихъ симпатій только измѣнниковъ общему дѣлу печати. Если бы эти измѣнники не были измѣнниками, т.-е. не прибѣгали бы къ пріемамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ литературною полемикой, они были бы въ глазахъ Салтыкова все-таки врагами. И не одни они. Напрасно стараются увѣрить, что Салтыковъ стоялъ внѣ партій. Его великій талантъ поднималъ его надъ всѣми нашими партіями, но умомъ и сердцемъ онъ принадлежалъ вполнѣ детально опредѣленному направленію. Утверждать противное, значитъ забывать не только такіе частные факты, какъ полемика Салтыкова со „Старѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницей“ [1]), но и тотъ общій фактъ, что онъ былъ редакторомъ журнала съ совершенно опредѣленною физіономіей. Мнѣ кажется, что съ точки зрѣнія самого покойника нельзя нанести его тѣни бо́льшаго оскорбленія, какъ это забвеніе его редакторской дѣятельности. Онъ очень дорожилъ ею. Я помню то глубокое огорченіе, которое причинило ему закрытіе *Отечественныхъ Записокъ*. Огорченъ онъ былъ не только фактомъ закрытія, который обрывалъ его любимую дѣятельность и заставлялъ его итти писать, какъ онъ выражался, „въ чужое мѣсто“,—онъ огорчался и формой, въ которую былъ облеченъ прискорбный фактъ,—формой, до извѣстной степени какъ бы выдѣлявшею лично редактора изъ общей бѣды журнала. Говорятъ, будто онъ часто расходился со „своими“. Неправда, со своимъ журналомъ онъ никогда не расходился. Но онъ держался того мнѣнія, что „довольно странно представить себѣ Бѣлинскаго, отъ времени до времени понюхивающаго съ Булгаринымъ табачокъ“ (*Похороны*). Многіе изъ тѣхъ, кто хотѣлъ бы нынѣ посчитаться съ великимъ покойникомъ хоть „свойствомъ“, если не родствомъ, получали отъ него, въ свое время, хорошіе щелчки; но онъ ихъ никогда и не считалъ „своими“.

---

[1]) „Спб. Вѣдомостями“. *Н. Д.*

езъ сомнѣнія, условія русской печати не особенно опріятствуютъ образованію опредѣленныхъ литератур- ъ партій и направленій. Салтыковъ понималъ это и бѣлъ, что вполнѣ соотвѣтствуетъ его требованію, чтобы литературѣ отражались всѣ оттѣнки жизни. Въ *Мело- жизни* онъ сопоставляетъ европейское газетное дѣло усскимъ. Въ Европѣ дѣло поставлено такъ: „Правильна неправильна идея, полезно или вредно направленіе, рому служитъ данная газета, это вопросъ особый; но мнѣнно, что и идея и направленіе существуютъ, что высказываются въ каждой строкѣ журнала, не смѣши- ь ни съ какими другими идеями и направленіями. атель знаетъ, что́ онъ издаетъ; подписчикъ знаетъ, на онъ подписывается". У насъ, конечно, должно бы было то же самое, потому что это нормальный порядокъ. по обстоятельствамъ, наши газеты распредѣляются ко по двумъ категоріямъ: ликующихъ и трепещущихъ. держаніе для первыхъ представляетъ веселая диффама- и всѣхъ сортовъ балагурство, иногда, впрочемъ, замѣ- мыя благонамѣреннымъ бѣшенствомъ; содержаніемъ для лѣднихъ служитъ агонизирующая тоска въ виду завтраш- дня и ежедневная разработка шкурнаго вопроса". ѣмъ рисуются соотвѣтственные типы газетчиковъ: Иванъ омнящій и Ахбѣдный. Въ концѣ-концовъ, оба они равно ояжаютъ въ „мелочахъ жизни". Но Непомнящій погря- ъ съ веселіемъ, потому что за душой у него нѣтъ ника- идеи, никакого направленія,—онъ просто кувыркается амъ не знаетъ, откуда и зачѣмъ онъ появился на аренѣ етной дѣятельности; зато онъ знаетъ, что прочно при- ился къ даннымъ условіямъ и что ничто не грозитъ ему завтра ни послѣзавтра. Ахбѣдный, напротивъ, очень ошо знаетъ, зачѣмъ онъ явился въ литературу, но выну- енъ ежедневно дрожать надъ вопросомъ: „Пройдетъ или пройдетъ?".

„Русскій читатель, защити!"—вырывается у Салтыкова въ сказѣ *Похороны*. А въ *Мелочахъ жизни* онъ дѣлаетъ енькій смотръ русскимъ читателямъ. Есть „читатель- авистникъ", есть „солидный читатель", есть „читатель- стецъ". На всѣхъ на нихъ плоха надежда. Есть, нако- ъ, „читатель-другъ". Есть онъ, Салтыковъ въ этомъ не нѣвается, но этотъ читатель заробѣлъ, затерялся въ

толпѣ, и между нимъ и писателемъ нѣтъ постояннаго неп
средственнаго общенія. Временами общеніе становится во
можнымъ. „Такія минуты, — говоритъ сатирикъ, — самы
счастливыя, которыя испытываетъ убѣжденный писатель в
трудномъ пути своемъ". Но „покуда мнѣнія читателя-дру
не будутъ приниматься въ расчетъ на вѣсахъ общественна
сознанія съ тою же обязательностью, какъ и мнѣнія прочих
читательскихъ категорій, до тѣхъ поръ вопросъ объ удруче
номъ положеніи убѣжденнаго писателя останется откр
тымъ".

У Салтыкова было много читателей-друзей. Пускай я
они памятуютъ, какъ любовно относился къ нимъ суровы
сатирикъ, какъ размягчалось его сердце при мысли о них
Въ союзѣ убѣжденнаго писателя съ читателемъ-другом
онъ видѣлъ залогъ торжества литературы—конечно, не то
литературы, которая, въ своемъ злобномъ предательствѣ ил
безпутномъ скоморошествѣ, уподобляется нечистоплотному
неразумному животному басни, подрывавшему корни дуб
лишь бы сейчасъ наглотаться желудей. Животное это дост
гаетъ своей цѣли,—наѣдается желудями, но, вмѣстѣ с
тѣмъ, печатное слово лишается того уваженія и вліяні
которыя ему приличествуютъ.

Н. Михайловскій.

Щедринъ. Женскій вопросъ.

Трудно оторваться отъ Щедрина. Трудно, во-первыхъ, силу того исключительнаго интереса, который предста-етъ его оригинальная литературная физіономія; трудно, вторыхъ, еще и потому, что все боишься, какъ бы не по-дить какихъ-нибудь недоразумѣній, въ виду обширности зложности щедринскаго дѣла.

Возьмемъ какой-нибудь частный случай, достаточно зна-тельный для того, чтобы на немъ можно было провѣрить и не все вышесказанное, то хоть наиболѣе выдающіеся кты нашего анализа. Результаты, къ которымъ мы при-ъ, пригодятся и для другихъ частныхъ случаевъ. Я вы-раю такимъ пробнымъ камнемъ такъ-называемый женскій просъ, отчасти просто потому, что надо же что-нибудь брать, а отчасти и по другимъ причинамъ.

Много по женскому вопросу писано, такъ что онъ ка-тся и безъ Салтыкова достаточно выясненнымъ со всѣхъ зможныхъ точекъ зрѣнія. Сколько, въ самомъ дѣлѣ, на тему чернилъ пролито, сколько горячихъ словъ сказано, олько литературныхъ схватокъ! Весьма не малой величины ъ потребовался бы для вмѣщенія всѣхъ книгъ и статей женскомъ образованіи, о женскомъ трудѣ, о положеніи нщинъ, о подчиненности женщинъ, о женщинахъ, за нщинъ, противъ женщинъ, особенно если прибавить къ мъ романы, повѣсти, драмы, стихотворенія, въ которыхъ ъ же женскій вопросъ трактуется при помощи образовъ картинъ. Однако, Салтыкова невредно выслушать и въ омъ дѣлѣ.

Въ народной средѣ женскій вопросъ поставленъ чрезвы-йно просто и весь исчерпывается въ рѣчи учителя Кра-льникова на юбилеѣ Мосеича *(Сонъ въ лѣтнюю ночь)*. Тутъ можетъ быть рѣчи ни о *женскомъ* образованіи, потому что немъ столь же нуждаются и мужчины, ни о *женскомъ*

трудѣ, потому что его не меньше, чѣмъ мужского. Провозгл
шая тостъ „за улучшеніе участи русской крестьянской же
щины, охранительницы, устроительницы русской крестья
ской семьи“, Крамольниковъ имѣлъ въ виду одно: что
мужики перестали обижать бабъ. Во всемъ остальномъ нѣ
существенной разницы между положеніемъ мужчинъ и пол
женіемъ женщинъ, а стало-быть, нѣтъ и почвы для возни
новенія спеціальнаго женскаго вопроса. Крамольниковъ гов
ритъ мужикамъ, собравшимся чествовать Мосеича: „Час
тѣхъ тяжелыхъ веригъ, которыя выпали на долю русск
крестьянки, идетъ отъ васъ самихъ, господа. Я знаю, ч
въ этомъ фактѣ виноваты не столько вы сами, сколько ва
горе, ваша нужда, но я знаю также, что одинаковость го
и равная степень нужды должны бы послужить поводо
для круговой поруки несчастія, а не для притѣсненія одни
несчастныхъ посредствомъ другихъ. Пора бы подумать о
этомъ, господа. Пора сказать: мы несчастны, слѣдовательн
наша обязанность подать другъ-другу руку, а не раздира
другъ-друга“. Такимъ образомъ, женскій вопросъ здѣсь сам
собой расплывается въ общей „проблемѣ о мужикѣ“, и есл
осуществленіе добраго пожеланія Крамольникова предст
вляетъ трудности, то самая постановка женскаго вопроса в
народной средѣ до-нельзя проста.

Обратимся въ другія сферы, совершенно противополо
ныя, гдѣ женщину не только не бьютъ, но гдѣ она, напр
тивъ того, является предметомъ поклоненія, почти культ
гдѣ ее окружаютъ особенною атмосферой, насыщенною лесть
лаской, почетомъ, ѳиміамомъ сердецъ, ароматомъ цвѣтов
блескомъ бриллiантовъ, гдѣ женщинѣ не житье, а масленица
Конечно, не въ этой душистой и сверкающей атмосфер
зарождается женскій вопросъ, но матеріалъ для его пост
новки доставляется ею въ изобиліи, и Салтыковъ этим
матеріаломъ не брезгалъ. „Дамочки“, „куколки“, „ангелочки
не разъ останавливали на себѣ вниманіе суроваго сатирик
и, несмотря на то, что портреты этихъ странныхъ видои
мѣненій человѣческаго типа разбросаны въ разныхъ его пр
изведеніяхъ какъ бы мимоходомъ, онъ, очевидно, далъ себ
трудъ изучить ихъ съ большою пристальностью. Объ этом
свидѣтельствуетъ и повторяемость портретовъ и чрезвы
чайно тонкая отдѣлка нѣкоторыхъ подробностей. Душ
„куколки“—штука, разумѣется, несложная, но все-таки э

машинка какая-нибудь, а душа, хотя, можетъ-быть, „ви-
ъ малая и не безсмертная“, какъ выражается въ *Исторіи
го города* учитель каллиграфіи Линкинъ, разумѣя, впро-
ъ, не человѣческую, а лягушечью душу. Изучить эту
ложную душу тѣмъ труднѣе, что она проявляется раз-
о рода внезапностями, предвидѣть которыя невозможно,
и придерживаться обыкновенной логики. Все здѣсь вне-
но: сужденія, чувства, поступки. Салтыковъ изучилъ,
ако, „куколку“ такъ, какъ едва ли это удалось даже тѣмъ
нашихъ писателей, которые сдѣлали себѣ изъ міра жен-
хъ отношеній своего рода спеціальность.

Мы остановимся на двухъ экземплярахъ этой породы:
ае Персіянова въ *Ташкентцахъ* и m-me Проказнина въ
гонамѣренныхъ рѣчахъ (*Еще переписка*). Обѣ эти милыя
очки наставляютъ своихъ юныхъ, но уже многообѣща-
ихъ сыновей, съ одной стороны, въ преданности религіи,
честву, дворянскому долгу и прочимъ „основамъ“, а съ
гой—въ искусствѣ побѣждать женскія сердца и совер-
ть адюльтеръ. Сами „куколки“ по этой послѣдней части
пропускаютъ случая. Какъ хорошенькія, ярко расцвѣчен-
ы бабочки, онѣ перепархиваютъ съ цвѣтка на цвѣтокъ,
и только позволительно сравненіе непрекрасной половины
овѣческаго рода съ цвѣтами. Куколки охотно посвяща-
ъ взрослыхъ сыновей въ тайны своихъ prouesses, дабы
е разъ хоть мысленно пережить поэму любви. И юный,
уже многообѣщающій сынъ одобряетъ свою „petite mère“,
орая и до сихъ поръ, несмотря на годы, столь непраздно
оведенные, „est jolie à croquer“. Безстыдный сынъ говоритъ
безстыдной матери въ глаза, и оба остаются другъ-дру-
ъ очень довольны, да и кругомъ всѣ довольны. Конечно,
да парижскія приключенія de la belle princesse Persianoff
лучаютъ уже слишкомъ громкую и скандалезную извѣст-
ть, „свѣтъ“ шокируется, но именно только потому, что
ъ слишкомъ громко и скандалезно. А до этого предѣла
ъ какіе требованія и совѣты выслушиваетъ куколка. Вышла
а замужъ почти дѣвочкой и осьмнадцати лѣтъ родила уже
на. По этому случаю „ma tante“ говоритъ ей о священномъ
вствѣ матери и о томъ, что „для мальчика главное въ
лигіозномъ чувствѣ и въ твердыхъ нравственныхъ прави-
хъ“. А дядя Павелъ Борисовичъ, въ свою очередь, на-
авляетъ молодую мать насчетъ воспитанія сына: „Il faut que

ce soit un galant homme... Чтобы женщина была для него с
тыня! Чтобы онъ любилъ покорять, но при этомъ умѣлъ н
гда сохранять видъ побѣжденнаго!“ Умираетъ у кукол
мужъ. Ma tante опять наставляетъ: „Потеря твоя велика,
даже и въ самомъ страшномъ горѣ у насъ всегда е
вѣрное пристанище—это религія!“ А дядя Павелъ Бори
вичъ, съ своей стороны, присовокупляетъ: „Я очень понимъ
всю важность твоей потери, mais ce n'est pas une raison p
maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина и что у т
есть обязанности передъ свѣтомъ. Смотри же у меня,
худѣй, а не то я разсержусь и не буду любить мою кук
ку“. Куколка погоревала, погоревала, да и уѣхала за г
ницу, оставивъ сына на попеченіи ma tante и дяди Пав
Борисовича. „Ma tante согласилась замѣнить ему мать и взв
на себя насажденіе въ его сердцѣ правилъ нравственно
и религіи. Mon oncle поручился за другую сторону воспи
нія, то-есть за хорошія манеры и искусство побѣждать,
храняя видъ побѣжденнаго“. Ну, куколка какъ сумѣ
такъ и сочетала принципы ma tante и дяди Павла Борисови

Такова же, примѣрно, исторія m-me Проказниной. Обѣ э
фигурки иллюстрируютъ собой „семейный союзъ“. Изо все
союза, такъ тщательно оберегаемаго на словахъ въ ка
ствѣ одной изъ основъ, сохранились только дружескія от
шенія между матерью и сыномъ, но, Боже! какія это
скудныя, ужасающія отношенія... M-me Неугодова въ *Кругл
годѣ* тоже куколка („нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа,
рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ“), но у нея съ сыно
нѣтъ такихъ безстыдныхъ откровенностей. У нея друг
Она, проживая за границей, требуетъ, чтобы сынъ про
валъ одно за другимъ ихъ имѣнія, потому что ей, куколк
за границей денегъ много нужно, а когда сынъ указалъ
перспективу печальнаго исхода, она отвѣтила ему таки
письмомъ: „Я мать, и знаю, что есть законъ, который ме
защититъ. Законъ сей велитъ дѣтямъ почитать родител
и покоить оныхъ, послѣднимъ же даетъ право непочтител
ныхъ дѣтей заключать въ смирительныя и иныя заведені
и т. д. Письмо это, какъ оно уже и по слогу видно, п
сано подъ чужую диктовку. Но и при личномъ свиданіи
авторомъ куколка Неугодова говоритъ: „Я просто попроп
чтобъ его посадили въ смирительный домъ, покуда онъ
раскается“. Авторъ прибавляетъ: „Я взглянулъ на нее, д

, не прочту ли что-нибудь на ея лицѣ. И что жъ?—ничего! олка, ну, просто, куколка—и ничего больше". Авторъ ѣчаетъ, что „это у нихъ должно-быть врожденное, то-есть усскихъ культурныхъ маменекъ вообще. Я помню, покой а-матушка ужъ на что, кажется, любила меня, а раз- дится, бывало, сейчасъ: я тебя въ Суздаль-монастырь ку! Тогда еще Суздаль-монастырь родителей утѣшалъ, теперь, со смягченіемъ нравовъ, смирительный домъ лся". „Суздаль-монастырь" дѣйствительно часто сры- тся съ языка маменекъ, изображенныхъ въ *Семейномъ тіи, Кузинѣ Машенькѣ, Господахъ Головлевыхъ, Пошехонской ринѣ*. Но ихъ мы теперь не тронемъ, потому что то не олки. Вотъ кузина Надежда Гавриловна *(Письмо къ тетень-* та, по крайней мѣрѣ, очень приближается къ куколкамъ, я прозвище, данное ей родственниками, есть не куколка, индюшка". Это слѣдуетъ заключить изъ того, что она а не Суздалемъ-монастыремъ пугаетъ, а смирительнымъ омъ, а также изъ слѣдующей ея исповѣди. „Индюшка" ждаетъ автора бросить сатиру и „описывать про любовь". „Какъ это... ну, вообще, что обыкновенно съ дѣвушками случается... умѣется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... Зачѣмъ такъ ужъ мо... какъ-будто мы не поймемъ. Не безпокойтесь, пожалуйста! такъ немъ, что и понять лучше нельзя... Вотъ, маменька-покойница тоже все ала, что я въ дѣвушкахъ ничего не понимала, а я однажды ей вдругъ . до послѣдней ниточки!.. Что въ самомъ дѣлѣ, за что они насъ при- няютъ? Думаютъ, коли дѣвица, такъ и не должна ничего знать... ска- е на милость! Конечно, я потомъ, замужемъ, еще болѣе развилась, но ъ дѣвицахъ... Нѣтъ, я въ этомъ случаѣ на сторонѣ женскаго вопроса ! Но именно только въ одномъ этомъ случаѣ, parce que la famille... omprends, la famille! tout est là! Семейство—это... А всѣ эти женскіе сы, эти акушерки, астрономки, телеграфистки, землемѣрши, tout ce s"...

Такимъ образомъ куколки, въ концѣ-концовъ, очень ятъ за семейный союзъ вообще, и, въ частности, за право дителей сажать непочтительныхъ дѣтей въ смирительный ъ, но онѣ отнюдь не хотятъ, чтобы этотъ союзъ „при- снялъ" ихъ въ дѣлѣ амурныхъ похожденій; въ этомъ чаѣ онѣ объявляютъ себя на сторонѣ „женскаго вопроса", конечно, только въ этомъ...

Съ куколки, по части теоріи и логики, взятки—гладки. съ нея, въ самомъ дѣлѣ, возьмешь, коли для нея въ асти умственныхъ упражненій существуютъ только ets de conversation? Не ея совсѣмъ дѣло теоретизировать,

она просто практикуетъ. Но есть теоретики кукольнаго п
ложенія, къ которымъ и надо обратиться за разъясненіем
Таковъ Тебеньковъ въ очеркѣ *По части женскаго вопро*
(въ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ*). Къ счастію, Тебеньковъ р
чистъ и откровененъ. Прежде всего, что такое женскій в
просъ, котораго куколкѣ и хочется и не хочется? Тебен
ковъ отвѣчаетъ обстоятельно: „Женщина—это святыня, к
торой не долженъ касаться ни одинъ нечистый помысел
Вотъ мой женскій вопросъ-съ! И мужчина и женщина эт
такъ-сказать, двоица; это, какъ говоритъ поэтъ, Ладъ
Лада, которымъ суждено другъ-друга взаимно восполнят
Они гуляютъ въ тѣнистой рощѣ и слушаютъ пѣніе солов
Они бѣгаютъ другъ за другомъ, ловятъ другъ-друга, и в
конецъ устаютъ. Лада склоняетъ томно головку и говорит
reposons nous! Ладъ же отвѣчаетъ: ce que femme veut—Di
le veut! и ведетъ ее подъ сѣнь деревъ... A mon avis tou
la question est là!“ Итакъ, весь женскій вопросъ состои
въ томъ, чтобы Лада могла безпрепятственно проводи
время съ Ладомъ подъ сѣнью деревъ, и этотъ вопро
вполнѣ разрѣшенъ. Тебеньковъ утверждаетъ, что „еже
извѣстныя формы общежитія становятся слишкомъ узким
то весьма естественно, что является желаніе расширить их
Не объ этомъ споръ: это всѣми давно признано, подписа
и рѣшено. Но какъ расширить эти формы—вотъ въ чем
весь вопросъ?“ Тебеньковъ указываетъ на princesse de
baronne de K., Катерину Михайловну и другихъ прелестны
дамъ, которыя разрѣшили этотъ вопросъ „совершенно
опредѣленно и къ полному своему удовольствію“. Онѣ ра
рѣшаютъ его практически, каждая сама для себя, не воздв
гая никакихъ принциповъ и не требуя вмѣшательства з
кона. Тебеньковъ рѣшительно стоитъ „за святость семе
ныхъ узъ“, но „не дѣлаться же княгинѣ монахиней изъ-
того только, чтобы князь Левъ Кирилловичъ имѣлъ уд
вольствіе свободно надѣвать на голову свой ночной ко
пакъ!“ Княгиня просто дѣлаетъ „экскурсію въ область з
претнаго“, совершенно позволительную, даже необходиму
и нимало не колеблющую общественнаго зданія. Таким
образомъ дѣло идетъ прекрасно, само въ себѣ находя ну
ныя поправки. Ему грозятъ, однако, двѣ большія опасн
сти, которыя необходимо предотвратить. Во-первыхъ, „пре
ставить себѣ, что вдругъ *всѣ* сказали бы, что запретна

ѣтъ,—вѣдь, это было бы новое нашествіе печенѣговъ! Вѣдь, ни подвергли бы дома наши разграбленію; они осквернили ы нашихъ женъ и дѣвъ; они уничтожили бы всѣ памят-ики цивилизаціи!" Въ этомъ именно, а не въ какомъ дру-омъ смыслѣ надо разумѣть святость семейнаго и другихъ оюзовъ: „Свойства этой азбуки таковы, что для меня ично,—говоритъ Тебеньковъ,—она можетъ служить только гражденіемъ отъ печенѣжскихъ набѣговъ; съ какой же гати я буду настаивать на ея упраздненіи?" Противъ част-ыхъ же и негласныхъ экскурсій въ область запретнаго ебеньковъ не только ничего не имѣетъ, но считаетъ ихъ аже необходимыми. Такимъ образомъ, все ученіе о семей-омъ союзѣ (а равно и о другихъ) распадается на эзоте-ическую и экзотерическую части: первая доступна лишь емногимъ посвященнымъ, и бѣда, если *всѣ* „печенѣги" роникнутъ въ эту тайну! Этого ни въ какомъ случаѣ до-устить нельзя. Другую опасность для правильнаго разрѣ-ленія вопроса Тебеньковъ видитъ въ тѣхъ женщинахъ и ѣвушкахъ, которыя стремятся къ образованію и труду. нъ видитъ въ этихъ стремленіяхъ „поруганіе надъ жен-кою стыдливостью, надъ цѣломудріемъ женскаго чувства, адъ этимъ милымъ невѣдѣніемъ, ce je ne sais quoi, cette veur de l'innocence, которое душистымъ ореоломъ окружаетъ енщину". Женщина „есть живой ѳиміамъ, живая молитва еловѣка къ Богу", „святыня, благоуханіе, кристаллъ и пр." на этакую-то священную штуку замахиваются сами жен-ины! „Онѣ хотятъ извратить характеръ женщины. Пред-авь себѣ, что онѣ достигнутъ своей цѣли, что всѣ жен-ины вдругъ разбредутся по академіямъ, университетамъ, о окружнымъ судамъ... чтó тогда будетъ? Où sera le plai-r de la vie? Что станется съ нами, съ тобой, со мной, ко-орые не можемъ существовать безъ того, чтобы не бало-ать женщину?" Тебеньковъ готовъ разрѣшить дамамъ даже лушать лекціи въ медицинской академіи, но съ тѣмъ, чтобы го былъ одинъ изъ jolis caprices de femme, а не то чтобы заправду. „Женщина, и въ особенности хорошенькая, мѣетъ право быть капризною,—это ея привилегія. Если она ожетъ *вдругъ* пожелать парюру въ двадцать тысячъ, то по-ему же *вдругъ* не пожелать ей посѣтить медицинскую ака-емію? И вотъ, она желаетъ, но желаетъ такъ мило, что остоинство женщины нимало не терпитъ отъ этого. На-

противъ, тутъ-то именно, въ этомъ оригинальномъ желан
и выступаетъ та женственность, которую мы, мужчины, та
цѣнимъ. La baronne de K., слушающая г. Сѣченова,—мож
ли вообразить quelque chose de plus gracieux, de plus piquant?
И затѣмъ, Тебеньковъ рисуетъ веселую картинку, какъ Лад
въ сопровожденіи Ладовъ ѣдутъ на тройкахъ слушать ле
цію Сѣченова, а потомъ къ Дороту или въ другой како
нибудь кабачокъ.

Надо отдать справедливость Тебенькову: разныя внеза
ности куколокъ онъ сложилъ въ нѣчто въ родѣ систем
Но это значитъ отдать справедливость сатирику, котор
съ такою ясностью изложилъ истинный смыслъ всего к
кольнаго женскаго вопроса. Благоуханный и сверкаюш
міръ Ладъ съ его воинствующими теоретиками едва ли час
видѣлъ столь правдивое и столь близко къ его лицу пост
вленное зеркало. Тутъ и комментировать нечего, ибо в
ясно и не упущено изъ виду ни одной черты, характерн
для ораторовъ благонамѣренныхъ рѣчей въ дѣлѣ женска
вопроса. Куколки и ихъ теоретики, конечно, не могутъ п
тать за это къ Салтыкову признательности. Но женщин
настоящія женщины, а не тебеньковскіе „святыни“ и „кр
сталлы“, должны признать, что на нѣсколькихъ страница
очерка *По части женскаго вопроса* сконцентрировано мно
данныхъ для доказательства того, что женскій вопросъ ес
дѣйствительно вопросъ, т.-е. нѣчто, подлежащее разрѣш
нію. Положительныхъ доказательствъ здѣсь нѣтъ, но арг
ментація противниковъ вскрыта до самой ея интимной по
кладки. Ясно, что во всѣхъ разсужденіяхъ о достоинст
женщины, страдающемъ отъ вступленія ея въ сферу тру
и образованности, нѣтъ ничего, кромѣ лицемѣрія. Достоинст
женщины! Скажите, пожалуйста, какіе Шиллеры! Тебенько
говоритъ шлифованнымъ языкомъ свѣтскихъ салоновъ, н
это ужъ такая его манера, выработанная долгою канцелярск
салонною практикой, и, въ сущности, онъ вовсе не скрывает
своего мнѣнія насчетъ того, гдѣ именно зимуютъ рак
Чтобы окончательно убѣдить собесѣдника, онъ приглашает
его пройтись въ три часа по Невскому. Они идутъ и сл
шатъ разные уже и по формѣ откровенные разговоры м
лодыхъ и немолодыхъ людей по части женскаго вопрос
Выходитъ довольно-таки гнусно. Тебеньковъ, торжеству
говоритъ: „А ты еще сомнѣвался, что женскій вопрос

шенъ! Давно, mon cher! Еще Прекрасная Елена, ужъ та рѣшила съ нимъ!"

Указаніе на „Прекрасную Елену" не лишено нѣкотораго ріознаго значенія. Была ли Елена прототипомъ баронессы княгини П., m-me Персіановой, m-me Проказниной и очихъ куколокъ, или она оставила своего Менелая по ичинамъ, не имѣющимъ ничего общаго съ кукольною психогіей, но во всякомъ случаѣ легенда приписываетъ ей тотъ келъ, который возжегъ Троянскую войну. Это напоминаетъ мъ, что женскій вопросъ не всегда можно изолировать, о и то простѣйшее его рѣшеніе, которое проповѣдуетъ беньковъ, затрогиваетъ интересы не только Лада и Лады. ли бы куколки могли понимать, что „живой ѳиміамъ", зятыня", „кристаллъ" и прочія лестныя къ нимъ обраенія суть только псевдонимы вещей далеко не лестныхъ, онѣ, вѣроятно, оскорбились бы и стали бы искать выхода ь положенія столь возвышеннаго на видъ и столь, въ цности, унизительнаго. И ужъ, конечно, не хватило бы нихъ духу бросить камень въ тѣхъ, кто ищетъ выхода. куколки ничего понимать не могутъ. Ну и Богъ бы съ ми. Но, вѣдь, онѣ не на необитаемомъ островѣ живутъ, гдѣ-нибудь внѣ общей жизни. У нихъ есть мужья, торые, надо думать, не всегда похожи на Тебенькова и язя Льва Кириллыча; есть дѣти, которыя опять-таки не егда похожи на юныхъ, но уже многообѣщающихъ сыной m-me Персіановой и m-me Проказниной. Какія страшныя амы могутъ разыгрываться вокругъ этихъ легкокрылыхъ зданій! какую массу зла могутъ онѣ натворить въ своемъ селомъ порханіи! Семейный союзъ, какъ его понимаютъ колки, есть, именно, такой, который камни привязываетъ, собакъ пускаетъ бѣгать. Куколки твердо стоятъ за свое аво сажать непочтительныхъ дѣтей въ смирительный мъ,—это право гарантировано союзомъ: „Я мать!" Столь твердо будутъ онѣ при случаѣ произносить слова: „Я на!" Найдутся и другія пріятныя права, гарантируемыя юзомъ. Поэтому общій пересмотръ основаній союза отнюдь желателенъ съ точки зрѣнія куколокъ и ихъ теоретиковъ: мни должны, непремѣнно должны быть привязаны. Но баки непремѣнно должны бѣгать, то-есть не собаки конечно, миленькія, хорошенькія бабочки должны непремѣнно порть, и потому въ союзъ должны быть внесены извѣстныя

практическія поправки, въ смыслѣ экскурсій въ обла
запретнаго. Этого хотятъ не только сами бабочки, н
Тебеньковы, потому что имъ нужно „баловать“ бабо
Понятно, что Тебеньковы, при случаѣ, всю эту механику з
дутъ съ другого конца и торжественно воскликнутъ:
отецъ!“ „я мужъ!“, то-есть прибѣгнутъ подъ защиту
же союза, и прибѣгнутъ именно тогда, когда имъ захоче
выпустить собакъ и привязать камни. И опять драмы, о
терзанія... Неужели же это въ самомъ дѣлѣ „союзъ“, а
страшная клѣтка, въ которой безпорядочно и драчливо бьк
человѣческія существа? Неужели преступна мечта о зам
этой клѣтки настоящимъ союзомъ, вольнымъ и сознате
нымъ, въ которомъ человѣческое достоинство не тонуло
ни въ волнахъ кружевъ и бархата, ни въ смирительн
домѣ, въ которомъ Лады мужского и Лады женскаго п
дѣйствительно, помогали бы другъ-другу нести бремя жи
и общеніемъ увеличивать ея радости? Тебеньковы рѣ
тельно отвѣчаютъ: да, преступна...

Какъ ни унизительно, въ сущности, положеніе куколк
какъ ни чревато оно опасностями въ случаѣ, ежели м
ника союза направится въ неблагопріятномъ для нея смы
но и это завидное для многихъ положеніе отнюдь не вс
доступно. Для этого нужны, во-первыхъ, мужъ, во-вторы
средства, мужнины или родительскія. Положеніе женщи
хотя бы и наклонныхъ къ кукольному существованію и о
дающихъ соотвѣтственными дарованіями, но котор
бабушка не поворожила насчетъ мужа и средствъ, вход
очень существеннымъ элементомъ въ составъ женс
вопроса. Салтыковъ и его не оставилъ безъ вниманія.
мы на этомъ не будемъ останавливаться и обратимся
другой сторонѣ вопроса.

Тебеньковъ—либералъ. Онъ уже давно „проектиров
всѣ тѣ идеи, которыми теперь нашъ общій другъ Менан
Прелестновъ волнуетъ умы въ *Старѣйшей Русской Пѣнко
мательницѣ*. Но собственно относительно женскаго воп
онъ не вполнѣ держится пѣнкоснимательскаго образа мыс
По части семейнаго союза пѣнкосниматели мямлютъ, коне
свои обыкновенные припѣвы: „наше время не время ш
кихъ задачъ“, „можно не соглашаться, но должно признать
и т. д., и тутъ найдутся у нихъ точки соприкосновенія
Тебеньковымъ. Однако, они горячо стоятъ за право женщ

трудъ и образованіе, каковое право представляется Тебень-
ву чѣмъ-то въ конецъ извращающимъ женскую природу.
Горячо",—это, впрочемъ, слишкомъ сильно сказано, потому
то къ пѣнкоснимателямъ, вообще, относится то, что сказано
Апокалипсисѣ ангелу Лаодикійской церкви: „Знаю твои
ла: ты ни холоденъ ни горячъ; о, если бы ты былъ холо-
нъ или горячъ!" Пѣнкосниматели, можетъ-быть, не оскор-
лись бы зрѣлищемъ прелестныхъ Ладъ, которымъ вдругъ
хотѣлось въ медицинскую академію и которыя отпра-
яются на тройкахъ слушать лекцію Сѣченова. Они не
очь и отъ нѣкоторыхъ игривостей въ Тебеньковскомъ
усѣ, потому что „ежели извѣстныя формы общежитія ста-
вятся слишкомъ узкими, то, весьма естественно, что
ляется желаніе расширить ихъ", но нельзя же, однако,
пустить нашествія печенѣговъ... Однако, азбуку женскаго
проса пѣнкосниматели знаютъ удовлетворительно. Они
егда порадуются, если женщинамъ откроется доступъ къ
кой-нибудь профессіи, дотолѣ недоступной, или если ихъ
пустятъ въ какой-нибудь храмъ просвѣщенія. Они обстоя-
льно укажутъ благія послѣдствія такого расширенія сферы
енскаго труда и женскаго образованія. И они будутъ,
нечно, правы. Чѣмъ въ самомъ дѣлѣ, какъ не трудомъ
знаніемъ, можетъ быть прекращено позорное существо-
ніе куколокъ, которыя, вѣдь, нужны только Тебеньковымъ
только въ качествѣ хорошенькихъ и непремѣнно невѣ-
ественныхъ, пустопорожнихъ и бездѣльничающихъ игру-
екъ? Чѣмъ, какъ не трудомъ и знаніемъ можетъ быть
рантированъ даже просто хлѣбъ насущный множеству
енщинъ, которымъ бабушка не поворожила насчетъ гото-
ихъ хлѣбовъ? Наконецъ, если мы, мужчины, полагаемъ
ое достоинство въ расширеніи умственныхъ горизонтовъ,
просвѣщенномъ служеніи родинѣ или человѣчеству, въ
опитаніи трудами рукъ своихъ, то, вѣдь, женщина тоже
ловѣкъ, и мы не имѣемъ никакого права запирать у нея
редъ носомъ двери, ведущія туда, гдѣ мы, на словахъ по
райней мѣрѣ, испытываемъ столько высокихъ духовныхъ
аслажденій. Мало того: суживая сферу дѣятельности жен-
ины до послѣдней степени, обрекая ее на роль исключи-
льно спутника планеты-мужчины, надо признать, что
учше же имѣть спутника, способнаго войти въ ваши инте-
есы и воспитать вашихъ дѣтей. Правда, вотъ дѣти... Жен-

щинѣ предписано закономъ природы въ болѣзняхъ род
чада. Но, не говоря уже о тѣхъ женщинахъ, которыя,
той или другой причинѣ, обречены на бездѣтность, поч
этотъ аргументъ остается у насъ въ карманѣ, когда д
идетъ объ актрисахъ, балеринахъ, акробаткахъ, наѣздница
пѣвицахъ и прочихъ представительницахъ профессій эстра
сцены, цирка? Онѣ, вѣдь, тоже женщины и тоже по зак
природы должны въ болѣзняхъ родити чада, но мы не вопи
однако, по этому поводу о потрясеніи основъ...

Все это извѣстно и переизвѣстно до такой степени,
какъ-то даже странно и оскорбительно писать. Вѣдь, это
азбука. Есть истины несомнѣнныя, ясныя какъ бѣлый де
которыя, однако, стыдно повторять, а тѣмъ болѣе дока
вать и развивать, именно потому, что онѣ несомнѣнны
какъ бѣлый день ясны. Но бываютъ времена, когда об
ственная мысль до такой степени засоряется разными м
ными теченіями, что проповѣдь элементарныхъ истинъ с
новится необходимою. Какъ тутъ быть писателю, памяту
щему свои обязанности, но обладающему чувствомъ собств
наго достоинства? Странно, смѣшно, оскорбительно положе
Галилея таблицы умноженія или Колумба „краткихъ нач
ковъ". Школьный учитель можетъ изъ года въ годъ за
маться изложеніемъ первоначальныхъ ариѳметическихъ
грамматическихъ понятій и дѣлать это съ чистою совѣст
и съ сознаніемъ исполненнаго долга. Таковъ дѣйствитель
его долгъ,—онъ имѣетъ дѣло съ мальцами, впервые слыш
щими проповѣдуемыя имъ истины. Писатель же обращает
къ обществу, въ умственномъ багажѣ котораго уже давны
давно заключаются всякаго рода краткіе начатки. И
мудрено, что у писателя не повертывается языкъ повторя
что дважды два четыре. Для этого нужно большое мужест
можетъ-быть, не меньше того, какимъ должны обладать п
возвѣстники новыхъ истинъ, впервые озаряющихъ умств
ные горизонты человѣчества. Мужество провозвѣстнико
новыхъ истинъ съ избыткомъ оплачивается гордымъ соз
ніемъ этой новизны и радостью творчества. Блескъ нов
истины, къ которому еще непривыкъ глазъ современнико
или соотечественниковъ, блескомъ же отражается и на ли
ной судьбѣ ея носителей. Пусть судьба эта бываетъ пе
полнена страданіями, но, вѣдь, и есть изъ-за чего страда
Не современниками, такъ потомствомъ, не своими, та

ужими (если правда, что никто въ своей землѣ пророкомъ е бывалъ), а будетъ оцѣнена новая истина, станутъ люди дивляться,—какъ это безъ нея жить можно было, и доромъ и благословеніемъ помянутъ имена тѣхъ, кто ее внесъ. ни съ чѣмъ несравнимое счастье творчества, созданія ли открытія новой истины, оригинальнаго образа?! Разуѣется, все относительно, и дѣло не въ абсолютной новизнѣ. хочу только сказать, что для повторенія задовъ требуется ногда не меньше мужества, чѣмъ для движенія впередъ. Если уже почему-нибудь понадобилось доказывать, что двакды два четыре, что просвѣщеніе полезно, что земля обрацается вокругъ солнца, такъ, значитъ, эти довольно древія истины такъ основательно забыты, что должны встрѣтить акія-то значительныя препятствія, какое-то противодѣйствіе, акъ бы новыя, потому что въ противномъ случаѣ ихъ не ачѣмъ было бы и тревожить. А между тѣмъ, проповѣдь ихъ можетъ доставить не какое-нибудь внутреннее удовлетвореніе, а напротивъ того—только горечь и обиду.

Салтыковъ никогда не обладалъ мужествомъ пропагандиста „краткихъ начатковъ". Онъ относился къ этимъ начатамъ съ брезгливою нетерпѣливостью. Такъ и относительно женскаго вопроса. Онъ довольствовался въ этомъ отношеніи анализомъ аргументаціи противниковъ и оригинальнымъ освѣщеніемъ разныхъ формъ семейнаго союза. При этомъ самъ-собою возникалъ вопросъ о настоятельной необходимости женскаго образованія и труда, но необходимость эта представлялась Щедрину столь непререкаемо ясною, столь азбучно-несомнѣнною, что ужъ не на ней надо было настаивать, а на чемъ-то другомъ.

Уже въ *Письмахъ о провинціи* Салтыковъ иронически отнесся къ нѣкоторымъ формамъ женской образованности. Тамъ сопоставлены два женскихъ міра: жены, дочери и племянницы „исторіографовъ" и жены, дочери и племянницы „пришельцевъ" или „піонеровъ".

„Тогда какъ жены исторіографовъ отличаются неслыханнымъ великолѣпіемъ одеждъ, необычайными размѣрами шлейфовъ и бѣлизною и округлостью бюстовъ, жены пришельцевъ, напротивъ, представляются слегка ощипанными и даже какъ бы не совсѣмъ кормлеными... Сколько сытыя блистаютъ тѣлами и шлейфами, столько голодныя плѣняютъ основательностью и либеральною умѣренностью своихъ сужденій. Тогда какъ первыя бесѣдуютъ о различіи любви и дружбы и о другихъ предметахъ, рѣшительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, послѣднія повѣ-

ствуютъ о гражданской честности и непреоборимой вѣрности. Случаетс даже слышать весьма удачныя сужденія по слѣдственной части и по част судебныхъ ошибокъ... Но... приходится сознаться, что шармы тѣлесны рѣшительно подавляютъ и, вѣроятно, долго еще будутъ подавлять шарм умственные. Оттого ли, что мы, провинціалы, не умѣемъ еще относитьс какъ слѣдуетъ къ нетлѣннымъ красотамъ ума и сердца, или оттого, чт въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается нѣкоторый изъянъ, какъ бы то н было, но взоры наши охотнѣе обращаются въ ту сторону, гдѣ блестит тлѣнная красота".

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы отбросили спеціально дамскія темы разговоровъ, обрѣзали себѣ шлейфы и щеголяютъ либеральною умѣренностью основательностью сужденій по слѣдственной части и п части судебныхъ ошибокъ. Чего бы, кажется, лучше? Пѣн косниматель долженъ прійти въ полный восторгъ. А Сал тыковъ что-то хмурится, на какой-то изъянъ въ нетлѣнных красотахъ ума и сердца намекаетъ. Намекъ этотъ брошен въ первомъ письмѣ о провинціи, въ 1868 г., и только в 1873 г., въ вышеупомянутомъ очеркѣ *По части женскаг вопроса*, сатирикъ вернулся къ нему, опять-таки въ вид намека, хотя и гораздо болѣе яснаго.

Судейскія и слѣдовательскія жены, сестры, племянницы блестящія умственными шармами, — не самостоятельны свѣтила; онѣ заимствуютъ свой свѣтъ отъ мужей, братьевъ дядьевъ. Не ихъ имѣетъ въ виду Тебеньковъ, когда гово ритъ объ извращеніи женской природы, а „утопистокъ теле графистики и стенографистики", какъ онъ выражается. Ко нечно, онъ и въ этомъ случаѣ предпочелъ бы тѣлесны шармы, шлейфы и спеціально дамское щебетанье, но прост рѣчь не о судейшахъ и слѣдовательшахъ зашла. Авторъ Тебеньковъ были на вечерѣ, гдѣ происходили такіе разго воры: — „Хоть бы позволили въ медико-хирургическую ака демію!"—восклицаютъ однѣ.—„Хоть бы позволили универси тетскіе курсы слушать!"—отзываются другія.—„Не доказал ли телеграфистки?" — убѣждаютъ третьи. — „Наконецъ, ка сирши на желѣзныхъ дорогахъ, наборщицы въ типографіяхъ сидѣлицы въ магазинахъ, все это не доказываетъ ли?"— до прашиваютъ четвертыя. И въ заключеніе, склоненіе: Суслова Сусловой, Суслову, о, Суслова! и т. д." Въ тонѣ, которым передаются эти разговоры, ясно слышится свойственна Салтыкову нетерпѣливая брезгливость къ краткимъ на чаткамъ. Затѣмъ авторъ защищаетъ „утопистокъ стеногра

стики и телеграфистики", но черезъ всю эту защиту про-
ить ироническая нота:

„Скажите, какой вредъ можетъ произойти оттого, что въ Петербургѣ, жетъ-быть, и въ Москвѣ явится довольно компактная масса женщинъ, мныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ? щинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы лицать: „Bonjour, chère mignonne! Какое вчера на princesse N платье !" будутъ говорить: „А что, mesdames, не составить ли намъ компанію защиты Мясниковскаго дѣла?" Какая опасность можетъ предстоять для ества оттого, что женщины желаютъ учиться, стремятся посѣщать ко-хирургическую академію, слушать университетскіе курсы? Допустимъ е самый невыгодный исходъ этого дѣла: что онѣ *ничему* не научатся теряютъ время *задаромъ*, все-таки спрашивается: кому отъ этого вредъ? пострадаетъ оттого, что онѣ задаромъ проведутъ свое и безъ того вое время? Какъ ни повертывайте эти вопросы, съ какими іезуитскими мами ни подходите къ нимъ, а отвѣтъ все-таки будетъ одинъ: нѣтъ, опасности ни вреда не предвидится никакихъ".

Далѣе сатирикъ говоритъ, что если бы отъ него зави-
о разрѣшеніе этого вопроса, то онъ непремѣнно „позво-
ъ бы". Онъ думаетъ, что это было бы, съ его стороны,
ько актомъ политической мудрости, въ интересахъ тѣхъ
ыхъ „основъ", которыя выдвигаются какъ препятствіе
осуществленій женскихъ стремленій учиться и работать.
первыхъ, тѣмъ самымъ прекратились бы шумъ и недо-
ьство, а во-вторыхъ, можетъ-быть, среди женщинъ, „ко-
ымъ *позволено*", и найдутся настоящія опоры существую-
го строя, настоящіе „столбы". И почему бы, въ самомъ
нѣ, нѣтъ? Вѣдь, женщины желаютъ, чтобы имъ „позво-
о было быть столбами наравнѣ съ мужчинами". „Нѣтъ,
мѣстѣ начальства, я позволилъ бы", повторяетъ Щедринъ.
азумѣется, прибавляетъ онъ, если бы меня спросили,
тигнется ли черезъ это „дозволеніе" разрѣшеніе такъ-
ываемаго „женскаго вопроса", я отвѣтилъ бы: не знаю,
это не мое дѣло. Если бы меня спросили, подвинется ли
ь на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣстный вопросъ
общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тре-
ѣ человѣчество, я отвѣтилъ бы: опять-таки это не мое
ло".

Кажется, ясно. Съ точки зрѣнія сатирика предоставленіе
нщинамъ права учиться и работать есть дѣло элементар-
й справедливости, и только тебеньковское лицемѣріе мо-
тъ возставать противъ этого права. Осуществленіе его
лжно принести многія благія послѣдствія, поскольку

нынѣшнія драмы семейнаго союза зависятъ отъ жен
пустоты, невѣжества, бездѣлья. Но сатирикъ отказыва
радоваться тому, что всѣ существующія профессіи бу
комплектоваться безразлично мужчинами и женщинами.
ственно отъ этого не произойдетъ никакого измѣненія
общемъ ходѣ житейскихъ порядковъ, кромѣ развѣ усил
конкуренціи, то-есть отбора способнѣйшихъ къ исполн
существующихъ профессій. Тутъ нѣтъ никакой опасн
для „основъ“, но нѣтъ и повода для радости съ т
зрѣнія сатирика, ибо все, что есть въ нашей жизни по
вольнаго и безсознательнаго, таковымъ и останется, и
лочи жизни отъ этого нимало не покрупнѣютъ.

Поясню эту мысль иллюстраціями. Я помню, что
одной либеральной газетѣ, въ подтвержденіе того, что
щина не уступаетъ мужчинѣ въ способностяхъ, были
ведены свѣдѣнія о какой-то американской сыщицѣ, обн
жившей въ своей дѣятельности много ума, ловкости, э
гіи, знаній. Да, увлеченіе „женскимъ вопросомъ“, обна
нымъ отъ всякихъ стороннихъ соображеній, доходил
насъ до этого. Между тѣмъ, чему тутъ, собственно, р
ваться? Американскій государственный союзъ нуждается
сыщикахъ, которыхъ и выбираетъ, главнымъ образомъ,
жду мужчинами, но согласенъ взять и женщину, если
обнаружитъ достаточныя способности! Только и всег
Въ *Недоконченныхъ бесѣдахъ* Салтыковъ посвящаетъ
главу дѣлу Кронеберга, судившагося за истязаніе
чери. Между прочимъ, сатирикъ очень возмущается п
заніемъ одной весьма извѣстной женщины-врача, как
показаніе клонилось къ признанію за подсудимымъ п
совершить то, что онъ совершилъ. Салтыкову не вспо
лись тогда его соображенія насчетъ женщинъ-„столбо
а это недурная иллюстрація: женщина-врачъ, не хуже
каго мужчины, оказываетъ косвенную поддержку сомейн
союзу, достигающему до предѣловъ истязанія отцомъ
чери. Въ чемъ же опасность для „основъ“? Но въ чем
радость, съ точки зрѣнія Салтыкова?

Салтыковъ былъ не изъ любезниковъ. Le beau sexe
тлѣнными, ни нетлѣнными своими шармами не могъ по
пить его критику явленій общественной жизни. Сур
былъ покойникъ. Но тѣмъ цѣннѣе слова сочувствія, лю
и надежды, съ которыми онъ, случалось, и къ женщин

бращался. Въ *Мелочахъ жизни* есть цѣлый рядъ женскихъ фигуръ—„ангелочекъ“, „Христова невѣста“, „полковницкая дочь“, „сельская учительница“, жена Черезова, — атертыхъ то просто дрянными, то презрѣнными и подлыми елочами. И обо всѣхъ объ нихъ, за исключеніемъ развѣ ангелочка“, болитъ сердце автора. Почему болитъ? Въ емьѣ Черезовыхъ жена работаетъ не меньше мужа, и, знаитъ, вопросъ о „женскомъ трудѣ“ разрѣшенъ, да и жиутъ супруги Черезовы дружно, другъ-другу помогая, ругъ-друга уважая и любя. Но... „можетъ-быть, при дрихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердце ихъ раскрыось бы и для другихъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, рудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраенія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки ысшихъ стремленій“.

Однако, не вѣчно это торжество мелочей, безжалостно алѣчащихъ и мужскую и женскую жизнь одинаково. Сарикъ въ этомъ увѣренъ, и достойно вниманія, что вѣру ту онъ предоставляетъ выразить именно женщинѣ, — Юленькѣ, въ *Дворянской хандрѣ*. Юленька предсказываетъ, то не вѣчно ночь будетъ, что солнце взойдетъ... Авторъ азсказываетъ: „Я оглянулся и умилился! Глаза Юленьки орѣли, лицо ея было все какъ въ лучахъ; даже въ голосѣ лышались мощныя, звонкія ноты“.

Да будетъ же по слову хорошей дѣвушки!

Н. Михайловскій.

Щедринъ. Умѣренность и аккуратность.

„Въ основѣ современной жизни лежитъ почти исключ
тельно мелочь... Ахъ эти мелочи! Какъ чесоточный зуде
впиваются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ и жгут
его... Мелочи, мелочи, мелочи заполонили всю жизнь“.

Такъ вздыхалъ Салтыковъ въ одномъ изъ своихъ послѣ
нихъ произведеній, разумѣя при этомъ не только русску
а и европейскую жизнь. Понятно, однако, что наибольш
вниманіе онъ удѣляетъ нашей жизни. Въ томъ, сравнительн
небольшомъ произведеніи, изъ котораго взяты приведенны
слова (*Мелочи жизни*), сдѣланъ смотръ разнымъ положеніям
русскихъ людей. Передъ читателемъ проходятъ: „Хозя
ственный мужичокъ“, сельскій священникъ, помѣщик
„міроѣды“, группа „молодыхъ людей“, группа „читателей
группа „дѣвушекъ“, группа, поставленная за общую скоб
заглавія „Въ сферѣ сѣянія“ (газетчикъ, адвокатъ, земскі
дѣятель, праздношатающійся), затѣмъ отдѣльныя фигур
„Портного Гришки“, „Счастливца“, „Имярека“. По задач
это нѣсколько напоминаетъ некрасовское „Кому на Ру
жить хорошо“. Но поэтъ не успѣлъ отвѣтить на свой в
просъ, а отвѣтъ Салтыкова налицо. Отвѣтъ грустный; именн
грустный. Всякій другой эпитетъ, хотя бы даже справедл
вый по существу дѣла, былъ бы все-таки неумѣстенъ в
виду того тона, которымъ этотъ отвѣтъ проникнутъ. В
смыслѣ господствующаго тона, *Мелочи жизни*, можетъ-быт
самое цѣльное изъ произведеній Салтыкова, если брать их
такъ, какъ онъ ихъ писалъ,—цѣлыми серіями. Въ *Мелоча*
жизни нѣтъ той смѣны спокойнаго разсужденія и изображені
взрывами заразительнаго смѣха, а этого смѣха негодованіем
которую мы видимъ и въ *Губернскихъ очеркахъ*, и въ *Помпадура*
и въ *Господахъ Ташкентцахъ*, и въ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ*,
въ *Пошехонскихъ разсказахъ*, и въ *Письмахъ къ тетенькѣ* и т.
Въ этомъ отношеніи рядомъ съ *Мелочами жизни* може

ть поставлена только *Пошехонская старина*, но объ ней у
съ пойдетъ рѣчь особо. Въ *Мелочахъ жизни* сатирикъ
ляется какъ бы уставшимъ смѣяться и негодовать. Онъ мо-
тъ только грустить. Груститъ онъ о томъ, что мелочи
полонили всю жизнь, что всѣ, куда ни взглянешь, да и
мъ онъ, сатирикъ, затянуты тиной мелочей, въ которой
же, повидимому, наиболѣе счастливые почерпаютъ только
склую, сѣрую жизнь изо-дня-въ-день, безъ намека на на-
ояшее счастье, безъ манящаго просвѣта на будущее. О
кой-нибудь утрировкѣ или о тенденціозномъ подборѣ фак-
въ здѣсь не можетъ быть и рѣчи. Салтыковъ выбираетъ
я своего обзора отнюдь не худшія положенія. Совсѣмъ
же напротивъ. Такъ, изъ крестьянской жизни онъ беретъ
какую-нибудь голь перекатную, раздавленную нуждой и
ремъ, а „хозяйственнаго мужичка", разумнаго, честнаго, у
тораго домъ, по-крестьянски, полная чаша. И, однако, сдѣ-
въ добросовѣстный обзоръ его жизни, авторъ приходитъ
грустному вопросу: „Съ какой стороны подойти къ этому
зумному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не
хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?" Мелочи, тягучія,
пкія мелочи, опутывающія всю жизнь хозяйственнаго му-
ичка, не даютъ ему подняться выше „хлѣба единаго",
рѣзываютъ его душѣ крылья, да и въ сферѣ ежедневныхъ
тересовъ онъ все-таки не спокоенъ. Хорошо онъ живетъ,
олная чаша его домъ, но подъ старость, когда ему прихо-
тся передать бразды правленія большаку-сыну, онъ ви-
тъ, что дѣло его жизни начинаетъ вразбродъ итти. „Умру,
е растащатъ!—думается старику, и болитъ—ахъ, болитъ
о хозяйственное сердце!" А уйти отъ этой боли некуда,—
есь онъ тутъ, въ этихъ мелочахъ.—Вотъ, сельскій священ-
ікъ: хорошій попъ, и никакихъ особенныхъ, экстренныхъ
есчастій судьба ему не посылаетъ. Тѣмъ не менѣе, жизнь
го есть не что иное, какъ „сказка объ изнурительномъ
изнестроительствѣ", и резюмируется словами: „Горькое на-
ало, горькое существованіе, горькій конецъ".—Но вотъ,
ропуская нѣсколько фигуръ, наталкиваемся на исключи-
ельнаго удачника. Газетчикъ Иванъ Непомнящій устроился
листательно: обладая, вмѣсто убѣжденій и знаній, лишь
ойкимъ перомъ и наглостью, онъ въ изобиліи пожинаетъ
еньги тамъ, гдѣ сѣетъ вздоръ, сплетни, гаерство. Онъ за-
аетъ роскошные обѣды, держитъ при своей особѣ „льстеца",

„разсказчика сценъ“ и „разорившагося жуира“, собирает
купить въ Италіи замокъ Лампопо съ принадлежащимъ
къ нему княжескимъ титуломъ,—словомъ, можетъ сказа
себѣ: пей, ѣшь и веселись. Онъ и пьетъ и ѣстъ, но не
селится. И его жизнь слагается изъ удручающихъ мелоч
изо-дня-въ-день, такъ что онъ начинаетъ, наконецъ, не
видѣть свою газету, а бросить ее не можетъ...

Таково ли дѣйствительно положеніе Ивана Непомнящаг
въ самомъ ли дѣлѣ онъ удрученъ мелочами жизни, ил
напротивъ, душа его ничего иного не проситъ,—до это
намъ дѣла нѣтъ. Мы говоримъ о настроеніи Салтыкова, о
его собственномъ отношеніи къ мелочамъ жизни. Онѣ пре
ставлялись ему чѣмъ-то ужаснымъ и, вмѣстѣ, унизительным
какимъ-то засасывающимъ болотомъ, выбраться изъ котора
нелегко, даже при полномъ сознаніи, что погружаешь
во что-то грязное, липкое и зловонное. Салтыковъ оче
хорошо зналъ, что есть люди, способные довольствовать
мелочами. Вотъ, напримѣръ, помѣщикъ Лобковъ „совершен
доволенъ, что его со всѣхъ сторонъ обступили мелочи,—
дыхнуть, ни подумать ни о чемъ не даютъ; цѣною это
онъ сытъ и здоровъ, а больше ему ничего и не требуется
Или „Ангелочекъ“, или „Полковницкая дочь“ (обѣ изъ груп
„Дѣвушекъ“), да мало ли ихъ малымъ довольныхъ. Ка
бы, однако, они ни были по-своему счастливы, со сторон
на нихъ можно посмотрѣть разно. Можно, помятуя изреч
ніе: „Лучше быть недовольнымъ человѣкомъ, чѣмъ довол
ною свиньей“, негодовать на узколобіе или черствость, н
обходимыя для благополучнаго погруженія въ мелочи жизн
можно осмѣять рыцарей вершка и золотника, но можно
пожалѣть ихъ. Ангелочекъ, полковницкая дочь, Лобков
Иванъ Непомнящій и проч.,—все это люди малые, но в
же они люди. Могли бы, вѣдь, и они, при другихъ условіях
вкусить отъ настоящей жизни, взять съ нея все, что о
способна дать человѣку, а они, бѣдные, даже не подозр
ваютъ о существованіи тѣхъ, подчасъ мучительныхъ, а по
часъ и радостныхъ, и, во всякомъ случаѣ, расширяющих
личное существованіе, тревогъ, которыя даютъ высшія пр
явленія жизни. Чтó ужъ это за жизнь безъ любовнаго уч
стія къ чьей бы то ни было чужой жизни, безъ мечты, без
жажды подвига, безъ подъема къ какому бы то ни был
небу... жалкая, сиротская, нищенская жизнь!

На этой именно точкѣ грустной жалости стоитъ Щедринъ *Мелочахъ жизни*. Онъ ни на кого не сердится, никого не лѣиваетъ,—онъ жалѣетъ, и въ этой его жалости находятъ ѣ одинаковый пріютъ и всѣми безжалостно поруганный отной Гришка, и великолѣпный газетчикъ, и бездушный гелочекъ", счастливо превращающійся въ княгиню Самитре, и оставшаяся *Христовою невѣстой* Ольга Васильевна. ень это различные люди и очень различныя ихъ положе, но они одинаково засосаны мелочами. Это не надмен й укоръ человѣка, взобравшагося на пьедесталъ. Авторъ самого себя чувствуетъ опутаннымъ сѣтью мелочей. На ю могилы „онъ чувствуетъ, что сердце его горитъ, и онъ пришелъ къ цѣли поисковъ всей жизни, что только перь его мысль установилась на стезѣ правды... Онъ прораетъ руки, ищетъ отклика, онъ жаждетъ итти, возглать... И сознаетъ, что сзади у него повисъ ворохъ крохъ мелочей, а впереди—ничего, кромѣ одиночества и обронности" *(Имярекъ)*.

Очеркъ *Имярекъ* произвелъ, въ свое время, сильное впетлѣніе, какъ личная исповѣдь знаменитаго автора. Онъ лучалъ много писемъ. Одно изъ нихъ пришло въ моемъ притствіи, и Салтыковъ, жалуясь на слабость зрѣнія, просилъ ня прочитать его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая сьмо, Салтыковъ, по обыкновенію, ворчалъ и въ то же емя плакалъ... Авторъ письма называлъ его „святымъ стакомъ", доказывалъ, что не крохи и мелочи у него въ ошломъ, что не одинокъ онъ и не можетъ быть одикъ, что русское общество не можетъ забыть его заслуги, къ бы ни умалялъ ихъ размѣры онъ самъ. Письмо было рошее, звучало искренностью, и если автору его попатся на глаза эти строки, пусть онъ приметъ отъ меня агодарность за тѣ минуты умиленія, которыя онъ доставъ больному и мнительному старику. Корреспондентъ былъ стоящій „читатель-другъ", общеніе съ которымъ Салтывъ, какъ мы видѣли, считалъ драгоцѣннымъ для каждаго ѣжденнаго писателя. Но письмо было не просто утѣшильно, въ немъ была правда. Конечно, только мнительсть и болѣзнь могли внушить Салтыкову мысль, „что ади у него повисъ ворохъ крохъ и мелочей, а впереди—чего, кромѣ одиночества и оброшенности". Все относильно. Ядовитыя мелочи не пощадили и Салтыкова, и въ

его жизнь и дѣятельность онѣ внесли свою долю горь
отравы. Но сдѣланнаго имъ, разумѣется, слишкомъ до
точно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека. Х
бы уже потому, что въ его дѣятельности широкая пол
была отдана, именно, борьбѣ съ мелочами жизни. До ко
дней своихъ не уставалъ онъ звать насъ въ тотъ міръ иде
и дѣйственной вѣры въ будущее, который только и мож
спасти отъ губительной цѣпкости мелочей. Вглядываясь
безнадежно-сѣрые тоны нашей жизни, воспроизведен
имъ коснѣющею рукою въ предсмертной страничкѣ *За
тыхъ словъ*, онъ боялся: „Кто знаетъ,—можетъ-быть, не дал
время, когда самыя скромныя ссылки на идеалы будущ
будутъ возбуждать только ничѣмъ нестѣсняющійся смѣ
(*Пошехонская старина*). Увы! это время уже наступи
слова: „вѣра въ будущее“, „идеалы“ уже возбуждаютъ смѣ
столько же наглый, сколько и глупый... А, впрочемъ,
bien qui rira le dernier...

Къ торжеству мелочей Салтыковъ не всегда относи
только съ грустью, какъ въ послѣдніе годы своей жиз
Раньше онъ встрѣчалъ его то бурнымъ негодованіемъ,
безпощаднымъ смѣхомъ.

Въ сказкѣ *Добродѣтели и Пороки* парламентеромъ
Добродѣтелей во враждебный лагерь Пороковъ, въ кон
концовъ, отправляется Лицемѣріе. Но сначала Добродѣте
отправили, было, „двухъ бобылокъ—Умѣренность и Аккур
ность“. Выборъ этотъ онѣ сдѣлали по указанію Опыта,
торый посовѣтовалъ: „Отыщите такое сокровище, которо
Добродѣтели бы уважало, да и отъ Пороковъ было бы
прочь“. Умѣренность и Аккуратность вполнѣ соотвѣтст
вали этимъ требованіямъ, потому что, съ одной стороны,
добродѣтельскихъ селеніяхъ жили, а съ другой—торгова
корчевнымъ виномъ и потихоньку Пороки у себя принима
Однако, миссія Умѣренности и Аккуратности не удала
Пришли онѣ въ лагерь Пороковъ и начали канитель раз
дить: „помаленьку-то покойнѣе, а потихоньку вѣрнѣе“;
ихъ и прогнали.

Умѣренность и Аккуратность, несомнѣнно, живутъ въ
бродѣтельскихъ селеніяхъ и питаются тѣми самыми мелоча
которыя, по Салтыкову, калѣчатъ жизнь человѣческу
Понятно, что большого благоволенія къ этимъ почтенны
качествамъ сатирикъ не могъ чувствовать. И дѣйствитель

е въ самомъ раннемъ своемъ произведеніи, въ *Запутан-ъ дѣлѣ*, онъ съ совершенно недвусмысленною непріязнью носится къ той программѣ умѣренности и аккуратности, горою отецъ героя снабжаетъ отъѣзжающаго въ Петер-огъ сына. Это можно бы было, пожалуй, поставить на етъ молодости. Салтыкову было всего двадцать-два года, гда онъ писалъ *Запутанное дѣло*; ну, а въ эти благодат-е годы умѣренность и аккуратность натурально претятъ: о кровь кипитъ, то силъ избытокъ". Надо быть Молчали-мъ, чтобы посвятить себя культу умѣренности и аккурат-сти à la fleur de l'âge. Потомъ, когда цвѣты отцвѣтутъ, гда уходятъ бурку крутыя горки,—другое дѣло. Суровая тейская практика поукротитъ молодой задоръ, поубавитъ лодыхъ силъ, мелочи жизни сдѣлаютъ свое дѣло, и уму-енный человѣкъ сожжетъ все, чему поклонялся, покло-тся всему, что сожигалъ. Съ улыбкою,—и хорошо еще ли съ улыбкою, а не со стыдомъ или зубовнымъ скреже-мъ,—будетъ онъ вспоминать золотые сны молодости и едъявитъ ту самую программу умѣренности и аккуратно-и, которую когда-то гордо и пылко браковалъ. Ахъ, это ень обыкновенная исторія,—до такой степени обыкновен-я, что, когда я вижу юношу, съ негодованіемъ рвущаго амя умѣренности и аккуратности, я поневолѣ вспоминаю имѣры происходившихъ на моихъ глазахъ превращеній думаю: на долго ли этого задора хватитъ? Горькія думы, еще горше видѣть молодость безъ ея естественныхъ рибутовъ, а это бываетъ. Салтыковъ держался на этотъ етъ вполнѣ опредѣленнаго мнѣнія. Онъ писалъ: „Кто въ адцать лѣтъ не желалъ и не стремился къ общему воз-жденію, про того трудно даже сказать, что у него было гда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать". тсюда его особенная ненависть къ молодымъ ташкентцамъ якаго рода: пусть бы ужъ старики ташкентствовали, если а чаша не можетъ миновать насъ совсѣмъ.

Какъ бы то ни было, но съ Салтыковымъ лично не про-вошло, на всемъ протяженіи его жизни, никакого превра-ценія по части умѣренности и аккуратности. Какъ онъ вы-ступилъ на литературное поприще съ презрѣніемъ къ этимъ обылкамъ, живущимъ на „задворкахъ добродѣтельскихъ еленій", такъ и въ могилу сошелъ безъ уваженія къ нимъ. нъ всегда понималъ губительную цѣпкость мелочей и ихъ

засасывающую силу. Поэтому онъ сравнительно благодуш
отнесся даже къ Молчалину (*Въ средѣ умѣренности и ак*
ратности), несмотря на всѣ его „уступочки“ и „обста
вочки“. Правда, какъ мы видѣли, онъ пригрозилъ е
страшною карой сыновняго суда, но это уже собственно
то, что Молчалинъ былъ способенъ окровавленными рука
пирогъ съ капустой рѣзать. Это, вѣдь, ужъ, въ самомъ дѣл
слишкомъ. Но затѣмъ, Молчалинъ—просто, маленькій, слаб
человѣкъ, самъ сознающій свое ничтожество, и вы яс
видите, что сатирикъ по человѣчеству сочувствуетъ его
рестямъ и труднымъ положеніямъ. Иное дѣло, когда пре
ставители умѣренности и аккуратности воображаютъ, ч
они-то суть настоящіе большіе корабли, которымъ предстои
большое плаваніе, когда они, гордо закинувъ голову
воинственно потрясая мечомъ, набрасываются на все, ч
не отмѣчено клеймомъ умѣренности и аккуратности. Эти
Салтыковъ не давалъ пощады. Въ сущности, онъ толь
требовалъ, чтобы всякій сверчокъ зналъ свой шестокъ, что
вещи назывались ихъ подлинными именами: вершокъ
вершкомъ, аршинъ—аршиномъ, и, кажется, требованіе э
нельзя назвать чрезмѣрнымъ или несправедливымъ. А меж
тѣмъ, за это за самое онъ претерпѣлъ нападокъ, может
быть, больше, чѣмъ за какую бы то ни было другую стр
своей дѣятельности.

Полемика, происходившая въ началѣ семидесятыхъ
довъ между *Отечественными Записками* и *С.-Петербургски*
Вѣдомостями, нынѣшнему поколѣнію читателей совершен
чужая. Благодаря разнымъ неожиданностямъ, подрывающим
преемственность нашего литературнаго развитія, нынѣшним
читателямъ не только трудно проникнуться интимною, ж
вою подкладкой той полемики, но едва ли многіе даже прос
помнятъ и знаютъ ее. Къ этому надо еще прибавить неполно
документовъ, относящихся къ дѣлу; сочиненія Салтыко
налицо, со всею ихъ полемическою рѣзкостью, а кому
нужда или охота разыскивать старые номера *С.-Петербу*
скихъ Вѣдомостей? Они были и быльемъ поросли. Озна
миться съ ними не трудятся, повидимому, даже тѣ, для ко
это, по обстоятельствамъ, обязательно.

Одинъ, вообще говоря, очень благосклонный крити
дѣлаетъ, по поводу упомянутой полемики, упрекъ сатири
въ „преувеличеніи“, „несправедливости“ и „ошибкѣ“.

зражая противъ шедринской оцѣнки „пѣнкоснимательства“ вообще, онъ находитъ несправедливость и ошибку въ іуроченіи его „къ одному лицу и къ одной газетѣ“. Этотъ рекъ, прежде всего, фактически несправедливъ. Подъ тарѣйшею Всероссійскою Пѣнкоснимательницей“, конечно, зумѣются *С.-Петербургскія Вѣдомости*, но рядомъ съ ними Щедрина фигурируютъ и другіе органы печати, напримѣръ, рналъ „Вѣстникъ Пѣнкосниманія“, еженедѣльное изданіе быватель Пѣнкоснимающій“, газета „Истинный Россійскій нкосниматель“. Что же касается „одного лица“, то Менандръ Прелестновъ, къ которому только и можетъ отноться эта иллюзія, пользуется даже нѣкоторымъ сочувствіемъ тирика. Менандръ Прелестновъ видалъ лучшія времена тературы и помнитъ ихъ. Въ минуту откровенной бесѣды ь говоритъ автору: „Ну скажи на милость, развѣ Бѣлинй, Грановскій, ну, Добролюбовъ, Писаревъ что ли... развѣ сали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, горая въ настоящее время носитъ названіе передовыхъ атей?.. Ты замѣтилъ ли, что этотъ Нескладинъ нагородилъ?“ *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*). Менандръ Прелествъ—центральная фигура картины, но онъ не иниціаторъ нкосниманія, а скорѣе, жертва его, не принципіальный о поборникъ, а только попуститель, да и то поневолѣ. Временами, по крайней мѣрѣ, онъ отлично сознаетъ, чего оятъ принципы пѣнкоснимательства и его представители, удующіе въ „Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательцѣ“.

Далѣе упомянутый критикъ говоритъ, что Салтыковъ тратилъ въ этой полемикѣ „слишкомъ много слишкомъ желыхъ снарядовъ“, но о томъ, какіе заряды пускались ходъ пѣнкоснимателями, не говоритъ ни единаго слова. о придаетъ всей исторіи невѣрное освѣщеніе. Полемика *течественныхъ Записокъ* съ *С.-Петербургскими Вѣдомостями* ла не поединкомъ Салтыкова съ Менандромъ Прелестновымъ, а борьбою двухъ направленій, и въ этой борьбѣ не на же только сторона тратила „снаряды“. Здѣсь, конечно, мѣсто припоминать подробности полемики, но всякій, о пожелаетъ справиться въ подлинныхъ документахъ, видитъ, что въ *Отечественныя Записки*, отъ которыхъ Салыковъ никогда себя не отдѣлялъ, и лично въ самого Салыкова летѣли изъ лагеря пѣнкоснимателей снаряды, начи-

ненные всѣмъ порохомъ, какого только у нихъ хватало. Ч
не они порохъ выдумали, это правда, но это уже друг
разговоръ.

Дѣло, именно, въ томъ, что пѣнкоснимательство занима
въ ту пору воинствующее положеніе. Конечно, уже сам
его принципы не могли быть симпатичны сатирику. „Нас
время—не время широкихъ задачъ“, „съ одной стороны, на
признаться, но и съ другой стороны нельзя не сознаться“,
это не могло быть по душѣ человѣку, которому умѣреннос
и аккуратность рисовались въ видѣ бобылокъ, живущи
на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній. Если этому вил
нію и этому аккуратно-умѣренному погруженію въ мело
жизни предается какой-нибудь Молчалинъ, такъ, пожалу
и Богъ съ нимъ, тѣмъ болѣе, что онъ выше сферы сво
не лѣзетъ, жаръ-птицы изъ себя не изображаетъ и никог
не забываетъ пословицы, предписывающей протягивать нож
по одежкѣ. Но литература! Литература, идея которой, к
Салтыкову, граничитъ съ вѣчностью!.. Какое такое може
быть время, что литература не найдетъ въ немъ широки
задачъ? Что задачи могутъ, по характеру своему, изм
няться, переходя отъ теоріи къ практикѣ и обратно, и
каждой изъ этихъ областей отъ одной группы вопросовъ
другой,—это вѣрно. Что внѣшнія обстоятельства могу
насильственно сузить сферу дѣятельности литературы,
это, къ сожалѣнію, опять-таки безспорно. Но чтобы литер
тура сама накладывала на себя руки и возводила узо
задачъ въ руководящій принципъ,—этого Салтыковъ,
своемъ благоговѣйномъ отношеніи къ роли литературы,
понять ни простить не могъ. И пусть бы эта самоубійстве
ная литература, по крайней мѣрѣ, сознавала глубину свое
ничтожества и позора, пусть бы она клевала выѣденн
яйца и прочія мелочи жизни, краснѣя отъ стыда, или хо
только со скромнымъ видомъ, приличествующимъ бобылкам
которыя на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ.
то, вѣдь, она что говоритъ?—Она говоритъ: мы—соль земл
а вы, говоритъ, которые о широкихъ горизонтахъ хлопоче
празднословы, неспособные подняться на высоту научна
пониманія задачъ времени. Нескладинъ отстаиваетъ „пр
ектъ упраздненія“ противъ „проекта уничтоженія“. Авто
Дневника провинціала осмѣливается ему замѣтить, что это,
жется, одно и то же, и что „сердце отказывается вѣрить“

складинъ надменно перебиваетъ: „А такъ какъ я имѣю ло съ фактами, а не съ тревогами сердца, то и не могу чего сказать вамъ въ утѣшеніе!“ Неуважай-Корыто, по воду какого-то Чурилки, тоже съ величественною сухостью рѣзываетъ: „Ну-съ, на этотъ счетъ наша наука никакихъ ѣшеній преподать вамъ не можетъ!“ Наука! они, вѣдь, ріозно думали, что это наука, а отстаиваніе „проекта упраздненія“ противъ „проекта уничтоженія“—либерализмъ. Что сается либерализма, то дальнѣйшія превращенія многихъ ятельнѣйшихъ пѣнкоснимателей уже сами-по-себѣ свительствуютъ, въ какой мѣрѣ былъ правъ Салтыковъ, не вая этому либерализму той цѣны, какую тотъ самъ запрашивалъ.

Умѣренность и аккуратность сами-по-себѣ отнюдь не стыдныя какія-нибудь качества. Притомъ же, есть такія еры жизни и такія положенія, въ которыхъ онѣ рѣшительно необходимы. Но имъ приличествуетъ скромность. ибоѣдовскій Молчалинъ боится „свое сужденіе имѣть“. о и Софья-то полюбила за то, что онъ „врагъ дерзости, егда застѣнчивъ и несмѣлъ“. Да и не одна Софья. Самъ едринъ оцѣнилъ скромность Молчалина и, сообразно этому, есъ въ грибоѣдовскій образъ нѣкоторыя любопытныя правки. Щедринскій Молчалинъ рѣшительно отрицаетъ иписанныя ему Грибоѣдовымъ амурныя шашни съ Софьей. ъ разсказываетъ дѣло такъ: „Я въ ту пору на флейтѣ рывалъ,—ну, Софья Павловна и приглашала меня, собвенно, на предметъ аккомпанемента... Однажды, точно, что слѣ игры ручку изволила дать мнѣ поцѣловать, однако, я такъ агороденъ на этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что въ ихнемъ званіи и милости слѣдуетъ расточать разсужденіемъ“. Съ Лизой у него шашни, дѣйствительно, ли,—ну, Софья Павловна и разсердилась, что „такой пасжъ—и возлѣ самыхъ ея аппартаментовъ“. Этимъ объясется знаменитая сцена послѣ бала. Чацкій впослѣдствіи мъ сознался, что погорячился; онъ-таки женился на Софьѣ вловнѣ, и оба они всегда благоволили къ Молчалину, а фья, кромѣ того, и дѣтей у него всѣхъ крестила. На зукъ новорожденному она всегда двадцать-пять полуимпеаловъ даритъ. „А я,—разсказываетъ Молчалинъ,—не будь остъ, сейчасъ къ Юнкеру, да внутренняго займа съ вырышами билетецъ-съ! Можетъ-быть, когда-нибудь на ваше

счастье тысченокъ двадцать-пять — объ двухстахъ-то у
мы не думаемъ—и выпадетъ!" *(Въ средѣ умѣренности и ак
ратности)*. Въ этой щедринской передѣлкѣ Молчалинъ вы
дитъ гораздо симпатичнѣе, чѣмъ у Грибоѣдова; а эта ср
нительная привлекательность зависитъ оттого, что пе
дѣланный Молчалинъ искреннѣе и послѣдовательнѣе
своей умѣренности и аккуратности: онъ скроменъ, онъ з
етъ свой шестокъ.

Своею передѣлкой Молчалина Салтыковъ показалъ,
онъ можетъ очень мягко относиться къ умѣренности и ак
ратности, когда онѣ украшаются скромностью. Какъ вся
истинно-большой человѣкъ, Щедринъ не презиралъ
маленькихъ людей, ни маленькихъ дѣлъ, но подъ тѣ
условіемъ, чтобы они не маскировались большими люде
и большими дѣлами. Съ этой точки зрѣнія надо смотрѣ
и на статью *Новый Нарциссъ, или влюбленный въ себя*, надѣ
вшую въ свое время много шума и вызвавшую много на
каній на автора. Либеральные критики негодовали на са
рика за нападки на „наши молодыя земскія учреждені
Что Салтыковъ раздѣлялъ надежды всѣхъ благомыслящи
русскихъ людей на земское самоуправленіе, это, не гово
о прочемъ, видно уже изъ *Писемъ о провинціи* (въ особ
ности седьмого и восьмого письма). Но, говорилъ онъ, „что
отвѣтить на эти ожиданія мало-мальски достойны
образомъ, надлежал ɔ, чтобы земство съ самаго начала поня
свои задачи въ самомъ широкомъ смыслѣ. Суженіе задачъ
вообще плохая школа для вновь выступающихъ учреждені
Изъ этого, какъ и вообще изъ *Писемъ о провинціи*, явствуе
что Салтыковъ понималъ роль земскихъ учрежденій мно
выше и шире, чѣмъ тѣ, кто напустился на „Нарцисса". О
очень хорошо понималъ настоятельность задачъ, волну
щихъ умы героевъ „Нарцисса": вопроса о заготовленіи ни
няго бѣлья для больныхъ гражданскаго вѣдомства, вопро
о полудѣ рукомойниковъ, вопроса о становомъ приста
дозволяющемъ себѣ ѣздить на трехъ лошадяхъ вмѣс
двухъ, и т. д. Все это, безспорно, важно и нужно улади
Но, вѣдь, не въ этомъ же все дѣло, и во всякомъ случ
все это еще не составляетъ резона для великолѣпныхъ ра
говоровъ о „новыхъ путяхъ", „твердыхъ упованіяхъ", „свѣ
лыхъ надеждахъ", „великомъ будущемъ" и проч. Буде
умѣренны и аккуратны, поскольку это дѣйствительно нес

одимо, но не погружайтесь исключительно въ мелочи и одробности; если же вы только умѣренностью и аккурат-остью блистать хотите и никакой обширности вмѣстить не ожете, такъ будьте, по крайней мѣрѣ, скромны, не сотря-айте воздуха трубными звуками, своею громогласностью, тнюдь не соотвѣтствующими дѣламъ вашимъ. Вотъ, соб-твенно говоря, вся мораль *Нарцисса*.

Читатель видитъ, что мораль эта, въ своемъ общемъ ыраженіи, вполнѣ примыкаетъ къ морали *Благонамѣренныхъ ѣчей*. Тамъ, вѣдь, тоже требовалось уравненіе слова съ ѣломъ: не воруй, а ежели ты воръ, такъ не изображай обою столпа, поддерживающаго принципъ собственности; е развратничай, а ежели ты развратникъ, такъ не разгла-ольствуй о святости семейнаго начала; не грабь казну и ародъ, а ежели ты казнокрадъ, такъ не блистай патріотиз-омъ. И тамъ и тутъ сатирикъ преслѣдуетъ маскарадное оведеніе. Разница, однако, въ томъ, что ораторы благона-мѣренныхъ рѣчей замаскированы „столпами“ и, въ случаѣ грамотности, охотно говорятъ о себѣ: мы консерваторы. Ора-торы же умѣренности и аккуратности склонны, напротивъ, называть себя либералами. Положеніе сатирика среди этихъ двухъ маскарадовъ было необыкновенно трудное. Съ одной стороны, „столпы“ говорятъ такъ много и такихъ азартныхъ благонамѣренныхъ рѣчей, что около нихъ сгустилась атмо-сфера относительной неприкосновенности. Всякую попытку совлечь съ нихъ маскарадный костюмъ они истолковываютъ въ смыслѣ посягательства на тѣ принципы, которымъ они якобы служатъ, и этотъ фортель имъ слишкомъ часто удается. Съ другой стороны, рыцари умѣренности и аккуратности столь же ни къ селу ни къ городу вопіютъ объ оскорбле-ніяхъ, якобы наносимыхъ принципамъ свободы, просвѣщенія, „нашимъ молодымъ учрежденіямъ“, когда рѣчь идетъ вовсе не объ этихъ прекрасныхъ вещахъ, а только о томъ, что умѣ-ренность и аккуратность на задворкахъ добродѣтельскихъ селеній живутъ.

Маленькая подробность. Изо всѣхъ очерковъ, вошедшихъ въ составъ сборника *Мелочи жизни*, только два снабжены эпиграфами, и это какъ бы подчеркиваетъ ихъ значеніе. Надъ очеркомъ *Имярекъ* стоитъ: „О поле, поле, кто тебя усѣялъ мертвыми костями?“ Это понятно, если припомнить что *Имярекъ* есть личная исповѣдь автора: удрученный

болѣзнью и житейскими невзгодами, сатирикъ съ преувел
ченною мнительностью не видитъ въ своей жизни ничег
кромѣ поля, усѣяннаго мертвыми костями... Другой очерк
снабженный эпиграфомъ, называется *Чудиновъ*. Эпиграфъ гл
ситъ: „Нѣтъ, вздумалъ странствовать одинъ изъ нихъ л
тѣть". Чудиновъ „вздумалъ летѣть", а безжалостная судьб
подкосила ему крылья прежде, чѣмъ онъ успѣлъ ихъ ра
править. Авторъ нашелъ неудобнымъ дать Чудинову по
няться на воздухъ и прикончилъ его не тѣми опасностям
и трудностями, которыя грозили ему въ самомъ процесс
полета, а просто чахоткой. Остается фактъ сочувствія автор
къ самому намѣренію „летѣть" изъ міра мелочей жизни в
область идеала и подвига. Защита того, что́ рыцари умѣрен
ности и аккуратности презрительно обзываютъ „мечтами
и „фантазіями", составляла какъ бы задачу жизни Салты
кова. Онъ очень часто къ ней возвращался и, между про
чимъ, утверждалъ, что самые фантастическіе мечтатели—
это именно тѣ, кто, зарывшись въ мелочи, вопіетъ изъ их
глубины противъ „мечтаній". Устами Крамольникова Салты
ковъ спрашивалъ: „Да развѣ это не самое грубое, не само
противоестественное мечтаніе: человѣка, одареннаго даром
слова—заставить молчать? человѣка, одареннаго способность
мыслить—заставить не мыслить?" И далѣе: „Одни видят
высшую задачу человѣческой дѣятельности въ содѣйствіи
къ разрѣшенію вопросовъ всесторонняго человѣческаго раз
витія и эту задачу называютъ дѣломъ; другіе, напротивъ
не признавая неизбѣжности человѣческаго развитія, ту же
самую задачу называютъ мечтаніемъ, фразой... Разсудите уж
сами, кому въ данномъ случаѣ болѣе приличествуетъ кличк
мечтателей" *(Пошехонскіе разсказы)*.

По мнѣнію Салтыкова,

„одна изъ характеристическихъ чертъ пѣнкоснимательства,—это вра
ждебное отношеніе къ такъ-называемымъ утопіямъ. Не то чтобы пѣнко
снимателн прямо враждовали, а такъ, галдятъ. Всякій пѣнкоснимателн
есть человѣкъ не только ограниченный, но и совершенно лишенный во
ображенія; человѣкъ, который самою природой осужденъ на хладное пере
жевываніе первоначальныхъ, такъ-сказать, обнаженныхъ истинъ... Пѣнко
сниматель не только свободенъ отъ всѣхъ мечтаній, но даже гордъ этой
свободой. Онъ не понимаетъ, что утопія точно такъ же служитъ цивилизаціи
какъ и самое конкретное научное открытіе. Онъ уткнулся въ заборъ и ни
о чемъ другомъ, кромѣ забора, не хочетъ знать" (*Дневникъ провинціала*).

Крылатая мысль Салтыкова никогда не могла успоко-

ься на тѣхъ заборахъ, въ которыхъ доктринеры умѣрен-
сти и аккуратности видятъ предѣлъ, его же не прейдеши.
обопытны его автобіографическія показанія въ *За рубежомъ*.
ъ разсказываетъ тамъ, что, только-что оставивъ школьную
амью, онъ примкнулъ къ западникамъ. „Но не къ боль-
инству западниковъ, а къ тому безвѣстному кружку, кото-
й инстинктивно прилѣпился къ Франціи".

Историческія заслуги Европы Салтыковъ цѣнилъ, конечно,
меньше, чѣмъ наши чистокровные, умѣренные и
куратные западники. Для національнаго самохвальства
ь слишкомъ ясно видѣлъ и слишкомъ близко къ
рдцу принималъ наши многочисленные язвы и грѣхи;
я мистической стороны славянофильскаго ученія онъ
ишкомъ любилъ свѣтъ, ясность, подлинную жизнь; а
я узкаго, доктринерскаго западничества онъ слишкомъ
билъ просторъ. Не „Европа" и, въ частности, не „Фран-
я" была для него тѣмъ магическимъ словомъ, которое
рыляло его сердце надеждой и вѣрой. Его симпатіей
льзовалось лишь совершенно опредѣленное теченіе евро-
йской жизни, получившее особенно яркое выраженіе во
ранціи, въ которой, однако, тутъ же рядомъ существуютъ
совсѣмъ другія теченія. Если Салтыковъ былъ далекъ
ь разговоровъ о „гніеніи Запада", то, съ другой стороны,
кто и никогда не могъ бы его упрекнуть въ „преклоненіи
редъ Европой". Имѣвшая когда-то свой смыслъ, но уже
вно исчерпанная тяжба славянофильства съ западниче-
вомъ всегда была для него чужимъ дѣломъ, по той про-
ой причинѣ, что Европа никогда не представлялась ему
ѣмъ-нибудь цѣлостнымъ и однороднымъ, заслуживающимъ
общеннаго почитанія или порицанія. Движеніе—вотъ един-
венная общая черта, которую Салтыковъ склоненъ усвои-
ть европейской жизни вообще. Говоря о несовершенствѣ
олитическихъ и общественныхъ формъ, выработанныхъ
падною Европой, онъ замѣчаетъ: „Но здѣсь важна не та
ли другая степень несовершенства, а то, что Европа не
оимирилась съ этимъ несовершенствомъ, не покончила съ
роцессомъ созданія и не сложила рукъ, въ чаяніи, что
частіе само свалится когда-нибудь съ неба" *(Господа Таш-
нтцы)*. Салтыковъ зналъ, однако, что и движеніе, неустан-
ость творческаго процесса жизни не есть все-таки безусловно
еобходимый атрибутъ европейской исторіи на всемъ ея

протяженіи. Недалеко ходить: „Современному французско
буржуа ни героизмъ ни идеалы уже не-подъ-силу. О
слишкомъ отяжелѣлъ, чтобы не пугаться при одной мыс
о личномъ самоотверженіи, и слишкомъ удовлетворенъ, что
нуждаться въ расширеніи горизонтовъ. Онъ давно у
понялъ, что горизонты могутъ быть расширены лишь
ущербъ ему“ *(За рубежомъ)*. А такъ какъ именно этотъ сам
буржуа управляетъ современною Франціей, то страна, о
ившая молодость Салтыкова лучами нравственнаго свѣ
носитъ теперь на себѣ клеймо „безыдейной сытости“
духовной неподвижности. Но это не можетъ тянуться бе
конца. „Ясно, что идетъ какая-то знаменательная внутренн
работа, что народились новые подземные ключи, котор
кипятъ и клокочутъ съ очевидною рѣшимостью пробить
наружу. Исконное теченіе жизни все больше и больше загл
шается этимъ подземнымъ гудѣніемъ: трудная пора еще
наступила, но близость ея признается уже всѣми“ *(Мело
жизни)*.

„Безыдейная сытость“ современнаго французскаго бурж
отразилась, между прочимъ, и на беллетристикѣ, котора
„для того, чтобы скрыть свою низменность, не безъ наглост
подняла знамя реализма“. Слово это знакомо и намъ, ру
скимъ. „Но,—говоритъ Салтыковъ,—размѣры нашего ре
лизма нѣсколько иные, нежели у современной школы фра
цузскихъ реалистовъ. Мы включаемъ въ эту область *все*
человѣка, со *всѣмъ* разнообразіемъ его опредѣленій и дѣ
ствительности; французы же, главнымъ образомъ, интер
суются торсомъ человѣка, и изо всего разнообразія его опр
дѣленій съ наибольшимъ раченіемъ останавливаются на е
физической правоспособности и на любовныхъ подвигах
Съ этой точки зрѣнія Викторъ Гюго, наприм., представляетс
въ глазахъ Золá чуть не гороховымъ шутомъ“ *(За рубежомъ*

Золá, какъ извѣстно, провелъ и въ русскую литератур
свое предпріятіе—свергнуть Виктора Гюго и Жоржъ-Занд
съ ихъ поэтическихъ престоловъ. Кое-кто и у насъ видѣл
въ этомъ предпріятіи какое-то трезвенное слово, нужную
полезную борьбу съ чѣмъ-то ненужнымъ и вреднымъ. Зол
дѣлалъ это мало достойное дѣло во имя трезвости, умѣрен
ности, аккуратности, а такъ какъ онъ обнаруживалъ пр
этомъ еще совершенно пустопорожнюю надменность, т
понятно негодованіе Салтыкова. Тѣмъ болѣе понятно, что,—

по словамъ нашего сатирика,—изъ старой французской литературы „лилась на насъ вѣра въ человѣчество“. Зола́, при всемъ своемъ талантѣ, котораго Щедринъ не отрицалъ, не преувеличивая, однако, его размѣровъ, былъ въ его глазахъ все-таки нѣчто въ родѣ пѣнкоснимателя, то-есть человѣка, который подъ тою или другою благовидною маской (наука, либерализмъ, реализмъ) норовитъ подрѣзать человѣчеству крылья, отнять у него право мечты и идеала и засадить за умѣренное и аккуратное пережевываніе мелочей жизни.

Н. Михайловскій.

Беллетристы-публицисты. М. Е. Салтыковъ-Щедринъ *).

Салтыковъ отнюдь не принадлежитъ къ числу писателей которые сразу опредѣляются и въ продолженіе многолѣтней литературной дѣятельности носятъ неизмѣнный характеръ относительно формъ и содержанія произведеній. Чуткій къ малѣйшему измѣненію общественныхъ настроеній и вѣяній Салтыковъ не упускалъ изъ вида ни одного изъ такихъ измѣненій; до самой смерти онъ не переставалъ жить вмѣстѣ со своимъ вѣкомъ и впереди своихъ современниковъ. Поэтому сатиры его, сообразно различнымъ поворотамъ русской жизни, измѣнялись и по тону, и по содержанію, и ихъ нельзя иначе разсматривать, какъ въ связи съ этими поворотами, дѣля на періоды, соотвѣтствующіе имъ.

Такъ *Губернскими очерками* исчерпывается періодъ дореформенный; въ очеркахъ этихъ Салтыковъ заплатилъ обильную дань общественному разложенію, какое предшествовало Крымской войнѣ. Дальнѣйшія сатиры, слѣдующія за *Губернскими очерками*, носятъ уже совсѣмъ иной характеръ. Въ нихъ сатирикъ отразилъ эпоху „Возрожденія", слѣдующую послѣ Крымской войны, со всею ея безтолковою суматохой и фразистостью. Соль этихъ сатиръ заключается въ томъ, что какъ ни много было шуму и гаму въ то время, какъ ни кричали о прогрессѣ, неустанномъ движеніи впередъ, необходимости существенныхъ измѣненій, эти призывные крики не мѣшали людямъ топтаться на одномъ мѣстѣ, измѣненія были чисто-призрачными, а старо-русская жизнь неизмѣнно оставалась тою же самою.

Эта старо-русская жизнь олицетворена Салтыковымъ въ городѣ Глуповѣ, въ которомъ во всякое время, когда угодно, тишина и благорастворение воздуховъ, и даже среди бѣла дня, когда, какъ извѣстно, въ Вавилонѣ происходило столпо-

*) „Новости", 1889 г., 116. (См. выпускъ II-й, стр. 308.)

творенiе, Глуповъ откликался на зовъ жизни только тѣмъ, что собаки, спавшія доселѣ у воротъ, свернувшись колачикомъ, стали потягиваться и повиливать хвостами. Таково прирожденное свойство обитателей Глупова, ихъ грѣхъ первородный: не могутъ они шевелиться, отяжелѣли. Начальствующіе отдыхаютъ въ объятіяхъ секретарей, помѣщики— въ объятіяхъ крѣпостного права, купцы— въ объятіяхъ единоторжія и надувательства. И можете себѣ представить, что́ должно было сдѣлаться съ Глуповомъ, когда мирное и блаженное существованіе его, заключающееся въ вѣчномъ снѣ и пищевареніи, внезапно нарушилось слухами о „возрожденіи". Эти слухи внесли страшную смуту въ среду „хорошихъ людей" Глупова и произвели всеобщій переполохъ; каждый началъ стонать за свою шкуру и видѣть въ грядущемъ чуть-что не свѣтопреставленіе.

Глуповъ, еще загодя, блѣднѣлъ и трясся при словѣ *возрожденіе* и все про-себя шепталъ: „Господи! ахъ, кабы да мимо!" Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба-птичница, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. „Чѣмъ наша жизнь не красна!"—говорилъ онъ потихоньку,—„или пуховики у насъ не толсты? или вотрушки наши не сдобны?"

При такихъ условіяхъ развѣ могъ возродиться и исполниться новой жизни Глуповъ? Всѣ измѣненія, какія произошли въ его сонномъ существованіи, заключались лишь въ томъ, что онъ выставилъ цѣлый сонмъ клеветниковъ. Пораженные неожиданными для нихъ явленіями глуповцы прежде всего искали объяснить ихъ себѣ чисто-внѣшнимъ образомъ. Имъ все казалось, что тутъ дѣйствуютъ какіе-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ козней которыхъ все шло бы, какъ по маслу. Такъ, напримѣръ, господинъ Сидоровъ утверждалъ, что начало всей смуты положилъ Егорка Лысый, а госпожа Антонова божилась и клялась, что перемѣна въ характерѣ сновидѣній ключницы Матрены произошла именно съ тѣхъ поръ, какъ эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ Іонкой. Ударъ Ерыгинъ пошелъ въ этомъ случаѣ еще дальше. Когда до его свѣдѣній дошелъ слухъ о подобной смутѣ, онъ даже не далъ себѣ труда разобрать, въ чемъ было дѣло, но просто-на-просто приказалъ отодрать пятокъ или десятокъ зачинщиковъ.

Но не одинъ старый Глуповъ возсталъ противъ реформ Самые приверженцы ихъ, піонеры, возрождались лишь словахъ, только и дѣлая, что разсыпаясь въ праздных словоизверженіяхъ. Въ сатирахъ: *Скрежетъ зубовный* и *Новъ Нарциссъ, или влюбленный въ себя*, Салтыковъ осмѣялъ совр менныхъ витій, расплывавшихся потокомъ либеральных разглагольствованій. Все содержаніе нашего краснорѣчі по его словамъ,—это, во-первыхъ, стараніе не войти в слишкомъ явное противорѣчіе съ грамматикой и синтакс сомъ; во-вторыхъ,—желаніе убѣдить всѣхъ и каждаго, чт ничто человѣческое намъ не чуждо; и въ-третьихъ,—стр мленіе, хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ, пріобщиться к общему современному направленію идей. Словомъ, чтоб опредѣлить характеръ нашего витійства однимъ терминомъ можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожнимъ Съ такимъ мало разнообразнымъ сбродомъ мы могли, с грѣхомъ пополамъ, составлять только вступленія и преди словія, но зато въ искусствѣ предисловій въ самое коро кое время сдѣлали столько успѣховъ, что едва ли не об гнали на этомъ поприщѣ всѣ народы земного шара.

Такимъ образомъ, Глуповъ не умеръ, но и не возродился только перемѣнилъ форму, внѣшность и, въ сущности остался тѣмъ же Глуповомъ. Вмѣсто староглуповцевъ наро дились новоглуповцы, но они отличаются отъ прежних лишь наружностью: прежній „хорошій“ человѣкъ был неряшливъ и неумытъ, частенько даже отъ него несл словно морскими травами; новоглуповецъ, напротивъ того безукоризненъ и чистъ какъ кристаллъ.

„Въ сущности, и старый и новый глуповецъ,—говоритъ Салтыковъ,— руководится однимъ и тѣмъ же правиломъ: „Травы не мять, цвѣтовъ не рвать и птицъ не пугать“, но на практикѣ, но въ способѣ проведенія этого пра вила въ жизни между ними замѣчается ощутительная разница. Старый глуповецъ видѣлъ эти слова написанными на доскѣ и выполнялъ ихъ не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но и резонируетъ, не только резонируетъ, но и любуется самимъ собою. Онъ возводитъ испол неніе правила въ принципъ, и въ этомъ принципѣ находитъ достаточно содержанія для наполненія всей своей жизни. И горе тому, кто затронетъ новоглуповца въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ; горе тому, кто отнесется легко къ этой послѣдней святынѣ его сердца; онъ въ одну минуту налаетъ столько, сколько не успѣли налаять его достославные предки въ продолженіе многихъ столѣтій; онъ загрызетъ, онъ докажетъ цѣлому міру, что и въ Глуповѣ могутъ зародиться своего рода Робеспьеры, и что глуповская почва способна производить сорванцовъ исполнительности...

„Глуповское міросозерцаніе, глуповская закваска жизни находятся въ
ніи—это несомнѣнно. Но агонія всегда сопровождается предсмертными
очами, въ которыхъ заключена страшная конвульсивная сила. Предста-
телями этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древне-глуповскаго міро-
зерцанія удержаться на старой почвѣ служатъ новоглупцы. Въ лицѣ
ь она празднуетъ свою послѣднюю, безсмысленную вакханалію; въ лицѣ
ь она исчерпываетъ послѣднее свое содержаніе; въ лицѣ ихъ она тор-
ственно и окончательно заявляетъ міру о своей несостоятельности".

Таковы основные мотивы публицистическихъ сатиръ,
кія писалъ Салтыковъ во время реформъ. Это была без-
щадная критика общественнаго движенія, проникавшая
суть исторически-сложившихся основъ русской жизни;
а производила отрезвляющее вліяніе на молодые умы,
згоряченные совершавшимися великими событіями и во-
ражавшіе, что русскій прогрессъ безпредѣленъ.

Не ограничиваясь характеристикой современныхъ нра-
въ Глупова, Салтыковъ обращается къ исторіи, въ намѣ-
ніи прослѣдить развитіе этихъ нравовъ генетически, и
нцомъ сатиръ разсматриваемаго нами періода является
сторія одного города. Но прежде мы обратимся къ этому
оизведенію, обратимъ вниманіе на одно весьма суще-
венное свойство таланта Салтыкова, именно,—на его страсть
широчайшимъ обобщеніямъ.

Салтыкова неоднократно обвиняли въ памфлетизмѣ, и
дкое произведеніе его обходилось безъ того, чтобы не
кали на немъ изображеній общеизвѣстныхъ дѣятелей.
виненіе это лишено всякаго основанія. Салтыковъ самъ
стоянно отказывался, чтобы въ его сатирахъ были выве-
ны лица, на которыя ему указывали, и дѣлалъ это не
блично передъ людьми, съ которыми не желалъ быть
кровеннымъ, а въ интимныхъ бесѣдахъ. И дѣйствительно,
зсматривая его произведенія, мы видимъ, что часто твор-
скій процессъ его начинался отъ личности, ею возбу-
дался и приводился въ движеніе; но никогда онъ на этой
нкретной личности не останавливался, а непремѣнно
иходилъ къ обобщеніямъ, столь широкимъ, что порою они
въ силахъ были вмѣститься въ одинъ художественный
разъ. Тогда творчество Салтыкова, какъ вздувшійся
ь чрезмѣрныхъ дождей потокъ, выходило изъ береговъ
дожественности, и сатирикъ начиналъ выставлять отвле-
нныя, безплотныя аллегоріи, подводя подъ нихъ явленія
мыя разнородныя. Мы видѣли уже подобныя безплотныя

обобщенія въ такихъ категоріяхъ, какъ староглуповцы новоглуповцы. Другой подобнаго же рода примѣръ предст вляется намъ въ сатирахъ, извѣстныхъ подъ общимъ н именованіемъ: *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*. Перв шесть главъ этой серіи сатиръ озаглавлены: *Господа Мо чалины*. По одному заглавію вы можете судить, что Салт ковъ отправляется здѣсь отъ извѣстнаго грибоѣдовска типа. Но онъ не останавливается на немъ. У Грибоѣдо Молчалинъ является опредѣленнымъ типомъ пресмыка щагося чиновника-карьериста, и вы не смѣшаете его ни с Фамусовымъ, ни со Скалозубомъ, ни, тѣмъ болѣе, съ Чацким Салтыковъ же усматриваетъ молчалинскія черты въ бол шинствѣ общества. Цѣлыя массы людей, подобно Молчалин помышляютъ лишь объ устройствѣ семейной обстановочк жертвуя совѣстью и честью, подвергая себя добровольно мученичеству въ видѣ надругательства какого-нибудь сам дура. Люди эти говорятъ: „Моя хата съ краю,—ничего не знаю и пусть кровь льется потоками и человѣчество грязнетъ в пучинѣ духовной нищеты—ни до чего имъ нѣтъ дѣла. Умыва руки въ крови, они утѣшаютъ себя, что они лишь испо нители, творятъ волю пославшихъ ихъ и представляютъ в каждомъ шагу раздвоеніе семейной и общественной нра ственности, при чемъ всѣ усилія употребляютъ, какъ б дѣти не узнали, какою цѣной покупается благосостоян и не обратились бы въ грозныхъ судей своихъ родителей.

„Молчалины,—говоритъ Салтыковъ,—отнюдь не составляютъ исключ тельной особенности чиновничества. Они кишатъ вездѣ, гдѣ существует забитость, приниженность, вездѣ, гдѣ чувствуется невозможность скорота жизнь безъ содѣйствія „обстановки“. Русскія матери (да и никакія в цѣломъ мірѣ) не обязываются рождать героевъ, а потому масса сыно человѣческихъ невольнымъ образомъ придерживается этой руководяще нити, которая выражается пословицей: „Лбомъ стѣны не прошибешь“. такъ какъ пословица эта, сверхъ того, въ практической жизни подтве ждается восклицаніемъ: „Въ бараній рогъ согну!“, примѣненіе котора сопряжено съ очень солидной болью, то понятно, что въ извѣстные исто рическіе моменты Молчалины должны во всѣхъ профессіяхъ составлять в очень яркій, но тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, преобладающій элементъ“.

Страсть Салтыкова къ широкимъ обобщеніямъ не слѣ дуетъ упускать изъ виду, читая и *Исторію одного города*. В произведеніи этомъ болѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, ищут изображенія историческихъ личностей. Но это такое же заблу жденіе, какъ и исканіе портретовъ въ прочихъ сатирах Салтыкова. Здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, мы имѣемъ дѣл

широкими обобщеніями, олицетворяющими въ одномъ разѣ, порою, цѣлыя эпохи.

Исторія не есть галлерея историческихъ дѣятелей. За слѣдними стоитъ общество, толпа, народъ, которые хотя не принимаютъ замѣтнаго участія въ исторіи, тѣмъ не енѣе каждый индивидуумъ кладетъ свою лепту, а изъ ихъ лептъ нарастаютъ горы. Каждая эпоха имѣетъ свой рактеръ, присущій не однимъ выдающимся дѣятелямъ, и массамъ. То, что совершалось въ данный историческій оментъ въ Петербургѣ, находило подражателей въ любомъ луповѣ. Поэтому, въ исторіи Глупова нужно видѣть не дно *замаскированіе* русской исторіи, а ея, такъ-сказать, *микро-осмъ*. Если бы можно было написать исторію любого изъ усскихъ городовъ—Ярославля, Костромы, Кашина или Каля-ина—со всѣми мелкими подробностями повседневной жизни, авѣрное въ каждомъ городѣ отразилась бы всероссійская сторія. Такимъ образомъ, хотя Беневоленскій и напоминаетъ перанскаго, а Угрюмъ-Бурчеевъ даже по созвучію—Арак-еева, но во время Сперанскаго и Аракчеева каждый город-ичій походилъ либо на Сперанскаго, либо на Аракчеева, не изъ одного подражанія, а потому, что каждая эпоха мѣетъ свои преобладающіе типы, и если художнику удастся хватить одинъ изъ нихъ, то выдающаяся историческая ичность будетъ въ такой же мѣрѣ походить на него, какъ масса неизвѣстныхъ современныхъ людей.

Слѣдуетъ къ тому же принять во вниманіе, что въ *Исто-іи одного города*, какъ и въ *Помпадурахъ и помпадуршахъ*, трѣлы Щедрина направляются не на однихъ выводимыхъ радоначальниковъ. Сатирикъ выводитъ ихъ уродливыми, езобразными и карикатурными, вовсе не полагая въ то же ремя въ нихъ альфу и омегу всѣхъ бѣдъ и золъ русской изни. Болѣе всего бичуетъ онъ толпу обывателей, заби-ыхъ, униженныхъ, пресмыкающихся глуповцевъ, чуждыхъ сякой иниціативы и самостоятельности, и вѣчно являю-щихся одними и тѣми же безсловесными подловато-угодли-ыми Молчалиными. Противъ этой-то азіатской инертности направлены болѣе всего бичи щедринской сатиры.

II.

Но вотъ прошли шестидесятые годы, со всею ихъ сума-охой; совершились реформы; опустились волны обществен-

наго движенія; началось общее изнеможеніе, разочаровані затишье. Но подъ наружнымъ пепломъ наступившей реакці тлѣлъ жгучій огонь, и невидимо, неслышно совершало экономическій переворотъ, явившійся прямымъ результа томъ совершонныхъ реформъ и, особенно, освобождені крестьянъ. Наиболѣе сильное вліяніе эта реформа имѣла н дворянскій классъ, бытъ котораго былъ потрясенъ до са мыхъ своихъ основаній. Всѣ прежніе рессурсы безпечал наго житья исчезли безвозвратно. Приходилось мало то что устраиваться по-новому, но придумывать новыя теорі для оправданія смысла существованія дворянъ, какъ особе наго класса. Чуткій въ уловленіи существеннаго нерва к ждой эпохи, Салтыковъ сейчасъ же понялъ, въ чемъ главны вопросъ времени, и направилъ свои перуны на сбитыхъ с панталыку культурныхъ людей, стремившихся устроитьс по-новому, но столь же сытно, весело и безъ труда, ка жили и прежде.

Произведенія третьяго періода литературной дѣятел ности Салтыкова семидесятыхъ годовъ: и *Господа Ташкентц и Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, и *Убѣжище Монрепо, Благонамѣренныя рѣчи* изображаютъ именно культурны людей въ ихъ отыскиваніи новыхъ путей паразитства. О нимъ изъ заурядныхъ въ семидесятые годы путей к поправленію финансовыхъ обстоятельствъ была тяга в Ташкентъ, гдѣ мерещились культурнымъ людямъ золоты горы. Отъ взоровъ Салтыкова не укрылась эта тяга, и он мало того, что заклеймилъ россійскихъ піонеровъ насажд нія въ Азіи европейской цивилизаціи позорнымъ именем ташкентцы, но, по обыкновенію, обобщилъ это прозвищ примѣнивъ его ко всѣмъ культурнымъ людямъ, ничего н имѣющимъ за душою, кромѣ ненасытнаго аппетита,—таким образомъ и появилась серія сатиръ, подъ заглавіемъ: *Госпо Ташкентцы*, при чемъ во введеніи въ эти очерки Салтыко говоритъ:

„Нравы создаютъ Ташкентъ на всякомъ мѣстѣ; бываютъ въ жиз обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую дверь становится на неизбѣжную очередь для всякаго существованія. Это особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено называть перехо ными; можетъ-быть, именно чувствуется потому, что въ подобныя минут рядомъ съ Ташкентомъ, уже зарождается нѣчто похожее на гражданстве ность, нѣчто напоминающее человѣку возможность располагать свои движеніями... Потихоньку, милостивые государи, потихоньку! Можетъ-бы

о „нѣчто зарождающееся“, „нѣчто намекающее“ и дѣлаетъ особенно естерпимою боль, при видѣ все-таки прямо стоящаго Ташкента? Дѣйвительно, все это очень возможно; но что же кому за дѣло до этого? азвѣ объясненія утѣшаютъ кого-нибудь? Развѣ они умаляютъ хоть на аплю переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, хотя бы самыя глухія, печальныя историческія эпохи, нельзя себѣ представить кого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ рукою, сколько хъ водится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими отчаявшимися — олько людей, все позабывшихъ, все въ себѣ умертвившихъ... все, кромѣ зконечнаго аппетита!..

„Я конечно былъ бы очень радъ, если бы могъ, начиная этотъ рядъ арактеристикъ, сказать: „Читатель! смотри—вотъ издыхающій Ташкентъ!“ о увы! я не имѣю въ запасѣ даже этого утѣшенія! Конечно, я знаю, о есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ, но въ то же время знаю, о есть и Ташкентъ, который нарождается вновь. Эта преемственность ашкентовъ поистинѣ пугаетъ меня. Вездѣ шаткость, всюду сюрпризъ! вижу людей, работающихъ въ пользу идей, несомнѣнно, скверныхъ и ошлыхъ и сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „Пади! задавлю!“, вижу людей, работающихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, о тоже сопровождающихъ свою работу возгласомъ: „Пади! задавлю!“ Я вижу рамокъ, тѣхъ драгоцѣнныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы праздднять дурное безъ заушеній, безъ возгласовъ, обѣщающихъ задавить. нѣ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древній, Ташкентъ установившійся, окрѣпшій. Пожалуй, я на это согласенъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ, въ этомъ нѣтъ ничего невѣроятнаго, но, вѣдь, это олько доказываетъ, что пессимисты, усматривающіе въ будущемъ достаочно длинный рядъ Ташкентовъ, тоже не совсѣмъ неправы въ своей знадежности. Утѣшительнаго въ этомъ объясненіи немного“.

Но типы ташкентцевъ далеко не исчерпываютъ собою сѣхъ сбившихся съ пути культурныхъ людей. Ташкентцы, отовые ради снисканія куска пирога совершать какія-годно злодѣйства,—люди энергическіе и хищные, а такихъ сегда бывало меньшинство. Большинство же культурныхъ одей въ теченіе семидесятыхъ годовъ принадлежало къ ягкому и рыхлому типу помѣщиковъ, которые, не дуая о завтрашнемъ днѣ, проѣдали послѣднія выкупныя свиѣтельства и, спуская свои наслѣдственныя усадьбы Деуновымъ, безслѣдно исчезали во мракѣ нищеты и разореія. Собирательнымъ типомъ подобныхъ прожигателей жини является герой *Дневника провинціала* Прокопъ, необуданный обжора, пьяница и сластолюбецъ, являющійся въ етербургъ изъ провинціи „прожигать жизнь“ и, вмѣстѣ съ ѣмъ, изыскивать средства для этого прожиганія.

Во второй главѣ *Дневника провинціала* Щедринъ провоитъ знаменательную параллель между жизнерадостностью

дѣдушки Матвѣя Ивановича и тщетными усиліями „про
гать жизнь“ его жалкихъ потомковъ, ни къ чему не
водящими ихъ, кромѣ пресыщенія и разочарованія.

„Дѣдушкѣ Матвѣю Ивановичу было надъ чѣмъ повластвовать, и
понималъ себя въ этомъ отношеніи не пятымъ колесомъ въ колесни
не отставнымъ козы барабанщикомъ. Смотритъ онъ, напримѣръ, на д
Палашку, какъ она кувыркается, и въ то же время если не формулир
то всѣмъ существомъ сознаетъ: „Я съ этою Палашкой, что хочу,
сдѣлаю: хочу—косу обстригу, захочу—за Антипку пастуха замуж
дамъ“...

„Мы, потомки дѣдушки Матвѣя Ивановича, лишены такого сорта
вляющихъ эпизодовъ.—*Мы курицъ не можемъ сдѣлать зла*! та pag
говорилъ мнѣ на-дняхъ мой другъ Сеня Бирюковъ:—объясни же мнѣ,
Христа, какого рода роль мы играемъ въ природѣ?“

Таковы темы большинства сатиръ семидесятыхъ год
Въ каждой выставляется пореформенный помѣщикъ въ
ныхъ отношеніяхъ къ новой жизни, заставшей его в
плохъ и увлекающей его роковымъ теченіемъ. Здѣсь вы
видите уже желчи и негодованія, преобладавшихъ въ
тирахъ первыхъ двухъ періодовъ. Господствующимъ
ствомъ является ѣдкая горечь, хандра. Скорбь автора
ситъ субъективный характеръ. Смѣясь сквозь слезы н
героями, въ ихъ тяжкой борьбѣ съ новыми условіями жи
авторъ оплакиваетъ и собственную участь, которую раз
ляетъ съ героями, принадлежа къ одной съ ними сре
Такія сатиры, какъ *Убѣжище Монрепо*, имѣютъ автобіогра
ческій характеръ, являясь плодами личныхъ опытовъ,
страданныхъ самимъ авторомъ.

Шедевромъ этого третьяго періода литературной д
тельности Салтыкова являются *Господа Головлевы*. Мн
ставятъ это произведеніе наравнѣ съ *Мертвыми душами*,
изображенію существенныхъ и самобытныхъ чертъ русс
жизни и по типичности выставляемыхъ личностей. Др
утверждаютъ, что если бы забылись всѣ прочія произве
нія Салтыкова, потерявши обаяніе современности, *Гос
Головлевы* одни останутся незабвенными, такъ какъ въ н
Салтыковъ возвысился надъ преходящими явленіями и
шелъ до высшаго творческаго экстаза общечеловѣческ
обобщеній. Особенно типъ Іудушки смѣло можно постав
рядомъ съ лучшими типами европейскихъ литерату
Тартюфомъ, Донъ-Кихотомъ, Гамлетомъ, Лиромъ и т.
Самые ожесточенные враги Салтыкова и тѣ преклоняю

ередъ этимъ произведеніемъ, объясняя высоту его отсут-твіемъ тенденціозности.

На самомъ же дѣлѣ, *Господа Головлевы* были навѣяны ьми же злобами дня: именно тщетными попытками осмы-пить праздное существованіе сбитыхъ со всѣхъ прежнихъ утей героевъ дешевой наживы, навязавъ имъ роль охра-ителей и распространителей сложившейся якобы вѣками воеобразной русской культуры. Отсюда вытекло и прозвище *ультурные люди*, явившіеся какъ-разъ въ это время въ осковскихъ литературныхъ кружкахъ. Посмѣявшись вдо-таль надъ этимъ прозвищемъ и надъ ролью, какая навя-ывалась ташкентцамъ и Прокопамъ, Салтыковъ вознамѣ-ился показать, какова была пресловутая вѣковая „куль-ура", охранять и насаждать которую призывались таш-ентцы и Прокопы. Результатомъ такого замысла и явились *оспода Головлевы*,—произведеніе, въ которомъ вы находите зображеніе старинной, дореформенной помѣщичьей семьи о всемъ ужасающемъ безобразіи нравственной распущен-ости, отсутствія духовныхъ интересовъ и полнаго разло-сенія подъ личиною цинически-наглаго лицемѣрія. „Вотъ акую культуру васъ призываютъ охранять и насаждать", казалъ Салтыковъ этимъ своимъ лучшимъ сочиненіемъ.— днимъ словомъ, *Господа Головлевы* играютъ по отношенію ъ прочимъ сатирамъ третьяго періода дѣятельности Сал-ыкова такую же роль заключительнаго слова и вѣнца, акую занимаетъ *Исторія одного города* по отношенію къ роизведеніямъ пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ.

III.

Здѣсь считаемъ умѣстнымъ обратить вниманіе на такой лементъ таланта Салтыкова, котораго мы до сихъ поръ не асались еще и который, представляясь не менѣе суще-твеннымъ, чѣмъ сатирическій, до сихъ поръ остается мало цѣненнымъ. Именно, элементъ трагическій. Элементъ этотъ ылъ упущенъ изъ виду не только критиками враждебнаго агеря, но и критики дружественнаго направленія долгое ремя не замѣчали тѣхъ горькихъ слезъ, какія прорывались орою сквозь смѣхъ Щедрина. Стоитъ вспомнить Писарева ъ его *Цвѣтами невиннаго юмора*.

Это зависѣло оттого, что въ первые два періода д тельности Салтыкова смѣхъ преобладалъ въ его сатир надъ слезами. Съ одной стороны, время, крайне оживленн располагало болѣе къ смѣху, чѣмъ къ плачу. Съ дру стороны, и сатирикъ былъ моложе. Понятно, что чѣ долѣе живетъ человѣкъ, глубже всматривается въ жи и болѣе выноситъ изъ нея горькихъ опытовъ, тѣ болѣе является у него наклонности къ трагизму. этому и у Салтыкова въ позднѣйшихъ сатирахъ, от сящихся къ семидесятымъ и восьмидесятымъ года мы видимъ болѣе трагическаго элемента, чѣмъ въ *Губе скихъ очеркахъ* или *Дневникѣ провинціала.*

Этому соотвѣтствовалъ и характеръ семидесятыхъ и во мидесятыхъ годовъ. Можно было осмѣивать Прокоповъ, п они обжирались и проѣдали послѣднія выкупныя свид тельства; ташкентцевъ, пока они были болѣе смѣшны, чѣ страшны, и Молчалиныхъ, пока разладъ словъ и дѣлъ п водилъ ихъ лишь къ смѣшному искаженію образа и подо Божія. Но въ семидесятые годы стало уже не до смѣ мрачные тоны жизни сгустились. Передъ Прокопами, ус вшими все проѣсть, разверзлись грозныя пропасти. Та кентцы начали возбуждать не одинъ смѣхъ, но и ужа Молчалины же познали грозныхъ и нелицепріятныхъ суд въ лицѣ своихъ подросшихъ дѣтей. И вотъ, изъ-подъ п Салтыкова начали выступать безутѣшныя слезы; появил рядъ очерковъ, въ которыхъ черная какъ ночь хандра до дитъ мѣстами до безнадежнаго отчаянія. Это не байрон ское разочарованіе, не скептическій пессимизмъ совреме ной французской беллетристики. Салтыковъ никогда доходилъ до потери вѣры въ человѣческую природу вообщ онъ лишь оплакивалъ печальную судьбу своихъ совреме никовъ, которые влачили жалкое существованіе, ничѣмъ отличающееся отъ одиночнаго заключенія въ сыромъ, вон чемъ подвалѣ и, куда ни обертывались, всюду находи подъ ногами разверзавшіяся бездны, грозившія безславн и позорною гибелью. Это не трагизмъ высокихъ, титани скихъ страстей и экстраординарныхъ сцѣпленій вражде ныхъ обстоятельствъ, который читатели созерцаютъ съ поко нымъ духомъ, радуясь за свою участь и соображая, ч мало ли чего не бываетъ на свѣтѣ, но они въ своей скро ной и незамѣтной жизни, со своею умѣренностью и аккура

остью застрахованы отъ подобныхъ ужасовъ. Салтыковъ аскрываетъ трагическое въ повседневной будничной жизни, плошь сотканной изъ мелочей и дрязгъ, и читатель съ жасомъ убѣждается, что никто отъ этого трагическаго не астрахованъ.

Такова, напримѣръ, сатира *Похороны*, въ которой раскрыается передъ нами трагизмъ жизни современнаго русскаго исателя. Мало того, что все хватающее васъ за сердце писаніе литературныхъ похоронъ въ цѣломъ исполнено рачнаго трагизма,—въ рѣдкой фразѣ, взятой въ отдѣльноти, не таится особенная трагедія, не раскрываются передъ ами надрывающіе душу факты, примелькавшіеся намъ въ кизни. Возьмите для примѣра хотя бы такой фактъ, что оронили Коршунова *„на счетъ семидесяти пяти рублей, котоые ассигновалъ литературный фондъ, предварительно, впрочемъ, достовѣрившись, что покойный пилъ водку только передъ обѣдомъ „не предаваясь“*. Обратите вниманіе на хмурое октябрьское ебо, на горсть провожавшихъ сотрудниковъ, которымъ *сѣмъ было не-по-себѣ, всѣ шли, понуривши голову, какъ-будто аждый думалъ: Вотъ, скоро надорвусь и я... да и надъ чѣмъ адорвусь!“*

„Чувство безконечной отчужденности и наготы,—читаемъ мы,—овладѣало всякимъ, при взглядѣ на эту бѣдную обстановку. Думалось, что езутъ какого-то отщепенца, до котораго никому изъ „публики“ дѣла нѣтъ а онъ именно для „публики“-то и жилъ, и ради „публики“ безвременна ачахъ и сошелъ въ могилу). Да и своихъ-то не особенно поражала это отеря, потому что „свои“ ужъ давно освоились съ могилами. Даже больше ѣмъ просто „отщепенство“ тутъ видѣлось: казалось, что только по ошиочному неизреченному благосердію допущена эта бѣдная церемонія, редметомъ которой служила совершенно особенная и притомъ не вполнѣ езопасная человѣческая разновидность, именуемая русскимъ писателемъ!“

А далѣе, затѣмъ, сколько надрывающаго душу заклюается въ мартирологѣ Коршунова! Каждый средней руки исатель увидитъ здѣсь свою собственную жизнь и, вслѣдъ за безсмертнымъ сатирикомъ, воскликнетъ въ горькомъ отчаяніи: „Читатель, русскій читатель! Защити!..“

Не менѣе трагиченъ разсказъ *Дворянская хандра*, въ котоомъ мы имѣемъ дѣло съ трагедіей современнаго интеллигентнаго культурнаго человѣка. Всю жизнь онъ питался надеждами и всюду „совался“.

„Къ чему я ни примазывался!—говоритъ онъ,—въ какомъ „хорошемъ“ дѣлѣ не предлагалъ своихъ услугъ! Всѣ тогдашніе вопросы были моими ичными кровными вопросами!.. Наконецъ, однако, мы надоѣли. Года два

сряду мы любовались другъ-другомъ, на третій—любоваться было у
нечѣмъ. Мы весь свой багажъ разбросали разомъ и ничего не сумѣ
подобрать, такъ что очутились совсѣмъ съ пустыми руками. Все измѣн
лось кругомъ насъ: спросъ на наши услуги вдругъ понизился до миниму
снисходительныя улыбки превратились въ откровенно-кислосладкія; од
мы не измѣнились и продолжали назойливѣйшую готовность итти въ ого
и въ воду. Тогда, чтобы отдѣлаться отъ насъ, потребовалось употреби
насильство... Что было потомъ, лучше не вспоминать... Замѣна вчерашня
лихорадочнаго „сованія“ сегодняшнимъ оцѣпенѣніемъ, это—болѣе, неже
неожиданность: это полный переворотъ. Нить жизни порвана; привыч
нарушены; всѣ планы, всѣ стремленія, все, чѣмъ жилъ человѣкъ,—
разомъ упразднено. Сколько могучаго презрѣнія долженъ почувствова
человѣкъ къ самому себѣ въ минуту совершенія этого переворота! Вѣ
онъ все тотъ же: дѣятельный, преданный, одушевленный, и вдругъ...
что?.. за что? Поймите, какая масса безпомощности, самоуничиженія,
прасныхъ укоровъ, безсильнаго ропота слышится въ одномъ этомъ вопросѣ

И вотъ, культурному человѣку осталось лишь возвр
титься въ дѣдовскую усадьбу и поселиться въ ней навсегд
но не затѣмъ, чтобы просвѣщать, распространять здрав
понятія о платежѣ недоимокъ или хозяйничать,—прос
чувствовалась потребность заживо имѣть гробъ. И совр
менная усадьба своимъ разрушеніемъ, заброшенностью
безжизненнымъ уединеніемъ вполнѣ соотвѣтствовала пон
тію о гробѣ.

Замуравливаніе себя заживо въ гробъ интеллигентным
культурнымъ человѣкомъ, познавшимъ свою ненужность
жизни, и составляетъ содержаніе этого поистинѣ гроб
вого разсказа. Всего ужаснѣе здѣсь та пропасть, котор
отдѣляетъ подобнаго живого мертвеца отъ крестьянъ, окр
жающихъ гробъ его.

„Я изнываю отъ тоски,—говоритъ онъ,—отъ неудовлетворенной жаж
поступковъ, наконецъ, отъ стыда, а мужикъ думаетъ: „Вотъ оно, хорошее
житье!“ и думаетъ правильно, потому что его-то собственное житье у
таково, что даже суздальскимъ богомазамъ,—этимъ присяжнымъ изоб
зителямъ адскихъ мученій,—и тѣмъ не найти красокъ, чтобы достойны
образомъ воспроизвести это житье! Собственно говоря, только это вѣч
присущее сравненіе между его гробомъ и моимъ и напоминаетъ ему о
мнѣ. Во всемъ остальномъ—ему до меня дѣла нѣтъ. Ни совѣтовъ е
моихъ не нужно, ни сочувствія. Въ томъ дѣлѣ, которое сопровождае
его жизненную агонію, я никакихъ поученій дать ему не могу, да и о
самъ встрѣтитъ эти поученія съ нетерпѣніемъ, скажетъ: „Уйди! не мѣша
Что же касается до сочувствія, то и тутъ послѣдуетъ тотъ же отвѣ
„Уйди! не мѣшай!“ Онъ не приметъ его за иронію только потому, что
обще ничего прямого, иносказательнаго не разумѣетъ, а просто-на-прос
подумаетъ, что мое сочувствіе есть обыкновенное интеллигентное „сованіе
только на этотъ разъ ужъ совсѣмъ неумѣстно примѣненное. „И безъ те

но—а ты лѣзешь!“ Да, лучше уже не „соваться“ и сидѣть смирно въ емъ собственномъ гробу и потихоньку умирать!“

Развѣ это не самая ужасная трагедія, присущая массѣ теллигентныхъ культурныхъ людей? *Лишніе люди*—это вѣчн болячка русской жизни.

Наконецъ, вотъ вамъ и чиновничья трагедія въ разсказѣ *ьное мѣсто*. Старикъ Разумовъ, чиновникъ средней руки, о жизнь теръ трудовую лямку, наконецъ вышелъ въ отавку съ хорошею пенсіей и чиномъ тайнаго совѣтника, не совсѣмъ по своей охотѣ: его сковырнулъ съ мѣста вый начальникъ Губошлеповъ, безъ всякаго повода, просто къ, чтобы показать, что онъ человѣкъ „системы“. Разувъ вернулся на родину, купилъ домикъ на Прохожей ицѣ, устроилъ, ухитилъ себѣ гнѣздо на славу и думалъ: отъ теперь-то начнется настоящій спокой!“ И дѣйствильно, „спокой“ начался, но не совсѣмъ тотъ, на который зсчитывалъ Разумовъ. Начался „спокой“ одиночнаго заюченія, подавляющій, преисполненный безразсвѣтной мглы, тъ „спокой“, который, однажды захвативъ человѣка, окруаетъ его непроницаемою стѣной, безъ дверей, безъ оконъ. дитъ человѣкъ за этою стѣной и ни о чемъ другомъ не ислитъ, какъ лишь о томъ, что и въ немъ самомъ, и внѣ о все кончилось...

Но главная трагедія въ жизни Разумова заключается въ нѣ Степанѣ, котораго онъ любилъ, лелѣялъ и тщательно спитывалъ, потому что въ немъ видѣлъ единственную дость и счастье своей жизни. И вдругъ, въ этомъ сынѣ у пришлось найти грознаго судію всего его служебнаго прища. Онъ былъ вполнѣ увѣренъ, что онъ „мухи не идѣлъ“ въ продолженіе всей своей службы и всегда дѣлъ „дѣло“ по „сущей совѣсти“. Но въ массѣ „клочковъ“, торые ежедневно перебиралъ Разумовъ, было достаточно кихъ, которые для однихъ оканчивались нравственною идой, для другихъ—матеріальными ущербами. Конечно, и ущербы и обиды, въ мнѣніи Разумова, прикрывались редставленіемъ о „высшемъ интересѣ“ („такъ быть должно“), бѣда состояла въ томъ, что онъ принималъ это представеніе на вѣру и даже не пытался анализировать его соавныя части. Едва ли, впрочемъ, слова эти значили чтобудь больше простого „приказанія“.

Это раздвоеніе офиціальнаго и частнаго человѣка не

обошлось даромъ Разумову. Оно привело сына его Ст
къ тому, что въ одинъ прекрасный день передъ юно
встала слѣдующая дилемма: прервать или со своими кр
ными убѣжденіями, или съ отцомъ. Но любовь отца, лас
которыя онъ всю жизнь разсыпалъ передъ сыномъ,
отеческія заботы и попеченія о единственномъ дѣтищѣ
все это дѣлало разрывъ слишкомъ жестокимъ и невозм
нымъ. И чтобы вырваться изъ этого лабиринта, Степѣ
крылась одна дорога: самоубійство.

Такимъ образомъ, здѣсь мы видимъ уже не такую б
кровную трагедію, какъ предыдущія, а настоящую кроваву
Предъ нами раскрывается одно изъ тѣхъ многочисленны
юныхъ самоубійствъ, которыя въ продолженіе послѣдни
20 лѣтъ составляли самое заурядное явленіе жизни, и, ко
читаете вы эту трагедію, вамъ не до смѣха.

Мы указали лишь на три наиболѣе рѣдкіе образца т
гическаго элемента въ сатирахъ Салтыкова. Но ими
исчерпываются проявленія этого элемента, и читатель са
безъ труда въ обиліи найдетъ ихъ въ произведеніяхъ д
дцати послѣднихъ лѣтъ Салтыкова.

IV.

Сатиры Салтыкова, написанныя въ теченіе восьмидесяты
годовъ, составляютъ четвертый и послѣдній періодъ
литературной дѣятельности. Характеръ этихъ произведен
въ свою очередь, отличается отъ прежнихъ, что обуслов
вается опять-таки духомъ времени и возрастомъ авто
Восьмидесятые годы были временемъ полнаго обществ
наго затишья; жизнь начала однообразно и монотонно т
день за днемъ, бѣдная выдающимися событіями. Ничто у
въ такой степени не волновало, не увлекало, не выводи
изъ себя, какъ прежде. Понятно, что и характеръ и то
сатиръ Салтыкова значительно измѣнились: на мѣсто сар
стичнаго, желчнаго смѣха прежнихъ произведеній являет
теперь величаво-эпическое, степенное созерцаніе, исполн
ное то глубокой скорби, то восторженнаго паѳоса. Передъ ва
уже не юноша и не человѣкъ въ цвѣтѣ лѣтъ, котораго
волнуетъ и возмущаетъ, и который къ тому же живетъ
такую горячую эпоху, когда событія быстро спѣшатъ од
за другимъ, и онъ едва успѣваетъ отзываться о нихъ

ельетонахъ, ловящихъ настоящій моментъ. Бывали годы, гда написанная въ мартѣ мѣсяцѣ сатира Щедрина въ нтябрѣ являлась чѣмъ-то опоздавшимъ. Совсѣмъ не то видимъ теперь: не спѣшила общественная жизнь, не я чего было спѣшить и умудренному опытомъ старцу.

Ужъ одно то обстоятельство, что вниманіе его вмѣсто го, чтобы поглощаться новыми фактами, привлекалось вторяющимися изо-дня-въ-день, привычными, придавало тирамъ его восьмидесятыхъ годовъ еще болѣе обобщаюій характеръ. Сатирикъ еще болѣе, чѣмъ прежде, началъ стигать значеніе въ жизни мелочей и трагическое вліяніе ъ на судьбу человѣка.

„Ахъ эти мелочи! — восклицаетъ теперь сатирикъ, — какъ чесоточный день впиваются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ, и жгутъ его. олько всевозможныхъ „союзовъ“ опутало человѣка со всѣхъ сторонъ... олько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякъ стѣсненій! И всему этому, и пришедшему извнѣ, и придуманному ди удовлетворенія личной мнительности, онъ обязывается послужить, т. е. дать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ ободной минуты для плодотворнаго труда... Мелочи, мелочи, мелочи олонили всю жизнь!“

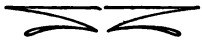
И вотъ, Салтыковъ пишетъ рядъ скорбныхъ разсказовъ, дъ общимъ заглавіемъ: *Мелочи жизни*, въ которыхъ показыетъ трагическое значеніе въ жизни мелочей на герояхъ, взяхъ изъ разнородныхъ слоевъ общества, начиная съ велисвѣтскихъ питомцевъ привилегированныхъ заведеній и нчая мужикомъ и городскимъ пролетаріемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, творческая фантазія Салтыкова начиетъ созерцать жизнь въ ея общихъ и существенныхъ ементахъ, присущихъ не одной русской жизни, а общеловѣческихъ. Результатомъ такихъ созерцаній и являются *азки*, въ которыхъ Салтыковъ выступаетъ сатирикомъ ловѣческой жизни въ ея вѣковомъ укладѣ и обнаружиетъ глубокое знаніе человѣческаго сердца, ставящее его одномъ ряду съ величайшими писателями Европы.

Пошехонскою стариною заканчивается дѣятельность Салкова, и это было довершеніе вполнѣ достойное этой векой дѣятельности. Въ этомъ предсмертномъ произведеніи лтыковъ словно-будто очистился, отрѣшился отъ всѣхъ еходящихъ злобъ дня и суетъ, и углубившись въ давно ошедшіе годы, въ величаво-спокойной, исполненной высокоистіанской любви и гуманности эпопеѣ воспроизвелъ по

мѣщичій быть эпохи крѣпостного права, какъ до сихъ п
никто еще его не воспроизводилъ. Эта полу-автобіогра
ческая, полу-художественная хроника находитъ себѣ бл
ное подобіе развѣ-что въ семейной хроникѣ С. Аксак
но, конечно, у благодушнаго С. Аксакова вы не встрѣ
и тѣни ни того глубокаго проникновенія въ основы изо
жаемаго быта, ни того знанія человѣческаго сердца, ни
горькой нелицепріятной правды.

А. М. Скабичевскі



Сказки Щедрина [1]).

Сказки Салтыкова можно раздѣлить на три разряда. днѣ изъ нихъ заключаютъ фабулы, взятыя изъ русской ѣйствительности безъ всякихъ иносказаній. Таковы: *Обман-икъ-газетчикъ и легковѣрный читатель*, *Игрушечнаго дѣла лю-ники*, *Недреманное око*, *Дуракъ*, *Сосѣди*, *Деревенскій пожаръ*, *овѣсть о томъ, какъ одинъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ*. ругія носятъ характеръ животнаго эпоса, басни; наконецъ, вѣ сказки — *Христова ночь* и *Рождественская сказка* — пре-сполнены религіознаго паѳоса и представляютъ своего рода rofession de foi автора. Эти двѣ сказки заслуживаютъ тѣмъ ольшаго вниманія, что составляютъ противоположный по-юсъ относительно всѣхъ остальныхъ. Если бы онѣ не ыли написаны, остальныя сказки давали бы поводъ пред-олагать, что Салтыковъ подъ-конецъ жизни сдѣлался ске-итикомъ и пессимистомъ, утратилъ вѣру въ людей и въ воз-ожность торжества правды, и въ основѣ жизни поставилъ неумолимо-жестокій законъ борьбы за существованіе, при-знавши его фатальную и жестокую неизбѣжность. Такъ, напримѣръ, возьмите вы хотя бы такія соображенія въ сказкѣ *Бѣдный волкъ*:

„Однакожъ, не по своей волѣ волкъ такъ жестокъ, а потому что комплекція у него каверзная; ничего онъ кромѣ мясного ѣсть не можетъ. А чтобы достать мясную пищу, онъ не можетъ иначе поступать, какъ живое существо жизни лишить. Однимъ словомъ, *обязывается* учинять зло-дѣйство, разбой.

„Нелегко ему пропитаніе его достается. Смерть-то, вѣдь, никому не сладка, а онъ именно только со смертью ко всякому лѣзетъ. Поэтому кто посильнѣе, самъ отъ него обороняется, а иного, который самъ защищаться не можетъ, другіе обороняютъ. Частенько-таки волкъ голодный ходитъ, да еще съ помятыми боками вдобавокъ. Сядетъ онъ въ ту пору, подниметъ рыло кверху и такъ пронзительно воетъ, что на версту кругомъ у всякой живой твари отъ страху да отъ тоски душа въ пятки уходитъ. А волчиха его еще тоскливѣе подвываетъ, потому что у нея волчата, а накормить ихъ нечѣмъ.

---

[1]) „Беллетристы—публицисты“. Новости, 1889 г.

„Нѣтъ того звѣря на свѣтѣ, который не ненавидѣлъ бы волка, не к
клиналъ бы его. Стономъ стонетъ весь лѣсъ при его появленіи: „Проклят
волкъ! убійца! душегубъ!“ И бѣжитъ онъ впередъ да впередъ, голову по
нуть не смѣетъ, а вдогонку ему: „Разбойникъ! живорѣзъ!“ Уволокъ во
съ мѣсяцъ тому назадъ у бабы овцу—баба-то и о сю пору слезъ не
шила: „Проклятый волкъ! душегубъ!“ А у него съ тѣхъ поръ мак
росинки въ пасти не бывало: овцу-то сожралъ, а другую зарѣзать не
шлось... И баба воетъ, и онъ воетъ... Какъ тутъ разберешь?

„Говорятъ, что волкъ мужика обездоливаетъ, да, вѣдь, и мужикъ
обозлится—куда лютъ бываетъ! И дубьемъ-то онъ его бьетъ, и изъ ру
въ него палитъ, и волчьи ямы роетъ, и капканы ставитъ, и облав
него устраиваетъ. „Душегубъ, разбойникъ!“ только и раздается про во
въ деревняхъ: „послѣднюю корову зарѣзалъ, остатную овцу уволокъ!
чѣмъ онъ виноватъ, коли иначе ему прожить на свѣтѣ нельзя?

„И убьешь-то его, такъ проку отъ него нѣтъ. Мясо—негодное, ш
жесткая, не грѣетъ. Только и корысти-то, что вдоволь надъ нимъ, про
тымъ, потѣшишься, да на вилы живьемъ подымешь: „Пускай, гадина ка
по каплѣ кровью исходитъ!“

„Не можетъ волкъ, не лишая живота, на свѣтѣ прожить—вот
чемъ бѣда! Но, вѣдь, онъ того не понимаетъ. Если его злодѣемъ зов
такъ, вѣдь, и онъ зоветъ злодѣями тѣхъ, которые его преслѣдуютъ, увѣч
убиваютъ. Развѣ онъ понимаетъ, что своею жизнью другимъ жизн
вредъ наноситъ? Онъ думаетъ, что живетъ—и только всего. Лошадь тя
сти возитъ, корова даетъ молоко, овца—волну, а онъ разбойничаетъ,
ваетъ. И лошадь, и корова, и овца, и волкъ—всѣ живутъ, каждый
своему“.

Та же философія фатальности взаимнаго пожиранія е
болѣе ярко выставляется въ сказкѣ *Карась-идеалистъ*, ко
рый жестоко посрамляется со своими мечтами о томъ,
справедливость восторжествуетъ, сильные не будутъ т
нить слабыхъ, богатые—бѣдныхъ, объявится такое об
дѣло, въ которомъ всѣ рыбы свой интересъ будутъ имѣ
и каждая свое дѣло будетъ дѣлать, и онъ такія слова знае
что любая щука отъ нихъ въ одну минуту въ карася п
вратится. Въ отвѣтъ на всѣ его мечты ершъ окачиваетъ
холодною водой, развивая ту же философію, какую мы
димъ въ *Бѣдномъ волкѣ*.

— Слушай, дурья порода!—говоритъ онъ:—ѣдятъ-то развѣ „за чт
Развѣ потому ѣдятъ, что казнить хотятъ? Ѣдятъ потому, что ѣсть хочет
только и всего. И ты, чай, ѣшь: не по-пусту носомъ-то въ илѣ роеш
а ракушекъ вылавливаешь. Имъ, ракушкамъ, жить хочется, а ты, прос
филя, ими мамонъ съ утра до вечера набиваешь. Сказывай, какую так
онѣ вину передъ тобой сдѣлали, что ты ихъ ежеминутно казнишь?
мнишь, какъ ты намеднись говорилъ: „Вотъ, кабы всѣ рыбы между соб
согласились!..“ А что, если бы ракушки между собой согласились—слад
ли бы тебѣ, простофилѣ, тогда было?

Вопросъ былъ такъ прямо и такъ непріятно поставленъ, что карась нфузился и слегка покраснѣлъ.

— Но ракушки, вѣдь, это...—пробормоталъ онъ смущенно.

— Ракушки—ракушки, а караси—караси. Ракушками караси лакомятся, арасями—щуки. И ракушки ни въ чемъ неповинны, и караси невиноы, а и тѣ и другіе должны отвѣтъ держать. Хоть сто лѣтъ объ этомъ ай, а ничего другого не выдумаешь"...

И, какъ бы въ доказательство и этой жестокой правды, карась былъ глоченъ щукой, едва лишь произнесъ свое завѣтное слово: „Знаешь ли что такое добродѣтель?"

Совершенно противоположную философію содержатъ *Христова ночь* и *Рождественская сказка*. Здѣсь, на смѣну жестокой правды борьбы за существованіе и взаимной вражды, ляется вѣковѣчная правда божественной любви, и авторъ оникается ею до глубины души. Такъ и въ сказкѣ *Христова ночь* представляется пасхальная ночь. Послѣ тосклиго сѣвернаго ландшафта, въ которомъ авторъ обращаетъ иманіе на печать сиротливости, заброшенности и убожеза, лежащую и на застывшей равнинѣ, и на безмолвствуюемъ проселкѣ, обращаетъ вниманіе и на то, какъ все сконо, безпомощно и безмолвно, словно задавлено невидимою, грозною кабалой; онъ повѣствуетъ, какъ внезапно ожила рестность при звонѣ колоколовъ и безчисленныхъ огней, аривших шпили церквей. По дорогѣ потянулись верецы деревенскаго люда: впереди шли люди сѣрые, замуенные жизнью и нищетою; за ними поодаль слѣдовали въ аздничныхъ одеждахъ деревенскіе богачи, кулаки и проe властелины деревни. Но вскорѣ толпы утонули въ глунѣ проселка, замеръ въ воздухѣ послѣдній ударъ приднаго благовѣста, и все это опять торжественно смолкло. убокая тайна почуялась въ этомъ внезапномъ перерывѣ чавшагося движенія, какъ-будто за наступившимъ молчаемъ надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь возрожденіе. И точно: не успѣлъ еще заалѣть востокъ, къ желаемое чудо совершилось. Воскресъ поруганный и спятый Богъ! Воскресъ Богъ, къ которому искони огорнныя и негодующія сердца вопіютъ: „Господи! Поспѣай!"

Воскресшій Богъ сначала благословилъ землю и воды, вѣрей и птицъ, и сказалъ имъ, что Онъ принесъ весну, пло и свѣтъ, что Онъ напитаетъ и напоитъ птицъ и звѣей и наполнитъ природу ликованіемъ... „Вы не судимы,—

обратился Онъ къ тварямъ,—ибо выполняете лишь то,
вамъ дано отъ начала вѣка"...

Благословивши природу, Воскресшій обратился къ
дямъ. Первыми вышли къ Нему люди плачущіе, согбен
подъ игомъ работы и загубленные нуждою. И когда
сказалъ имъ: „Миръ вамъ!"—то они наполнили воздухъ
даніями и пали ницъ, молчаливо прося объ избавленіи
вотъ Онъ привѣтствовалъ ихъ за то, что они чистыми се
цами беззавѣтно увѣровали въ Него только потому, что
повѣдь Его заключаетъ въ себѣ правду, безъ которой
ленная представляетъ собою вмѣстилище погубленія,
кромѣшный. „Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя
вотъ эта правда во всей ея простотѣ и ясности, и она
болѣе доступна не богословамъ и начетчикамъ, а име
имъ, простымъ и удручающимъ сердцамъ. Они вѣрятъ
эту правду и ждутъ ея пришествія. И вотъ, Спаситель
вѣстилъ имъ, что хотя никто не предвидитъ впередъ, ко
пробьетъ ихъ часъ, но онъ уже приближается. Пробь
этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не по
дитъ тьма. И они свергнутъ съ себя иго тоски, горя
нужды, которое удручаетъ ихъ.

Затѣмъ, увидѣвши толпу богатѣевъ, міроѣдовъ, жестоки
правителей, татей и т. п., Спаситель остановился и пере
ними и, порицая ихъ за то, что зло наполнило все сод
жаніе ихъ жизни, Онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, возвѣстилъ, что
передъ ними Онъ открылъ путь къ спасенію. Этотъ путь
судъ ихъ собственной совѣсти. Она раскроетъ передъ ни
прошлое ихъ во всей его наготѣ; она вызоветъ тѣни по
бленныхъ ими и поставитъ ихъ на стражѣ у изголовья и
Скрежетъ зубовный наполнитъ дома ихъ; жены не п
знаютъ мужей, дѣти—отцовъ. Но когда сердца ихъ зас
нутъ отъ скорби и тоски, когда ихъ совѣсть переполни
какъ чаша, не могущая вмѣстить переполняющей ее горечи
тогда тѣни погубленныхъ примирятся съ ними и откроют
имъ путь ко спасенію. Не будетъ тогда ни татей, ни ду
губцевъ, ни мздоимцевъ, ни ханжей, ни неправедныхъ в
стителей, и всѣ одинаково возвеселятся за общею трапез
обители Его.

Наконецъ, Спаситель, увидя повѣсившагося въ отчая
предателя, повелѣлъ ему сойти съ дерева и, предавши п

лятію, обрекъ его на вѣчное странствіе. И ходитъ онъ донесь по землѣ, разсѣвая смуту, измѣну и рознь.

Такою же философіей проникнута и *Рождественская сказка.* Философія эта, обнаруживая сокровенные идеалы Салтыкова, ь то же время служитъ прекраснымъ противовѣсомъ тому ожному пониманію евангельскаго ученія, какое обнаружи-али въ послѣднее десятилѣтіе нѣкоторые наши писатели. дѣсь мы видимъ не проповѣдь мертваго застоя, рабскаго ничиженія и оправданія пассивнаго отношенія къ господ-твующему злу тою противоестественною теоріей, будто траданіе очищаетъ нашу душу, и посему каждый смертный езропотно долженъ переносить иго его. Напротивъ того, еликое ученіе представляется здѣсь именно въ такомъ идѣ, какъ понимаетъ его народъ, а народъ понимаетъ его, онечно, лучше, чѣмъ всѣ наши суемудрые умники. И въ той солидарности съ народомъ въ пониманіи ученія Хри-това заключается, между прочимъ, значеніе Салтыкова, какъ исателя поистинѣ народнаго.

Сочиненія М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина) [1]).

Изданіе автора. Спб., 1889 г.

Изданіе, начавшееся при жизни автора, стало теперь посмертнымъ изданіемъ сочиненій М. Е. Салтыкова и, сдѣдовательно, имѣетъ быть „полнымъ собраніемъ“ всѣхъ произведеній знаменитаго русскаго сатирика, въ теченіе сорока съ лишнимъ лѣтъ тщательно отмѣчавшаго всѣ некрасивыя стороны нашей жизни. Салтыковъ началъ свою славную литературную дѣятельность *Губернскими очерками*, сразу поставившими автора въ первые ряды русскихъ писателей въ такое время, когда въ этихъ рядахъ стояли Тургеневъ, Достоевскій, Писемскій, Гончаровъ, Григоровичъ. Впечатлѣніе, произведенное появленіемъ *Губернскихъ очерковъ*, можно сравнить лишь съ тѣмъ, что́ произошло въ русскомъ обществѣ при выходѣ въ свѣтъ *Записокъ охотника* Тургенева. Какъ разсказы Тургенева заставили очень многихъ очнуться отъ вѣкового благодушнаго отношенія къ крѣпостному праву, такъ *Губернскіе очерки* раскрыли другую сторону провинціальной жизни, тѣсно связанную съ этимъ правомъ и казавшуюся, благодаря „давности“, столь же незыблемою, какъ власть помѣщиковъ. Очутившись въ провинціи не по собственному желанію и проживая тамъ въ маленькомъ центрѣ административной дѣятельности, Салтыковъ близко видѣлъ всяческія проявленія чиновничьихъ неправды, корысти и произвола, составлявшихъ какъ бы продолженіе и дополненіе крѣпостныхъ порядковъ. Въ то время все, жившее на русской землѣ, лишь номинально дѣлилось на многочисленныя

---

[1]) „Русская Мысль“, 1889 г., 7 кн. (См. выпускъ IV-й, стран. 146.)

сословія; въ сущности же, было только два класса обывателей: власть имѣющихъ и ровно ничего неимѣющихъ. Въ числѣ послѣднихъ были бѣдные и болѣе или менѣе богатые; но имущественная разница служила только мѣркою для опредѣленія того, сколько можно взять съ того или съ другого. Раздѣленія властей на судебную, полицейскую и административную не существовало въ дѣйствительности; были „присутственныя мѣста“ и чиновники различныхъ наименованій, основная функція которыхъ сводилась къ одному—къ поддержанію незыблемости освященныхъ временемъ порядковъ. Порядки же были таковы, что словъ „злоупотребленіе власти“ никто и не слыхивалъ. Случалось, конечно, что чиновники „зарывались“, дѣйствовали и брали „не по чину“, и тогда зарвавшихся постигали различныя непріятности, по усмотрѣнію начальства. Но „зарвавшійся“ не злоупотреблялъ данною ему властью, а только хваталъ не въ мѣру, установленную обычаемъ. Такіе-то „обычные“ порядки и раскрылъ впервые Салтыковъ въ своихъ *Губернскихъ очеркахъ*, не представлявшихъ изъ себя еще той безпощадной сатиры, которая прославила впослѣдствіи имя Щедрина. Но и въ *Губернскихъ очеркахъ* нѣтъ той благодушно-барской мягкости, съ которою Тургеневъ въ *Запискахъ охотника* относится къ крѣпостному праву. По складу ума и по темпераменту, Салтыковъ не могъ обличать нѣжно и выводить на свѣтъ Божій неправду и зло, самъ не возмущаясь ими до глубины души. Съ первыхъ же написанныхъ имъ строкъ уже чувствуется „бичъ сатиры“ въ рукѣ сильной и безпощадной, ставшей впослѣдствіи грозною для всѣхъ безобразій и для всякихъ безобразниковъ какихъ бы то ни было чиновъ, званій и положеній. За все время сорокалѣтней литературной дѣятельности Салтыкова не осталось, кажется, ни одного явленія въ русской жизни, которое не было бы отмѣчено авторомъ *Губернскихъ очерковъ*, *Ташкентцевъ*, *Помпадуровъ*, *Господъ Головлевыхъ*, *Пошехонцевъ*, *Пошехонской старины*... Въ послѣднемъ изъ названныхъ произведеній Салтыковъ обращается къ нашему прошлому, къ старинѣ крѣпостного права. Такимъ образомъ, всѣ его произведенія вмѣстѣ представляютъ собою какъ бы хронику, вѣрнѣе даже—„лѣтопись“ нашей общественной и отчасти интимной жизни за шестидесятилѣтній періодъ времени, начиная съ тѣхъ поръ, когда въ умѣ автора стало складываться сознательное отношеніе къ видѣнному и пережитому.

Люди „благополучнаго“ или такъ-называемаго консервативнаго направленія издавна ставили въ вину Салтыкову, что онъ изображаетъ только отрицательныя явленія русской жизни и *все* предаетъ осмѣянію. У насъ это не новость: точно такой же укоръ и людьми такого же направленія постоянно дѣлался Гоголю. Ни Гоголь ни Салтыковъ не нуждаются въ чьей-либо защитѣ противъ такихъ нападокъ уже потому, что вся Россія знаетъ того и другого писателя, давно признала Гоголя великимъ писателемъ и совершенно забыла имена и писанья его порицателей. Та же участь ждетъ и литературныхъ противниковъ Щедрина. Иные задаются вопросомъ: насколько долговѣчны произведенія Салтыкова? Мы знаемъ, что иностранцы, незнакомые съ русскою жизнью или недостаточно съ нею знакомые, и теперь не понимаютъ многаго изъ написаннаго Салтыковымъ. А потому большинство его произведеній осталось непереведеннымъ на иностранные языки. Весьма правдоподобно, что тѣ изъ сатиръ Салтыкова, которыя имѣли лишь временный характеръ, тѣ изъ разсказовъ, которымъ авторъ нашелъ нужнымъ придать характеръ аллегорическій, станутъ со временемъ непонятными будущимъ поколѣніямъ читателей. Иныя его повѣствованія становятся уже теперь не совсѣмъ вразумительными для молодежи, хотя въ свое время имѣли огромное значеніе и приводятъ въ восторгъ стариковъ, знающихъ, въ чемъ соль и сила. Но, во-первыхъ, такова уже участь всякой сатиры, начиная съ Ювеналовыхъ, что отнюдь не умаляетъ ихъ достоинствъ; во-вторыхъ, сатира нерѣдко требуетъ поясненій и комментаріевъ даже для современниковъ, незнакомыхъ съ тѣми явленіями, которыхъ она касается. И само-собою разумѣется, что такіе пояснительные комментаріи рано или поздно потребуются ко многимъ произведеніямъ Салтыкова. Въ виду этого, мы полагаемъ, что уже теперь большую услугу оказалъ бы русскому обществу тотъ, кто взялся бы за составленіе такихъ комментаріевъ, накопляя ихъ по мѣрѣ того, какъ нѣкоторыя изъ временныхъ особенностей русской жизни, занесенныхъ въ „лѣтопись“ Щедрина, отходятъ въ область исторіи или преданій. Снабженныя такими поясненіями произведенія Салтыкова пріобрѣтутъ очень важное значеніе для потомства, быть-можетъ, даже болѣе серіозное, чѣмъ то, какое они имѣли для современниковъ. Они получатъ значеніе историческихъ документовъ

ля возстановленія такихъ сторонъ русской жизни, которыя овершенно утратились бы для будущихъ поколѣній, если ы не были отмѣчены Салтыковымъ. Но рядомъ съ разска-ами, имѣвшими лишь временный характеръ, Салтыковъ алъ намъ не мало и такихъ типовъ и такихъ положеній, оторые мы въ правѣ назвать столь же вѣчными, какъ типы оголя. Таковы: *Господа Головлевы*, многія изъ дѣйствую-цихъ лицъ *Пошехонской старины* и очень, очень многіе дру-іе изъ *Помпадуровъ*, *Ташкентцевъ* и проч.

„Забытыя слова“ [1]).

„Вѣстникъ Европы“, іюнь 1889 г.

Главный интересъ настоящей книги *Вѣстника Европ* представляетъ, безъ сомнѣнія, все то, что посвящено въ не памяти Салтыкова-Щедрина. Прежде всего, обращаетъ н себя вниманіе читателя траурная страница: это начало нова труда Салтыкова *Забытыя слова*; это, вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣдняя страница, написанная рукою великаго писател Какъ уже извѣстно со словъ близкихъ къ Салтыкову лиц новый творческій замыселъ, который созрѣлъ въ голов покойнаго писателя незадолго передъ его кончиной, имѣл главною темой тѣ *Забытыя слова*—честь, совѣсть, отечеств человѣчество и др.,—о которыхъ онъ считалъ необходимым „напомнить“ нашему безшабашно-забывчивому времен Кромѣ того, въ редакціонной замѣткѣ *Вѣстника Европ* комментирующей „послѣднюю страницу“ Щедрина, на осн ваніи нѣкоторыхъ намековъ покойнаго, высказывается пре положеніе, что произведеніе *Забытыя слова* должно был служить какъ бы литературнымъ „завѣщаніемъ“, котор Салтыковъ считалъ себя въ правѣ и даже обязаннымъ нап сать въ концѣ своей многотрудной и многоопытной жизн Мы видимъ, Щедринъ и тутъ остался вѣренъ себѣ и своем долгу писателя, какимъ онъ понималъ его. И на краю м гилы, обуреваемый мучительною предсмертною тоской, он думалъ только о живомъ; несмотря на всѣ испытанія судьб и личное страданіе, онъ памятовалъ самъ и русскому общ ству хотѣлось „завѣщать“ память о лучшихъ общественных традиціяхъ, о благороднѣйшихъ, возвышенныхъ чувствах и понятіяхъ, которыя только и даютъ жизни человѣческі смыслъ. Содержаніе такого завѣщанія писателя-граждани должно было быть въ высшей степени замѣчательно...

---

[1]) „Русская Мысль“, 1889 г., 7 кн.

вотъ намъ осталась отъ него всего одна недописанная страница, служащая введеніемъ къ задуманному труду о *Забытыхъ словахъ*. Не только по своему печальному смыслу, какъ *послѣдняя* страница любимаго автора, окаймленная траурною чертой, но и по своему содержанію она производитъ на читателя потрясающее впечатлѣніе. По обыкновенію, чрезвычайно сжато и, вмѣстѣ съ тѣмъ, съ поразительною силой и образностью изображаетъ здѣсь великій художникъ то мучительное настроеніе, въ которомъ находился въ послѣднее время, когда слабѣющая рука его чертила эти послѣднія строки:

„Мнѣ чудилось (не то во снѣ, не то наяву),—пишетъ Щедринъ,—что невидимая, но влажная рука обвила меня и неудержимо увлекаетъ въ зіяющую пустоту. Я сознаю себя безпомощнымъ и даже не пытаюсь сопротивляться загадочной силѣ, словно нѣчто роковое ждетъ меня впереди. И чѣмъ глубже я погружаюсь въ необъятную даль, тѣмъ унылѣе становятся перспективы, тѣмъ быстрѣе свѣтъ смѣняется сумерками, тѣмъ рѣшительнѣе потухаетъ вселенская жизнь подъ игомъ всеобщаго омертвѣнія.

„Сѣрое небо, сѣрая даль, наполненная скитающимися сѣрыми призраками. Въ сѣрѣющемъ окрестъ болотѣ кишатъ и клубятся сѣрые гады; въ сѣромъ воздухѣ беззвучно рѣютъ сѣрые птицы; даже дорога словно сѣрымъ пепломъ усыпана. Сердце мучительно надрывается подъ гнетомъ загадочной, неизмѣримой тоски. Удручаютъ сѣрые тоны, но еще болѣе удручаетъ безмолвіе. Ни звука, ни шороха, ничего, кромѣ печати погибели. И чѣмъ больше я углубляюсь въ это оголтѣлое царство, тѣмъ болѣе всѣмъ существомъ овладѣваетъ оторопь и сознаніе отупѣлой безнадежности, въ которой все кругомъ застыло и онѣмѣло. Ощущеніе оскудѣнія постепенно заползаетъ во все существо, и я начинаю чувствовать, что недалеко тотъ моментъ, когда и внутри меня все омертвѣетъ".

Далѣе описывается огромное заброшенное кладбище, съ повалившимися памятниками и оградой, съ полуразрушеннымъ храмомъ, съ разбитымъ колоколомъ, лежащимъ у подножія его...

Вотъ и все... Набросавъ эту замѣчательную, мрачно-великолѣпную картину, рука великаго писателя остановилась навсегда... Кажется, никогда еще на одной страницѣ, въ нѣсколькихъ строчкахъ не сосредоточивалось столько глубокой скорби, столько необъятной тоски! Въ этихъ послѣднихъ строкахъ очевидны слѣды предчувствія близкой смерти, угасанія личнаго *я* автора. Но не одно только это чувствуется въ нихъ. Сильная и чистая душа Салтыкова не могла такъ содрогаться въ преддверіи личной смерти. Здѣсь ощущеніе собственнаго неотвратимаго физическаго угасанія служитъ

какъ бы прообразомъ пониженія дѣятельности духа, творящаго жизнь на землѣ; оно расплывается въ болѣе общемъ ощущеніи угасанія „вселенской жизни“. Это та минута, когда въ душу писателя закрадывается ужасная боязнь наступленія царства безмолвія, оскудѣнія и забвенія,—забвенія даже родительскихъ могилъ. Дѣйствительно, для такихъ людей, какъ Салтыковъ, житейскія впечатлѣнія послѣднихъ лѣтъ должны были быть особенно тягостны; они могли навѣвать на его измученную долгимъ ожиданіемъ свѣта душу мрачныя предчувствія и „отупѣлую безнадежность“. Фанатически преданный завѣтамъ молодости, Салтыковъ никогда не забывалъ ихъ, не забывалъ и тѣхъ впечатлѣній зрѣлыхъ лѣтъ своей жизни, когда нѣкоторыя идейныя стремленія изъ области теоріи и мечты начали переходить въ жизнь, когда общій строй мыслей и чувствъ повысился, и казалось, что сумерки навсегда уступаютъ мѣсто полному дневному свѣту. Но это было „лишь кратковременное марево, которое немедленно смѣнялось самою суровою дѣйствительностью“, какъ говорилъ самъ Щедринъ въ одномъ изъ своихъ произведеній: „Свѣтъ сталъ снова смѣняться „сѣрыми сумерками“, и чѣмъ дальше, тѣмъ быстрѣе; общія перспективы европейской жизни, полной вражды и вопіющихъ противорѣчій, стали съ тѣхъ поръ несомнѣнно „унылѣе“; многія надежды не сбылись, многія слова забылись и смѣнились другими лозунгами, въ родѣ: „Крови и желѣза!“...

Замѣчательно, что въ самыхъ раннихъ произведеніяхъ Салтыкова,—въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ 40-хъ гг.,—мы, прежде всего, встрѣчаемъ тотъ же скорбный мотивъ, ту же безысходную печаль, которою запечатлѣна и его послѣдняя страница—*Забытыя слова*. Отчасти это объясняется, конечно, сходствомъ нѣкоторыхъ „унылыхъ перспективъ“; но корень такого отношенія къ дѣйствительности кроется глубоко,—въ самомъ душевномъ складѣ покойнаго сатирика. Еще въ стихотвореніи *Нашъ вѣкъ*, написанномъ въ 1844 г., юноша-Салтыковъ говоритъ, что грезы его „какой-то тайной грустію полны, и шутка какъ-то сказана сквозь слезы“. Слова эти могутъ быть примѣнены ко всему творчеству Салтыкова, въ которомъ несомнѣнно постоянное присутствіе указаннаго скорбнаго мотива. Если вдуматься въ смыслъ произведеній Щедрина, прочувствовать основной тонъ его „шутокъ“, если вспомнить въ особенности тѣ полныя грусти лирическія

тѣста, которыя въ изобиліи разбросаны по всѣмъ его сочиненіямъ, заканчиваясь мрачнымъ заключительнымъ аккордомъ *Забытыхъ словъ*, то въ лицѣ знаменитаго сатирика передъ нами предстанетъ возвышенный типъ русскаго скорбящаго человѣка. Природа одарила его могущественнымъ орудіемъ смѣха, замѣчательнымъ художественнымъ остроуміемъ, и, что не менѣе, изъ всѣхъ нашихъ писателей, не исключая Некрасова и Гаршина, Салтыковъ особенно выдѣляется какъ писатель „тайной грусти", выдѣляется по той несказанной душевной боли, которая, вопреки наружному смѣху, проникаетъ все его творчество и слышится даже въ самыхъ, повидимому, невинныхъ или „смѣшныхъ" его вещахъ. Не всякому только, конечно, передается эта тайная грусть, и, можетъ-быть, для нѣкоторыхъ Салтыковъ еще надолго останется писателемъ, по преимуществу, „веселымъ".

Постоянство этой печали и сила ея вызывались, безъ сомнѣнія, тою громадною силой убѣжденія, съ какою Салтыковъ исповѣдывалъ свои идеалы: только тотъ, кто непрестанно рвется къ правдѣ-справедливости и не хочетъ знать компромиссовъ, чьи идеалы остаются непоколебимо высоки,— только тотъ можетъ такъ глубоко печалиться объ отсутствіи ихъ въ жизни, такъ страстно гнѣваться на всякую ложь, обманъ и призракъ, какъ гнѣвался на нихъ Щедринъ. Въ немъ жило то страшное, неподкупное чувство правды, которое дѣлало его мученикомъ ея, подобно тому мученику правды, какимъ былъ другой незабвенный нашъ писатель, съ тою только разницей, что Салтыковъ сразу вступилъ на опредѣленный путь и не зналъ, повидимому, тѣхъ теоретическихъ колебаній, которыя испыталъ Бѣлинскій. Это острое чувство правды въ соединеніи съ сильнымъ проницательнымъ умомъ заставляло Салтыкова яснѣе и быстрѣе всѣхъ прозрѣвать обманъ и измѣну; благодаря имъ, онъ, не въ примѣръ другимъ благодушнымъ россіянамъ, сразу различалъ притаившагося гдѣ-нибудь въ тѣни главнаго врага своего—замаскированное рабство; благодаря имъ, онъ открывалъ противорѣчія дѣлъ и словъ и въ такихъ сферахъ, которыя по общему своему направленію были ему симпатичны, т.-е., какъ говорили, „билъ по своимъ". Но дѣлалъ онъ это не по равнодушію къ принципамъ, не по своей безпочвенности и стремленію къ „смѣху ради смѣха", какъ упрекали его иные близорукіе люди, а, наоборотъ, потому,

что ревниво, словно зѣницу ока, блюлъ чистоту и полнот
этихъ принциповъ, карая всякаго, кто размѣнивалъ ихъ в
ходячую мелкую монету.

Печаль и негодованіе Салтыкова составляли, однако
самую животворную струю нашей литературы. Скорбь сати
рика, закончившаго свою дѣятельность печальными стр
ками *Забытыхъ словъ*, была скорбь сильной души, которая н
склонилась долу, но, одушевленная вѣрой въ человѣка
родину, всегда рвалась къ дѣятельности, труду и борьбѣ
Слишкомъ часто на своемъ вѣку чувствовалъ Салтыков
присутствіе въ жизни „злопыхательства“ и наблюдалъ н
равную борьбу съ нимъ „благоволенія“—и это опять-так
придавало думамъ его „тайную грусть“; но онъ безстраш
смотрѣлъ факту въ глаза и звалъ на борьбу съ ним
потому что глубоко вѣрилъ въ будущее. Онъ и тепер
вѣрилъ, что сокровенныя и задушевныя симпатіи обитат
лей „Пошехонья“ устремлены къ свѣту, а не къ тьмѣ; он
вѣрилъ и въ то, что „не только въ Пошехоньѣ, но и в
цѣломъ мірѣ благоволеніе преобладаетъ надъ злопыхател
ствомъ, и что, въ концѣ-концовъ, послѣднее, всеконечн
изморомъ изноетъ“... Вѣра въ будущее! вѣра въ идеал
Въ нашъ трезвый вѣкъ этотъ могучій факторъ человѣч
скаго прогресса сознательно игнорируется, и напоминаніе
немъ вызываетъ пожиманіе плечъ и даже глумленіе со ст
роны трезвенныхъ мудрецовъ и политиковъ. Эта черта вр
мени давно была отмѣчена и чрезвычайно мѣтко охаракт
ризована покойнымъ сатирикомъ; но нынѣ „отрезвленна
современность“ глаголетъ уже такими устами и втирает
въ такія сферы, гдѣ еще недавно охотно допускалось пр
сутствіе идеала и „вѣрованій“. „Субъективныя фантазі
утопіи“,—презрительно замѣчаютъ иные ученые критики
такихъ общественныхъ теоріяхъ, которыя носятъ слѣд
идеала и „вѣры въ будущее“; и они сурово отсылаютъ э
теоріи въ область легкомысленной „журналистики“ и „бел
летристики“. Но здѣсь также уже готовы отрезвленные л
тературные оцѣнщики, которые встрѣчаютъ „идеалистич
скую вѣру“ ничѣмъ не стѣсняющимся смѣхомъ. Еще неда
но, наприм., г. Мережковскій, разбирая *Разсказы* г. Короленк
(*Сѣверный Вѣстникъ*, май), весьма развязно глумился над
нѣкоторыми ихъ героями, которые, послѣ страшныхъ мук
сомнѣнія, снова обрѣтаютъ вѣру въ человѣка, въ идеал

при этомъ послѣдніе, вмѣстѣ съ „правдой, добромъ, любовью“, безъ всякой видимой причины и объясненій, походя обзываются г. Мережковскимъ какъ всѣмъ надоѣвшій арсеналъ риторическихъ банальностей“. Впрочемъ, вдумываясь въ подобныя описанія, которыя въ цѣломъ представляютъ большую путаницу понятій и обильно разбавлены водой эклектизма, можно прійти къ заключенію, что сами авторы ихъ не сознаютъ хорошенько, что говорятъ; во всякомъ случаѣ, трудно понять, чего они добиваются и что хотятъ поставить на мѣсто выпучиваемыхъ „идеала“ и „вѣры въ будущее“. Между тѣмъ, врядъ ли кто даже изъ „трезвенныхъ“ дѣльцовъ и литературныхъ эклектиковъ станетъ отрицать, что такой колоссальный общественный и литературный фактъ, какъ дѣятельность Салтыкова, обязанъ значительною долей своего развитія и содержанія именно чистому возвышенному идеализму 40-хъ гг.

Вѣра въ общественные идеалы будущаго и въ человѣка окрылила огромный талантъ Щедрина, вознесла его на вершину творчества, сообщила вѣчно присущій ему жаръ молодости, сдѣлала писателя безсмертнымъ глашатаемъ правды, связала съ его именемъ самыя лучшія традиціи русскаго слова. Самъ покойный Салтыковъ смотрѣлъ на свою дѣятельность только съ точки зрѣнія служенія „идеаламъ будущаго“ и ясно формулировалъ отношеніе свое къ нимъ въ одномъ изъ самыхъ замѣчательныхъ „лирическихъ мѣстъ“ *Пошехонской старины*: „Пусть не подумаютъ,—писалъ онъ,—что я считаю отвлеченности и обобщенія пустопорожнею фразой. Нѣтъ, я вѣрилъ и вѣрю въ ихъ живоносную силу; я былъ всегда убѣжденъ и теперь не потерялъ убѣжденія, что лишь съ помощью ихъ человѣческая жизнь получитъ правильные, прочные устои. Формулированію этой истины была посвящена лучшая часть моей дѣятельности, всего моего существа. Не погрязайте въ подробностяхъ настоящаго, говорилъ и писалъ я, но воспитывайте въ себѣ идеалы будущаго; ибо это своего рода солнечные лучи, безъ оживотворяющаго дѣйствія которыхъ земной міръ превратился бы въ камень. Не давайте окаменѣть сердцамъ вашимъ, но часто и пристально вглядывайтесь въ свѣтящіяся точки, которыя мерцаютъ въ перспективахъ будущаго. Только недальновиднымъ умамъ эти точки кажутся безпочвенными, оторванными отъ дѣйствительности; въ сущности же, онѣ представляютъ собою не отрицаніе прошлаго и настоящаго, а резуль-

таты всего лучшаго и человѣчнаго, завѣщаннаго первым
вырабатывающагося въ послѣднемъ. Разница лишь въ том
что, создавая идеалы будущаго, просвѣтленная мысль отс
каетъ всѣ мрачныя, злыя стороны, подъ которыми изнывае
и изнывало человѣчество...“

Характеристикѣ покойнаго писателя посвящена въ *Вѣс
никѣ Европы* интересная замѣтка г. Пыпина, озаглавленн
Идеализмъ Салтыкова. Здѣсь весьма правильно опредѣляет
высокое общественное значеніе сатиры Щедрина въ извѣ
ныя эпохи русской жизни. Признавая въ Салтыковѣ
только великаго русскаго художника, но и виднаго истор
ческаго дѣятеля, г. Пыпинъ такъ характеризуетъ его ист
рическую миссію: „Готовилось и исполнилось великое пр
образованіе, измѣнившее видъ и внутренній складъ наше
общества,—и въ литературѣ явился суровый, неподкупн
наблюдатель, въ которомъ нашла своего выразителя лучш
сторона общественнаго мнѣнія: произведенія Салтыкова осв
щали совершавшіяся событія. За порывами къ прогрес
наступало обратное теченіе: заговорили и начали дѣйств
вать приверженцы стараго безправія; совершались дѣла л
цемѣрія, насилія, обскурантизма; печать бывала безсиль
сказать слово настоящей правды,—и это слово не однажд
говорила только сатира Салтыкова. Въ эти трудныя вр
мена,—и они были продолжительны,—сатира Салтыкова бы
„*голосомъ общественной совѣсти*“. Большой интересъ насто
щей замѣтки представляютъ также приведенные въ н
отрывки изъ письма Салтыкова къ автору, написаннаго ем
въ 1871 году, послѣ появленія *Исторіи одного города.* Здѣ
Салтыковъ касается ходячихъ обвиненій его въ смѣхѣ ра
смѣха, въ созданіи карикатуръ, нелюбви къ русскому н
роду и т. п. Письмо это проникнуто стремленіемъ *убѣди*
въ правильности отношенія своего къ русской дѣйствител
ности и къ задачамъ писателя; въ немъ нѣтъ и тѣни ли
наго раздраженія, личной обиды на безсмысленныя нападк
„Если бъ мнѣ было доказано,—пишетъ Салтыковъ г. П
пину,—что я предаю осмѣянію явленія почтенныя или н
стоющія вниманія, я, навѣрное, прекратилъ бы дѣятельнос
столь идіотскую... Я, благодаря моему Создателю, могу к
ждое мое сочиненіе объяснить, противъ чего они напр
влены, и доказать, что они именно направлены противъ тѣх
проявленій произвола и дикости, которыя каждому честно

человѣку претятъ... Изображая жизнь, находящуюся подъ игомъ безумія, я разсчитывалъ на возбужденіе въ читателѣ горячаго чувства, а отнюдь не веселонравія. Достигъ ли я этого результата, это вопросъ иной".

Нельзя вполнѣ согласиться со взглядомъ г. Пыпина, будто Салтыковъ никогда не былъ человѣкомъ какого-либо опредѣленнаго „направленія или партіи". „Партій", въ западно-европейскомъ значеніи слова, у насъ не существуетъ. Но въ томъ смыслѣ, въ какомъ у насъ обыкновенно употребляется этотъ терминъ, т.-е. въ смыслѣ литературнаго направленія, въ смыслѣ опредѣленнаго вліянія на гражданъ путемъ печатнаго слова,—дѣятельность Щедрина должна быть отнесена къ извѣстному ярко-очерченному направленію. Кромѣ общихъ широкихъ формулъ добра, справедливости и просвѣщенія, проникающихъ все творчество писателя, направленіе его опредѣляется непосредственнымъ отношеніемъ къ живой дѣйствительности, такимъ или инымъ пониманіемъ теченій общественной мысли, степенью воспріимчивости къ тѣмъ или инымъ явленіямъ даннаго момента. Произведенія Щедрина бо́льшею частью стояли въ тѣсной связи съ текущею дѣйствительностью (въ вышеупомянутомъ письмѣ покойнаго къ г. Пыпину Щедринъ энергично протестуетъ, наприм., противъ взгляда даже на *Исторію одного города*, какъ на *историческую* сатиру); преимущественное вниманіе къ извѣстнымъ сторонамъ ея, самый выборъ темъ указывали на весьма опредѣленное направленіе думъ писателя; показывали, въ чемъ видѣлъ онъ главное зло русской жизни; на что, прежде всего, хотѣлъ направить вниманіе своихъ читателей. Наконецъ, если при оцѣнкѣ творчества Щедрина въ его цѣломъ еще возможно по данному вопросу разногласіе мнѣній, то журнальная дѣятельность покойнаго писателя не оставляетъ сомнѣнія въ принадлежности Салтыкова къ опредѣленному, ярко и сильно выразившемуся теченію общественной мысли.

Въ другой статьѣ—*Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ*, написанной г. Арсеньевымъ, покойный писатель характеризуется также не только какъ художникъ, но и какъ замѣчательный публицистъ, владѣвшій даромъ прямо и непосредственно дѣйствовать на умы, возставать противъ застоя и регресса, способствовать торжеству „свободы, развитія и справедливости" (какъ формулировалъ самъ Щедринъ въ *Мелочахъ*

жизни общій смыслъ своихъ стремленій). Здѣсь нѣсколько полнѣе и яснѣе, нежели у г. Пыпина, объясняются генетическія условія развитія идеализма Салтыкова и принятаго имъ сразу анти-рабскаго направленія мыслей и чувствъ. Въ психологическомъ отношеніи особенно вѣрнымъ представляется указаніе г. Арсеньева на одну изъ авто-біографическихъ страницъ *Пошехонской старины*, гдѣ находится замѣчательный разсказъ о вліяніи на чуткую душу ребенка-Салтыкова перваго знакомства съ Евангеліемъ, которое сразу заставило его почувствовать громадную несправедливость существовавшаго строя человѣческихъ отношеній и признать человѣческое достоинство „униженныхъ и оскорбленныхъ" рабовъ. Намъ кажется только, что напрасно, въ виду свѣжей могилы, снизошелъ г. Арсеньевъ до подробнаго разсмотрѣнія и опроверженія навѣтовъ двухъ реакціонныхъ органовъ печати, поспѣшившихъ сейчасъ же затянуть свою старую пѣсню о „вредности" писаній Салтыкова. Змѣямъ естественно шипѣть, сорокамъ—трещать, и, наоборотъ, было бы весьма странно, если бы онѣ вдругъ заговорили по-человѣчески. Напрасно также печалиться, что къ огромной любви, какую стяжалъ Салтыковъ отъ Россіи, примѣшалась капля ненависти, которая „оказалась сильнѣе смерти". Есть ненависть почетная, которая составляетъ тоже невидимый вѣнокъ въ числѣ сотенъ вѣнковъ, присланныхъ со всѣхъ концовъ Россіи на могилу писателя „защитника правды".

Михаилъ Евграфовичъ Салтыковъ [1]).

Великій писатель, смерть котораго такъ тяжело отозвалась въ тысячахъ сердецъ, соединялъ въ своемъ лицѣ, съ удивительною полнотою, два типа, бо́льшею частью исключающіе другъ-друга: онъ былъ столько же художникомъ, сколько и публицистомъ. Его влекла къ литературѣ способность создавать образы, воспроизводить жизнь—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, потребность прямо и непосредственно дѣйствовать на умы, возставать противъ застоя и регресса, способствовать торжеству „свободы, развитія и справедливости" (этими тремя словами онъ самъ формулировалъ, въ *Мелочахъ жизни*, общій смыслъ своихъ стремленій). Конечно, не онъ одинъ видѣлъ въ искусствѣ нѣчто большее, чѣмъ совокупность „сладкихъ звуковъ"; но немного можно насчитать писателей-художниковъ, въ дѣятельности которыхъ игралъ бы такую важную роль элементъ борьбы, всегда вѣрной своимъ цѣлямъ, всегда новой въ своихъ средствахъ. Эта борьба втягивала въ себя Салтыкова, овладѣвала имъ все больше и больше—но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и онъ владѣлъ ею, сохраняя въ самый ея разгаръ всѣ свойства истиннаго художника. Житейская волна не тянула его внизъ, не разбивала его о подводные камни; она несла его на себѣ, высоко поднимая его дарованіе. Боевымъ характеромъ, напримѣръ, проникнутъ насквозь *Столпъ* Салтыкова—но это не мѣшаетъ герою разсказа, Дерунову, быть живымъ лицомъ, достойнымъ стать рядомъ съ Фамусовымъ и Чичиковымъ, съ главными представителями „темнаго царства". Слово, въ рукахъ Салтыкова, было то мечомъ, наносившимъ тяжелые удары, то рѣзцомъ, творившимъ дивныя произведенія—

---

[1]) „Вѣстн. Европы" 1889 г., № 6. (См. выпускъ IV, стран. 88).

или и тѣмъ и другимъ въ одно и то же время. Въ этом заключается, быть-можетъ, разгадка страстной любви Са тыкова къ литературѣ—любви, устоявшей противъ всево можныхъ испытаній и угасшей только съ самою жизны Дѣятельность Салтыкова начиналась въ то время, когд наша литература впервые стала истинно-просвѣтительно силой. Молодая и полная вѣры—„вѣры въ чудеса", т.- въ возможность быстраго и всесторонняго обновленія,- литература сороковыхъ годовъ „создала человѣчныя пред нія, честную брезгливость; несмотря на свою изолирова ность, она дѣйствовала на большинство тогдашней инте лигенціи, въ молодыхъ отпрыскахъ которой уже можно был подмѣтить нѣкоторыя несомнѣнныя пробужденія, замѣча тельныя по своей мучительной искренности". Къ числ такихъ молодыхъ отпрысковъ принадлежалъ тогда и Салты ковъ—и впечатлѣнія молодости легли въ основаніе культа посвященнаго имъ литературѣ. Шли годы, общественна жизнь становилась разнообразнѣе и шире—но ничего из выдвинутаго ею не могло затмить собою перваго свѣта, воз сіявшаго для юноши. Въ литературу вторглась „улица", е наводнили „пустяки"—но за нею, и только за нею, все-так осталась привилегія „гласить во всѣ концы", „глаголом жечь сердца людей". Этого было довольно, чтобы сохранит за нею любовь Салтыкова. Онъ былъ вѣренъ литератур до конца, до конца терпѣлъ изъ-за нея и вмѣстѣ съ не до конца находилъ въ ней утѣшеніе и силу. Въ противо положность другимъ крупнымъ русскимъ писателямъ, пере шедшимъ за рубежъ зрѣлаго возраста, онъ продолжал работать, пока рука могла держать перо—работать непре рывно, неустанно, среди самыхъ тяжелыхъ физических мученій. Знавшимъ Салтыкова было извѣстно, что жизн его давно уже виситъ на волоскѣ, съ трудомъ поддержи ваемая всѣмъ запасомъ средствъ, какимъ располагает медицина—и тѣмъ поразительнѣе было видѣть, какъ быстр и успѣшно воздвигается зданіе *Пошехонской старины*, ни в чемъ не уступающее лучшимъ изъ его прежнихъ построекъ Это явленіе единственное въ своемъ родѣ, объяснимо только тѣмъ, что для Салтыкова жить—значило писать т.-е. воплощать въ художественномъ словѣ все созданно фантазіей, все выработанное мыслью, все выстраданно сердцемъ.

Нормальна ли, однако, та комбинація разнородныхъ качествъ, блестящій примѣръ которой мы видимъ въ Салтыковѣ? Не бо́льшихъ ли результатовъ, не большей ли высоты достигъ бы Салтыковъ, если бы сумѣлъ или захотѣлъ быть *только* художникомъ и притомъ художникомъ нетенденціознымъ? Этотъ вопросъ ставился при жизни Салтыкова, ставится и послѣ его смерти. Его называютъ „крупнымъ художественнымъ талантомъ, загубленнымъ тенденціею"; высказывается сожалѣніе о томъ, что, начавъ съ живыхъ типовъ *Губернскихъ очерковъ*, онъ кончилъ „какими-то даже не всегда остроумными пошехонскими карикатурами". Подъ именемъ „пошехонскихъ карикатуръ" разумѣется здѣсь, конечно, не что иное, какъ *Пошехонская старина*—предсмертное произведеніе Салтыкова. Посмотримъ поближе, что́ оно знаменуетъ собою—упадокъ дарованія или одну изъ высшихъ точекъ его развитія? Возьмемъ самыя крупныя фигуры *Губернскихъ очерковъ*—Порфирія Петровича, Перегоренскаго, Марью Кузьмовну, „озорника", „надорваннаго"; есть ли между ними хоть одна, которая могла бы быть поставлена на ряду съ матерью и отцомъ Никанора Затрапезнаго, съ Аннушкой, съ Сатиромъ-скитальцемъ, съ „образцовымъ хозяиномъ" Арсеніемъ Потапычемъ? *Губернскіе очерки* бросаютъ яркій свѣтъ на дореформенную провинцію, на всемогущій нѣкогда міръ мелкаго и средняго чиновничества; они служатъ драгоцѣннымъ дополненіемъ къ „Ревизору" и „Мертвымъ душамъ",—но они не касаются послѣднихъ основъ, на которыхъ держался общественный строй крѣпостной Россіи. *Пошехонская старина* доходитъ именно до этихъ основъ и даетъ первую *общую* ихъ картину. Она не освѣщена тѣмъ мягкимъ, нѣжнымъ свѣтомъ, въ которомъ часто является передъ нами давно прошедшее, полузабытое; не упадаетъ на нее, зато, и отблескъ грозовыхъ тучъ, подъ которыми рушатся отжившіе порядки. Салтыковъ не примиренъ съ минувшимъ, но и не озлобленъ противъ него; онъ одинаково избѣгаетъ и розовой и безусловно-черной краски. Ничего не идеализируя, онъ ничего не извращаетъ, и впечатлѣніе получается тѣмъ болѣе сильное, чѣмъ живѣе чувствуется его близость къ истинѣ. Меньше всего, при такомъ отношеніи къ дѣлу, можетъ итти рѣчь о карикарурѣ. Что́ карикатурнаго, напримѣръ, въ Аннѣ Павловнѣ Затрапезной? Она—вовсе не извергъ, вовсе не

Салтычиха XIX-го вѣка, даже не Арина Петровна Головлев
Она по-своему трудолюбива, энергична, предана интересам
семьи. Въ большинствѣ случаевъ она пользуется свое
властью довольно умѣренно; въ своемъ крѣпостном
крестьянинѣ она видитъ иногда не только рабочую сил
но и человѣка. Только этимъ можно объяснить ея прив
занность къ старостѣ Ѳедоту. Таковы, большею частью,
другія дѣйствующія лица; тетушка Анфиса Порфирьевна
ея мужъ составляютъ исключенія, которыя, несомнѣнн
бывали и въ дѣйствительности. Если на всѣхъ частях
картины лежитъ печать чего-то удручающаго, принижак
щаго и властителей и подвластныхъ, то въ этомъ заключает
лучшій залогъ ея правдивости. Ничѣмъ другимъ не мог
и быть деревенская крѣпостная Россія. Гдѣ-то на ея обши
ной поверхности могли разыгрываться идилліи въ родѣ то
которая нарисована въ „Снѣ Обломова"; но на одинъ бл
гословенный уголокъ, въ родѣ Обломовки, сколько прих
дилось Малиновцевъ и даже Овсецовыхъ! Да и въ само
Обломовкѣ не происходили ли по временамъ сцены далек
не идиллическаго свойства?.. Крѣпостная эпоха еще н
настолько канула въ вѣчность, чтобы иллюзіи на ея счет
могли проходить безслѣдно и безвредно; громадная заслу
Пошехонской старины заключается именно въ томъ, что он
идетъ въ разрѣзъ съ фальшивою идеализаціей прошедшаг

Въ психическій міръ, созданный рабовладѣніемъ и ра
ствомъ, никто, кажется, не проникалъ такъ глубоко, как
авторъ *Пошехонской старины*. Никто не изображалъ съ тако
яркостью безпредѣльную вѣру въ несокрушимость крѣпост
ного права—вѣру, дожившую во многихъ помѣщичьих
сердцахъ чуть не до самаго 19-го февраля 1861 г. Оттѣнков
разновидностей этой вѣры было не мало; въ предводител
Струнниковѣ она выражалась не такъ, какъ въ „образцовом
хозяинѣ" Пустотѣловѣ. Струнниковъ, просто, не въ силах
себѣ представить, чтобы „все сіе" могло совершиться. Апа
тичный и вялый, онъ думаетъ, что неподвижность—законт
вселенной, по крайней мѣрѣ, *русской* вселенной. „Всегда был
рабы, и всегда будутъ"—вотъ его profession de foi, дополняема
расчетомъ на то, что „у насъ государство основательное
настоящее", въ которомъ о свободѣ крестьянъ даже и говорит
не полагается. У „образцоваго хозяина" вѣра столь же тверда
но корни ея отчасти другіе. Струнниковъ не допускает

мысли, чтобы могъ настать конецъ для его праздности гарантированной закономъ; Пустотѣловъ не можетъ вообразить себя иначе, какъ центромъ дѣятельности, заключающейся въ понуканіи другихъ, въ поощреніи—ударами нагайки—чужой работы. Струнниковъ и въ тѣ нетребовательныя времена считался недалекимъ; Пустотѣловъ слылъ умникомъ,—но на умниковъ, по справедливому замѣчанію Салтыкова, въ подобныхъ случаяхъ затменіе находитъ даже легче, чѣмъ на самыхъ простодушныхъ людей... Еще болѣе разнообразны типы, взятые Салтыковымъ изъ крѣпостной массы. Смиреніе, напримѣръ, по необходимости было тогда качествомъ весьма распространеннымъ: но пассивное, тупое смиреніе Конона не походитъ ни на мечтательное смиреніе Сатира-скитальца, стоящаго на рубежѣ между юродивымъ и раскольникомъ-протестантомъ, ни на воинствующее смиреніе Аннушки, не даромъ возбуждающее подозрѣнія Анны Павловны Затрапезной. Въ лицѣ Аннушки возстаетъ передъ нами цѣлая категорія рабовъ, до сихъ поръ едва затронутая нашею литературой—рабовъ *по убѣжденію*, мирившихся съ рабствомъ, но отнюдь не съ рабовладѣльцами. Это—не патріархальные слуги, беззавѣтно преданные своему господину; это покорные страстотерпцы, утѣшающіеся мыслью, что „рабство—временное испытаніе, предоставленное избранникамъ, которыхъ за это ждетъ вѣчное блаженство въ будущемъ". Отсюда только одинъ шагъ до размышленій о томъ, что же ожидаетъ, въ этомъ будущемъ, господъ—виновниковъ рабскихъ страданій?... И по замыслу и по исполненію Аннушка—одна изъ самыхъ выдающихся фигуръ *Пошехонской старины*. Она остается вѣрною сама себѣ до самой смерти. „Славу-Богу,—говоритъ она умирая,—не оставилъ меня Царь Небесный своею милостью! Родилась рабой, жизнь прожила рабой у господъ, а теперь, ежели сподобитъ Всевышній Батюшка умереть, навѣки вѣчные останусь... Божьей рабой". Иначе разстается съ жизнью Сатиръ-скиталецъ. Завѣтная его мечта—сложить съ себя узы рабства еще на землѣ, хоть на самое короткое время; онъ надѣется поступить въ монастырь, гдѣ съ него снимутъ „рабскій образъ" и дадутъ ему возможность „явиться на высшій судъ въ ангельскомъ чинѣ". Надеждѣ его не суждено осуществиться: онъ заболѣваетъ, жизнь его быстро приближается къ концу.

„Однажды привидѣлся ему сонъ. Стоитъ, будто, онъ въ ангельск образѣ, окутанный свѣтлымъ облакомъ; въ ушахъ раздается сладкоглас ангельское славословіе, а передъ глазами присносущій свѣтъ Христовъ ритъ... Всѣ земныя болѣсти съ него какъ рукой сняло: кашель уле грудь дышитъ легко; все существо устремляется ввысь и ввы Инокъ Серапіонъ!—слышится ему голосъ, исходящій изъ сіяющей глуби Такъ, во снѣ, и предсталъ онъ въ ангельскомъ чинѣ передъ вышній с Божій“.

Для Сатира, какъ и для Аннушки, смерть не предс вляетъ ничего страшнаго; наоборотъ, она является для ни избавленіемъ отъ бѣдъ, освобожденіемъ отъ рабства. Та значеніе она имѣла тогда для милліоновъ людей—и выражено съ удивительною силой въ другомъ мѣстѣ *По хонской старины*, на ряду съ которымъ можно постави только „Тишину“ Некрасова („Храмъ воздыханій, хра печали, убогій храмъ земли твоей: тяжеле стоновъ не сл хали ни римскій Петръ ни Колизей! Сюда народъ, тоб любимый, своей тоски неодолимой святое бремя приносилъ и облегченный уходилъ!“).

„Пускай вериги рабства,—восклицаетъ Салтыковъ, изображая прост теплую вѣру простого человѣка,—пускай вериги рабства съ каждымъ сомъ все глубже и глубже впиваются въ его изможденное тѣло—онъ ритъ, что злосчастіе его не безсрочно, и что наступитъ минута, ко правда осіяетъ его, наравнѣ съ другими алчущими и жаждущими. И в его будетъ жить до тѣхъ поръ, пока въ глазахъ не изсякнетъ источн слезъ и не замретъ въ груди послѣдній вздохъ. Да! колдовство рушит цѣпи рабства падутъ, явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма! Еж не жизнь, то смерть совершитъ это чудо. Недаромъ, у подножія хра въ которомъ онъ молится, находится сельское кладбище, гдѣ слож кости его отцы. И они молились тою же безсловною молитвой, и они рили въ то же чудо. И чудо совершилось: пришла смерть и возвѣст имъ свободу. Въ свою очередь, она придетъ и къ нему, вѣрующему с вѣровавшихъ отцовъ, и, свободному, дастъ крылья, чтобы летѣть въ ство свободы, навстрѣчу свободнымъ отцамъ“...

Когда Салтыковъ писалъ это чудное „стихотвореніе прозѣ“, смерть носилась уже вокругъ него, онъ чувствова ея близость; не ожидалъ ли и онъ отъ нея, и только нея, свободы и покоя?..

Помимо своего общественнаго и художественнаго значен *Пошехонская старина* драгоцѣнна тѣмъ, что даетъ возмо ность заглянуть въ исторію дѣтства Салтыкова, т.-е. имен той поры его жизни, которая до тѣхъ поръ была вс менѣе извѣстна. Мы знали, какія сѣмена запали всего глуб въ его молодую душу; теперь мы узнаемъ, что приготови

для нихъ благодарную почву [1]). Предоставленный самому себѣ ребенокъ, въ счастливый для него часъ, отыскалъ между учебниками „Чтеніе изъ четырехъ евангелистовъ". О Евангеліи онъ слышалъ прежде только какъ о принадлежности богослуженія, какъ о церковнослужебномъ моментѣ. Ему самому, какъ и всѣмъ его окружавшимъ, внутреннее содержаніе евангельскаго ученія оставалось совершенно закрытымъ; религіозность его была чисто-внѣшняя, заученная, не усвоенная сердцемъ. Тѣмъ сильнѣе подѣйствовали на него евангельскія сказанія, когда онъ приступилъ къ чтенію ихъ свободно, по доброй волѣ, безъ всякаго посторонняго руководства. Оно произвело въ ребенкѣ полный жизненный переворотъ.

„Я не говорю,—читаемъ мы въ *Пошехонской старинѣ*,—ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тѣхъ совсѣмъ новыхъ образахъ, которые вереницами проходили передъ моимъ умственнымъ взоромъ; все это было въ порядкѣ вещей, но въ то же время играло второстепенную роль. Главное, что́ я почерпнулъ изъ чтенія Евангелія, заключалось въ томъ, что оно посѣяло въ моемъ сердцѣ зачатки общечеловѣческой совѣсти и вызвало изъ нѣдръ моего существа нѣчто устойчивое, *свое*, благодаря которому господствующій жизненный укладъ уже не такъ легко порабощалъ меня. Я вышелъ изъ состоянія прозябанія и началъ сознавать себя человѣкомъ. Мало того: право на это сознаніе я переносилъ и на другихъ. Доселѣ я ничего не зналъ ни объ алчущихъ, ни о жаждущихъ и обремененныхъ, а видѣлъ только людскія особи, сложившіяся подъ вліяніемъ несокрушимаго порядка вещей; теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осіянные свѣтомъ, и громко вопіяли противъ прирожденной несправедливости, которая ничего не дала имъ, кромѣ оковъ. То *свое*, которое внезапно заговорило во мнѣ, напоминало мнѣ, что и *другіе* обладаютъ такимъ же равносильнымъ *своимъ*. И возбужденная мысль невольно переносилась къ конкретной дѣйствительности, въ дѣвичью, въ застольную, гдѣ задыхались десятки поруганныхъ и замученныхъ человѣческихъ существъ... Въ этомъ признаніи человѣческаго образа тамъ, гдѣ, по силѣ общеустановившагося убѣжденія, существовалъ только поруганный образъ раба, состоялъ главный и существенный результатъ, вынесенный мною изъ попытокъ самообученія.

Эта страница объясняетъ многое въ дѣятельности Салтыкова. Она указываетъ на то, какъ глубоко коренится его

---

[1]) Мы не упускаемъ изъ виду, что Салтыковъ просилъ не смѣшивать его личность съ личностью Никанора Затрапезнаго, отъ имени котораго ведется разсказъ; но нѣкоторую примѣсь автобіографическаго элемента самъ авторъ *Пошехонской старины* не отрицаетъ—и ее позволительно находить больше всего въ лирическихъ порывахъ, прерывающихъ разсказъ. *Такъ* говорить можно только о томъ, что перечувствовано и пережито.

сочувствіе къ „униженнымъ и оскорбленнымъ“; она помо
гаетъ понять, почему, негодуя противъ „улицы“ и „толпы“
Салтыковъ всегда стоялъ на сторонѣ „человѣка, питающа
гося лебедою“. И прежде нужно было быть намѣренно слѣ
пымъ, чтобы не видѣть, за отрицаніемъ и горькимъ смѣхомъ
положительныхъ идеаловъ Салтыкова; теперь они становятс
еще яснѣе, потому что выступаетъ на видъ первый, ранні
фазисъ ихъ развитія. У Салтыкова, какъ у Некрасова, про
тестъ противъ „крѣпостныхъ цѣпей“, воспитанный впеча
тлѣніями дѣтства, долженъ былъ обратиться, со временемъ
въ протестъ противъ всякихъ „иныхъ“ цѣпей, „придуман
ныхъ взамѣнъ крѣпостныхъ“; заступничество за раб
должно было перейти въ заступничество за гражданина
человѣка.

Къ числу причинъ, *загубившихъ* талантъ Салтыкова, кон
сервативные „цѣнители и судьи“ относятъ, кромѣ тенденціи
еще исканіе „дешевой популярности“. Насъ хотятъ увѣрить
что „Щедринъ эксплуатировалъ въ самыхъ широкихъ раз
мѣрахъ общечеловѣческую слабость, всего болѣе присущу
намъ, русскимъ, и состоящую въ стремленіи посмѣяться
надъ начальствомъ. Въ любой школѣ всегда найдется уче
никъ, пользующійся большою популярностью среди своихъ
товарищей, благодаря тому, что передразниваетъ своихъ
наставниковъ и рисуетъ на нихъ смѣшныя карикатуры
Та же самая школьническая наклонность проявляется и у
взрослыхъ людей, которые тоже не прочь потѣшиться *над*
всѣмъ, что повыше ихъ. Щедринъ понялъ все, что можно был
извлечь изъ этой наклонности: онъ сдѣлалъ шагъ дальше
и употребилъ все свое блестящее дарованіе на то, чтобы
издѣваться не надъ какимъ-нибудь отдѣльнымъ начальни
комъ, а надъ правительственною властью вообще. Онъ не
ошибся въ расчетахъ: онъ въ одно и то же время прослыл
и геніальнымъ сатирикомъ и столпомъ либерализма... Если
резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ то положеніе Россіи
которое изображается на всякіе лады въ многотомныхъ сати
рахъ Щедрина, то оно представится намъ въ слѣдующемъ
видѣ: въ Россіи нѣтъ ни одного представителя администра
тивной власти, отъ министра до послѣдняго городового
включительно, который не былъ бы безчеловѣчнымъ извер
гомъ или круглымъ идіотомъ; населеніе Россіи состоитъ изъ
самыхъ мирныхъ, кроткихъ, наивныхъ обывателей, которы

терпятъ невѣроятныя мученія, истязанія и преслѣдованія со стороны вышеописанныхъ представителей администраціи; однимъ только негодяямъ, пошлякамъ и мошенникамъ счастливо живется въ Россіи. Эти три совершенно фальшивыя, но въ высшей степени благодарныя темы послужили основаніемъ для безконечныхъ варіацій. Щедринъ перетасовывалъ и пережевывалъ ихъ на всевозможныя манеры, такъ что подъ-конецъ многимъ даже изъ своихъ поклонниковъ оскомину набилъ. Дальше этого онъ не шелъ, потому что на этомъ пути дальше итти некуда, а всякій другой путь для своего таланта онъ самовольно (? добровольно?) закрылъ, въ угоду все той же модѣ и тенденціи. Отъ него требовали все новыхъ и новыхъ, все болѣе и болѣе пикантныхъ карикатуръ, и онъ подъ-конецъ уже ничѣмъ, кромѣ карикатуръ, успѣха добыть себѣ не могъ".

Мы привели эту длинную выписку, потому что она воспроизводитъ довольно полно и довольно рельефно цѣлую группу ходячихъ обвиненій противъ Салтыкова. До крайности слабою, просто жалкою представляется здѣсь уже самая постановка вопроса. Что сказать, въ самомъ дѣлѣ, о попыткѣ объяснить всю многолѣтнюю дѣятельность выдающагося писателя (въ крупномъ талантѣ не отказываютъ Салтыкову и самые ожесточенные его противники) *расчетомъ*, однимъ расчетомъ? Расчетъ, т.-е. холодное, спокойное взвѣшиваніе шансовъ успѣха, возможенъ, какъ нѣчто обычное и постоянное, развѣ со стороны писателей-ремесленниковъ, со стороны людей, не имѣющихъ ни призванія ни любви къ литературѣ. Только для нихъ онъ можетъ служить единственнымъ или главнымъ стимуломъ дѣятельности. Даровитый писатель всегда зависитъ, болѣе или менѣе, отъ своего дарованія; онъ идетъ туда, куда оно его влечетъ, чувствуя или сознавая, что насиловать талантъ—значитъ подрывать самыя его основы. Еще менѣе мыслимъ расчетъ тогда, когда съ большимъ художественнымъ дарованіемъ соединяется, какъ въ Салтыковѣ, глубина и стойкость мысли. Говорить *иначе* Салтыковъ не могъ въ силу особенностей своей натуры; говорить *не то* онъ не могъ въ силу своихъ убѣжденій. Видѣть въ немъ исключительно или преимущественно „потѣшника", „забавника",—значитъ выдавать самому себѣ самое безотрадное testimonium paupertatis. Есть у него, конечно, сцены, даже цѣлые очерки, прямо бьющіе на то, чтобы раз-

смѣшить читателя,—но ихъ сравнительно немного, и они составляютъ тотъ балластъ, безъ котораго не обходятся произведенія самыхъ крупныхъ писателей. Наклонность посмѣяться надъ всѣмъ, что „повыше", не могла играть большой роли въ творчествѣ Салтыкова уже потому, что онъ самъ стоялъ очень высоко; чтобы видѣть тѣхъ, противъ кого направлялась его сатира, ему нужно было смотрѣть не вверхъ, а внизъ, иногда очень далеко внизъ. Сомнѣваться въ этомъ могутъ развѣ только тѣ, для которыхъ Салтыковъ—дѣйствительный статскій совѣтникъ, позволявшій себѣ, въ явное нарушеніе служебной іерархіи, нападать на тайныхъ и даже (horribile dictu!) на дѣйствительныхъ тайныхъ совѣтниковъ.

Тою же безнадежною узкостью мысли запечатлѣно и усиліе реакціонной газеты свести все сатирическое творчество Салтыкова къ тремъ темамъ, неподвижнымъ и неизмѣннымъ. Отличительною чертой щедринской сатиры служитъ, наоборотъ, безконечное разнообразіе содержанія и формы. Въ продолженіе цѣлой трети вѣка она слѣдитъ за всѣми фазисами русской общественной жизни, подмѣчаетъ едва нарождающіяся явленія, предугадываетъ ихъ иногда раньше, чѣмъ они успѣли обрисоваться, захватываетъ всю область, доступную для лучей сатирическаго свѣта. Къ управляемымъ она такъ же безпощадна, какъ и къ управляющимъ; она нимало не идеализируетъ *обывателя*, не выставляетъ его ни „кроткимъ" ни „наивнымъ", не щадитъ даже „Иванушекъ" и „головотяповъ", хотя и жалѣетъ о горькой ихъ судьбинѣ. Уже *Губернскіе очерки* выводятъ на сцену не только Фейеровъ, Желваковыхъ и Порфиріевъ Петровичей, но и Лузгиныхъ и Буеракиныхъ, Живновскихъ и Перегоренскихъ. Изъ среды „обывателей" взяты Головлевы и Затрапезные, Деруновы и Разуваевы, кузины Машеньки и Натали Неугодовы, Балалайкины и Тонкачевы, Дракины и Прокопы, редакторы „Помоевъ" и „Чего изволите?". Помпадурамъ и Ташкентцамъ, графамъ Твердоонто и Удавамъ нѣтъ причины жаловаться на исключительное вниманіе автора; ils sont en nombreuse compagnie, они составляютъ только одну изъ группъ въ пестрой толпѣ, нарисованной перомъ Салтыкова. Столь же невѣрно и то, что передъ лицомъ щедринской сатиры всякій представитель административной власти, безъ исключенія, оказывается либо „безчеловѣчнымъ извергомъ", либо „круг-

лымъ идіотомъ". Салтыковъ—слишкомъ художникъ, чтобы изображать однѣ тѣни, безъ всякихъ проблесковъ свѣта. Одна изъ самыхъ сильныхъ сторонъ его дарованія—это умѣнье отыскать человѣка—въ звѣрѣ, божественную искру—среди глубокаго мрака. Припомнимъ, что ему удалось возбудить состраданіе даже къ Аринѣ Петровнѣ Головлевой, даже къ самому Іудушкѣ. „Безчеловѣчнымъ извергомъ" нельзя назвать ни Фейера, искренно преданнаго своей Каролинхенъ, ни Разумова *(Больное мѣсто)*, для котораго выше всего любовь къ сыну, ни Удава, живо чувствующаго, на старости лѣтъ, потерю надежды на „семейныя утѣшенія", ни даже „Ташкентцевъ", у которыхъ „послѣ угара болѣзненно бьется и сжимается сердце". Къ „круглымъ идіотамъ" нельзя причислить ни Быстрицына, ни Твердоонто, ни даже Митеньку и Ѳеденьку: вся бѣда въ томъ, что они попали не въ свои сани; что Быстрицынъ не остался при своихъ поросятахъ; Твердоонто—при своихъ лошадяхъ; Митенька и Ѳеденька—при тротуарахъ Невскаго проспекта... Нѣсколько лучше формулирована третья тема, приписываемая Салтыкову: „Однимъ только пошлякамъ, негодяямъ и мошенникамъ счастливо живется въ Россіи". Да, „Столпы" и „кандидаты въ столпы", Ѳеденьки Неугодовы и Филоѳеи Павлычи, Граціановы и Ѳедоты, безспорно, устраиваютъ свою жизнь лучше, чѣмъ Мосеичи (*Сонъ въ лѣтнюю ночь*); Анпетовы и Парначевы—чѣмъ „непочтительный Коронатъ", Чемезовскій баринъ или владѣлецъ Монрепо; но развѣ это не согласно съ истиной? Развѣ, напримѣръ, фактъ „засилія", взятаго кулаками, не признается самой реакціонной прессой (выводящей изъ него, конечно, совершенно невѣрныя заключенія)? Чтобы на Руси могли быть счастливы *одни только* негодяи, мошенники и пошляки, этого нельзя вывести изъ сочиненій Салтыкова; но если бы такова и была его мысль, это нисколько бы не уменьшило значенія его дѣятельности. Преувеличеніе—одно изъ законныхъ орудій сатиры, если въ основаніи его лежитъ крупная доля правды. Для того, кто живетъ не одними личными интересами, трудно чувствовать себя счастливымъ при видѣ успѣха, достающагося Деруновымъ и Удавамъ.

Провозгласивъ односторонность и однопредметность щедринской сатиры, публицисты Страстного бульвара идутъ еще дальше и признаютъ ее *вредною*. „Салтыковъ,—читаемъ мы

все въ той же газетной статьѣ,—издѣвался надъ правите
ственною властью въ то именно время, когда эта влас
боролась противъ самой гнусной, самой преступной крамол
которой онъ, такимъ образомъ, *сознательно* подавалъ св
руку. Онъ вооружался своимъ бичомъ не противъ цареубійц
а противъ вѣрныхъ царскихъ слугъ, которые пролива
свою кровь, защищая престолъ... Въ тяжелое смутное вре
конца семидесятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ сати
Щедрина были *такимъ же развращающимъ и разрушающи
орудіемъ* въ рукахъ нашихъ террористовъ, какъ и ихъ по
польные листки, заграничныя брошюры и *динамитныя бомб*
Салтыковъ *зналъ это* и не прекращалъ своихъ глумлен
надъ тѣми мѣрами, которыя правительству приходилось пр
нимать въ борьбѣ съ революціоннымъ терроромъ. *Террорист*
того времени дѣлились на нелегальныхъ и *легальныхъ* дѣ
телей; Щедринъ былъ, несомнѣнно, самымъ яркимъ и самы
даровитымъ представителемъ послѣдней категоріи, прине
шей Россіи гораздо болѣе нравственнаго вреда, чѣмъ не
вая. Не изъ сочиненій ли Щедрина всего болѣе выносил
то фальшивое убѣжденіе, что все кругомъ насъ скверн
гнило и глупо? Не сочиненіями ли Щедрина зачитывала
и зачитывается, къ сожалѣнію, значительная часть наше
молодежи? Не на Щедринѣ ли, поэтому, лежитъ тяжка
доля отвѣтственности за тѣхъ несчастныхъ юношей, котор
отданы были на съѣденіе революціоннымъ теоріямъ?"

Безусловно новымъ это обвиненіе назвать нельзя: и прежд
уже на разъ слышались голоса, объявлявшіе Салтыко
вреднымъ писателемъ. Никогда, однако, обвинители не дох
дили до такой степени ожесточенія и наглой откровенност
Зависитъ это, по всей вѣроятности, оттого, что при жизн
обвиняемаго прямое сопричисленіе его къ „террористам
было бы уже слишкомъ похоже на дѣяніе, не вполнѣ уважа
мое даже въ реакціонныхъ сферахъ. Теперь Салтыко
огражденъ, лично, отъ всякой опасности; но нельзя сказа
того же самаго о его сочиненіяхъ. Логическій выводъ из
обвинительнаго акта, приведеннаго нами выше,—это запр
щеніе или, по меньшей мѣрѣ, сильное „сокращеніе" щедри
ской сатиры. Его не высказываютъ обвинители, но онъ раз
мѣется самъ-собою. Нужно же сломить орудіе крамол
равное по своей разрушительной силѣ динамитнымъ бо
бамъ; нужно же охранить несчастныхъ юношей, которых

чтеніе Салтыкова отдаетъ во власть революціонной теоріи. Покойный писатель предвидѣлъ возможность подобныхъ умозаключеній—и именно потому возмущался всею силой души противъ ярлыка, который старались къ нему пришпилить, какъ къ склянкѣ съ ядомъ. Приписывая свой неизлѣчимый недугъ душевнымъ мукамъ, неразрывно связаннымъ съ „писательствомъ", онъ восклицалъ (въ *Мелочахъ жизни*): „Чего со мной ни дѣлали! И вырѣзывали, и урѣзывали, и перетолковывали, и всенародно объявляли, что я—вредный, вредный, вредный!" Это слово, очевидно, не давало ему покою; онъ признавалъ его незаслуженнымъ, глубоко несправедливымъ. И въ самомъ дѣлѣ, чего требовали отъ Салтыкова его принципіальные враги, не унявшіеся и послѣ его смерти? Активной борьбы противъ революціонныхъ и анархическихъ стремленій? Салтыковъ объяснилъ уже давно, почему она была для него невозможна (см. *Дневникъ провинціала*),—и это объясненіе показываетъ съ полною очевидностью, что молчаніе, въ данномъ случаѣ, не было равносильно согласію.—Примирительнаго слова, которое могло бы послужить противовѣсомъ ненависти и отрицанію? Такимъ словомъ, сказаннымъ съ поразительною силой, было *Больное мѣсто*. Не вина Салтыкова, если протестъ противъ девиза: „со всѣмъ порвать" прозвучалъ безслѣдно.—Воздержанія отъ глумленія надъ людьми, жертвовавшими жизнью за царя, и надъ мѣрами, необходимыми для безопасности государства? Пускай намъ покажутъ, гдѣ и когда оно проявляется у Салтыкова.—Прекращенія нападеній на слабыя стороны существующаго общественнаго строя? А если Салтыковъ былъ убѣжденъ, что здѣсь-то именно и коренилась опасность, грозившая государству? Есть два способа противодѣйствія болѣзни: пресѣченіе каждаго отдѣльнаго ея симптома—и изслѣдованіе ея общихъ, основныхъ причинъ, безъ устраненія которыхъ невозможно полное выздоровленіе. Салтыковъ до конца держался послѣдняго способа, и это тѣмъ менѣе можетъ быть поставлено ему въ вину, что онъ продолжалъ, такимъ образомъ, дѣло всей своей жизни... Шумливая выходка „Московскихъ Вѣдомостей" является, въ сущности, не чѣмъ другимъ, какъ новою варіаціей на старую тему о „надпольной" и „подпольной" печати. Пущенная въ ходъ еще покойнымъ „Берегомъ", подхваченная Катковымъ, она служила знаменемъ въ борьбѣ противъ „либера-

ловъ", противъ свободнаго слова, противъ реформъ прошлаго царствованія; но теперь знамя обратилось въ изорванную тряпку, которую пора было бы запрятать куда-нибудь подальше. Московская газета вздумала, было, подновить ее небывалымъ сочетаніемъ понятій *(легальный террористъ)*, но этимъ только еще больше обнаружила ея абсолютную негодность. За словами, которыя, по извѣстному французскому выраженію, hurlent de se voir accouplés ensemble, ясно виднѣется нелѣпость мысли, невозможность предполагаемаго факта. Союзъ Салтыкова (союзъ, замѣтьте, *сознательный*) съ анархическими элементами—такой же миѳъ (тенденціозный, худо придуманный миѳъ), какъ и „легальный (!) революціонный терроръ" въ самодержавномъ государствѣ.

Въ одномъ достоинствѣ нельзя отказать печальной статьѣ, о которой мы до сихъ поръ говорили: она написана, съ внѣшней стороны, сдержанно и прилично. Къ обвиненію въ государственномъ преступленіи она не присоединяетъ обвиненія въ цинизмѣ. Незавидную и неновую роль обвинителя по этому послѣднему пункту принялъ на себя другой, петербургскій органъ консервативной печати. По словамъ этого органа, „Салтыковъ первый сталъ употреблять въ печати нескромности, передъ которыми Гоголь отзывался наивностью, а Писемскій—стыдливостью. Успѣхъ этихъ нескромностей, кажется, сильно повредилъ автору: *онъ весь сосредоточился на сильныхъ словечкахъ*, перетряхнулъ весь лексиконъ непечатной игры ума (!), и, за истощеніемъ матеріала, сталъ самъ изобрѣтать эти словечки, иногда столь же нелѣпыя, какъ дѣланное шутовство г. Лейкина. Вкуса у него не было, но было много своеобразнаго пессимизма à la Собакевичъ"... Довольно; продолжать выписку было бы излишне,—столь же излишне, какъ и возражать автору, въ другой статьѣ ставящему Писемскаго—выше Маркевича (!) и Мельникова—возлѣ Салтыкова. Мы хотѣли только показать, до какихъ геркулесовыхъ столповъ могло доходить, надъ незакрывшеюся еще могилой, злобное чувство противъ великаго сатирика. По степени озлобленія можно судить о мѣткости вызвавшихъ его ударовъ...

По отношенію къ Салтыкову не сбылись слова Некрасова о томъ, кто „проповѣдуетъ любовь враждебнымъ словомъ отрицанья" („и, только гробъ его увидя, какъ много сдѣлалъ онъ, поймутъ, и какъ любилъ онъ ненавидя"). Сал-

тыковъ въ гробу остался дорогъ только для тѣхъ, кто понималъ и цѣнилъ его при жизни; его противниковъ не обезоружила даже всеобщая примирительница — смерть. „Сильнѣе смерти“ оказалась, на этотъ разъ, не только любовь, но и ненависть. Мы вѣримъ, однако, что если не для насъ, то для нашихъ потомковъ настанетъ время безоблачной славы Салтыкова. Исчезнетъ злоба дня, тяготѣвшая надъ сатирикомъ, забудется все преходящее и случайное въ его произведеніяхъ, останутся лучшія его страницы и займутъ мѣсто между неумирающими памятниками русскаго искусства и русской мысли.

К. Арсеньевъ.

Идеализмъ Салтыкова [1]).

Историко-литературное воспоминаніе.

Въ первыя минуты великихъ утратъ является всегда усиленная потребность воспоминанія, желаніе еще разъ возсоздать передъ собою замѣчательную личность, которая такъ увлекала и поражала насъ своею дѣятельностью. Печать наполняется біографическими разсказами, анекдотическими чертами, рисующими личный характеръ, обзорами произведеній любимаго писателя, — и тѣмъ не менѣе, бываетъ иногда очень трудно, даже невозможно удовлетворить этому законному интересу. Біографія, вообще, не есть дѣло первой минуты послѣ того, какъ только-что завершилась жизнь великаго дѣятеля, особливо писателя и особливо — русскаго писателя. Біографія требуетъ простора, котораго не можетъ быть въ условіяхъ, еще не измѣнившихся съ той поры, когда писатель дѣйствовалъ, — не можетъ быть среди вражды, которая, начавшись съ его первыхъ опытовъ, не прекращалась до послѣднихъ дней его уже славной дѣятельности. Въ печати были приведены, и довольно извѣстны, главныя черты внѣшней біографіи Салтыкова; явились разсказы, изображавшіе его какъ человѣка или, по крайней мѣрѣ, старавшіеся дать нѣкоторыя выдающіяся черты его личности; но, безъ сомнѣнія, это только слабые очерки и личнаго характера и дѣятельности Салтыкова. Это былъ характеръ очень сложный, и требуется много объясненій, историческихъ и психологическихъ, чтобы стали понятны его особенности, — какъ потребуется много объясненій изъ нашей исторіи общественной, чтобы раскрылось все значеніе подъятаго имъ литературнаго подвига.

Салтыковъ потребуетъ изученія и, конечно, найдетъ его. Будущій біографъ соберетъ факты его внѣшней жизни, по-

---

[1]) „Вѣстникъ Европы“, 1889 г., № 6. (См. стран. 1.)

старается раскрыть психологическія основы его дарованія и пути его развитія, нарисуетъ обстановку, укажетъ источники его послѣдующей литературной дѣятельности и т. д. Это — дѣло близкаго или неблизкаго будущаго; но теперь еще многимъ очень памятна его дѣятельность, и онъ представляется еще какъ живой человѣкъ, и когда самое дѣло его завершено лишь незадолго до его кончины, насъ влечетъ другая задача: собрать свои впечатлѣнія о замѣчательномъ явленіи, совершавшемся передъ нами; выяснить себѣ, насколько возможно, его историческій и современный смыслъ, чтобы возсоздать передъ собою эту рѣдкую личность и должнымъ образомъ сознать значеніе его дѣла.

Литературная дѣятельность Салтыкова, постоянная, почти непрерывавшаяся, открылась въ 1856 года, но началась она гораздо раньше: первые разсказы явились въ 1847 и 1848 годахъ. Одинъ изъ нихъ *(Противорѣчія)* онъ самъ предалъ забвенію; другой *(Запутанное дѣло)* онъ послѣ повторилъ въ *Невинныхъ разсказахъ*. Но еще раньше, съ 1841—1842 года, когда Салтыковъ былъ еще на школьной скамьѣ лицея, печатались его стихотворенія въ „Библіотекѣ для чтенія“ и въ Плетневскомъ „Современникѣ“. Это были, конечно, вполнѣ юношескія стихотворенія, но они любопытны, какъ свидѣтельство того, какъ рано влекла его къ себѣ литература, интересы которой всегда для него были такъ дороги и мысль о которой не покидала его до послѣднихъ минутъ, пока онъ въ состояніи былъ держать въ рукахъ перо. Это было почти полъ-столѣтія любви къ родной литературѣ и неустаннаго труда на ея полѣ.

Что́ было результатомъ этого труда — очень извѣстно тому русскому читателю, въ существованіи котораго Салтыковъ сомнѣвался и который, однако, несомнѣнно, существуетъ. Слишкомъ извѣстно, какъ со второй половины 50-хъ годовъ и до первыхъ мѣсяцевъ нынѣшняго года, когда онъ, предчувствуя смерть, поставилъ слово „конецъ“ въ послѣдней главѣ *Пошехонской старины*,—извѣстно, какъ во все это время съ жаднымъ интересомъ читатель бросался въ журнальной книжкѣ на тѣ страницы, гдѣ былъ разсказъ Щедрина: этотъ разсказъ прочитывался прежде всего, переходилъ изъ рукъ въ руки, возбуждалъ оживленные толки. И дѣйствительно, чувствовалось всѣми, хотя далеко не всѣми сознавалось, что въ этихъ разсказахъ являлось передъ

читателемъ нѣчто до тѣхъ поръ небывалое, развертывал
цѣлая громадная картина русской жизни, отъ ея верхнихъ и
низменныхъ слоевъ, картина, исполненная великимъ тал
томъ, окрашенная гнѣвною сатирой, необычайнымъ ост
уміемъ и изрѣдка прерванная грустнымъ лирически
мотивомъ.

Почитатели Салтыкова, чтобы охарактеризировать
значеніе, называли знаменитыя имена античной и новѣ
шей сатиры — Аристофана и Ювенала, Рабле́, Свифта; а
сравненія могутъ указать развѣ только размѣры явленія,
и по нашему мнѣнію указываютъ ихъ безъ преувеличенія
но, какъ большинство подобныхъ сравненій, не даютъ бл
жайшаго указанія о характерѣ явленія. Слишкомъ различ
вѣка, общества, нравы, самое положеніе литературы. Н
сходны, наконецъ, и личныя настроенія. Сатира Салтыко
достопримѣчательна, прежде всего, своимъ неистощимы
богатствомъ, какъ неистощимо было богатство его всегда
ней обыкновенной рѣчи, исполненной своеобразнаго мѣтка
остроумія, оригинальнаго, такъ-сказать, неожиданнаго язы
Сатира Салтыкова, это—не рядъ нѣсколькихъ стихотворен
не одно, разъ созданное произведеніе; не сатира, пере
дящая въ чистую карикатуру и необузданный гротеск
это—рядъ картинъ, глубоко вѣрныхъ дѣйствительнос
обставленныхъ живыми типами, несомнѣнными черта
нравовъ; это—правдивыя бытовыя изображенія, котор
становятся сатирой только потому, что писатель умѣ
ярко выставить наружу скрывающіеся мотивы этой дѣйст
тельности и нравовъ, и въ этой наготѣ они отталкиваю
зрителя своимъ часто постыднымъ безобразіемъ. Личн
настроеніе Салтыкова не было однимъ порывомъ, послѣ к
тораго писатель чувствовалъ себя удовлетвореннымъ и
утомленнымъ, а затѣмъ иногда совсѣмъ забывалъ свое н
годованіе и свои укоры, если (какъ и это иной разъ бывал
не успокаивался на той же самой рутинѣ, какою жило обл
чаемое имъ прежде общество. Настроеніе, диктовавш
Салтыкову произведенія, длилось всю жизнь. Измѣняли
времена; въ русской жизни совершился переворотъ, см
шавшій прежнія отношенія, принесшій съ новыми учреж
ніями новые нравы,—Салтыковъ остается суровымъ набл
дателемъ, и если, несомнѣнно, всѣ его сочувствія были
сторонѣ новыхъ началъ, пробивавшихъ себѣ дорогу

нашу общественную жизнь, то еще съ бо́льшимъ негодованіемъ и отрицаніемъ относился онъ къ тѣмъ извращеніямъ, которыя не замедлили проникнуть и въ новую жизнь; къ тому хищничеству, которое едва ли не сильнѣе, чѣмъ прежде, вырастало на новой почвѣ; къ тому обскурантизму, который надѣялся своею интригой вернуть утраченное. Салтыковъ зорко слѣдилъ за совершавшимися событіями и за новыми нарождавшимися типами общественнаго и народнаго быта, и его разсказы, какъ уже было замѣчено его критиками, становятся цѣлою лѣтописью русской общественной жизни за послѣднія десятилѣтія. Какъ правдива была эта лѣтопись, видно изъ того, что слова Салтыкова безпрестанно вспоминались, что нарисованныя имъ лица стали нарицательными именами цѣлыхъ разрядовъ и типическихъ явленій нашего общества. Салтыковъ не увлекался, какъ значительная масса общества и литературы 50-хъ и 60-хъ годовъ, перспективами уже наступившаго, будто бы, прогресса и, напротивъ, въ разгарѣ оптимистическихъ ожиданій видѣлъ тревожные симптомы—и, къ сожалѣнію, не обманывался. Онъ усматривалъ, или чувствовалъ, возникавшій обманъ, и его картины не разъ были предвидѣніями.

Появленіе великихъ умовъ и талантовъ составляетъ загадку для общественной психологіи; но исторія указываетъ столько фактовъ, что съ возникающими историческими задачами совпадаетъ и появленіе людей, которые становятся ихъ исполнителями,—что давно уже составился фаталистическій взглядъ объ ихъ необходимо совмѣстномъ нарожденіи, создалось даже извѣстное „поклоненіе героямъ“, будто бы однимъ совершающимъ историческую работу человѣчества. Къ сожалѣнію, исторія разсказываетъ и другое: проходятъ цѣлые вѣка историческихъ ожиданій, вѣка народныхъ бѣдствій, ищущихъ исцѣленія, но герои и цѣлители не приходятъ. Но если, какъ мы сказали, бывало, что для историческихъ задачъ нарождаются и люди, ихъ совершающіе, то нѣчто подобное произошло въ нашей недавней исторіи. Готовилось и исполнилось великое преобразованіе, измѣнившее видъ и внутренній складъ нашего общества,—и въ литературѣ явился суровый, неподкупный наблюдатель, въ которомъ нашла своего выразителя лучшая сторона общественнаго мнѣнія: произведенія Салтыкова освѣщали совер-

шавшіяся событія. За порывами къ прогрессу наступало обратное теченіе,—заговорили и начали дѣйствовать приверженцы стараго безправія: совершались дѣла лицемѣрія, насилія, обскурантизма; печать бывала безсильна сказать слово настоящей правды,—и это слово не однажды говорила только сатира Салтыкова. Въ эти трудныя времена,—и они были продолжительны,—сатира Салтыкова была голосомъ общественной совѣсти. Этотъ голосъ часто старались заглушить, подрывая смыслъ этой сатиры, будто бы не имѣющей идеальнаго основанія и создающей карикатуру, смѣхъ для смѣха, отвергая ея художественныя достоинства, наконецъ, прямо обвиняя Салтыкова во враждѣ къ русскому обществу и народу. Салтыковъ не отвѣчалъ никогда на эти обвиненія. Лишь въ послѣдніе годы, когда долгая и тяжкая болѣзнь окончательно подтачивала его силы и заставляла ждать недалекаго конца, онъ съ горькимъ чувствомъ оглядывался на прошедшій трудъ: этотъ трудъ казался ему непонятымъ, потеряннымъ, напраснымъ, когда кругомъ твердили, что „онъ—вредный, вредный, вредный!“ и онъ чувствовалъ себя „оброшеннымъ“. Къ счастію, онъ не былъ „оброшенъ“—къ нему до послѣдняго времени доходили выраженія самыхъ искреннихъ сочувствій; но его горькія размышленія не были лишены основанія: и теперь, надъ свѣжею могилой, мы слышимъ грубыя ругательства или прилично изложенныя объясненія, что онъ былъ „вредный, вредный“...

Въ пору его свѣжей дѣятельности отвѣтомъ на обвиненія бывали только новыя произведенія, въ которыхъ все шире раздвигался грандіозный трудъ великаго писателя. Съ каждымъ новымъ произведеніемъ талантъ Салтыкова поражалъ новыми богатствами: часто, въ прежнее время, ему приходилось одѣвать свою мысль въ нѣсколько фантастическіе образы,—негодуя на условія, дѣлающія невозможною открытую свободную рѣчь, говорить, по его собственному выраженію, езоповскимъ, рабьимъ языкомъ; однажды онъ вполнѣ воспользовался архаическою формой Езоповой басни, въ своихъ „сказкахъ“, гдѣ съ удивительнымъ мастерствомъ рисовалъ своихъ зоологическихъ героевъ и въ ихъ приключеніяхъ давалъ печальные эпизоды изъ жизни человѣческаго общества; но затѣмъ онъ покидалъ и сказку и фантастическій шаржъ и давалъ простыя реальныя картины, удивлявшія глубокимъ знаніемъ жизни и не разъ напол-

нявшія читателя, среди смѣха, негодованіемъ и ужасомъ... Произведенія Салтыкова—неизмѣримо больше, чѣмъ кого-нибудь другого изъ писателей нашего времени—будутъ не только высокими памятниками художественнаго творчества, но и драгоцѣнными историческими свидѣтельствами о внутренней жизни нашего общества за цѣлый періодъ эпохи преобразованій и эпохи реакціи.

Но если, какъ мы сказали, Салтыковъ оставался, повидимому, равнодушнымъ къ враждебнымъ нападеніямъ, на самомъ дѣлѣ, онъ вовсе не былъ хладнокровенъ къ отзывамъ о своихъ произведеніяхъ: онъ не только интересовался ими, но волновался, когда въ этихъ отзывахъ была не голословная хвала или хула, а выдвигались критическія замѣчанія принципіальнаго свойства. Мы не сомнѣваемся, что въ основѣ этого волненія лежало не то узкое самолюбіе, которымъ слишкомъ часто отличается „раздражительное племя поэтовъ“,—Салтыковъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы не знать цѣны своихъ непріятелей,—но забота о цѣломъ смыслѣ своей дѣятельности: въ критикѣ отражались часто взгляды значительной части общества, и онъ тревожился вопросами: былъ ли онъ правильно понятъ, достигаютъ ли цѣли тѣ усилія, какія полагалъ онъ на свой трудъ? Это была законная тревога: съ ней связана была мысль о всей его дѣятельности.

Здѣсь не мѣсто и не время говорить подробно о томъ, какъ принимались произведенія Салтыкова въ разное время и въ разныхъ слояхъ нашего общества; но возвратимся еще къ обвиненіямъ. Въ общемъ тонѣ необычайнаго успѣха быстро созданной и оставшейся неколебимою славы слышались съ разныхъ сторонъ опроверженія или недоумѣнія. Не говоримъ о томъ, что люди закоренѣлой рутины, прототипы изображенныхъ имъ героевъ или ихъ прямые наслѣдники и преемники, должны быть ненавидѣть его; противъ него раздался однажды голосъ изъ молодого поколѣнія (это былъ голосъ Писарева), обвинявшій его, что онъ ищетъ смѣха для смѣха, и другіе отзывы, находившіе, что стрѣлы сатиры Салтыкова попадаютъ иногда не туда, куда слѣдовало, что онъ неосторожно касается предметовъ, которые требовали къ себѣ больше вниманія, наконецъ, что онъ враждебно относится къ самому народу. Тѣ или другія изъ этихъ обвиненій намъ случалось слышать до послѣдняго времени

даже въ средѣ людей, умѣющихъ понимать интересы литературы; мы слышали мнѣнія, что у Салтыкова не было руководящаго міровоззрѣнія, не было идеала, что громадный талантъ не имѣлъ прочной основы, иногда дѣйствовалъ невѣрно.

Вопросъ сводится, такимъ образомъ, къ самому существу содержанія Салтыкова. По нашему глубокому убѣжденію, эти обвиненія совершенно несправедливы, и чтобы удостовѣриться въ этомъ, надо только вникнуть въ цѣлый тонъ этого содержанія, въ личный характеръ и генетическія условія поэтическаго творчества Салтыкова.

„Я хочу только справедливости—и больше ничего", говорилъ Салтыковъ, и если бы нужно было въ двухъ словахъ обозначить глубочайшую основу его содержанія, она выражается этими словами. Дѣйствительно, это было главное, чего искала его тревожная душа и чѣмъ направлялась его литературная дѣятельность. Человѣкъ сильнаго ума, обладавшій громадною способностью наблюденія, до величайшихъ подробностей знавшій русскую жизнь, онъ всегда оставался самъ-собою, независимый въ своихъ взглядахъ, неизмѣнно послушный только своему чувству справедливости. Иные, особливо враги, называли Салтыкова человѣкомъ партіи: это было ошибочно. Напротивъ, онъ былъ именно всего менѣе человѣкъ партіи; это былъ человѣкъ единичный, иногда почти одинокій. Безъ сомнѣнія, общее основаніе его идей было то самое, какое принадлежитъ просвѣщеннѣйшимъ людямъ русскаго общества: это связало Салтыкова неразрывными узами съ тою частью общества, которая ищетъ для русскаго народа благъ просвѣщенія и общественной справедливости. Отсюда это высокое уваженіе, какимъ общество окружало великаго писателя, который сильнѣе, чѣмъ кто-либо, умѣлъ выразить, въ отрицательной формѣ сатиры, его задушевныя надежды или его горькое негодованіе. Но Салтыковъ никогда не былъ, и по всему складу характера и дарованія не могъ быть ни главой ни органомъ какого-либо „направленія" или „партіи". Его личное мнѣніе оставалось всегда свободно и независимо: своего творчества онъ не подчинялъ ни внѣшнему требованію ни соображеніямъ какой-либо данной тенденціи. Немудрено, что личный взглядъ иногда не совпадалъ съ тѣмъ, что́ думалось въ ту минуту въ кругу людей, общія идеи которыхъ онъ раздѣлялъ и

которые имѣли если не все, то большое право считать его именно своимъ. Отсюда недовольство и даже обвиненія изъ своего круга, о которыхъ мы упоминали. Большею частью, если не всѣ, они сводятся къ недоразумѣнію. Салтыковъ негодовалъ на обвиненія въ смѣхѣ для смѣха, какъ на грубое непониманіе.

Одинъ изъ главныхъ поводовъ къ нападеніямъ противъ него подала *Исторія одного города*, гдѣ, въ особенности, увидѣли враждебное отношеніе къ народу. Книга явилась лѣтъ 20 тому назадъ. Прочитавши одну статью, посвященную этой книгѣ, Салтыковъ, съ которымъ мнѣ съ давнихъ временъ не однажды случалось говорить объ его произведеніяхъ, пожелалъ знать мое мнѣніе объ упомянутой статьѣ и высказалъ самъ свои мысли о тѣхъ замѣчаніяхъ, какія были ему сдѣланы. Мы приведемъ нѣсколько выдержекъ изъ этого любопытнаго письма. Полагаемъ, что это не будетъ „нарушеніемъ воли"; думаемъ, напротивъ, что это скорѣе исполнитъ его волю, потому что поможетъ намъ бросить нѣкоторый свѣтъ на смыслъ его произведеній, разъясненіе котораго было всегда его особенною заботой. Среди воспоминаній, посвящаемыхъ ему въ настоящую минуту, пусть послышатся и его собственныя слова.—Обращаемся къ его письму 1871 года.

Исторія одного города разсматривалась, какъ историческая сатира. Салтыковъ рѣшительно возстаетъ противъ такого толкованія:

„Взглядъ на мое сочиненіе, какъ на опытъ исторической сатиры, совершенно невѣренъ,—писалъ онъ;—мнѣ нѣтъ никакого дѣла до исторіи, и я имѣю въ виду лишь настоящее. Историческая форма разсказа была для меня удобна потому, что позволяла мнѣ свободнѣе обращаться къ извѣстнымъ явленіямъ жизни. Можетъ-быть, я и ошибаюсь, но во всякомъ случаѣ ошибаюсь совершенно искренно, что тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и теперь. Слѣдовательно, „историческая" сатира вовсе не была для меня цѣлью, а только формою. Конечно, для простого читателя нетрудно ошибиться и принять историческій пріемъ за чистую монету, но критикъ долженъ быть прозорливъ и не только самъ угадать, но и другимъ внушить, что Парамоша совсѣмъ не Магницкій только, но вмѣстѣ съ тѣмъ и NN. И даже не NN, а всѣ вообще люди извѣстной партіи, и нынѣ не утратившей своей силы.

„Разсказъ отъ имени архиваріуса я тоже веду лишь для бо́льшаго удобства и дорожу этою формой лишь настолько, насколько она даетъ мнѣ больше свободы. Вообще, я выработалъ себѣ такое убѣжденіе, что ника-

кою формой стѣсняться не слѣдуетъ, и замѣтилъ, что въ сатирѣ это не только не безобразно, но иногда даже не безэффектно.

„Упрекъ въ „смѣхѣ ради смѣха" вышелъ въ первый разъ отъ Писарева и имѣлъ источникомъ личное его враждебное ко мнѣ чувство. Съ тѣхъ поръ, всякій, кто на меня разсердится, поднимаетъ эту штуку, и такъ какъ эта штука дешевая, то танцовать на ней можно сколько угодно. Если бъ мнѣ было доказано, что я предаю осмѣянію явленія почтенныя или нестоящія вниманія, я, навѣрное, прекратилъ бы дѣятельность столь идіотскую... Я, благодаря моему Создателю, могу каждое мое сочиненіе объяснить, противъ чего они направлены, и доказать, что они именно направлены противъ тѣхъ проявленій произвола и дикости, которыя каждому честному человѣку претятъ. Такъ, напримѣръ, градоначальникъ съ фаршированною головой означаетъ не человѣка съ фаршированной головою, но именно градоначальника, распоряжающагося судьбами многихъ тысячъ людей. Это даже не смѣхъ, а трагическое положеніе. Гулящія дѣвки, которыя другъ у друга отнимаютъ бразды правленія, тоже едва ли смѣхъ возбуждаютъ, то-есть могутъ возбуждать его лишь въ гоголевскомъ мичманѣ... Изображая жизнь, находящуюся подъ игомъ безумія, я разсчитывалъ на возбужденіе въ читателѣ горькаго чувства, а отнюдь не веселонравія. Достигъ ли я этого результата, это вопросъ иной.

„Наконецъ, обвиняютъ меня въ глумленіи надъ народомъ... Напр., въ статьѣ „О корени происхожденія" [1]), гдѣ поименовываются головотяпы, моржеѣды, и др. племена въ этомъ родѣ... Обратитесь къ Далю и Сахарову и увидите, что это племена, мною не выдуманныя, но суть названія, присвоенныя жителямъ городовъ Россійской имперіи. Головотяпы—егорьевцы, гужеѣды—новгородцы и т. д. Если ужъ самъ народъ такъ себя честитъ, то тѣмъ болѣе права имѣетъ на это сатирикъ. Затѣмъ, что касается до моего отношенія къ народу, то мнѣ кажется, что въ словѣ „народъ" надо отличать два понятія: народъ историческій и народъ, представляющій собою извѣстную идею... Первому, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкиныхъ, Бурчеевыхъ и т. п., я, дѣйствительно, сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовалъ, и всѣ мои сочиненія полны этимъ сочувствіемъ. Я въ первый разъ слышу подобный упрекъ".

Нужны ли дальнѣйшія объясненія послѣ *Пошехонской старины?* Если Салтыкову были антипатичны столько же въ народной массѣ, сколько и въ самомъ обществѣ, ихъ вопіющіе и неподлежащіе никакому сомнѣнію недостатки — умственная лѣнь, тупая вражда къ просвѣщенію, непониманіе общественныхъ интересовъ, огрубѣніе, доходящее до дикости, то какимъ глубокимъ чувствомъ соболѣзнованія проникнуто это послѣднее произведеніе Салтыкова, которое останется, вѣроятно, навсегда самою вѣрною, глубокою и потрясающею картиной эпохи крѣпостного права.

---

[1]) Въ „Исторіи одного города".

Гдѣ же источники общественнаго міровоззрѣнія Салтыкова? Мы сказали, что при всѣхъ сочувствіяхъ, общихъ ему съ лучшими людьми нашего общества отъ 50-хъ до 80-хъ годовъ, было въ его взглядахъ нѣчто особенное, своеобразное и независимое. Мы объяснимъ это себѣ, если вспомнимъ первую юношескую пору развитія Салтыкова. Въ немъ мы видѣли передъ собою одинъ изъ благороднѣйшихъ остатковъ 40-хъ годовъ, именно той стороны этой замѣчательной эпохи, когда увлеченія отвлеченною философіей смѣнились жгучимъ интересомъ къ вопросамъ общественнымъ, въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Сама дѣйствительность была такова, что мыслящіе люди не находили въ ней мѣста и дѣла: единственнымъ исходомъ была литература. Дѣйствительность или забывалась этими людьми, или производила на нихъ только отталкивающее дѣйствіе: они уходили въ книгу, въ размышленіе, въ тѣ глубокіе, почти безграничные вопросы объ общественныхъ судьбахъ человѣчества, гдѣ отыскивался въ будущемъ идеалъ лучшаго строя съ господствомъ свободы и справедливости. То было время усиленнаго броженія въ жизни европейскаго Запада, и отголоски его доходили къ намъ въ цѣлой литературѣ, состоявшей изъ протеста и полу-фантастическихъ идеаловъ. Эти идеалы бывали даже вполнѣ фантастическими, и они не имѣли бы дѣйствія, если бы не были создаваемы пламенными мечтами о благѣ человѣчества и не были, кромѣ того, сильны сопровождавшею ихъ критикой существующаго порядка вещей.

Салтыковъ, несомнѣнно, не остался чуждъ этому движенію, не въ томъ смыслѣ, чтобы самъ онъ сталъ адептомъ этихъ ученій, но въ томъ смыслѣ, что они подѣйствовали на него, какъ глубокое жизненное идеалистическое возбужденіе. Салтыковъ былъ 22-хъ-лѣтній юноша, когда писалъ *Запутанное дѣло*: по этому разсказу видно, что этотъ юноша, съ тѣмъ сильнымъ и здравымъ умомъ, который уже тогда его отличалъ, сумѣлъ отнестись критически къ мечтательнымъ крайностямъ этихъ ученій; но изъ того же разсказа видно, что его собственныя мысли витали въ этой области. Несомнѣнное дарованіе, сквозящее въ этомъ первомъ, или почти первомъ, произведеніи, нашло въ этой области далекаго идеала основу общественныхъ воззрѣній. Талантъ Салтыкова не искалъ дороги: она была найдена съ перваго раза, и съ тѣхъ поръ, какъ въ пору зрѣлаго мужества, онъ возобновилъ,

въ новое царствованіе, свою литературную дѣятельность; начиная съ *Губернскихъ очерковъ* и кончая *Пошехонскою стариной*, онъ шелъ однимъ неизмѣннымъ путемъ, изображая жизнь, угнетаемую, по его выраженію, „игомъ безумія“; его сатира переходила въ трагедію, и въ глубинѣ его мрачныхъ картинъ свѣтился вынесенный изъ юности и бережно сохраненный идеалъ добра, справедливости и просвѣщенія.

А. Пыпинъ.

М. Е. Салтыковъ [1]).

(Опытъ литературной характеристики.)

Странная судьба постигла М. Е. Салтыкова во второй и послѣдній періодъ его литературной дѣятельности. Въ этотъ періодъ времени онъ занялъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ среди русскихъ писателей, сдѣлался, такъ-сказать, корифеемъ литературы, но—странное дѣло!—въ то время, какъ росло значеніе Салтыкова, русская критика блѣднѣла, сохла и, наконецъ, совсѣмъ засохла, сузившись до рамокъ простого газетнаго отчета. Въ „Наблюдателѣ", помнится, мнѣ уже случалось говорить объ этой несчастной судьбѣ русской критики, но въ настоящемъ случаѣ я вовсе не хочу сказать, будто бы увеличеніе значенія Салтыкова имѣетъ какое-либо непосредственное отношеніе къ ослабленію критики: такое явленіе можетъ быть простымъ совпаденіемъ, но оно, во всякомъ случаѣ, чрезвычайно знаменательно. Необходимымъ слѣдствіемъ этого совпаденія—если предположить, что это только совпаденіе,—является то обстоятельство, что въ послѣднія двадцать лѣтъ своей жизни Салтыковъ успѣлъ вырасти въ первокласснаго писателя, а критика, между тѣмъ, *не успѣла* еще обстоятельно заняться имъ и не опредѣлила до сихъ поръ ни характера его таланта, ни соціально-литературнаго значенія его сатиры; онъ обойденъ русскою критикой не потому, что не заслуживаетъ самаго старательнаго критическаго анализа, а потому, что критика чрезвычайно сузила свои рамки и, благодаря этому обстоятельству, не могла умѣстить въ эти рамки сатирика. Отсюда—явленіе, почти небывалое въ исторіи литературы: передъ нами первоклассный писатель, котораго, однакоже, не успѣли опредѣлить критики въ теченіе цѣлыхъ двадцати лѣтъ. Такія

[1]) „Наблюдатель", 1889 г., № 6.

случайности бываютъ, надо признаться, только въ русской литературѣ. Правда, о Салтыковѣ писалось много, пространно, детально (можетъ-быть, даже слишкомъ детально), но все-таки какъ-то вскользь, безъ малѣйшаго желанія проникнуть въ своеобразный организмъ его таланта. Писаревъ, какъ извѣстно, совершенно отрицалъ въ немъ сатирика и, кажется, весьма серіозно совѣтовалъ ему заняться популяризаціей естественно-научныхъ сочиненій. Салтыковъ, конечно, не внялъ этому совѣту и хорошо сдѣлалъ. Но если до самой своей смерти этотъ талантливый сатирикъ составлялъ такую загадку для критики, то въ этомъ, во всякомъ случаѣ, нельзя винить одну лишь критику. Критика могла слабѣть и сохнуть, суживать свои рамки и даже грубо ошибаться по отношенію къ сатирику, но самъ сатирикъ, нужно сознаться, нисколько не облегчалъ дѣла критики. Онъ все больше и больше окружалъ себя туманомъ фразы и, въ концѣ концовъ, усвоилъ себѣ такой странный языкъ, состоявшій сплошь изъ однихъ только намековъ, что разглядѣть изъ-подъ маски этого языка настоящую мысль сатирика сдѣлалось, подъ конецъ, дѣломъ крайне труднымъ. Вслѣдствіе этой трудности, по отношенію къ Салтыкову возникло какое-то своеобразное недоразумѣніе—и въ обществѣ и въ литературѣ. Одни (большинство) считали Салтыкова геніальнымъ прорицателемъ и видѣли въ каждомъ его словѣ какой-то необыкновенно глубокій смыслъ; другіе рѣшительно отказывали ему въ талантѣ сатирика и, хотя не повторяли ему наивнаго совѣта Писарева, тѣмъ не менѣе, раздѣляли этотъ совѣтъ. Смерть Салтыкова не разсѣяла этого печальнаго недоразумѣнія: въ некрологахъ, въ печатныхъ соболѣзнованіяхъ, въ попыткахъ, хотя бы наскоро, опредѣлить значеніе сатиры Салтыкова, на каждомъ шагу мы встрѣчались съ этимъ страннымъ явленіемъ. Одни, не мудрствуя лукаво, прямо произвели его въ геніи (excusez du peu! [1]), съ какимъ-то умысломъ закрывая глаза на самые явные его недостатки; другіе, вмѣсто всякой спокойной оцѣнки, просто стали ругаться съ какимъ-то непонятнымъ и неприличнымъ озлобленіемъ передъ свѣжею, еще открытою могилой. Какъ это всегда у насъ бываетъ (это тоже одна изъ своеобразностей русской культуры), эти два противорѣчащихъ другъ-другу мнѣнія сосре-

[1]) Простите, что мало.

доточились въ двухъ враждебныхъ литературныхъ лагеряхъ: либеральная часть нашей печати принадлежитъ къ безусловнымъ поклонникамъ Салтыкова, консерваторы же рѣшительно не признаютъ его; почему Салтыковъ попалъ въ любимцы либераловъ и внушаетъ ненависть консерваторамъ,—понять довольно трудно: какъ мы увидимъ ниже, онъ никогда не высказывался опредѣленно въ этомъ отношеніи, никогда не выступалъ съ извѣстнымъ знаменемъ, никогда не формулировалъ своей программы.

А все то, что можно усмотрѣть въ немъ, какъ опредѣленное стремленіе, какъ опредѣленное чувство,—гуманность, напримѣръ, жажда добра, негодованіе предъ зломъ,—въ одинаковой степени принадлежитъ какъ ему, такъ и другимъ крупнымъ русскимъ писателямъ,—между прочимъ, Достоевскому, столь „любезному консерваторамъ". Какъ бы то ни было, но нельзя не видѣть, что къ такимъ разнорѣчивымъ сужденіямъ давалъ поводъ—по крайней мѣрѣ, отчасти—самъ Салтыковъ, благодаря той загадочной, неопредѣленной художественной формѣ, которую онъ усвоилъ себѣ. Вспомнимъ, напримѣръ, его помпадуровъ. Съ легкой руки Салтыкова, слово помпадуръ сдѣлалось типическимъ, ходячимъ выраженіемъ, нарицательнымъ названіемъ извѣстнаго типа нашихъ администраторовъ; оно имѣло въ русскомъ обществѣ самый необыкновенный успѣхъ и сдѣлалось чуть ли не любимымъ выраженіемъ, а между тѣмъ, оно, въ дѣйствительности, не заслуживаетъ такого почета. И въ самомъ дѣлѣ, какъ типическое выраженіе, долженствующее вмѣщать въ себѣ опредѣленіе цѣлаго типа, оно почти лишено смысла: неизвѣстно, на какомъ основаніи г-жа Помпадуръ, знаменитая любовница Людовика XV, можетъ или должна служить прототипомъ нашихъ администраторовъ, и какое существуетъ отношеніе между красавицей-маркизой XVIII вѣка и Ѳеденьками русской администраціи XIX столѣтія? Прибавьте къ этому еще и то важное обстоятельство, что сами Ѳеденьки въ сатирѣ Салтыкова совершенно не типичны, не рисуются воображенію читателя живыми лицами, не представляютъ собою чего-либо конкретнаго; они играютъ роль простыхъ манекеновъ, или чучелъ, надъ которыми издѣвается сатирикъ, придумывая имъ смѣшныя клички и приписывая совершенно безсмысленныя дѣйствія. Но Салтыковъ въ такой совершенной степени обладаетъ

тѣмъ, что французы называютъ verve satyrique [1]), что все это издѣвательство надъ довольно фантастическими администраторами принимается за чистую монету поклонниками сатирика; смѣхъ, возбуждаемый авторомъ, покрываетъ или, вѣрнѣе, скрываетъ недостатки опредѣленной мысли и художественной красоты и обусловливаетъ иллюзію какой-то необыкновенно глубокой сатиры, значенія которой, однакоже, не признаютъ люди, не обольщенные комической внѣшностью. Думаю, что не будетъ слишкомъ рискованнымъ предположить, что всѣ эти недоразумѣнія происходятъ, главнымъ образомъ, отъ слишкомъ большой неопредѣленности языка, отъ той художественной туманности, въ которой формы сливаются въ какое-то безпредметное *нѣчто*, отъ манеры Салтыкова постоянно говорить „притчами", злоупотреблять езоповскимъ языкомъ, слѣдуя его собственному выраженію.

„Представьте себѣ, — говоритъ онъ, между прочимъ, въ одной изъ своихъ сатиръ *Монрепо-усыпальница*,—что вы нечаянно попали въ комнату, наполненную баснописцами. Собралось множество езоповъ, которые ведутъ оживленный разговоръ,—и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти съ ума!"

Выражаясь такъ, Салтыковъ намекаетъ на печальное положеніе русскаго человѣка, имѣющаго право, будто бы, говорить лишь „езоповскимъ" языкомъ, но фраза Салтыкова точно такъ же можетъ быть примѣнима и къ самому сатирику. Развѣ онъ не находился въ такомъ положеніи, когда нельзя „ни жить, ни наблюдать жизнь"? Развѣ онъ не сознавалъ въ самомъ себѣ безвыходнаго положенія такого человѣка? Развѣ онъ и самъ не пришелъ къ убѣжденію подобно своему герою, что „умирать пора".

„Не умереть, а именно умирать,—прибавляетъ онъ,—освобождаться отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди всегдашней суматохи, гдѣ слышатся голоса только безчисленнаго множества темпераментовъ, гдѣ нападающіе не знаютъ, на кого они нападаютъ, а защищающіеся,—отъ кого они обороняются, гдѣ нѣтъ рѣчи объ идеалѣ и мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы,—въ такой суматохѣ ничего лучше не придумаешь, какъ схорониться въ скромное мѣсто, а тамъ—начать умирать".

Эта особенность говорить иносказательно, езоповскимъ языкомъ, не есть органическая черта, свойственная таланту Салтыкова. Въ началѣ своей литературной дѣятельности,

---

[1]) Сатирическій жаръ.

въ эпоху *Губернскихъ очерковъ* и *Невинныхъ разсказовъ*, эта особенность замѣчается у Салтыкова: тогда онъ, просто, является послѣдователемъ Гоголя и пытается создать не политическую, а художественную сатиру. Но затѣмъ, сдѣлавшись однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ журнала, далѣе, ставъ во главѣ его и, такимъ образомъ, какъ бы невольно занявъ воинствующую роль журналиста, Салтыковъ мало-по-малу начинаетъ усвоивать себѣ этотъ иносказательный языкъ, который, въ концѣ-концовъ, становится его привычкой, второю натурой, однимъ изъ элементовъ его юмора. Языкъ этотъ довольно трудно характеризовать. Онъ не связанъ тѣсно съ талантомъ, не образуетъ одной изъ формъ, въ которой этотъ талантъ обнаруживается, онъ— нѣчто внѣшнее, не существенное, даже лишнее. Но при всемъ томъ, этотъ языкъ производитъ, несомнѣнно, комическое, своеобразное впечатлѣніе, вслѣдствіе чего Салтыковъ не только употребляетъ его, но впослѣдствіи и злоупотребляетъ имъ. Все дѣло сводится не на своеобразныя формы рѣчи, не на то, что обыкновенно называется *стилемъ*, а на какія-то неожиданно смѣшныя клички, на выраженія, намѣренно не существующія въ дѣйствительности, о которой говоритъ сатирикъ, на чисто-внѣшній контрастъ между содержаніемъ и формой. Къ несчастію, этими пріемами Салтыковъ всегда пользуется и, такимъ образомъ, испещряетъ свою рѣчь самыми странными выраженіями, для которыхъ нужно составить особый объяснительный словарь. *Пѣнкосниматель, ташкентецъ приготовительнаго класса, не умѣть совладать съ разнузданностью въ похвалахъ, прожекты (вмѣсто проекты), удручающіе провинціала и заставляющіе его искать убѣжища у Палкиныхъ, помпадуръ борьбы, несогласномыслящій (никогда не опредѣляя, съ кѣмъ несогласно), оглушеніе въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ, департаментъ оздоровленія началъ, департаментъ всеобщихъ умопомраченій, привлечь къ отвѣтственности по юбилейной части, министерство препонъ и неудовленій, реформа клозетовъ*... все это слова, выраженія и клички, сами-по-себѣ лишенныя значенія, но именно поэтому они и производятъ комическое впечатлѣніе, когда употребляются сатирикомъ для характеристики извѣстнаго явленія. Принято думать, что этотъ поистинѣ „езоповскій“ языкъ, которымъ такъ странно злоупотреблялъ Салтыковъ, есть вынужденный пріемъ, извѣстная условная форма, безъ кото-

рой русская сатира немыслима. Такъ объясняетъ свой языкъ и самъ Салтыковъ, давая понять, что русская сатира можетъ говорить только иносказательно. Если мы даже согласимся, въ общемъ, съ такимъ утвержденіемъ, то все-таки нельзя не видѣть, что Салтыковъ слишкомъ, и безъ всякой нужды, злоупотребляетъ этою иносказательностью. Гоголь осмѣивалъ не менѣе глубокія язвы русской дѣйствительности, не менѣе глубоко запускалъ свое сатирическое жало, а между тѣмъ находилъ же онъ возможность выражаться совершенно ясно, не прибѣгая къ езопству и къ притчамъ. Говоря о губернаторѣ, онъ не находилъ нужнымъ называть его, изъ желанія скрыть, о чемъ онъ говоритъ, помпадуромъ или какою-нибудь другою странною кличкой. Даже для усиленія комическаго эффекта такой пріемъ не казался ему нужнымъ,—онъ могъ обходиться и безъ него. У него достало бы настолько комическаго воображенія, чтобы выдумать смѣшную кличку, но къ этому средству онъ не прибѣгалъ, справедливо думая, что *комическое*, достойное этого имени, не должно основываться на случайной и внезапной нелѣпости, имѣющей чисто-внѣшній характеръ, что комическій контрастъ долженъ гнѣздиться въ содержаніи, а не во внѣшности. И Гоголю, конечно, случалось прибѣгать къ комическимъ выраженіямъ, но онъ создавалъ ихъ по другому шаблону. Напримѣръ: „дама пріятная во всѣхъ отношеніяхъ и дама просто пріятная“, „съ легкостью почти военнаго человѣка“; въ этихъ выраженіяхъ нѣтъ никакой внѣшней комичности, но является комическое представленіе. Комическій пріемъ Салтыкова Гоголь заранѣе опредѣлилъ словами Жевакина въ „Женитьбѣ“: „Бывало, ему, ничего больше... покажешь, этакъ, одинъ палецъ,—вдругъ засмѣется, ей-Богу, и до самаго вечера смѣется. Ну, глядя на него, бывало, и самому сдѣлается смѣшно, и смотришь, наконецъ, и самъ точно, этакъ, смѣешься!“ Съ цѣлью точнѣе выяснить юмористическій пріемъ Салтыкова, я принужденъ сдѣлать выписку, прося читателя обратить особенное вниманіе на слова, поставленныя курсивомъ:

„Сколько лѣтъ мы сознаемъ себя *негодующими*, и все-таки, вмѣсто *уврачеванія*, вращаемся въ пустотѣ! Сколько лѣтъ собираемся одолѣть свое безсиліе,—и ничѣмъ, кромѣ доказательства своего безсилія, не ознаменовываемъ своей дѣятельности! Но даже въ самыхъ *дерюжныхъ*, близкихъ нашему сердцу вещахъ,—въ сферѣ *благочинія*, и тутъ мы ничего не достигли, кромѣ сознанія полной безпомощности. А вѣдь, у насъ только и

словъ на языкѣ: погодите, дайте управиться! Вы думаете, что, можетъ-быть, тогда потечетъ наша земля млекомъ и медомъ?—То-то и есть, что не потечетъ, и не потому не потечетъ, что ни млека ни меда у насъ нѣтъ,—это вопросъ особливый,—а потому, что нѣтъ и не будетъ *конца краю самой управы*. Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ, что процессъ *вколачиванія „штуки“* уже совершилъ свой *циклъ*; что общество окончательно само себя *провѣрило*; что всѣ *изъясненія* сдѣланы; что плевелы вырваны и истреблены; что околоточные и участковые пристава, наконецъ, свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потомъ? Какое органическое, возстановляющее дѣло можемъ мы предпринять? знаемъ ли мы, въ чемъ оно состоитъ? имѣемъ ли мы для него достаточную подготовку? Наконецъ, имѣемъ ли мы даже поводъ желать, чтобы процессъ вколачиванья „штуки“ воистину совершился и вмѣсто него воскресло *начало, возстановляющее дѣло*? Ахъ тетенька! Вотъ, то-то и есть, что никакихъ подобныхъ поводовъ у насъ нѣтъ! Не забудьте, что даже *торжество умиротворенія*, если оно когда-нибудь наступитъ, будетъ принадлежать не *Вздошникову*, не Распротакову, и даже не намъ съ вами, а все тѣмъ же *Амалатъ-Бекамъ* и Пафнутьевымъ, которые будутъ *лакать* шампанское и испускать побѣдные клики (однакоже, не безъ угрозы), но никогда не поймутъ и не скажутъ себѣ, что *торжество обязываетъ*. Обязываетъ къ чему?—Вы только подумайте объ этомъ, милая тетенька! Обязываетъ къ возстановленію поруганной человѣческой совѣсти, обязываетъ къ пробужденію сознательной дѣятельности, обязываетъ къ признанію права на завтрашній день... и вы хотите, чтобы эта программа осуществилась! Совѣсть, сознательность, обезпеченность! Да, вѣдь, это то же самое и есть, что на конкахъ, въ трактирахъ, въ хлѣвной литературѣ извѣстно подъ именемъ *„потрясенія основъ“*! Еще не все шампанское выпито, по случаю *прекращенія опасностей*, какъ самопрекращеніе уже представляетъ настороженному до болѣзненности воображенію цѣлый рядъ новыхъ *самостоятельныхъ опасностей*! Бой кончился, но не успѣли простыть бойцы, какъ уже имъ предстоитъ готовиться въ новый бой!.. Идеалъ современныхъ *провѣрителей общества* (я не говорю о герояхъ конокъ и трактирныхъ заведеній) въ сферѣ внутренней политики очень простъ: *чтобъ ничего не было*. Но какъ ни дисциплинирована и ни обезличена наша дѣйствительность,—даже она не можетъ вмѣстить подобнаго идеала. Нельзя, чтобы ничего не было. До такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нѣтъ надобности. А такъ какъ „провѣрители“ отъ своихъ идеаловъ никогда не отступятъ, такъ какъ они на томъ и будутъ настаивать, чтобы ничего не было, то ясно, что и междоусобіямъ не предвидится конца!“

Прочитайте внимательно этотъ отрывокъ и попробуйте отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, что хотѣлъ сказать сатирикъ? Какое явленіе жизни онъ бичуетъ? Даже просто: о чемъ говоритъ? Едва ли нужно прибавлять, что на эти вопросы вы не получите никакого отвѣта. Но, читая отрывокъ, вы получили впечатлѣніе чего-то несуразнаго, какъ люди мечутся изъ угла въ уголъ, не зная, что имъ дѣлать, и такъ какъ, къ тому же, сатирикъ употребляетъ самыя не-

ожиданныя выраженія: „вколачиваніе штуки, Амалатъ-Бекъ, уврачеваніе, самостоятельная опасность, лакать, провѣрители общества“,—то въ общемъ, получается что-то смѣшное, комическое. Это позволяетъ намъ перейти къ характеру того *комическаго*, которое характеризуетъ талантъ Салтыкова уже помимо его языка. Почти всякій сатирикъ—въ то же время и юмористъ. Имѣя дѣло съ отрицательными явленіями жизни, онъ принужденъ ихъ вышучивать, рельефно показывать ихъ несостоятельность, ихъ нелѣпость, ихъ вредъ. Онъ относится къ нимъ насмѣшливо, съ высоты имѣющагося у него идеала. Но насмѣшка можетъ принимать самыя разнообразныя формы, согласно характеру и основнымъ психологическимъ даннымъ таланта сатирика. Вольтеръ пускаетъ въ ходъ свое неистощимое остроуміе, ѣдкую насмѣшку, безъ всякой примѣси того, что́ въ англійскомъ смыслѣ называется юморомъ; онъ не юмористъ, а просто остроумный человѣкъ. Поль-Луи Курье [1]) скорѣе насмѣшливъ, чѣмъ остроуменъ. Ѣдкимъ, кровавымъ сарказмомъ отличается насмѣшка Свифта; чистыми юмористами можно считать Шекспира, Гейне, Стерна, Жанъ-Поля Рихтера. Салтыковъ отчасти примыкаетъ къ нимъ, но только отчасти. Онъ юмористъ не столько въ содержаніи—въ сопоставленіи комическихъ явленій, сколько въ выраженіи—въ сопоставленіи комическихъ формъ рѣчи. Къ тому же, его комическое воображеніе направлено не къ созданію насмѣшки, а къ представленію забавныхъ положеній, которыя зачастую превращаются въ простую буфонаду, въ шаржъ; въ такихъ случаяхъ Салтыковъ забываетъ свои политическія цѣли и увлекается потокомъ шутовскихъ образовъ, вызванныхъ его воображеніемъ. Однимъ словомъ, онъ скорѣе фельетонистъ, чѣмъ сатирикъ. Какъ у сатирика, такъ и у фельетониста, насмѣшки и преувеличенія безспорно играютъ первенствующую роль; у перваго, однако, цѣль серіозна, потому что существуетъ серіозное міровоззрѣніе; а у второго—одна лишь цѣль: посмѣяться и позабавиться, безъ всякихъ другихъ намѣреній. Сообразно съ этими разными цѣлями, и

---

[1]) Поль-Луи Курье, французскій публицистъ, писавшій въ первой четверти XIX вѣка (род. въ 1772 г., ум. въ 1825 г.). Прославился Курье, главнымъ образомъ, своими остроумными политическими памфлетами, зло осмѣивавшими тогдашнюю внутреннюю политику Франціи. *Н. Д.*

средства они выбираютъ разныя. Сатирикъ, безъ сомнѣнія, будетъ преувеличивать, но это преувеличеніе вызоветъ не смѣхъ и веселое расположеніе духа, а горькое чувство негодованія. Для своей сатиры онъ будетъ выбирать черты самыя обидныя, самыя оскорбительныя, способы, которые болѣе другихъ могутъ извѣстнымъ тенденціознымъ образомъ освѣтить уродливое явленіе, освѣтить его именно съ той точки зрѣнія, съ которой сатирику хочется, чтобъ оно было освѣщено. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что и у Салтыкова—цѣль та же, съ тою, однако, разницей, что средства, употребляемыя имъ, зачастую не соотвѣтствуютъ цѣли. Довольно часто Салтыковъ поступаетъ именно такъ, какъ поступаетъ фельетонистъ. Фигуры, въ освѣщеніи его сатиры, являются не отвратительными, внушающими ужасъ или презрѣніе, а просто до уродливости смѣшными, которыя, кромѣ безобиднаго, безпредметнаго смѣха, ничего другого вызвать не могутъ. Читая, напримѣръ, рѣчь Накатникова о „principe du télègue russe“ [1]), мы смѣемся такъ же добродушно, какъ добродушно смѣемся, читая о помпадуршѣ, которая гарцовала, подобно Іоаннѣ д'Аркъ, на вороном конѣ, „призывая всѣхъ къ покаянію и къ борьбѣ противъ матеріализма“. Но какимъ образомъ рѣчь Накатникова или наша русская Іоанна д'Аркъ могутъ вызвать негодованіе? Это—просто уродливыя фигуры, которыя уже потому не могутъ быть вредными, что онѣ слишкомъ необычайно уродливы, и что ихъ уродливость возбуждаетъ безотчетный смѣхъ, добродушный, подобно всякой карикатурѣ, имѣющей цѣлью не обнаруженіе извѣстнаго порока, а лишь уродливую, нелѣпую утрировку. И вотъ, читая очеркъ Салтыкова, всѣ смѣются отъ мала до велика, всѣ покатываются со смѣху и всѣмъ становится необыкновенно весело. Тотъ же самый помпадуръ или та же самая Іоанна д'Аркъ, изъ всей текущей русской литературы, выбираютъ Салтыкова, какъ писателя, значительный талантъ котораго даетъ много матеріала для легкаго и веселаго препровожденія времени. И думаете ли вы, что они не понимаютъ намѣреній сатирика? Отлично они ихъ понимаютъ, но черты ихъ собственнаго портрета до такой степени уродливо преувеличены и, вслѣдствіе этого, до такой степени добродушно-безобидны, что всякое негодованіе стихаетъ въ са-

[1]) Принципъ русской телѣги.

момъ началѣ, подобно тому, какъ вы ни въ какомъ случаѣ не можете сердиться на выпуклое стекло, которое передаетъ ваше лицо въ уродливо-искаженномъ видѣ. Вамъ „смѣшно“ видѣть себя такимъ образомъ искаженнымъ, но нисколько не обидно. И тутъ-то, мнѣ кажется, скрывается существенный недостатокъ сатиры Салтыкова: она смѣшитъ, но не вызываетъ негодованія или оскорбленія. Нельзя сказать, однако, чтобы сатира Салтыкова вертѣлась въ бездушномъ пространствѣ: напротивъ, Салтыковъ, съ необыкновенною проницательностью крупнаго таланта, умѣетъ схватить теченія минуты, злобу дня,—все, словомъ, чѣмъ питается общественная молва, чѣмъ живетъ въ данную минуту общество. Для сатиры это матеріалъ необыкновенно богатый, способный затрогивать общество самымъ живымъ образомъ, поддерживать въ немъ жизнь и сознаніе. А между тѣмъ, развѣ такое впечатлѣніе производитъ сатира Салтыкова? Его очерки читаютъ всѣ нарасхватъ—помпадуры, бюрократы и простые смертные. Но черты рисуемой имъ дѣйствительности до такой степени преувеличены, шаржированы и комично-нелѣпы, этикеты и ярлыки до такой степени неожиданны, что является неудержимое желаніе хохотать, и сатирическія фигуры скорѣе возбуждаютъ симпатію, чѣмъ чувство негодованія. Такое странное явленіе встрѣчается часто въ литературѣ, и мы даже имѣемъ въ этомъ отношеніи великій примѣръ. Это — Фальстафъ, у Шекспира. Читая похожденія Фальстафа въ „Виндзорскихъ кумушкахъ“, въ „Генрихѣ IV“, мы, очевидно, чувствуемъ къ нему непозволительную слабость, закрывая глаза на его пороки и безобразія и помня только привлекательныя стороны его натуры,—не то ли самое, только въ микроскопическомъ видѣ, совершается и съ героями Салтыкова? Нравственной красоты въ нихъ, безъ сомнѣнія, очень мало. Всю современную мерзость сатирикъ выливаетъ на нихъ цѣлыми ушатами; въ этой грязи они копошатся и кривляются до такой степени, что возбуждаютъ хохотъ. Но сами-по-себѣ, независимо отъ своихъ поступковъ, ужъ будто бы они до такой степени мерзки и отвратительны? Нисколько, они даже оригинальны, своеобразны, и съ этой стороны они намъ даже нравятся. Возьмите для примѣра хотя бы Ѳеденьку Кротикова. Проникнувъ въ извѣстныя сферы, изъ коихъ, какъ изъ нѣкоего водохранилища, изливается на Россію

многоводная рѣка помпадурства, Ѳеденька сболтнулъ хлесткую фразу, въ родѣ того, что Россію губитъ излишняя централизація, что необходимо децентрализировать, т.-е. эмансипировать помпадуровъ, усилить ихъ власть. Сболтнулъ и понравился; понравился и былъ признанъ способнымъ уловлять вселенную. Ѳеденька началъ держаться либерализма, которому не только не служило помѣхой отсутствіе мудрости, но, напротивъ того, сообщало какой-то ликующій характеръ. Онъ писалъ самые разнообразные циркуляры, приглашалъ, побуждалъ, увѣщевалъ, но изъ всѣхъ либеральныхъ затѣй достигъ относительнаго успѣха лишь по части пресѣченія бунтовъ и взиманія недоимокъ. Тогда наступилъ второй періодъ Кротиковскаго либерализма,—либерализма меланхолическаго, жалующагося, укоряющаго. Разославъ циркуляръ о мѣрахъ противъ обмеленія рѣки, онъ написалъ своему другу: „Ты видишь, я еще борюсь; но если и за симъ наше судоходство останется въ прежнемъ жалкомъ состояніи, тогда—ma foi [1]) — я не остановлюсь даже передъ экзекуціей". Судоходство, конечно, осталось въ прежнемъ состояніи,—и Ѳеденька сдѣлался консерваторомъ. Окраска его консервативной дѣятельности была предрѣшена тѣмъ, что въ версальскомъ національномъ собраніи какъ разъ въ это время была провозглашена политика борьбы. Подобно Макъ-Магону *), онъ очистилъ персоналъ администраціи, потомъ устроилъ облаву на „несогласно мыслящихъ" и, наконецъ, рѣшилъ торжественно отречься отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его, какъ это только что сдѣлали въ Паре-ле-Моньялѣ французскіе приверженцы „нравственнаго порядка". Многіе либералы подверглись заточенію, а многіе распороли себѣ животы, предпочтя напрасную смерть постыдному *„фюить"*, которое раздавалось въ ихъ ушахъ, безпрерывно угрожая ихъ существованію. Доведенный до такой степени комизмъ помпадурства, приправленный такимъ гомерическимъ фарсомъ, перестаетъ возмущать,—онъ, просто, дѣлается милъ. Надъ комическимъ положеніемъ Ѳеденьки мы смѣемся; онъ, конечно, дуракъ и прохвостъ, но въ то же время настолько своеобразенъ въ своей глупости и недо-

---

[1]) Право!

*) Президентъ французской республики, желавшій вернуть Францію на прежній путь административнаго произвола. *Н. Д.*

мысліи, что внушаетъ даже своеобразную симпатію. Изъ-за этого фарса дѣйствительныя черты помпадурства какъ-то исчезаютъ, уходятъ въ какой-то неясный туманъ: остается лишь любопытная фигура Ѳеденьки, похожая на какого-нибудь Квазимодо и настолько фантастическая, что у самого читателя сознаніе дѣйствительности, иногда горькое и вообще неприглядное, мало-по-малу исчезаетъ, теряясь въ уродливыхъ очертаніяхъ фантазіи. Такимъ образомъ, впечатлѣніе, полученное отъ очерка Салтыкова,—не сатирическое; это скорѣе впечатлѣніе сказки Гофмана, гдѣ все фантастично, даже сама дѣйствительность. Если справедливо, что литература—отраженіе общества, то, безъ сомнѣнія, и произведенія Салтыкова дадутъ богатый матеріалъ. Будущій историкъ не посмотритъ на картины Салтыкова, какъ на снимки или отраженія дѣйствительности; онъ въ нихъ, какъ и мы, увидитъ блестящую фантазію, которая жила, питалась и обогащалась явленіями жизни и выродилась въ чудесный фарсъ, въ которомъ, однако, такъ же было бы безполезно искать дѣйствительности, какъ и въ сказкахъ Гофмана. Въ исторіи русской литературы Салтыковъ займетъ особенное, ему лишь принадлежащее мѣсто,—мѣсто не сатирика, а фантастическаго блестящаго писателя, который вышивалъ фантастическіе узоры, иногда необыкновенной красоты, на канвѣ, даваемой ему непосредственною дѣйствительностью. Фарсъ, принимающій чисто-фантастическіе размѣры, превращающійся въ уродливую, невозможную фантасмагорію,—вотъ обычная сатирическая манера Салтыкова. Въ этомъ отношеніи, онъ единственный сатирикъ въ исторіи всемірной литературы. Вспомните, напримѣръ, жизнь и карьеру нѣкоего Саши Ненарочнаго, описанныя Салтыковымъ.

„За обѣдомъ,—разсказываетъ онъ,—мы опять сошлись, и бесѣда возобновилась.—„Надѣюсь, что ты не вмѣшиваешься во внутреннюю политику?“—спросилъ я.—Я, дяденька, всегда старался стоять въ сторонѣ отъ обольщеній, и до сихъ поръ Богъ помогалъ мнѣ въ этомъ. Тѣмъ не менѣе, не смѣю не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть на каторгу не попалъ.—Я даже подскочилъ при этомъ извѣстіи:—„Что ты?!!!“—Мнѣ было тогда тринадцать лѣтъ, и вдругъ одинъ изъ товарищей, Сайко, говоритъ: пойдемъ, Саша, Селаксу волновать—это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я, по неопытности, согласился. Купили мужицкія портки, бороды подвязали—отправились волновать. И только-что, знаете, приступили, какъ намъ сейчасъ же руки назадъ и—маршъ къ становому. Ну, разумѣется, становой зналъ папеньку и отправилъ меня домой.—„Ахъ бѣдный ты, бѣдный! Хорошо, что Богъ спасъ!“—Я, дяденька, въ то время

такъ испугался, что человѣкъ съ пятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назвалъ-съ! Да! Разумѣется, маменька легко оправдались, но нѣкоторые, какъ я потомъ освѣдомился, получили двойное возмездіе.—„Правильно!"—Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю: кто что посѣетъ, то и пожнетъ. Никто не въ правѣ претендовать на судьбу, ибо люди, будучи одарены отъ Бога свободною волею, суть сами единственные виновники тѣхъ злоключеній, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни и въ будущей.—„Однако, вотъ ты ходилъ волновать Селаксу, а вывернулся все-таки".—Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все разсказалъ-съ. А, сверхъ того, всякій очень хорошо понималъ, что и папенька не оставитъ безъ взысканія.—„А больно папенька высѣкъ?"—Это случилось тому назадъ пять лѣтъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда не напоминаетъ мнѣ объ этомъ. Я же, съ своей стороны, могу сказать одно: съ тѣхъ поръ я никогда въ политику не вмѣшиваюсь.—При такихъ условіяхъ, конечно, Саша Ненарочный далеко пойдетъ,—это было ясно. Слава его проникала даже за предѣлы Пензенской губерніи. По пріѣздѣ въ Рязань, напримѣръ, онъ хотѣлъ взять билетъ для дальнѣйшаго слѣдованія, какъ вдругъ подходитъ къ нему начальникъ станціи и спрашиваетъ: „Не вы ли тотъ благородный молодой человѣкъ, который, по словамъ „Справочнаго Листка", будучи высѣченъ папенькой, откровенно разсказалъ, какъ было дѣло?" И когда Саша отвѣчалъ утвердительно, то онъ продолжалъ: „Въ такомъ случаѣ, не трудитесь брать билетъ! Мы за особую честь сочтемъ доставить васъ въ Москву безплатно!"

Настоящая овація ожидала его въ Демидронѣ, куда отправился Саша со своимъ дядей. Имъ дали безплатные билеты. Официанты въ бѣлыхъ галстукахъ, взявшись за руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики; оркестръ гремѣлъ маршъ изъ „Чижика"; нѣсколько поодаль виднѣлась освѣщенная бенгальскимъ огнемъ живая картина, изображавшая аллегорическія фигуры „Родительскаго сѣченія", „Раскаянія" и „Откровенности", у ногъ которыхъ корчилось и издыхало на-смерть пораженное „Обольщеніе", а вверху парилъ геній „Благонравія". Не успѣли они сдѣлать нѣсколько шаговъ, какъ навстрѣчу имъ вышелъ содержатель сада, въ сопровожденіи дѣвицъ Филиппо и Сальпасъ (обѣ были, на „сей только разъ", одѣты въ трико), и прочиталъ Сашенькѣ адресъ. Въ этомъ адресѣ, разсказавъ подробно причину сѣченія и его благотворныя послѣдствія, г. Егаревъ объявилъ, что Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашенькѣ дипломъ на званіе почетнаго гражданина этого заведенія. Когда же рѣчь зашла о спасительной строгости, то дѣвица Филиппо такъ выразительно хлопала себя по ляжкѣ, что публика просто-на-просто выла отъ удовольствія. Всѣ эти оваціи и торжества подѣйствовали на Сашу очень сильно; онъ сталъ до такой степени

самонадѣянъ, что въ концѣ-концовъ сказалъ: „Знаете ли, какая у меня теперь мысль? Давайте-ка вмѣстѣ издавать газету!“ Дядя, кажется, онѣмѣлъ отъ неожиданности, но Саша продолжалъ:—„Теперь самое время. Я популяренъ, и газета моя будетъ покупаться нарасхватъ. А за мной и вы незамѣтно пройдете“. Лишнимъ было бы описывать другіе тріумфы Саши. Городская дума прислала Сашенькѣ патентъ на званіе почетнаго члена трактирной депутаціи. Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашеньки имѣются ветхія ассигнаціи, то онъ во всякое время можетъ перемѣнить ихъ на новенькія, при чемъ присовокупилъ, что по предъявленіи таковыхъ выдается изъ размѣнной кассы банка соотвѣтствующее количество рублей серебряною и золотою монетою. Общество взаимнаго кредита увѣдомило, что Сашенькины деньги могутъ быть безъ опасенія помѣщены на текущій счетъ, такъ какъ отнынѣ растраты перестали быть для общества обязательными. Изъ участка пришелъ запросъ: не приметъ ли Сашенька мѣсто паспортиста? Словомъ сказать, депутаціи смѣняли одна другую и всякая выражала Сашенькѣ свое удивленіе и благодарность за то, что онъ, бывъ высѣченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики. Къ сожалѣнію, по мѣрѣ того, какъ росла Сашенькина слава, самъ онъ становился все болѣе и болѣе самонадѣяннымъ. Нельзя уже его критиковать, а развязность дошла до того, что онъ началъ требовать отъ депутатовъ какихъ-то статистическихъ свѣдѣній, и когда они, натурально, не могли удовлетворить этому требованію, то онъ откровенно назвалъ ихъ фофанами. И къ довершенію всего, мысль объ изданіи газеты не только не оставила его, но даже вполнѣ въ немъ созрѣла, такъ что однажды онъ совсѣмъ уже грубо сказалъ дядѣ:—„Что же, дядя? Надумались вы насчетъ газеты? Предупреждаю васъ, что если вы будете мямлить, то я рѣшусь издавать одинъ!“— Тогда дядя понялъ, что времена созрѣли, и, призвавъ на помощь всю силу родственной любви, на которую было способно его сердце, онъ воскликнулъ: „Ну, Саша, воля твоя, а, въ видахъ твоего же собственнаго спасенія, я долженъ высѣчь тебя“. Не напоминаетъ ли вамъ только-что разсказанная эпопея Салтыкова французскій водевиль добраго стараго времени? Рецептъ для составленія такого водевиля первобытно простъ, но необходимо имѣть особенно напра-

вленное воображеніе, чтобы удовлетворительно выполнить его. Французскій водевилистъ беретъ какое-нибудь, вообще, жизненное положеніе между двумя-тремя лицами и, не задаваясь никакими цѣлями, кромѣ желанія посмѣшить публику, выводитъ съ прямолинейною логикой различныя комическія послѣдствія изъ такого положенія. Эти комическія послѣдствія имѣютъ особенный характеръ; при богатомъ логическомъ воображеніи, автору легко громоздить нелѣпость на нелѣпость; онъ не стѣсняется логикой вещей и явленій, онъ только озабоченъ логикой словъ; ему нѣтъ никакого дѣла до вѣрнаго изображенія дѣйствительности, онъ занятъ лишь тѣмъ, чтобы положенія, столкновенія, событія выходили по возможности смѣшнѣе и остроумнѣе. Въ цѣломъ получается какая-то удивительная нелѣпость, но эта нелѣпость невольно смѣшитъ. При талантѣ и нѣкоторомъ умѣніи,—такъ какъ въ основѣ этой нелѣпости все-таки лежитъ вѣрное жизненное положеніе,—въ общемъ, водевиль можетъ показаться сатирой на извѣстное соціальное явленіе; но въ дѣйствительности эта сатира—только въ словахъ, а не въ содержаніи. Не то же ли самое можно сказать буквально объ разсказанной нами эпопеѣ Салтыкова и о большинствѣ его сатирическихъ очерковъ? Безспорно, эта эпопея чрезвычайно талантливо написана; въ основѣ, она, можно даже сказать, затрогиваетъ самыя больныя струны нашей дѣйствительности и опредѣляетъ характеръ нашего толченія воды. Но неясность выраженій, неопредѣленность образовъ и тутъ поражаютъ вниманіе читателя; кажется, что авторъ намѣренно избѣгаетъ говорить прямо и поминутно обращается къ метафорамъ, къ страннымъ изворотамъ мысли. Безъ всякаго сомнѣнія, такой характеръ русской сатиры отчасти, по крайней мѣрѣ, объясняется не только индивидуальными свойствами сатирика, но также и общими условіями русской дѣйствительности, которая накладываетъ на писателя извѣстную печать, сѣрый тонъ, туманныя, неопредѣленныя краски. Съ другой стороны, русская сатира,—самымъ выдающимся представителемъ которой въ наше время является Салтыковъ,—характеризуя этимъ эзоповскимъ пріемомъ русскую дѣйствительность, ограничивается общими положеніями, общими выводами, общими мѣстами, что́ придаетъ ей еще бо́льшую неопредѣленность и неясность, и никогда не касается конкретныхъ явленій. Если въ этой сатирѣ являются „герои“,

то опять-таки въ формѣ и въ характеристикѣ общихъ типовъ, а не конкретныхъ изображеній и характеровъ,—въ противоположность англійской сатирѣ, которая тщательно избѣгаетъ общихъ мѣстъ, отвлеченностей, а прямо и смѣло указываетъ на лица. Но, конечно, заявлять русской сатирѣ такія же требованія, какія мы заявляемъ сатирѣ англійской, было бы нелѣпо и несправедливо. Требовать, чтобы Салтыковъ говорилъ тѣмъ же языкомъ, какимъ говорилъ Свифтъ, значитъ не принимать во вниманіе условій русской дѣйствительности; а какова эта дѣйствительность—ясно видно изъ сопоставленій двухъ эпохъ и двухъ цивилизацій. Свифтъ писалъ въ XVIII столѣтіи, въ царствованіе королевы Анны и Георга II, въ эпоху полнѣйшей реакціи; Салтыковъ, слава Богу, писалъ въ концѣ XIX вѣка, писалъ во время и послѣ величайшихъ реформъ въ Россіи, реформъ, какими рѣдко ознаменовывалась исторія Европы. И, при всемъ томъ, Салтыковъ выражался езоповскимъ языкомъ, хотя еще полтораста лѣтъ тому назадъ Свифтъ нисколько не стѣснялся говорить языкомъ человѣческимъ. Этого сопоставленія, думаю, достаточно, чтобы освѣтить надлежащимъ свѣтомъ русскую дѣйствительность и англійское прошлое. И какую картину рисуетъ намъ Салтыковъ? Не дополняетъ ли онъ этого сопоставленія?

„По крайней мѣрѣ, мнѣ лично, -говоритъ онъ,- по временамъ начинаетъ казаться, что я стою у порога какой-то загадочной храмины, на дверяхъ которой написано: „галиматья". И стою я у этихъ дверей какъ прикованный, и не могу отойти отъ нихъ, хотя оттуда такъ и обдаетъ меня гнилымъ позоромъ взаимной травли и междоусобія. Тамъ, за этими дверьми, мечутся обезумѣвшія отъ злобы сонмища добровольцевъ-соглядатаевъ, пугая другъ-друга фантастическими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, усиливаясь отыскать какую-то мудреную комбинацію, въ которой они могли бы утолить гнетущую ихъ панику, и ничего не обрѣтая. Злые сердцемъ, нищіе духомъ, жестокіе, но безразсудные, они признаютъ только требованія своего темперамента, но не могутъ выяснить ни объекта своихъ ненавистей, ни способовъ отмщенія. Все въ этомъ соглядатайственномъ мірѣ загадочно: и люди и дѣйствія. Люди—это тѣ же камни, которые когда-то сѣялъ Девкаліонъ *) и которые, на зло волшебству, какъ были камнями, такъ и остались ими. Дѣйствія этихъ людей—каменные осколки, невѣдомо откуда брошенные, невѣдомо куда и въ кого направленные. Въ пустотѣ родилась ихъ злоба, въ пустотѣ она и потонетъ. Но—увы!—не потонетъ смута, которую ея безсмысленное шипѣніе внѣдрило въ человѣческія сердца!"

*) Девкаліонъ—сынъ Прометея, по преданію грековъ, послѣ потопа бросалъ черезъ себя камни, которые превращались въ людей. *Н. Д.*

Такова картина, представляющаяся нашему сатирику. Не провѣрять ее мы можемъ, а лишь сознавать и чувствовать по гнетущему насъ состоянію, и если краски ея нѣсколько и шаржированы, то общій тонъ, несомнѣнно, вѣренъ дѣйствительности. Но, во всякомъ случаѣ, не слѣдуетъ ли удивляться великому таланту, который, среди подобной дѣйствительности, не имѣя привилегій современнаго англійскаго общества и даже временъ Свифта—такими рѣзкими эскизными чертами, съ такимъ глубокимъ пониманіемъ характеризуетъ цѣлую общественную эпоху? Конечно такъ, и въ этомъ отношеніи мы причисляемъ себя къ самымъ искреннимъ поклонникамъ Салтыкова. Но здѣсь мы ведемъ рѣчь не о русской дѣйствительности, а о русскомъ сатирикѣ. На его талантъ русская дѣйствительность могла, такъ или иначе, вліять, могла направить его въ ту или другую сторону, но, тѣмъ не менѣе, этотъ талантъ имѣетъ свои основныя особенности, и ихъ-то именно мы стараемся здѣсь выдѣлить. Мы уже указывали на эти особенности, но не коснулись еще самой существенной черты таланта Салтыкова. Эта черта сдѣлается ясною, благодаря сравненію. Почти двѣсти лѣтъ прошло со смерти величайшаго англійскаго сатирика—Свифта, а и теперь еще нельзя безъ особеннаго волненія читать его „Сказку о бочкѣ", „Путешествіе Гулливера", его мелкихъ памфлетовъ, его „Скромнаго предложенія". Въ чемъ заключается механизмъ, если можно такъ выразиться, шутки Свифта? Эта шутка—не что иное, какъ совершенно научное и серіозное опроверженіе или доказательство ad absurdum [1]). Такъ, напримѣръ, его—„Искусство проваливаться въ поэзіи" имѣетъ всю внѣшность хорошаго руководства къ риторикѣ: принципы установлены, раціональность подраздѣленій доказана, примѣры приведены мѣтко и доказательно; это—совершеннѣйшій трезвый разумъ, отданный въ услуги сумасбродству. Нѣтъ ничего сильнѣе и доказательнѣе, какъ разсужденіе, въ которомъ Свифтъ доказываетъ, что одна изъ шутокъ Попе есть кровавый памфлетъ на религію и государство. Его „Искусство лгать въ политикѣ"—полный дидактическій трактатъ. „Въ первой главѣ этого превосходнаго трактата,—говоритъ Свифтъ въ предисловіи,—авторъ разсматриваетъ философически натуру человѣческой души и тѣ свойства,

[1]) Приведеніе къ нелѣпому выводу.

которыя дѣлаютъ ее способною ко лжи. Онъ предполагаетъ, что душа похожа на speculum или плоско-цилиндрическое зеркало, въ которомъ плоская сторона представляетъ предметы такими, каковы они въ дѣйствительности, цилиндрическая же сторона, согласно законамъ катоптрики [1]), должна представлять истинные предметы ложными, а ложные—истинными. Во второй главѣ онъ говоритъ о натурѣ лжи политической. Въ третьей—о законности лжи политической. Четвертая глава почти цѣликомъ посвящена вопросу: право создавать политическую ложь принадлежитъ ли исключительно одному правительству?" Читатель видитъ, что пріемъ Свифта—тотъ же пріемъ, который употребляетъ Салтыковъ. И нашъ сатирикъ сплошь и рядомъ прибѣгаетъ къ опроверженію ad absurdum. Разница замѣчается только въ томъ, что у Свифта этотъ пріемъ вытекаетъ непосредственно изъ склада ума, а у Салтыкова онъ выработался медленно, благодаря извѣстнымъ внѣшнимъ побужденіямъ. Отсюда разница и во впечатлѣніи. Положительный умъ Свифта слишкомъ солиденъ, чтобы быть, просто, веселымъ. Когда онъ встрѣчаетъ смѣшное, то не развлекается имъ, не забавляется тѣмъ, чтобы задѣть его слегка, а изучаетъ серіозно, по всѣмъ законамъ индуктивнаго метода, и на основаніи вполнѣ вѣрнаго силлогизма выводитъ всѣ нелѣпыя или отвратительныя заключенія, какія только могутъ быть сдѣланы. Напротивъ того, умъ Салтыкова настроенъ поэтически, его воображеніе не довольствуется логическими выводами. Вслѣдствіе этого, сатира Свифта безпощадна, неумолима; у Салтыкова —она слаба, недостаточно опредѣленна, или превращается въ буфонаду, которая болѣе смѣшитъ, чѣмъ возмущаетъ. Вспомните, напримѣръ, его *Игрушечныхъ дѣлъ людишки.* Этотъ очеркъ задуманъ по методу Свифта: шутка, сведенная на опроверженіе ad absurdum; но нашъ сатирикъ не совладалъ съ этою формой, которая требуетъ такого положительнаго англійскаго ума, какой былъ у Свифта. Салтыковъ на половинѣ принужденъ былъ оставить форму и просто разсказать нѣсколько шутовскихъ сценъ, гдѣ дѣйствуютъ коллежскіе асессоры и подьячіе. Впечатлѣніе, такимъ образомъ, получается слабое, скорѣе веселое, чѣмъ возмущающее душу,—тѣмъ болѣе слабое, что сатирикъ оставляетъ въ концѣ-

[1]) Часть оптики, разсматривающая явленія отраженнаго свѣта.

концовъ даже простую беллетристическую форму и принимается разсуждать, т.-е. объяснять читателю значеніе своей сатиры. Въ англійскомъ смыслѣ слова, юморъ есть способность создавать драму изъ однѣхъ лишь комическихъ деталей. *Тэнъ* слѣдующимъ образомъ опредѣляетъ юморъ: „Этотъ талантъ (талантъ юмориста), между прочимъ, основанъ на предрасположеніи къ контрастамъ. Свифтъ издѣвается съ самимъ серіознымъ видомъ и развиваетъ съ невозмутимо-серіозною миной самыя нелѣпыя предположенія. Гамлетъ, въ отчаяніи, подъ давленіемъ ужаса, придумываетъ самыя смѣшныя шутки. Гейне издѣвается надъ своими собственными чувствами въ ту самую минуту, когда сознаетъ ихъ въ себѣ. Юмористы любятъ переодѣваніе, напяливаютъ тогу на смѣшныя мысли и шапку арлекина на явленія самыя серіозныя... Особенною чертой юмора является возникновеніе самой внезапной смѣшливости, погребенной, такъ-сказать, подъ цѣлою кучей печали. Является цинизмъ. Физическая природа, скрытая и подавленная привычкой къ грустнымъ размышленіямъ,—на секунду совершенно разоблачается: вы видите гримасу, жестъ уличнаго мальчишки; потомъ все исчезаетъ подъ приличною серіозностью. Прибавьте къ этому взрывы богатой творческой фантазіи. Въ юмористѣ всегда кроется поэтъ...“. *Карлейль*, со своей стороны, говоря о Жанъ-Поль Рихтерѣ, даетъ нѣсколько другое опредѣленіе юмора: „Настоящій юморъ, юморъ Сервантеса и Стерна, исходитъ больше изъ сердца, чѣмъ изъ головы... Это точно бальзамъ, накладываемый великодушнымъ человѣкомъ на язвы жизни. Такимъ образомъ понимаемый юморъ можетъ существовать рядомъ съ самыми возвышенными, съ самыми трогательными чувствами, или, вѣрнѣе, онъ не можетъ существовать безъ этихъ чувствъ... Какой-нибудь нелѣпый случай останавливаетъ ваше вниманіе: вы улыбаетесь, глядя на него, но улыбкой болѣе грустною, чѣмъ слеза, и эти нѣсколько словъ безъ всякой претензіи глубже проникаютъ въ нашу душу, чѣмъ цѣлые томы пошлой чувствительности. Любимые герои Жанъ-Поль Рихтера всегда нѣсколько пошловаты, въ ситуаціяхъ ли, или по характеру; очень часто это люди заурядные, тщеславные, невѣжественные, слабые, и мы не знаемъ, за что ихъ любимъ, но, тѣмъ не менѣе, любимъ. Они, такъ-сказать, влѣзаютъ въ наши привязанности; въ сердцѣ своемъ мы

удѣляемъ имъ мѣсто болѣе интимное, чѣмъ многимъ знаменитымъ героямъ трагедій и исторіи; въ этомъ и заключается особенность настоящаго юмора". Мнѣнія Тэна и Карлейля не исчерпываютъ всей сущности юмора, но указываютъ на существенную черту его. Этою чертой объясняется, отчасти, и манера Салтыкова: онъ юмористъ, но далеко не въ полномъ значеніи этого слова. Онъ, подобно всякому юмористу, любитъ логическіе контрасты, комическія сопоставленія; его воображеніе, какъ мы видѣли, зачастую настолько разыгрывается, что переходитъ въ фарсъ, въ буфонаду; къ тому же, опять-таки, какъ и всякій юмористъ, онъ отчасти циникъ; но въ немъ нѣтъ теплоты, сердечности чувства, возвышенной любви къ людямъ; онъ вышучиваетъ холодно, сухо; въ его ненависти нѣтъ элемента любви. И въ этомъ отношеніи онъ—не полный юмористъ, какимъ былъ, напримѣръ, Гоголь. Остановимся, однако, на чертѣ юмора, о которой я только что упомянулъ и которая существуетъ также и у Салтыкова: на цинизмѣ. По временамъ онъ — циникъ, и циникъ довольно откровенный, но его цинизмъ имѣетъ своеобразный оттѣнокъ. Прежде, однако, чѣмъ указать на этотъ оттѣнокъ, я принужденъ привести образчикъ манеры Салтыкова. У нашего сатирика есть очень талантливый разсказъ подъ заглавіемъ: *Рѣшеніе*. Салтыковъ описываетъ судьбу двухъ сестеръ-дѣвицъ, вышедшихъ изъ помѣщичьей среды и сдѣлавшихся провинціальными актрисами. Любинька гораздо скорѣе поддалась соблазнамъ, чѣмъ Аннинька. Зато авторъ весьма подробно разсказываетъ исторію паденія Анниньки; можно даже сказать, что весь разсказъ заключается въ исторіи этого паденія. И какими красками оно описано! Какъ мелокъ и наивенъ показался бы въ сравненіи съ этимъ разсказомъ любой романъ Золá! Замѣтивъ роскошь Любиньки, Аннинька разсердилась: на нее начало находить нѣчто въ родѣ отчаянія, тѣмъ болѣе, что въ ея номеръ каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержанія: „Перикола! Покорись! Твой Кукишевъ". И вотъ, въ эту тяжелую минуту къ ней совершенно неожиданно ворвалась Любинька.

„Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь?" спросила она коротко. Аннинька оторопѣла. Прежде всего ее поразило, что Вопланскій батюшка и Любинька въ одинаковомъ смыслѣ употребляютъ слово „сокровище". Только батюшка видитъ въ сокровищѣ „основу",

а Любинька смотритъ на него, какъ на пустое дѣло, отъ котораго, впрочемъ, „подлецы-мужчины“ способны доходить до одурѣнія. Затѣмъ она невольно спросила себя: что такое въ самомъ дѣлѣ это сокровище и стоитъ ли беречь его? - и увы! не нашла на этотъ вопросъ удовлетворительнаго отвѣта. Съ одной стороны, какъ-будто совѣстно остаться безъ сокровища, а съ другой... ахъ, чортъ побери! да неужели же весь смыслъ, вся заслуга жизни въ томъ только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?“

Передавать дальше разсказъ, думаю, будетъ излишнее. Нельзя, однако, не замѣтить, что откровенность Салтыкова и откровенность Зола́ нѣсколько различны. Салтыковъ гораздо рѣже употребляетъ циническія выраженія, чѣмъ Зола́,—въ этомъ надо отдать ему полную справедливость. И въ самомъ дѣлѣ: что такое слова: сокровище или лахань, взятые сами-по-себѣ? Ничего циничнаго эти слова не представляютъ. Не то у Зола́: французскій романистъ то и дѣло употребляетъ грязныя выраженія, именно грязныя, и до такой степени неприличныя, что въ переводѣ приходится устранять ихъ. Но затѣмъ *разсказъ* Зола́ нисколько нецениченъ: онъ только реально описываетъ жизнь, какою она является въ дѣйствительности, нисколько не желая украшать описаній или придавать имъ соль, не имѣющую ничего общаго съ реалистическимъ направленіемъ. Салтыковъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ: грязныхъ выраженій онъ, правда, употребляетъ мало; зато всѣ его описанія такъ игривы, въ нихъ такъ много соли, что описаніе возбуждаетъ не ужасъ, не отвращеніе, какъ у Зола́, а просто сладострастную улыбку. Разсказъ построенъ на трагической нотѣ. И въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть трагичнѣе и печальнѣе постепеннаго паденія молодой дѣвушки,—паденія грязнаго, унизительнаго, безъ идеаловъ, безъ порывовъ, безъ увлеченій, изъ-за куска хлѣба или нѣсколькихъ кредитныхъ билетовъ? А между тѣмъ, этотъ трагизмъ нисколько незамѣтенъ въ разсказѣ Салтыкова: до такой степени нашъ сатирикъ разсказываетъ не реалистически-правдиво, а игриво, съ цѣлью при случаѣ двусмысленно сострить. Къ тому же порядку „откровенныхъ“ произведеній принадлежатъ и *Андроны* Салтыкова. Въ свое время *Андроны* даже вызвали въ русской журналистикѣ нѣкоторый протестъ и, именно, вслѣдствіе непристойности ихъ содержанія нашего сатирика обвиняли въ безнравственности и цинизмѣ, въ томъ, что онъ низводитъ свой крупный та-

лантъ на степень порнографическаго шаржа. Все это можно было бы, до извѣстной степени, объяснить простымъ лицемѣріемъ, которымъ русское общество страдаетъ не меньше, чѣмъ англійское во время лорда Байрона. Но какъ объяснить „патріотическое“ возбужденіе, вызванное Салтыковымъ? Зачѣмъ, спрашивали, Салтыковъ принялся сочинять скабрезные анекдоты? Чтó руководило имъ? Онъ говоритъ: „По Сенькѣ шапка“. Кто жъ, по его мнѣнію, является въ данномъ случаѣ Сенькою? Русское общество,—не такъ ли? Значитъ, русское общество достойно только скабрезнаго анекдота, до него только оно и доросло? Такимъ образомъ, становясь на эту точку зрѣнія, вопросъ объ *Андронахъ* выросъ до степени вопроса государственнаго, и Салтыкова обвиняли чуть ли не въ государственномъ преступленіи. Его обвиняли, во всякомъ случаѣ, въ неуваженіи къ русскому обществу, въ пренебрежительномъ отношеніи къ нему, въ желаніи уязвить бездушіе и апатію этого общества. Обвиненія этого, однако, Салтыковъ не испугался. Не испугался онъ его, между прочимъ, по той причинѣ, что грѣхи эти водились за нимъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ взялъ перо въ руки. Онъ всегда былъ безпощаднымъ сатирикомъ русскаго общества. Въ предисловіи ко второму „Пошехонскому“ вечеру, Салтыковъ писалъ:

„Съ легкомысліемъ, достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фейера, хищничество Дерунова и Разуваева, любострастіе майора Прыща, безсмысленное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч. и, сознаюсь откровенно, почти никогда не приходило мнѣ на мысль, что рядомъ съ Фейерами, Прыщами, Угрюмъ-Бурчеевыми существуютъ Правдины, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило, чтобы я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, но потому, что мнѣ всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ какъ-то сомнительно, какъ-будто не знаютъ, дѣйствительно ли они люди, а не призраки. Говорить начнутъ—словно ихъ тошнитъ; къ дѣлу приступятся—словно веревки во снѣ вьютъ. Но въ особенности меня ставило втупикъ ихъ роковое отношеніе къ населяющимъ землю Простаковымъ и Скотининымъ, отношеніе, не выразившееся не только ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и ни однимъ искреннимъ словомъ. Вѣдь, эти Правдины, говорилъ я себѣ, не какіе-нибудь обдѣленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а такіе же сильные міра, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотрѣть на всевозможныя безчинства и даже злодѣйства необузданныхъ дикарей и ограничиваются только тѣмъ, что пробормочутъ въ сторону номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами гнусностей! Какъ хотите, а это неестественно; а потому мнѣ казались сомнительными и самые Правдины, хоть я и зналъ, что они не только существуютъ, но и пользуются особымъ отъ начальства довѣріемъ. Они никого не трогаютъ,—

вотъ ихъ главное право на почетную роль въ обществѣ и, въ то же время, ихъ жизненный девизъ. Они добродѣтельны, правдивы и здравомысленны—для себя, другимъ же отъ такихъ похвальныхъ ихъ качествъ ни тепло ни холодно. И бродятъ они безъ пользы по свѣту, получая присвоенные никого нетрогающимъ людямъ чины и ордена".

Это настоящая profession de foi писателя, который тутъ, со свойственнымъ ему остроуміемъ, объясняетъ свои всегдашнія отношенія къ тому, что онъ, въ другомъ мѣстѣ, называетъ „порядкомъ вещей". Но, и помимо этого запоздалаго сознанія, вырвавшагося изъ-подъ пера Салтыкова, всякій читатель, слѣдившій за литературною дѣятельностью его, могъ давно уже догадаться, что значеніе его сатиры заключается, именно, въ этомъ, а не въ чемъ-либо другомъ. Болѣе тридцати почти лѣтъ Салтыковъ неутомимо издѣвался надъ Правдинымъ, въ такой же мѣрѣ, какъ и надъ Скотининымъ. Но въ этой неутомимой дѣятельности поражаетъ одна особенность, едва ли имѣвшая мѣсто въ жизни и дѣятельности какого-либо другого сатирика. Долгое время Салтыковъ былъ, можно сказать, любимцемъ русскаго общества; онъ читался не только съ интересомъ, но и съ участіемъ; между русскимъ обществомъ и Салтыковымъ и образовалось нѣчто въ родѣ entente cordiale[1]) дипломатовъ: всѣ принимали на вѣру сатирическія выходки Салтыкова, не подвергая сомнѣнію правдивость его изображеній. Даже Скотинины и Разуваевы, надъ которыми изощрялъ свое остроуміе сатирикъ, не только не сердились, но даже не будировали его; они первые смѣялись самымъ добродушнымъ образомъ надъ своими собственными изображеніями и не обижались на сатирика. Салтыковъ, такъ или иначе, разгонялъ русскую скуку и тоску, и никто не хотѣлъ понять, какъ много желчи и негодованія скрывалось подъ этимъ остроуміемъ,—я уже указывалъ на эту особенность. И дѣйствительно, нельзя не замѣтить, что сатирикъ, возбуждающій одинъ только взрывъ добродушнаго хохота,—уже не сатирикъ, а просто добродушный юмористъ. Возьмите хоть бы тѣхъ же *Андроновъ*. Въ самомъ дѣлѣ, что́ такое эти разсказы, эти скабрезные анекдоты, какъ не взрывъ добродушнаго смѣха надъ собой и надъ обществомъ, взятымъ en masse. Но странно то, что ни Прыщи, ни Угрюмъ-Бурчеевы, ни помпадуры, ни Ѳеденьки, изображаемые Салтыковымъ, прежде не возбуждали ничего, кромѣ смѣха, даже

[1]) Дружеское пониманіе.

сдѣлали Салтыкова популярнымъ, а *Андроны*, въ которыхъ Салтыковъ дѣйствительно хотѣлъ только посмѣяться, возбудили вдругъ, ни съ того ни съ сего, взрывъ негодованія. Какъ это объяснить, если не лицемѣріемъ самаго дурного тона? Эти разсказы, или анекдоты, созданы тѣмъ же самымъ творческимъ пріемомъ, который всегда замѣтенъ у Салтыкова. Это фантастическіе разсказы, несомнѣнно, взятые изъ самой непосредственной дѣйствительности, выполненные съ мастерствомъ, по временамъ поразительнымъ. Но если въ нихъ трудно замѣтить сатиру, то, тѣмъ не менѣе, въ нихъ ярко выступаетъ вышучиваніе. Именно вышучиваніе, а не насмѣшка. Салтыковъ иронизируетъ въ нихъ не надъ русскимъ обществомъ, а надъ нѣкоторыми русскими умственными привычками, и это ему лучше извѣстно, чѣмъ всякому другому русскому писателю. Въ *Андронахъ*, на мой взглядъ, выразился довольно ярко художественный темпераментъ Салтыкова. Этотъ темпераментъ дѣлаетъ его однимъ изъ лучшихъ и оригинальнѣйшихъ юмористовъ въ русскомъ смыслѣ, но умаляетъ его значеніе, какъ сатирика. Для того, чтобы быть настоящимъ сатирикомъ, ему (за весьма рѣдкими исключеніями) недостаетъ ѣдкости и—скажемъ прямо—негодованія на отрицательныя стороны жизни. Онъ недостаточно спокоенъ, чтобы быть внимательнымъ изслѣдователемъ „язвъ"; онъ слишкомъ поэтъ и художникъ, чтобы быть только моралистомъ и—какъ это ни кажется страннымъ—слишкомъ благодушенъ по натурѣ, чтобы быть сатирикомъ. Воскресите въ памяти всѣ наиболѣе удавшіеся типы Салтыкова, типы прокуроровъ, адвокатовъ, чиновниковъ, „помпадуровъ", „ташкентцевъ", Разуваевыхъ, Удавовъ и Дыбъ,—что́ въ концѣ-концовъ найдете вы въ нихъ подъ толстою скорлупой невѣжества, дрянности, пошлости и наивности?—Вы найдете добродушіе и наивность, свойственныя по преимуществу натурамъ не культивированнымъ, первобытнымъ, творящимъ зло, не вѣдая того, что́ творятъ, „непосредственно" ворующимъ, потому что плохо лежитъ, „непосредственно" берущимъ взятки потому что даютъ и т. д. Это ли настоящая сатира, претендующая на практическое, морализующее вліяніе? Въ этомъ смыслѣ можно сказать, что Салтыковъ не столько сатирикъ, сколько карикатуристъ. Настоящая сатира, сарказмъ, серіозная насмѣшка всегда вызываютъ чувство негодованія, разочарованія. Свифтъ, Ювеналъ, Поль-Луи Курье, Жанъ-Поль

Рихтеръ такъ же желчны, какъ Фильдингъ [1]) или Байронъ. Конечно, картины и изображенія ихъ вызываютъ громкій смѣхъ, но не тотъ добродушный и невинный хохотъ, которымъ смѣется публика пале-рояльскаго театра. За сатирическимъ хохотомъ всегда скрывается горькое чувство постыдной или позорной дѣйствительности. Въ сущности, между карикатурой для карикатуры и настоящею сатирой разница заключается лишь въ томъ, что чрезмѣрно увеличенная черта дѣйствительности, давая слишкомъ большую волю фантазіи, этимъ самымъ уменьшаетъ впечатлѣніе, которое карикатуристъ желаетъ произвести. Все вниманіе читателя или зрителя устремлено на преувеличенный уродливыми формами контрастъ, возбуждающій безотчетный смѣхъ, такъ что объектъ художника уходитъ на второй планъ и теряется въ этихъ уродливыхъ формахъ. Между тѣмъ, болѣе сдержанный, менѣе возбужденный сатирикъ, никогда не упуская изъ виду своей цѣли, преувеличиваетъ лишь настолько, насколько это ему нужно. Для того, чтобы сдѣлать рельефнѣе или ярче смѣшную или позорную черту, онъ въ извѣстной мѣрѣ преувеличиваетъ ее, въ извѣстной мѣрѣ искажаетъ отношенія, но лишь настолько, насколько это нужно, чтобы изобразить черту во всей ея непосредственности. Такимъ образомъ смѣхъ, возбужденный сатирикомъ, не есть смѣхъ для смѣха, а является результатомъ серіознаго, иногда мрачнаго отношенія къ дѣйствительности. Салтыковъ только отчасти выполняетъ эти требованія настоящей сатиры. Въ его сатирахъ много преувеличиваній, шаржа, даже шутовства. Читая Салтыкова, по временамъ кажется, что мы присутствуемъ на представленіи водевиля въ пале-рояльскомъ театрѣ, когда и авторы и актеры задались исключительною цѣлью смѣшить публику во что бы то ни стало: они махнули рукой на правдоподобіе и на правду; они не стѣсняются противорѣчіями и невѣроятностями; они нагромождаютъ нелѣпость на нелѣпость, придумываютъ всевозможныя положенія, шутовскія выходки, комическіе контрасты, — и все это съ единственною цѣлью посмѣшить добродушныхъ буржуа. Но изъ-за всего этого выдѣляется общій фонъ картины, въ сущности, вѣрно схваченный. Существуетъ, однако, разница между французскимъ водевилемъ и сатирическимъ очер-

[1]) Лучшій англійскій юмористъ XVIII вѣка. *Н. Д.*

комъ Салтыкова. Оба возбуждаютъ смѣхъ, беззаботный и безотчетный, менѣе всего желчный и злобный, а между тѣмъ французскій водевиль имѣетъ цѣлью лишь смѣшить, въ то время какъ Салтыковъ имѣетъ цѣли сатирическія и желалъ бы возбудить скорѣе негодованіе, чѣмъ смѣхъ. Къ тому же авторъ водевиля, въ качествѣ легкомысленнаго француза, смотритъ на жизнь радостно, весело, безъ заднихъ мыслей, безъ злобы, находя, по примѣру Вольтера, что въ этомъ лучшемъ изъ міровъ все идетъ къ лучшему. У Салтыкова, наоборотъ, взглядъ по преимуществу пессимистическій, который укладывается, однакожъ, въ водевильныя формы. И дѣйствительно, *Салтыковъ — пессимистъ*; эта его черта была, какъ кажется, мало подмѣчена, а между тѣмъ она составляетъ существенную особенность его таланта. Салтыковъ — безнадежный пессимистъ, безъ всякихъ горизонтовъ, безповоротный пессимистъ, у котораго нѣтъ и не можетъ быть никакихъ идеаловъ. Русскую исторію онъ осмѣялъ въ *Исторіи одного города*; извѣстную часть русской администраціи—въ *Помпадурахъ*; извѣстные типы, въ изобиліи производимые русскимъ обществомъ, въ *Ташкентцахъ приготовительнаго класса*; адвокатовъ и адвокатуру — въ разнаго рода Балалайкиныхъ. Даже женскаго вопроса не обошелъ онъ молчаніемъ. Наконецъ, все русское общество огуломъ было осмѣиваемо имъ въ массѣ очерковъ и сатиръ; онъ даже остроумно посмѣялся надъ самимъ собою или, вѣрнѣе, надъ культурнымъ русскимъ человѣкомъ сороковыхъ годовъ, живущимъ устарѣлыми, нѣсколько сентиментальными идеалами, человѣкомъ, который съ недоумѣніемъ видитъ свое безпомощное, одинокое положеніе среди всякаго рода Разуваевыхъ и Колупаевыхъ, являющихся съ ихъ кровожадными инстинктами на смѣну его,—носителя гуманныхъ идеаловъ, хотя и съ примѣсью сентиментализма. Еще ярче этотъ пессимизмъ выступилъ въ его очеркахъ: *За рубежомъ*. Тутъ Салтыковъ говорилъ проще, яснѣе, безъ обычныхъ его метафоръ и иносказаній. Словомъ, Салтыковъ всегда смотрѣлъ на русское общество съ большимъ пессимизмомъ, если не съ полнѣйшею безнадежностью. Если его взглядъ очистить отъ сатирическихъ и водевильныхъ выходокъ и беллетрическихъ прикрасъ, то, въ концѣ-концовъ, останется взглядъ человѣка, извѣрившагося до полнѣйшей утраты всякой надежды на болѣе радостное будущее. Не

благодаря ли этому безнадежному пессимизму, въ послѣднихъ произведеніяхъ Салтыкова выступала все ярче и ярче трагическая нота? Говоря о его разсказѣ *Рѣшеніе*, я уже упомянулъ объ этой чертѣ. Развязка разсказа въ высшей степени трагична: обѣ сестры кончаютъ жизнь самоубійствомъ. Заключительная сцена написана поразительно-талантливо. Эта трагическая нота, въ особенности въ послѣдніе годы жизни Салтыкова, все больше и больше выступала, покрывая его остроуміе какимъ-то траурнымъ флеромъ. Въ этомъ отношеніи нашъ сатирикъ представляетъ крайне любопытное явленіе. Я бы прямо сказалъ, что ни у одного другого русскаго писателя не замѣчается такой рѣзкой трагической струны. Несмотря на свой неистощимый юморъ, несмотря на постоянное вышучиваніе, доходящее зачастую до самаго разнузданнаго фарса и шаржа, Салтыковъ на жизнь смотритъ чрезвычайно мрачно, не только не ожидая ничего отъ настоящаго, но не возлагая даже никакихъ надеждъ на будущее. Въ *Рѣшеніи* эти особенности чрезвычайно рѣзко выдѣляются. Идея о саморазрушеніи, о смерти на каждой строкѣ присутствуетъ въ этомъ разсказѣ, производя какое-то безотрадное и совершенно неизгладимое впечатлѣніе. „Съ какой стороны ни подойди, всѣ расчеты съ жизнью кончены. Жить—и мучительно и не нужно; всего нужнѣе было бы умереть, но бѣда въ томъ, что и смерть нейдетъ. Есть что-то измѣннически подлое въ этомъ озорливомъ замедленіи умиранія, когда смерть призывается всѣми силами души, а она только обольщаетъ и дразнитъ“... Эта черта трагизма, омрачавшая своимъ траурнымъ свѣтомъ душу потухавшаго Салтыкова, виднѣлась и прежде, — въ *Невинныхъ разсказахъ*, напримѣръ,—но выступила она на первый планъ только подъ конецъ жизни сатирика. Присутствіе этого трагизма не легко объяснить. Является ли онъ результатомъ или выводомъ изъ русской жизни, или же это—субъективное настроеніе, присущее натурѣ Салтыкова? Или, вѣрнѣе, не есть ли этотъ трагизмъ только окончательный плодъ его пессимизма? Пессимизмъ, по существу своему, есть такое міровоззрѣніе (или настроеніе), которое не допускаетъ никакого положительнаго, опредѣленнаго идеала. Слѣдствія такого настроенія, если оно органически связано съ натурой и темпераментомъ, понятны: безъ идеальныхъ стремленій нельзя жить, и если жить приходится, то неизбѣжно

является трагическій строй чувства. Такъ было со Свифтомъ; въ меньшей степени то же повторилось и съ Салтыковымъ. Дѣйствительно, онъ былъ чистокровный пессимистъ, это видно вполнѣ ясно и въ *Господахъ Головлевыхъ*, и въ *Исторіи одного города*, и въ лучшемъ предсмертномъ его произведеніи, въ *Пошехонской старинѣ*. Какіе идеалы найдете вы во всѣхъ этихъ и другихъ его произведеніяхъ? Во имя какого начала онъ казнилъ и вышучивалъ? Съ какими требованіями онъ выступалъ передъ русскимъ обществомъ? На всѣ эти вопросы, по здравомъ размышленіи, приходится отвѣчать отрицательно. Правда, въ русской критикѣ (въ особенности послѣдняго времени) указывалось на идеалъ Салтыкова: консерваторы видятъ въ немъ какого-то систематическаго ихъ противника, во имя освободительныхъ принциповъ; поклонники указываютъ на его любовь къ народу и къ молодежи. Едва ли нужно говорить, до какой степени всѣ эти мнѣнія и противорѣчивы, и не выдерживаютъ критики. Обратите вниманіе, что сатира Салтыкова захватила почти такой же широкій кругъ явленій, какъ и сатира Свифта. Подобно Свифту, онъ, конечно, не вышучивалъ ни науку, ни искусство, ни религію, ни человѣчество; но онъ относился отрицательно, съ сарказмомъ, ко всѣмъ, безусловно, явленіямъ русской жизни; не однихъ помпадуровъ и ташкентцевъ онъ хлесталъ своимъ сатирическимъ бичомъ: этотъ бичъ былъ направленъ и противъ другихъ явленій, къ какой бы категоріи соціальныхъ началъ эти явленія ни принадлежали; точно такъ же въ сатирѣ Салтыкова не замѣчается никакихъ положительныхъ требованій, которыя бы сатирикъ предъявлялъ русскому обществу. Салтыковъ, въ этомъ отношеніи, былъ не только скептикъ, но, видимо, не различалъ, по ихъ практическимъ слѣдствіямъ, самыхъ враждебныхъ началъ. Извѣстно, что въ комиссіи, учрежденной подъ предсѣдательствомъ графа Валуева для пересмотра законовъ о печати, Салтыковъ, приглашенный въ качествѣ „свѣдущаго человѣка“, сказалъ: „*Судебные* скорпіоны могутъ оказаться горше скорпіоновъ *административныхъ*“. Изъ этихъ словъ легко сообразить, имѣлъ ли Салтыковъ какую-либо опредѣленную политическую программу. Не тотъ же ли скептицизмъ и безнадежное равнодушіе звучатъ въ слѣдующихъ словахъ предисловія Салтыкова къ *Благонамѣреннымъ рѣчамъ*:

„Я родился въ атмосферѣ обузданія; я таинственною пуповиной прикрѣпленъ къ людямъ обузданія. Отъ раннихъ лѣтъ дѣтства я не слышу иныхъ разговоровъ, кромѣ разговоровъ объ обузданіи (хотя самое слово „обузданіе“ и не всегда въ нихъ упоминается), и полагаю, что эти разговоры проводятъ меня въ могилу. Все, относящееся до обузданія, вошло, такъ-сказать, въ интимную обстановку моей жизни, примелькалось, какъ плоскій русскій пейзажъ, прислушалось, какъ сказки старой няньки, и этого, мнѣ кажется, совершенно достаточно, чтобы объяснить то равнодушіе, съ которымъ я отношусь къ той обуздывательной средѣ и къ вопросамъ, ее волнующимъ. Я до такой степени *привыкъ* къ нимъ, что, право, не приходитъ даже на мысль вдумываться, въ чемъ собственно заключаются тѣ тонкости, которыми одинъ обуздывательный проектъ отличается отъ другого такого же. Спросите меня, что либеральнѣе: обуздать ли человѣчество при помощи земскихъ управъ или при помощи особыхъ о земскихъ повинностяхъ присутствій,—клянусь, я даже не найдусь отвѣтить на этотъ вопросъ“...

Также мало состоятельно мнѣніе и о любви Салтыкова къ народу и къ молодежи. Салтыковъ былъ слишкомъ умный человѣкъ, чтобы заниматься нелѣпымъ сентиментализмомъ. Народъ, какъ нѣчто отвлеченное, какъ принципъ, нельзя любить; можно любить только людей,—тѣ или другія индивидуальности; точно такъ же нельзя любить *вообще* молодежь, потому что среди молодежи есть люди всякаго сорта, и худые и хорошіе; но можно любить того или другого молодого человѣка, если онъ симпатиченъ, если онъ достоинъ любви. Такъ бы могъ отвѣчать Салтыковъ, если бы его спросили: любитъ ли онъ молодежь и народъ? Въ своихъ сатирическихъ очеркахъ онъ не разъ вышучивалъ и горько осмѣивалъ и такъ-называемый „народъ“ и такъ-называемую „молодежь“. И, конечно, былъ правъ,—пора, давно пора, разъ навсегда покончить съ этими псевдо-либеральными вокабулами, которыя только затемняютъ пониманіе дѣйствительности. Но если Салтыковъ не выступалъ съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ знаменемъ, не несъ съ собою никакого положительнаго идеала, осуществимаго и близкаго, то въ его сердцѣ, тѣмъ не менѣе, ярко горѣло природное, непосредственное чувство добра, красоты, правды и гуманности, какъ и у всякаго великаго писателя. Въ этомъ и заключается его „направленіе“. Этимъ онъ будетъ дорогъ русскому народу.

В. Чуйко.

Литературная дѣятельность Щедрина [1]).

Публицистическую, въ большинствѣ случаевъ безличную сатиру Щедрина скорѣе можно сближать съ сатирой Новикова и Радищева, или, вообще, съ сатирой Екатерининской (исключая, пожалуй, Фонвизина): и тамъ и здѣсь на первомъ планѣ общая картина, общее настроеніе общества въ данное время; и тамъ и здѣсь стремленіе къ кличкамъ, къ карикатурѣ, къ изобрѣтенію забористыхъ фамилій и стремленіе послѣдними характеризовать данное лицо. Расходясь съ своими великими предшественниками въ формѣ, манерѣ и художественномъ значеніи, Щедринъ, однако, въ одномъ отношеніи являлся ихъ достойнымъ послѣдователемъ: онъ сохранилъ въ своей дѣятельности тотъ просвѣтительный характеръ, который представляетъ замѣчательную особенность русской сатиры. Послѣдняя всегда боролась за просвѣщеніе, всегда боролась съ его врагами: Кантемиръ былъ горячимъ приверженцемъ петровскихъ реформъ; Новиковъ и Фонвизинъ были передовыми людьми царствованія Екатерины; Грибоѣдовъ преслѣдовалъ рутину, невѣжество и предразсудки подъ военнымъ и гражданскимъ мундиромъ, подъ фракомъ и бальнымъ платьемъ, оставаясь, вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрнымъ всему свѣтлому въ умственномъ движеніи первыхъ двухъ десятилѣтій нынѣшняго вѣка; Гоголь, наконецъ, нарисовалъ такую картину общественнаго застоя, которая безъ всякихъ комментаріевъ подсказывала настоятельную необходимость коренного обновленія, коренныхъ реформъ. Щедринъ въ теченіе всей своей долголѣтней плодовитой литературной дѣятельности проповѣдывалъ великіе принципы великихъ освободительныхъ реформъ, между которыми ярко горятъ лучезарныя цифры: „19-го февраля 1861 года“.

---

[1]) „Историческій Вѣстникъ“, 1889 г., 7 кн.

Въ сатирѣ Салтыкова отразилась русская общественная жизнь послѣднихъ десятилѣтій. Конечно, читатель пойметъ, что вся жизнь отразиться не могла, а только тѣ стороны ея, съ которыми сатирикъ былъ знакомъ, и которыя заслуживали сатирическаго воспроизведенія. До 1868 года литературная дѣятельность Салтыкова, за исключеніемъ *Губернскихъ очерковъ*, встрѣченныхъ восторженнымъ одобреніемъ, не представляетъ ничего особенно выдающагося. За этотъ періодъ времени написано нѣсколько разсказовъ, составившихъ два сборника подъ заглавіями: *Невинные разсказы* и *Сатиры въ прозѣ*. На этихъ трехъ произведеніяхъ отражается дореформенная Россія и эпоха первыхъ преобразованій; въ двухъ первыхъ произведеніяхъ преобладаетъ беллетрическая форма, выводятся на сцену, большею частью, отдѣльныя лица; сатиры же отличаются преимущественно характеромъ безличнымъ, публицистическимъ. Здѣсь чувствуется еще вліяніе Гоголя: дарованіе Салтыкова является не совсѣмъ еще окрѣпшимъ и не пріобрѣвшимъ того своеобразнаго колорита, который замѣчается во второмъ періодѣ. Изображеніе дореформенной Россіи гораздо глубже и разносторонне, чѣмъ изображеніе эпохи преобразованій, т.-е. *Губернскіе очерки* стоятъ гораздо выше, чѣмъ два остальные сборника разсказовъ.

Если картины дореформенной провинціальной жизни Салтыкова находятся въ тѣсной связи съ тѣми же картинами гоголевскими, то, съ другой стороны, несомнѣнно, что Салтыковъ въ значительной степени раздвинулъ гоголевскія рамки, нарисовавъ цѣлый рядъ народныхъ типовъ, сумѣвъ при этомъ взглянуть на нихъ не только съ внѣшней стороны, а заглянуть имъ глубоко въ душу. Фейеры, Живоглоты, Порфиріи Петровичи являются исправленными изданіями Сквозниковъ-Дмухановскихъ, Держимордъ, Чичиковыхъ. Но среди администраціи есть представители новыхъ вѣяній: это чиновники заѣзжіе, столичные просвѣтители провинціи, перестраивающіе все окружающее по своимъ кабинетнымъ соображеніямъ. Этотъ новый типъ особенно развитъ въ главѣ *Озорники* и въ главѣ *Надорванные*. Въ этихъ двухъ типахъ нельзя не видѣть прообразовъ ташкентцевъ и помпадуровъ.

„Je suis un homme comme il faut“,—такъ опредѣляетъ себя самъ *Озорникъ*: — „я хочу имѣть и хорошую сигару и стаканъ добраго шато-

дикема; я долженъ быть прилично одѣтымъ; мнѣ необходимо, чтобы у меня въ домѣ было все комфортабельно.—Ce gouvernement me doit tout cela... Говорятъ, будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы умѣть имъ управлять съ пользой. Mon cher, je vous dirai franchement que tout ça c'est des utopies. Какія могутъ тутъ быть нужды? Ну, я спрашиваю васъ? Знаетъ ли онъ, для чего ему нужна жизнь? Можетъ ли онъ понять, se faire une idée, о томъ, что такое назначеніе человѣка?.. Оглянитесь кругомъ себя—все, что вы ни видите, все это плоды администраціи: областныя учрежденія—плодъ администраціи, община—плодъ администраціи, торговля—плодъ администраціи, фабричная промышленность—плодъ администраціи".

Эти своеобразные взгляды на творческое всемогущество бюрократіи сходятся со взглядами позднѣйшихъ ташкентцевъ и помпадуровъ, прошедшихъ курсъ науки въ ресторанахъ Бореля и Донона. *Надорванный*,—Филоверитовъ, девизомъ своимъ избралъ служебный долгъ въ педантически-формальномъ смыслѣ, неукоснительность исполненія, сближающую его съ „ташкентцами-цивилизаторами".Филоверитовъ олицетворялъ собою, по желанію начальства, „собаку, которая сочла бы за удовольствіе закусать до смерти другихъ вредоносныхъ собакъ".—Кромѣ этихъ новыхъ бюрократическихъ типовъ, замѣчательны въ *Губернскихъ очеркахъ* типы талантливыхъ натуръ,—всѣхъ этихъ Лузгиныхъ, Корепановыхъ, Горехвастовыхъ—всѣхъ этихъ лишнихъ людей и Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда, стремящихся къ широкимъ задачамъ, а на дѣлѣ или мефистофельствующихъ, или спившихся съ кругу, или, наконецъ, пустившихся въ мошенничество.—Но выше всего, конечно, въ *Очеркахъ* изображеніе простого народа, чуждое и сентиментальничанья, и ложной идеализаціи. Народъ является въ щедринскихъ изображеніяхъ со всѣми своими недостатками, грубостью, неразвитостью: но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ вѣрно Салтыковъ сумѣлъ понять беззавѣтное, простое и глубокое чувство народа, хотя бы къ „несчастнымъ", глубокую вѣру этого народа, сильно окрашенную мистицизмомъ. Изъ трехъ главъ—*Богомольцы и странники*, *Въ острогѣ* и *Казусныя обстоятельства*—посвященныхъ народу, особенно замѣчательны двѣ первыя: въ *Богомольцахъ* Салтыковъ является родоначальникомъ тѣхъ разсказовъ изъ народной жизни, которые, напр., съ особенною любовью культивировалъ Мельниковъ (Печерскій),—во второй онъ предупредилъ Достоевскаго съ его „Записками изъ Мертваго Дома". У Щедрина развиты тѣ же черты, что и

у Достоевскаго; но послѣдній, конечно, могъ судить глубже, ибо могъ дольше и ближе наблюдать обитателей мертваго дома.

Въ *Очеркахъ* дѣйствіе происходитъ въ Крутогорскѣ; въ другихъ произведеніяхъ перваго періода Салтыковъ переноситъ дѣйствіе въ г. Глуповъ, который, повидимому, хочетъ сдѣлать такимъ же, въ своемъ родѣ, типическимъ представителемъ нашей эпохи возрожденія, какимъ Крутогорскъ былъ для дореформенной поры. Но это сатирику не удается. *Невинные разсказы* и *Сатиры въ прозѣ* заняты, по преимуществу, изображеніемъ эпохи „конфуза"; подъ этимъ конфузомъ разумѣется полнѣйшая неподготовленность многихъ дворянъ-помѣщиковъ, застигнутыхъ врасплохъ великимъ актомъ освобожденія. „Глуповцамъ" пришлось, такимъ образомъ, превратиться въ „умновцевъ". Эпоха нашего конфуза и среди дворянства-помѣщиковъ и среди бюрократовъ, вообще, нарисована Щедринымъ мастерски. Особенно хороши генералы Голубчиковъ, Зубатовъ, князь Оболдуй-Таракановъ, г-жа Падейкова, Кондратій Трифонычъ; хорошъ также разсказъ *Миша и Ваня*, гдѣ Щедринъ съ удивительною психологическою правдой рисуетъ двухъ мальчиковъ, доведенныхъ до отчаянія жестокою помѣщицей.

Ко второму періоду литературной дѣятельности Салтыкова должны быть отнесены пять слѣдующихъ сатирическихъ произведеній, вышедшихъ въ свѣтъ между 1868 г. и 1874 гг.: *Признаки времени и письма о провинціи*, *Дневникъ провинціала съ Петербургѣ*, *Господа Ташкентцы*, *Помпадуры и помпадурши* и *Исторія одного города*. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ (за исключеніемъ, пожалуй, послѣдняго, которое стоитъ особнякомъ) Салтыковъ касается различныхъ новыхъ явленій русской общественной жизни въ эпоху оскудѣнія реформъ, эпоху „подтягиванія", непосредственно примыкающую къ эпохѣ „конфуза". Въ помянутыхъ произведеніяхъ онъ касается и дворянства, выбитаго изъ сѣдла крестьянскимъ освобожденіемъ, и новыхъ типовъ бюрократовъ, и земства, суда, адвокатуры, политической печати и, наконецъ, положенія народа, „обывателя". Сатирическое изображеніе послѣдней стороны русской жизни принадлежитъ во второмъ періодѣ къ наиболѣе слабымъ изъ всѣхъ остальныхъ. Особенно же автору удались фигуры негодующихъ на освобожденіе дворянъ, фигуры Пафнутьевыхъ, отставныхъ

корнетовъ Толстолобовыхъ, помѣщиковъ Паскудниковыхъ, князей Оболдуй-Таракановыхъ и другихъ. Выведенные Щедринымъ дворяне выступаютъ съ цѣлымъ рядомъ „прожектовъ", одинъ остроумнѣе другого, имѣя въ виду возстановленіе упраздненныхъ правъ. Такъ, одни предлагаютъ оставить „ширь да высь —и больше ничего"; Петръ Толстолобовъ рекомендуетъ децентрализацію, при которой не было бы ни судовъ, ни палатъ, ни присутствій, а была бы „пустыня, въ которой бы рѣяли децентрализованные квартальные надзиратели изъ знающихъ обстоятельства помѣщиковъ": они бы били, испытывали и ссылали, потомъ наскоро подкрѣпляли силы холодными закусками и водкой, и опять били, испытывали и ссылали. Представлялись проекты „о необходимости оглушенія въ смыслѣ временнаго усыпленія чувствъ", „о переформированіи десіянсъ-академіи" и пр.

Нельзя не признать, что и бюрократія удалась Щедрину, хотя, быть-можетъ, и меньше дворянства. Клички „ташкентцевъ" и „помпадуровъ" сдѣлались нарицательными. Первые изображены лучше, чѣмъ вторые: въ изображеніи вторыхъ слишкомъ ужъ много шаржа, много фельетоннаго (половина книги), карикатуры и тенденціозныхъ преувеличеній (почти сплошная фантастическая карикатура *Помпадуръ борьбы*, гдѣ помпадурша, дѣвица Волшебнова, гарцуетъ, какъ новая Іоанна д'Аркъ, на вороном конѣ, „призывая всѣхъ къ покаянію и къ борьбѣ противъ матеріализма", а самъ помпадуръ отрекается отъ сатаны, и прочая фантасмагорія). Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и въ *Ташкентцахъ* есть весьма существенные недостатки,—и первый (главный) изъ нихъ—это широта и недостаточно опредѣленная обрисовка типа ташкентца вообще, и его разновидностей (подчасъ годящихся скорѣй въ помпадуры, какъ, напр., Nicolas Персіановъ и Миша Нагорновъ). Ташкентецъ—„веселонравный мужчина", девизъ котораго: жрать; онъ годится въ исполнители къ помпадуру; въ немъ соединяется „готовность" съ „талантливостью"; онъ готовъ и „птицу финикъ сыскать" и „статистику сочинитъ", а если, пожалуй, и не открыть Америки, то привести къ одному знаменателю всѣхъ Колумбовъ. Содержаніе и цѣль приказовъ, вдохновляющихъ ташкентца,—это le principe du stanovoy russe или le principe du télègue. Къ своимъ дѣяніямъ онъ относится съ точки зрѣнія чистоты,

отдѣлки; онъ летитъ, хватаетъ, ловитъ, скрежещетъ зубами, а въ сущности, онъ только веселонравный мужчина, которому хочется удивить вселенную своею стремительностью. Приступая къ своей дѣятельности, онъ сознаетъ, что передъ нимъ „небольшой океанъ грязи, который нужно переплыть"; но это не останавливаетъ его, ибо грязь, наполняющая небольшой океанъ—метафизическая, отвлеченная, а за нею на томъ берегу виднѣются: вино, игра, женщины! Съ добычей въ рукахъ или зубахъ ташкентецъ отвратителенъ и ужасенъ.—Администраторы, выведенные въ *Помпадурахъ*,—всѣ эти Козелковы, Кротиковы, Быстрицыны—могутъ быть прямыми начальниками ташкентцевъ; всѣ они парятъ въ ширь и глубь, ищутъ внутреннихъ враговъ и пренебрегаютъ будничною стороной администраціи; всѣ они попали не въ свои сани: „зиждителю" Быстрицыну слѣдовало продолжать заниматься разведеніемъ поросятъ, какъ кончившему курсъ въ чухломскомъ обществѣ сельскаго хозяйства; Козелкову же—увеселять департаментъ отъ 12 до 3-хъ часовъ скабрезными анекдотами, а Кротикову—гранить тротуары Невскаго проспекта, такъ какъ оба они кончили курсъ наукъ въ ресторанѣ Дюссо.

Въ произведеніяхъ второго періода, какъ мы уже сказали, Щедринъ касается земства, въ которомъ онъ преслѣдуетъ исключительныя попеченія о рукомойникахъ и нижнемъ бѣльѣ, возведенныя въ перлъ созданія; касается адвокатуры, преслѣдуя въ ней цинизмъ, стремленіе къ наживѣ, смѣшеніе чернаго съ бѣлымъ; не забываетъ сатирикъ извѣстнаго вида литературы, заклейменной именемъ „пѣнкоснимательства", во главѣ съ ея вождемъ Менандромъ Прелестновымъ, проповѣдующимъ, что „наше время—не время широкихъ задачъ"; отмѣчаетъ, наконецъ, и появленіе хищниковъ (*Нашъ savoir vivre*), „русскихъ гуляющихъ людей" и за границей и у себя дома.

Исторія одного города, считавшаяся до сихъ поръ всѣми критиками неудачною экскурсіей въ область исторической сатиры, по словамъ самого Салтыкова въ его письмѣ къ А. Н. Пыпину [1]), есть сатира современная. Если это такъ, то *Исторія одного города* должна быть признана до нелѣпости страннымъ, балаганнымъ и карикатурнымъ произведеніемъ.

---

[1]) См. „Вѣстникъ Европы", іюнь 1889 г., стр. 835.

Своей буфонадой авторъ совсѣмъ заслонилъ весь сатирическій смыслъ произведенія, либо въ погонѣ за смѣхотворными эффектами исчезли въ большинствѣ случаевъ всякіе намеки на реальную русскую дѣйствительность. Въ этой *Исторіи* много яда, много желчи, есть нѣкоторая доля правды, но больше всего всяческихъ несообразностей, эзоповыхъ притчъ, смѣха ради смѣха и фантасмагоріи. Особенно же намъ кажется страннымъ желчное глумленіе сатирика надъ глуповцами,—глумленіе, вообще преисполненное бюрократическимъ презрѣніемъ къ народу. Нельзя въ этомъ отношеніи согласиться и съ толкованіемъ Щедрина въ помянутомъ выше письмѣ, что онъ не можетъ сочувствовать народу, выносящему на своихъ плечахъ Бородавкиныхъ, Угрюмъ-Бурчеевыхъ и т. п., ибо если нельзя сочувствовать, то тѣмъ паче нечего глумиться: вѣдь, народъ (глуповцевъ) заставляли выносить на своихъ плечахъ достославныхъ градоначальниковъ.

Съ 1874 года для Щедрина наступаетъ третій періодъ его дѣятельности,—періодъ полной зрѣлости и силы таланта; съ 1874 года плодовитый писатель ежегодно въ теченіе 15 лѣтъ дарилъ русскому обществу по новому произведенію, большая часть (11) которыхъ принадлежитъ къ излюбленному Салтыковымъ сатирико-публицистическому роду и только четыре произведенія художественныхъ,—лучшихъ изъ всего, написаннаго Щедринымъ. Въ этихъ четырехъ беллетристическихъ работахъ—въ *Господахъ Головлевыхъ*, въ 23 *Сказкахъ*, въ *Мелочахъ жизни* и, наконецъ, въ *Пошехонской старинѣ*—Салтыковъ становится въ уровень съ лучшими русскими художниками—съ Тургеневымъ, Л. Толстымъ и Достоевскимъ. Эти немногочисленныя произведенія, свидѣтельствуя о крупномъ художественномъ дарованіи Салтыкова, заставляютъ только пожалѣть, что авторъ такъ много потратилъ времени на фельетонную сатиру, на тенденціозныя карикатуры, на публицистику, которая во всякомъ случаѣ стоитъ значительно ниже хотя бы его же *Сказокъ* или *Мелочей жизни*, не говоря уже о двухъ другихъ художественныхъ эпопеяхъ крѣпостного права. Эти эпопеи художественно доказываютъ растлѣвающія и зловредныя вліянія крѣпостного права лучше всякихъ публицистическихъ разсужденій и сатирическихъ фельетоновъ. Беллетристическія работы послѣдняго періода дѣятельности Сал-

тыкова мы разсмотримъ въ заключительной части нашей статьи, а теперь обратимся къ бѣглому анализу его сатирическихъ произведеній за 12-лѣтній промежутокъ времени (съ 1874 по 1886 г.). Сатиры послѣдняго періода появлялись въ такомъ хронологическомъ порядкѣ: *Благонамѣренныя рѣчи*, *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*, *Убѣжище Монрепо*, *Круглый годъ*, *Сборникъ* (повѣсти, разсказы и сказки), *За рубежомъ*, *Письма къ тетенькѣ*, *Современная идиллія*, *Недоконченныя бесѣды*, *Пошехонскіе разсказы*, *Пестрыя письма*. Весь рядъ этихъ произведеній далеко не равнаго достоинства: бо́льшая часть изъ нихъ, безъ всякаго ущерба для литературной славы Салтыкова, могла бы совсѣмъ не появляться, ибо авторъ сказанное въ одномъ произведеніи зачастую повторяетъ, измѣняя нѣсколько обстановку, въ другомъ, чего, конечно, можно было легко избѣжать. Почти вездѣ, напр., встрѣчается ходячій щедринскій антитезисъ „пріятель" Глумовъ,—въ *За рубежомъ* и въ *Письмахъ къ тетенькѣ* повторяются одни и тѣ же безшабашные совѣтники Дыба и Удавъ,—въ первыхъ произведеніяхъ неоднократно варьируется типъ „столпа"-міроѣда, съ его приспѣшниками,—нѣсколько разъ въ нѣсколькихъ произведеніяхъ Щедринъ касается типа женщины-„куколки", извѣстнаго сорта современныхъ маменекъ, воспитывающихъ мелкихъ развратниковъ, безшабашныхъ кутилъ и безсердечныхъ карьеристовъ,—нѣсколько разъ Щедринъ касается русской прессы, сочиняя газеты въ родѣ „И шило бреетъ", „Красы Демидрона", Чего изволите?", Помоевъ", съ ихъ непремѣнными корреспондентами Подхалимовыми 1-мъ и 2-мъ и т. п.

Лучше всего разработанною темой въ послѣднемъ періодѣ дѣятельности Щедрина является хищничество, какъ принципъ, хищничество беззастѣнчивое и самодовольное, чуждое всякихъ колебаній и сомнѣній, всѣхъ видовъ и формъ, слившееся со всевозможными ремеслами, пользующееся покровительствомъ власти и закона. По всей Руси, по словамъ сатирика, раздавался одинъ кликъ: „Чумазый идетъ"! Идетъ, и на вопросъ: „Что есть истина?" твердо и неукоснительно отвѣчаетъ: „Распивочно и на-выносъ!" „Чумазый"—это собирательное имя для всѣхъ „кабатчиковъ, мѣнялъ, подрядчиковъ, желѣзнодорожниковъ и прочихъ міроѣдскихъ дѣлъ мастеровъ". Если миновалъ періодъ помѣщичьяго закрѣпощенія, то наступилъ періодъ закрѣпощенія чумазовскаго.

Чумазый вторгся въ самое сердце деревни и преслѣдуетъ мужика и на деревенской улицѣ и за околицей. Обставленный кабакомъ, лавочкой и грошевою кассой ссудъ, онъ обмѣриваетъ, обвѣшиваетъ, обсчитываетъ, доводитъ питаніе мужика до минимума, руководствуясь мыслью, что „ёнъ (мужикъ) достанитъ!“ и въ заключеніе взываетъ къ властямъ объ укрощеніи людей, взволнованныхъ его же неправдами. Съ другой стороны, Чумазый „выкуриваетъ“ и барина изъ своей усадьбы, при полномъ содѣйствіи обывателей, того культурнаго барина, который ничего не знаетъ въ сельскомъ хозяйствѣ, ни къ чему прикоснуться не умѣетъ и гадливо сторонится отъ сближенія съ массой. Такимъ „культурнымъ людямъ“ нужны не имѣнія, а дачи Монрепо, дабы служить „усыпальницами“. Типъ хищника разработанъ, правда, у Щедрина нѣсколько односторонне: взята одна изъ разновидностей его, выросшая на деревенской почвѣ, въ средѣ крестьянъ и „культурныхъ“ обладателей Монрепо. Интеллигентныхъ хищниковъ сатирикъ касается только вскользь. Но тѣмъ не менѣе созданныя имъ фигуры „столповъ“— Дерунова, Колупаева и Разуваева—сдѣлались именами нарицательными и должны быть причислены къ лучшимъ художественно-сатирическимъ созданіямъ Салтыкова. Это, дѣйствительно, въ изображеніи Щедрина—герои нашего времени, лица, власть имѣющія, столпы семьи, религіи и государственности, благодаря покладистой морали окружающаго общества.

Касается въ произведеніяхъ послѣдняго періода Щедринъ и бюрократіи, старой и новой, но ничего существенно новаго ему не удается создать. Примѣчательны фигуры Удава, Дыбы, Отчаяннаго, Зильбергроша, Губошлепова, графа Твердоонто, но всѣ онѣ принадлежатъ прошлому; новые же типы являются довольно неудачными варіаціями ташкентцевъ или помпадуровъ, или тѣхъ и другихъ, вмѣстѣ взятыхъ.

Гораздо характернѣе у Щедрина картины семейнаго счастья, если только можно говорить о семейномъ счастьѣ среди женщинъ-„куколокъ“, у которыхъ нѣтъ ни руки, ни ноги, ни носа, ни рта, а ручка, ножка, носикъ, ротикъ и при томъ ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цыпка, ротикъ-розанчикъ, а грудка—такъ это даже сказать нельзя, что это такое! „Точь-въ-точь малюсенькое гнѣздышко, въ которомъ сидятъ два бѣленькихъ голубочка и тихонько подъ

корсетомъ трепещутся! Ахъ!“ [1]). Таковы щедринскія Наденьки, Наташеньки и кузины Машеньки, воспитывающія Nicolas Персіановыхъ, Ѳеденекъ Воловитиновыхъ и Ѳеденекъ Неугодовыхъ. Въ такихъ семьяхъ нѣтъ крѣпкой внутренней связи, основанной на любви и уваженіи, а ея мѣсто заступаетъ пустая форма и ничѣмъ немотивированныя требованія.

Въ заключеніе нашего бѣглаго обзора сатирическихъ произведеній Щедрина нужно еще упомянуть о публицистическихъ разсужденіяхъ сатирика о современной литературѣ, гдѣ онъ совершенно справедливо отмѣтилъ главную причину ея упадка—вторженіе въ нее улицы, которая привела за собой Ноздрева, редактора газеты „Помои“. Улица зарекомендовала себя безсвязнымъ галдѣньемъ, низменною несложностью требованій, живостью предразсудковъ, дикостью идеаловъ, произвольностью отправныхъ пунктовъ и, наконецъ, какою-то удручающею безграмотностью. Глубоко вѣрно замѣчаніе сатирика, что наружное оживленіе, проявившееся въ литературѣ за послѣднее время—въ сущности, только шумъ и гвалтъ взбудораженной улицы, нестройный хоръ обострившихся вожделѣній, въ которомъ главная нота принадлежитъ подозрительности, сыску и безшабашному озлобленію.

Въ послѣднемъ предсмертномъ сочиненіи Салтыкова—въ *Пошехонской старинѣ*, которая, помимо своего общественнаго и художественнаго значенія, драгоцѣнна элементомъ автобіографическимъ, ибо даетъ возможность заглянуть въ исторію дѣтства сатирика-художника—есть одно замѣчательное мѣсто, проливающее яркій свѣтъ на все міросозерцаніе нашего писателя, показывающее, изъ какихъ сѣмянъ оно выросло. Предоставленный самому себѣ, Салтыковъ-ребенокъ нашелъ между учебниками „Чтеніе изъ четырехъ евангелистовъ“. Это „Чтеніе“ произвело въ ребенкѣ полный жизненный переворотъ. Раньше религіозность его была чисто-внѣшняя, заученная, раньше для него былъ закрытъ внутренній смыслъ евангельскаго ученія,—раньше онъ ничего не зналъ ни объ алчущихъ ни о жаждущихъ и обремененныхъ, видя только людскія особи, сглаживающіяся подъ вліяніемъ несокрушимаго порядка вещей, раньше онъ прозябалъ въ полуживотной безсознательности; послѣ же чтенія Евангелія, не говоря уже о той восторженности, которая перепол-

[1]) См. „Круглый годъ“.

нила его сердце, ни о тѣхъ совсѣмъ новыхъ образахъ, которые вереницей проходили передъ его умственнымъ взоромъ,—онъ началъ сознавать себя человѣкомъ и право на это сознаніе переносить и на другихъ. Теперь передъ нимъ предстали униженные и оскорбленные, осіянные свѣтомъ и громко вопіющіе противъ прирожденной несправедливости, не давшей имъ ничего, кромѣ оковъ; теперь его возбужденная мысль невольно переносилась въ дѣвичью, въ застольную, гдѣ задыхались десятки поруганныхъ и замученныхъ человѣческихъ существъ. Словомъ, по сознанію самого писателя, Евангеліе посѣяло въ его сердцѣ „задатки общечеловѣческой совѣсти". Эти зачатки съ теченіемъ времени могуче развились, сложившись въ цѣлое міросозерцаніе съ характеромъ исключительно соціально-моральнымъ. Такой складъ міросозерцанія сближаетъ Салтыкова съ Достоевскимъ и Л. Толстымъ, у которыхъ главенствующее начало въ ихъ міросозерцаніи—тоже нравственное, съ тою лишь разницею, что у перваго оно окрашено мистицизмомъ въ связи съ проповѣдью личнаго усовершенствованія и при безразличіи къ соціальному строю, а у второго принимаетъ характеръ философскій въ связи съ теоріей „Непротивленія злу". Всѣ три названныхъ писателя—пессимисты, хотя пессимизмъ каждаго изъ нихъ при родовомъ сходствѣ имѣетъ яркія видовыя отличія. Салтыковъ преслѣдовалъ порочность, порождающую соціальныя безобразія, Салтыковъ бичевалъ своей сатирой во имя свободы, развитія и справедливости; отсюда, конечно, объясняется пессимизмъ соціальный, отсюда его любовь къ „человѣку, питающемуся лебедою", отсюда его негодующій протестъ противъ клеветниковъ, хищниковъ, предателей, деревянныхъ людишекъ, пустоутробныхъ лицемѣровъ, всяческихъ паразитовъ и прочихъ исказителей образа человѣческаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко любя Россію, ея бѣдноту, наготу и злосчастіе, онъ вѣрилъ въ грядущее торжество ея человѣческаго образа, просвѣтленнаго и очищеннаго „отъ тѣхъ посрамленій, которыя наслоили на немъ вѣка подъ ярмомъ неволи". Словомъ, про Салтыкова можно было сказать то же самое, что онъ сказалъ про героя одной изъ своихъ сказокъ, Крамольникова: „Всѣ силы своего ума и сердца онъ посвятилъ на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представленіе о свѣтѣ и правдѣ и поддерживать въ ихъ сердцахъ вѣру, что свѣтъ

придетъ и мракъ его не обниметъ". Въ этомъ собственно заключалась задача всей его дѣятельности.

Эта вѣра въ грядущее торжество евангельскихъ идеаловъ сказалась въ лучшей изъ сказокъ Щедрина *Пропала совѣсть*. Совѣсть, заброшенная, негодная ветошь, валяющаяся по дорогѣ, случайно поднятая какимъ-то пропойцей, переходитъ къ кабатчику, отъ кабатчика къ квартальному надзирателю, къ отставному откупщику и желѣзнодорожному изобрѣтателю, и всѣмъ причиняетъ такую тревогу и боль, что всякій старается поскорѣе освободиться отъ нея. Совѣсть шаталась такимъ образомъ, бѣдная, изгнанная, по бѣлусвѣту и перебывала у многихъ тысячъ людей, пока, наконецъ одинъ мѣщанинишка не схоронилъ ее въ чистомъ сердцѣ маленькаго русскаго дитяти. Когда это дитя вырастетъ въ большого человѣка, будетъ у него и большая совѣсть, и тогда „исчезнутъ всѣ неправды, коварства и насилія, потому что совѣсть будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всѣмъ сама". Тогда „премудрый пескарь" не будетъ жить дрожа и умирать дрожа; тогда „самоотверженный заяцъ" не будетъ сидѣть подъ кустомъ, дожидаясь отъ волка... ха-ха... помилованія, а „здравомысленный заяцъ" перестанетъ оправдывать хищное обжорство лисицы здравомысленными словами: „Всякому звѣрю свое житье: льву—львиное, лисѣ—лисье, зайцу—заячье"; тогда исполнятся мечтанія „карася-идеалиста"—прожить на свѣтѣ одною правдою,—мечтанія, выросшія изъ убѣжденій, что главная жизненная сила въ добрѣ замыкается, что тьма есть только порожденіе горькой исторической случайности, что счастье сдѣлается общимъ достояніемъ; тогда „карась-идеалистъ" безбоязненно будетъ спрашивать щуку, безъ опасенія попасть ей въ хайло: „Знаешь ли ты, что́ такое добродѣтель?"; тогда „дуракъ" не будетъ считаться дуракомъ за то, что неспособенъ на компромиссы съ подлостью, а „баранъ непомнящій" не станетъ тосковать оттого, что увидѣлъ во снѣ „вольнаго барана", а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ, что́ такое свѣтъ, просторъ и свобода, и издохъ отъ безсильныхъ порываній отъ тьмы къ свѣту встревоженной безсознательности; тогда, быть-можетъ, „вѣрный Трезоръ" пойметъ, что въ сидѣніи его въ будкѣ на цѣпи и въ дрожаніи отъ холода въ длинныя зимнія ночи—не замыкается весь міръ; тогда, наконецъ, отдохнетъ бѣдный, измученный

безсмертный „коняга“ и не будутъ издѣваться надъ нимъ „пустоплясы“.

Любовь къ униженнымъ и оскорбленнымъ вдохновила Салтыкова создать лучшіе изъ разсказовъ въ *Мелочахъ жизни*; эта любовь, эта чуткость и воспріимчивость къ людскимъ страданіямъ помогли ему подсмотрѣть тѣ скромныя безшумныя житейскія драмы, мимо которыхъ равнодушно проходитъ толпа, которыя, по своей заурядности, сливаются съ сѣрымъ фономъ будничной жизни и открываются полныя глубокаго смысла вдумчивому взору художника. Таковы во второй части *Мелочей жизни* разсказы: *Христова невѣста*, *Сельская учительница* и *Портной Гришка*. Первый разсказъ проникнутъ нѣжнымъ состраданіемъ къ дѣвушкѣ, обреченной на одиночество, на разочарованіе, на безцвѣтную молодость и суетливую старость, не испытавъ личнаго счастья; второй разсказъ производитъ потрясающее впечатлѣніе заурядностью какъ самой учительницы, такъ и заурядностью всей обстановки, заурядностью причины самоубійства; таковъ же финалъ третьей повѣсти (можетъ-быть, нѣсколько растянутой).

Евангельскіе идеалы Щедрина помогли создать ему тѣ высокохудожественные народные типы, которые мы встрѣчаемъ въ *Пошехонскихъ разсказахъ* и въ *Пошехонской старинѣ*. Въ первомъ изъ этихъ произведеній замѣчателенъ одинъ изъ пошехонскихъ реформаторовъ—Андрей Курзановъ, юноша богомолъ и странникъ, мысль котораго плѣнялась, однако, не міромъ апокрифическихъ сказаній, а міромъ человѣческихъ злоключеній, начиная отъ матеріальной неурядицы и кончая страданіями высшаго разряда. Его жизненный кодексъ заключался въ словахъ: „жить по-божески“. Во второмъ произведеніи, вообще поражающемъ разнообразіемъ и массой выведенныхъ типовъ изъ среды помѣщичьей, въ родѣ Анны Павловны Затрапезной и ея мужа, тетушки Анфисы Порфирьевны и ея мужа, предводителя Струнникова, „образцоваго хозяина“ Пустотѣлова и др., Салтыковъ въ цѣломъ рядѣ типовъ изъ крѣпостной массы нарисовалъ, между прочимъ, два особенно замѣчательныхъ, которые могутъ стать наравнѣ съ тургеневской Лукерьей изъ „живыхъ мощей“ и съ толстовскимъ Платономъ Каратаевымъ изъ „Войны и Мира“, а именно—*Сатира-скитальца* и *Аннушки*. Въ лицѣ послѣдней предъ нами возстаетъ цѣлая категорія рабовъ по убѣжденію, мирившихся съ рабствомъ, но отнюдь не съ рабо-

владѣльцами. Это покорные страстотерпцы, утѣшающіеся мыслью, что „рабство—временное испытаніе, предоставленное избранникамъ, которыхъ за это ждетъ вѣчное блаженство въ будущемъ“. Аннушка—представительница воинствующаго смиренія, Сатиръ-скиталецъ—смиренія мечтательнаго: завѣтная мечта его—избавиться отъ рабскихъ узъ еще на землѣ хоть на самое короткое время; онъ надѣется поступить въ монастырь, гдѣ съ него снимутъ рабскій образъ и дадутъ возможность явиться „на вышній судъ въ ангельскомъ чинѣ“. Но его надеждамъ и мечтаніямъ не суждено было осуществиться въ дѣйствительности; онъ нашелъ утѣшеніе лишь въ своемъ предсмертномъ видѣніи: „стоитъ, будто, онъ въ ангельскомъ образѣ, окутанный свѣтлымъ облакомъ; въ ушахъ раздается сладкогласное ангельское славословіе, а предъ глазами присносущный свѣтъ Христовъ горитъ... Всѣ земныя болѣсти съ него какъ рукой сняло; кашель улегся, грудь дышитъ легко; все существо устремляется въ высь и высь... Инокъ Серапіонъ! слышится ему голосъ, исходящій изъ сіяющей глубины“... Такъ, во снѣ, и предсталъ онъ въ ангельскомъ чинѣ передъ вышній судъ Божій. Смерть-избавительница возвѣщала свободу этимъ вѣрующимъ сынамъ-рабамъ вѣрующихъ отцовъ-рабовъ и, свободнымъ, давала крылья, чтобы летѣть въ царство свободы, навстрѣчу свободнымъ отцамъ...

Если Салтыковъ всю жизнь посвятилъ борьбѣ съ крѣпостнымъ правомъ въ тѣхъ или другихъ формахъ, создавъ въ этомъ направленіи рядъ весьма примѣчательныхъ сатирико-художественныхъ фигуръ, то нигдѣ онъ все-таки не показалъ съ такою страшною, потрясающею силой ядовитаго, разлагающаго вліянія крѣпостного права, какъ въ семейной хроникѣ *Господа Головлевы*. На этомъ превосходномъ произведеніи наиболѣе прочно будетъ зиждиться художественная слава Салтыкова въ далекомъ потомствѣ. Въ этомъ произведеніи Салтыковъ проявилъ себя не только крупнымъ художникомъ, но и глубокимъ психологомъ, по силѣ анализа не уступающимъ Достоевскому въ его лучшихъ созданіяхъ. Дѣйствительно, такая семья—праздная, непригодная ни къ какому дѣлу, страдающая запоемъ—могла созрѣть и разраститься до чудовищныхъ размѣровъ только въ деревенской глуши, притонѣ безправія и произвола, разсадникѣ забивающихъ и забиваемыхъ. Зачастую семейныя отношенія

складывались по образцу крѣпостныхъ и производили цѣлыя вереницы Головлевыхъ, осужденныхъ на вырожденіе и умираніе. Эта хроника, по мѣткому выраженію одного критика [1]), великолѣпно иллюстрируетъ законъ наслѣдственности, неумолимо преслѣдующій „русскихъ Ругонъ-Маккаровъ", выведенныхъ на сцену безъ трубныхъ звуковъ à la Zola, безъ торжественныхъ манифестовъ о научномъ экспериментальномъ романѣ. Грубый эгоизмъ Арины Петровны переходитъ у Іудушки-кровопивушки въ полнѣйшее безсердечіе, въ холодную, почти безсознательную жестокость; „пришибленная озорливость" Владимира Михайловича повторяется въ сыновьяхъ его Степанѣ и Павлѣ, вырождаясь въ слѣдующемъ поколѣніи въ безпомощную дряблость Анниньки и Любиньки, Петеньки и Володи. Къ наслѣдственности присоединяется и воспитаніе—уродливое и безсмысленное, не знающее средины между нелѣпымъ баловствомъ и нелѣпой строгостью. Въ этой хроникѣ мы читаемъ скорбный листъ выморочной семьи, одержимой наслѣдственною психическою болѣзнью, у Степки-балбеса принимающею форму слабоумія, у Іудушки-кровопивушки форму мономаніи. Психическая жизнь этихъ несчастныхъ, исковерканныхъ людей изображена Салтыковымъ съ такою жизненною правдой и съ такою художественною, рельефною законченностью, какую рѣдко встрѣтишь не только въ русской, но и въ западно-европейской литературѣ. Особенно же глубокую психологическую наблюдательность и творческую силу авторъ проявилъ въ созданіи Іудушки (Порфирія Владимировича), который стоитъ предъ читателемъ, словно отлитый изъ мѣди. Это типъ лицемѣра чисто-русскаго пошиба, типъ лгуна, пустосвята и пустослова. Это созданіе Салтыкова сохранится навѣки въ Пантеонѣ другихъ великихъ созданій великихъ русскихъ творцовъ-художниковъ.

С. Трубачевъ.

---

[1]) К. К. Арсеньевъ, см. „Вѣстн. Евр." 1883 г., май.

Брусинъ [1]).

I.

Въ лѣта молодости, въ первый годъ службы въ канцеляріи вятскаго губернатора, М. Е. Салтыковымъ написанъ разсказъ *Брусинъ*. Какъ ни давно написанъ онъ, какъ ни молодъ былъ авторъ, написавшій его, но *Брусинъ* представляетъ собою во всѣхъ отношеніяхъ интереснѣйшее произведеніе. Высказываютъ мнѣніе, что „разсказъ имѣетъ, главнымъ образомъ, значеніе, какъ новый матеріалъ для литературной біографіи" автора,—но согласиться съ этою мыслью можно только условно, потому что само-по-себѣ это давнишнее произведеніе Салтыкова имѣетъ большую цѣну.

На разсказѣ *Брусинъ* ясно отражаются характеристичныя черты большого дарованія, по которымъ можно было бы судить о великой литературной будущности, предстоявшей автору его. Если говорить только о формѣ его, то онъ задуманъ и выполненъ съ такою цѣлостностью и полнотой, что въ немъ нѣтъ ничего лишняго, нарушающаго впечатлѣніе, и нѣтъ ничего недосказаннаго, оставляющаго читателя неудовлетвореннымъ. Если говорить о содержаніи, то, несмотря на кажущуюся незначительность его, въ немъ отражается большой умъ, занятый важными вопросами русской жизни той глухой поры. И вѣкъ и человѣкъ того времени рисуются въ воображеніи автора, а потомъ и читателей съ большою ясностью и силой. Герой разсказа—одинъ изъ тѣхъ, какъ увидимъ, которыхъ русская литература изображала въ образахъ Рудина, Обломова, Тентетникова и пр. Но нужно знать, что въ то время, когда писался разсказъ Салтыкова, не было еще ни „Гамлета Щигровскаго уѣзда", ни „Дневника

---

[1]) Эта статья принадлежитъ А. И. Введенскому. (См. выпускъ III-й, стран. 284.)

лишняго человѣка", ни Рудина, ни Обломова, ни гоголевскаго Тентетникова,—все это, столь многообразно изображавшее и разъяснявшее русскую бездѣятельность, было еще впереди. И передъ авторомъ были только образы Онѣгина и Печорина. Чуткою душой большого таланта будущій сатирикъ угадывалъ значеніе этого широко-распространеннаго типа русскаго человѣка и отразилъ его въ формѣ, конечно, уступающей послѣдующимъ, но, вѣдь, зато предшествовавшей имъ.

Разсказъ начинается съ того, что кружокъ пріятелей-собесѣдниковъ сидитъ противъ горящаго камина и занимается „разговоромъ вялымъ и тяжеловѣснымъ", въ „цѣпенящемъ настроеніи", подъ бременемъ котораго „чувство жизни гасло". Рѣчь шла о скукѣ, и всѣ молодые люди, бывшіе тутъ, всѣ рѣшительно согласились, что „бездѣятельность"—источникъ этой скуки. Естественно, поднимается характерный для того времени вопросъ, отчего „дѣятельность-то наша такъ бѣдна и ничтожна, или, лучше, отчего мы цѣлый вѣкъ какъ-будто толчемся и движемся, а результаты выходятъ все самые крохотные, самые обидные".

Былъ тутъ въ компаніи немолодой и опытный человѣкъ, который своеобразно, въ глазахъ молодыхъ людей, смотрѣлъ на дѣло, осуждая не обстоятельства жизни, а людей русскихъ того времени, характеру этихъ послѣднихъ приписывая бездѣятельность.

„Странные бываютъ случаи,—говорилъ онъ;—чортъ его знаетъ, иной съ виду, кажется, и порядочный человѣкъ, и говоритъ какъ-будто дѣло, и на вещи смотритъ по-человѣчески, а вотъ какъ дойдетъ до практики, тутъ разомъ дрянь-то вся и выльется наружу, тутъ и окажется вся гнусность, да еще и не простая гнусность, а съ затѣями и прибаутками"... „Да, вѣдь, до чего доходитъ!—прибавляетъ онъ,—не только другимъ, и себѣ, самому себѣ, съ какимъ-то дикимъ остервенѣніемъ начинаетъ человѣкъ гадить, да понемножку, на маломъ огнѣ себя жарить, какъ-будто всѣмъ и каждому на стѣнѣ зарубить хочетъ: смотрите, дескать, добрые господа, какъ я себя исказилъ и изуродовалъ, на что́, молъ, я теперь похожъ?"

И онъ выдвигаетъ идеалъ смирной дѣятельности, при чемъ, „каждое дѣйствіе свое надо обдумать, сообразить съ обстоятельствами, выяснить себѣ послѣдствія" и пр. Въ молодыхъ людяхъ онъ встрѣчаетъ отпоръ.

„Нелегкую вы опеку навязали человѣку,—говорятъ ему;—вѣдь, подумаешь, маленькая какая задача: поди-ка, сообрази сперва съ обстоятельствами, да потомъ обсуди, какія будутъ послѣдствія... Да покуда все это соображаешь да обсуживаешь, такъ и время, пожалуй, уйдетъ... Этакъ намъ

съ вами всю жизнь придется сидѣть сложа руки да снаряжаться на великіе подвиги"...

Но тотъ предостерегаетъ молодыхъ людей отъ „романтизма". „Вы,—говоритъ онъ,—вдругъ все хотите выворотить на изнанку, а того и не возьмете въ толкъ, что въ мірѣ все дѣлается постепенно". И въ доказательство своей мысли онъ разсказываетъ, по требованію собравшихся, одну исторію.

Исторія эта такъ несложна, что и разсказывать нечего. Но въ картинѣ автора, въ частностяхъ исполненія чрезвычайно много характернаго и поучительнаго. Прежде всего авторъ набрасываетъ любопытнѣйшую картину сонной жизни, лишенной реальныхъ жизненныхъ интересовъ, которою жили во второй четверти девятнадцатаго вѣка русскіе люди.

„Въ мое время, господа,—разсказываетъ Николай Ивановичъ (такъ звали немолодого человѣка),—молодые люди жили въ Петербургѣ какъ-то особенно странно... Жизнь мы вели совершенно затворническую; бо́льшую часть дня сидѣли дома, а по вечерамъ собирались другъ у друга... Самособою разумѣется, на этихъ сборищахъ не было ни тѣни буйства, т.-е., если хотите, оно и было, но только въ области мысли, гдѣ мы не признавали никакой опеки". Узнавши другъ друга, „мы страшно скучали, потому что знали другъ-друга наизусть... Читали мы все больше однѣ и тѣ же книги; образомъ мысли, характерами такъ близко подходили другъ къ другу, что извѣстная мысль производила почти одно и то же впечатлѣніе на всѣхъ насъ"... „Кто его знаетъ,—замѣчаетъ разсказчикъ,—мы ли сами насильно оторвались отъ общества, или общество оторвало насъ отъ себя, только практической дѣятельности ни у одного изъ насъ не было никакой. Эта-то насильственная скудость живой дѣйствительности и, напротивъ того, чрезмѣрное, болѣзненное обиліе дѣйствительности чисто книжной и было тѣмъ зломъ, которое неутомимо грызло цѣпь, долго всѣхъ насъ связывавшую"...

II.

На этой-то почвѣ бездѣятельности, такъ рельефно для того времени изображенной авторомъ, и возникъ любопытный субъектъ, описываемый разсказчикомъ. Это былъ нѣкто Брусинъ, „романтикъ въ душѣ, романтикъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ". Авторъ описываетъ его удивительно характеристичными чертами.

„Пріятель мой,—разсказываетъ Николай Ивановичъ,—весь былъ составленъ изъ противорѣчій; послушать, бывало, его, такъ всякій подумаетъ: „Вотъ, наконецъ, хоть одинъ человѣкъ, одаренный высокимъ практическимъ смысломъ". Онъ до такой степени легко усвоивалъ себѣ всякую прекрасную идею, что она внезапно становилась его собственностью, являлась

его уму со всѣми мельчайшими подробностями, со всѣмъ дальнѣйшимъ развитіемъ, со всѣмъ практическимъ примѣненіемъ"... А дальше разсказывается: „Рѣдко случалось мнѣ встрѣтить человѣка, до такой степени негоднаго въ жизни, какъ Брусинъ. Онъ былъ капризенъ и требователенъ до ребячества, повелителенъ до деспотизма, непостояненъ и измѣнчивъ до самаго узкаго эгоизма. А всему причиной было ложное воспитаніе, которое получилъ онъ, подобно всѣмъ намъ, и которое развило въ насъ только потребности и стремленія, а не указало на средства удовлетворить имъ".

И дѣйствія героя вполнѣ подтверждаютъ эту простую, но ясную характеристику. Потребности у него были гигантскія, какъ у всѣхъ людей, у которыхъ воображеніе развито насчетъ разсудка, а рядомъ съ этимъ онъ отличался изумительною безпечностью и ничего не дѣлалъ. Однажды Николаю Ивановичу удалось склонить его поступить на службу. Сначала онъ принялся, было, со рвеніемъ, сильно занимался и даже надоѣдалъ своими разговорами о службѣ; но прошло два-три мѣсяца,—и герой, подобно Тентетникову и Обломову, пришелъ къ убѣжденію, что „это—не его призваніе", что онъ тутъ ничего не можетъ сдѣлать.

„Великій онъ былъ романтикъ, господа,—говоритъ Николай Ивановичъ.—На все смотрѣлъ сквозь увеличительное стекло, вездѣ хотѣлъ совершить что-то гигантское, удивить міръ какимъ-то необычайнымъ подвигомъ, а того не могъ понять, что то дѣло только и прочно, которое трудно и помаленьку дѣлается... На всякое свое дѣйствіе онъ смотрѣлъ какъ на совершеніе какой-то священной обязанности"...

Любопытны и удивительны эти характеристики, проницательныя и тонкія, которыя Салтыковъ сдѣлалъ въ такое время, когда далеко еще было до объясненія этой „рефлектирующей" русской натуры.

Нигдѣ человѣкъ такъ не разоблачается, какъ въ дѣлѣ любви. Припомнимъ Обломова. И авторъ выясняетъ окончательно характеръ Брусина именно такимъ случаемъ. Влюбился Брусинъ въ молодую дѣвушку, поведенія довольно легкомысленнаго. Кстати сказать, въ описаніи этой дѣвушки, какъ и Брусина, авторъ выказываетъ большую силу чисто-поэтическаго воображенія и психологическаго анализа: лица обрисованы очень живо и ясно, вы понимаете ихъ до тончайшихъ оттѣнковъ душевнаго склада. Отношенія Брусина къ этой молодой дѣвушкѣ складывались довольно банально, съ обычною распущеностью, съ весьма небольшою долей нравственнаго элемента по существу. Но этотъ „романтикъ", по выраженію автора, сейчасъ же приплелъ къ простой и неважной исторіи свой своеобразный „романтизмъ". Онъ не от-

несся просто къ своему положенію, которое, очевидно, требовало, чтобъ онъ мирился съ легкостью своей подруги или покончилъ съ ней свои нехорошія отношенія, но онъ припутываетъ вещи, въ данномъ случаѣ мѣста не имѣющія, съ оттѣнкомъ, однако, высокаго идеализма.

„Знаешь,—говоритъ онъ Николаю Ивановичу,—какая мысль у меня?"—Что такое? Вѣрно, какая-нибудь страшная несообразность?—отвѣчаютъ ему.—„Я хочу сдѣлать изъ нея женщину".—Да она, кажется, и такъ женщина, природа создала ее такою: чего жъ тебѣ еще хочется?—Но Брусинъ обижается на шутку и объявляетъ, что онъ „хочетъ ее образовать, пробудить въ ней сознаніе ея назначенія".

Любопытно, что онъ и самъ хорошенько не понимаетъ этого „назначенія"; это у него—фраза, искренняя, но безсодержательная. Разумѣется, изъ затѣи господина „романтика" не вышло ничего, кромѣ вздора, и вы чувствуете, что онъ не о дѣвушкѣ заботился, а себя тѣшилъ фантазіями. Онъ убѣдился, что дѣвушка ему измѣняетъ, не налагая, однако, на него рѣшительно ничего, никакихъ обязанностей, ничего ему не обѣщая, вольная какъ птица, и какъ птица легкомысленная. А онъ терзаетъ ее оскорбленіями и деспотическими требованіями; наконецъ, въ видахъ только оскорбленія, предлагаетъ ей 10 рублей, впрочемъ, чужихъ, за ея „снисходительность". И она вынуждена ему съ гордостью, съ глазенками, горящими какъ угли, сказать: „За мою снисходительность? такъ знайте же, что моя снисходительность дороже десяти рублей продается, а за то, что я для васъ дѣлала и отъ васъ вытерпѣла, у васъ слишкомъ мало денегъ, чтобы заплатить мнѣ..." Онъ разошелся съ нею, но, рабъ своихъ прихотей, не надолго онъ оставался способенъ, что называется, выдержать характеръ, такъ что Николай Иванычъ не выдержалъ и разъѣхался съ нимъ (они жили вмѣстѣ) и съ тѣхъ поръ потерялъ его изъ вида.

„Такъ вотъ, господа,—заключилъ онъ свой разсказъ,—какъ нѣкоторые люди безпрестанно кричатъ о жаждѣ дѣятельности, жалуются на какія-то препоны,—а на повѣрку выходитъ, что вся эта жажда дѣятельности ограничивается какою-нибудь любовишкой,—да еще какъ обидно, нелѣпо ограничивается!" И причину этой „неспособности", „нравственнаго безсилія" онъ опять указываетъ въ томъ, что мы „не можемъ покончить съ нашимъ прошедшимъ", что, видя всю гнусность такъ-называемаго спекулятивно-энциклопедическаго образованія нашего, не имѣемъ силы пересоздать себя. А потомъ

жалуемся на судьбу, на другихъ и, Богъ знаетъ, еще на что!" И когда молодые люди потребовали отъ разсказчика „нравоученія", онъ говорилъ:

„А нравоученіе вотъ какое: во-первыхъ, предметовъ для дѣятельности много, такъ много, что стоитъ только нагнуться, чтобы наполнить жизнь свою; если мы ничего не дѣлаемъ, то никто другой, кромѣ насъ, въ этомъ невиноватъ; во-вторыхъ, весьма часто мы жалуемся на отсутствіе счастія, а на повѣрку выходитъ, что не насъ несчастье ищетъ, а мы сами его устраиваемъ".

Слушатели не согласились съ выводами разсказчика, и авторъ самъ не на сторонѣ его.

„Вы всю вину сваливаете на личность человѣка,—говорятъ ему,—а я утверждаю, что человѣкъ тутъ вовсе невиноватъ, что виновнаго тутъ надобно искать гдѣ-нибудь подальше,—гдѣ, достовѣрно сказать вамъ не могу, но думаю—въ воздухѣ... Вотъ хоть бы и въ разсказѣ вашемъ; гдѣ причина этой упорной неспособности Брусина къ какой бы то ни было положительной дѣятельности? Гдѣ, какъ не въ уродливомъ воспитаніи, которое ровно ничему не учитъ? Вы и сами соглашаетесь съ этимъ, но прибавляете, что должны имѣть силу пересоздать себя. Да, вѣдь, для этого надобно не только родиться героемъ, но чтобы и обстоятельства расположились такъ, чтобы сдѣлать изъ васъ героя"...

Слушатели несогласны и съ тѣмъ, что необходимо себя ограничить въ исканіи дѣятельности, вооружась поклоненіемъ „идеалу долга"; они той „вѣры", что „нужно дѣйствовать какъ можно больше", но поставить себѣ девизомъ: „Живи—какъ живется, дѣлай—какъ можется"....

Какъ видитъ читатель, молодая повѣсть Салтыкова соприкасается съ самыми больными сторонами русской жизни не одного только того времени и очень хорошо характеризуетъ типъ бездѣятельнаго русскаго человѣка, столько разъ позже послужившаго темою для поэтическихъ созерцаній.

Писатели-пессимисты.—Салтыковъ [1]).

1.

*) Салтыковъ началъ писать одновременно съ Достоевскимъ и немногимъ позднѣе Некрасова, и первое его произведеніе, *Запутанное дѣло*, носитъ на себѣ отпечатокъ умственнаго движенія, на мигъ взволновавшаго, правда, очень тѣсный кружокъ общества подъ самый конецъ 1840-хъ годовъ. Это было время, когда Бѣлинскій окончательно порвалъ съ романтизмомъ и требовалъ отъ литературы, прежде всего, гражданскаго служенія; когда Некрасовъ, съ первыхъ же своихъ стихотвореній, съ небывалою прежде озлобленною желчью клеймилъ крѣпостные порядки, черты которыхъ даже въ тургеневскихъ „Запискахъ охотника" смягчаются примиряющею поэзіей, а у Гоголя — блескомъ живого юмора; когда, наконецъ, Достоевскій въ своихъ „Бѣдныхъ людяхъ" впервые у насъ вывелъ въ крупномъ беллетристическомъ произведеніи забитую среду полунищенскаго чиновничества. Недолго эта струя держалась на поверхности литературы. Она совпала съ образованіемъ кружка петрашевцевъ и тотчасъ изсякла послѣ разгрома, постигшаго этотъ кружокъ. Въ *Запутанномъ дѣлѣ* Салтыкова есть, однако, нѣчто, уже

---

[1]) „Русскій романъ и русское общество".

*) Эта статья взята изъ книги, удостоенной въ 1899 г. Пушкинской преміи, К. Ѳ. Головина („Русскій романъ и русское общество"), пишущаго подъ псевдонимомъ Орловскаго.

Константинъ Ѳедоровичъ Головинъ выступилъ на литературное поприще въ 1878 г. повѣстью „Серіозные люди", напечатанною въ № 2 „Русскаго Вѣстника" за 1878 г. Вслѣдъ за этимъ произведеніемъ К. Ѳ. были написаны два большихъ романа: „Внѣ колеи" и „Молодежь". К. Ѳ. трудно отнести къ тому или другому лагерю нашихъ писателей, такъ какъ міросозерцаніе его сбивчиво. Временами онъ не чуждъ прогрессивныхъ стремленій, временами же онъ можетъ быть свободно причисленъ къ партіи нашихъ ретроградныхъ писателей.

Прим. Н. Денисюка.

тогда отличавшее его отъ современниковъ и обнаруживавшее въ немъ будущаго сатирика. На ряду съ обличеніемъ тогдашнихъ общественныхъ порядковъ, проводится и осмѣяніе самого протестующаго движенія. И этой чертѣ, этой двойственности своего глумленія Салтыковъ остался вѣренъ до конца.

Первое крупное произведеніе Салтыкова, доставившее ему извѣстность, *Губернскіе очерки*, находится подъ сильнымъ вліяніемъ Гоголя и составляетъ какъ бы прямое продолженіе „Мертвыхъ душъ". Здѣсь та же яркая карикатурность въ изображеніи провинціальнаго чиновничества и помѣщичьяго класса, тотъ же иногда высопарный лиризмъ. Одного недостаетъ для полнаго сходства — здороваго гоголевскаго юмора. Салтыковъ никогда не смѣется отъ души, „frisch von der Leber", какъ говорятъ нѣмцы, хотя за легкомысленность его смѣха и упрекали его иной разъ наши критики, въ томъ числѣ Писаревъ. Зато къ простому народу онъ не относится такъ равнодушно, какъ Гоголь. Онъ даже склоненъ преувеличивать мрачность его положенія, сгущать краски до трагическихъ размѣровъ. *Губернскіе очерки*, по силѣ обличенія дореформенныхъ порядковъ, надо поставить рядомъ съ „Записками охотника" и съ „Тысячью душъ" Писемскаго. Ихъ появленіе совпало какъ-разъ съ окончаніемъ Крымской войны и съ горячимъ приступомъ къ обновленію прежняго строя. Такимъ образомъ, они входили, такъ сказать, въ колею литературы 40-хъ годовъ, ополчаясь заодно съ нею на бюрократическую мертвечину и на повальное взяточничество. И самая страстность, одушевлявшая Салтыкова въ этихъ очеркахъ, какъ бы свидѣтельствуетъ, что, заодно съ цѣлымъ поколѣніемъ сороковыхъ годовъ, онъ вѣрилъ тогда въ близость и осуществимость преобразованій. Впрочемъ, и въ этой первой изъ его крупныхъ сатиръ, Салтыкова отличаетъ отъ другихъ представителей его поколѣнія несвойственная имъ желчная, раздраженная нота. И здѣсь уже замѣтно то предвзятое, злобное отрицаніе, которое всегда отличало поэзію Некрасова.

И вотъ, преобразовательная дѣятельность началась и пошла быстрыми шагами. Если мы припомнимъ, каково было настроеніе тогдашней литературы, мы подмѣтимъ въ ней два главныхъ теченія — радостно-оптимистическое, среди людей 40-хъ годовъ, встрѣтившихъ приступъ къ реформамъ

съ дружнымъ одобреніемъ, и несравненно болѣе требовательное, готовое осмѣивать реформы за ихъ недостаточность,—среди поколѣнія 60-хъ годовъ, въ строгомъ смыслѣ. Но и въ этомъ радикальномъ лагерѣ, неудовлетворенномъ потому, что онъ шелъ гораздо дальше въ своихъ требованіяхъ, отрицаніе высказывалось далеко не одинаково всѣми его представителями: одни, съ Писаревымъ во главѣ, были исполнены торжествующаго задора, и обновленія Россіи ждали прежде всего отъ широкой популяризаціи положительнаго знанія. Точная наука, какъ вѣрный залогъ умственнаго и нравственнаго прогресса, была ихъ постояннымъ боевымъ кличемъ. Другіе, главнымъ представителемъ которыхъ являлся Добролюбовъ, не хотѣли вѣрить въ близость обновленія и встрѣчали иллюзію оптимистовъ съ презрительнымъ пожиманіемъ плечъ. Ими гораздо болѣе, чѣмъ сторонниками Писарева, всѣ надежды возлагались на тотъ „настоящій день", который долженъ былъ когда-нибудь наступить. Чернышевскій объединилъ эти два направленія, поперемѣнно примыкая къ обоимъ.

Салтыковъ не усвоилъ себѣ въ цѣлости ни одной изъ этихъ программъ. Наклонность къ сатирѣ и желчность темперамента не позволяли ему раздѣлять оптимизма людей своего поколѣнія. Въ то же время онъ не шелъ такъ далеко въ отрицаніи, какъ Добролюбовъ, и, въ качествѣ идеалиста, не могъ сочувствовать безшабашной трезвости писаревскаго задора. Вотъ почему произведенія его, относящіяся къ самому началу шестидесятыхъ годовъ, въ томъ числѣ и лучшее изъ нихъ — *Исторія одного города*, не имѣли среди читающей публики того громкаго всеобщаго успѣха, съ какимъ встрѣчались нѣсколькими годами позже его послѣдующія сатиры. Крайнимъ радикаламъ его оппозиція казалась блѣдною въ сравненіи съ глубокою, хотя и сдержанною злобой Добролюбова. Его статьи въ „Современникѣ", въ которомъ онъ часто появлялся въ 61—63 гг. и гдѣ, послѣ смерти Добролюбова, онъ велъ критическій отдѣлъ, вызывали даже смѣхъ въ лагерѣ „Русскаго Слова". Тамъ находили его уже слишкомъ ручнымъ, и ѣдкое, но всегда тонкое глумленіе Салтыкова казалось Писареву и Зайцеву празднымъ зубоскальствомъ. Надо было, чтобы сошли со сцены наиболѣе талантливые представители 60-хъ годовъ, и перестали раздаваться ихъ хлесткіе, хоть и не всегда

мѣткіе удары: тогда только Салтыковъ могъ быть оцѣненъ вполнѣ, тогда только онъ могъ занять первенствующее мѣсто вождя нашего радикализма.

Тѣмъ не менѣе, съ самаго начала 60-хъ годовъ Салтыковъ примкнулъ къ тому литературному направленію, котораго реформы не удовлетворяли. Въ обновленной Россіи и въ самихъ ея обновителяхъ онъ подмѣчалъ все тѣ же черты нравственной распущенности, неисцѣлимой лѣни и закоренѣлаго эгоизма, вызванныя непробуднымъ застоемъ дореформеннаго времени. Къ этимъ чертамъ эпоха реформъ прибавила лишь двѣ новыя—либеральное пустозвонство и повальное лицемѣріе людей, примкнувшихъ къ реформаціонному движенію лишь затѣмъ, чтобы подъ его знаменемъ пристроиться къ теплому мѣстечку.

Новая Россія была въ его глазахъ лишь сосудомъ, вымытымъ снаружи, внутри котораго гнѣздились все та же нравственная грязь, все та же умственная тупость. Преобразовывайте внѣшній строй общества сколько вамъ угодно, будто говоритъ постоянно Щедринъ,—пока люди останутся тѣми же, пользы отъ этого будетъ немного. Таковъ характеръ всѣхъ очерковъ, относящихся съ 60 по 67-й годъ и впослѣдствіи вошедшихъ въ составъ сборниковъ, озаглавленныхъ: *Исторія одного города*, *Сатиры въ прозѣ*, *Невинные разсказы*, *Признаки времени* и *Письма изъ провинціи*. Въ первомъ изъ этихъ сборниковъ, наиболѣе извѣстномъ, Щедринъ олицетворяетъ и прошлую и нынѣшнюю Россію въ городѣ Глуповѣ, жители котораго споконъ вѣка оставались въ непробудной дремотѣ и первые слухи о реформахъ встрѣтили недовѣрчивымъ и оторопѣлымъ испугомъ. Этому описанію глуповскаго сна Щедринъ предпослалъ длинное сказаніе о прежнихъ глуповскихъ градоначальникахъ, начавъ свою лѣтопись карикатурнымъ пересказомъ о призваніи варяговъ. Когда *Исторія одного города* появилась, эта карикатура нашего прошлаго живо подхватывалась публикой, искавшею въ ней прежде всего намековъ на дѣйствительныя историческія фигуры. Перечитывая эту сатиру теперь, трудно объяснить себѣ произведенное ею когда-то впечатлѣніе. Щедринская соль очень грубаго, не аттическаго свойства и рѣдко попадаетъ въ цѣль. Исторія первобытной неурядицы и призванія варяговъ до крайности растянута и читается со скукой.

Въ характеристикахъ смѣнявшихъ другъ-друга градонаьниковъ, на ряду съ мѣткими комическими чертами, ого натянутаго и дѣланнаго. Быть истинно забавною горіи Глупова мѣшаетъ какъ разъ то, что въ ней сквогъ намѣреніе выставить пародію исторіи Россіи, и что кой пародіи на самомъ дѣлѣ Щедринъ все-таки не напилъ. У читателя является невольное желаніе подъ вымыпенными именами открыть настоящія, и любопытство его тается неудовлетвореннымъ.

А между тѣмъ, просто смѣяться ему не даетъ отсутствіе вѣжаго юмора и надоѣдливая мысль, что въ преувеличенномъ безобразіи глуповцевъ—карикатура на цѣлую Россію. въ то же время картина глуповскихъ дѣлъ и глуповскаго ездѣлья настолько все-таки смахиваетъ на зубоскальство, го не въ силахъ настроить и на глубокое, искреннее неодованіе.

Эта двойственность Щедрина, не рѣшавшагося въ 60-хъ одахъ ни открыто приняться за бичъ сатирика, ни добродушно посмѣиваться смѣхомъ юмориста, легла неизмѣннымъ тпечаткомъ и на прочіе сборники, относящіеся къ этому періоду. До нѣкоторой степени она сохранилась у него и юзднѣе, хотя съ теченіемъ времени угрюмая злоба беретъ у него рѣшительно верхъ надъ шутливостью.

Фигуры, выведенныя въ перечисленныхъ сборникахъ,— все тѣ же глуповцы, лишь слегка подернутые мишурною пореформенною новизной. Это—галлерея карикатуръ, выведенныхъ лишь затѣмъ, чтобы наглядно показать, какъ мало измѣнилась суть дѣла отъ начавшихся либеральныхъ реформъ. На языкѣ уже иныя выраженія, выхваченныя какъ-будто изъ европейскаго словаря, Россія словно принарядилась на западный ладъ, грязь смыта съ рукъ, и пятенъ не видно на новенькихъ съ иголочки вицъ-мундирахъ, и прежній тяжеловѣсный приказный слогъ замѣнили новыя, вылощенныя фразы, гдѣ постоянно звучатъ слова „мѣропріятія“ и „преобразованія“. Но суть дѣла все та же: подъ личиной просвѣщенной администраціи все тотъ же нелѣпый формализмъ, ничуть не мѣшающій произволу, та же нравственная распущенность, та же повальная глупость.

Въ настоящее время, 30 лѣтъ послѣ своего появленія, щедринскія сатиры этого періода кажутся необыкновенно поблекшими и смѣха уже не вызываютъ. Тотъ, кто бы взду-

малъ разглядѣть въ нихъ картину тогдашней Россіи, едва ли бы получилъ о ней сколько-нибудь вѣрное понятіе. Даже читателю, не хорошо знакомому съ эпохой 60-хъ годовъ, невольно чувствуется въ рисункѣ Щедрина односторонность и шаржъ. Мы знаемъ, что было сдѣлано въ то далекое уже отъ насъ время, и, несмотря на всю неполноту реформъ и на всѣ ихъ недочеты, лишь очень поверхностный умъ можетъ представить себѣ тогдашнихъ русскихъ дѣятелей, и великихъ и малыхъ, какъ смѣшной рядъ нелѣпыхъ и безобразныхъ фигуръ. Съ такимъ персоналомъ, какой выведенъ у Щедрина, крестьянскія положенія не могли бы быть введены въ дѣйствіе, а новые суды и земскія собранія некѣмъ было бы пополнить. Много, конечно, тогда надѣлано было промаховъ и смѣшныхъ и печальныхъ, но щедринское зубоскальство проходитъ мимо этихъ промаховъ, именно потому, что въ совершавшемся движеніи онъ ничего не хочетъ замѣтить хорошаго. Вотъ почему упомянутые выше сборники—наиболѣе теперь позабытая часть произведеній Щедрина. Нѣкоторую свѣжесть сохранили лишь тѣ изъ его очерковъ, которые, не касаясь общественныхъ вопросовъ, даютъ намъ эскизы случайно подмѣченныхъ имъ фигуръ. Здѣсь, въ этихъ наиболѣе безобидныхъ изъ его тогдашнихъ созданій, мы и до сихъ поръ въ состояніи удивляться его мѣткому рисунку, какъ разъ потому, что насъ не преслѣдуетъ здѣсь тревожный контрастъ между карикатурностью этого рисунка и несомнѣннымъ величіемъ тогдашней обновительной работы.

Но странно, что и тогда, среди наиболѣе крайняго радикальнаго лагеря, Щедринъ особенною популярностью не пользовался. Какъ ни враждебно относился этотъ лагерь къ правительственнымъ реформамъ, всячески стараясь умалить ихъ значеніе, въ немъ отлично понимали, что однимъ зубоскальствомъ не стереть впечатлѣнія, произведеннаго 19-мъ февраля или преобразованіемъ судовъ. Для послѣдователей Чернышевскаго, Добролюбова или Писарева смѣхъ Щедрина былъ черезчуръ слабымъ оружіемъ—настоящаго революціоннаго воодушевленія ему все-таки недоставало, а въ остальныхъ слояхъ общества, гдѣ вѣрно оцѣнивалось различіе между новою и дореформенною Россіей, щедринская сатира отзывалась фальшью. Своимъ не могли его признать ни тѣ ни другіе. Какъ человѣкъ 40-хъ годовъ,

весь пропитанный культурностью своего поколѣнія, Салтыковъ не приходился по-плечу коноводамъ эпохи бури и натиска съ ихъ бурсацкою самонадѣянною грубостью. Они не могли ему простить, что старинный идеализмъ и тонкость вкуса у него все-таки не перевелись, и на страницахъ „Современника“ онъ позволилъ себѣ осмѣять наиболѣе популярное изъ произведеній той эпохи: „Что дѣлать?“ Чернышевскаго. А въ той образованной средѣ, которая, быть-можетъ, не всегда удовлетворенная реформами, все-таки видѣла въ нихъ начало осуществленія своей программы, Щедринъ казался отщепенцемъ, работавшимъ на-руку все еще сильной тогда группѣ крѣпостниковъ. И едва ли не среди этой группы съ наибольшимъ удовольствіемъ читались въ то время его карикатурные очерки.

Настоящая слава Щедрина началась въ то время, когда онъ, вмѣстѣ съ Некрасовымъ, сталъ редактировать „Отечественныя Записки“ и придалъ этому журналу характеръ органа радикальной партіи. Но прежде чѣмъ перейти къ этой новой стадіи въ дѣятельности Салтыкова, я долженъ сказать нѣсколько словъ о внутреннемъ поворотѣ, совершившемся въ передовой части русскаго общества подъ конецъ 60-хъ годовъ, когда сошли со сцены главные дѣятели эпохи бури и натиска, и выстрѣлъ Каракозова замедлилъ дальнѣйшій ходъ преобразовательной дѣятельности правительства.

II.

Умственное движеніе 60-хъ годовъ распространилось и на слѣдующее десятилѣтіе совершенно такъ же, какъ случилось это съ предшествовавшимъ ему движеніемъ 40-хъ. Въ литературѣ и журналистикѣ 70-хъ годовъ мы встрѣчаемся съ главными чертами эпохи бури и натиска—съ восторженнымъ поклоненіемъ естествознанію, съ господствомъ матеріалистическимъ ученій и сильно выраженными демократическими симпатіями.

Требованіе обязательной тенденціозности въ беллетристикѣ проводилось критиками 70-хъ годовъ, какъ дѣлалось это ихъ учителями—Добролюбовымъ, Чернышевскимъ и Писаревымъ.

И все-таки, несмотря на эту кажущуюся вѣрность принятому направленію, оно понемногу внутренно перерожда-

лось. Радикализмъ начала 60-хъ годовъ былъ, въ сущности, не строго народнымъ, и только-что освобожденное крестьянство, о которомъ такъ много говорилось въ печати, на самомъ дѣлѣ оставалось для коноводовъ движенія отвлеченною величиной. Новый общественный слой, выдвинутый эпохой бури и натиска, набирался преимущественно изъ рядовъ духовенства и мелкаго чиновничества, и главнымъ предметомъ его заботъ и симпатіи, естественнымъ образомъ, былъ онъ самъ.

Большинство литературныхъ произведеній новой школы вращалось, какъ видѣлъ читатель, въ средѣ такъ-называемаго разночинства. Была, правда, и чисто народная беллетристика: мужикъ и тогда уже сталъ любимцемъ нашего передового лагеря, хотя любимцемъ довольно платоническимъ, котораго выводили на показъ, какъ рѣдкаго звѣря. Но, во-первыхъ, на страницахъ тогдашнихъ журналовъ народная беллетристика занимала гораздо болѣе скромное мѣсто, чѣмъ впослѣдствіи, а во-вторыхъ,—простолюдинъ являлся въ ней лишь въ одномъ изъ двухъ слѣдующихъ видовъ—либо какъ предметъ слезливой идеализаціи, либо въ качествѣ мало знакомаго и потому интереснаго чудака, дававшаго мотивы для забавныхъ эскизовъ. Къ первому типу относятся сентиментальныя повѣсти Марко-Вовчка, ко второму—народные очерки Слѣпцова, Левитова и Николая Успенскаго. Одинъ Рѣшетниковъ стоитъ особнякомъ со своими мрачными картинами изъ крестьянскаго быта, но, конечно, этотъ единственный представитель настоящаго народничества не могъ въ то время придать замѣтную окраску цѣлой литературѣ.

Причина этой отчужденности радикальнаго движенія отъ заправскаго народа лежитъ въ чисто западническихъ симпатіяхъ руководителей этого движенія. Тотъ скачокъ въ сторону демократіи, котораго они добивались, могъ быть осуществленъ, по ихъ мнѣнію, только прививкой къ намъ западнаго радикализма. Я уже сказалъ выше, какъ много было сходства между взглядами, господствовавшими у насъ въ эпоху бури и натиска, и ученіемъ французскихъ раціоналистовъ XVIII вѣка. Въ началѣ 60-хъ годовъ у насъ думали, какъ думали французскіе энциклопедисты, что есть безусловно лучшее политическое устройство, пригодное для всѣхъ народовъ и во всѣ времена: стоитъ его ввести, хотя

ы насильственно, и благіе результаты не замедлятъ сказаться. Но, думая такъ, руководители движенія не могли, однако, не сознавать, что русскій народъ, въ тѣсномъ смыслѣ, пока совершенно чуждъ идеаловъ западной демократіи и пальцемъ не шевельнетъ, чтобы эти идеалы воздворить въ Россіи. Въ его собственномъ бытѣ, въ его преданіяхъ, вѣрованіяхъ, обычаяхъ не было рѣшительно ничего такого, чему могли бы сочувствовать наши тогдашніе обновители. Сперва онъ долженъ былъ подвергнуться коренной переработкѣ, чтобы изъ него могъ сформироваться матеріалъ для будущей русской демократіи. Это, конечно, не останавливало нашихъ реформаторовъ, такъ какъ просвѣщеніе народа, то-есть уничтоженіе всего запаса его историческихъ преданій, они охотно брали на себя.

Но входить съ нимъ въ прямое соприкосновеніе они пока не думали, и та школа писателей, которая съ половины 30-хъ годовъ проповѣдывала обновленіе Россіи снизу, путемъ возрожденія до-петровской старины, уцѣлѣвшей у мужика, была у нашихъ доморощенныхъ радикаловъ на самомъ дурномъ счету. Понятно, однако, что это мужикофильство безъ мужика, эта демократизація вопреки народу не могла устоять долго, такъ какъ въ ней заключалось внутреннее и довольно-таки нелѣпое противорѣчіе. Въ сущности, славянофилы, столь ненавистные радикаламъ „Современника“, тоже изображали собою попытку сліянія западнаго просвѣщенія съ русскою деревней, такъ какъ они свою національную теорію строили согласно методу нѣмецкой философіи. И, въ концѣ-концовъ, развѣ можно помогать народу, отстраняясь отъ него? И самъ этотъ народъ, несмотря на всю свою косность, развѣ не сумѣлъ выставить изъ своихъ рядовъ такихъ бунтарей, какъ Стенька Разинъ и Пугачовъ, и создать такія крупныя и самородныя явленія, какъ расколъ и казачество? И вотъ, на ряду съ прославленіемъ западнаго радикализма, идетъ у насъ съ самаго начала 60-хъ годовъ—правда, въ видѣ очень слабой струи—идеализація русскихъ бунтовъ и старательное, хотя тенденціозное, изученіе раскола. Главнымъ, можно сказать, почти единственнымъ представителемъ этого направленія былъ Щаповъ, въ которомъ нельзя не видѣть настоящаго основателя народничества. Съ конца десятилѣтія эта струя мало-по-малу разрастается, заливая собою, если можно такъ

выразиться, сперва беллетристику, а потомъ, еще въ большей степени, экономическую литературу. Изслѣдованіе народа въ бытовомъ и хозяйственномъ отношеніи, рядомъ съ картинами изъ его жизни въ формѣ очерковъ и повѣстей, идетъ съ 1868 года въ геометрической прогрессіи. Много было тому причинъ. Во-первыхъ, въ передовомъ лагерѣ пробуждалось убѣжденіе, что нельзя ограничиваться девизомъ: „Tout pour le peuple", а надо къ нему прибавить и другой: „Tout par le peuple"; что помогать народу, не зная его, невозможно. Во-вторыхъ, открывшіяся съ 1865 года земскія учрежденія не только создали почву для сближенія между классами, но вынудили ко внимательному изслѣдованію народа въ качествѣ земскаго плательщика. Выросшая отсюда земская статистика послужила, можетъ-быть, главнымъ поводомъ къ тому, что представители такъ-называемой „интеллигенціи" набросились на хозяйственный бытъ крестьянства, какъ на лакомую terra incognita. Земскія статистическія изслѣдованія и пошедшія съ ними рядомъ изслѣдованія этнографическія—интеллигенція входила понемногу во вкусъ—открыли совершенно новый, вполнѣ неизвѣстный народъ, а въ то же время розовыя надежды на быстрый подъемъ благосостоянія послѣ реформъ стали исчезать передъ неожиданностью явленій совершенно иного рода, обнаруживавшихъ среди крестьянства признаки хозяйственнаго упадка. Тогда за дѣло принялись и кабинетные экономисты, и труды князя Васильчикова, профессора Янсона, впослѣдствіи гг. В. В. Исаева, Ходскаго, Южакова, Пругавина и др., внесли въ эту область много свѣта, а подчасъ и еще болѣе тьмы. И какъ разъ въ это время пріостановился ходъ законодательныхъ преобразованій и стала поднимать голову партія, твердившая на всѣ лады, что рядъ скороспѣлыхъ реформъ расшаталъ политическое устройство Россіи и, въ особенности, значительно ослабилъ главный бытовой общественный классъ—поземельное дворянство. На дальнѣйшіе успѣхи на пути офиціальной демократизаціи надежда стала плоха. Разсчитывать на одну интеллигенцію, когда ея программѣ стала измѣнять безсознательная ея союзница—столичная бюрократія, было, очевидно, нельзя. И вотъ, съ конца 60-хъ годовъ растетъ убѣжденіе, что безъ народа не обойдешься и слѣдовало бы попытаться, не сослужитъ ли онъ интеллигенціи добрую

службу, то-есть, говоря попросту,—нельзя ли будетъ разыграть второй актъ пугачевщины.

Ходъ событій достаточно извѣстенъ, и мнѣ здѣсь не зачѣмъ его воспроизводить. Рядъ политическихъ процессовъ, начавшихся съ 1871 года, достаточно указываетъ на исходную точку такъ-называемаго „хожденія въ народъ".

Но для меня здѣсь важенъ не столько самый этотъ фактъ, сколько то умственное настроеніе, та политико-философская доктрина, которая на немъ выросла. Даже при бѣгломъ просмотрѣ нашей литературы и публицистики съ конца 60-хъ годовъ нельзя не примѣтить существенной перемѣны настроенія. Проповѣдь благоразумнаго эгоизма и разсудочной трезвости, которая, правда, съ разною интонаціей слышится постоянно у трехъ главныхъ представителей литературы бури и натиска, смѣнилась проповѣдью иного рода, требовавшею самоотверженнаго и безкорыстнаго служенія народу. Не жизненное счастье обѣщаютъ своимъ адептамъ непосредственные преемники Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, а нѣчто очень похожее на мученическій вѣнецъ. Непрерывное преемство между учениками и учителями, правда, не нарушалось, и новый аскетизмъ выступаетъ подъ знаменемъ той же продолжительной трезвости, во имя которой въ началѣ десятилѣтія сулили новымъ людямъ всеобщее благополучіе. Но въ нравственномъ кодексѣ все-таки совершилась замѣтная перемѣна. Необходимость жертвы для выполненія долга, столь осмѣянная Писаревымъ и столь презрительно отвергавшаяся Добролюбовымъ и Чернышевскимъ, была теперь у всѣхъ на устахъ Не одни народники въ тѣсномъ смыслѣ, — вся передовая интеллигенція оказалась вдругъ охваченною глубокимъ сознаніемъ какой-то священной обязанности передъ мужикомъ. Не одни только плоды западной цивилизаціи надо перес а дить на суровую русскую почву, дабы устроить на ней, съ помощью положительнаго метода, жизнь культурныхъ людей,—надо прежде всего поспѣшить на помощь къ народу, просвѣтить его и поднять его имущественный уровень. Будущій переворотъ являлся уже не въ видѣ праздника для передовой интеллигенціи, а какъ тяжелый подвигъ, наложенный на культурные общественные слои всѣмъ ходомъ русской исторіи. И если мы спросимъ у себя, откуда взялся этотъ поворотъ, какимъ образомъ жизнерадостный задоръ

Писарева и мрачная сухость Добролюбова неожиданно смѣнились чѣмъ-то очень похожимъ на мистическо-религіозный энтузіазмъ, разгадка, я думаю, найдется въ самомъ расширеніи задачи, какую ставилъ себѣ нашъ радикализмъ. Пока онъ заботился объ одномъ культурномъ пролетаріатѣ, онъ могъ проповѣдовать разумный эгоизмъ и видѣть въ немъ путь къ общему благополучію, такъ какъ передовая интеллигенція работала тогда лишь за самое себя. Но какъ скоро она захотѣла окунуться въ народныя массы, пробудить ихъ и повести за собою, эгоизмъ оказался недостаточнымъ. Будущее торжество было такъ далеко, столькихъ жертвъ оно требовало для своего достиженія, что, очевидно, нельзя уже было воодушевлять передовую молодежь обѣщаніемъ близкаго жизненнаго пира, а надо было закалить ее на трудную борьбу, со всѣми ея лишеніями.

Сдѣлать это могъ уже не эгоизмъ, при всей своей разумности, а лишь упоеніе жертвой. Вотъ какимъ путемъ наша якобы реальная школа 60-хъ годовъ вернулась на путь западнаго романтизма 40-хъ годовъ, на столь осмѣянный путь, давно намѣченный Жоржъ-Сандъ и молодой Германіей.

Но, перемѣняя, такимъ образомъ, фронтъ, радикализмъ 60-хъ годовъ все-таки не вполнѣ слился съ народничествомъ въ тѣсномъ смыслѣ. Его задачей все-таки осталось пріобщеніе народа къ западной цивилизаціи,—конечно, лишь той части цивилизаціи, которая приносила съ собой успѣхи положительнаго знанія и улучшеніе матеріальнаго быта. Другая, быть-можетъ, наиболѣе существенная ея часть,—культура въ тѣсномъ смыслѣ, то-есть вся совокупность не столько знаній, но обычаевъ и нравовъ, оставалась довольно-таки чуждою самой тогдашней интеллигенціи. Въ этой культурѣ нашъ радикализмъ усматривалъ нѣчто изысканное, аристократическое, и потому не нужное, какую-то дорогую роскошь черезчуръ изнѣженнаго западнаго общества.

Особенность нашего демократическаго движенія, отличающая его отъ всѣхъ подобныхъ движеній на Западѣ, заключается, именно, въ томъ, что оно презрительно отвергло изящество формъ общежитія, выработанныхъ Западомъ и перенятыхъ тонкимъ слоемъ высшаго класса.

Какъ бы то ни было, повторяю, между измѣнившеюся программой столичнаго радикализма и народничествомъ все-

гаки оставалось нѣкоторое внутреннее противорѣчіе. Народники не только стремились ввести мужика въ круговоротъ общественной жизни и поднять его умственно,—они, сверхъ того, хотѣли поучиться у него самого и проникнуться его духомъ. Прогрессивное развитіе русскаго народа должно было итти, по ихъ мнѣнію, не по космополитическому шаблону, а по особому, русскому пути. Уже не одни устарѣлые предразсудки и грубыя суевѣрія они находили въ мужикѣ, а цѣлый складъ народныхъ идеаловъ, не только почтенныхъ, какъ наслѣдіе прошлаго, а прямо достойныхъ подражанія. Семейно-общинный бытъ, съ подчиненіемъ личности волѣ и нуждамъ семьи и міра, имъ казался драгоцѣнною формой народнаго строя, которую не только оберегать надо отъ разложенія, но въ которой слѣдуетъ искать прообразъ будущаго развитія цѣлой Россіи. Такимъ образомъ, мужикъ изъ предмета сердобольнаго покровительства сталъ таинственнымъ носителемъ какой-то высшей правды. Въ этомъ нельзя не видѣть безсознательнаго воспріятія народниками наиболѣе существенныхъ чертъ славянофильскаго міросозерцанія. Изъ прежней славянофильской программы выключалось, правда, поклоненіе старинѣ во всей ея совокупности и, въ особенности, строгая преданность обрядамъ православія, и мужикъ прославлялся народниками не какъ твердый устой древняго историческаго быта, а какъ здоровый обновитель будущей демократической Россіи. Но та часть передовой интеллигенціи, которая приняла народническое ученіе, все-таки до нѣкоторой степени перестала вѣрить въ догматъ космополитическаго либерализма; а это должно было, рано или поздно, привести ее къ столкновенію съ другою, западническою частью передового лагеря.

Особенно замѣтно поворотъ въ общественномъ настроеніи отразился на такъ-называемомъ „женскомъ вопросѣ“. Проповѣдь свободнаго удовлетворенія личныхъ влеченій, обѣщаніе легко устранить, путемъ разумной трезвости, всѣ жизненныя столкновенія, смѣнились проповѣдью аскетизма и законности сближенія между полами лишь на почвѣ совмѣстной работы въ пользу народнаго дѣла. Герои стали приглашаться не только къ такъ-называемому „развиванію“ барышень, подъ которымъ подразумѣвалось разъясненіе имъ прелестей свободной любви, но и къ воспитанію въ нихъ подвижническихъ инстинктовъ, купно съ подходящимъ

чтеніемъ либеральныхъ книжекъ. Конечно, цѣлью для героя или героини стало избраніе себѣ одной изъ профессій, предназначенныхъ для служенія мужику, именно профессій по учительской и врачебной части, до сельской акушерки включительно.

И всякое уклоненіе отъ этой программы въ сторону легкихъ амуровъ стало клеймиться названіемъ „пошлаго разврата". Такимъ образомъ, подготовительныя умственныя занятія, вполнѣ удовлетворявшія Базарова и героя романа „Что дѣлать?", смѣнились дѣятельностью чисто-гражданскаго свойства. „Настоящій день", повидимому, наступалъ.

Посмотримъ теперь, какъ отразилось это измѣнившееся общественное настроеніе на литературной дѣятельности Щедрина. Самъ авторъ *Губернскихъ очерковъ* въ пріемахъ своего творчества измѣнился очень мало,—Щедринъ, вообще говоря, одинъ изъ наиболѣе цѣльныхъ нашихъ писателей, сначала до конца сохранившій почти безъ измѣненія свою литературную физіономію. Измѣнилось отношеніе къ нему общества и, въ особенности, передовой его части, съ конца 60-хъ годовъ принявшейся смотрѣть на него, какъ на своего руководителя. Эта перемѣна въ настроеніи публики была вызвана, главнымъ образомъ, тѣмъ, что различные оттѣнки нашихъ либераловъ съ конца 60-хъ годовъ стали тѣснѣе сплачиваться, хотя не въ той еще степени, какъ 10 лѣтъ спустя. Произошло это, благодаря всеобщему разочарованію въ правительственныхъ реформахъ,—разочарованію, заразившему теперь и наиболѣе умѣренную часть либеральнаго лагеря, недовольную замедленіемъ въ ходѣ преобразовательныхъ работъ. Это сближеніе между правымъ и лѣвымъ крыломъ нашихъ либераловъ не дошло, правда, еще до братанія съ крайними представителями движенія и ничуть не мѣшало союзникамъ перебраниваться между собой, иногда очень рѣзко.

Тѣмъ не менѣе, была создана почва для единодушной оппозиціи, и ѣдкій, отрицательный талантъ Щедрина пришелся этой оппозиціи какъ нельзя болѣе по-вкусу, давая ей требуемый камертонъ.

Къ тому же, одновременно съ пріостановкою реформъ, въ литературѣ стали все чаще появляться голоса, относившіеся несочувственно къ цѣлому складу идей эпохи бури и натиска.

Перевѣсъ таланта съ конца десятилѣтія, несомнѣнно, переходитъ на сторону охранительнаго теченія, и не только

потому, что почти всѣ литературные представители 40-хъ годовъ, въ особенности Достоевскій и Гончаровъ, стали въ явно-враждебныя отношенія къ шестидесятникамъ, а и потому, въ особенности, что большинство вновь появившихся второстепенныхъ талантовъ—Лѣсковъ, Вс. Крестовскій, Ключевскій и Маркевичъ—выступило съ рѣзкими обличеніями противъ эпохи бури и натиска.

Такимъ образомъ, передовымъ идеаламъ опасность стала грозить съ трехъ сторонъ. Правительство отъ нихъ отвернулось; среди общественнаго класса, противъ котораго были направлены главныя нападки шестидесятниковъ,—среди помѣстнаго дворянства стала обнаруживаться наклонность къ самозащитѣ; и, наконецъ, даже въ области литературы наиболѣе яркія произведенія были отмѣчены враждебностью къ движенію 60-хъ годовъ, доходившею до открытаго глумленія. Немудрено, что два такихъ могучихъ психологическихъ стимула, какъ собственное разочарованіе и противодѣйствіе со стороны, вызвали и въ передовомъ лагерѣ воинственныя наклонности, создавъ, такимъ образомъ, ту атмосферу почти явной борьбы, которую Лѣсковъ охарактеризовалъ въ своемъ романѣ „На ножахъ".

Внутренній расколъ среди русскаго общества съ начала 70-хъ годовъ обострился до того, что противники стояли другъ противъ друга какъ бы въ боевой готовности, и если бы въ Россіи переходъ отъ слова къ дѣлу былъ легче, можно было, судя по настроенію враждующихъ сторонъ, ожидать чего-то похожаго на междоусобную войну. Но природа русскаго человѣка заключаетъ въ себѣ очень характерную особенность. На самомъ дѣлѣ, онъ настроенъ всегда гораздо мягче, чѣмъ это кажется по страстности вырывающихся у него рѣчей, и не будь даже присутствія властей предержащихъ, едва ли бы приходилось особенно часто разнимать борцовъ. Все дѣло, вѣроятно, ограничилось бы обмѣномъ печатныхъ и непечатныхъ любезностей. Впрочемъ, борьбѣ нашихъ партій и тогда и позднѣе придавало нѣкоторую безобидность то обстоятельство, что, за исключеніемъ самыхъ крайнихъ представителей активнаго анархизма, всѣ они, въ сущности,—полководцы безъ арміи. Ни за либералами, болѣе или менѣе яркихъ оттѣнковъ, ни за представителями дворянскаго консерватизма, ни даже за литературными охранителями не стоялъ, въ сущности, никто, и подъ

тонкимъ покровомъ раскаленной лавы царило мертвенное равнодушіе.

Особенно замѣтно было это равнодушіе какъ разъ въ наиболѣе заинтересованной средѣ—въ кругу провинціальнаго дворянства.

Будущій историкъ движенія 60-хъ и 70-хъ годовъ, вѣроятно, удивится той добродушной, почти бараньей апатіи, иногда превращавшейся даже въ выраженіе прямого, хотя и вялаго сочувствія, съ которымъ наше провинціальное дворянство относилось къ людямъ, явно выказывавшимъ ему свою ненависть.

Но въ тогдашнемъ передовомъ лагерѣ, хотя, вѣроятно, очень хорошо сознавали все безсиліе, всю дряблость отпора, тѣмъ не менѣе горячо возмущались его внѣшними, особенно его литературными проявленіями. И это негодованіе нашло себѣ наиболѣе громкое выраженіе въ сатирахъ Щедрина, относящихся ко второй эпохѣ его дѣятельности, отъ 1867 до 1888 года.

Сравнивая эти сатиры съ произведеніями болѣе ранней эпохи его творчества, нельзя не замѣтить, что если тонъ измѣнился мало, то значительно измѣнился характеръ выводимыхъ имъ карикатурныхъ лицъ. Это уже не прежніе глуповцы, безобидные въ своей дремотѣ, хоть и грубые въ своихъ порокахъ. Ихъ тоже коснулось пробуждающее дыханіе цивилизаціи, и развратъ ихъ сталъ утонченнѣе, если можно такъ выразиться,—активнѣе и злѣе. Словомъ, они даютъ матеріалъ не для комедіи только, но и для драмы. Изъ всѣхъ сборниковъ Щедрина, относящихся къ этой эпохѣ, одинъ только—*Помпадуры и Помпадурши*—носитъ на себѣ характеръ зубоскальства.

Напыщенныя фигуры администраторовъ новой формаціи, даже тѣхъ изъ нихъ, которые искренно желаютъ заняться „искорененіемъ“, какъ „помпадуръ борьбы“,—безусловно комичны. Зависитъ это оттого, должно-быть, что, въ сущности, тогдашніе администраторы, всѣ эти вылощенные и самоувѣренные птенцы лицея и петербургскихъ охранительныхъ говориленъ, были довольно безсильны въ своихъ попыткахъ на борьбу, до того безсильны, что они подчасъ и не знали, противъ чего имъ бороться.

Вспомнимъ, что тогдашнія попытки къ усиленію губернаторской власти свелись къ придуманному новому китай-

скому церемоніалу въ обмѣнѣ офиціальныхъ любезностей между помпадуромъ и мѣстными представителями разныхъ вѣдомствъ. Чутье Щедрина подсказывало ему, что метать настоящіе перуны на губернскихъ сановниковъ было въ то время излишнимъ дѣломъ, что смѣсь почти уже европейской деликатности въ обращеніи съ попытками „искоренить“ и „подтянуть“ не давала пищи для ювеналовской сатиры.

Свое негодованіе Щедринъ приберегалъ для иныхъ, болѣе опасныхъ представителей общественнаго зла.

Просматривая сборники, относящіеся къ эпохѣ 1867—81 г., *Господа Ташкентцы*, *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*, *Въ средѣ умѣренности и аккуратности*, *Благонамѣренныя рѣчи*, *Убѣжище Монрепо*, *Господа Головлевы*, *Сказки и разсказы*, можно отмѣтить въ нихъ три слѣдующихъ типа, становящихся главными предметами обличенія,—и всѣ они продукты уже пореформенныхъ вѣяній. Два изъ нихъ принадлежатъ къ оскудѣвшему дворянству; послѣдній является представителемъ зародившагося вновь хищнаго класса изъ крестьянской среды.

Неизбѣжнымъ послѣдствіемъ дворянскаго оскудѣнія было исканіе благъ насущныхъ вдали отъ родныхъ гнѣздъ—исканіе, за которое наиболѣе расторопные изъ помѣщиковъ и принялись весьма усердно.

Шло оно по двумъ главнымъ направленіямъ: въ сторону государственной службы, гдѣ пристроиться особенно старалось молодое поколѣніе, и въ области дѣловой спекуляціи, манившей къ себѣ, преимущественно, зрѣлыхъ представителей дворянства. Какъ разъ въ половинѣ 60-хъ годовъ на томъ и другомъ поприщѣ открылись широкіе виды на обильную жатву. Реформы значительно размножили административно-судебный персоналъ, обставивъ новыя должности и сытными окладами, а разрастаніе желѣзнодорожной сѣти значительно увеличило тяготѣніе провинціи къ столицѣ. Это тяготѣніе и вызванный имъ усиленный обмѣнъ не только людей, но и товаровъ, между деревней и городомъ, въ свою очередь, создало прежде совсѣмъ неизвѣстные источники обогащенія. Сидѣвшее по своимъ угламъ провинціальное дворянство протерло глаза, почуявъ негаданную добычу. Возможность пріобрѣсти учредительные паи въ желѣзнодорожной концессіи или пристроиться къ какому-нибудь вновь открывшемуся банку блестящимъ миражемъ

проносилась предъ восхищенными глазами старосвѣтскихъ помѣщиковъ, которымъ прежде и во снѣ не снились сказочныя суммы, теперь представлявшіяся уже не во снѣ только, а и наяву. Въ то же время вѣсти о новыхъ мѣстахъ и неслыханные прежде оклады по судебному, финансовому и другимъ вѣдомствамъ давали надежду обезпечить сынковъ, которымъ уже не сидѣлось въ деревнѣ, и прежняя карьера армейскаго кавалериста да украшеніе сельскихъ досуговъ прелестями разныхъ Палашекъ и Матрешекъ казались уже очень мизерными. Аппетитъ разыгрался и у дѣтей и у отцовъ, и разыгрался не потому только, что дома наступало оскудѣніе, а потому въ особенности, что далекая прежде столица стала такою доступною благодаря чугункѣ. Я охотно бы даже сказалъ, что не оскудѣніе вызвало эмиграцію въ Петербургъ, а какъ разъ наоборотъ,—пробужденіе новыхъ потребностей и погоня за мишурными приманками столицы вызвали бросаніе имѣній на произволъ судьбы и потому разорили помѣщичьи хозяйства. Какъ бы то ни было, надежда обогатиться разомъ, вдругъ, естественнымъ образомъ должна была обусловить и готовность достичь такого обогащенія какимъ бы то ни было путемъ. Погоня за успѣхомъ во что бы то ни стало не могла не подѣйствовать развращающимъ образомъ.

„Чѣмъ же я хуже?“—думалось любому дворянчику, узнавшему, что такому-то изъ его знакомыхъ удалось примазаться въ концессіи или получить выгодное мѣсто. А такъ какъ для достиженія перваго надо было втереться въ общество дѣльцовъ и научиться у нихъ, какъ склонять въ свою пользу власть имѣющихъ, для достиженія же второго надо было умѣть понравиться,—то и создалась очень скоро особая мораль, примѣнявшаяся къ условіямъ разнообразныхъ, вновь открывшихся карьеръ. Само-собою разумѣется, что на этомъ пути сыновья пошли дальше отцовъ, что менѣе привыкшіе къ рутинѣ и болѣе доступные новымъ пріемамъ они на поприщѣ карьеризма перещеголяли своихъ папенекъ.

И вотъ, неистощимая фантазія Щедрина въ длинномъ рядѣ очерковъ нарисовала самые разнообразные виды молодыхъ искателей фортуны, глубоко убѣжденныхъ, что честно работаютъ одни дураки и что, съ помощью смѣтки, можно очень быстро достигнуть благъ земныхъ путемъ угодничества

предъ начальникомъ или хотя бы эксплуатаціей прибыльныхъ амуровъ. Этотъ типъ беззастѣнчивыхъ тунеядцевъ, быть-можетъ, лучшій изъ всѣхъ щедринскихъ типовъ, получилъ у него собирательное названіе *Господъ Ташкентцевъ*, хотя онъ выступаетъ не въ одномъ только сборникѣ, озаглавленномъ этимъ именемъ. Ташкентцы разнаго рода, то-есть дворянскіе недоросли, знающіе, гдѣ раки зимуютъ, и рано научившіеся жизненной мудрости, такъ и остались до конца однимъ изъ любимыхъ сюжетовъ его творчества.

Съ теченіемъ времени, думалъ Салтыковъ, типъ все разрастался и крупнѣлъ, постепенно обнимая всѣ отрасли русской жизни, и по мѣрѣ того, какъ поколѣніе Таштентцевъ созрѣвало, все грознѣе оно становилось для Россіи, помышляя захватить въ свои руки уже настоящую власть.

Отцы, какъ я уже сказалъ, на этомъ пути отстали отъ сыновей. Въ умѣніи примѣняться къ новымъ пріемамъ добыванія средствъ жизни они обнаруживаютъ, быть-можетъ, такую же беззастѣнчивость, какъ и дѣти, но зато и гораздо больше наивности. *Дневникъ провинціала въ Петербургѣ* рисуетъ, главнымъ образомъ, траги-комическія скитанія по стогнамъ Петербурга полуразоренныхъ помѣщиковъ, благодаря новымъ вѣяніямъ превратившихся въ такъ-называемыхъ „мѣстныхъ дѣятелей". Съ нѣкіимъ Прокопомъ во главѣ, они голодною саранчей налетѣли на столицу и пробуютъ какъ-нибудь пристроиться къ одному изъ видовъ столичнаго пѣнкоснимательства. Длинною и, подчасъ, надо признаться, довольно скучною галлереей проходятъ мимо насъ роскошные завтраки съ биржевиками, переднія столичныхъ канцелярій, ученыя говорильни и консервативныя гостиныя, въ которыхъ нѣсколько презрительно раскрываютъ провинціаламъ объятія петербургскіе тузы. Въ концѣ-концовъ, разумѣется, большинство „мѣстныхъ дѣятелей", отвѣдавъ столичной жизни, вмѣсто искомаго обогащенія, только проѣдаютъ выкупныя свидѣтельства. Во всемъ этомъ много юмора, есть мѣткіе штрихи, но еще болѣе пересола, и, вдобавокъ, пересола, ставшаго почти непонятнымъ для читателя,—до того выдохлись и поблѣднѣли картины, срисованныя Щедринымъ съ тогдашняго общества. Но въ особенности нельзя не замѣтить, что въ концѣ-концовъ разоряющіеся провинціалы возбуждаютъ болѣе жалости, чѣмъ омерзѣнія или даже смѣха, да и позволительно думать, что

въ глазахъ самого Салтыкова отцы, то-есть помѣщики-крѣпостники, несмотря на всю свою грубую отсталость, были симпатичнѣе сыновей.

Это видно уже изъ финала, придуманнаго имъ для петербургскихъ скитаній провинціаловъ. Для нихъ остается одно лишь—возвратиться въ свои *Убѣжища Монрепо*, въ тщетной надеждѣ поправить дѣла съ помощью агрономіи, и тамъ убѣдиться, къ своему немалому ужасу, что ихъ безпощадно одолѣваетъ вновь народившаяся сила кулака. Особенно ярко эта гнусная побѣда кулачества изображена въ разсказѣ *Отецъ и сынъ* (*Благонамѣренныя рѣчи*), гдѣ старикъ-генералъ Утробинъ, нѣкогда богатый владѣлецъ роскошной приволжской усадьбы, благодаря своему неумѣнію примѣниться къ новымъ условіямъ, мало-по-малу разоряется, попадая, наконецъ, въ лапы кулака Стрѣлова. Послѣдній ударъ ему наноситъ его сынъ, блестящій петербургскій чиновникъ, пріѣхавшій къ отцу, чтобы выманить послѣднее выкупное свидѣтельство, и затѣмъ, когда это не удалось, занимающій у Стрѣлова деньги подъ вексель съ подложною бланковою надписью генерала. Въ развязкѣ этого разсказа, гдѣ отецъ, разставаясь съ сыномъ, суетъ ему въ руку то самое выкупное свидѣтельство, которое онъ прежде не рѣшался отдать, Щедринъ достигаетъ настоящаго трагизма. Контрастъ между наивною слабостью старика и каменнымъ безсердечіемъ сына, у котораго и теперь не дрогнула совѣсть, вызываетъ такую же глубокую жалость, какъ судьба иныхъ шекспировскихъ героевъ, и сомнѣнія быть не можетъ, на чьей сторонѣ симпатіи автора.

Трагическая струна вообще звучала въ талантѣ Щедрина.

Онъ блистательно доказалъ это въ знаменитой эпопеѣ о семьѣ Головлевыхъ. Въ этомъ наиболѣе крупномъ и по объему и по содержанію изъ своихъ литературныхъ произведеній Салтыковъ съ истинно шекспировскою мощью показалъ, до какихъ чудовищныхъ размѣровъ можетъ развиться въ человѣкѣ нравственное зло, воспитанное двумя такими стимулами, какъ лицемѣріе и корыстолюбіе. Фигура Іудушки—живой примѣръ, какъ затаенная страсть постепенно разъѣдаетъ не только душевный, но и физическій организмъ, губя человѣка какъ разъ путемъ достиженія того, къ чему онъ стремится. Алчность Іудушки постепенно растетъ въ своей омерзительной силѣ, мельчая въ своихъ

проявленіяхъ, вытравляя въ немъ не только всякое человѣческое чувство, но даже всякое содержаніе собственной жизни. Въ этомъ единственномъ своемъ обширномъ повѣствованіи Салтыковъ явился болѣе чѣмъ гдѣ-либо тонкимъ и глубокимъ психологомъ.

Правда, *Господа Головлевы* несвободны отъ крупнаго недостатка: они до крайности растянуты, что дѣлаетъ чтеніе книги утомительнымъ. Но впечатлѣніе остается сильнымъ, какъ разъ потому, что Салтыковъ покаралъ своего отвратительнаго героя не путемъ конфликта съ окружающей средой, а посредствомъ внутренняго суда, посредствомъ сознанія полной внутренней пустоты. Іудушка восторжествовалъ надо всѣмъ и, теряя одного за другимъ нелюбимыхъ имъ близкихъ, онъ не ощущалъ ни горя ни раскаянія. Но когда послѣднее изъ этихъ близкихъ существъ исчезло, онъ вдругъ понялъ, что самъ опустошилъ свою жизнь, и тяжесть одиночества его придавила.

Наша критика часто искала въ *Господахъ Головлевыхъ* жестокаго обличенія крѣпостного права и дворянской распущенности. Но понимать романъ Салтыкова въ этомъ смыслѣ, значитъ черезчуръ расширять его значеніе съ одной стороны и черезчуръ суживать съ другой. Іудушка—не сословный, а вполнѣ личный и въ то же время общечеловѣческій типъ. Онъ ужасенъ не какъ рабовладѣлецъ, и его безжалостная алчность, плохо скрытая подъ маскою приниженнаго лицемѣрія,—совсѣмъ не плодъ дворянскаго привольного житья, а тайная душевная язва, которая можетъ заразить человѣка любого круга. Іудушки бываютъ не въ одной Россіи и не въ дворянской только средѣ.

Въ романахъ Бальзака и Диккенса можно отыскать нѣсколько фигуръ, очень близкихъ къ щедринскому герою. Въ *Господахъ Головлевыхъ* не только нельзя усматривать картины спеціально крѣпостного строя, но Іудушка, наоборотъ, скорѣе является продуктомъ новѣйшаго времени. Въ сравненіи съ нимъ, мать его, когда-то самовластная богатая помѣщица, почти симпатична, и безсердечный гнетъ, который испытываютъ на себѣ поочередно близкіе Іудушки, гораздо сильнѣе отражается на его семьѣ, чѣмъ на его крѣпостныхъ. Замѣтимъ кстати, что привычка видѣть въ Щедринѣ, по преимуществу, обличителя крѣпостного права и прямого сторонника радикализма 1860-хъ годовъ,—основана на явномъ

недоразумѣніи. Щедринъ, конечно, глубоко ненавидѣлъ дореформенные порядки, и ненависть эту раздѣляли съ нимъ всѣ или почти всѣ его современники. Но едва ли главнымъ ея предметомъ былъ тотъ классъ, изъ котораго вышелъ онъ самъ. Всего только разъ, въ послѣднемъ своемъ произведеніи—въ *Пошехонской старинѣ*—онъ набросалъ яркую и нѣсколько одностороннюю картину помѣщичьяго безобразія; но даже эта картина окажется блѣдною, если мы поставимъ на ряду съ нею безчисленные его очерки общественной жизни, и притомъ не дореформенной только, а преимущественно современной движенію 60-хъ и 70-хъ годовъ. Помимо невѣжества и насилія—этихъ старыхъ остатковъ дореформеннаго времени,—Щедринъ всего болѣе ненавидѣлъ самодовольную ложь, превращавшую даже лучшія реформы въ источникъ новаго зла; притомъ—ложь, гнѣздившуюся не въ однихъ только людяхъ, но въ самомъ, такъ-сказать, безсознательномъ жизненномъ процессѣ. Міросозерцаніе Щедрина побуждало его видѣть мишуру во всемъ, потому что отъ самой жизни онъ ожидалъ одного зла, потому что онъ смотрѣлъ на нее, какъ на почву, на которой могутъ расти однѣ плевелы. Какую-то глубокую и злую иронію онъ чуялъ въ самой природѣ вещей, относясь еще съ большимъ недовѣріемъ къ попыткамъ исцѣлить общество, чѣмъ къ старымъ его болѣзнямъ.

И съ этой точки зрѣнія надо смотрѣть на третій изъ его главныхъ типовъ—на кулака, выведеннаго въ лицѣ Деруновыхъ, Разуваевыхъ, Стрѣловыхъ и т. д.

Свобода оказалась для крестьянъ Данаевымъ даромъ, и, благодаря ей, изъ ихъ же среды выросъ новый угнетатель, едва ли не худшій всѣхъ прежнихъ, потому что этотъ угнетатель не въ исключительныхъ только случаяхъ, но постоянно, въ силу самаго принципа своего существованія, не зналъ и не могъ знать правды и жалости. Гнетъ, выработанный борьбою за существованіе, не исходящій извнѣ отъ помѣщичьей власти или отъ казеннаго чиновника, а свой домашній гнетъ—безпощаднѣе всякаго другого. Кулакъ, самъ вышедшій изъ крестьянства, можетъ подняться надъ своими односельчанами только посредствомъ эксплуатаціи, не знающей никакого милосердія, и на это онъ снабженъ орудіемъ, котораго недостаетъ ни помѣщику, ни полицейскому чиновнику,—основательнымъ знакомствомъ со всѣми

мелкими условіями крестьянскаго быта. Помѣщикъ и становой могли притѣснять мужика, даже истязать его, но въ его разореніи ни тотъ ни другой не были заинтересованы. Вся сила кулака, напротивъ, основана на имущественномъ порабощеніи сосѣда, и въ концѣ-концовъ, сдѣлавшись властелиномъ своего общества, кулакъ плететъ уже дальше свою паутину, вбирая въ нее и помѣщика и становясь въ глазахъ полицейскихъ охранителей почтеннымъ устоемъ порядка.

Въ *Убѣжищѣ Монрепо* вернувшійся къ себѣ помѣщикъ убѣждается, что и ему надо пасовать предъ Разуваевымъ, тѣмъ болѣе, что сама полицейская власть относится къ этому Разуваеву съ уваженіемъ и въ попыткахъ съ нимъ бороться готова усмотрѣть признаки неблагонадежности. Новая невзгода ожидаетъ, такимъ образомъ, вернувшагося домой помѣщика: бдительное око станового и урядника, принявшихъ на себя роль сердцевѣдовъ, смотритъ на него съ недовѣріемъ и при первомъ случаѣ заставляетъ его почувствовать всю тщету мнимой дворянской вольности. Въ этой картинѣ приниженности обѣднѣвшаго дворянства и необходимости для него раскланиваться передъ Разуваевымъ Щедринъ едва ли опять-таки не пересолилъ. Помѣщикамъ приходится дрожать передъ урядникомъ только на страницахъ его разсказовъ, и если ухаживаніе за Разуваевымъ входило не разъ въ программу дворянской политики, то оно было во всякомъ случаѣ совершенно добровольно и основывалось на корыстныхъ расчетахъ. Какъ бы то ни было, въ этомъ противопоставленіи разореннаго помѣщика Разуваеву съ компаніей нельзя не замѣтить, что тайныя симпатіи влекли Щедрина скорѣе къ людямъ его класса, чѣмъ въ сторону вновь народившихся представителей буржуазіи и преобразованнаго чиновничества.

Съ 1881 года начинается третій и послѣдній періодъ творчества Щедрина, совпавшій съ новою эпохой въ жизни русскаго общества. Эпоху эту можно, прежде всего, охарактеризовать однимъ признакомъ—выцвѣтаніемъ идеаловъ и стушеваніемъ тоновъ. Это была не столько реакція въ прямомъ смыслѣ, сколько замѣна бурныхъ стремленій и яркихъ, типичныхъ характеровъ всеобщею апатіей и повальною безцвѣтностью. Наша критика любитъ утверждать, что въ эту послѣднюю эпоху своего творчества онъ сталъ еще мрачнѣе

прежняго, что злое отчаяніе овладѣло имъ окончательно. Быть-можетъ, въ послѣдніе годы своей жизни Салтыковъ, въ самомъ дѣлѣ, подъ вліяніемъ подступавшей болѣзни сталъ еще раздражительнѣе. Была у него и другая причина къ озлобленію: въ 1884 году его журналъ „Отечественныя Записки“ былъ запрещенъ. И съ послѣдними своими произведеніями онъ долженъ былъ явиться гостемъ на страницахъ „Вѣстника Европы“.

Отличительную черту этихъ произведеній составляетъ, однако, не усилившаяся ихъ желчность. Въ нихъ отражается, прежде всего, блѣдность общественной жизни, пониженіе ея пульса. Особенно крупныхъ типовъ мы уже не видимъ въ очеркахъ Щедрина за эту эпоху, и сатира его не бьетъ уже постоянно въ одну и ту же цѣль. Она разбрелась по сторонамъ, улавливая мелкія жизненныя явленія, притомъ далеко не исключительно явленія общественныя. Это видно уже изъ того, что одинъ изъ его сборниковъ—*Пошехонскіе разсказы*—носитъ эпиграфъ: „По Сенькѣ шапка“ и остается этому эпиграфу вѣренъ, по случайности и мелочности содержанія. Другой сборникъ—*Мелочи жизни*—хотя по силѣ рисунка гораздо крупнѣе и ярче предыдущаго, исключительно посвященъ воспроизведенію частной жизни—безотносительно къ какой бы то ни было общественной борьбѣ. Здѣсь Щедринъ является уже чистымъ беллетристомъ, и впервые изъ-подъ его пера выходятъ заботливо и тонко очерченные женскіе типы: въ этой области онъ прежде не особенно отличался. *Письма къ тетенькѣ* и *Пестрыя письма*, хотя и тѣ и другія опять переносятъ читателя въ сферу общественныхъ столкновеній, прихотливо выхватываютъ оттуда лишь случайные мелкіе факты, не группирующіяся около одного центральнаго явленія. Постоянныхъ руководящихъ типовъ здѣсь нѣтъ вовсе. Передъ читателемъ быстро проходитъ цѣлая вереница портретовъ, изъ которыхъ нѣкоторые прямо даже списаны съ живыхъ лицъ, притомъ съ постояннымъ, не всегда пріятно-дѣйствующимъ шаржемъ. Комизмъ этихъ карикатуръ сильно напоминаетъ зубоскальство временъ города Глупова; таковы: адвокатъ Крамольниковъ, генералъ Редедя, графъ Твердоонто, генералъ-майоръ Отчаянный, князь Сампантре, безшабашные совѣтники Удавъ и Дыба. Всѣ эти фигуры возбуждаютъ смѣхъ, и нѣкоторые изъ разсказовъ, какъ, напримѣръ, поѣздка цѣлою компаніей въ Корчеву, для

основанія тамъ университета, и слѣдующая затѣмъ сцена суда, по живости и комизму, принадлежатъ къ наиболѣе выдающимся произведеніямъ Салтыкова. Къ этому же времени относятся нѣкоторыя изъ наиболѣе мѣткихъ выраженій, придуманныхъ Щедринымъ, какъ: „образъ торжествующей свиньи", „благонамѣренный вздоръ", „государственный младенецъ" и т. д. И тѣмъ не менѣе, едва ли вся эта соль не вытравится очень скоро, и всѣ эти фигуры, яркія, но эскизныя—не забудутся еще скорѣй. Въ этомъ отсутствіи крупныхъ типовъ, впрочемъ, слѣдуетъ винить не Щедрина: на его творчествѣ въ эту эпоху отразилась бѣдность самой жизни.

Особенною силой и яркостью отмѣчено два изъ Щедринскихъ произведеній этой эпохи—его *Сказки* (числомъ 23) и *Пошехонская старина*. Нечего и говорить, что *Сказки* всѣ имѣютъ политическую подкладку; но, независимо отъ вложенной въ нихъ задней мысли, которую живо подхватывала публика, сказки обладаютъ и глубиной, и несомнѣннымъ поэтическимъ колоритомъ. Строго говоря, онѣ даже вовсе не сатиры. Въ формѣ короткаго символическаго разсказа, гдѣ фигурируютъ большей частью животныя, выражается цѣлая драма, содержащая въ себѣ вѣчный, общечеловѣческій конфликтъ. По краткости и выпуклости изложенія, это едва ли не лучшее изъ написаннаго Щедринымъ. Такою же драматическою силой и мѣткостью анализа отличаются и очерки изъ *Пошехонской старины*, посвященныя описанію самыхъ мрачныхъ сторонъ крѣпостного права. Фигуры крестьянъ и, въ особенности, дворовыхъ людей очерчены чрезвычайно ярко, и въ нѣкоторыхъ изъ разсказовъ этого сборника опять съ блескомъ выразилась трагическая сторона таланта Салтыкова. При всей своей тенденціозности, эти разсказы особенно замѣчательны какъ разъ по литературному достоинству. Другое дѣло, если мы посмотримъ на нихъ съ точки зрѣнія бытовой правды. Въ этомъ отношеніи нельзя не признать, что мрачный колоритъ въ нихъ сгущенъ до крайности, и вслѣдствіе того получается одностороннее воспроизведеніе крѣпостного быта. Конечно, взятая въ отдѣльности, каждая изъ этихъ мрачныхъ исторій могла случиться въ дореформенное время. Но соединенныя въ одно цѣлое, нанизанныя, такъ-сказать, одна на другую, онѣ въ совокупности даютъ невѣрное представленіе объ эпохѣ. Дѣло въ томъ, что въ глазахъ читателя подобные

разсказы имѣютъ значеніе не только сами-по-себѣ, въ качествѣ конкретныхъ фактовъ, но получаютъ характеръ типическихъ явленій, рисующихъ всю деревенскую жизнь въ совокупности. И понятые такимъ образомъ, они рисуютъ ее въ невѣрномъ свѣтѣ. Правда, особенно рѣзкихъ проявленій жестокаго гнета въ *Пошехонской старинѣ* нѣтъ или почти нѣтъ. Зато, это—сплошная картина нелѣпой безтолковости тогдашняго быта, гдѣ баринъ и крѣпостной могутъ только приносить вредъ другъ-другу и взаимно одинъ другого развращать. И ни одною чертой не указано на искупающія стороны этой, правда, отталкивающей картины, на культурное значеніе тогдашнихъ помѣщичьихъ усадебъ и на существовавшую зачастую взаимную привязанность между господами и слугами. Неизбѣжная судьба тенденціозной беллетристики заключается въ томъ, что мы не можемъ предъявлять къ ней лишь требованій чисто литературнаго свойства, а вынуждены разсматривать ее съ точки зрѣнія строгой правдивости. И благодаря тому, что правда и справедливость для тенденціозности недоступны, она и заключаетъ въ себѣ неизбѣжное внутреннее противорѣчіе, ставя себѣ задачу, которую выполнить не въ силахъ.

Подводя итогъ литературной дѣятельности Щедрина, нельзя не пожалѣть, что весь его огромный талантъ пошелъ на борьбу со злобою дня, на такой односторонній и узкій видъ творчества, какъ сатира. Сатира по необходимости имѣетъ дѣло лишь съ мимолетными явленіями жизни, выплывающими на время на ея поверхность, и вслѣдствіе того, какъ скоро такія явленія исчезаютъ, сатирическія произведенія неизбѣжно утрачиваютъ интересъ и значеніе. Случается это, впрочемъ, правда, не всегда; а между тѣмъ, другому нашему великому сатирику — Гоголю — удалось создать фигуры, сохранившія всю свою свѣжесть до нашихъ дней. Но въ томъ-то и дѣло, что смѣхъ Гоголя не останавливался на случайныхъ особенностяхъ выводимыхъ имъ лицъ, что, помимо внѣшнихъ уродливостей, созданныхъ эпохой, онъ доискивался ихъ глубокихъ внутреннихъ корней, лежащихъ въ самой основѣ человѣческой натуры.

Никому и въ голову не приходило допытываться, съ кого списаны Чичиковы, Собакевичи, Хлестаковы, Сквозники-Дмухановскіе. Формы ихъ безобразія могли быть временными и переходящими, но суть ихъ характеровъ вѣчна и

потому безсмертна. Смѣхъ Гоголя никогда не обращался противъ живого лица и никогда къ нему не примѣшивалось желчнаго озлобленія. Ни того ни другого про Салтыкова сказать нельзя. У него никогда не звучитъ здоровый, освѣжающій смѣхъ, и за карикатурами его, какъ ни ярки онѣ, не чувствуется подкладки вѣчныхъ свойствъ человѣческой натуры. Отнимите у нихъ костюмъ, привычные имъ пріемы, обороты рѣчи, словомъ, все, созданное минутой, — и отъ нихъ не останется почти ровно ничего... Вотъ почему созданіямъ Щедрина едва ли можно обѣщать такую же долговѣчность, какъ типамъ Гоголя. А между тѣмъ, нѣкоторыя изъ этихъ созданій изобличаютъ въ Щедринѣ крупнаго художника и глубокаго психолога. Таковы, напримѣръ, фигура Іудушки въ *Господахъ Головлевыхъ*, генералъ Утробинъ и его сынъ въ разсказѣ *Отецъ и сынъ (Благонамѣренныя рѣчи)*, отставной чиновникъ Разумовъ въ *Больномъ мѣстѣ*, таковы, наконецъ, всѣ его сказки. Если бы Салтыковъ шире и глубже разработалъ эту сторону своего дарованія, если бы онъ освободился отъ преслѣдовавшей его злобы дня, чтобъ отдаться простору художественнаго творчества,—плоды его дѣятельности вышли бы гораздо болѣе крупными, и онъ оставилъ бы намъ образы, въ которыхъ пришлось бы удивляться не одной только мѣткости его желчнаго остроумія.

К. Ѳ. Головинъ (Орловскій).

Экономическіе и юридическіе мотивы произведеній М. Е. Салтыкова [1]).

*) „Право и экономія—двѣ области жизни, равно первичныя, равно необходимыя, равно близкія къ сокровеннѣйшей сторонѣ человѣческой природы (особенно нравственности, совѣсти). Да и предметы, которыми занимается правовѣдѣніе и экономическая наука, почти совершенно одни и тѣ же. Сочетаніе людскихъ отношеній, на которомъ экономическая наука строитъ удовлетвореніе людскихъ потребностей—это сочетаніе есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, арена и поводъ безконечныхъ столкновеній, которыя право стремится или предупредить, или уладить... Практическая исторія права, если она не хочетъ быть просто-на-просто голымъ наборомъ цитатъ, предполагаетъ живое пониманіе человѣческихъ потребностей; удовлетворить этимъ потребностямъ—вотъ цѣль, какую имѣли въ виду законы и другія юридическія учрежденія, и съ измѣненіемъ

---

[1]) „Русское Богатство“, 1892 г., № 10.

*) Статья эта принадлежитъ выдающемуся земскому статистику Николаю Алексѣевичу Каблукову. Н. А. род. въ 1849 г.; окончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ по юридическ. факультету. Сначала онъ служилъ, впрочемъ, недолго, по судебному вѣдомству, а затѣмъ занялся адвокатурой. Въ это же время Н. А. печаталъ статьи въ неофиціальной части „Пензенск. Губ. Вѣдомостей“, а также въ „С.Пб. Вѣдомостяхъ“ (редакц. В. Ѳ. Корша); съ 1877 г. Н. А. работалъ въ московскомъ земствѣ сначала въ качествѣ второго завѣдующаго статистическимъ отдѣленіемъ губ. земской управы, а съ 1885 г. завѣдующимъ статистическимъ отдѣленіемъ. Въ 1879 г. Каблуковъ былъ командированъ московск. университ. за границу и работалъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ, Страсбургѣ и Галле. Въ 1884 г. вышла въ свѣтъ капитальная работа Н. А.: „Вопросъ о рабочихъ въ сельскомъ хозяйствѣ“. Книга эта переведена на нѣмецкій языкъ. Статьи свои Н. А. помѣщалъ во многихъ журналахъ и газетахъ: между прочимъ,—въ „Русск. Богатствѣ“, „Недѣлѣ“, „Критич. Обозрѣнія“, „Русск. Курьерѣ“, „Русской Мысли“, „Русской Правдѣ“, „Archiv für sociale Gesetzgebung und Statistik“ и др. *Примѣч. Н. Денисюка.*

этихъ потребностей вообще и въ цѣломъ параллельно совершается и измѣненіе законовъ.

„Юристы нерѣдко говорятъ о саморазвитіи юридическихъ институтовъ, какъ богословы или философы толкуютъ о саморазвитіи догмъ и идей. Но не слѣдуетъ обманываться образностью подобныхъ выраженій; они только указываютъ на чрезмѣрную отвлеченность погрузившагося въ свой матеріалъ изслѣдователя. На самомъ дѣлѣ, люди и строятъ и измѣняютъ юридическіе институты, догмы религіи и философіи. Что при этомъ думали и чувствовали люди, къ чему они стремились и чего достигли,—вотъ предметъ историческаго изслѣдованія... Законодатель, если хочетъ дѣйствовать благодѣтельно, долженъ отчетливо понимать всѣ человѣческія потребности... Безъ такого пониманія, законодательство, быть-можетъ, и не будетъ вреднымъ; но вопросъ въ томъ, не останется ли такое законодательство только на бумагѣ... Никто никогда не сомнѣвался, что даже ученѣйшій юристъ долженъ имѣть житейскую опытность, если хочетъ быть истинно-полезнымъ. Какъ адвокатъ, онъ долженъ защищать человѣческія отношенія въ мирномъ спорѣ; какъ судья, онъ долженъ распутывать ихъ правильнымъ образомъ; но для той и другой цѣли юристъ долженъ знать эти отношенія „практически", т.-е. долженъ знать, какъ они рождаются изъ человѣческихъ потребностей и какъ дѣйствуютъ на человѣческое счастье и несчастье. Но если юристъ станетъ набирать подобныя практическія свѣдѣнія путемъ одного своего личнаго опыта,—какъ поздно, какъ отрывочно и какою дорогою цѣной для него самого или его кліентовъ и т. д. будетъ добыта эта опытность" [1]).

Вотъ сколько основаній и поводовъ указываетъ В. Рошеръ къ тому, чтобы и законодатель и юристъ-практикъ изучали жизнь, какъ она есть, не довольствуясь однимъ личнымъ опытомъ. Но для изученія жизни есть много путей, и каждый изъ нихъ имѣетъ свое значеніе.

Одно изъ могучихъ средствъ къ тому даетъ художественная литература страны, коль скоро она представляетъ вѣрное отраженіе дѣйствительности или тѣхъ или иныхъ ея теченій и отношеній, существующихъ въ жизни. Тѣмъ

---

[1]) „Гражданское право и общественная экономія". Этюды Данкварта. Спб. 1866 г.—Предисловіе В. Рошера, стр. II—III, IX—X русск. перевода.

болѣе въ этомъ случаѣ имѣютъ значенія произведенія такого писателя, который, по роду своей служебной дѣятельности, имѣлъ полную возможность изучить жизнь въ ея многообразныхъ экономическихъ и юридическихъ проявленіяхъ, и который, по самому характеру своего таланта, да и по формѣ произведеній, являясь то сатирикомъ, то публицистомъ, долженъ былъ обращать и, дѣйствительно, обращалъ вниманіе на основныя условія общественной жизни. Еще болѣе пріобрѣтаютъ значенія для юриста произведенія такого писателя и анализъ ихъ съ точки зрѣнія ихъ юридическихъ и экономическихъ мотивовъ, коль скоро они относятся къ такому періоду въ жизни общества, который составляетъ переломъ въ ея основныхъ отношеніяхъ, который знаменуетъ собою переходъ къ инымъ, новымъ основаніямъ ея и характеризуется коренными измѣненіями отношеній, какъ въ сферѣ экономической, такъ и юридической. А такимъ писателемъ и является М. Е. Салтыковъ, литературная дѣятельность котораго охватываетъ болѣе чѣмъ сорокалѣтній періодъ времени, и въ произведеніяхъ котораго передъ нами проходятъ какъ дореформенный, такъ и пореформенный строй отношеній, при чемъ съ полной историческою добросовѣстностью отмѣчаются всѣ измѣненія, происходящія въ строѣ этихъ отношеній, условія ихъ, тѣ теченія, которыя борются, тѣ вліянія, которыя являются результатомъ воздѣйствія того новаго, что проникаетъ въ жизнь, словомъ, всѣ „признаки времени". Ни у одного изъ нашихъ писателей-художниковъ, помимо М. Е. Салтыкова, мы не встрѣчаемъ такъ много мѣста, отведеннаго юридическимъ и экономическимъ сторонамъ жизни, не встрѣчаемъ такого полнаго и всесторонняго описанія общественныхъ явленій во всей совокупности ихъ юридическихъ и экономическихъ отношеній. И потому, если для юриста имѣетъ значеніе вообще изученіе писателей-художниковъ, вѣрно отражающихъ явленія дѣйствительности, то тѣмъ болѣе для русскаго юриста долженъ имѣть серіозное значеніе анализъ произведеній М. Е. Салтыкова съ юридико-экономической точки зрѣнія.

Но что при этомъ придаетъ еще особое значеніе для юриста произведеніямъ М. Е. Салтыкова—это то, что онъ далекъ отъ всякой условной лжи, той лжи, о которой онъ говоритъ:

„Лицемѣріе—это приглашеніе къ приличію, къ декоруму, къ красивой внѣшней обстановкѣ, и что всего важнѣе: лицемѣріе—это узда. Не для тѣхъ, конечно, которые лицемѣрятъ, плавая въ высотахъ общественныхъ эмпиреевъ, а для тѣхъ, которые нелицемѣрно кишатъ на днѣ общественнаго котла. Лицемѣріе удерживаетъ общество отъ разнузданности страстей и дѣлаетъ послѣднюю привилегіей лишь самаго ограниченнаго меньшинства“ [1] (*„Господа Головлевы“*, *„Семейные итоги“*).

Такъ вотъ отъ этого-то „декорума“, отъ этой „красивой внѣшней обстановки“ онъ разоблачалъ всѣ явленія, изображая ихъ живыми и вполнѣ вѣрными дѣйствительности чертами, такъ что въ его изображеніи всѣ явленія представляются такими, каковы они на самомъ дѣлѣ въ самой основѣ ихъ. Кто прочитаетъ его произведенія одно за другимъ, вдумается въ то, что изображаютъ они, сравнитъ съ ними окружающую дѣйствительность, тотъ остановится въ полномъ недоумѣніи передъ тѣмъ, какимъ образомъ могъ кто-либо утверждать, что у М. Е. Салтыкова существуетъ смѣхъ ради смѣха. Напротивъ, скорбная дума не оставляетъ читателя ни на минуту, и смѣхъ вырывается лишь изрѣдка, но неудержимо, подъ вліяніемъ глубокаго и язвительнаго остроумія сатирика. Скорбная же и глубокая дума преслѣдуетъ читателя все время, именно въ силу правдивости изображеній автора: то, что онъ изображаетъ передъ нами, представляетъ подлинную дѣйствительность, съ тою разницей, что у него всѣ явленія названы своими собственными именами, подобно тому, какъ въ его же *Признакахъ времени* „бабушка Прасковья Павловна не хотѣла признавать: „savoir vivre“, а говорила по этому поводу: „Нынче, мой другъ, народъ не то чтобы простъ, а какъ-то очень ужъ глупъ сталъ. Все самъ себя обманываетъ, самъ себя прельщаетъ, даже, словно, самъ у себя украсть хочетъ. Назоветъ, это, вещь другимъ именемъ и думаетъ, что и вещь другая сдѣлалась. Возьми, напримѣръ, хоть то: выдумали теперь какой-то „savoir vivre“, а разбери ты его какъ слѣдуетъ, этотъ ихній savoir vivre,—анъ выйдетъ то же мошенничество“. Такъ вотъ Щедринъ ни себя ни читателя обманывать не хотѣлъ и мошенничество такъ и называлъ по имени: мошенничествомъ, а не savoir vivre'омъ. Онъ не обманывалъ себя призраками, и это давало ему силу,

[1] Здѣсь, какъ нетрудно видѣть, сатирикъ говоритъ о той „условной лжи“, анализу проявленій которой во всѣхъ современныхъ общественныхъ отношеніяхъ посвящено цѣлое произведеніе талантливаго нѣмецкаго ученаго Макса Нордау: „Die conventionellen Lügen“.

несмотря на безотрадность изображаемыхъ имъ явленій, всегда сохранять бодрость духа и не впадать въ безнадежный пессимизмъ. Въ самые тяжелые моменты, изображая, напр., „Литературное положеніе“ *(Признаки времени)*, онъ не падаетъ духомъ и говоритъ: „Какъ ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. Исторія не останавливается оттого, что ничтожество, невѣжество и индиферентизмъ дѣлаются на время какъ бы закономъ и обезпеченіемъ мирнаго человѣческаго существованія. Она знаетъ, что это явленіе преходящее, что и подъ нимъ, и рядомъ съ нимъ, не угасая, теплится правда и жизнь“. Во имя этой вѣчной правды онъ и изображалъ жизнь. Но такъ какъ въ основѣ общественной жизни лежатъ экономическія и тѣсно связанныя съ ними юридическія отношенія, то совершенно естественно, что всѣ произведенія М. Е. Салтыкова проникнуты изображеніемъ этихъ отношеній, и потому попытка прослѣдить это изображеніе въ произведеніяхъ М. Е. Салтыкова стоитъ, какъ это и отмѣчено вначалѣ, въ самой тѣсной связи съ задачами и цѣлями каждаго, изучающаго юридическія основы русской жизни.

Прослѣдить, однако, всѣ произведенія Щедрина съ этой точки зрѣнія и намѣтить всѣ проникающіе ихъ мотивы юридическаго и экономическаго характера, мы признаемъ задачей, превышающею наши силы, и потому предлагаемое нами представляетъ лишь краткій и бѣглый очеркъ, имѣющій цѣлью лишь намѣтить то общее, что такъ рельефно и послѣдовательно проходитъ чрезъ всѣ произведенія покойнаго М. Е. Салтыкова и что не можетъ оставаться незамѣченнымъ каждымъ, кто читалъ ихъ (а кто же ихъ не читалъ?), при чемъ мы будемъ пользоваться, безразлично, какъ чисто художественными очерками, такъ и тѣмъ, что по существу и по формѣ носитъ чисто публицистическій характеръ.

Мы уже замѣтили, что произведенія М. Е. Салтыкова даютъ точное и правдивое изображеніе дѣйствительности, и это вѣрно не только относительно самаго изображенія ея по существу, но и относительно внѣшнихъ пріемовъ и формы. Каждый, кто читалъ его произведенія, несомнѣнно долженъ былъ выносить такое впечатлѣніе, что, хотя сатирикъ все время и имѣетъ дѣло съ отдѣльными лицами, дѣйствія, побужденія и мысли которыхъ проходятъ передъ нами, но что центръ тяжести лежитъ не въ этихъ лицахъ, которыя

являются лишь на поверхности иного слоя, глубоко лежащаго и дающаго тонъ всѣмъ отношеніямъ, всему складу жизни; при болѣе глубокомъ анализѣ, для насъ выясняется, что вся дѣятельность изображаемыхъ лицъ только изобличаетъ передъ нами, въ чемъ лежатъ основы этой дѣятельности и какъ послѣдняя отражается на народной массѣ, которую сатирикъ ни на минуту не упускаетъ изъ виду и о дѣйствительныхъ интересахъ которой болѣетъ. Такой пріемъ вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Въ ней тоже—народъ, масса копошится гдѣ-то тамъ въ отдаленіи, въ глубинѣ; на поверхности же общественной жизни ея не видать, а между тѣмъ, вся дѣятельность тѣхъ, которые стоятъ выше массы и дѣлаютъ исторію („исторіографы", по терминологіи Н. Щедрина), является въ томъ или иномъ видѣ, въ зависимости отъ того, каково отношеніе массъ къ этой дѣятельности. Въ силу этого, хотя состояніе массъ отражается на всемъ происходящемъ въ жизни, центръ тяжести послѣдней представляется находящимся на поверхности, и потому общественное вниманіе сосредоточивается, обыкновенно, на этомъ волненіи, видимомъ на верху житейскаго моря, и лишь по движенію этой поверхности заключаетъ о томъ, что происходитъ въ глубинѣ морской. И вотъ, какъ бы идя навстрѣчу этому привычному отношенію читателя, Щедринъ рисуетъ передъ нами картины этихъ житейскихъ поверхностныхъ волненій, но такъ, что невольно вызываетъ представленіе о глубинахъ морскихъ, о происходящемъ въ нихъ и о томъ, какъ движеніе воды въ верхнихъ слояхъ отражается на лежащихъ подъ поверхностнымъ уровнемъ.

Вотъ почему, обращаясь къ картинамъ крѣпостного права, какъ онѣ изображены у М. Е. Салтыкова, мы въ нихъ почти не видимъ изображенія жизни мужика; авторъ останавливается почти исключительно на помѣщичьей усадьбѣ, гдѣ, такъ-сказать, сосредоточивался центръ всей тогдашней экономической жизни, всѣхъ отношеній того времени. Какъ въ *Пошехонской старинѣ*, такъ и въ *Мелочахъ жизни* и въ отдѣльныхъ очеркахъ, гдѣ передъ нами являются картины крѣпостного быта, мы всюду видимъ помѣщика, его хозяйственныя распоряженія или его времяпрепровожденіе въ домѣ, въ городѣ; но въ самыхъ этихъ картинахъ, въ хозяйственныхъ распоряженіяхъ, въ содержаніи и характерѣ ихъ, предъ нами ясно возстаетъ картина жизни крѣпостного мужика;

даже при изображеніи полевыхъ работъ, подъ надзоромъ помѣщика (въ *Пошехонской старинѣ*), на первомъ планѣ все тотъ же помѣщикъ: подробно разсказывается, какъ онъ, присутствуя на покосѣ, закурилъ трубку, какъ онъ вздремнулъ, какъ онъ отстегалъ нагайкой мужика, обнаружившаго неисправность при косьбѣ, такъ что дѣйствующимъ лицомъ все время является помѣщикъ, а крестьянинъ, съ его страдой, представляетъ лишь среду для проявленія этой „хозяйственной" дѣятельности властителя, но читатель невольно чувствуетъ, что, въ дѣйствительности, весь центръ тяжести и лежитъ въ этой средѣ: ею, ея положеніемъ, ея отношеніемъ къ дѣйствіямъ помѣщика обусловливается все, что онъ можетъ творить; ею же, ея страдой, ея трудомъ, степенью производительности послѣдняго обусловливается все матеріальное благосостояніе владѣльца. И вотъ, передъ читателемъ полная картина и условій производства, и распредѣленія въ крѣпостную эпоху.

Чего-либо бо́льшаго для изображенія ихъ и не нужно: такъ они просты, несложны и такъ полно изображены во всей ихъ жизненной простотѣ и правдѣ; правдивость пріема сказывается въ томъ, что, давая понять и почувствовать положеніе вещей, авторъ все время говоритъ не о нихъ, а о владѣльцахъ этихъ массъ, подобно тому, какъ это было въ то время въ дѣйствительности, ибо кто жъ тогда интересовался мужикомъ и его жизнью, помимо вопроса о томъ, что́ съ него слѣдуетъ получить и въ какой формѣ.

Но изображеніе крѣпостной эпохи не ограничивается картинами помѣщичьей усадьбы, деревенской жизни; Н. Щедринъ идетъ далѣе и въ *Губернскихъ очеркахъ* объясняетъ намъ, „что такое коммерція". Мы узнаемъ, что въ послѣдней дѣйствовать тогда приходилось „не столько капиталомъ, сколько изворотцемъ"; но объектомъ воздѣйствія являлся все тотъ же мужикъ; „привезетъ, бывало, тебѣ мужичекъ (и все „мужичокъ", не то чтобы мужикъ) овса кулей десятокъ или рогожи сотъ пять, ну и свалитъ, а за деньгами приходи, молъ, черезъ недѣлю. А придетъ онъ черезъ недѣлю—и знать не знаю, вѣдать не вѣдаю, кто ты таковъ. Уйдетъ бѣдняга, и управы никакой на тебя нѣтъ, потому что и градоначальникъ и вся подьячая братія твою руку тянетъ". Тѣ же *Губернскіе очерки* даютъ намъ полную картину того, какъ, почему и какая это подьячая братія „твою

руку тянетъ". Въ результатѣ получается полная картина крѣпостного быта, изображенная во всѣхъ ея мельчайшихъ подробностяхъ, со всѣми ея экономическими и тѣсно связанными съ послѣдними юридическими отношеніями.

Но крѣпостное право пало: на поверхности жизни появились иныя волны; вниманіе общества сосредоточивается все-таки по преимуществу на этихъ послѣднихъ, и вотъ, передъ нами попрежнему проходятъ по преимуществу эти поверхностные слои, но все съ тѣмъ же изображеніемъ среды. Самый характеръ перемѣны опредѣляется въ немногихъ словахъ О. И. Деруновымъ, который, конечно, болѣе чѣмъ кто-либо, можетъ быть признанъ компетентнымъ судьей въ этомъ дѣлѣ.

„Когда запретъ былъ, говоритъ онъ, у умнаго человѣка на предметъ запрета выдумка была; воля пришла,—у него на предметъ этой самой воли выдумка готова. Умный человѣкъ никогда безъ хлѣба не оставался. А что касается до прочихъ, такъ, вѣдь, и для нихъ все равно. Только навыворотъ... ха-ха! Осипъ Иванычъ звонко и добродушно засмѣялся и даже нѣсколько, кажется, удивился, что и я вмѣстѣ съ нимъ не смѣюсь".

На ту же тему находимъ разговоръ и въ сказкѣ: *Путемъ-дорогою.* Итакъ, старые, обветшалые пріемы замѣнились новыми. Самый процессъ, при помощи котораго совершалась эта замѣна, Щедринъ изобразилъ нагляднѣе всего въ *Монрепо* и въ очеркѣ *Отецъ и сынъ (Благонамѣренныя рѣчи).* Но мы не будемъ касаться того, какъ образовалась эта замѣна, а лишь остановимся на изображеніи процесса измѣненія пріемовъ, такъ какъ послѣдніе играютъ болѣе существенную роль въ экономическомъ ихъ значеніи для массъ и потому имѣютъ для насъ большую важность, поскольку мы имѣемъ въ виду выяснить экономическіе мотивы произведеній М. Е. Салтыкова.

Какъ создалось то положеніе, въ результатѣ котораго для „прочихъ", по свидѣтельству О. И. Дерунова, все равно, только „навыворотъ", можно было бы освѣтить многими мѣстами изъ произведеній М. Е. Салтыкова, но достаточно ограничиться немногимъ, чтобы это стало совершенно ясно. М. Е. Салтыковъ коснулся этого въ своемъ изображеніи *Кузины Машеньки (Благонамѣренныя рѣчи).* Въ разговорѣ съ авторомъ о своихъ дѣлахъ она говоритъ слѣдующимъ образомъ:

„Вотъ я и покупаю, коли гдѣ сходно. Лѣса покупаю, земли. Лѣса свожу, а землю мужичкамъ въ кортому отдаю. Вѣдь, имъ земля-то нужна,

мой другъ! ахъ, какъ она имъ нужна!—И выгодно это?—Такъ выгодно, такъ выгодно! Разумѣется, и тутъ тоже надо съ оглядкой поступать: какая земля? Коли земля близко къ крестьянской околицѣ лежитъ—ту непремѣнно покупать слѣдуетъ, потому что она мужичкамъ нужна. Мужички за нее, что хочешь, дадутъ: боятся штрафовъ".

Тутъ въ пяти-шести строкахъ мы имѣемъ самое рельефное изображеніе того положенія, въ какое поставленъ крестьянинъ-земледѣлецъ по отношенію къ основному средству приложенія своего труда, при чемъ, согласно манерѣ автора, вполнѣ отвѣчающей дѣйствительности, и здѣсь мы мужика не видимъ, онъ тамъ гдѣ-то, за кулисами, но онъ является объектомъ воздѣйствія и въ немъ вся сила, ибо „коли земля дальняя (отъ мужика)—за ту надо дешево давать". И это „кузина Машенька", ничего, кажется, не способная понимать, до того хорошо понимаетъ, что не разъ въ разговорѣ восклицаетъ: „Имъ, вѣдь, земля-то нужна, ахъ какъ нужна". На этомъ соображеніи она строитъ всѣ свои операціи: когда къ ней приходитъ ея повѣренный—крестьянинъ—и сообщаетъ о продажѣ земли по сосѣдству, она, услыхавъ, что за эту земю надо заплатить по 20 р. за десятину, а всего 800 р., сперва приходитъ въ ужасъ, но когда вслѣдъ за тѣмъ „Онисимушко" объясняетъ ей, что за эту землю ульянцевскіе (крестьяне) сейчасъ тысячу дадутъ, то она очень быстро соображаетъ: „Ахъ, Боже мой! да если ты говоришь, что эта земля имъ такъ нужна, зачѣмъ же ее продавать? Можно и такъ съ пользою отдавать имъ же въ кортому!" И хотя потомъ ее опять беретъ сомнѣніе, а ну какъ „мужики" кортомить не будутъ, но оно благополучно разрѣшается въ пользу покупки, когда на такое неосновательное заявленіе получается неотразимый отвѣтъ: „Христосъ съ тобой! куда же они отъ насъ уйдутъ. Вѣдь, это не то что отъ прихоти: земля, дескать, хороша, а отъ нужды отъ кровной: и не хороша земля, да надо ее взять!"

Остановимъ по поводу только-что приведеннаго разговора вниманіе на слѣдующемъ. Онъ находится въ очеркахъ, имѣющихъ общее заглавіе *Благонамѣренныя рѣчи*, гдѣ авторъ, дѣйствительно, изображаетъ различныя „благонамѣренныя" (въ чемъ состоитъ благонамѣренность, онъ объясняетъ въ очеркѣ *Сеничкинъ ядъ*, *Признаки времени*; тому же посвящена *Современная идиллія*) рѣчи, что и составляетъ цѣль этихъ очерковъ. Но онъ такъ вѣрно, такъ правдиво и потому такъ

художественно всегда изображаетъ дѣйствительность, что передъ нами она возстаетъ вся, во всей своей непригляднoй наготѣ, и потому, хотя спеціальная цѣль автора въ томъ или другомъ очеркѣ не состоитъ въ изображеніи экономическихъ отношеній, но послѣднія выступаютъ передъ читателемъ сами-собой наружу; вслѣдствіе этого, какъ для выясненія юридическихъ, такъ и экономическихъ мотивовъ автора, можно пользоваться почти любымъ произведеніемъ его, и въ то же время нѣтъ надобности останавливаться на каждомъ изъ нихъ. Развѣ лишь только для того, чтобы подтвердить, что вся житейская обстановка экономическихъ отношеній всегда предъ глазами автора, необходимо коснуться различныхъ произведеній его; всюду она выступаетъ передъ читателемъ, поражая его вѣрностью и точностью воспроизведенія основныхъ теченій дѣйствительности и притомъ во всей полнотѣ ихъ.

Такъ и приведенный разговоръ, независимо отъ того изображенія положенія крестьянъ по отношенію къ землѣ, которое поражаетъ своею вѣрностью каждаго, знакомаго съ крестьянскою дѣйствительностью, въ то же время рисуетъ намъ: какъ, при помощи какихъ операцій экономическая зависимость, бывшая при крѣпостномъ правѣ, смѣнилась другою формой, развязавъ въ то же время руки для отдѣльныхъ личностей въ самой массѣ, благодаря чему они получили возможность выдвинуться и стать надъ послѣднею. Вотъ, передъ нами „столпъ", упомянутый уже выше, Осипъ Ивановичъ Деруновъ. Онъ началъ богатѣть еще при крѣпостномъ правѣ; „но тогда было время тугое; можетъ-быть, и скопился у него капиталецъ, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда; рисковать было не въ обычаѣ; жили осторожно, прижимисто, какъ-будто боялись, что увидятъ—отнимутъ". Въ этихъ немногихъ словахъ опять цѣлая картина дореформеннаго положенія отдѣльныхъ, наиболѣе годныхъ къ приспособленію личностей изъ массы. И въ то же время для того, кто прочелъ у Щедрина же картины крѣпостного права въ *Пошехонской старинѣ* и въ отдѣльныхъ мелкихъ очеркахъ, кто вмѣстѣ съ тѣмъ знакомъ съ *Губернскими очерками*, совершенно ясно это „отнимутъ"; передъ нимъ проходитъ цѣлый рядъ картинъ, какъ, кто, когда и по какому поводу могъ отнять, и ясно, что для лицъ изъ массы нужно было жить прижимисто: „увидятъ—

отнимутъ". Да и сфера для пріобрѣтенія богатства была тогда не та: „Богатства пріобрѣтались терпѣніемъ и неустаннымъ присовокупленіемъ гроша къ грошу, для чего не требовалось ни особливой развязности ума, ни той канальской изворотливости, безъ которой не можетъ ступить шагу человѣкъ, изъявляющій твердое намѣреніе выбрать изъ кармановъ своихъ ближнихъ все, что въ нихъ обрѣтается". Но вотъ наступила реформа: „Деруновъ уже не сколачиваетъ по копеечкѣ, а прямо орудуетъ", арендуетъ и скупаетъ имѣнія, держитъ массу кабаковъ и „всю мѣстную хлѣбную торговлю прибралъ къ своимъ рукамъ".

Но всего этого мало; онъ не только отлично поставилъ свои дѣла, но и понялъ, разгадалъ всю основу окружающихъ его экономическихъ отношеній, и потому, не ограничиваясь заявленіемъ, что и для „прочихъ" все равно, только „навыворотъ", онъ тотчасъ же приводитъ и доказательства тому. Такъ, когда авторъ выражаетъ предположеніе, что, можетъ-быть, его землю купятъ крестьяне, Деруновъ говоритъ: „Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о пріобрѣтеніи думать. Это не нами заведено, не нами и кончится. Всѣмъ онъ дань несетъ; не только казнѣ-матушкѣ, а и мнѣ, и тебѣ, хоть мы и не замѣчаемъ того. Такъ ему свыше прописано". Вотъ, въ немногихъ словахъ все содержаніе тѣхъ экономическихъ отношеній, среди которыхъ дѣйствуютъ Деруновы, не требующее никакихъ дальнѣйшихъ комментарій. Да и не одинъ Деруновъ такъ говоритъ. Вотъ и Разуваевъ съ самою невозмутимою увѣренностью выражается о народѣ: „Йёнъ доста-а-нетъ" *(Монрепо)*, а Деруновъ добавляетъ: Предоставь мнѣ съ мужика получать! ужъ я своего не упущу, все до копейки выберу! не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у котораго силы нѣтъ—въ работу возьму. Дрова заставлю пилить, сѣно косить—мнѣ всего много нужно. Ему пріятно, потому что онъ гроша изъ кармана не вынулъ, а ровно бы на гулянкахъ отработался, а мнѣ и того пріятнѣе, потому что я работой-то съ него вмѣсто рубля—два получу!" Опять въ немногихъ словахъ передъ нами рельефно выступаютъ отношенія всѣхъ трехъ факторовъ производства: земли, капитала и труда, при чемъ, въ совершенномъ согласіи съ законами политической экономіи, труду отведено основное мѣсто: „йёнъ доста-а-нетъ". Этимъ все отмѣчено, и роль труда въ производствѣ и въ

распредѣленіи, а Деруновъ и тутъ поясняетъ, какъ это распредѣленіе совершается: „Вмѣсто рубля—два получу“.

Но и теорія обмѣна не оставлена безъ вниманія:

„Хлѣбомъ нынче за первый сортъ торговать“, говоритъ все тотъ же Деруновъ. „Насчетъ податей строго стало, выкупные требуютъ—ну, и везутъ. Иному и самому нужно, а онъ отъ нужды везетъ. Очень эта операція нынче выгодная. И скотъ скупать хорошо, коли ко времю. Вотъ въ мартѣ кормы-то выберутся, да и недоимки понуждать начнутъ—тутъ только не плошай! За безцѣнокъ цѣлые табуны покупаемъ, да на винокуренныхъ заводахъ на барду ставимъ! Хорошій барышъ бываетъ. И лѣсами подобрались—дрова въ цѣнѣ стали. И вино—статья полезная, потому—воля. Я нынче фабрику миткалевую завелъ: очень ужъ народъ дешевъ, а провозъ-то по чугункѣ не Богъ знаетъ чего стоитъ!“ Но не всегда, конечно, въ дѣлѣ обмѣна такъ благополучно происходитъ: бываетъ и такъ, что „между мужичковъ капризъ сдѣлался. Цѣну (за хлѣбъ), кажется, давали имъ настоящую, шесть гривенъ за пудъ.—Не продали. Всѣ, какъ есть, въ Р. уѣхали. Пріѣхали, а тамъ опять мы же. Только ужъ я тамъ, папенька (докладываетъ Дерунову сынъ), по пятидесяти копеечекъ купилъ. Однако, это, братъ, въ нашихъ мѣстахъ новость! Скажи, пожалуй, стачку затѣяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли какъ! Что жъ ты исправнику не шепнулъ!—Ничего, папенька, покамѣстъ еще своими мѣрами справляемся-съ.—Ну, ладно. Никогда прежде бунтовъ не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались“.

Таково изображеніе обмѣна въ произведеніяхъ сатирика.

Но, не ограничиваясь изображеніемъ существовавшихъ ранѣе и образовавшихся впослѣдствіи экономическихъ отношеній, М. Е. Салтыковъ рисуетъ намъ и возможныя послѣдствія ихъ, какъ для тѣхъ, кто пользуется преимуществами этихъ отношеній, такъ и для всего цѣлаго. Къ первымъ онъ обращается съ „предостереженіемъ“ *(Монрепо)*, которое „посвящается кабатчикамъ, мѣнялам, подрядчикамъ, желѣзнодорожникамъ и прочихъ міроѣдскихъ дѣлъ мастерамъ“, и изображаетъ передъ нами общественную атмосферу, создаваемую приходомъ „чумазаго“. Относительно же общаго измѣненія природныхъ условій, подъ вліяніемъ „хищничества“, у него есть такая картина:

„Я ѣду, и положительно ничего не узнаю. Вотъ здѣсь, на самомъ этомъ мѣстѣ, стояла сплошная стѣна лѣса: теперь по обѣимъ сторонамъ дороги лежатъ необозримыя пространства, покрытыя пеньками. Помѣщикъ зря продалъ лѣсъ; купецъ зря срубилъ его; крестьянинъ зря выпустилъ на порубку стадо.—Нехороши наши мѣста стали, неприглядны,—говоритъ мой спутникъ, старинный житель этой мѣстности, знающій ее какъ свои пять пальцевъ:—покуда лѣса были цѣлы—жить было можно, а теперь словно послѣднія времена пришли. Скоро ни гриба, ни ягоды, ни птицы—ничего не будетъ. Пошли сиверки, холода, бездожица; земля трескается, а пару

не даетъ. Шутка сказать: май въ половинѣ, а изъ полушубковъ не выходимъ". (*Опять въ дорогѣ.*)

Сказаннаго достаточно, чтобы намѣтить, что М. Е. Салтыковъ въ своихъ произведеніяхъ даетъ намъ полную картину экономическихъ отношеній и неоднократно рисуетъ намъ роль труда, то въ разсужденіяхъ Дерунова, то въ разсказѣ о томъ, „какъ мужикъ двухъ генераловъ прокормилъ", то въ изображеніи того положенія, въ какомъ очутился „дикій помѣщикъ", когда по собственному желанію остался безъ мужика, то, наконецъ, въ изображеніи „коняги". Но, выдвигая передъ нами рельефно экономическое значеніе труда, М. Е. Салтыковъ такъ же рельефно изображаетъ и то положеніе, которое отводится на долю труда въ распредѣленіи, и тѣ послѣдствія, которыя вытекаютъ отсюда для трудящейся массы. Вотъ передъ нами „хозяйственный мужичокъ" *(Мелочи жизни)*, который всю жизнь бьется изъ-за того, чтобы не опустить своего хозяйства, у котораго все до послѣдней мелочи разсчитано, и который не дѣлаетъ ни одного хозяйственнаго шага, не обсудивъ его со всѣхъ сторонъ; и „онъ достигъ своей цѣли: довелъ свой домъ до полной чаши". Но что жъ въ результатѣ? Въ результатѣ „спрашивается: съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?" Таковы результаты благополучія „хозяйственнаго мужичка", достигшаго своихъ цѣлей, т.-е. въ лучшемъ случаѣ. Что же послѣ этого представляетъ собою положеніе обычнаго „коняги"?

„Нѣтъ конца работѣ! Работой исчерпывается весь смыслъ его существованія; для нея онъ зачатъ и рожденъ, и внѣ ея онъ не только никому не нуженъ, но, какъ говорятъ разсчетливые хозяева, представляетъ ущербъ. Вся обстановка, въ которой онъ живетъ, направлена единственно къ тому, чтобы не дать замереть въ немъ той мускульной силѣ, которая источаетъ изъ себя возможность физическаго труда. И корма и отдыха отмѣривается ему именно столько, чтобъ онъ былъ способенъ выполнить свой урокъ".

При такихъ условіяхъ совершенно естественнымъ является для „коняги", „который не живетъ, но и не умираетъ", отсутствіе какой-либо возможности не только вдуматься въ свое положеніе, но даже уяснить себѣ вполнѣ ту вопіющую бездну бѣдности, въ которую погружено его существованіе. Вотъ почему и „баранъ непомнящій",—„увидать-то во снѣ „вольнаго барана" увидалъ, а сообразить настоящимъ манеромъ не могъ". Все это уясняетъ намъ то

мѣсто еще въ *Письмахъ изъ провинціи* (письмо VI), гдѣ М. Е. Салтыковъ говоритъ:

„Да, русскій мужикъ бѣденъ; но это еще не столько важно, какъ то, что онъ не сознаетъ своей бѣдности. Приди онъ къ этому сознанію—его дѣло было бы уже наполовину выиграно, и главныя причины нашего экономическаго неустройства, то-есть случайность, неожиданность, произволъ и т. д., устранились бы сами-собою. Но что могло привести его къ этому сознанію?.. Ничто и нигдѣ. Итакъ, главная и самая существенная причина бѣдности нашей народной массы заключается, по нашему мнѣнію, въ недостаткѣ сознанія этой бѣдности; причина же этого послѣдняго явленія, очевидно, скрывается въ исторіи".

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, это уясняетъ намъ и многое другое въ произведеніяхъ М. Е. Салтыкова, указываетъ, на какомъ широкомъ основаніи построенъ у него слѣдующій афоризмъ въ очеркѣ *Самодовольная современность (Признаки времени)*: „Общество, изгнавшее изъ своей среды склонность къ занятію высшими умственными интересами,—общество, съ презрѣніемъ и насмѣшкою относящееся къ такъ-называемымъ широкимъ вопросамъ жизни,—не имѣетъ права считать себя обладающимъ благами общественности. Это общество одичалое, живущее на-удачу и даже не могущее уяснить себѣ послѣдствія, къ которымъ неминуемо должна привести его одичалость". Все, представленное ранѣе, уясняетъ намъ этотъ афоризмъ, ибо тамъ мы ясно видимъ, что о жизни умственными интересами въ положеніи „коняги" думать не приходится. Между тѣмъ, жизнь массы неминуемо отражается на жизни всего остального общества.

„Какъ бы отрѣшенно мы ни жили отъ жизни массъ, уровень этой послѣдней слишкомъ рѣшительно воздѣйствуетъ на уровень нашей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждомъ шагу. Мы не можемъ считать себя водворенными въ мірѣ законности, пока представленіе о законности не имѣетъ въ понятіяхъ массъ никакого опредѣленнаго смысла. Мы не имѣемъ основанія считать себя обезпеченными отъ неожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ имѣть въ массахъ свои добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ орудія" (Пис. изъ пров., п. VI)

И вотъ, передъ нами *Исторія одного города*, представляющая картины „неожиданностей" и отношеніе къ нимъ массы. При такой готовности, при такомъ стремленіи подчиниться, не можетъ быть рѣчи о чувствѣ собственнаго человѣческаго достоинства,—слѣдовательно, о сознаніи своихъ человѣческихъ правъ,—слѣдовательно, немыслимо представленіе о необходимости господства законности. Отсюда понятно, въ

чемъ должны состоять юридическіе мотивы произведеній М. Е. Салтыкова.

Изображая вполнѣ художественно и полно всю совокупность экономическихъ отношеній, онъ останавливается на нихъ, однако, далеко не всегда и часто лишь какъ бы для освѣщенія юридической стороны житейскихъ отношеній. Что же касается послѣднихъ, то нѣтъ ни одного изъ его произведеній, въ которомъ тѣ нравственные мотивы, лежащіе въ личности, которые составляютъ основы юридическихъ отношеній, не являлись бы предметомъ его неослабнаго вниманія. Съ самыхъ первыхъ шаговъ своей литературной дѣятельности онъ даетъ имъ прочное мѣсто въ своихъ произведеніяхъ. Первый же его разсказъ *Запутанное дѣло (Невинные разсказы)* прямо начинается словами: „Будь ласковъ со старшими, невысокомѣренъ съ подчиненными, не прекословь, не спорь, смиряйся—и будешь ты вознесенъ премного: ибо ласковое теля двѣ матки сосетъ“. Вотъ напутствіе, которое отецъ даетъ сыну, отпуская его на жизненное поприще, и которое все проникнуто отсутствіемъ сознанія, что сынъ является равноправнымъ членомъ человѣческой семьи, что онъ можетъ что-либо имѣть или получить въ силу только того, что онъ человѣкъ: все оно не заключаетъ въ себѣ никакого нравственнаго начала; все состоитъ изъ отдѣльныхъ правилъ обращенія съ людьми въ зависимости отъ ихъ внѣшняго положенія: со старшими—ласковъ; съ подчиненными—невысокомѣренъ, а общій тонъ таковъ: „смиряйся“, вотъ—единственное основаніе, опираясь на которое, можно существовать. Имѣя передъ собою картины крѣпостного права, всю обстановку того времени, мы, конечно, нимало не удивляемся господству такихъ представленій въ то время. Для насъ вполнѣ объясняется, какимъ образомъ въ *Исторіи одного города* глуповцы говорятъ о начальникахъ: „Ты пригрозить пригрози, да потомъ и помилуй!“ Въ этихъ рабьихъ вожделѣніяхъ, вполнѣ выражаемыхъ народною пословицей: „Гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость“, заключались всѣ требованія, предъявляемыя къ начальнику, отъ личности котораго, такимъ образомъ, и не отдѣлялось представленіе о законѣ.

Такъ было при крѣпостомъ правѣ, когда это самое право нормировало собою всѣ юридическія отношенія и давало тонъ всему.

„Но крѣпостное право не въ томъ только заключается, говоритъ М. Е. Салтыковъ, что тутъ, съ одной стороны—господа, а съ другой—рабы. Это только внѣшняя и, притомъ, самая простая форма, въ которой выражается крѣпостничество. Гораздо важнѣе, когда это растлѣвающее начало залегаетъ въ нравы, когда оно поражаетъ умы, и вотъ въ этомъ-то смыслѣ все, что носитъ на себѣ печать произвола, все, что не мѣшаетъ проявленіямъ его дикости, можетъ быть столь же безошибочно названо тѣмъ именемъ, въ силу котораго какой-нибудь Ивашка или Сёмка, ложась на ночь спать, не знали, чѣмъ они завтра встанутъ: ключниками ли, хранителями господскаго добра, или свинопасами“ (*Письма изъ провинціи*, письмо VII).

Это—съ одной стороны; а съ другой—мы имѣли передъ собой разсужденія О. И. Дерунова; мы слышали, что́ на его языкѣ называется бунтомъ; мы видѣли и „хозяйственнаго мужичка“ и „конягу“. И вотъ, Н. Щедринъ рисуетъ передъ нами то же безличіе, ту же подчиненность, то же ясно выраженное отсутствіе сознанія достоинства человѣческой личности. Въ *Признакахъ времени*, въ *Завѣщаніи моимъ дѣтямъ* авторъ послѣдняго, очевидно, человѣкъ, умудренный житейскимъ опытомъ, доказываетъ своимъ дѣтямъ, что правъ нѣтъ; правда, онъ не можетъ отказать въ томъ, что есть желанія; но что такое желанія? „Желанія суть натуральныя вожделѣнія, представляемыя на благоусмотрѣнія“. Отсюда заключеніе, что не слѣдуетъ помышлять о какихъ-то „якобы правахъ“. „Слабомысловъ, исправникъ у насъ былъ: „Проси, говоритъ, у меня милости,—отца родного съѣмъ; а будешь, говоритъ, по закону требовать, а тѣмъ паче по естеству—шабашъ. Потому естество—оно глупо. По естеству тебѣ ѣсть хочется, а въ регламентахъ того не написано,—ну, и шабашъ. А ты проси милости—и дастся“. Таково представленіе общества о самомъ себѣ; таковъ уровень чувства собственнаго человѣческаго достоинства. Рельефною иллюстраціей къ этому служитъ сказка: *Здравомысленный заяцъ*.

„Нашего брата, зайца, разсуждаетъ онъ, напримѣръ, всѣ ѣдятъ,—кажется, имѣли бы мы основаніе на сіе претендовать?—Однако, ежели разсудить здраво, то едва ли подобная претензія могла бы назваться правильною. Во-первыхъ, кто ѣстъ, тотъ знаетъ, зачѣмъ и почему ѣстъ, а во-вторыхъ, если бы мы и правильно претендовали, отъ этого насъ ѣсть не перестанутъ“.

И вотъ, онъ до того проникся этимъ сознаніемъ, что даже и въ этомъ положеніи, когда для него не оставалось никакого сомнѣнія, что ему, все равно, конецъ пришелъ, онъ все-таки безпрекословно исполнялъ все, что волкъ ему на

свою потѣху приказывалъ. При такой духовной приниженности

„цѣль всѣхъ нашихъ стремленій и заботъ заключается въ томъ, чтобы навсегда освободиться отъ какихъ бы то ни было сомнѣній и создать для себя то положеніе счастливой увѣренности, въ которомъ можно было бы жить, не задумываясь и не размышляя. Каждый изъ насъ облюбовываетъ себѣ извѣстныя рамки, прилаживается къ нимъ и затѣмъ уже заботится только о томъ, какъ бы не переступить границы и не очутиться невзначай въ области неизвѣстнаго. Впереди—мотается кусокъ, на который устремлены всѣ взоры и который служитъ путеводною звѣздой въ нашемъ странствіи"... (*Легковѣсные, Признаки времени*).

И вотъ, въ сказкахъ является *Премудрый пескарь*, который „насчетъ житья своего рѣшилъ такъ: ночью, когда люди, звѣри, птицы и рыбы спятъ—онъ будетъ моціонъ дѣлать, а днемъ—станетъ въ норѣ сидѣть и дрожать"; а *Въ средѣ умѣренности и аккуратности* дѣйствуютъ Алексѣи Степановичи Молчалины, изо-дня-въ-день помышляющіе о томъ, какъ бы „обстановочку" устроить, и являющіеся безпрекословными „исполнителями, не знающими собственныхъ внушеній; ихъ обезпеченность, солидность и умственность растутъ по мѣрѣ того, какъ умаляется, такъ-сказать, истаеваетъ ихъ сознательность".

Но и такой Молчалинъ, ежеминутно трепещущій за свое существованіе и все только думающій о томъ, какъ бы оборониться путемъ соотвѣтствующей обстановочки, можетъ сказать о себѣ:

„Да это еще что! мы, можно сказать—еще счастливчики, а вотъ бы вы посмотрѣли на мученика, такъ ужъ подлинно—мученикъ! Тезка мой тоже изъ роду Молчалиныхъ (такъ расплодился нынче нашъ родъ!) и Алексѣемъ же Степановичемъ прозывается. Только я—чиновникъ, а онъ журналистъ, газету „Чего изволите?" издаетъ. Да на бѣду, и газету-то либеральную. Такъ, вѣдь, онъ день и ночь словно въ котлѣ кипитъ: все старается, какъ бы ему въ мысль попасть, а кому въ мысль и въ какую мысль—и самъ того не вѣдаетъ".

И вотъ, лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, присутствуетъ въ редакціи этой либеральной газеты въ то время, когда Молчалинъ, редакторъ, стараясь попасть въ мысль, исправляетъ передовую статью о томъ:

„Въ комъ, т.-е. въ какихъ лицахъ, должна найти воплощеніе идея, выражаемая уставомъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, въ примѣненіи ея къ селеніямъ? Въ какомъ количествѣ должны быть назначаемы эти лица, и какихъ желательно ожидать отъ нихъ качествъ? Какія необходимо имъ присвоить права какъ по прохожденію службы, такъ и по мундиру и пенсіи? Въ какихъ предѣлахъ должна быть заключена ихъ власть, а равнымъ образомъ, въ чемъ должны состоять ихъ обязанности.

по наблюденію, дабы кутузка, сохраняя свою общедоступность, съ одной стороны—не принимала характера увеселительнаго заведенія, а съ другой—не служила угрозою для выполненія прихотливыхъ требованій и не отвлекала гражданъ отъ ихъ обычныхъ занятій и невинныхъ забавъ?"

Происходитъ совмѣстная выправка статьи. Послѣ этой работы лицо, отъ имени котораго ведется разсказъ, идетъ и наслаждается тѣмъ, какъ онъ легко вносилъ поправки, какія казались необходимыми, чтобы попасть въ мысль кому-то.

„При воспоминаніяхъ объ этомъ, говоритъ онъ, я начиналъ сѣменить ногами по тротуару и напѣвать, а тайный голосъ все пуще и пуще твердилъ: способный, способный! способный! И вдругъ эти праздничныя мечты измѣнились. Въ самомъ разгарѣ ликованій польщеннаго самолюбія мой слухъ былъ внезапно пораженъ словами простого прохожаго, который, идя намъ навстрѣчу, говорилъ: „Преспособная, братецъ, бестія! Помани его только пальцемъ"...

Вотъ это „помани его только пальцемъ" и изображаетъ то безличіе, ту готовность подчиниться чему угодно и кому угодно, которыя даютъ полный просторъ отсутствію законности и которыя, исключая возможность какихъ-либо стойкихъ убѣжденій, въ концѣ концовъ ведутъ къ представленію о ненужности послѣднихъ. „Убѣжденія? Любезный другъ, говоритъ товарищъ автора по школѣ, ты говоришь объ убѣжденіяхъ! Такъ я отвѣчу тебѣ на это, что убѣжденія могутъ имѣть только люди безпокойные. Мы—люди спокойные и довольные, мы не страдаемъ такъ-называемыми убѣжденіями, а видимъ и признаемъ только долгъ... ты понимаешь—долгъ! Мы стремимся и достигаемъ!" *(Легковѣсные.)* Вотъ и Молчалинъ,—когда авторъ говоритъ ему: „Вѣдь, человѣкъ носитъ на себѣ образъ и подобіе Божіе! Вы христіанинъ, Алексѣй Степановичъ! Подумайте, какъ же съ этимъ-то быть! Какъ отказаться отъ образа и подобія Божія? Какъ не разсуждать, когда даръ разсужденія есть главная характеристическая черта этого образа и подобія?"—нисколько не чувствуетъ всей глубины своего нравственнаго паденія и отвѣчаетъ, что уподобленія-то эти оставить надо! Другой товарищъ автора, Швахкопфъ, который въ школѣ постоянно жаловался, что у него нѣтъ въ головѣ никакой „мизль", при встрѣчѣ съ нимъ автора, уже долго спустя по выходѣ изъ школы, на вопросъ послѣдняго: „Ну что, какъ наша мизль?", съ достоинствомъ отвѣтилъ: „Мой „мизль"—нѣтъ мизль!"—Моя мысль—нѣтъ мысли.

Такое представленіе объ излишествѣ убѣжденій, о томъ, что „уподобленія-то эти оставить надо“, о томъ, что „убѣжденія могутъ имѣть только люди безпокойные, и притомъ представленіе, коренящееся въ самомъ обществѣ, въ господствующихъ въ немъ элементахъ, стоитъ бокъ-о-бокъ съ представленіемъ о томъ, что убѣжденія вредны и что люди, въ чемъ-либо не похожіе на другихъ, чѣмъ-либо не подходящіе подъ общій уровень, тоже вредны. И вотъ, передъ нами проходятъ повѣствованія о томъ, какъ „кандауровскій баринъ, все сидѣвшій дома и читавшій книжки“, вызываетъ къ себѣ подозрительное отношеніе со стороны окружающихъ; какъ дворянинъ Анпетовъ, который самъ въ первой сохѣ пашетъ, также считается человѣкомъ, поселяющимъ крамолу; далѣе мы видимъ, что на одномъ пароходѣ съ авторомъ ѣдетъ депутація изъ дворянъ съ цѣлью ходатайствовать въ „губерніи“ объ удаленіи изъ уѣзда одного изъ мировыхъ судей „за вредный образъ мыслей и строптивый нравъ“. При такихъ благопріятныхъ условіяхъ, для господства въ обществѣ безличія и вытекающей изъ него приниженности, совершенно естественно, что герой разсказа, начинающагося словами: „Ахъ! какъ я тогда себя велъ!“ *(Господа Ташкентцы)*, держитъ съ другимъ такимъ же ташкентцемъ пари, что онъ все можетъ, можетъ даже высѣчь, и—выигрываетъ пари. Этимъ же безличіемъ и готовностью подчиниться, не задаваясь даже вопросомъ, откуда и изъ чего вытекаетъ необходимость и законность подчиненія, объясняется и возможность тѣхъ мистификацій, о которыхъ повѣствуетъ авторъ *Дневника провинціала въ Петербургѣ* по поводу статистическаго конгресса (см. V гл. *Въ средѣ умѣр.* и т. д.). При существованіи такой внутренней незащищенности, порождающей повальный испугъ, автора нисколько не удивляетъ, что въ сказкѣ-элегіи *Приключеніе Крамольникова*, когда въ воздухѣ носился шопотъ: „Поймали, расчухали, уличили“, знакомые Крамольникова оказались настолько безличны, что одни совершенно рѣзко, другіе съ извиненіемъ, ссылаясь на интересы семьи и т. п., просили его прекратить съ ними отношенія. Ничто, говоритъ авторъ, въ другомъ мѣстѣ, не трогаетъ „жестоковыйную ябеду, которой современная испуганность предоставила привилегію раздавать патенты на благонадежность и неблагонадежность“ *(Современ. идиллія*, гл. XIX).

При описанныхъ выше условіяхъ—отсутствія чувства собственнаго достоинства, отсутствія какихъ-либо убѣжденій, даже боязни ихъ, отсутствія сознанія правъ личности, при полной внутренней душевной ничтожности и, какъ послѣдствія ея, повальнаго испуга, рядомъ съ которымъ немыслимо правильное представленіе о законности,—вполнѣ естественно такое отношеніе къ закону, какое проявляется въ слѣдующемъ діалогѣ:

„Какъ же это такъ, однакожъ, спрашиваетъ авторъ своего спутника въ дорогѣ. Не къ собственности уваженія, ни къ нравственности! Согласись, что этакъ, наконецъ, жить нельзя!—Да кабы не палка—и то давно бы врозь пошло.—Нельзя же вѣкъ съ палкой жить. Представь себѣ, что палки нѣтъ...—Никакъ этого представить нельзя.—Такъ что жъ твоя палка дѣлаетъ, отчего же она никого не исправляетъ? Хрисашка, напр., самъ говоришь, чуть не пóходя воруетъ; вотъ и теперь, пожалуй, Гололобову въ карманъ руку запускаетъ.—Запущаетъ—это вѣрно. А тотъ его же, подлеца, безпремѣнно водкой поитъ. -А коли ты знаешь, что онъ подлецъ, зачѣмъ же ты ему подлецу кланяешься?—Какъ же я ему не поклонюсь, коли онъ теперь у насъ въ округѣ первый человѣкъ?—Нѣтъ, ты не виляй! ты отвѣть, чтó все это значитъ?—„А то и значитъ, что „не пойманъ—не воръ!“ (*Опять въ дорогѣ, Благонамѣренныя рѣчи.*)

Но очевидно, что такое отношеніе не можетъ быть названо нормальнымъ; при немъ вся задача состоитъ не въ томъ, чтобы не преступить законъ, а въ томъ, чтобы избѣгнуть палки, откуда и положеніе: „Не пойманъ — не воръ“, рядомъ съ ясностью представленія, что этотъ не воръ „запущаетъ“ теперь руку въ чужой карманъ. Такъ относится къ закону и „кузина Машенька“, указывающая на то, что она всѣ сдѣлки, основанныя на томъ, что „мужичку земля нужна, ахъ какъ нужна!“, заключаетъ съ ними по закону; такъ же относится и А. С. Молчалинъ, заботящійся не о томъ, чтобы по закону устроить, а лишь о соотвѣтствующей обстановочкѣ. То же утилитарное отношеніе къ закону или же равнодушіе къ нему и непониманіе его значенія выражается въ смѣхѣ Прокопа, по поводу котораго М. Е. Салтыковъ говоритъ:

„И чортъ его знаетъ, что за смѣхъ у Прокопа—никакъ понять не могу! Дѣйствительно ли звучитъ въ немъ иронія, или это только такъ, избытокъ веселонравія, который самъ-собою просится наружу? Вотъ, кажется, и хохочетъ человѣкъ надъ децентрализаціей, съ точки зрѣнія безпрепятственнаго и повсемѣстнаго битья по зубамъ, а загляните-ка ему въ нутро—анъ окажется, что вѣдь, онъ и впрямь ничего, кромѣ этой безпрепятственности, не вожделѣетъ“ (*Дневникъ провинціала въ Петербургѣ*).

Понятное дѣло, что на почвѣ такого отношенія къ закону и его основаніямъ никакой законности основать нельзя и вотъ, мы имѣемъ *Господъ Ташкентцевъ*, одинъ изъ представителей которыхъ упоминался выше. Типы „ташкентцевъ приговительнаго класса“ даютъ намъ картину условій, при которыхъ воспитываются „господа ташкентцы“ и гдѣ о чемъ либо имѣющемъ что-либо общее съ представленіемъ о законѣ, объ основныхъ понятіяхъ права и т. п., и помина нѣтъ: ничего этого не нужно:

„Приходилъ человѣкъ совершенно свѣжій и начиналъ орудовать. Писалъ законы, устанавливалъ порядки и т. д. Гдѣ тайна этого волшебства? Очевидно, ее слѣдуетъ искать или въ неизреченной наглости „свѣжихъ людей“, или же въ томъ, что самыя „ввѣренныя“ части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсѣмъ неповрежденными науками. Первое предположеніе, очевидно, не выдерживаетъ никакой критики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанію,—вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, чтобы служить объясненіемъ для жизненныхъ явленій. Гораздо правильнѣе остановиться на простотѣ „ввѣренныхъ частей“, тѣмъ болѣе, что здѣсь приходитъ къ намъ на помощь и практика со своими истинно-поразительными подтвержденіями“. (*Господа Ташкентцы*. Введеніе).

Картины этой практики даетъ намъ и *Исторія одного города* и *Помпадуры и Помпадурши*, не говоря уже о *Губернскихъ очеркахъ*. Что́ же авторомъ изображается въ этой практикѣ? Да то, что „безъ закона все, что угодно можно“, какъ говоритъ градоначальнику Беневоленскому его секретарь; и затѣмъ Н. Щедринъ показываетъ въ очеркѣ *Сомнѣвающійся (Помпадуры и Помпадурши)*, отчего это происходитъ.

„Онъ началъ задумываться почти внезапно... Изъ объясненій съ правителемъ канцеляріи онъ совершенно случайно узналъ, что существуетъ законъ, который въ извѣстныхъ случаяхъ разрѣшаетъ, въ другихъ—связываетъ. И до того времени ему, конечно, было небезызвѣстно, что законъ есть, но онъ представлялъ себѣ его въ видѣ переплетенныхъ книгъ, стоящихъ въ шкафу... Но разрѣшающей и связывающей силы закона онъ не зналъ и даже скорѣе предполагалъ, что законъ есть не что иное, какъ диѳирамбъ, сочиненный на пользу и въ поощреніе помпадурамъ“.

И вотъ, узнавъ о разрѣшающей и связывающей силѣ закона, онъ даже пришелъ къ вопросу: „Послѣ этого... послѣ этого... зачѣмъ же мы, помпадуры, нужны?!“ Такъ какъ указанія на законъ послѣдовали по поводу отданнаго „помпадурамъ“ приказанія высѣчь мѣщанина Прохорова, то помпадуръ начинаетъ полемику съ послѣднимъ, но и она сомнѣній не разрѣшаетъ. Тогда онъ отправляется инкогнито на базаръ. Тамъ изъ молчаливыхъ наблюденій онъ

приходитъ прежде всего къ выводу, что „взятые независимо отъ мундира, и онъ, помпадуръ, и законъ — равны". Затѣмъ, изъ разговоровъ съ присутствующими на базарѣ онъ пришелъ къ заключенію, что до закона никому дѣла нѣтъ. Чтобы разрѣшить окончательно сомнѣніе, начавшее, однако, уже успокаиваться послѣ базарныхъ наблюденій, онъ пошелъ вечеромъ въ клубъ, но тамъ, на начатый о законахъ разговоръ, стряпчій сказалъ ему: „Брось". — Куда тутъ бросить! законъ, братецъ! — „Ну и пущай его! Законъ въ шкафу стоитъ, а ты напирай". Предводитель, при упоминаніи слова „законъ", тоже воскликнулъ: „Брось". Наконецъ, за ужиномъ уже со всѣхъ сторонъ раздалось: „Брось, напирай плотнѣе". „На другой день утромъ, помпадуръ, по обыкновенію, пришелъ въ правленіе. По обыкновенію же, въ передней первое лицо, съ которымъ онъ встрѣтился, былъ Прохоровъ. Но время полемики уже миновало. — Влѣпить! — сказалъ онъ твердымъ и яснымъ голосомъ, и съ этимъ словомъ благополучно прослѣдовалъ въ канцелярскую камору". Таковъ естественный результатъ, къ которому приводитъ изслѣдованіе, удостовѣряющее, что въ обществѣ отсутствуетъ представленіе о необходимости закона и его исполненія.

Всего сказаннаго достаточно, чтобы подвести итоги тому, какъ въ произведеніямъ М. Е. Салтыкова изображается та почва, на которой развиваются правовыя нормы. Само-собою разумѣется, что юридическія отношенія, какъ болѣе сложныя, не могутъ подлежать въ краткомъ очеркѣ такому наглядному изображенію, какъ экономическія, и тѣмъ не менѣе все приведенное позволяетъ установить слѣдующее: полная личная приниженность, въ связи съ экономической необезпеченностью, вырабатываетъ отсутствіе какого-либо сознанія человѣческаго достоинства и порождаетъ полную готовность подчиниться чему и кому-угодно, что́ и даетъ, какъ отмѣчено выше, возможность появленія ташкентцевъ, пользующихся такимъ безличіемъ, и это, въ свою очередь, порождаетъ повальный испугъ; при такихъ условіяхъ, каждое проявленіе самостоятельности, въ чемъ бы оно ни выражалось, вызываетъ отрицательное отношеніе къ себѣ; на почвѣ такого отношенія вырабатывается, съ одной стороны, отсутствіе всякаго понятія о законѣ, полный индиферентизмъ къ собственной судьбѣ и къ закону, или же такое

отношеніе къ нему, при которомъ онъ признается лишь настолько, насколько пользованіе имъ выгодно,—съ другой стороны, дается полный просторъ хищничеству, разошедшемуся до того, что его не смущаетъ даже представленіе, что этакъ въ концѣ-концовъ ему, т.-е. хищнику, придется и Деверію (извѣстная въ то время опереточная артистка) съѣсть *(Хищники, Признаки времени)*. Отсутствіе основныхъ условій для господства законности уничтожаетъ силу послѣдней и въ отдѣльныхъ частныхъ проявленіяхъ ея: ни къ собственности уваженія, ни къ семейству. Что такое представляетъ собою семейство, насколько въ немъ присутствуютъ и могутъ присутствовать какія-либо духовныя связи—объ этомъ можно заключить уже по приведеннымъ изображеніямъ отдѣльныхъ личностей и по ихъ нравственному содержанію; но, кромѣ того, авторъ даетъ намъ и картины семейной жизни въ *Господахъ Головлевыхъ*, въ *Пошехонской старинѣ* и цѣломъ рядѣ очерковъ, хотя бы въ *Благонамѣренныхъ рѣчахъ (Отецъ и сынъ, Семейное счастье, Превращеніе* и мн. др.*)*. Для характеристики же отношенія къ собственности приведемъ слѣдующій разговоръ:

„Хрисанфъ Петровичъ господинъ Полушкинъ-съ—помните? Сначала тихонько поворовывалъ, а послѣ нахаломъ брать началъ. Нынче усадьбу купилъ, живетъ себѣ помѣщикомъ да лѣсами торгуетъ. Всю здѣшнюю сторону подъ свою державу подвелъ, ни одинъ помѣщикъ дыхнуть безъ его воли не можетъ. У насъ, у Николы па Воплѣ, амвонъ себѣ въ церкви устроилъ, гдѣ прежде дворяне-то стаивали, алымъ сукномъ обилъ—стоитъ да охорашивается. Лѣсами торгуетъ, двѣнадцать кабаковъ держитъ, при каждомъ кабакѣ лавочка. И вездѣ обманываетъ“.

Изреченіе „не пойманъ—не воръ“ служитъ замѣной гражданскаго кодекса, говоритъ авторъ по поводу только-что приведеннаго выше разговора о томъ, что „безъ палки никакъ невозможно“. „Григорій Александровичъ обездоливаетъ крестьянъ; Хрисашка обездоливаетъ Григорія Александровича; пропоецъ изъ-за рюмки водки обездоливаетъ цѣлую деревню; мѣщанинъ-мясникъ изъ-за грошоваго барыша обездоливаетъ цѣлую палестину“... Надо всѣмъ началъ царить „чумазый“, въ глазахъ котораго тѣ, которыхъ онъ обездоливаетъ,—дураки, а „для дураковъ какіе-такіе законы нашелъ; для дураковъ одинъ законъ: учить надо“ *(Опять въ дорогѣ)*. „Чумазый вторгся въ самое сердце деревни, восклицаетъ сатирикъ, и преслѣдуетъ мужика и на деревенской улицѣ и за околицей. Обставленный кабакомъ,

лавочкой и грошовою кассой ссудъ, онъ обмѣриваетъ, обвѣшиваетъ, обсчитываетъ, доводитъ питаніе мужика до минимума и въ заключеніе взываетъ къ властямъ объ укрощеніи людей, взволнованныхъ его же неправдами" *(Мелочи жизни)*.

Таковы результаты изображенной выше почвы для развитія юридическихъ отношеній въ сферѣ гражданскаго права, указывающіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ тутъ недалекъ переходъ къ тому, чтобы попасть въ кругъ дѣйствія уголовнаго права.

Но этимъ не ограничиваются юридическіе мотивы произведеній Н. Щедрина. Онъ отмѣчаетъ господствующую, въ силу тѣхъ же условій, смутность понятій и въ области болѣе широкихъ юридическихъ отношеній. Въ очеркѣ *Въ погоню за идеалами (Благонамѣренныя рѣчи)* онъ говоритъ:

„Ежели мы, русскіе, вообще имѣемъ довольно смутныя понятія объ идеалахъ, лежащихъ въ основѣ нашей жизни, то особенною безалаберностью отличается наше отношеніе къ одному изъ нихъ и самому главному — къ государству. Даже люди культуры, какъ-то: предводители дворянства, члены земскихъ управъ и, вообще, представители такъ-называемыхъ дирижирующихъ классовъ,—и тѣ какъ-то нерѣшительно и до чрезвычайности разнообразно отвѣчаютъ на вопросъ: что такое государство?" „Благодаря этой путаницѣ, говоритъ онъ дальше, мы вспоминаемъ о государствѣ лишь тогда, когда насъ требуютъ въ участокъ для расправы".

Изъ этой спутанности понятій онъ выводитъ далѣе такія явленія, какъ взяточничество, полное равнодушіе къ уплатѣ податей и сепаратизмъ. И затѣмъ, какъ бы иллюстраціей послѣдствій такого отношенія къ государству, служитъ слѣдующій очеркъ—*„Тяжелый годъ"*, рисующій картину хищенія въ „тяжелый годъ" Крымской кампаніи и снабженія ратниковъ картонными подошвами, гнилыми полушубками и т. п.

Такимъ образомъ, начавъ съ экономическаго положенія массъ и поднимаясь все выше и выше, мы обошли, насколько то позволили наши силы, весь кругъ тѣхъ условій существованія законности, которыя изображаютъ произведенія М. Е. Салтыкова, и, намѣтивъ, по его же произведеніямъ, отраженіе этихъ условій въ экономической сферѣ, опять вернулись къ тому же отправному пункту,—положенію народной массы какъ при обычныхъ условіяхъ, такъ и въ годину испытаній. При этомъ мы должны, однако, отмѣтить, что если въ нашемъ построеніи мы исходили изъ экономи-

ческихъ отношеній и затѣмъ, пройдя чрезъ юридическія, вернулись къ тому же пункту, то лишь въ силу того, что при полнотѣ и всесторонности изображенія общественныхъ отношеній у М. Е. Салтыкова и при той тѣсной связи, какая существуетъ между тѣми и другими отношеніями, произведенія Н. Щедрина даютъ полную возможность къ тому. Для самого же сатирика и публициста исходною точкой служили съ самаго начала его литературной дѣятельности и до послѣднихъ дней его нравственныя начала, что нами и отмѣчено было уже выше. Всюду и всегда мысль его развивается изъ того „человѣческаго", что должно быть присуще каждому; въ немъ, въ слабомъ присутствіи этого „человѣческаго", онъ видитъ источникъ зла и въ немъ же, въ развитіи этого „человѣческаго" до совершенной его полноты, видитъ онъ и залогъ лучшаго будущаго. „Человѣческое, — восклицаетъ онъ, — всегда и неизбѣжно должно восторжествовать надъ „гіенскимъ". „Человѣческое" никогда окончательно не погибало, но и подъ пепломъ, которымъ временно засыпало его „гіенское", продолжало горѣть. „Человѣческое и впредь не погибнетъ, и не перестанетъ горѣть—никогда. Ибо для того, чтобы оно восторжествовало, необходимо только одно: освѣтить сердца и умы сознаніемъ, что „гіенство" вовсе не обладаетъ тѣми волшебными чарами, которыя приписываетъ ему безумный и злой предразсудокъ" (*Гіена*, 23 сказки). Но, ставя такъ высоко сознаніе, онъ спрашиваетъ въ *Письмахъ изъ провинціи* (письмо VI):

„Что мы можемъ сдѣлать съ нашимъ бѣднымъ, одиночнымъ сознаніемъ, когда вокругъ насъ кишитъ ликующая безсознательность? На что намъ оно нужно, кромѣ того, чтобы во всей полнотѣ дать почувствовать всю горечь нашего одиночества? На эти вопросы дается и отвѣтъ тамъ же: „Исторія показываетъ, что тѣ люди, которыхъ мы не безъ основанія называемъ лучшими, всегда съ особенною любовью обращались къ толпѣ, и что только тѣ политическіе и общественные акты получали дѣйствительное значеніе, которые имѣли въ виду толпу. Человѣкъ нуждается въ обществѣ себѣ подобныхъ совсѣмъ не по капризу, а потому, что природа его, по преимуществу, общительная. Слѣдовательно, стоя на недосягаемой высотѣ, онъ тѣмъ сильнѣе почувствуетъ свое одиночество, чѣмъ забитѣе и безотвѣтнѣе будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль. И онъ, конечно, загрубѣлъ бы въ своемъ уединеніи, если бъ, къ счастью, толпа сама на каждомъ шагу не напоминала ему о себѣ, не указывала на зависимость его положенія и такимъ образомъ не выводила его изъ того одиночества, на которое онъ неразсчетливо себя обрекъ.

„Такимъ образомъ, какъ бы подчасъ ни казалась горька наша зависимость отъ толпы, мы, все-таки, едва ли отважимся обвинить ее въ томъ,

въ чемъ она совершенно неповинна. Вся наша дѣятельность въ этомъ случаѣ должна быть обращена не къ обвиненіямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ выходъ изъ той глубокой безсознательности, которая равно вредна для нихъ, какъ и для насъ... Много было у насъ писано и толковано о такъ-называемомъ сближеніи съ народомъ"... Были и попытки къ тому... Но „нигдѣ, ни въ одной изъ этихъ безчисленныхъ попытокъ членъ народной массы не являлся—не въ качествѣ меньшей братіи, а просто въ качествѣ человѣка". Но и эти попытки, говоритъ онъ далѣе, не остались безслѣдны. „Тѣмъ несомнѣннѣе должны быть слѣды, которые имѣетъ оставить по себѣ то серіозное сближеніе, гдѣ народъ является не въ качествѣ меньшей братіи, наряженной и приглаженной попраздничному, а въ качествѣ собранія людей, выросшихъ въ мѣру взрослаго человѣка... Это не славянофильское любованіе какими-то таинственными задачами... Это не ласкательство предразсудкамъ, жестокости и дикости потому только, что они родились въ народѣ: нѣтъ, это просто изученіе народныхъ нуждъ и представленій, сложившихся болѣе или менѣе своеобразно, но все-таки принадлежащихъ, несомнѣнно, взрослому человѣку". Но можемъ воздержаться, чтобы не продолжить этой и безъ того длинной выписки до конца. „Чтобы понять, что̀ именно нужно народу, чего ему недостаетъ, необходимо поставить себя на его точку зрѣнія, а для этого не требуется ни нагибаться ни кокетничать. Если кому-нибудь изъ читающихъ эти строки случалось быть въ положеніи человѣка, пораженнаго большимъ несчастіемъ, понесшаго тяжкую для сердца утрату, то онъ, безъ сомнѣнія, помнитъ, какъ тягостны и даже противны казались тѣ безплодныя утѣшенія, тѣ безсодержательныя соболѣзнованія, которыя сыпались на него по этому случаю со всѣхъ сторонъ, и какъ драгоцѣнны были тѣ немногія попытки, которыя уясняли ему его положеніе и указывали практическій выходъ изъ него. Толпа народная находится именно въ положеніи этого глубоко-огорченнаго человѣка, которому въ равной степени противны и безсознательныя сѣтованія и пошлыя, всегда лицемѣрныя заигрыванія на счетъ претерпѣваемыхъ имъ утратъ"... (*Письма изъ провинціи*, письмо VI).

Но М. Е. Салтыковъ не ограничивается этимъ изображеніемъ общаго склада того отношенія къ народу, которое является единственно нормальнымъ. Онъ указываетъ и болѣе опредѣленный путь къ выходу изъ-подъ гнета „постылыхъ мелочей жизни".

„Очевидно, говоритъ онъ, что надежда на внѣшнюю помощь, въ смыслѣ удаленія терзающихъ мелочей, навсегда останется тщетною. Все въ этомъ дѣлѣ зависитъ отъ подъема уровня общественнаго сознанія, отъ коренного преобразованія жизненныхъ формъ и, наконецъ, отъ тѣхъ внутреннихъ и матеріальныхъ преуспѣяній, которыя должны представлять собою постепенное раскрытіе находящихся подъ-спудомъ силъ природы и усвоеніе человѣкомъ результатовъ этого раскрытія. Исчезновеніе призраковъ—вотъ существеннѣйшая задача, къ осуществленію которой естественно и неизбѣжно должно итти человѣчество, чтобы обезпечить себѣ спокойное развитіе въ будущемъ. Старинные утописты были вполнѣ правы, утверждая, что для новой жизни и основанія должны быть даны новыя, и что только при

этомъ условіи человѣчество освободится отъ удручающихъ его золъ". Но къ этой вѣрной идеѣ „прибавилась и еще безспорная истина, что жизнь не можетъ и не должна оставаться неподвижною, какъ бы ни совершенны казались, въ данную минуту, придуманныя для нея формы; что она идетъ впередъ и развивается, вѣрна общему принципу, въ силу котораго всякій новый успѣхъ какъ въ области прикладныхъ наукъ, такъ и въ области соціологіи, долженъ принести за собой новое благо, а отнюдь не новый недугъ, какъ это слишкомъ часто оказывалось донынѣ".

Тутъ мы видимъ, такимъ образомъ, цѣлую стройную соціологическую теорію, основные устои которой коренятся въ поднятіи уровня сознательнаго отношенія къ окружающему въ массахъ. Къ этой темѣ, къ этой необходимости выработать въ людяхъ сознательное отношеніе къ окружающему, на что и направлена была вся литературная дѣятельность покойнаго сатирика и публициста, онъ возвращается не разъ и по самымъ различнымъ поводамъ.

Заключительнымъ аккордомъ ко всему, что онъ говоритъ относительно этого, можетъ служить слѣдующее мѣсто изъ *Недоконченныхъ бесѣдъ:*

„Знать—вотъ что нужно прежде всего, а знаніе несомнѣнно, приведетъ за собой и чувство человѣчности. Въ этомъ чувствѣ, какъ въ гармоническомъ цѣломъ, сливаются тѣ качества, благодаря которымъ отношенія между людьми являются прочными и доброкачественными. А именно: справедливость, сознаніе братства и любовь".

На этомъ мы и закончимъ.

Въ заключеніе повторимъ еще разъ, что нашъ очеркъ даетъ лишь слабое и блѣдное указаніе на то, что́ можетъ получить русскій юристъ изъ серіознаго и внимательнаго изученія произведеній М. Е. Салтыкова. Многое мы могли лишь бѣгло намѣтить, на многое лишь указать, что тамъ-то изображено то-то, многаго, наконецъ, совсѣмъ не касались, и при всемъ томъ, думается намъ, изъ всего сказаннаго здѣсь нетрудно заключить, что для русскаго юриста, въ качествѣ судьи, администратора, законодателя, обязательно самое серіозное и внимательное изученіе нашего великаго сатирика и публициста. Первому это изученіе дастъ указанія на многія изъ условій, вызывающихъ тѣ дѣла, въ которыхъ ему приходится примѣнять начала правды и справедливости, второму — выяснить ту почву, тѣ условія, среди которыхъ происходитъ примѣненіе закона и на которую воздѣйствуютъ административныя мѣропріятія; третьему, наконецъ, опредѣлить тѣ общественныя теченія и настрое-

нія, со всѣми создающими ихъ условіями, которыя даютъ основаніе законодательству, ту среду, на которую воздѣйствуетъ послѣднее и отношеніемъ которой къ закону опредѣляется значеніе послѣдняго, его сила и прочность и условія его проникновенія въ жизнь. Все это достаточно сильныя основанія къ тому, чтобы произведенія Н. Щедрина были предметомъ спеціальнаго изученія со стороны русскаго юриста.

Н. Каблуковъ.

Русскій мужикъ въ сатирѣ Щедрина [1]).

I.

*) Щедринъ и по таланту и по значенію, несомнѣнно, самая крупная фигура семидесятыхъ годовъ; оттого-то мнѣ и хочется возможно подробнѣе остановиться на его дѣятельности, тѣмъ болѣе, что его вопросы — наши вопросы, хотя рѣшать ихъ мы склонны, повидимому, нѣсколько иначе. Мы практичнѣе, гораздо практичнѣе, и тотъ самый „экономическій факторъ", вліяніе котораго такъ старательно разыскивается и отмѣчается новою общественною наукой во всѣхъ проявленіяхъ человѣческой жизни, играетъ въ нашихъ глазахъ гораздо болѣе значительную роль, чѣмъ въ глазахъ Щедрина и его современниковъ. Не въ томъ дѣло, чтобы они не видѣли его и не замѣчали его могущества, нѣтъ, но они вѣрили въ подъемъ духа, способный преодолѣть всѣ „матеріальныя затрудненія"; въ запасѣ у нихъ было слишкомъ даже много красивыхъ и блестящихъ словъ, прикрывавшихъ нищенски голую дѣйствительность, а въ глубинѣ души таилась мысль, что „подъемъ духа" при извѣстныхъ обстоятельствахъ можетъ сразу водворить здѣсь, на землѣ, миръ, счастіе и благоденствіе.

Идеалъ Щедрина отличался нѣкоторою „отвлеченностью". Эта отвлеченность была необходимымъ результатомъ и общественнаго воспитанія, полученнаго Щедринымъ въ духѣ сенъ-симонизма, фурьеризма и прочихъ утопій; а также и того „подъема духа", который, вообще говоря, характери-

---

[1]) „Жизнь", 1899 г., томъ III („Семидесятые годы").

*) Эта статья принадлежитъ молодому критику, писавшему въ журналѣ „Жизнь" подъ именемъ Соловьева. Е. Соловьевъ умеръ въ 1905 г., выпустивъ въ свѣтъ, подъ именемъ Андреевича, не безъ таланта, хотя и поверхностно написанную книгу: „Опыты философіи русской литературы".

Прим. Н. Денисюка.

зуетъ и шестидесятые и семидесятые годы. Ни для кого, вѣдь, не тайна, что обыватель видѣлъ тогда нѣкоторый привлекательный сонъ и полагалъ, что стоитъ только захотѣть, какъ сѣверныя тундры или сами-собою или при содѣйствіи какого-нибудь Ивана-Царевича и его таинственныхъ талисмановъ покроются тропическою растительностью.

Семидесятые годы находились подъ знакомъ „мужика", который и былъ точкой приложенія ихъ силъ. Одинъ изъ современниковъ, жившій тогда въ провинціи, въ самомъ центрѣ Россіи, такъ характеризуетъ ту эпоху. Характеристика неполная, но интересная: „Всякій спрашивалъ себя съ недоумѣніемъ, откуда *это* взялось, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, каждый невольно подчинялся тому же настроенію. Стоило только сойтись двумъ-тремъ интеллигентнымъ людямъ, хотя бы самаго различнаго общественнаго положенія, начиная съ предводителей дворянства и кончая студентами университета, какъ немедленно же разговоръ ихъ, точно руководимый какою-то стихійною силой, обращался къ мужику, условіямъ его жизни, его силѣ и его безсилію. Въ сущности, только этимъ и интересовались. Всѣ съ грустью чувствовали и сознавали, какъ недостаточно ихъ знакомство съ реальною крестьянскою жизнью, поставленною, благодаря недавнимъ реформамъ, въ совершенно особую обстановку, и отъ всей души создавали широкіе планы экономическихъ, статистическихъ и иныхъ изслѣдованій, которыя должны были, наконецъ, перекинуть мостъ отъ барина къ мужику. Нетерпѣливые съ нѣкоторымъ презрѣніемъ относились къ проектамъ такихъ работъ и шли въ народъ прямо, надѣясь на свою интуицію, армяки и полушубки. Нечего и говорить, какъ все это оказалось обманчивымъ. Геніальныя сцены тургеневской „Нови" прямо вырваны изъ дѣйствительности и въ то время были у всѣхъ на глазахъ. Но, разумѣется, примѣръ Неждановыхъ рѣшительно никого не останавливалъ: въ стремленіи сблизиться съ мужикомъ было что-то стихійное, и притомъ считать себя Неждановымъ рѣшительно никому не хотѣлось. Пробовали свои силы. Думали и стремились отрѣшиться отъ фразъ, какъ бы высоки онѣ ни были и какъ бы красиво ни звучали составлявшія ихъ слова. Искали, прежде всего, дѣла, настоящаго дѣла, и винили отцовъ за то, что тѣ говорили слишкомъ много и ничего, кромѣ словъ, послѣ себя не оставили. Одно время

было даже въ модѣ жениться на крестьянкахъ и распр
странить такимъ образомъ народническую доктрину и
свою личную и семейную жизнь. Что въ большинствѣ сл
чаевъ выходило изъ этихъ браковъ — представить себѣ н
трудно, но они гармонировали съ настроеніемъ и рѣш
тельно никого не удивляли: до того вся атмосфера бы
переполнена призывомъ къ сліянію. Каждая книга журна
приносила въ изобиліи вѣсти изъ мужицкаго міра. Талан
ливѣйшіе публицисты подъ вліяніемъ всеобщей экзальтаці
писали: „Если мужика сѣкутъ, пусть сѣкутъ и меня". Мн
гіе, и притомъ совершенно искренно, избрали на все „м
жицкую" точку зрѣнія или, по крайней мѣрѣ, такую, ко
рая казалась имъ самою естественною для мужика и на
болѣе отвѣчающею его интересамъ. Кто пережилъ то врем
тотъ превосходно знаетъ, какъ неправы люди, считавш
все это однимъ маскарадомъ и нездоровымъ случайным
повѣтріемъ! Напротивъ того, все дѣлалось изъ глубин
души. Совѣсть заставляла расплачиваться за вѣковыя обид
нанесенныя мужику крѣпостнымъ правомъ, культурою
образованностью. Всѣ брали этотъ историческій грѣхъ н
себя; никто не пугался огромности предъявленнаго счет
потому что искали жертвы и самопожертвованія. Для мн
гихъ и многихъ грозная фигура Рахметова являлась истин
нымъ руководителемъ въ эту странную, такую близкую
такую, въ то же время, дальнюю отъ насъ эпоху".

Если отбросить крайности этого народническаго движе
нія, то несомнѣнно, что Щедринымъ оно было пережит
полностью. Въ крестьянской жизни онъ видѣлъ, прежд
всего, наиболѣе полное воплощеніе идеаловъ правды, добра
справедливости—даже красоты и истины. Онъ любилъ про
тивопоставлять жизнь интеллигентную, чиновничью, барску
съ жизнью мужицкою, и читателю ни разу не приходитс
сомнѣваться, на чьей сторонѣ симпатіи художника. Но в
то же время у него есть и очевидные слѣды перелома пра
вовѣрной народнической мысли.

Любопытная черта: несомнѣнно, идеализируя мужика
устои его существованія, Щедринъ, въ то же время, никогд
не доходилъ до идолопоклонства. Его умъ былъ въ высше
степени трезвый, отчасти даже скептическій, который всегд
заставлялъ его остановиться во-время. Онъ не носился н
съ общиной, ни съ міромъ, ни съ артелями, ни съ круго

ою порукой. Проникая въ истинную „подоплеку“ (его выраженіе) онъ говорилъ, напр., объ общинѣ:

„Теперь все это до того стерлось, что самыя рубрики сдѣлались пустоорожними выраженіями. Теперь большинство славянофиловъ убѣдилось, что *есть община и община*; что община, на которой они созидали благополучіе и силы Россіи, не обезпечиваетъ ни отъ пролетаріата ни отъ обидъ, приходящихъ извнѣ; что, наконецъ, будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, стоитъ еще для всѣхъ загадкою. Напротивъ, по странной случайности, бывшіе западники, ставши ближе къ кормилу, примирились съ общиной, потому что съ нею связана круговая порука. Не нужно сложной мозговой работы, чтобы управлять“.

Есть община и община—это превосходно сказано. Наша община, имѣющая дикое, чисто-азіатское право безъ суда и слѣдствія или, вѣрнѣе сказать, съ какимъ-то призракомъ суда и слѣдствія отправлять человѣка въ Сибирь и подвергать взрослыхъ людей самому позорному наказанію,—община, не обезпечивающая отъ пролетаріата, ни отъ обидъ, приходящихъ извнѣ,—сама нищая и плодящая нищихъ,—запуганная сильными и наглая со слабыми, никогда не возводилась Щедринымъ въ перлъ созданія, никогда не возбуждала его восторговъ, и вопросъ объ ея будущемъ переустройствѣ оставался совершенно открытымъ. Онъ твердо помнилъ, что „есть община и община“...

Можно, какъ кажется, прямо утверждать, что, раздѣляя народническое *настроеніе*, видя въ крестьянской жизни *основу* жизни всего народа и всего государства, источникъ его силы и слабости,—Щедринъ *не раздѣлялъ народническихъ идеаловъ* и не соглашался признать въ устояхъ крестьянскаго быта чего-то самодовлѣющаго и совершеннаго. Если община лучше канцеляріи—это еще не значитъ, что она хороша; если крестьянская работа лучше, реальнѣе работы столоначальника—это не значитъ, что она хороша и т. д., и съ этой точки зрѣнія извѣстная картина Наумова, изображающая Щедрина на опушкѣ лѣса передъ поляной, на которой пашетъ мужикъ, картина, внушающая, такъ-сказать, зрителю, что вотъ этотъ самый пашущій мужикъ и есть идеалъ сатирика,—совершенно неосновательна. Это годилось бы развѣ, да и то съ большою натяжкой, для Толстого. На самомъ дѣлѣ, если пашущій мужикъ можетъ служить идеаломъ, то отсюда прямой нравоучительный выводъ: „бери соху, паши землю“ и оставь въ сторонѣ искусство и науки. До такого вывода Щедринъ не доходилъ и дойти не могъ, потому

что въ немъ очень и очень была сильна культурная, европейская закваска.

Мы всегда забываемъ самую простую вещь, что „система нравственныхъ понятій“ общинника есть не что иное, какъ система нравственныхъ понятій нищаго человѣка, жмущагося къ стаду, потому что въ концѣ концовъ на міру и смерть красна. Вы хотите крайняго и рѣшающаго доказательства этой простой мысли? Кажется, что за нимъ очень и очень недалеко ходить и стоитъ только обратиться къ свидѣтельству той же самой народнической литературы по части всѣхъ тѣхъ „особей“, которыя экономически прежде всего, а потомъ и духовно выбрались изъ обычнаго для крестьянина полунищенскаго уровня существованія.

Изъ пѣсни слова не выкинешь. Не выкинешь и изъ картины нашей жизни того несомнѣннаго и очевиднаго факта, что всѣ эти Колупаевы и Разуваевы—порожденіе нашего міра, нашей общины, укладовъ нашей крестьянской жизни. Почему же это такъ постоянно случается, что стоитъ только человѣку подняться ступенью выше сравнительно съ ближними своими, стоитъ ему только начать торговать водкой, капорскимъ чаемъ и линючими ситцами, какъ отъ его добродѣтели не останется и слѣда, и вмѣсто смиренія духа появляется наглость его, вмѣсто жалости и состраданія—желаніе затоптать ближняго въ грязь, презрѣніе къ слабому и гордое торжество надъ погибшимъ и погибающимъ? Нѣтъ хуже и горше обидъ, которыя наносилъ крестьянинъ крестьянину въ лицѣ бурмистровъ при крѣпостномъ правѣ, въ лицѣ Колупаевыхъ и Разуваевыхъ теперь. Повторяю—этого слова изъ пѣсни не выкинешь...

Обратите еще вниманіе на одно обстоятельство, которое заслуживаетъ гораздо болѣе пристальнаго разсмотрѣнія, чѣмъ то, которое ему удѣлялось нами до настоящихъ дней. Есть что-то поразительное въ томъ фактѣ, что *всѣ положительные характеры, выведенные на сцену нашей народнической литературой, принадлежатъ или нищимъ или юродивымъ.* Я не могу припомнить ни одного исключенія: Левка Герцена—дурачокъ; Парамонъ Успенскаго—юродивый; дядя Минъ Златовратскаго—нищій; мужики *Губернскихъ очерковъ* Щедрина и его же „Политъ Мосеичъ“ изъ *Сна въ лѣтнюю ночь*—также... Что этотъ сонъ значитъ?

Значитъ онъ по-моему очень и очень многое и прежде

всего то, что крестьянская добродѣтель совсѣмъ не добродѣтель какъ принципъ, прошедшій черезъ горнило сознанія и потому непоколебимый, а совокупность свойствъ, выработанныхъ вѣковымъ деспотизмомъ крѣпостного права и общины. Что можете сказать вы о пріятелѣ, который пересталъ бы узнавать васъ послѣ полученія штабъ-офицерскаго чина или выигрыша въ 200 тыс. рублей? А Колупаевъ и Разуваевъ дѣйствительно перестаютъ узнавать Миновъ и Пименовъ и толкаютъ въ кутузку Левокъ и Парамоновъ, какъ только имъ удается открыть свое „и вотъ заведеніе". Что же это за нравственность,—настоящее „не тронь меня",—не выносящая ни малѣйшей перемѣны обстановки, нравственность, исчезающая на другой день послѣ открытія кабака?

„Если читать, такъ уже все читать". Если брать общину, то брать ее надо цѣликомъ, со всею совокупностью ея юридическихъ и нравственныхъ нормъ; но разъ вы возьмете ее полностью, вы едва ли найдете нѣчто болѣе безобразное, архаическое и тормозящее всякое развитіе, всякій шагъ впередъ.

„Есть община и община". Уклады нашей общины какъ нельзя лучше соотвѣтствуютъ дѣтскому состоянію знаній и мозгу Пилъ и Сысоекъ. И въ то же время несомнѣнно, что, какъ начало грубое, стихійное, наша община отличается невѣроятнымъ деспотизмомъ. Даже по части добродѣтелей она разрѣшила только тѣ, которыя для нея выгодны съ точки зрѣнія круговой поруки, и безжалостно преслѣдуетъ все, что хоть чѣмъ-нибудь грозитъ нарушить ея стройное дикообразіе. Она все беретъ у человѣка и ровно ничего не даетъ ему, потому что, какъ это ясно и отчетливо видѣлъ Щедринъ, неспособна даже предохранить отъ пролетаріата и обидъ извнѣ.

Повторяю: совершенно неправы поэтому тѣ, кто навязывалъ Щедрину идеалы крестьянскаго statu quo, или преклоненіе передъ ея устоями. Все равно, какъ онъ не могъ въ свое время признать нигилизмъ „высшею формой мышленія",—какъ впослѣдствіи онъ не восторгался дѣятельностью земскихъ учрежденій *), въ которыхъ разгулявшіеся россіяне

[1]) Дѣло, разумѣется, не въ принципѣ земства, которому Щедринъ сочувствовалъ полностью, а, такъ-сказать, въ земскихъ семейныхъ дѣлахъ, въ странной мысли, что земское statu quo такъ хорошо, такъ хорошо, что нечего больше и желать.

видѣли чуть ли не парламенты, такъ и къ основному пункту народнической доктрины, провозгласившему общину панацеей всѣхъ золъ, онъ отнесся прямо отрицательно. Въ отвѣтъ на всѣ пѣснопѣнія слышался его суровый скептическій голосъ: „современная намъ форма крестьянскаго общежитія неудовлетворительна", и „будущая форма общежитія, наиболѣе удобная для народа, еще загадка для всѣхъ". Только тотъ, кто знаетъ, какую роль играла „община" и „общинность" при созданіи народническихъ утопій, какія надежды возлагались на нихъ, до какой степени незыблемыми онѣ представлялись,—оцѣнитъ по достоинству предостерегающій голосъ Щедрина.

Но въ то же время онъ бы не былъ человѣкомъ своего времени и даже вождемъ его, если бы не видѣлъ въ крестьянствѣ и крестьянской жизни основы жизни всего народа и не требовалъ бы въ отношеніи къ ней наибольшаго вниманія, наибольшей любви и даже наибольшей самоотверженности.

II.

Народническая литература создала и разработала два типа мужика: во-первыхъ,—типъ мужика хозяйственнаго, поглощеннаго, прежде всего и даже исключительно, заботами о домостроительствѣ, и, во-вторыхъ,—типъ мужика отчасти поэта, отчасти бродяги, отчасти носителя высшихъ идеаловъ добра и справедливости, внѣ всякой зависимости отъ внѣшней матеріальной обстановки, даже нищеты и преслѣдованія. Такое раздѣленіе типовъ началось очень давно, съ появленіемъ перваго же изъ разсказовъ „Записокъ охотника"—„Хорь и Калинычъ". Хорь—мужикъ обстоятельный, вокругъ котораго все такъ же крѣпко и плотно сколочено, какъ крѣпко и плотно сколоченъ онъ самъ. Калинычъ съ хозяйственной стороны совсѣмъ плохъ, но въ немъ есть красота духа, извѣстная поэтичность натуры, которыя дѣлаютъ его привлекательнымъ, несмотря на все его внѣшнее дѣйствительно отталкивающее безобразіе. Въ „Устояхъ" Златовратскаго это противопоставленіе двухъ основныхъ типовъ достигло крайней степени, но и раньше можно было видѣть, что хозяйственный мужикъ клонитъ больше на сторону кулака, тогда какъ поэтъ-бродяга приближается къ юродивому.

Первый очень суровый приговоръ надъ хозяйственнымъ мужикомъ былъ произнесенъ Щедринымъ.

„Извѣстно ли читателю,—спрашиваетъ онъ,—какъ поступаетъ хозяйственный мужикъ, чтобъ обезпечить сытость для себя и своего семейства? О! Это цѣлая наука. Тутъ и хитрость змія, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство съ окружающею средой, ея обычаями и преданіями, и, наконецъ, глубокое знаніе человѣческаго сердца". Главная ежедневная и даже ежеминутная работа хозяйственнаго мужика состоитъ въ томъ, чтобы окружающій его рабочій улей какъ можно умѣреннѣе потреблялъ ѣды и въ то же время былъ достаточно сытъ, чтобъ устоять въ непрерывной работѣ. Онъ даетъ вмѣсто мягкаго хлѣба—черствый, который спорѣе; льетъ въ кашу конопляное масло, а не коровье, потому что съ коровьимъ мужикъ каши съѣстъ вдвое; почти не употребляетъ убоины... Гостя онъ старается оглушить сразу большимъ стаканомъ водки, опасаясь того, что коли будетъ гость съ самаго начала по рюмочкамъ пить, такъ онъ одинъ всю водку сожретъ, да и ѣды на него не напасешься. Скотину онъ закармливаетъ съ осени, чтобы имѣть возможность продержать ее зиму впроголодь, и все же выпустить въ поле съ цѣлыми ногами, и т. д.

„Голова скромнаго хозяйственнаго мужика не знаетъ отдыха: съ утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежитъ на немъ обязанностей: прежде всего нужно, конечно, опредѣлить крайній minimum, чтобы прокормить себя и семью; потомъ подумать объ уплатѣ денежныхъ оброковъ и отыскать средства для выполненія этой обузы; наконецъ, если окажутся лишки, то помечтать о такъ-называемой полной чашѣ. Но расчеты его черезчуръ часто нарушаются. Безпрестанно встрѣчаются экстренные расходы; то свадьба въ домѣ, то крестины,—все это составляетъ предметъ мучительныхъ заботъ. Мужику все нужно: но главнѣе всего нужна предусмотрительность, умѣнье заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалѣть личнаго труда, лишь бы какъ можно меньше истратить денегъ".

Неудивительно, поэтому, что онъ весь погруженъ въ одну думу: спасти себя и присныхъ. И онъ настолько привыкъ къ этой думѣ, настолько усвоилъ ее съ молодыхъ когтей, что не можетъ представить себѣ жизнь въ иныхъ условіяхъ, чѣмъ тѣ, которыя какъ-будто сами-собою создались для него. Онъ идетъ за возомъ въ городъ, и тутъ думаетъ думу, подбирая мимоходомъ все валяющееся на дорогѣ—обломокъ подковы, кусокъ бумажки, окурокъ папиросы. Крохоборство возведено имъ въ принципъ и прово-

дится неукоснительно. Нѣтъ ни одного шага безъ расчета, безъ думы о завтрашнемъ днѣ. Если онъ женитъ сына, то непремѣнно въ концѣ рождественскаго мясоѣда.

„Въ этомъ дѣлѣ хозяйственнымъ мужикомъ руководитъ мудрость змія и твердая рѣшимость не потерпѣть ущерба въ жизнестроительномъ обиходѣ. Своевременно приведенная въ домъ сноха родитъ, при такомъ расчетѣ, не раньше осени; слѣдовательно, всю лѣтнюю страду она отбудетъ свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенокъ, родившійся съ осени, успѣетъ мало-мальски окрѣпнуть и не будетъ слишкомъ часто отрывать мать отъ работы. Женить на Красную Горку тоже удобно, съ точки зрѣнія ближайшей страды, но зато предбудущая не даетъ достаточно обезпеченія: ребенокъ будетъ малъ и слабъ"...

Глядя со стороны, можно спросить себя: чего же еще и желать? Мужикъ работаетъ, не покладая рукъ и не разгибая спины, онъ весь поглощенъ заботами о домостроительствѣ, онъ не пьетъ даже чаю. Трудовое начало какъ бы нашло въ немъ полное свое воплощеніе и въ то же время онъ не кулакъ, не міроѣдъ. Только своими руками увѣнчиваетъ онъ зданіе.

„Изба его,—разсказываетъ Щедринъ,—прочна и хорошо ухичена: запасу вдоволь, скотины въ избыткѣ, дѣти въ порядкѣ. Въ домѣ царствуютъ миръ и согласіе; даже въ кубышкѣ деньга на черный день водится. *Въ такомъ положеніи—до міроѣдства одинъ только шагъ. Но хозяйственный мужикъ отъ природы чуждъ кровопивства; его не соблазняютъ ни лавочка ни кабакъ.* Непрерывнымъ трудомъ и думою о будущемъ онъ достигъ извѣстной степени зажиточности—и будетъ съ него. Попрежнему онъ отказывается отъ чайничества, попрежнему ѣстъ хлѣбъ черствый, а не мягкій, попрежнему—осторожно обращается съ убоиной. Если бы онъ поступалъ иначе, ему было бы не-по-себѣ, онъ пересталъ бы быть самимъ-собою".

Нечего и прибавлять къ этому, что хозяйственный мужикъ—превосходный общинникъ, и рѣшеніе міра, руководя имъ во всѣхъ экстраординарныхъ обстоятельствахъ жизни, совершенно успокаиваетъ его совѣсть.

Однако, Щедринъ недоволенъ и ни на минуту не увлекается этимъ осуществленіемъ крестьянскаго благополучія. Онъ недоволенъ тѣмъ, что у хозяйственнаго мужика нѣтъ другой думы, кромѣ думы о жизнестроительствѣ, что ради нея онъ отдаетъ себя и семью въ жертву каторгѣ, что она затемняетъ въ немъ даже любовь къ семьѣ. „Той любви, которая заставляетъ видѣть въ женѣ, сынѣ, дочери нѣчто ненаглядное, неприкосновенное для обидъ, не существуетъ для хозяйственнаго мужика. И всю семью онъ успѣлъ на свой ладъ дисциплинировать: и жена и дѣти видятъ въ немъ главу семьи, котораго слѣдуетъ безпрекословно слу-

шаться, но горячее чувство любви замѣнилось для нихъ простою формальностью и не согрѣваетъ ихъ сердецъ".

Въ концѣ-концовъ холодна и бездушна жизнь хозяйственнаго мужика. Когда онъ умираетъ, всѣ добромъ вспоминаютъ покойника... но—„это,—говоритъ Щедринъ,—былъ дѣйствительно честный и разумный мужикъ. Онъ достигъ своей цѣли: довелъ свой домъ до полной чаши. Но спрашивается, съ какой стороны подойти къ этому хозяйственному мужику? Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?.."

У Щедрина достало смѣлости, чтобы высказаться о хозяйственномъ мужикѣ совершенно опредѣленно. У другихъ народниковъ этой смѣлости недоставало никогда. Съ одной стороны, они любовались картиной благополучія, крѣпкою избой, постоянною работой; съ другой,—они побаивались если не за самого хозяина, то, по крайней мѣрѣ, за ближайшее его потомство. Хозяинъ—человѣкъ стараго времени, твердыхъ и стихійныхъ правилъ, котораго не соблазнитъ ни кабакъ, ни лавочка, но можно ли ручаться за сына или внука? Что если, такимъ трудомъ наполненная и какъ зѣница ока хранимая кубышка пойдетъ не на черный день, а прямо въ оборотъ и породитъ еще одно „и вотъ заведеніе"? Невѣроятнаго тутъ рѣшительно ничего нѣтъ, потому что и самъ хозяйственный мужикъ Щедрина только на шагъ отъ міроѣдства, а хозяйственный мужикъ Гл. Ив. Успенскаго прямо торгуетъ красавицей-женой, что, разумѣется, выгоднѣе, чѣмъ собирать окурки.

Положеніе народника въ данномъ случаѣ ужасно непріятно. Прямо сознаться, что хозяйственныя семьи не что иное, какъ (сразу или à la langue) гнѣзда кулачества—онъ не хочетъ; вмѣстѣ съ этимъ, одинаково невозможно отнестись отрицательно и къ заботамъ о достаткѣ и полной чашѣ, такъ какъ такое отрицаніе подрывало бы въ корень „святой принципъ труда". Другими словами, это значило бы заявить безъ всякихъ оговорокъ, что мужикъ и его добродѣтели хороши только при условіи хроническаго голоданія и обиженности... Слѣдовательно...

Но „слѣдовательно" такъ страшно, что даже и высказать его никто не рѣшился, хотя, повидимому, совсѣмъ и совсѣмъ нетрудно сдѣлать подобающее умозаключеніе: всѣ посылки налицо.

Оттого-то, надо полагать, народническая литература съ такою любовью и такимъ стараніемъ выдвигала всегда на первый планъ другой типъ—типъ мужика-поэта, плохого хозяина, но таящаго въ себѣ искру Божію. Здѣсь уже не можетъ быть сомнѣнія, съ какой стороны подойти къ человѣку: онъ и самъ превосходно знаетъ, что не о единомъ хлѣбѣ живъ бываетъ человѣкъ, почему питается всю свою жизнь лебедой и мякиной.

Это опоэтизированіе нѣкоторыхъ сторонъ крестьянскаго духа и крестьянской жизни очень характерно. Оно представляетъ изъ себя цѣлое теченіе, которое можетъ быть названо *народническою романтикой*.

Когда кто-нибудь собирается говорить о народнической литературѣ, тотъ никогда не долженъ забывать двухъ существенныхъ обстоятельствъ: того, во-первыхъ, что главная ея часть состоитъ изъ художественныхъ произведеній, и того, во-вторыхъ, что творцами этихъ художественныхъ произведеній, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, были „раскаявшіеся бояре". И то и другое одинаково важно.

Попытки „теоретическаго обоснованія народничества" были до сихъ поръ—какъ я надѣюсь это показать въ дальнѣйшихъ частяхъ своей работы—въ высшей степени неудачны. Ни Щаповъ, ни Юзовъ, ни Воронцовъ *) не оказались на высотѣ своего положенія и сочиняли порою—увы—прямо смѣхотворныя вещи. Это произошло оттого, что въ основѣ народничества всегда лежало и теперь еще лежитъ настроеніе, а не факты и не цифры, которыя противъ него.

Лучшія изъ художественныхъ произведеній народнической литературы, какъ: „Записки охотника", „Севастопольскіе разсказы", „Сорока-воровка", „Губернскіе очерки" и пр. и пр., создавались „раскаявшимися боярами". Но покаяніе ихъ было особенное, сцепифическое, выросшее на почвѣ не личнаго грѣха и преступленія, а грѣха историческаго—крѣпостного права, въ которомъ, разумѣется, рѣшительно

*) И Аѳанасій Прокофьевичъ Щаповъ (историкъ и профес. казанскаго унив.), и Осипъ Ивановичъ Каблица, писавшій подъ псевдонимомъ *Юзовъ*, и Василій Павловичъ Воронцовъ, пишущій подъ иниціалами *В. В.* и считающійся основателемъ экономической теоріи, въ силу которой Россія развивается самобытно и идетъ по ей одной свойственному пути, являются у насъ рѣшительными сторонниками народничества 70-хъ годовъ.

Н. Д.

никто не виноватъ или всѣ виноваты такъ же мало, какъ вы и я, или Борисъ Годуновъ со своимъ указомъ, или Петръ Великій съ своею рекрутскою повинностью. Ничего подобнаго не было въ жизни другихъ народовъ и проникнуть въ глубину этой странной, часто болѣзненной, но все же прекрасной и героической психологіи очень трудно и до сей поры не удавалось еще никому.

Впрочемъ, съ внѣшней стороны дѣло обстоитъ довольно просто. Взявши на себя историческій грѣхъ, съ воображеніемъ, воспламененнымъ преданіями объ ужасахъ конюшни, интеллигенція сочла себя нравственно отвѣтственною передъ народомъ, и, прекрасно понимая, что въ основѣ ея культуры и образованности лежатъ мужицкіе трудъ и потъ, страстно захотѣла расплатиться по этому огромному счету. Нечего и говорить, что при сознаніи своей вины и отвѣтственности, никакого объективнаго отношенія не было и быть не могло, и литература расплачивалась идеализаціей. Мужикъ былъ живымъ укоромъ совѣсти, апостоломъ труда и терпѣнія, тѣмъ чуднымъ человѣкомъ, „кто все терпитъ во имя Христа". Нужна была эта красивая, молчаливая фигура, чтобы не все уже въ жизни представлялось одинаково мерзкимъ и отвратительнымъ. Нуженъ былъ свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ насилія и униженія. Вся тоска, вызываемая бытіемъ, всѣ мечты о свѣтлой, правдивой жизни, съ реальнымъ трудомъ въ своемъ основаніи, сосредоточились возлѣ жизни этой темной, молчаливой массы, и *издали* эта жизнь казалась нравственно прекрасною. „Среди нищеты, невѣжества, татарскихъ обычаевъ и привычекъ свѣтилась добродѣтель". Противорѣчіе получалось рѣзкое, вопіющее, и вотъ поразительный примѣръ одинъ изъ тысячи. Некрасовъ писалъ о народѣ:

Пожелаемъ тому доброй ночи,
Кто *все терпитъ во имя Христа*...
. . . . . .
Кто идетъ по житейской дорогѣ
Въ безпросвѣтной глубокой ночи,
Безъ понятья о правдѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи.

Какъ примирить „терпѣніе во имя Христа" съ отсутствіемъ всякаго „понятія о правдѣ и Богѣ"? И замѣтьте, что это сдѣлано въ томъ же самомъ стихотвореніи изъ 16 строкъ!

Но такія трещины легко скрывались общимъ любовнымъ настроеніемъ. Это было покаяніе, это былъ стонъ измученной совѣсти, доводившій до чисто мистическаго представленія о народѣ, котораго въ дѣйствительности никто не зналъ, и чьи силы, чьи истинныя стремленія были, въ сущности говоря, для всѣхъ загадкой и тайной. Легко было бы предположить, что мужикъ такой же человѣкъ, какъ и „во всѣхъ прочихъ Европахъ", но сдѣлать такъ значило отказаться отъ собственнаго народничества, а „никто же плоть свою возненавидитъ"...

Романтизмъ покаянія и расплаты былъ основною чертой господствующаго настроенія, и я уже отмѣтилъ выше одну изъ его крайностей, говоря о томъ, какъ охотно дурачки и юродивые возводились въ перлъ созданія, въ героевъ и носителей правды. Пусть это мелочь, но попробуйте вы найти такую мелочь въ новой западной литературѣ: тамъ ничего подобнаго нѣтъ и быть не можетъ, потому что люди проникнуты культурною дисциплиной и превосходно понимаютъ, что бормотаніе есть бормотаніе и ничего больше. У насъ опоэтизированіе нищеты и юродства дѣло самое обычное, и отдавали ему свои силы крупнѣйшія художественныя дарованія. Народъ—не народъ дѣйствительности, а народъ мечты, былъ окруженъ ореоломъ святости. Въ его жизни чувствовалась такая горечь, такая обида, что считалось грѣхомъ отмѣчать все злое, что живетъ въ немъ. А нечистоплотные люди своими дикими вскрикиваніями: „Неучъ вашъ народъ, свинья вашъ народъ"—только подливали масла въ огонь.

Щедринъ зналъ романтическое настроеніе: оно владѣло имъ, но никогда не овладѣвало вполнѣ. Мѣшалъ скептицизмъ, мѣшала трезвость мысли и огромный жизненный опытъ, такъ часто приводившій нашего сатирика въ прямое столкновеніе съ мужикомъ. Ярче всего романтизмъ выразился въ *Губернскихъ очеркахъ*, гдѣ опоэтизированы странники и даже бродяги-преступники. Въ тѣхъ же очеркахъ мы встрѣчаемся и съ любимымъ пріемомъ Щедрина—противопоставленіемъ жизни интеллигентной (преимущественно чиновничьей) и жизни крестьянской, при чемъ первая неизмѣнно пошла, а вторая невольно завлекаетъ своей таинственною глубиной.

Говоря о народѣ, Щедринъ часто „умилялся". Я употреб-

ляю это слово за неимѣніемъ лучшаго, хотя чувствую, что многимъ оно покажется неподходящимъ. Суровый сатирикъ и вдругъ—умиленіе! Однако, какое другое слово примѣните вы хотя бы вотъ къ этимъ двумъ характернѣйшимъ отрывкамъ:

„... И вся эта толпа пришла сюда съ чистымъ сердцемъ, храня, во всей ея непорочности, душевную лепту, которую она обѣщала повергнуть къ пречестному и достохвальному образу Божьяго угодника. Прислушиваясь къ ея говору, я самъ начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимаго стремленія къ душевному подвигу, которое такъ просто и такъ естественно объясняется всѣми жизненными обстоятельствами, оцѣпляющими незатѣйливое существованіе простого человѣка. На меня вѣетъ невѣдомою свѣжестью и благоуханіемъ, когда до слуха моего долетаетъ все то же тоскливое голошеніе убогихъ нищихъ:

Придетъ мать-весна красна.
Лузья, болота разольются;
Древа листьями одѣнутся,
И запоютъ птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты изъ пустыни вонъ изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!

— Нѣтъ, не покину!—готовъ я воскликнуть, вмѣстѣ съ Осафьемъ-царевичемъ:

Разгуляюсь я во пустынѣ, во зеленой во дубравѣ,
Насмотрюсь во пустынѣ на различные свѣты...

Но вотъ раздался благовѣстъ соборнаго колокола: толпа вдругъ заколыхалась, и вся, какъ одинъ человѣкъ, встала“...

Перечтите затѣмъ разсказъ Пименыча о святой землѣ или повѣствованіе о чудесахъ, видѣнныхъ на пути странницею Пахомовной, и скажите, развѣ это не умиленіе? Развѣ не умилялся и Крамольниковъ, произнося свою страстную рѣчь на юбилеѣ „Полита Мосеича“; развѣ не то же чувство продиктовало Щедрину слово Искупителя, обращенное къ тѣмъ, кто поливаетъ землю потомъ и кровью своею? Я приведу изъ него нѣсколько строкъ, пока же замѣчу, что случайностью считать ихъ нельзя, рѣшительно нельзя. Щедринъ ничуть невиноватъ, что мы его плохо знаемъ, что для однихъ онъ все еще писатель по смѣшной части, для другихъ „политическій“ сатирикъ, по преимуществу, развѣнчавшій и дискредитировавшій всѣхъ ярыжекъ, подьячихъ и канцелярскихъ служителей. Оба взгляда одинаково обидны для Щедрина. Онъ былъ, прежде всего, великимъ русскимъ писателемъ, такимъ же, какъ Гоголь, Толстой, Некрасовъ—значитъ, болѣлъ ихъ же болями, значитъ, искалъ и находилъ

утѣшеніе тамъ же, гдѣ находили они—въ вѣчныхъ завѣтахъ любви и жизни народа, его будущемъ. Обращаясь къ народу, онъ могъ бы сказать словами Некрасова:

Я кручину свою многолѣтнюю
На родимую грудь изолью,
Мою грустную пѣсню послѣднюю,
Мою грустную пѣснь пропою...

Это основной мотивъ семидесятыхъ годовъ, передѣлавшій ихъ міросозерцаніе и заставившій суроваго сатирика сказать такія вотъ слова:

„Люби Бога и люби ближняго, какъ самого себя—вотъ эта правда, во всей ея ясности и простотѣ, и она наиболѣе доступна не богословамъ и начетчикамъ, а именно вамъ, простымъ и удрученнымъ сердцемъ. Вы вѣрите въ эту правду и ждете ея пришествія. Лѣтомъ, подъ лучами знойнаго солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свѣтѣ дымящейся лучины, за скуднымъ ужиномъ вы учите ей дѣтей вашихъ. Какъ ни кратка она сама-по-себѣ, но для васъ въ ней замыкается весь смыслъ жизни и никогда не изсякающій источникъ новыхъ и новыхъ собесѣдованій. Съ этою правдой вы встаете утромъ, съ нею ложитесь на сонъ грядущій и ее же приносите на алтарь Мой въ видѣ слезъ и воздыханій, которыя слаще аромата кадильнаго растворяетъ сердце Мое. Знайте же: хотя никто не провидитъ впередъ, когда пробьетъ вашъ часъ, но онъ уже приближается. Пробьетъ этотъ желанный часъ, и явится свѣтъ, котораго не побѣдитъ тьма. И вы свергнете съ себя иго тоски, горя и нужды которое удручаетъ васъ. Подтверждаю вамъ это, и какъ нѣкогда съ высотъ Голгоѳы благословлялъ васъ на стяжаніе душъ вашихъ, такъ и теперь благословляю на новую жизнь въ царствѣ свѣта, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши въ словеса лукавствія, да пребудутъ они чисты и просты, какъ до-днесь, а слово Мое да будетъ истина. Миръ вамъ!“

Я могъ бы привести много и много такихъ же отрывковъ, но зачѣмъ? Я хотѣлъ только отмѣтить романтическое настроеніе Щедрина, благодаря которому онъ сливался съ духомъ своего времени и его господствующею идеей. Видя въ народѣ „самое важное“, ища въ его жизни утѣшенія отъ горестей своего интеллигентнаго существованія, представлявшагося такъ часто безцѣльнымъ и ненужнымъ,—сознавая за собой, какъ представителемъ привилегированнаго класса, историческій грѣхъ и нравственную отвѣтственность, Щедринъ возлагалъ на мужика огромныя надежды, старался приковать къ нему все вниманіе общества, и каждая новая его строка только подтверждала основную его мысль, что разъ будетъ благополученъ крестьянинъ, будемъ благополучны и всѣ мы. Онъ любовно отмѣчалъ все доброе, что есть въ мужикѣ, онъ опоэтизировалъ его трудъ, его вѣру

и даже суевѣріе, его добродушіе и находчивость, его многотерпѣніе и незлобіе,—словомъ, все, вплоть до бродячихъ инстинктовъ включительно; злобно и гнѣвно нападалъ онъ на постороннія вмѣшательства, нарушавшія стройность крестьянской жизни, но... онъ никогда не доходилъ до идолопоклонства. Скептицизмъ рѣдко оставлялъ его—развѣ въ минуты особенно грустнаго раздумья или такія, когда, бывало, воспоминанія объ ужасахъ крѣпостного права нахлынутъ на него съ страшною подавляющею силой. Народническая литература можетъ, разумѣется, гордиться имъ, но народническая литература въ то же время не должна забывать, что цѣликомъ Щедринъ не принадлежалъ ей никогда. Онъ не видѣлъ ничего превосходнаго въ statu quo общины; онъ оставлялъ открытымъ вопросъ о будущей формѣ крестьянскаго общежитія; онъ прекрасно понималъ, во что обращается мужицкая добродѣтель при достаткѣ и обезпеченности; онъ не видѣлъ въ крестьянинѣ достаточнаго уваженія ни къ себѣ ни къ ближнему. Его идеалъ человѣчнаго требовалъ большаго, неизмѣримо большаго. Правда, порою онъ позволялъ себѣ увлекаться патріархальными нравами и нѣсколько даже мистическими надеждами, но культурная дисциплина сдерживала его даже въ этихъ порывахъ. Оттого-то его отношеніе къ народу производитъ даже нѣсколько двойственное впечатлѣніе: онъ и преклоняется передъ „конягой“ и не видитъ въ то же время въ его жизни ничего, что заслуживало бы названія „жизни человѣческой“... Помните это вотъ превосходное мѣсто:

„Дремлетъ Коняга, а надъ мучительною агоніей, которая замѣняетъ ему отдыхъ, не сновидѣнія носятся, а безсвязная, подавляющая хмара. Хмара, въ которой не только образовъ, но даже чудищъ нѣтъ, а есть громадныя пятна, то черныя, то огненныя, которыя и стоятъ, и движутся вмѣстѣ съ измученнымъ Конягой, и тянутъ его за собой все дальше и дальше въ бездонную глубь.

„Нѣтъ конца полю, не уйдешь отъ него никуда! Исходилъ его Коняга съ сохой вдоль и поперекъ, и все-таки ему конца-краю нѣтъ. И обнаженное, и цвѣтущее, и цѣпенѣющее подъ бѣлымъ саваномъ—оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу съ собою вызываетъ, а прямо беретъ въ кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчасъ оно помертвѣло, сейчасъ—опять народилось. Не поймешь, что тутъ смерть и что жизнь. Но и въ смерти и въ жизни первый и неизмѣнный свидѣтель—Коняга. Для всѣхъ поле—раздолье, поэзія, просторъ; для Коняги оно—кабала. Поле давитъ его, отнимаетъ у него послѣднія силы и все-таки не признаетъ себя сытымъ. Ходитъ Коняга отъ зари до зари, а

впереди него идетъ колышущееся черное пятно и тянетъ, и тянетъ за собой.

„Вотъ теперь оно колышется передъ нимъ, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрикъ: „Ну, милый! ну, каторжный! ну!“

„Никогда не потухнетъ этотъ огненный шаръ, который отъ зари до зари льетъ на Конягу потоки горячихъ лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, морозъ... Для всѣхъ природа—мать, для него одного она—бичъ и истязаніе. Всякое проявленіе ея жизни отражается на немъ мучительствомъ, всякое цвѣтеніе—отравою. Нѣтъ для него ни благоуханія, ни гармоніи звуковъ, ни сочетанія цвѣтовъ; никакихъ ощущеній онъ не знаетъ, кромѣ ощущенія боли, усталости и злосчастія. Пускай солнце напоитъ природу тепломъ и свѣтомъ, пускай лучи его вызываютъ къ жизни и ликованію—бѣдный Коняга знаетъ о немъ только одно: что оно прибавляетъ новую отраву къ тѣмъ безчисленнымъ отравамъ, изъ которыхъ соткана его жизнь.

„Нѣтъ конца работѣ! Работой исчерпывается весь смыслъ его существованія; для нея онъ зачатъ и рожденъ, и внѣ ея онъ не только никому не нуженъ, но, какъ говорятъ разсчетливые хозяева, представляетъ ущербъ. Вся обстановка, въ которой онъ живетъ, направлена единственно къ тому, чтобы не дать замереть въ немъ той мускульной силѣ, которая источаетъ изъ себя возможность физическаго труда. И корма и отдыха отмѣривается ему именно столько, чтобы онъ былъ способенъ выполнить свой урокъ. А затѣмъ, пускай поле и стихіи калѣчатъ его—никому нѣтъ дѣла до того, сколько новыхъ ранъ прибавилось у него на ногахъ, на плечахъ и на спинѣ. Не благополучіе его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько вѣковъ онъ несетъ это иго—онъ не знаетъ; сколько вѣковъ предстоитъ нести его впереди—не разсчитываетъ. Онъ живетъ, точно въ темную бездну погружается.

„Самая жизнь Коняги запечатлѣна клеймомъ безконечности. Онъ не живетъ, но и не умираетъ. Поле, какъ головоногъ, присосалось къ нему безчисленными щупальцами и не спускаетъ его съ урочной полосы. Какими бы наружными отличками не надѣлилъ его случай, онъ всегда одинъ и тотъ же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое онъ орошаетъ своею кровью, онъ не считаетъ дней, ни лѣтъ, ни вѣковъ, а знаетъ только вѣчность. По всему полю онъ разбрелся, и тамъ и тутъ одинаково вытягивается всѣмъ своимъ жалкимъ остовомъ и вездѣ все онъ, все одинъ и тотъ же безыменный Коняга. Цѣлая масса живетъ въ немъ, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нѣтъ конца жизни—только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачѣмъ она опутала Конягу узами безсмертія? откуда она пришла и куда идетъ?—вѣроятно, когда-нибудь на эти вопросы отвѣтитъ будущее... Но, можетъ-быть, и оно останется столь же нѣмо и безучастно, какъ и та темная бездна прошлаго, которая населила міръ провидѣніями и отдала имъ въ жертву живыхъ“.

III.

Я постараюсь дать теперь окончательную характеристику Щедрина и подвести итоги его значенію въ литературѣ и жизни семидесятыхъ годовъ. Эти годы были рѣшающими въ его работѣ. Раньше онъ многихъ приводилъ въ недоумѣніе. Однихъ,—напр., Писарева, своимъ будто бы безцѣльнымъ смѣхомъ въ геніальной *Исторіи города Глупова*, другихъ—своимъ пренебреженіемъ къ народу. Эти жалостливые люди разсуждали такъ: „Если *Исторія города Глупова* есть въ маломъ видѣ исторія Россіи, то какъ можно осмѣивать русскаго мужика и выставлять его въ такомъ неприглядномъ и даже позорномъ образѣ? Неужели русскій мужикъ только и знаетъ, что потѣть, въ отвѣтъ на премудрыя рѣчи Минервы, и спускать съ раскату Ивашекъ, въ минуты высшаго напряженія общественныхъ чувствъ". Жалостливые люди говорили и еще многое, одинаково къ дѣлу не идущее, совершенно забывая, что Щедринъ органически не могъ кощунствовать надъ народомъ и его страданіями, и что народа, мужика совершенно нѣтъ въ *Исторіи города Глупова*. Съ Щедринымъ случилось то же самое, что и съ Пушкинымъ, съ которымъ было поступлено по всей строгости законовъ за непочтительное отношеніе къ „черни непосвященной". Можно много и долго спорить о томъ, что и кого разумѣлъ подъ „чернью" нашъ великій поэтъ, но, очевидно, не мужика, не народъ, въ прямое общеніе съ которымъ Пушкинъ не входилъ никогда. Безграмотный мужикъ никакимъ чудомъ не могъ быть его цѣнителемъ, судьею и зоиломъ, а говоря о черни, онъ имѣетъ въ виду именно этихъ цѣнителей, судей и зоиловъ. Та же чернь, а не народъ, дѣйствуетъ на сценѣ и города Глупова, а на крестьянство, собственно, и она совершаетъ только набѣги.

Недоразумѣніе, которое вначалѣ возбуждалъ Щедринъ своимъ задорнымъ смѣхомъ, подъ мѣткія стрѣлы котораго подпадали даже и нигилисты, объясняется очень просто тѣмъ, что онъ совершенно не годился на вторыя роли и при богатствѣ собственной мысли никогда не поступался даже крупицей ея самостоятельности. Онъ всегда, съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности, былъ самъ-по-себѣ. Этого долго не хотѣли понять и оцѣнить.

Онъ жилъ въ такую эпоху, когда догматизмъ мысли и безусловная преданность такому-то кодексу убѣжденій считались украшеніемъ человѣческой природы, когда, наприм., сдѣлать шагъ въ сторону отъ грубаго матеріализма Бюхнера и Молешотта *) считалось чуть ли не уголовнымъ преступленіемъ, а краткіе начатки радикализма вытверживались наизусть. Щедринъ былъ страшно далекъ отъ какихъ бы то ни было краткихъ начатковъ.

Онъ былъ несомнѣннымъ аристократомъ мысли и даже за это часто подвергался упрекамъ. Забывали, что такими же аристократами мысли были, въ сущности, и Добролюбовъ и Писаревъ, требовавшіе прежде всего критики, свободной мысли, свободнаго отношенія ко всякому авторитету. Свой аристократизмъ Щедринъ доводилъ даже до жестокости. Современному человѣку трудно даже понять, за что онъ, напр., съ такимъ пыломъ и раздраженіемъ обрушился на несчастнаго провинціальнаго корреспондента Корытникова, вся вина котораго въ томъ только и состояла, что онъ многорѣчиво и витіевато изложилъ свой образъ мыслей насчетъ мѣстнаго судебнаго персонала, начавши классической фразой, еще раньше осмѣянною Добролюбовымъ,—„въ настоящее время, когда и пр.“. Корытниковъ дѣйствовалъ не безъ благороднѣйшихъ побужденій, за что и былъ побитъ, а Щедринъ читаетъ ему нравоученіе.

„Корытниковъ!—восклицаетъ онъ,—именемъ той же преемственности убѣждаю васъ, бросьте подъ столъ перо ваше, или обуздайте вашу мысль! Неужели вы не можете сневажничать безъ того, чтобы этотъ актъ вашей жизни не сопровождался цѣлымъ громомъ тромбоновъ и трубъ! Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вѣчно свѣтитъ въ душѣ вашей, до того лучезарно, что не позволяетъ вамъ просто и безъ ужимокъ подойти къ той навозной кучкѣ, которую вы взялись, которую вамъ фаталистически суждено описывать? Юный другъ мой! Если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою въ помои, то вы, совершенно добровольно, совершенно никѣмъ не вынужденные, окунаете ее въ многочисленныя солнца души вашей, и я принимаю смѣлость завѣрить васъ, что эти солнца неизмѣримо непріятнѣе помой Бѣлинскаго и Грановскаго... Зачѣмъ, когда вы беретесь

*) Одинъ изъ столповъ матеріализма Людвигъ Бюхнеръ и извѣстный нѣмецкій филологъ Карлъ Молешоттъ проповѣдывали философскую систему, отрицающую въ природѣ все духовное и признающую въ мірѣ только одну сущность—матерію, объясняя механическимъ движеніемъ частицъ этой матеріи какъ происхожденіе міра, такъ и всѣ явленія внѣшней природы и внутренняго міра человѣка. *Н. Д.*

за перо, васъ внезапно одолѣваетъ какое-то адское самоуслажденіе? Зачѣмъ вы съ самозабвеніемъ склоняете на-бокъ вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькіе глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своихъ собственныхъ пѣсенъ... Зачѣмъ это?.. Вспомните, mon cher, что соловей потому имѣетъ право наслаждаться самимъ-собою и заслушиваться до опьянѣнія своихъ пѣсенъ, что пѣсни, которыя онъ поетъ, *суть его собственныя пѣсни*! Сдѣлайте-ка намъ *ваше собственное* „Фю-ію-ію-ію", и тогда я первый готовъ буду признавать ваше право на самоуслажденіе. Вспомните и то, что міръ кишитъ кругомъ васъ горькими примѣрами самоуслажденія. Я могу указать вамъ на цѣлый кружокъ весьма почтенныхъ людей, которые, *заручившись одной идейкой*, до того перемололи ее на всѣ виды и образы, что въ настоящее время не могутъ безъ тошноты взирать другъ на друга (Господи! и въ немъ сидитъ эта треклятая идея), не могутъ безъ ужаса вспомнить о той минутѣ, когда надобно будетъ вновь вести бесѣду и вновь на ту же тему... потому что иной въ запасѣ не обрѣтается!

„Если этого мало для васъ, то укажу еще на каплуновъ. Этотъ достойный сожалѣнія народъ, не имѣя никакихъ иныхъ видовъ въ будущемъ, кромѣ удовольствія быть обкармливаемымъ до отвратительности, также съ неистовствомъ предается самоуслажденію, въ продолженіе всего того времени, покуда грецкіе орѣхи, комки творогу и прочая дрянь переваривается въ зобахъ ихъ. А тутъ, между тѣмъ, не имѣется даже ни одного наличнаго достоинства, а есть лишь весьма непріятный изъянъ, изъ чего вы можете убѣдиться, что для того, чтобы считать себя въ правѣ наслаждаться самимъ собою, вовсе нѣтъ необходимости быть Богъ вѣсть какимъ соловьемъ, а достаточно въ иныхъ случаяхъ быть и простымъ каплуномъ.

„Зачѣмъ вы взираете на себя, какъ на историка и философа, тогда какъ вы просто-на-просто лѣтописецъ, а, быть-можетъ отчасти и водевилистъ?

„На вашемъ мѣстѣ я писалъ бы статьи мои такъ: „Января дня 18.. г. Городъ Полоумовъ. Сего числа Ударъ-Ерыгинъ, въ присутствіи всѣхъ проглотилъ шпагу или, точнѣе сказать, цѣлое скралъ дѣло (имя рекъ); онъ показалъ при этомъ столь замѣчательное проворство, что никто даже не ахнулъ.—Туземецъ"...

По страстности тона и по серіозности аргументовъ вы сами видите, что совсѣмъ не въ Корытниковѣ тутъ сила, что Корытниковъ только предлогъ, позволившій Щедрину высказать нѣчто, давно наболѣвшее на душѣ. Нельзя, на самомъ дѣлѣ, сердиться на смертнаго, который съ наивностью воробья знай себѣ чирикаетъ: „Въ настоящее время, когда Россія и пр.". Дѣло тутъ въ догматизмѣ мысли, въ въ этихъ краткихъ, наизусть вытверженныхъ начаткахъ, въ этихъ идейкахъ, способныхъ довести до тошноты, до унынія, потому что восприняты онѣ съ чужого голоса, повторяются съ самоуслажденіемъ и позволяютъ приподнимать пустую голову.

Конечно, идейка и начатки могутъ быть превосходны,

но суть не столько въ нихъ, сколько въ необработкѣ мысли и чувства, которая предписываетъ ихъ воспріятію и обусловливаетъ ею. Если эта работа глубока и серіозна, идейки и начатки становятся неотъемлемою собственностью человѣка, плотью отъ плоти его, частицей его существа и отнять отъ него эту частицу то же самое, что отнять руку или ногу.

Никто, разумѣется, не въ правѣ требовать отъ человѣка оригинальныхъ идей и новыхъ мыслей. Оригинальныя идеи и новыя мысли явленіе исключительное, но всякій можетъ воспринять и чужую идею, нисколько не отрекаясь отъ своей самостоятельности, своего чувства, настроенія и жизненнаго опыта.

Всеобъемлющихъ идей, покрывающихъ всѣ общественныя явленія безъ отношенія ко времени и пространству, пока нѣтъ. Возлѣ приложенія и приспособленія доктрины къ даннымъ обстоятельствамъ можетъ и должна происходить постоянная критическая работа мысли.

Догматизмъ и вытверживаніе начатковъ, хотя бы эти начатки были взяты у Дарвина или Маркса,—умственная смерть.

Ненависть и презрѣніе Щедрина къ догматизму мысли понятны. На самомъ дѣлѣ, спуститесь еще ступенью ниже Корытникова и на либеральнаго „въ настоящее время, когда", и вы увидите всю мерзость самодовольства и всю тупость самоуслажденія начатками морали, радикализма, матеріализма и прочихъ умовъ, не выносящихъ испытанія первой звѣздочки на плечахъ...

„Всякому читателю,—писалъ Щедринъ,—безъ сомнѣнія, случалось имѣть дѣло съ людьми, которыхъ ограниченность ясна съ перваго взгляда, но которые въ то же время поражаютъ своею самоувѣренностью. Изъ человѣческихъ типовъ это самый надоѣдливый и нестерпимый.

Просто ограниченный человѣкъ хранитъ свою ограниченность про-себя; онъ не совершаетъ ничего особенно плодотворнаго, но зато ничего и не запутываетъ. Совсѣмъ другое дѣло—ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудрость. Она отличается тѣмъ, что насильственно врывается въ сферы ей недоступныя и стремится распространить свои крилѣ всюду, гдѣ слышится живое дыханіе. Это своего рода зараза, чума. Низменные идеалы, которые она себѣ выработала, или, лучше сказать, которые получила въ наслѣдство вмѣстѣ съ прочею рухлядью прошлаго, перестаютъ быть ся идеалами, а становятся образцомъ для идеаловъ общечеловѣческихъ; азбучность становится обязательною; глупыя мысли, дурацкія рѣчи сочатся отовсюду, и совокупность ихъ получаетъ наименованіе „морали".

Я заплатилъ за мѣсяцъ прислугѣ, я ни копейки не долженъ въ мелочную лавку—я счастливъ. Отчего же моему счастью не быть образцомъ счастья общечеловѣческаго? отчего тѣмъ законамъ, которыми я руководствуюсь въ моемъ обыденномъ хозяйствѣ, не служить руководящею нитью и въ міровой жизни?" Такъ вопрошаетъ себя ограниченный человѣкъ, и, самодовольно убѣжденный въ своей житейской мудрости, утверждаетъ непререкаемо, что проходящія передъ его глазами запутанности и затрудненія суть не что иное, какъ созданіе разгоряченной фантазіи людей, которые не умѣютъ свести концы съ концами".

Нетрудно сообразить, что между обычною моралью, сведенною къ приличію и формально воспринятою доктриной, чтобы не отстать отъ вѣка, разница самая незначительная. Этическому пшюту ровно такая же цѣна, какъ пшюту марксизма, народничества, матеріализма...

Я сравнилъ выше Щедрина съ Діогеномъ, который днемъ съ огнемъ искалъ человѣка и не находилъ его. Требованіе самостоятельной мысли, требованіе быть самимъ-собою было для нашего сатирика одинаково требованіемъ „человѣческаго въ человѣкѣ", такъ какъ всякое рабство и холопство были одинаково ненавистны ему,—все равно, передъ чѣмъ бы ни холопствовали люди.

Евг. Соловьевъ.

Трагическое въ сатирѣ Щедрина [1]).

Сатира Щедрина преслѣдовала самодовольство и самоуслажденіе во всѣхъ его видахъ и въ чемъ бы оно ни проявлялось. Самодовольство является необходимымъ и неотъемлемымъ элементомъ всѣхъ его отрицательныхъ типовъ, начиная отъ изувѣровскихъ куколъ и кончая Іудушкой Головлевымъ и Угрюмомъ Бурчеевымъ, грозно приказывающимъ рѣчному потоку поворотить свои волны вспять. Самодовольство—синонимъ умственной и нравственной отупѣлости, это—броня, защищающая человѣка отъ всякаго состраніія, отъ всякой любви къ ближнему. Пусть льются слезы, пусть царитъ неправда, пусть нищета высасываетъ послѣдніе соки изъ своихъ жертвъ...—„я заплатилъ за мѣсяцъ прислугѣ, я ни копейки не долженъ въ мелочную лавочку, я вызубрилъ краткіе начатки либерализма—и благо мнѣ"... Надо спросить себя, откуда эта странная, все побѣждающая сила Іудушекъ, кузинъ Машенекъ и прочей—виноватъ за выраженіе—сволочи? Не въ томъ, разумѣется, что у нихъ есть деньги, такъ какъ начали они все же безъ гроша, и не въ лицемѣріи, потому что на одномъ лицемѣріи далеко не уѣдешь,—ихъ сила въ самодовольствѣ, въ той нравственной тупости, которая позволяетъ имъ бить и добивать лежащихъ людей и успокаивать свою совѣсть соображеніемъ, что они поступаютъ на законномъ основаніи. И всѣ отступаютъ передъ ними и всѣ попадаютъ въ ихъ паутину, потому что формальная правда на ихъ сторонѣ. Прямо они не воруютъ, прямо не насильничаютъ, и кто же посмѣетъ придраться къ нимъ. Какъ вороны, издали зачуявъ запахъ тлѣна и разложенія, слетаются къ трупу и падали, такъ Іудушки и кузины Машеньки кружатся возлѣ всѣхъ слабыхъ и гибнущихъ, чтобы, воспользовавшись минутой пол-

---

[1]) „Жизнь", 1899 г., томъ III („Семидесятые годы").

ной растерянности, доконать ихъ. Нѣтъ у нихъ той неудобной вещи, которая въ общежитіи называется совѣстью, представляющеюся, съ психологической точки зрѣнія, процессомъ самокритики...

Самодовольство самодовольству рознь. Оно знаетъ самыя различныя степени, ступени и градаціи. Оно можетъ быть наивнымъ и добродушнымъ, какъ у безсмертныхъ героевъ Диккенса, Стерна, Раблэ; можетъ соединяться и съ холодною злобой опустошенной души, какъ у большинства героевъ Щедрина. Оттого-то его сатира такъ часто и переходитъ въ драму, что онъ выбиралъ дѣйствующими лицами своихъ разсказовъ людей, пожалуй, и добродушныхъ, но такихъ, руки которыхъ „запачканы кровью". Возьмите, напр., Молчалина. „Я,—разсказываетъ Щедринъ,—видѣлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой съ обагренными безсознательнымъ преступленіемъ руками, преспокойно принялся этими руками разрѣзывать пирогъ съ капустой.—„Алексѣй Степановичъ!—воскликнулъ я въ ужасѣ,—вспомните, вѣдь, у васъ руки"...—Я вымылъ,—отвѣтилъ онъ мнѣ совсѣмъ просто, доканчивая разрѣзать пирогъ". Молчалинъ совсѣмъ не злодѣй; онъ превосходный семьянинъ, страшно любитъ своихъ дѣтей и ко всему этому настолько добродушенъ, что откушать у него пирогъ съ капустой прямо пріятно. Также и старикъ Разумовъ изъ *Больного мѣста*—тоже добрый человѣкъ. Всю свою жизнь онъ куры не обидѣлъ, служилъ всегда по сущей совѣсти и, право, ему не за что упрекнуть себя. Аккуратный, исполнительный, разсуждающій, онъ жилъ для своего семейства и, прежде всего, для единственнаго сына—Степы, возлѣ котораго сосредоточивались всѣ лучшія его чувства и всѣ вожделѣнія: Степа выйдетъ умницей, Степа возвеличитъ родъ Разумовыхъ. Старикъ доживаетъ свою жизнь, не зная, за что и въ чемъ упрекнуть себя,—съ точки зрѣнія формальной морали онъ правъ. „Что-то", однако, заставило одну обездоленную мать провожать его по улицѣ съ проклятіями: „сатана, сатана, сатана";—что-то заставило честнаго Степу кончить жизнь самоубійствомъ послѣ того, какъ онъ подробнѣе ознакомился съ прошлымъ своего отца.

Сатира и трагедія всегда идутъ рука-объ-руку въ произведеніяхъ Щедрина, и въ этомъ случаѣ онъ представляетъ явленіе исключительное во всей европейской литературѣ.

Правда, вы найдете то же самое у Капниста („Ябеда“), у Гоголя („Ревизоръ“ и „Мертвыя души“), у Герцена (въ описаніи малиновскихъ нравовъ)—но далеко не въ такой степени.

Гоголь опредѣлилъ юморъ, какъ видимый міру смѣхъ сквозь невидимыя міру слезы. Почему-то мы приняли это опредѣленіе безъ всякой критики. Возьмите, однако, комедію Плавта и его излюбленный типъ „Miles gloriosus“, большую часть фигуръ Диккенса и безсмертнаго Пикквика, откормленныхъ Грангузье и Гаргантюа Раблэ, мужиковъ-малороссовъ у самого Гоголя, его Подколесина, Кочкарева, Жевакина и пр. и скажите, гдѣ тутъ слезы? Если я слышу ихъ за сценой „Ревизора“, въ жалобѣ несчастной солдатской вдовы, которая сама себя высѣкла, если ихъ—этихъ слезъ—такъ много въ „Мертвыхъ душахъ“, въ которыя Гоголь вложилъ всю свою глубокую тоску о пустой и безцѣльной человѣческой жизни, поставленной съ глазу-на-глазъ съ великою тайной мірозданія, гдѣ онъ съ образностью мірового генія воплотилъ страшное противорѣчіе между жизнью, „какъ самымъ вѣрнымъ путемъ къ смерти“, и жизнью, наполненною игрой мелкаго тщеславія,—то никто не заставитъ меня видѣть этихъ слезъ ни въ „Коляскѣ“, ни въ „Женитьбѣ“, ни въ „Сорочинской ярмаркѣ“. Гоголь далъ свое опредѣленіе слишкомъ поздно, когда его настроеніе было уже окрашено глубокимъ мистицизмомъ, когда онъ искренно скорбѣлъ о жизни людей, какая бы она ни была, потому что считалъ ее несоотвѣтствующею по достоинству ни съ нравственными задачами человѣчества, ни съ его міровою ролью.

Но за смѣхомъ Щедрина, дѣйствительно, почти всегда слышатся слезы—то безсильнаго состраданія, то одинаково безсильнаго гнѣва. Возьмите любую изъ его сказокъ, лучшія страницы изъ *Головлевыхъ* или *Пошехонской старины*, процессъ дохлаго пескаря, *Повѣсть о правдѣ и торжествующей свиньѣ*, *Губернскіе очерки* и многое, многое другое, и для васъ станетъ яснымъ, что въ основѣ всего этого лежитъ тоска—не отвлеченная Weltschmerz, не мистическая грусть Гоголя, а тоска по униженномъ человѣческомъ достоинствѣ, по этой правдѣ, которая такъ жестоко запоздала своимъ появленіемъ въ свѣтъ. И ясно, гдѣ источникъ такого настроенія: мысль о вороньемъ родѣ, на который всѣ ястреба, соколы, кобчики и коршуны разсчитываютъ, какъ на каменную гору,—ни на минуту не покидала его. Насчетъ этой затерявшейся

правды, старый коршунъ, обращаясь къ ходатаю-ворону, кладетъ такую резолюцію:

„Жестокое тебѣ слово ястребъ сказалъ, но правильное. Хороша правда да не во всякое время и не на всякомъ мѣстѣ ее слушать пригоже. Иныхъ она въ соблазнъ ввести можетъ, другимъ—въ родѣ укоризны покажется. Иной и радъ бы правдѣ послужить, да какъ къ ней съ пустыми руками приступиться? Правда не ворона—за хвостъ ея не ухватишь. Посмотри кругомъ—вездѣ рознь, вездѣ свара; никто не можетъ настоящимъ образомъ опредѣлить, куда и зачѣмъ онъ идетъ... Оттого каждый и ссылается на свою личную правду. Но придетъ время, когда всякому дыханію сдѣлаются ясными предѣлы, въ которыхъ жизнь его совершаться должна,—тогда сами-собой исчезнутъ распри, а вмѣстѣ съ ними разсѣются, какъ дымъ, и всѣ мелкія „личныя правды". Объявится настоящая, единая и для всѣхъ обязательная правда; придетъ и весь міръ осіяетъ. И будемъ мы жить всѣ вкупѣ и влюбѣ. Такъ-то, старикъ! а покуда лети съ миромъ и объяви вороньему роду, что я на него какъ на каменную гору надѣюсь".

Возлѣ всѣхъ героевъ Щедрина, возлѣ всѣхъ его злодѣевъ, вольныхъ и невольныхъ, постоянно копошится обреченный на гибель и растерзаніе вороній родъ. И это не мужикъ исключительно, хотя, разумѣется, мужикъ, по преимуществу. Кадры его наполняются всѣми довѣрчивыми, наивными душами, всѣми готовыми на жертву и самопожертвованіе во имя любви и правды. Тутъ и заяцъ, мечтающій о должности чиновника порученій при волкѣ, и премудрый карась, ни для кого незамѣтно попадающій въ разверстую пасть къ щукѣ, и Степка-балбесъ изъ рода Головлевыхъ, и сестры-актрисы Аннинька и Любинька, и сельская учительница, нагло обманутая какимъ-то либеральнымъ прохвостомъ, и сотни другихъ пескарей, корчащихся въ кипяткѣ, чтобы была дѣйствительно вкусная уха для самодовольныхъ и самоуслаждающихся. Гдѣ, въ чемъ эта страшная сила нравственной тупости? Почему, встрѣчаясь съ нею, рокомъ намѣченныя жертвы притягиваются къ ней съ тою же неотразимою силой, какъ желѣзныя опилки магнитомъ, какъ мотыльки сжигающимъ ихъ свѣтомъ? Вѣчно занятый этимъ вопросомъ Щедринъ и создавалъ свои удивительныя сатиры-драмы.

Вѣра въ будущее или, лучше сказать, страстное желаніе этой вѣры, сопровождаемое, несомнѣнно, сильными и мучительными сомнѣніями въ полной осуществимости идеаловъ добра и истины, что такъ ярко выражено въ геніальной элегіи *Имярекъ*,—но все же вѣра, какъ завѣтъ лучшихъ дней юности, давала Щедрину полное и неотъемлемое право

брать въ руки и ювеналовъ бичъ. Но мнѣ кажется, что великій сатирикъ не всегда охотно дѣлалъ это. Готовый вмѣстѣ съ Пушкинымъ воскликнуть:

О, сколько лицъ безстыдно блѣдныхъ,
О, сколько лбовъ широко мѣдныхъ
Готовы отъ меня принять
Неизгладимую печать—

онъ не могъ отрѣшиться отъ мысли, что „никто ни въ чемъ невиноватъ, такъ какъ человѣкъ только и только продуктъ обстоятельствъ". Какими жалкими и возбуждающими состраданіе, прямо жертвами, оказываются, въ концѣ-концовъ, всѣ его герои—и мерзавецъ Іудушка, и сатана Разумовъ, и Молчалинъ съ окровавленными руками. Щедринъ, пожалуй, слишкомъ вѣрилъ въ человѣка и въ невозможность истребить въ немъ образъ и подобіе, чтобы безусловно казнить...

Только *разъ*, дѣйствительно, грозное слово неудержимымъ потокомъ гнѣва и проклятія вырвалось у него. Обращаясь къ предателю, Искупитель не жалѣетъ ни мукъ ни козней. Онъ говоритъ:

„Ты будешь искать смерти и на сушѣ и на водахъ, и вездѣ смерть отвратится отъ тебя и прошипитъ: „Предатель, будь проклятъ!" Мало того: на время судьба сжалится надъ тобою, ты обрѣтешь друга и предашь его, и этотъ другъ изъ глубины темницы возопитъ къ тебѣ: „Предатель, будь проклятъ!" Ты получишь способность творить добро, но добро это отвратитъ души облагодѣтельствованныхъ тобою".

„Будь проклятъ, предатель,—возопіютъ они,—будь проклятъ и ты, и всѣ дѣла твои!" И будешь ты ходить изъ вѣка въ вѣкъ съ неусыпающимъ червемъ въ сердцѣ, съ погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущихъ поколѣній свидѣтельствомъ той безконечной казни, которая ожидаетъ предательство. Встань, возьми вмѣсто посоха древесный сукъ, на которомъ ты чаялъ найти смерть, и иди!"

„И едва замерло въ воздухѣ слово Воскресшаго, какъ предатель всталъ съ земли, взялъ свой посохъ, и скоро шаги его смолкли въ той необъятной загадочной дали, гдѣ его ждала жизнь изъ вѣка въ вѣкъ. И ходитъ онъ доднесь по землѣ, разсѣевая смуту, измѣну и рознь"...

Здѣсь сатира перешла въ драму, смѣхъ—въ проклятіе, здѣсь—моментъ высшаго напряженія гнѣвныхъ силъ нашего Щедрина. Но, повторяю, это почти исключеніе; обыкновенно состраданіе брало верхъ, и, никогда не мирясь съ обстоятельствами, Щедринъ все же мирился съ людьми, съ ихъ

загрязненнымъ, но никогда не умирающимъ образомъ и подобіемъ.

Щедринъ былъ моралистомъ. Этическіе идеалы стояли у него на первомъ планѣ. Огромное противорѣчіе между правдой внутреннею, руководимою совѣстью и чувствомъ собственнаго достоинства, и правдой формальною, прежде всего бросалось ему въ глаза и составляетъ дѣйствительное основаніе многихъ и многихъ его произведеній. Стоитъ припомнить, какую роль играетъ у него такъ-называемое законное основаніе. Возьмите его Молчалиныхъ, Разумовыхъ, Головлевыхъ, возьмите нѣчто гораздо болѣе крупное — крѣпостное право и его героевъ, и вы увидите, что всѣ эти жрецы „формальной правды", на сторонѣ которыхъ нравственная тупость, умственная лѣнь и законное основаніе, представляютъ изъ себя дѣйствительное паденіе человѣка. Въ нихъ выцвѣло и стерлось все, что сулитъ людямъ лучшее будущее; буква преданія замѣнила имъ свободную работу ума, безотвѣтственность передъ уложеніемъ о наказаніяхъ—голосъ чувства и совѣсти.

Цѣнность человѣка прямо пропорціональна его жизни въ будущемъ. Люди давно сознали это; оттого-то такъ жадно ищутъ они славы и безсмертія. Для однихъ безсмертіе воплощается въ конкретномъ образѣ ряда потомковъ, для другихъ—въ рядѣ дѣлъ, чувствъ и настроеній, вызванныхъ его иниціативой, для третьихъ — въ торжествѣ ихъ идеаловъ. Это чисто инстинктивное стремленіе, одинаково господствующее и въ низкихъ и высокихъ душахъ, это психологическое отраженіе того факта біологіи, что „каждый видъ, путемъ послѣдовательнаго безконечнаго размноженія, *хочетъ* заселить собою весь земной шаръ",—почти не знаетъ исключеній. И Аракчеевъ—даже Аракчеевъ—говорилъ, что „надо строить, какъ можно больше строить, иначе насъ забудутъ немедленно же послѣ смерти". Но жизнь, основанная на формальной правдѣ, вся цѣликомъ, безъ остатка поглощается смертью, потому что формальная правда всегда чужая, созданная случайнымъ стремленіемъ внѣшнихъ обстоятельствъ. Измѣнились обстоятельства и отъ вчера еще гордой и торжествующей формальной правды, воплощенной Щедринымъ въ образѣ торжествующей свиньи, не осталось и слѣда.

И догматизмъ мысли и формальная правда одинаково заканчиваются смертью. Но...

„Не смерть должна разрѣшить узы, а возстановленный человѣческій образъ, просвѣтленный и очищенный отъ тѣхъ посрамленій, которыя наслоили на немъ вѣка подъяремной неволи. Истина эта такъ естественно вытекаетъ изъ всѣхъ опредѣленій человѣческаго существа, что нельзя допустить даже минутнаго сомнѣнія относительно ея грядущаго торжества. Крамольниковъ вѣрилъ въ это торжество и всего себя отдалъ напоминаніямъ о немъ".

Было ли это напоминаніе проповѣдью личнаго самосовершенствованія? Отчасти, конечно, да, но только отчасти. Та же самая трезвость ума, тотъ же скептицизмъ мысли никогда не позволялъ Щедрину встать на точку зрѣнія Достоевскаго или Толстого. Основная идея шестидесятыхъ годовъ, что центръ тяжести человѣческой жизни лежитъ въ обстоятельствахъ и условіяхъ,—владѣла имъ. Ошибочно, однако, думать, что онъ совершенно отказывался отъ нея, какъ не отказывались отъ нея и семидесятые годы, вообще. Гнѣвно обрушиваясь на формальную правду, осмѣивая ея жрецовъ и служителей, предупреждая объ ихъ неизбѣжномъ роковомъ концѣ, — Щедринъ, конечно, проповѣдывалъ: иначе зачѣмъ бы онъ сталъ писать?

Вѣдь, онъ хотѣлъ не *объясненія* жизни, не сведенія ея къ нѣкоторымъ основнымъ фактамъ, не того, чтобы быть однимъ изъ семидесяти ея толковниковъ — а торжества извѣстныхъ идеаловъ. Здѣсь проповѣдь становится неизбѣжною, и здѣсь неизбѣжно раздѣленіе жизни на добро и зло, на черное и бѣлое.

Но, опять въ духѣ своего времени, Щедринъ допускалъ во многихъ и многихъ случаяхъ всемогущество условій. Онъ превосходно видѣлъ, что бываютъ обстоятельства, наглухо запирающія передъ человѣкомъ всякій выходъ, обстоятельства, когда лишь смерть можетъ развязать узы. И сила этихъ обстоятельствъ пугала его, доводя до тоски и унынія.

На этой-то почвѣ и выросла его знаменитая элегія *Имярекъ*.

Евг. Соловьевъ.

Холопы и холопство въ сатирѣ Щедрина [1]).

I.

Мнѣ слѣдуетъ говорить о Щедринѣ.

Признаюсь, трудно найти тему болѣе интересную и въ то же время болѣе трудную. Щедринъ оставилъ послѣ себя очень богатое наслѣдство, заключенное въ 12 томахъ „Полнаго собранія его сочиненій", гдѣ столько прекраснаго какъ историческаго и художественнаго матеріала. Но это бы еще не бѣда. Главное затрудненіе въ томъ, что матеріалъ этотъ относится къ четыремъ десятилѣтіямъ; написанные въ немъ статьи, очерки и разсказы имѣютъ дѣло съ самыми разнообразными общественными настроеніями и условіями русской политики и при чтеніи Щедрина это постоянно надо имѣть въ виду, такъ какъ чисто публицистическая струя замолкала въ немъ сравнительно рѣдко. Случалось такъ, что Щедринъ начнетъ какую-нибудь работу, затѣмъ оставитъ ее и примется за другую, снова вернется къ первой, опять сдѣлаетъ перерывъ и конецъ ея отсрочивался, такимъ образомъ, на нѣсколько лѣтъ. Разобраться въ массѣ перемѣняющихся настроеній, положительно, нелегко. Многое притомъ же въ этой блестящей публицистикѣ значительно устарѣло, кромѣ, разумѣется, вкрапленныхъ въ нее чисто художественныхъ сценъ и картинъ, и не всегда понятно современному читателю, а если и понятно, то далеко не въ такой степени, какъ въ дни написанія: даже самая талантливая публицистика увядаетъ очень скоро. Проходитъ какой-нибудь десятокъ лѣтъ, и общество совершенно измѣняетъ свою физіономію и волнуется другими вопросами, задачами, думами и отъ живого когда-то организма остается лишь сгнившій трупъ. Къ счастью для долговѣчности памяти Щедрина, онъ умѣлъ даже злобу дня брать въ такомъ широ-

---

[1]) „Жизнь", 1899 г., № 4, кн. I („Семидесятые годы").

комъ масштабѣ, связывая ее съ общечеловѣческими вопросами и интересами, что и она лишь въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ является совершенно увядшею и всегда сохраняетъ свое историческое значеніе.

Но вотъ еще что: обиліе публицистическаго матеріала даетъ ли право причислить Щедрина къ какому-нибудь лагерю или направленію, уложить его на какое-нибудь ложе и съ восторгомъ воскликнуть: „Какъ разъ по мѣркѣ! И ножки, и ручки, и все прочее... какъ по мѣркѣ!..“ Понимаю я это стремленіе русскихъ „лагерей“ устраивать свои собственныя божницы и дѣлать изъ большихъ людей своихъ сектантскихъ пророковъ, а по мнѣнію московскихъ кликушъ—„ересіарховъ“,—понимаю и даже сочувствую ему, но въ то же время нетрудно видѣть, что такое стремленіе далеко не всегда основательно. Большой человѣкъ оттого и большой, а не маленькій, что онъ прежде всего „самъ-по-себѣ“ и всякое направленіе для него—прокрустово ложе. Онъ слишкомъ далеко видитъ вдаль и вширь, чтобы держаться какой-нибудь опредѣленной догмы; мало того, онъ искренне, органически ненавидитъ всякую догму: пѣснь его свободна какъ вѣтеръ, и какъ вѣтеръ всегда очищаетъ спертую атмосферу „доктрины“. А если онъ, къ тому же, художникъ, то онъ не можетъ не поддаваться настроенію—этой стихійной и безсознательной мысли, охватывающей все его существо. Конечно, въ данное время и при данныхъ обстоятельствахъ онъ можетъ ближе всего подходить къ такому-то направленію, служить и работать подъ такимъ-то знаменемъ, но ему всегда тѣсно въ той атмосферѣ любви, ненависти, симпатій и антипатій, которыя наполняютъ сердца людей партіи. Щедринъ сказалъ самъ о себѣ въ третьемъ лицѣ:

„Всѣ силы своего ума и сердца онъ посвятилъ на то, чтобы возстановлять въ душахъ своихъ присныхъ представленіе о *свѣтѣ* и *правдѣ* и поддерживать въ ихъ сердцахъ вѣру, что свѣтъ придетъ и мракъ его не обниметъ. Въ этомъ, собственно, заключалась задача всей его дѣятельности“.

Щедринъ былъ, прежде всего, огромнымъ художественнымъ дарованіемъ. Но онъ жилъ въ такое время, когда все окружающее каждымъ явленіемъ твердило человѣку: „Поэтомъ можешь ты не быть, но гражданиномъ быть обязанъ“. То были 60-е и 70-е годы. Правильно или неправильно, но Щедринъ думалъ, что, создавая свои превосходные по силѣ и глубинѣ мысли, по богатству образовъ, по

разнообразію красокъ *Губернскіе очерки*—онъ не въ достаточной степени исполняетъ свой гражданскій долгъ. Ему захотѣлось болѣе близкаго, болѣе непосредственнаго участія въ жизни и коловращеніяхъ судебъ. Онъ сталъ публицистомъ. Въ сущности говоря, этимъ неотразимымъ вліяніемъ эпохи и объясняется такое обиліе публицистическаго матеріала въ произведеніяхъ того времени. Жизнь нѣсколько, впрочемъ, лицемѣрно изъявляла готовность слушаться людей, и люди принялись учить ее. Щедринъ одинъ изъ первыхъ вступилъ на этотъ путь и послѣ 10 лѣтъ работы заставилъ читать себя всѣхъ мыслящихъ людей. Но художникъ, къ счастію, не замиралъ въ немъ ни на минуту, и лучшія мѣста его фельетоновъ—это несомнѣнно тѣ художественныя вкраплины, которыми они такъ богаты. И здѣсь онъ оставался вѣренъ себѣ, и здѣсь проповѣдь „свѣта и правды“ была для него прежде всего проповѣдью „человѣчности“,—въ самомъ широкомъ и, въ то же время, самомъ опредѣленномъ смыслѣ слова.

Я понимаю партійность и думаю, что есть масса умовъ, которые могутъ двигаться и развиваться только въ ея атмосферѣ, но, слава-Богу, умъ Щедрина былъ настолько великъ, что онъ самъ въ единственномъ числѣ составлялъ цѣлую партію. „Его великій талантъ ставилъ его выше всякихъ партій“,—пишетъ г. Михайловскій, и съ нимъ трудно не согласиться. Правда, онъ сейчасъ же дѣлаетъ оговорку: „но умомъ и сердцемъ Щедринъ принадлежалъ вполнѣ къ детально опредѣленному направленію. Утверждать противное — значитъ забывать не только такіе частные факты, какъ полемика Салтыкова со старѣйшею всероссійскою „пѣнкоснимательницей“, но и тотъ общій фактъ, что онъ былъ редакторомъ журнала съ совершенно опредѣленною физіономіей. Эти слова доказываютъ, что г. Михайловскій все же не прочь монополизировать Щедрина, и въ значительной степени ослабляютъ цѣнность признанія, что великій сатирикъ стоялъ „выше всякихъ партій“. Что же, въ такомъ случаѣ, означаетъ слово *выше*? Мнѣ лично кажется, что легче сказать, къ какому „опредѣленному направленію“ не принадлежалъ Щедринъ, чѣмъ указать, какому онъ отдавалъ *всю* душу и сердце, *весь* свой умъ и *все* свое дарованіе. Ни одно направленіе не покрываетъ его вполнѣ.

Во всякомъ случаѣ, эта пылкая впечатлительность, за-

ставлявшая Щедрина откликаться на каждое общественное явленіе; этотъ огромный художественный талантъ, широкими картинами изобразившій намъ и крѣпостную Россію во всей ея неприкрашенной наготѣ, и полукомическое, полутрагическое столкновеніе стараго дореформеннаго міра съ новымъ; необходимость считаться съ обстоятельствами времени при чтеніи любой статьи Щедрина, просто хотя бы для того, чтобы имѣть возможность разобраться въ ея безчисленныхъ намекахъ; поразительное разнообразіе матеріала и невольная борьба между художникомъ и публицистомъ, — первымъ, какъ преслѣдующимъ вѣковыя цѣли любви и всепрощенія и вторымъ, посрамляющимъ Граціановыхъ—и, наконецъ, отсутствіе дѣйствительно хорошаго полнаго собранія сочиненій Щедрина съ необходимыми комментаріями—все это дѣлаетъ литературную характеристику нашего сатирика очень и очень трудною... Поэтому напередъ прошу о снисхожденіи...

II.

Онъ былъ прежде всего человѣкомъ сороковыхъ годовъ. Объ этихъ годахъ онъ сохранилъ самое чистое и свѣтлое воспоминаніе, но это воспоминаніе обнимало, разумѣется, не всю жизнь, а почти исключительно литературу, въ которой у него такъ рано проявилось тяготѣніе. Правда, и литературу эту далеко нельзя было принимать во всемъ ея цѣломъ, не жертвуя самимъ собою, но все же, по словамъ Щедрина, ей удалось отыскать извѣстные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она не задохлась; она же создала тѣ человѣчныя преданія, ту честную брезгливость, которыя выдѣлили ее изъ общаго строя жизни и дали возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ давленій. Никакого прямого выхода въ жизнь, никакой возможности прямо воздѣйствовать на нее литература, конечно, не имѣла: она, „какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступномъ чертогѣ и только дремала, окутанная сновидѣніями... въ основѣ которыхъ лежало человѣчное, такъ что, ежели литература не принимала дѣятельнаго негодованія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, то не участвовала и въ ея торжествахъ. Вотъ почему и замаранность была въ тѣ времена явленіемъ исключительнымъ, ибо гдѣ

же и когда могла „замараться“ царевна, дремлющая въ волшебныхъ чертогахъ“.

Къ величайшему сожалѣнію, приходится сказать, что все въ этихъ строкахъ невѣрно отъ начала до конца. О какой спящей въ волшебныхъ чертогахъ царевнѣ можно говорить, когда на литературной сценѣ и на первомъ ея планѣ фигурировали Сенковскій, Булгаринъ, Гречъ и несчастный Николай Полевой? И что могли видѣть они во снѣ? Полевой видѣлъ, конечно, деньги или самого себя въ кабинетѣ редактора „Московскаго Телеграфа“ и, просыпаясь, съ ужасомъ вспоминалъ, что денегъ у него нѣтъ, а есть большая семья на рукахъ, нѣтъ кабинета редактора „Московскаго Телеграфа“, а есть томительное бѣганье по редакціямъ всякихъ проходимскихъ изданій; Сенковскому снилась какая-нибудь чертовщина; Гречу—звѣзда, а Булгарину, надо полагать, ровно ничего не снилось, такъ какъ его совѣсть была спокойна, какъ у младенца. Кружокъ Бѣлинскаго и онъ самъ—это не литература сороковыхъ годовъ, а лишь часть ея и притомъ далеко не самая вліятельная. „Замарана“ спящая царевна была очень и очень достаточно.

Но въ атмосферѣ, дѣйствительно, чувствовалась какая-то новая струя свѣжаго воздуха, чуялось броженіе въ умахъ, вызванное и нѣмецкимъ идеализмомъ, и романами Жоржъ-Зандъ; готовилось откровеніе, которое и выразилось скоро въ народолюбіи. И если имѣть въ виду это явленіе, то Щедринъ совершенно правъ.

Однимъ изъ самыхъ красивыхъ, привлекательныхъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неопредѣленныхъ словъ сороковыхъ годовъ было слово „человѣкъ“ и происходящее отъ него „человѣчное“. Щедринъ привязался къ нему со всею страстностью, на которую только была способна его вся состоявшая изъ нервовъ натура, и на развитіе его истиннаго смысла посвятилъ всю свою литературную дѣятельность, при чемъ „публицистика“ являлась простымъ подспорьемъ художественнаго творчества. Насколько такое-то и такое явленіе „человѣчно“—вотъ вопросъ, который интересовалъ его прежде всего. Его нельзя было ни обмануть, ни обойти словами, или что-нибудь подобное. Въ этомъ отношеніи онъ былъ безусловно неуступчивъ и, если мы посмотримъ на него съ этой стороны, то увидимъ, какая огромная доза моралиста скрывалась въ этомъ большомъ русскомъ человѣкѣ,

какъ, впрочемъ, и вообще въ большихъ русскихъ людяхъ, близко принимавшихъ къ сердцу жизненные интересы своего отечества, а не ограничивавшихся тѣмъ только, чтобы наблюдать за коловращеніями его судебъ, регистрируя ихъ то въ статистическихъ таблицахъ, то въ художественныхъ образахъ... Очень вѣроятно и даже навѣрное, что по сочиненіямъ Щедрина трудно отвѣтить на вопросъ о сущности красоты и истины, но сущность „человѣческаго" разъяснена имъ полностью. Впрочемъ, „человѣческое" было тѣмъ верховнымъ понятіемъ, которому онъ охотно подчинялъ всѣ остальныя. Только человѣческое могло быть дѣйствительно прекраснымъ, только оно могло быть истиннымъ. Замѣчу, впрочемъ, что, по свойству своего ума и дарованія, онъ останавливался не столько на положительныхъ опредѣленіяхъ человѣческаго, сколько на уклоненіяхъ отъ него, на его извращенностяхъ. Если онъ мало говоритъ о психологіи настоящаго человѣка, который у него обыкновенно за сценой, зато о психологіи не-человѣка—раба, куклы и злодѣя—онъ говоритъ очень и очень много. Рабъ, кукла и злодѣй—это для него главныя разновидности не-людей.

Больше всего онъ говорилъ о психологіи раба. Чувствовалъ ли онъ, что здѣсь заключается главнѣйшій слабый пунктъ русскихъ преуспѣяній, или по какой-нибудь другой причинѣ—судить не берусь, но мнѣ кажется, что нѣсколько строкъ объ этой другой причинѣ не помѣшаютъ ясности дѣла.

Какъ и всѣ наши великіе художники, Щедринъ выросъ въ обстановкѣ крѣпостного права. Это очень существенное обстоятельство какъ въ его жизни, такъ и въ жизни всей нашей художественной литературы. Только на почвѣ крѣпостничества и создались наши великія художественныя произведенія. Почему? Мой отвѣтъ очень простъ.

„Рисовать трудно и, по-моему, просто нельзя,—говоритъ Гончаровъ, — съ жизни, еще не сложившейся, гдѣ формы еще не устоялись, лица не наслоились въ типы. Никто не знаетъ, въ какія формы дѣятельности и жизни отольются молодыя силы юныхъ поколѣній, такъ какъ сама новая жизнь окончательно не выработала новыхъ окрѣпшихъ направленій и формъ. Можно лишь въ общихъ чертахъ намекать на идею, на будущій характеръ. Но писать самый процессъ броженія нельзя: въ немъ личности видоизмѣняются каждый день и будутъ неуловимы для пера"...

Это удивительно глубокое и важное замѣчаніе и, чтобы оцѣнить его, стоитъ перелистать любую исторію литературы, хотя бы нашей. „Писать самый процессъ броженія нельзя". Даже такіе гиганты слова, какъ Гончаровъ и Тургеневъ, въ своихъ Волоховыхъ, Тушиныхъ, Неждановыхъ, Миличъ потерпѣли неудачу и лишь въ общихъ, сравнительно блѣдныхъ чертахъ намѣтили новыхъ людей. Щедрину въ значительной степени удалось преодолѣть эту роковую трудность, но и онъ, говоря о современности, рѣдко является на дѣйствительной высотѣ своей художественной силы.

Крѣпостная, дореформенная Россія въ годы своей агоніи выдвинула цѣлую плеяду первоклассныхъ талантовъ. Корни творческаго вдохновенія Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островскаго, Достоевскаго, Толстого—въ той эпохѣ, когда крѣпостное право стояло, „какъ скала". Крѣпостному праву можно было воспѣвать панегирики, воплотивъ его сущность въ мистическія и привлекательныя формы кротости, смиренія, всепрощенія, какъ-то сдѣлалъ Гоголь въ „Перепискѣ",—можно было безстрастно анализировать его, какъ Гончаровъ, относиться къ нему съ горячею ненавистью, какъ Тургеневъ,—это безразлично: образы великихъ художниковъ выросли на почвѣ, уже выслушавшей свой смертный приговоръ отъ исторіи, на почвѣ, уходившей изъ-подъ ногъ, но выразившейся въ рѣзкихъ, какъ бы изъ мрамора высѣченныхъ формахъ.

Истинно-художественный образъ—цѣльный образъ, какъ Ричардъ III, Лиръ, Донъ-Кихотъ или наши Маниловы, Коробочки. Но, чтобы изобразить цѣльный образъ, художникъ долженъ имѣть его передъ глазами. Это возможно лишь въ эпоху, когда общественныя отношенія совершенно сложились и какъ бы застыли въ своей неподвижности, т.-е. эпоху умирающую. Скажу прямо: „Расцвѣтъ искусства совпадаетъ съ періодомъ, когда извѣстная, опредѣленно и рѣзко сложившаяся историческая эпоха умираетъ, но уже занимается заря новой жизни, и человѣкъ особенно и страстно и нетерпѣливо хочетъ жить и безпокойно мечется, выискивая того неяснаго и таинственнаго, что сулитъ ему будущее"...

Такимъ переходомъ въ нашей исторіи были 40-е годы. Крѣпостное право заканчивало свое существованіе и на рубежѣ двухъ эпохъ возникла великолѣпная художествен-

ная и критическая литература. На сцену сразу выступила цѣлая плеяда талантовъ.

Я уже замѣтилъ выше, что строгія слова Гончарова, что „рисовать трудно, почти невозможно съ жизни, еще не сложившейся", не совсѣмъ подходятъ къ Щедрину: онъ превосходно умѣлъ схватывать нарождающіяся и назрѣвающія явленія жизни и воплощать ихъ въ художественные образы. Несомнѣнно, однако, что высшее изъ созданнаго имъ относится, именно, ко времени крѣпостного права. Онъ зналъ его и даже больше чѣмъ зналъ: по его собственному признанію оно преслѣдовало его „по пятамъ" въ теченіе всей его жизни.

Въ воспоминаніяхъ Щедрина о временахъ крѣпостного „быта" есть что-то страшное—вплоть до самоубійства дѣтей.

„Я,—говоритъ онъ,—слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право, чтобы имѣть возможность забыть его... Картины того времени до того присущи моему воображенію, что я не могу скрыться отъ нихъ никуда. Я видѣлъ разумныя существа, которыя, зная, что въ данную минуту ихъ ожидаютъ истязанія или позоръ, шли сами, шли собственными ногами, чтобы получить это истязаніе и позоръ. Я видѣлъ глаза, которые ничего не могли выражать, кромѣ испуга; я слышалъ вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кромѣ физической боли; я былъ свидѣтелемъ звѣрскихъ вожделѣній, которыя разгорались исключительно по поводу куска хлѣба... Въ этомъ царствѣ испуга, физическаго страданія и желудочнаго деспотизма нѣтъ ни одной подробности, которая бы минула меня, которая въ свое время не причинила бы мнѣ боли"...

Можно привести массу подобныхъ выписокъ, но это совершенно излишне. Дѣло ясно само-по-себѣ, и смѣшно даже сомнѣваться въ томъ, что впечатлѣнія дореформенной эпохи были, вѣроятно, самыми сильными въ жизни Щедрина: великолѣпная эпопея крѣпостного быта — *Пошехонская старина*—создана имъ на склонѣ дней, а *Господа Головлевы* написаны въ теченіе 1872—1876 гг., т.-е. 11—15 лѣтъ послѣ реформы.

III.

Крѣпостное право не знало людей собственно, а знало господъ и холопей. Первые командовали, вторые слушались, и обѣ стороны взаимно и незамѣтно развращали другъ друга. Когда крѣпостное право было уничтожено, оно исчезло только изъ свода законовъ. Жизнь такъ освоилась съ нимъ, ея уклады такъ примѣнились къ нему, оно пустило такіе

глубокіе корни во всѣхъ областяхъ жизни и, прежде всего, въ область нравственности и общественности, что, и долгое время спустя, можно было видѣть не только „слѣды“ его, но и цѣлый кодексъ морали и общественныхъ отношеній, оставленный на пользованіе и поученіе потомства. Еще Добролюбовъ, говоря о неизбѣжномъ и неминуемомъ паденіи крѣпостного права, строго прибавляетъ, что этимъ задача далеко не исчерпывается и что всероссійскій гражданинъ отнюдь не имѣетъ полнаго права почить на лаврахъ, что, напротивъ того, ему предстоитъ еще труднѣйшая задача бороться съ послѣдствіями крѣпостничества, не только забравшагося во всѣ щели, но и растворившагося, такъ-сказать, въ атмосферѣ общественной жизни. Задача была огромная, и, чтобы выполнить ее, нужны были огромныя силы. Щедринъ взялся за нее, начиная съ *Губернскихъ очерковъ*.

Центральное понятіе, созданное, выработанное и выхоленное крѣпостнымъ правомъ, именно понятіе „рабства“ (откуда— „рабій духъ“) особенно привлекало къ себѣ вниманіе Щедрина. Онъ постоянно возвращается къ нему, преслѣдуетъ этотъ рабій духъ, какъ своего личнаго врага, строитъ на немъ свои семейныя и психологическія драмы и съ великою тоской идеалиста и мечтателя слѣдитъ, какъ онъ коверкаетъ и отравляетъ все человѣческое въ человѣкѣ, все человѣчное въ общественныхъ отношеніяхъ. На почвѣ, отравленной его ядомъ, пышнымъ цвѣтомъ расцвѣтаютъ трусость, лицемѣріе, душевная низость и всевозможныя злодѣйства. Въ такихъ вещахъ, какъ *Губернскіе очерки*, *Господа Головлевы*, *Пошехонская старина*, *Мелочи жизни*, мы имѣемъ полную психологію „рабьяго духа“. Щедринъ не разъ опредѣляетъ его, и одно изъ этихъ опредѣленій я привожу сейчасъ же:

„Истинный рабъ,—пишетъ онъ, напр.,—имѣетъ впечатлительность скоропреходящую; потому-то, именно, онъ и рабъ, что не можетъ сосредоточить свою мысль ни въ какомъ ощущеніи. Вспышки совѣсти въ немъ часты, но минутны. Блужданіе между нравственною анэміей и безпорядочнымъ раскаяніемъ—вотъ единственная форма, въ которой воплощаются тѣ проблески общечеловѣческихъ основъ, которые безсильна заглушить даже безпощадная рабская дисциплина.

„И чѣмъ сильнѣе вспышки самосознанія, тѣмъ рѣзче слѣдующій за ними общій упадокъ силъ. Даже раскаяніе, эта податливѣйшая изъ всѣхъ формъ внутренняго человѣческаго самосуда, слишкомъ тяжеловѣсно, чтобы плечи раба могли выносить его бремя.

„Рабъ не перестаетъ быть рабомъ даже въ тѣ минуты, когда у него болитъ сердце. Охваченный бунтующею совѣстью, онъ умиротворяетъ ее

не дѣйствительнымъ удовлетвореніемъ ея законныхъ требованій, а тѣмъ, что старается обойти, замять, позабыть. Онъ изобрѣтателенъ на всякія уловки—это одна изъ прерогативъ его званія—и потому безъ труда отыскиваетъ противовѣсъ пробудившемуся сознанію въ готовыхъ представленіяхъ о неизбѣжности и коловратности. И вотъ, крики боли начинаютъ мало-по-малу стихать, и недавній вопль: „унизительно, стыдно, больно!" смѣняется другимъ: „лучше не думать!" Затѣмъ человѣкъ уже дѣлается разсудительнымъ; въ умѣ его постепенно образуется представленіе о неизбѣжномъ рокѣ, о гнетущей силѣ обстоятельствъ, противъ которой безполезно или, по малой мѣрѣ, рискованно прать, и, наконецъ, какъ достойное завершеніе всѣхъ этихъ недостойностей, является краткій, но имѣющій рѣшающую силу афоризмъ: „надо же жить!"

„Да, надо жить! Надо нести иго жизни съ осторожностью, благоразуміемъ и даже стойкостью. Рабъ—дипломатъ по необходимости: онъ долженъ какъ можно чаще повторять себѣ: „жить! жить надо!" потому что въ этихъ словахъ заключается отпущеніе его совѣсти, потому что въ нихъ утопаютъ всевозможныя жизненныя программы, начиная свободой и кончая рабствомъ".

Щедринъ, какъ видно уже изъ этихъ словъ, очень широко понимаетъ рабство: для него это не просто извѣстныя экономическія и юридическія отношенія, въ которыхъ одинъ человѣкъ можетъ находиться къ другому, это нѣчто гораздо большее. Это, прежде всего, самосохраненіе, подчинившее себѣ всѣ остальныя чувства и даже убившее ихъ всѣ, вплоть до голоса совѣсти; это торжество низшей природы, заботящейся лишь объ удовлетвореніи своихъ инстинктовъ. Всѣ средства, которыя ведутъ къ достиженію этой цѣли,—законны; всѣ преступленія, которыя могутъ быть совершены во славу ея, не должны и не могутъ возбуждать никакихъ колебаній и угрызеній. Рабъ „лукавъ",—сказалъ Пушкинъ; „рабъ дипломатъ по необходимости",—говоритъ Щедринъ, но „дипломатія" только часть его духовнаго состоянія, тѣмъ болѣе, что она не всегда и не вездѣ нужна; она нужна, когда рабъ еще слабъ и выбираетъ для себя позицію въ жизни, когда онъ только выкарабкивается на поверхность и не имѣетъ въ своемъ распоряженіи ни лакомыхъ кусковъ, ни такихъ же рабовъ, какъ онъ.

Въ основѣ этого духовнаго рабства и всепоглощающаго самосохраненія лежитъ трусость. Ей, въ чистомъ ея видѣ, Щедринъ посвятилъ двѣ превосходныхъ сказки: *Премудрый пескарь* и *Самоотверженный заяцъ*.

Умирая, умные родители пескаря сказали ему: „Коли хочешь жизнью жуировать, такъ гляди въ оба!" А у пескаря ума палата была, и когда онъ сталъ смотрѣть въ оба, то

увидѣлъ, что, куда ни обернется, вездѣ ему матъ. Кругомъ все мерзость какая-то: и рыбы большія, и раки, и водяныя блохи, и даже свой братъ-пескарь, норовящій отнять изловленнаго комара. Тутъ еще человѣкъ присосѣдился, большой любитель ухи, отъ которой ни одной рыбѣ не видать добра.

„Нѣтъ, такъ нельзя",—рѣшилъ пескарь, и повелъ онъ образъ жизни по-своему: ночью моціонъ дѣлалъ, въ лунномъ свѣтѣ купался, а днемъ забирался въ нору и дрожалъ; только въ полдни выбѣжитъ, бывало, кой-чего похватать—да что въ полдень промыслишь? И всего-то онъ боялся—даже спать, потому что во снѣ и пескарь становится неосторожнымъ: нѣтъ-нѣтъ, а случайно высунетъ рыльце изъ норы, а тутъ какъ-разъ щука или ракъ. Лежитъ онъ день-деньской въ норѣ, ночей не досыпаетъ, куска не доѣдаетъ и все-то думаетъ: „Кажется, что я живъ! Ахъ, что-то завтра будетъ?" И къ чему далась ему эта постылая жизнь, онъ и самъ не знаетъ. Ни семьи, ни друзей, ни даже знакомыхъ... а „жить все-таки надо"!... И прожилъ премудрый пескарь такимъ родомъ слишкомъ сто лѣтъ. Все дрожалъ и дрожалъ. Даже щуки подъ-конецъ и тѣ его хвалить стали: „Вотъ, кабы всѣ такъ жили—то-то бы въ рѣкѣ тихо было!" Да только онѣ это нарочно: думали, что онъ на похвалу-то отрекомендуется—вотъ, молъ, я а тутъ его и хлопъ! Но онъ и на эту штуку не поддался и еще разъ своею мудростью козни враговъ побѣдилъ. Сколько прошло годовъ послѣ ста лѣтъ—неизвѣстно; только сталъ премудрый пескарь помирать. Лежитъ онъ въ норѣ и думаетъ: „Слава Богу, я своею смертью помираю, такъ же, какъ умерли мать и отецъ". И вспомнились ему тутъ щучьи слова: „Вотъ, кабы всѣ такъ жили, какъ мудрый пескарь живетъ"... А нутка въ самомъ дѣлѣ, что́ бы тогда было?

„Сталъ онъ раскидывать умомъ, котораго у него была палата, и вдругъ ему словно кто шепнулъ: „Вѣдь, этакъ, пожалуй, весь пескарскій родъ давно перевелся бы!"

Потому что для продолженія пескарьяго рода прежде всего нужна семья; а у него ея нѣтъ. Но этого мало: для того, чтобы пескарья семья укрѣплялась и процвѣтала, чтобы члены ея были здоровы и бодры, нужно, чтобъ они воспитывались въ родной стихіи, а не въ норѣ, гдѣ онъ почти ослѣпъ отъ вѣчныхъ сумерекъ. Необходимо, чтобы пескари достаточное питаніе получали, чтобы не чуждались общественности, другъ съ другомъ хлѣбъ-соль бы водили и другъ отъ друга добродѣтелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь можетъ совершенствовать пескарью породу и не дозволитъ ей измельчать и выродиться въ снитка.

„Неправильно полагаютъ тѣ, кои думаютъ, что лишь тѣ пескари могутъ считаться достойными гражданами, кои, обезумѣвъ отъ страха, сидятъ въ норахъ и дрожатъ. Нѣтъ, это не граждане, а по меньшей мѣрѣ безполезные пескари. Никому отъ нихъ ни тепло ни холодно, никому ни чести

ни безчестія, ни славы ни безславія... живутъ, даромъ мѣсто занимаютъ да кормъ ѣдятъ".

Премудрый пескарь, весь заѣденный трусостью и жесточайшимъ малодушіемъ самосохраненія, все же сохранилъ нѣкоторую элементарную степень сознанія, которая, помѣшавъ ему запастись семьей (расходовъ не оберешься!), друзьями (какіе-то еще попадутся!), заставила вырыть глубокую нору и быть себѣ-на-умѣ, несмотря даже на льстивыя слова щуки. Но можно пасть ниже, гораздо ниже, махнуть рукой на самосохраненіе, даже и образчикъ такого паденія Щедринъ даетъ въ сказкѣ *Самоотверженный заяцъ*. Попался этотъ несчастный зайчишка въ лапы къ волку, который, будучи сытъ, сказалъ ему: „Сиди ты, вотъ, подъ этимъ кустомъ и жди очереди. А можетъ-быть... ха-ха... я тебя и помилую!" Сидитъ осужденный и высчитываетъ, сколько часовъ ему до смерти остается. Никогда онъ такъ не любилъ жизни, какъ теперь. Былъ онъ заяцъ обстоятельный, высмотрѣлъ у вдовы, у зайчихи, дочку и жениться хотѣлъ. Именно, къ ней, невѣстѣ своей, онъ и бѣжалъ, какъ волкъ его за шиворотъ ухватилъ. Ждетъ, чай, его невѣста и думаетъ: „Измѣнилъ мой Косой!" А, можетъ-быть, подождала, подождала, да и съ другимъ... слюбилась. А можетъ-быть, и такъ: играла, бѣдняжка, въ кустахъ, а тутъ ее волкъ... и слопалъ... И вотъ, онъ сидитъ однажды ночью и дремлетъ. Снится ему, будто волкъ его при себѣ чиновникомъ особыхъ порученій сдѣлалъ, а самъ, покуда онъ по ревизіямъ бѣгаетъ, къ его зайчихѣ въ гости ходитъ. Вдругъ слышитъ, словно его кто-то подъ бокъ толкнулъ. Оглядывается—невѣстинъ братъ съ грустною вѣстью, что невѣста въ одночасье зачахла, услышавъ про то, въ какую бѣду женихъ попалъ... „Бѣжимъ",—говорилъ между тѣмъ посланецъ. Услышавши это слово, осужденный на минуту словно преобразился. Совсѣмъ уже въ комокъ собрался и уши на спину уложилъ. Вотъ-вотъ прянетъ, и слѣдъ простылъ. Не слѣдовало ему въ эту минуту на волчье логово смотрѣть, а онъ посмотрѣлъ. И закатилось заячье сердце. „Не могу, говоритъ, волкъ *не велѣлъ*". Услыхалъ такія слова волкъ и за благоразуміе наградилъ плѣнника волчьею милостью: разрѣшилъ онъ ему отпускъ на однѣ сутки, чтобы онъ и къ невѣстѣ сбѣгалъ, и всѣ свои заячьи дѣла тамъ справилъ и назадъ оборотилъ. Все исполнилъ самоотверженный заяцъ въ точности, потому что

жалѣлъ невѣстина брата, аманатомъ оставленнаго... да и волкъ непремѣнно оборотить наказывалъ... „Здѣсь я! здѣсь!“—крикнулъ онъ, подбѣгая къ волчьему логову, какъ сто тысячъ зайцевъ вмѣстѣ. И кубаремъ скатился съ горы въ болото. И волкъ его похвалилъ. „Вижу,—сказалъ онъ,—что зайцамъ вѣрить можно. И вотъ вамъ обоимъ моя резолюція: сидите, до поры до времени, оба подъ этимъ кустомъ, а впослѣдствіи я васъ... ха-ха... помилую!“

Сказка эта замѣчательно выдержана, такъ какъ кто же другой удержался бы отъ того, чтобы хоть чѣмъ-нибудь да не наградить самоотверженнаго зайца и не оставить читателя подъ впечатлѣніемъ злобнаго волчьяго смѣха. И наградили бы и не оставили бы. Но Щедринъ не таковъ. Онъ превосходно знаетъ, съ кѣмъ и чѣмъ имѣетъ дѣло, и „слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право“. Развѣ миловали тогда въ случаѣ, если приходилось разыграться волчьимъ аппетитамъ? Онъ остается вѣренъ жестокой правдѣ жизни до конца и даетъ и читателю неприкрашенную жизнь, во всей ея грубой, обидной наготѣ.

Превосходна фигура зайца. Посмотрите, сколько въ немъ добродѣтели! И вѣрность слову, и любовь къ ближнему, и отсутствіе всякой мысли о предательствѣ. Прямо—заячій рыцарь безъ упрека, правда, зато такой, чья вся психологія построена на страхѣ. Отчего не слѣдуетъ онъ совѣту невѣстина брата и не бѣжитъ, когда можно? Потому что „волкъ не велѣлъ“. Его душа—сплошной кусокъ застывшаго, кристаллизованнаго ужаса. Его нечего стеречь, нечего опасаться измѣны съ его стороны—онъ не можетъ бѣжать, не можетъ измѣнить, потому что онъ... заяцъ. Какъ только вы попробуете опредѣлить, гдѣ у него кончается добродѣтель и начинается трусость, вы увидите, что занялись психологическою квадратурой круга, изъ которой не выбраться. Зато сколько благородныхъ словъ можно наговорить и о заячьемъ благородствѣ и о заячьемъ смиреніи, сколько Платоновъ Каратаевыхъ можно выкроить изъ этой крошечной трепещущей фигурки! Щедринъ не проронилъ ни слова, хотя очевидно, что всѣ его симпатіи на сторонѣ героическаго раба. Да, онъ „слишкомъ близко видѣлъ крѣпостное право“, и его отношеніе къ этому ужасному явленію единственное: ничѣмъ нельзя ни прельстить, ни соблазнить его даже на минуту. Ни „густолиственныхъ кленовъ аллея“, ни „охота

съ подпсовыми борзыми", ни „черноглазая младшая дочка", ни добродѣтели, вырастающія на почвѣ кристаллизованнаго ужаса, — ничто, такъ смущавшее даже лучшихъ нашихъ художниковъ, ни на мигъ не прельщаетъ его. Онъ знаетъ истинную цѣну и рабьему героизму и патріархальности нравовъ; онъ знаетъ, что все это не можетъ принадлежать настоящему человѣку, а лишь до мозга костей испуганному зайцу и волку, у котораго цѣлая семья на шеѣ и кому безъ заячьяго мяса никакъ прожить невозможно. Мнѣ кажется, что случись Щедрину нарисовать такой типъ, какъ Платонъ Каратаевъ, онъ не пришелъ бы въ восторгъ предъ этимъ темнымъ, самоотверженнымъ фатализмомъ, онъ бы пожалѣлъ бѣднягу за его многострадальную жизнь и не сталъ бы выдавать за торжество Платона то обстоятельство, что его пристрѣлили, какъ собаку. Я думаю, что онъ не сталъ бы, потому что Платонъ Каратаевъ и самоотверженный заяцъ едино суть. Повторяю, отношеніе Щедрина къ крѣпостному праву, какъ укладу и нормамъ жизни, единственное, непримиримое и всѣми послѣдующими обстоятельствами непримиренное.

Конечно, только крѣпостное состояніе могло создавать такіе образцы „самоотверженности", и Русь въ теченіе столѣтій знала такое состояніе, когда дѣтей баюкала грустная пѣснь о предстоящей имъ неволѣ, а вся жизнь была этою тяжкою неволей.

Но истинный типъ раба, порожденнаго крѣпостною эпохой, это не премудрый пескарь, не самоотверженный заяцъ, а Іудушка Головлевъ, герой, пожалуй, лучшей щедринской хроники-романа *Господа Головлевы*. Тутъ ужъ мы имѣемъ дѣло съ очень сложнымъ психическимъ механизмомъ, для характеристики котораго не отдѣлаешься однимъ какимъ нибудь словомъ „трусость", „лицемѣріе", „дипломатія"—или что-нибудь въ этомъ родѣ. Здѣсь все это вмѣстѣ, рядомъ съ такимъ поразительнымъ духовнымъ тупоуміемъ, отъ котораго свѣжаго человѣка беретъ оторопь, а то и ужасъ.

Іудушка, прежде всего, человѣкъ очень и очень себѣ-на-умѣ. Онъ превосходно понимаетъ не только свои личныя выгоды, но и способы ихъ достиженія. Уже въ дѣтствѣ онъ сообразилъ, что прямые пути не для него, такъ какъ физически онъ слабъ, быстрымъ разумомъ и остроуміемъ не отличается, смѣлости и рѣшительности не имѣетъ никакой.

Сообразить это было нетрудно потому, что рядомъ же съ нимъ росъ и воспитывался старшій братъ Степка-балбесъ, который не жалѣлъ для него ни тумаковъ, ни прозвищъ, ни насмѣшекъ. Но, какъ извѣстно, кромѣ прямыхъ путей, существуютъ многіе косвенные, и одинъ изъ нихъ Іудушка и выбралъ для себя, выбралъ не разумомъ конечно, а какимъ-то чутьемъ, какимъ-то тонкимъ, увѣреннымъ инстинктомъ. Онъ понялъ, что въ жизни выживаютъ приспособленнѣйшіе,—при чемъ подъ этимъ словомъ никакъ нельзя разумѣть умнѣйшихъ и сильнѣйшихъ,—такіе т.-е., которые умѣютъ пользоваться каждымъ благопріятнымъ обстоятельствомъ, горды лишь со слабыми, заискиваютъ въ сильныхъ и т. д. Ложь и лицемѣріе развились въ немъ очень рано. Но это не была ложь Хлестакова, самозабвенная и увлекающаяся, а ложь съ расчетомъ. Главное же—каждымъ своимъ движеніемъ, жестомъ, словомъ, „пѣть похвалу силѣ и презрѣніе къ слабости". Съ такою программой онъ очень скоро почувствовалъ себя на ногахъ.

Главнымъ лицомъ въ домѣ была Арина Петровна, госпожа Головлева, несчастная въ супружеской жизни, нелюбившая своихъ дѣтей, а если и любившая, то какъ-то слишкомъ своеобразно, просто какъ „своихъ", которыхъ ни въ окно не выбросишь, ни на улицу не выкинешь. Махнувши рукой на супруга, она сосредоточила всѣ свои усилія на процессѣ пріобрѣтенія и выказала тутъ поразительные таланты: скупала, округляла, накопляла. Щедринъ любитъ этотъ умъ и не разъ возвращается къ нему: мы встрѣчаемъ его и въ *Непокорномъ Коронатѣ* (кузина Машенька) и въ *Пошехонской старинѣ* (помѣщица). Рядомъ съ широкими операціями шли и мелкія хозяйственныя, всѣ основанныя на скопидомствѣ и жадности. Дворню кормили тухлятиной, дѣтей держали впроголодь. Дѣла Арины Петровны шли блестяще. Женщина властная, она, разумѣется, весь домъ заставляла ходить по стрункѣ, всѣмъ распоряжалась сама, никогда ни съ кѣмъ ни совѣтовалась, никому своихъ замысловъ не довѣряла, отчасти по недовѣрію, отчасти по властолюбію... Іудушка понялъ, что сила *здѣсь*...

„Съ младенческихъ лѣтъ любилъ онъ приласкаться къ милому другу-маменькѣ, украдкой поцѣловать ее въ плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворитъ, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется въ уголокъ, сядетъ и, словно очарованный, не сводитъ глазъ

съ маменьки, покуда она пишетъ или возится со счетами... [1]). Онъ велъ себя съ такимъ расчетомъ, что самая придирчивая подозрительность и та должна признать себя безоружною передъ его кротостью. Даже рискуя надоѣсть матери, онъ постоянно вертѣлся у нея на глазахъ, словно говорилъ: „Смотри на меня! я ничего не утаиваю! я весь—послушливость и преданность и притомъ послушливость не токмо за страхъ, но и за совѣсть". И какъ ни сильно говорила въ матери увѣренность, что Порфишка—подлецъ, только хвостомъ лебезитъ, а глазами все-таки петлю накидываетъ, но, въ виду такой беззавѣтности, и ея сердце не выдерживало. И невольно рука ея искала лучшаго куска на блюдѣ, чтобы передать его ласковому сыну, несмотря на то, что одинъ видъ этого сына поднималъ въ ея сердцѣ смутную тревогу чего-то загадочнаго, недобраго"...

Учился Порфиша-Іудушка неважно, но бралъ благонравіемъ; поступивъ на службу, ревностью не отличался, зато лагонамѣренная его угодливость и готовность къ скоропоспѣшенію такъ бросались въ глаза, что онъ преуспѣвалъ въ чинахъ. Но все же, завися во всемъ отъ начальства милаго друга-маменьки, держалъ себя въ отношеніи и къ ней и ко всѣмъ прочимъ тише воды, ниже травы.

Какъ и слѣдовало ожидать, подвиги свои онъ началъ предательствомъ. Жертвой оказался его единокровный и единоутробный братъ Степка-балбесъ. Когда тотъ, грязный, оборванный, совсѣмъ прокутившійся и прогорѣвшій до-тла во всѣхъ своихъ жизненныхъ начинаніяхъ, съ пріобрѣтенною привычкой пьянства вернулся въ Головлево—мать Арина Петровна отвела ему уголъ, одѣла въ затрапезу и для опредѣленія дальнѣйшей его судьбы вызвала на совѣщаніе младшихъ сыновей. Іудушка далъ совѣтъ такого рода: „оставить его (подсудимаго Степку-балбеса) на томъ же положеніи (т.-е. въ углу и затрапезѣ), какъ и теперь, да и бумагу насчетъ родового наслѣдства отъ него вытребовать"... Не сразу высказался Іудушка. Онъ долго петлялъ, какъ

[1]) Кстати. Мнѣ кажется едва ли выгоднымъ съ точки зрѣнія силы художественнаго впечатлѣнія предсказаніе Порфиши-блаженненькаго, сопровождавшее рожденіе Іудушки. Заключавшееся въ словахъ: „Пѣтушокъ, пѣтушокъ! востеръ ноготокъ! Пѣтухъ кричитъ, насѣдкѣ грозитъ; насѣдка—кудахъ-тахъ-тахъ, да поздно будетъ...",—оно напугало Арину Петровну и, такъ-сказать, авансомъ опредѣлило ея отношенія къ Іудушкѣ въ смыслѣ нѣкотораго суевѣрнаго страха. Іудушка и такъ сумѣлъ бы обойти милаго друга-маменьку... Читателю поэтому не всегда ясно, когда поразительные успѣхи Іудушки надо приписать ему самому, когда „сверхъестественному" вмѣшательству... Въ *Пошехонской старинѣ* есть тоже предсказаніе дурачка при рожденіи Николая Затрапезнаго, но то совершенно невиннаго характера (бабій угодникъ и пр.).

олго таился („смѣю ли я, милый другъ-маменька... ь вы"), а въ рѣшительную минуту нашелъ-таки средство наискорѣйшимъ образомъ ухлопать чело- какой мысли помочь брату, поставить его на ноги— та обокрасть его, но на законнѣйшемъ основаніи, сь предварительно документомъ.

говорилъ, что Іудушка—себѣ-на-умѣ. Чѣмъ больше лъ, тѣмъ больше видѣлъ, что усвоенная имъ система овъ и поведенія прямо превосходна. Его терпѣніе, ка прямо изумительны. Онъ ни словомъ не выдаетъ своихъ тайныхъ замысловъ прибрать къ рукамъ все ство, скопленное непрестанными трудами милаго аменьки. Лицемѣріе, сначала, надо думать, все же ько искусственное, въ концѣ-концовъ стало второю урой, его вторымъ „я". И ни разу, конечно, не задаетъ ебѣ дѣйствительно человѣческаго вопроса: зачѣмъ се это продѣлываетъ. Такой вопросъ принадлежитъ ному человѣку, не рабу, какимъ былъ Іудушка.

всю свою ширь Іудушка развернулся лишь вмѣстѣ... формой. Безцѣнный другъ-маменька совершенно расте- ь при новыхъ порядкахъ и раздѣлила имѣніе свое сыновьями, оставивши себѣ лишь капиталъ. Но пер- ремя она была въ какомъ-то невмѣняемомъ состояніи, италъ быстро очутился въ Іудушкиныхъ рукахъ. И Іудушка былъ на высотѣ своего положенія: онъ не галъ, не грозилъ, не давалъ лживыхъ обѣщаній—онъ о предоставлялъ полную свободу растерявшейся ста- , которая, совершенно забывъ, что имѣніе уже не ея, гляла его съ какимъ-то азартомъ, пользуясь тѣмъ удоб- ь случаемъ, что гг. дворяне „потянули" въ столицу. а же она протранжирила почти все, Іудушка мило и катно выгналъ ее и сталъ, такимъ образомъ, полнымъ иномъ Головлева.

Запершись въ деревнѣ, онъ сразу почувствовалъ себя на свободѣ, нигдѣ, ни въ какой иной сферѣ его наклонности не могли найти себѣ го простора, какъ здѣсь. Въ Головлевѣ онъ ни откуда не встрѣчалъ олько прямого отпора, но даже малѣйшаго косвеннаго ограниченія, рое заставило бы его подумать: вотъ, дескать, и напакостилъ бы, да ей совѣстно. Ничье сужденіе не безпокоило, ничей нескромный взглядъ тревожилъ—слѣдовательно, не было повода и самого себя контролиро- . Безграничная неряшливость сдѣлалась господствующею чертой его ошеній къ самому себѣ. Давнымъ-давно влекла его къ себѣ эта полная

свобода отъ какихъ бы то ни было нравственныхъ ограниченій, и ежели онъ еще раньше не переѣхалъ на житье въ деревню, то единственно потому, что боялся праздности... Какъ только онъ поселился въ деревнѣ, такъ тотчасъ же создалъ себѣ такую массу пустяковъ и мелочей, которую можно было, не переставая, переворачивать, безъ всякаго опасенія когда-нибудь исчерпать ее. Съ утра онъ садился за письменный столъ и принимался за занятія: во-первыхъ, усчитывалъ скотницу, ключницу, приказчика, сперва на одинъ манеръ, потомъ на другой; во-вторыхъ, завелъ очень сложную отчетность, денежную и матеріальную: каждую копейку, каждую вещь заносилъ въ двадцати книгахъ, подводилъ итоги, то терялъ полъ-копейки, то цѣлую копейку лишнюю находилъ. Наконецъ, брался за перо и писалъ жалобы то мировому судьѣ, то посреднику. Густая атмосфера невѣжественности, предразсудковъ и кропотливаго переливанія изъ пустого въ порожнее царила вокругъ него, и онъ не ощущалъ ни малѣйшаго желанія освободиться отъ нея".

Да и что сталъ бы дѣлать Іудушка со своею свободой? А тутъ все устроилось такъ мило и хорошо! Дѣвица Евпраксеюшка, взятая въ домъ и щеголявшая ситцевыми платьями, „отличалась спиной такихъ невообразимыхъ размѣровъ, что каждому хотѣлось дать по ней „раза"; учетъ рыжиковъ, огурцовъ, яблоковъ и прочей дряни поглощалъ столько времени, что некогда было предаваться вредной праздности, а главное—дѣла Іудушки процвѣтали. Послѣ смерти братца Павла имѣніе послѣдняго также перешло къ нему, и теперь головлевскія десятины тянулись на невообразимое пространство. Сама маменька Арина Петровна раскаялась и стала наѣзжать въ Головлево, гдѣ и проживала мѣсяцы, играя въ дураки съ Іудушкой и дѣвицею Евпраксеюшкой. „Іудушка могъ быть доволенъ, все улыбалось ему. Давно уже для своего лицемѣрія, къ которому теперь присоединилось ханжество, Іудушка нашелъ маску, и теперь онъ носилъ эту маску съ сознаніемъ полнаго своего достоинства. Маска эта была *слова*. Іудушка могъ говорить долго, безконечно долго, говорить о чемъ угодно, о томъ, что огурцы бываютъ разные: и большіе и малые, и московскіе и ростовскіе, и свѣжіе и соленые, и сырые и свѣжепросольные—и о нравственности, потомъ, что есть люди, которые въ Бога не вѣруютъ,—словомъ, обо всемъ. Это безпутное, мертвое слово не разъ сослужило Іудушкѣ хорошую службу. Оно помогало ему защищаться, оно помогало ему и нападать, закутывая въ то же время свою сокровенную мысль непроглядною тучей фразъ. Это „слово", уснащенное выраженіями „Богъ", „семья", „нравственность", „законъ", и пугало собесѣдника и позволяло

душкѣ, который всегда съ особеннымъ удовольствіемъ выслушивался къ самому себѣ, считать себя образцовымъ семьяниномъ, опорой добродѣтели, человѣкомъ вѣры, закона, порядка. Слушатели гипнотизировались; они подчинялись невольно, какъ „зачарованные", этому слову непутевому и безсвязному и молили лишь объ одномъ, чтобы Іудушка пересталъ мучить ихъ, потому что они чувствовали, какъ непутевое и безсвязное слово, тягучее и мѣрное, точно вода капля за каплей ударяло объ ихъ мозгъ, лишая силъ хотѣть, бороться, проклинать. Да, все улыбалось Іудушкѣ, и онъ былъ доволенъ. Маска лицемѣрія и ханжества перешла на его одежду,—теперь всегда черную съ ногъ до головы,—на его жесты, ставшіе жестами духовной особы,—на его голосъ, голосъ постника и смиренника. И онъ благословлялъ судьбу свою. Только вотъ дѣти! Ужъ онъ ли ни холилъ и ни лелѣялъ ихъ, не далъ ли онъ имъ посильнаго образованія, не выдавалъ ли ежемѣсячно необходимыя суммы, а также кое-что живностью, полагая оставить послѣ себя двухъ такихъ же Іудушекъ. И неблагодарные! Не оцѣнили они отцовскихъ заботъ. Старшій, Володя, хотя и съ папенькинаго благословенія, но безъ папенькинаго разрѣшенія, женился и, лишенный изъ дому всякой поддержки и помощи, кончилъ жизнь самоубійствомъ, послѣ безполезной борьбы съ нищетой. Напрасно писалъ онъ отцу, умоляя о помощи: Іудушка оставался глухъ и нѣмъ, такъ какъ дѣйствовалъ на законномъ основаніи. Когда впослѣдствіи его упрекнули въ смерти сына, говоря, что онъ позволилъ ему жениться, онъ хладнокровно и казуистически отвѣчалъ: „Никогда я не позволялъ! Онъ мнѣ въ то время написалъ: „хочу, папа, жениться на Лидочкѣ". Понимаешь: „хочу", а не прошу позволенія. Ну, я ему и отвѣтилъ: „*коли хочешь* жениться, такъ женись, я препятствовать не могу". Я что сказалъ? Я сказалъ: не могу препятствовать—только и всего. А позволю, или не позволю—это другой вопросъ. Онъ у меня позволенія не просилъ; онъ прямо написалъ: „*хочу*, папа, жениться на Лидочкѣ"—ну, и я насчетъ позволенія умолчалъ. Хочешь жениться—ну и Христосъ съ тобой! женись, мой другъ, хоть на Лидочкѣ, хоть на разлидочкѣ—я препятствовать не могу"... И тянетъ Іудушка, долго еще тянетъ свою казуистическую канитель, и нѣтъ въ этой канители ни одного человѣческаго слова, нѣтъ капли состраданія къ погибшему сыну, нѣтъ ни укола

совѣсти. Подьяческій умъ усыпилъ всякія угрызенія, и Іудушка попрежнему доволенъ собой. Онъ остается довольнымъ и послѣ гибели своего второго сына, Петеньки, напрасно просившаго его уплатить растраченныя имъ казенныя деньги. Петеньку сослали въ дальнюю губернію, и онъ умеръ по дорогѣ. Іудушка отслужилъ панихидочку и забылъ, что у него когда-нибудь были дѣти. Вмѣстѣ съ ними исчезли послѣдніе обрывки нравственныхъ обязательствъ къ жизни, и ничто уже, казалось, не должно было нарушить покоя этого отупѣвшаго самодовольнаго духа...

Нуженъ былъ весь огромный талантъ Щедрина, чтобы, какъ скоро увидимъ, сдѣлать изъ Іудушки трагическую фигуру, заставить совѣсть заговорить въ этомъ рабѣ, и въ мукахъ и въ рыданіяхъ броситься на землю корчащимся въ безсильныхъ попыткахъ уйти куда-нибудь отъ самого себя.

IV.

Премудрые пескари, самоотверженные зайцы, гордыя помѣщицы, какъ Арина Петровна, Іудушка—все это не люди, способные воспринять „истину, добро и красоту“ жизни, а лишь полъ-человѣка, четверть человѣка, вообще какія-то дроби людей. Одни запуганы, какъ премудрый пескарь, и страхъ выѣлъ ихъ душу; у другихъ холопство стало второю натурой и преобразилось въ беззавѣтную преданность; у третьихъ умерло все, кромѣ злобной наклонности къ пакостничеству и негодяйству. „Господи, да куда же настоящіе-то люди попрятались?“—съ ужасомъ спрашиваетъ себя художникъ и снова беретъ въ руки свой діогеновскій фонарь и днемъ съ огнемъ ищетъ человѣка. Но кукольныхъ дѣлъ мастеръ Изувѣровъ объясняетъ ему, что человѣка нѣтъ. „Взглянешь,—говоритъ онъ,—кругомъ—все-то *куклы!* вездѣ-то куклы! Не есть конца этимъ кукламъ! Мучатъ! тиранятъ! въ отчаянность, преступленіе вводятъ! Вѣрите ли, иногда думается: Господи! кабы не куклы, вѣдь, десятой бы доли злыхъ дѣлъ не было противъ того, что теперь есть“. Особенно странно, что куклы сами-по-себѣ совсѣмъ даже не жестоки, а просто, „ума у нихъ нѣтъ, поступковъ нѣтъ, желаній нѣтъ, а на мѣсто всего—одна видимость“. Смотришь на нихъ, „и возьметъ тебя страхъ. *Того гляди—зарѣжутъ*“. И,

онечно, зарѣжутъ, потому что у куклы нѣтъ души, которая становила бы необходимый для зарѣзанія жестъ.

„Настоящій человѣкъ—онъ впередъ глядитъ. Онъ и боль всякую наетъ, и огорченіе понять можетъ, и страхъ имѣетъ. Осмотрительность въ емъ есть. А у куклы ни страху, ни боли—ничего. Живетъ, какъ забвенная; ни у ней горя, ни радости настоящей, живетъ да душу изнимаетъ, и абашь! Вотъ хотя бы эта самая госпожа Строптивцева, которую сейчасъ зволили видѣть,—хоть распотроши ее, ничего въ ней, окромя тряпки и рочаго кукольнаго естества, найти нельзя. А сколько она съ помощью той тряпки злодѣяніевъ надѣлаетъ, такъ, кажется, всю жизнь ее судить, акъ и еще на цѣлую такую же жизнь останется. Такъ вотъ, какъ разудишь это порядкомъ—и смиришься-съ. Лучше, молъ, я къ своимъ деревяннымъ людишкамъ уйду, чѣмъ съ живыми куклами пропадать буду“.

Въ тоску привелъ Изувѣровъ Щедрина, показывая ему своихъ деревянныхъ людишекъ: слишкомъ близки они къ жизни, чтобы отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что настоящая фабрика ихъ тамъ, въ этой путаной сѣти человѣческихъ отношеній, себялюбивыхъ и недовѣрчивыхъ, гдѣ человѣкъ человѣку врагъ, гдѣ гибель одного вызываетъ торжество другого, а торжество другого—зависть третьяго и желаніе видѣть гибель удачника, и онъ, художникъ, спрашиваетъ себя:

„Но, можетъ-быть, жизнь ужъ и созидаетъ такихъ людишекъ? Можетъ-быть, въ тѣхъ безчисленныхъ принудительныхъ сферахъ, которыя со всѣхъ сторонъ сторожатъ человѣка, совсѣмъ не въ рѣдкость тѣ потрясающія „кукольныя комедіи“, въ которыхъ живая кукла попираетъ своей пятой живого человѣка? Можетъ-быть, Изувѣровъ является совсѣмъ не изобрѣтателемъ, а только блѣднымъ копіистомъ того, что уже давно изобрѣтено жизнью?

Кто возьметъ на себя смѣлость утверждать, что это не такъ? И кто не согласится, что изъ всѣхъ тайнъ, раскрытіе которыхъ наиболѣе интересуетъ человѣческое существованіе, „тайна куклы“ есть самая существенная, самая захватывающая?“

Куклы—порожденіе столько же до- сколько и по-реформеннаго времени, когда процессъ обездушиванія человѣка происходитъ не сразу, а постепенно и систематически, путемъ непрестаннаго воздѣйствія мелочей жизни. Въ добрые старые дни обрядъ оглушенія производился болѣе энергично, сразу: самый фактъ рожденія въ курной избѣ или барскихъ хоромахъ предопредѣлялъ судьбу человѣка отъ колыбели до могилы. Кромѣ того, въ распоряженіи бурмистровъ и другихъ начальствующихъ лицъ находились сильно-дѣйствующія „heroica“, быстро приводившія къ общему знаменателю забывшагося человѣка. *Экономическая*

зависимость—тоже рабство, но дѣйствуетъ она не казацкими набѣгами, не неожиданными натисками, а гораздо деликатнѣе, хотя результаты въ концѣ-концовъ тѣ же самые, да и жизнь, въ сущности говоря, та же самая—проходящая въ вѣчномъ страхѣ передъ завтрашнимъ днемъ, въ вѣчномъ трепетѣ за свое существованіе.

Супруги Черезовы—идеальные и покорные „экономическіе рабы". По разсказу Щедрина, „оба молоды и оба безъ-устали работаютъ".

„Женились они всего три мѣсяца назадъ и только брачный день позволили себѣ провести праздно. Сватовство было недолгое. Семенъ Александровичъ въ первый разъ увидѣлъ Надежду Владимировну въ конторѣ, гдѣ она работала и куда онъ заходилъ за справкой. Затѣмъ разъ пять имъ пришлось сидѣть рядомъ за общимъ столомъ въ кухмистерской. Разговорились; оказалось, что оба работаютъ, оба одиноки, знакомыхъ не имѣютъ, кромѣ тѣхъ, которыхъ встрѣчаютъ за общимъ трудомъ, и оба до того втянулись въ эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознаніе, живутъ ли они, или нѣтъ".

Трудъ не давалъ ни радости, ни наслажденія; онъ былъ игомъ, но игомъ настолько привычнымъ, что безъ него Черезовы чувствовали себя какъ-то неловко. Говорятъ (и это уже фактъ большихъ размѣровъ), что и чиновники, долго и аккуратно прослужившіе на одномъ мѣстѣ, умираютъ, какъ только имъ приходится подать въ отставку.

Итакъ—оба Черезовы молоды и оба безъ-устали работаютъ... но...

„Страхъ передъ завтрашнимъ днемъ ни на минуту не оставлялъ ихъ. Оба принадлежали къ тому типу обыкновенныхъ смирныхъ людей, которые инстинктивно стремятся къ одной цѣли: самосохраненію. Можетъ-быть, при другихъ обстоятельствахъ, при иной школѣ, сердца ихъ раскрылись бы и для иныхъ идеаловъ, но трудъ безъ содержанія, трудъ, направленный исключительно къ цѣлямъ самосохраненія, окончательно заглушилъ въ нихъ всякіе зачатки высшихъ стремленій. Они не сознавали даже, что этотъ трудъ, который доставляетъ имъ дневной коштъ, въ то же время мало-по-малу убиваетъ ихъ и навсегда лишаетъ возможности различать добро отъ зла. Не вникая въ содержаніе труда, они цѣнили его лишь съ точки зрѣнія оплаты и охотно брались за всякую работу, лишь бы она была оплачена. Постыднаго они, правда, не дѣлали, но кто же и поручитъ имъ что-нибудь постыдное? Для постыднаго и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могутъ и полѣзть, и вылѣзть, и сухими изъ воды выйти—куда же имъ съ ихъ простотой! вѣдь, имъ и на умъ ничего постыднаго не придетъ! Это, просто, не жившіе, но уже измученные жизнью люди—и только. Бояться и трепетать—вотъ ихъ дѣло. Всѣ разговоры ихъ ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецѣло сосредоточились въ испугѣ, и никакія вліянія, ни внѣшнія

я внутреннія, не могутъ внести иные элементы въ ихъ скудное существованіе. Нѣтъ этихъ вліяній и неоткуда имъ прійти; трудъ для труда, трудъ, падающій въ какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубилъ всякую воспріимчивость, всякій зачатокъ самодѣятельности".

Сойдутся они вмѣстѣ, и нѣтъ у нихъ другихъ разговоровъ, кромѣ: „боюсь я!", „ахъ, боюсь я!", „и я боюсь..." Предстоявшее появленіе на свѣтъ первенца напугало ихъ до холоднаго пота, но устроилось дѣло какъ-то проще, чѣмъ думали Черезовы, и ожидаемый первенецъ увидѣлъ свѣтъ. Черезовы, къ великому своему изумленію, *продолжали жить*, и это было все, что нужно. Но какъ-то вдругъ,—потому что все существованіе висѣло на волоскѣ,—удача измѣнила: самъ Черезовъ, возвращаясь какъ-то домой подъ проливнымъ дождемъ, простудился и къ вечеру былъ какъ въ огнѣ.

„Тѣло становилось все горячѣе и горячѣе, губы запеклись, языкъ высохъ и бормоталъ какія-то несвязныя слова. По временамъ онъ выбивался изъ-подъ одѣяла и пылающею рукою искалъ руки жены. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось въ настоящій бредъ. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымученнаго просвѣтленія. Очевидно, въ его головѣ носились терзающія воспоминанія. *Что я дѣлалъ, зачѣмъ жилъ?*—стоналъ онъ и затѣмъ, обращаясь къ женѣ, повторялъ: *что мы дѣлали, зачѣмъ жили?* Къ утру его не стало; умирая, онъ сказалъ женѣ: „Надя! Тебѣ будетъ трудно... Не справиться. И сама ты, да еще сынъ на рукахъ". *Ахъ, зачѣмъ, зачѣмъ была дана эта жизнь? Надя! Вѣдь, мы на каторгѣ были и называли это жизнью и даже не понимали, изъ чего мы бьемся, что дѣлаемъ; ничего мы не понимали*".

„Человѣческая жизнь", скомканная и урѣзанная, пренебрегаемая постоянно и ежемгновенно пригнутая къ землѣ страхами борьбы за существованіе, жестоко отмстила за себя: въ послѣднюю минуту рабъ произнесъ свой собственный приговоръ, несомнѣнно, болѣе суровый, чѣмъ можетъ произнести ему кто-нибудь другой!

Черезовы—жертва мелочей жизни. „Ахъ, эти мелочи!"—восклицаетъ Щедринъ.

„Какъ чесоточный зудень впиваются онѣ въ организмъ человѣка и точатъ и жгутъ его. Сколько всевозможныхъ „союзовъ" опутало человѣка со всѣхъ сторонъ; сколько каждый индивидуумъ ухитряется придумать лично для себя всякихъ стѣсненій. И всему этому—и пришедшему извнѣ, и придуманному изнутри ради удовлетворенія личной мнительности—онъ обязанъ послужить, т.-е. отдать всю свою жизнь. Нѣтъ мѣста для работы здоровой мысли, нѣтъ свободной минуты для плодотворнаго труда! Мелочи, мелочи, мелочи—заполонили всю жизнь... Возьмемъ для примѣра хоть страхъ завтрашняго дня. Сколько постыднаго заключается въ этой трехъ-словной мелочи! Какимъ образомъ она могла въѣсться въ существованіе человѣка, существа, по преимуществу, предусмотрительнаго, обладающаго зиждитель-

ною силою? Что придавило его? Что заставило такъ безусловно подчиниться простой и постыдной мелочи?",

создающей одну изъ самыхъ скверныхъ формъ духовнаго рабства, отравляющей всѣ радости, населяя будущее призраками нищеты, страданія, голода, оброшенности. Это мелочь не такая же, какъ Наполеонъ III, которая сидитъ на престолѣ всѣхъ другихъ мелочей. Это мелочь жестокая, неумолимая, опутывающая всѣ помыслы, всѣ душевныя движенія человѣка, заставляющая его привыкать къ равнодушному, холодному взгляду на страданія даже близкихъ людей. И вдругъ просыпается душа, и среди окутавшей все существо человѣческое тьмы мелочей властно и неумолимо раздается ея голосъ: „Что ты дѣлалъ? зачѣмъ жилъ?.." Много ухищреній изобрѣтено человѣкомъ, чтобы не слышать этого призыва къ покаянію и раскаянію, но все же, рано или поздно, долженъ наступить этотъ странный моментъ, и „человѣческое" предъявитъ свои права.

V.

На этой простой мысли Щедринъ строилъ свои драмы.

Мы видѣли, какъ умиралъ Черезовъ. Въ его предсмертныхъ стонахъ слышенъ неподкупный голосъ совѣсти—этой, по мнѣнію нашего сатирика, основы истинно-человѣческаго бытія. Совѣсти есть за что упрекать и казнить. Правда, Черезовъ не сдѣлалъ ничего прямо дурного, не обижалъ ни вдовъ ни сиротъ, не грабилъ, не предательствовалъ, но въ то же время и не сдѣлалъ ничего положительнаго, добраго даже для самого себя. Трудъ былъ игомъ его жизни, и онъ несъ это иго покорно, хотя и съ трепетомъ въ сердцѣ, съ глазами, не выражающими, какъ и у вола, ничего, кромѣ физической устали. И за то, что онъ считалъ эту каторгу истинно-человѣческой жизнью, за то, что онъ сотворилъ себѣ фетиша и кумира изъ завтрашняго дня и только въ страхѣ передъ нимъ черпалъ свою энергію и свои силы—совѣсть осудила его. Она осудитъ въ какой-нибудь мучительный часъ раздумья и Надежду Владимировну Черезову и всю эту черезовщину вообще, потому что здѣсь заботы и мелочи крохоборнаго существованія совершенно заслонили собою и даже поглотили человѣческую цѣль человѣческой жизни.

чень можетъ быть, что не избѣгнетъ укоровъ и „хозяйственный мужикъ", заканчивая характеристику котораго, Щедринъ грустно говоритъ: „Да, это былъ дѣйствительно честный и разумный мужикъ. Онъ достигъ своей цѣли: довелъ свой домъ до полной чаши. Но спрашивается: съ какой стороны подойти къ этому разумному мужику? *Какимъ образомъ увѣрить его, что не о хлѣбѣ единомъ живъ бываетъ человѣкъ?..*" Казалось бы, тутъ, по крайней мѣрѣ, все хорошо—и трезвость, и вѣчныя заботы о хозяйствѣ и въ то же время полное отсутствіе міроѣднаго духа. Но Щедринъ недоволенъ, потому что онъ противъ фетишизма труда и довольства, какъ вообще противъ всѣхъ заѣдающихъ душу мелочей жизни. Неужели въ этомъ кто-нибудь откажется увидѣть дѣйствительное служеніе традиціи сороковыхъ годовъ, ихъ абсолютной нравственности, ихъ безусловнымъ требованіямъ, чтобы жизнь человѣка была воплощеніемъ не заботъ о завтрашнемъ днѣ и довольствѣ, не механическаго труда, а „добра, красоты, истины"? Хозяйственный мужикъ также не-по-душѣ Щедрину, какъ не-по-душѣ ему всякій рабъ, какого бы господина, кромѣ своей совѣсти и любви къ ближнему, ни избралъ онъ.

Одною изъ величайшихъ во всемірной литературѣ картинъ, въ которыхъ совѣсть является во всемъ своемъ грозномъ могуществѣ и повергаетъ человѣка въ холодный ужасъ отчаянія,—надо считать раскаяніе Іудушки Головлева. И ничто не мѣшаетъ силѣ впечатлѣнія,— ни то, что Іудушка былъ негодяй и пакостникъ, ни то, что онъ совершалъ предательство за предательствомъ, ни даже графинъ съ водкой, не сходившій со стола у Іудушки въ послѣдніе дни его земного существованія: въ Іудушкѣ проснулось что-то человѣческое, и читатель разстается съ нимъ почти примиренный. Человѣческое проснулось при странныхъ обстоятельствахъ: Іудушка остался совершенно одинъ. Родные—отецъ, мать, братья—умерли; дѣти также; дѣвица духовнаго званія Евпраскеюшка, послѣ того какъ Іудушка отнялъ у нея сына и даже неизвѣстно что сдѣлалъ съ нимъ,—пустилась во всѣ тяжкія; прислуга молчала какъ убитая... Все молчало, замолчалъ и Іудушка.

„И вдругъ *ужасная правда освѣтила его совѣсть*, но освѣтила поздно, безъ пользы, уже тогда, когда передъ глазами стоялъ лишь безповоротный и непоправимый фактъ. Вотъ онъ состарѣлся, одичалъ, одною ногой въ могилѣ стоитъ, а нѣтъ

на свѣтѣ существа, которое приблизилось бы къ нему, „пожалѣло“ бы его. Зачѣмъ онъ одинъ? зачѣмъ видитъ кругомъ не только равнодушіе, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось къ нему,—все погибло? Вотъ тутъ, въ этомъ самомъ Головлевѣ, было когда-то цѣлое человѣчье гнѣздо—какимъ образомъ случилось, что и пера не осталось отъ этого гнѣзда? Изъ всѣхъ выпестованныхъ въ немъ птенцовъ уцѣлѣла только племянница, но и та явилась, чтобы надругаться надъ нимъ и доканать его. Даже Евпраксеюшка—ужъ на что простодушна—и та ненавидитъ. Она живетъ въ Головлевѣ, потому что отцу ея, понамарю, ежемѣсячно посылается отсюда домашній запасъ, но живетъ, несомнѣнно ненавидя. И ей онъ, Іуда, нанесъ тягчайшее увѣчье, и у нея онъ сумѣлъ отнять свѣтъ жизни, отнявъ сына и бросивъ его въ какую-то безыменную яму. *Къ чему привела вся его жизнь? зачѣмъ онъ лгалъ, пустословилъ, притѣснялъ, скопидомствовалъ?* Даже съ матеріальной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія „наслѣдства“—кто воспользуется результатами этой жизни? Кто?

Повторяю: *совѣсть проснулась*, но безплодно. Іудушка стоналъ, злился, метался и съ лихорадочнымъ озлобленіемъ ждалъ вечера не для того только, чтобы безцѣльно упиться, а для того, чтобъ утопить въ винѣ совѣсть. Онъ ненавидѣлъ „распутную дѣвку“, которая съ такою холодною наглостью бередила его язвы, и въ то же время неудержимо влекся къ ней, какъ-будто еще не все между ними было высказано, а *оставались еще и еще язвы, которыя тоже необходимо было растрогать*. Каждый вечеръ онъ заставлялъ Анниньку повторять разсказъ о любинькиной смерти, и каждый вечеръ въ умѣ его больше созрѣвала идея о саморазрушеніи. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но по мѣрѣ того какъ процессъ умершей выяснился, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконецъ, сдѣлалась единственною свѣтящеюся точкой во мглѣ будущаго.

Однимъ словомъ, съ какой стороны ни подойди, всѣ расчеты съ жизнью покончены. Жить и мучительно и ненужно; всего нужнѣе было бы умереть, но бѣда въ томъ, что смерть не идетъ. Есть что-то измѣнически-подлое въ этомъ озорливомъ замедленіи умиранія, когда смерть призывается всѣми силами души, а она только обольщаетъ и дразнитъ...

Но эти ужасныя муки привели, наконецъ, къ сознанію истины. Іудушка понялъ, какъ много виноватъ онъ передъ

погибшими. „А, вѣдь, я передъ покойницей маменькой... вѣдь, я ее замучилъ... я!“—бродило между тѣмъ въ его мысляхъ, и жажда проститься съ каждою минутой сильнѣе и сильнѣе забиралась въ его сердце. Но „проститься не такъ, какъ обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть въ смертельной агоніи“...

Съ неотразимою силой и настойчивостью осадили его эти мысли въ четвергъ, на Страстной недѣлѣ, послѣ того какъ онъ выслушалъ двѣнадцать евангелій. „Ахъ, какія это были страданія!—твердилъ онъ.—Вѣдь, только этакими страданіями и можно... И простилъ! всѣхъ навсегда простилъ...“ „Всѣхъ простилъ,—продолжалъ онъ,—не только тѣхъ, которые *тогда* напоили его оцтомъ съ желчью, но и тѣхъ, которые и послѣ, вотъ и теперь и впредь, вовѣки вѣковъ будутъ подносить къ его губамъ оцтъ, смѣшанный съ желчью... Ужасно! ахъ, это ужасно!“ И вдругъ, остановившись передъ племянницей, онъ спросилъ: „А ты... простила?“ Вмѣсто отвѣта, та бросилась къ нему и крѣпко его обняла. „Надо меня простить,—продолжалъ Іудушка,—за всѣхъ... И за себя... и за тѣхъ, которыхъ уже нѣтъ... Что такое? что такое сдѣлалось?!—почти растерянно восклицалъ онъ, озираясь кругомъ:—гдѣ... *всѣ*?..“

Ночью безумная мысль сейчасъ же итти на могилу матери и вымолить у нея прощеніе овладѣла имъ. Онъ выполнилъ ее, а утромъ его окоченѣвшій трупъ нашли невдалекѣ отъ погоста.

Такъ—почти самоубійствомъ покончилъ Іуда Головлевъ, которому въ жизни удавалось все, что онъ ни замышлялъ,—умеръ послѣ тяжелыхъ физическихъ мукъ, истерзанный совѣстью, одинокій и брошенный, но все же почуявшій, что есть какая-то другая человѣческая жизнь, съ другимъ концомъ, въ другой обстановкѣ, безъ призраковъ, грозящихъ изъ могилы и упрекающихъ оттуда. Если онъ и не застрадалъ всѣхъ своихъ грѣховъ и предательствъ, то все же мы разстаемся съ нимъ, какъ и самъ Салтыковъ, безъ всякаго чувства раздраженія и злобы, разстаемся успокоенные насчетъ судьбы человѣчнаго въ человѣкѣ: рано или поздно, но оно долженъ восторжествовать, ибо на стражѣ его стоитъ совѣсть.

Подъ геніальнымъ перомъ художника драма общественная превратилась въ драму чисто-психологическую. Чисто-обще-

ственная драма могла разрѣшиться иначе, напр., полнымъ торжествомъ Іудушки, и „совѣсть“ могла бы совершенно не вмѣшиваться въ нее. Но для психологической драмы нуженъ былъ другой конецъ, нужно было показать, все ли человѣческое убито въ Іудушкѣ его рабьимъ духомъ, его ложью и лицемѣріемъ—этимъ главнымъ его орудіемъ въ борьбѣ за существованіе—или нѣтъ? Пусть Іудушка всю свою жизнь преуспѣвалъ предательствомъ и былъ гордъ чисто-инстинктивнымъ сознаніемъ, что ничто человѣческое не возмутитъ уже его сердца: это человѣческое все же таилось гдѣ-то въ глубинѣ и вышло наружу требовательное и грозящее. Подточенный, загрязненный, полуизгнившій духъ не выдержалъ ни упрековъ совѣсти, ни призыва къ возрожденію: было уже слишкомъ поздно. Но для нашего примиренія съ человѣкомъ вопросъ о поздно и рано не играетъ никакой роли.

Щедринъ вѣрилъ въ человѣка, вѣрилъ въ то, что въ основѣ нашей жизни и нашей природы лежатъ всемогущія нравственныя силы, совершенно устранить которыя изъ своего бытія человѣкъ не въ состояніи. Только давая просторъ этимъ именно силамъ, не заслоняя ихъ ни мелочами, ни ложью, можно разсчитывать на истинное счастье. Иначе вся жизнь окажется не только суетой суетъ, но и грѣхомъ. Правда, иначе грѣшитъ покорный рабъ Черезовъ, чѣмъ злодѣй Іудушка; иначе губитъ людей бездушная кукла, чѣмъ кровожадный волкъ, но и здѣсь и тамъ все грѣхъ, грѣхъ и грѣхъ.

Это точка зрѣнія моралиста? Да конечно, и *какъ художникъ*, Щедринъ обыкновенно стоялъ на ней. Мало того, онъ былъ проникнутъ ею и постигалъ ее во всей ея глубинѣ. Высшимъ верховнымъ судьей человѣка онъ признавалъ его собственную совѣсть, которая надъ собой не знаетъ уже никакого судьи. Ей отмщеніе и она воздастъ... а мы можемъ только вѣрить въ необходимое торжество этого верховнаго начала. Только *поэтому* Щедринъ примирилъ насъ съ Іудушкой и съ кровожаднымъ волкомъ, который, замученный совѣстью, самъ, учуявъ облаву, спокойно вышелъ навстрѣчу охотникамъ, со словами: „Вотъ она смерть-избавительница!“ И кто же броситъ камнемъ въ лежащій невдалекѣ отъ погоста холодный трупъ Іудушки или въ этого волка, почти героя? „Будьте людьми, не давайте мелочамъ жизни заполонить духа своего, не давайте злодѣйству загрянить его!“— вотъ завѣтъ Щедрина.

Но въ то же время Щедринъ никогда не позволялъ себѣ влекаться исключительно нравственною точкой зрѣнія, какъ, напр., гр. Толстой. „Имя рекъ,—разсказываетъ онъ про себя,—вообще не признавалъ *ни виновности, ни невиновности, а видѣлъ только извѣстнымъ образомъ сложившееся положеніе вещей*". Выходитъ даже какъ-будто нѣкоторое противорѣчіе, но это какъ разъ одно изъ тѣхъ противорѣчій, въ которыхъ до сихъ поръ безсильно бились и метались самые могучіе умы человѣчества. На самомъ дѣлѣ, если нѣтъ ни виновности, ни невиновности, то не должно быть ни нравственнаго суда, ни нравственной отвѣтственности. Мой отвѣтъ, въ такомъ случаѣ, на всѣ упреки совѣсти будетъ кратокъ: „О совѣсть, скажу я, терзать меня нѣтъ рѣшительно никакого основанія, такъ какъ я только извѣстнымъ образомъ сложившееся положеніе вещей"... Но я не думаю, чтобы Щедринъ принималъ и эту мысль во всемъ ея ригоризмѣ.

Мнѣ придется еще основательно вернуться къ этому вопросу—несомнѣнно труднѣйшему изъ всѣхъ вопросовъ этики и философіи исторіи, пока же замѣчу, что онъ не представляется мнѣ совершенно неразрѣшимымъ; не надо только искать рѣшенія безусловнаго, разуму человѣческому недоступнаго: въ дѣлахъ практики и поведенія и относительные отвѣты играютъ огромную роль.

Какъ бы то ни было, нравственный критеріумъ Щедрина и его нравственно-общественный идеалъ очевидны и совершенно исчерпываются словами „человѣкъ" и „человѣческіе". Въ этихъ словахъ для него заключалась разгадка жизни и звучало что-то святое. Онъ какъ-будто впиталъ въ себя знаменитый афоризмъ Новолиса: „Помни, что когда ты дотрогиваешься до рукъ человѣка, ты касаешься колоннъ храма, въ которомъ обитаетъ божество". И когда онъ видѣлъ этотъ храмъ, это человѣческое сердце загрязненнымъ и униженнымъ, онъ тосковалъ и мучился, и его воображеніе создавало трагическія картины неподкупнаго и грознаго суда совѣсти.

Евг. Соловьевъ.

Значительный ли писатель Салтыковъ? [1])

*) У меня есть другъ, по профессіи не имѣющій ничего общаго съ литературою и, тѣмъ не менѣе, ей глубоко преданный. Эта преданность выражается горячностью, съ какою онъ споритъ о литературныхъ вопросахъ, и въ интересѣ, съ какимъ онъ слѣдитъ за всѣми литературными явленіями. Онъ—простой читатель, но читатель жадный, неутомимый. Кромѣ того, онъ отличается большою парадоксальностью ума, и такъ какъ у него діалектическія способности незаурядныя, то, во всякомъ случаѣ, бесѣда съ

---

[1]) Литер. прилож. журн. „Нивы", 1899 г., № 5.

*) Статья эта принадлежитъ редактору „Нивы" (съ 1897 г.). Ростиславу Ивановичу Сементковскому. Р. И. окончилъ Спб. университ. по юридическому факультету и былъ оставленъ при немъ по каѳедрѣ, ничего не имѣющей общаго съ наукой, а представляющей собою какой-то пестрый, нестройный конгломератъ, т.-е. по каѳедрѣ полицейскаго права. Съ 1873 г. г. Сементковскій посвящаетъ исключительно свои силы публицистической дѣятельности въ „Новомъ Времени" (редак. Трубникова), „Финансов. Обозрѣніи", „Новостяхъ", „Телеграфѣ" и „Биржевой Газетѣ". Въ 90-хъ годахъ Р. И. дѣятельно работаетъ въ „Историч. Вѣстн.", „Нивѣ", „Русской Мысли", „Наблюдателѣ", „Вопросахъ философіи и психологіи". Р. И. не останавливается, какъ публицистъ, на какой-либо опредѣленной группѣ вопросовъ, а откликается чуть ли не на каждое явленіе жизни, науки, литературы. Въ числѣ его статей и отдѣльныхъ изданій мы встрѣчаемъ работы и по вопросамъ художественной литературы, и по философіи, и по эстетикѣ, и по психологіи, политической экономіи, государственному праву, внѣшней политики, финансовому праву, исторіи и т. д. Наконецъ, г. Сементковскому принадлежитъ нѣсколько беллетристическихъ произведеній. Р. И. сторонникъ „золотой середины". Не раздѣляя ретроградного мракобѣсія писателей Катковскаго толка, онъ въ то же время не примыкаетъ и къ нашей лѣвой, поскольку она сорганизовалась вокругъ реформъ и освободительныхъ идей 60-хъ годовъ. Полагая, что для Россіи нужны „маленькія дѣла" и возможны только лишь маленькіе шажки въ поступательномъ движеніи, Р. И. скептически относится къ широкимъ реформамъ. *Прим. Н. Денисюка.*

нимъ поучительна: она заставляетъ призадумываться надъ такими литературными явленіями, которыя проходятъ иногда незамѣченными, а между тѣмъ, заслуживаютъ вниманія.

Сегодня онъ ворвался ко мнѣ въ особенно возбужденномъ состояніи.

— Нѣтъ, это возмутительно,—заговорилъ онъ, вмѣсто всякаго привѣтствія.—Читалъ-читалъ все утро: книги, журналы, газеты, и хоть бы одна живая мысль. Говорятъ, что расходованіе бумаги можетъ считаться признакомъ культуры, что чѣмъ болѣе народъ расходуетъ бумаги, тѣмъ онъ культурнѣе, подобно тому, какъ о степени культурности народа можно судить по количеству расходуемаго имъ мыла. Не согласенъ, рѣшительно протестую...

— То-есть какъ же?—пытался я возразить.—Вѣдь, вотъ дикіе народы вовсе не употребляютъ бумаги, а у культурныхъ народовъ расходуется, по новѣйшимъ статистическимъ даннымъ, на однѣ газеты 12 мильярдовъ листовъ ежегодно; а журналы, книги, корреспонденція всякаго рода—частная, казенная и пр.?

— Ну, дикіе народы особая статья, и не о нихъ я говорю. Сравнивать слѣдуетъ только однородное, въ нашемъ случаѣ культурные народы между собою. Вотъ я утверждаю, что прогрессъ будетъ заключаться въ сокращеніи количества расходуемой бумаги, т.-е. что люди не будутъ изводить бумагу такъ безбожно, какъ теперь. Культурные народы переживаютъ переходное время. Всякій, кто научился писать, безсмысленно изводитъ бумагу. Одни пишутъ ненужное, другіе печатаютъ ненужное, третьи читаютъ ненужное. Возьми малоинтеллигентнаго человѣка. Сколько у него ненужныхъ словъ и ненужныхъ рѣчей! Если онъ научился писать, то онъ заноситъ многое на бумагу. Если взять высококультурнаго человѣка, то, предполагая, конечно, одинаковый темпераментъ, мы убѣдимся, что онъ скупъ на слова, говоритъ только дѣло, а какая-нибудь полуинтеллигентная барыня готова по поводу пустяка такъ раскрыть шлюзы своего краснорѣчія, что и конца ему не предвидится.

— Однако,—возразилъ я,—ты, собственно, говорилъ о печатномъ словѣ?

— Ну да, такъ что же? Предоставь этой полуинтеллигентной барынѣ сочинять для печати, печатай то, что она напишетъ, и потокъ краснорѣчія подобныхъ личностей

наводнитъ газеты или журналы. Тутъ одно ведетъ къ другому. Начинается дѣло со словеснаго краснорѣчія, кончается печатнымъ. Тебѣ, какъ литератору, виднѣе. Развѣ ты не приходишь иногда въ отчаяніе отъ того, что тебѣ доводится читать? Развѣ редакціи не завалены грудами рукописей, о которыхъ не знаешь, зачѣмъ люди теряютъ безбожно золотое время и безъ всякой пользы для себя и другихъ изводятъ бумагу? Вѣдь, казалось бы, всякій, прежде чѣмъ приниматься писать, долженъ былъ спросить себя,—имѣетъ ли онъ сказать что-нибудь новое, что еще не сказано, отмѣтить явленіе, никѣмъ не замѣченное, выразить душевное настроеніе, никѣмъ еще не выраженное...

— Экъ чего захотѣлъ! Да, вѣдь, это предполагало бы, что всякій, кто принимается писать, знаетъ все, что до него написано. Гдѣ ты такихъ ученыхъ возьмешь? Дѣло происходитъ проще. Для пишущаго то или другое представляется новымъ,—вотъ, онъ и думаетъ, что это ново, и предоставляетъ другимъ уже трудъ разобрать, дѣйствительно ли оно ново...

Мой другъ расхохотался саркастически.

— Неужели ты въ самомъ дѣлѣ увѣренъ, что судьи всегда компетентнѣе пишущихъ? Вѣдь, и тѣ, отъ кого зависитъ печатать написанное, иногда не особенно компетентны. Вотъ и выходитъ, что въ газетахъ и журналахъ, а нерѣдко и въ книгахъ, безконечно повторяется то, что краснорѣчивѣе, убѣдительнѣе, полнѣе высказано уже раньше. И о чемъ же, собственно, я говорю? Я говорю только о непроизводительномъ изводѣ бумаги. Представь себѣ, что хотя бы только въ области изящной литературы всякій принимающійся писать потрудился бы предварительно ознакомиться съ выдающимися нашими поэтами и беллетристами, и какъ часто онъ отказался бы отъ своего намѣренія, убѣдившись, что то, что онъ хочетъ сказать, уже давно сказано въ такой совершенной формѣ, что, съ его стороны, просто дерзко пересказывать то же самое своимъ дѣтскимъ лепетомъ. Сколько стиховъ, разсказовъ, повѣстей и очерковъ въ такомъ случаѣ остались бы не написанными, и, конечно, не ко вреду литературы, а къ очевидной ея пользѣ! Нелѣпо думать, что тотъ или другой уровень литературы зависитъ исключительно отъ пишущихъ, редактирующихъ писанное или отъ читателей. Только ихъ взаимодѣйствіе обезпечиваетъ высокій или

низкій уровень литературы. Если пишущіе не ощущаютъ потребности критически относиться къ себѣ, то они отнимаютъ у редакторовъ массу времени, которое могло бы съ пользою быть употреблено на другое. А если читатели такъ же мало критически относятся къ напечатанному, то они содѣйствуютъ въ такой же мѣрѣ пониженію уровня литературы. Вотъ почему, если бы я былъ литераторомъ, я прежде всего возсталъ бы самымъ рѣшительнымъ образомъ противъ безсмысленнаго извода бумаги, противъ безконечнаго размноженія макулатуры во всѣхъ ея видахъ, противъ совершенно безполезнаго расходованія писчей и печатной бумаги. И вотъ почему я утверждаю, что бумага не можетъ, какъ мыло, считаться показателемъ уровня высокой культуры. Я убѣжденъ, что, съ развитіемъ культуры, бумаги будетъ изводиться гораздо меньше, чѣмъ теперь.

— Пожалуй, ты отчасти правъ,—замѣтилъ я.—Если бы, напримѣръ, пишущіе были бы хорошо знакомы хотя бы съ однимъ Тургеневымъ, то сколько повѣстей, разсказовъ и очерковъ осталось бы ненаписанными, да и, пожалуй, не появилось бы и нѣсколькихъ болѣе или менѣе извѣстныхъ писателей, которые въ слабой и, подчасъ, очень несовершенной формѣ только отражали лучи этого солнца на нашемъ литературномъ небосклонѣ, не прибавивъ отъ себя ничего новаго. Они часто искажали и опошливали поэзію великаго художника и этимъ приносили большой вредъ отечественной литературѣ. Дѣйствительно, ты правъ,—лучше читать и перечитывать большихъ нашихъ писателей, чѣмъ знакомиться съ ихъ бездарными или мало-даровитыми подражателями.

Но не успѣлъ я произнести этихъ словъ, какъ мой другъ опять пришелъ въ ажитацію.

— Постой, постой, не спѣши съ выводами! Относительно Тургенева ты, конечно, правъ, сто, тысячу разъ правъ. Но только, пожалуйста, не обобщай. Не всѣ писатели, которыхъ мы привыкли признавать выдающимися, этого дѣйствительно заслуживаютъ. Сколько дутыхъ знаменитостей, сколько кумировъ, предъ которыми мы преклоняемся по наслышкѣ, по традиціи, не давая себѣ труда самостоятельно провѣрить, дѣйствительно ли они могутъ быть признаны большими художниками или мыслителями. Да вотъ, возьмемъ, напримѣръ, Салтыкова, Пушкина, Гёте.

II.

Я, признаюсь откровенно, оробѣлъ. Мнѣ стало страшно за смѣлый полетъ мысли моего друга. Шутка сказать: онъ собирался развѣнчать не только Салтыкова,—это еще можно было допустить,—но и Пушкина, величайшаго нашего писателя. Мало того, онъ дерзкою рукой осмѣливался коснуться вѣнца, возложеннаго на голову великаго олимпійца всѣмъ образованнымъ міромъ. Мнѣ становилось жутко, но я старался преодолѣть свое смущеніе, чтобы вникнуть въ аргументацію моего дерзкаго друга-софиста.

Между тѣмъ, онъ продолжалъ, повидимому, спокойно, насколько позволялъ его нервный темпераментъ:

— Начнемъ съ Салтыкова. Есть люди, которые ставятъ его въ одинъ рядъ съ Гончаровымъ, Тургеневымъ, Толстымъ, „какъ талантъ, не во всемъ имъ равный, но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ въ другихъ". Что за профанація великихъ нашихъ писателей! Даже если не говорить о міросозерцаніи Салтыкова, не касаться всей совокупности его взглядовъ и идей, которыми обусловливалась его сатира или, какъ принято выражаться, его тенденція, то нетрудно доказать, что Салтыковъ, какъ художникъ, яйца выѣденнаго не стóитъ. Въ самомъ дѣлѣ, первымъ и главнымъ признакомъ художественности служитъ „чувство мѣры". Нѣтъ этого чувства—нѣтъ и художественности. Но что такое Салтыковъ? Шутникъ, балагуръ, который ни одного слова не можетъ произнести просто, естественно, безъ ужимокъ, выкрутасовъ. Онъ сочинилъ даже какой-то условный, своеобразный языкъ, который не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ языкомъ, на какомъ выражаются обыкновенные смертные. Это какая-то пародія на русскій языкъ, какое-то вымучиваніе разныхъ остроумныхъ или смѣшныхъ словечекъ. А характеры, типы? Неужели всѣ эти Іудушки, Помпадуры, Ташкентцы, Дыбы, графы Твердоонто, представители закономъ воспрещенной секты, Колупаевы, Разуваевы—живыя лица, а не явный шаржъ, не вопіющая карикатура? Если уже Ноздревы, Собакевичи, Плюшкины, несомнѣнно, должны быть признаны карикатурами, то что же сказать о герояхъ Салтыкова? Словомъ, въ какомъ бы направленіи или отношеніи мы ни изслѣдо-

вали этого плодовитаго писателя,—въ отношеніи ли языка, или характера дѣйствующихъ лицъ, или архитектуры фабулы,—мы вездѣ встрѣтимся съ однимъ и тѣмъ же его кореннымъ свойствомъ: безмѣрностью, отсутствіемъ чувства мѣры. Это станетъ еще болѣе яснымъ, если внести элементъ, мною намѣренно устраненный: его отношеніе къ нашимъ различнымъ партіямъ. Здѣсь природная безмѣрность окрыляется политическою озлобленностью, вслѣдствіе чего образы и картины получаютъ характеръ чудовищно-фантастическій. Пусть любуются на нихъ разные господа, тѣмъ самымъ свидѣтельствуя, помимо всего прочаго, о своей свободѣ отъ элементарнѣйшаго художественнаго чутья, а для меня и безъ того ясно, что писателю, столь во всѣхъ отношеніяхъ безмѣрному, не мѣсто въ первыхъ рядахъ литературы...

— Да постой, постой, ты несешь, вѣдь, очевидную чушь...

— Какъ чушь? Я предвидѣлъ, что ты это скажешь, и потому говорилъ не собственными словами, а словами извѣстнаго нашего критика, г. Михайловскаго. Правда, онъ говоритъ не о Салтыковѣ, а о другомъ русскомъ писателѣ. Но это несущественно; важенъ принципъ. Спрашиваю тебя, могу ли я, доказавъ, что данный писатель лишенъ „чувства мѣры", вычеркнуть его изъ числа видныхъ писателей? Кажется, это не подлежитъ сомнѣнію? Какъ, въ самомъ дѣлѣ, можно признать писателя значительнымъ художникомъ, если онъ лишенъ такого элементарнаго свойства, какъ чувство мѣры?

— Итакъ, ты ссылаешься въ этомъ вопросѣ на авторитетъ г. Михайловскаго? Однако, не говоря о немъ худого слова, я, тѣмъ не менѣе, готовъ поспорить и съ нимъ. Вѣдь, руководствуясь подобнымъ принципомъ, мы вычеркнемъ, чего добраго, изъ числа большихъ художниковъ и Сервантеса, и Шекспира, и Гёте. Неужели въ безсмертномъ Донъ-Кихотѣ соблюдено чувство мѣры? Неужели рыцарь печальнаго образа не походитъ на карикатуру? Неужели борьбу съ вѣтряными мельницами можно признать фактомъ сколько-нибудь правдоподобнымъ? А Шекспиръ, заканчивающій свои трагедіи избіеніемъ десятка людей, тутъ же умирающихъ на сценѣ, заставляющій своихъ героевъ выражаться на вычурномъ языкѣ, до такой степени преисполненномъ

яркихъ образовъ и кричащихъ метафоръ, что никто не повѣритъ въ возможность такого языка въ самой жизни? А Гёте, написавшій своего знаменитаго „Фауста", котораго, вслѣдствіе его безмѣрности, ни одна сцена не рѣшится поставить цѣликомъ? Нѣтъ, если уже признавать чувство мѣры наиболѣе вѣрнымъ признакомъ выдающагося художественнаго дарованія, то мы со спокойнымъ сердцемъ можемъ вычеркнуть изъ литературы имена и Сервантеса, и Шекспира, и Гёте, а о такихъ, сравнительно, второстепенныхъ писателяхъ, какъ Салтыковъ, понятно, и рѣчи быть не можетъ. Они заслуживаютъ полнаго забвенія, и, чѣмъ скорѣе мы ихъ забудемъ, тѣмъ лучше, потому что они не будутъ портить нашего художественнаго вкуса.

— Ну, значитъ, ты со мною согласенъ. Вѣдь, я именно и доказываю, что Салтыковъ—совершенно ничтожный писатель.

— Откуда ты взялъ, что я съ тобой согласенъ? Я только утверждаю, что мѣрка, съ какою ты приступаешь къ оцѣнкѣ художниковъ, несостоятельна, хотя ты и ссылаешься на г. Михайловскаго. Я доказываю, что хотя бы писатель и проявилъ въ нѣкоторыхъ или даже во многихъ своихъ произведеніяхъ недостатокъ чувства мѣры, онъ, тѣмъ не менѣе, можетъ быть крупнымъ и даже великимъ писателемъ и художникомъ. Возьми, напримѣръ, Виктора Гюго. Рѣдкое его произведеніе не испорчено, именно, недостаткомъ чувства мѣры въ образахъ и метафорахъ, напыщенностью, риторичностью. А между тѣмъ, Викторъ Гюго останется большимъ писателемъ, потому что у него иногда вырывается такой образъ, такой стихъ, до какого далеко другимъ поэтамъ, прекрасно соблюдающимъ мѣру,—такъ далеко, какъ отъ неба до земли. Истинная поэзія предполагаетъ увлеченіе, даже страсть, а самое увлеченіе, самая страсть—чувства безмѣрныя, и сохранить полное равновѣсіе человѣку, увлеченному страстью, не дано. Салтыковъ негодовалъ, Салтыковъ нерѣдко озлоблялся и, бичуя то, что ему казалось достойнымъ бичеванія, онъ могъ нарушить правила художественности. Но онъ проявлялъ чувство и настроеніе, за которыя ему всѣ художественныя погрѣшности прощались тѣми, кто ему сочувствовалъ. Значитъ, сила не въ этихъ погрѣшностяхъ, а въ той идеѣ, которая его воодушевляла, и раньше, чѣмъ мы не поймемъ этой идеи, раньше, чѣмъ мы не

уяснимъ себѣ, за что боролся Салтыковъ, и раньше, чѣмъ мы не установимъ тѣхъ душевныхъ силъ и художественныхъ средствъ, которыми онъ располагалъ въ этой борьбѣ,— мы никакого понятія о Салтыковѣ себѣ не составимъ. Руководствоваться же въ приговорѣ надъ нимъ однимъ только недостаткомъ чувства мѣры или другимъ однороднымъ художественнымъ недостаткомъ, значитъ проявить критическое чутье, которымъ можетъ гордиться развѣ гимназистъ 5-го класса, а не серіозный критикъ. Понятно, что я не отношу этихъ словъ къ г. Михайловскому, потому что его недостатокъ заключается въ чемъ-то другомъ, а именно, въ предвзятости, благодаря которой онъ, желая дискредитировать того или другого несимпатичнаго ему писателя, прибѣгаетъ къ критическимъ пріемамъ, которые онъ самъ призналъ бы кощунственными, если бы они были примѣнены къ тому или другому изъ любезныхъ ему писателей.

— Ага, понимаю, къ чему клонится твоя рѣчь. Все дѣло—въ основной идеѣ, тенденціи, а художественная форма—нѣчто второстепенное, несущественное. Любезенъ намъ писатель по своей тенденціи—мы его превозносимъ, какъ бы значительны ни были его художественныя погрѣшности. Не любезенъ онъ намъ по своей тенденціи—мы всячески его дискредитируемъ, хотя бы онъ былъ великимъ писателемъ.

— Ну вотъ, мы, наконецъ, начинаемъ понимать другъ друга. Это съ нами бываетъ рѣдко, но тѣмъ оно пріятнѣе. Я не теряю надежды, что мы, хотя разъ въ жизни, придемъ къ соглашенію. Въ самомъ дѣлѣ, подумай только, какъ несправедлива у насъ критика по отношенію къ писателямъ. Мы только-что говорили о Салтыковѣ. Возьмемъ другого, однороднаго съ нимъ по манерѣ, писателя, и не только по манерѣ, но, отчасти, и по основной идеѣ. Оба они самымъ рѣшительнымъ образомъ высказывались противъ дореформеннаго строя; оба принадлежали къ такъ-называемымъ новымъ людямъ, порожденнымъ эпохою великихъ реформъ; оба они пользовались, какъ главнымъ своимъ орудіемъ, сатирою, иногда замѣняя ее страстными лирическими изліяніями; оба злобно осмѣивали русское общество и находили себѣ утѣшеніе въ религіи, въ прославленіи Божественнаго нашего Учителя, Христа; оба, наконецъ, и по своей манерѣ очень напоминаютъ другъ-друга. А между тѣмъ, люди, пре

возносящіе Салтыкова и тщательно умалчивающіе объ его недостаткахъ, съ торжествующимъ видомъ указываютъ на тѣ же недостатки, когда они полагаютъ, что нашли ихъ у Лѣскова. Скажи, чѣмъ это объяснить, если именно не тѣмъ обстоятельствомъ, что мы художественною формой дорожимъ, въ сущности, весьма мало? Что можетъ быть антихудожественнѣе, чѣмъ, напримѣръ, отступленія г. Глѣба Успенскаго отъ беллетристики въ область публицистики. Однако, критики, превозносящіе г. Успенскаго, тщательно скрываютъ этотъ его недостатокъ. Но когда тѣ же критики имѣютъ дѣло съ нелюбезнымъ имъ писателемъ, то подобныя же отступленія ставятся ему въ великій грѣхъ, и онъ немедленно исключается изъ числа крупныхъ писателей. Какъ назвать подобную критику? Какимъ именемъ окрестить подобные критическіе пріемы? На газетномъ языкѣ ихъ называютъ подтасовками, передержками, и пріемы эти очень у насъ распространены, свидѣтельствуя о низкомъ уровнѣ нашей журнальной этики. Всякая здравая критика должна начинаться съ выясненія основныхъ идеаловъ писателя. Затѣмъ она должна установить, насколько ему удалось въ сильныхъ художественныхъ образахъ воплотить эти идеалы. Вотъ что, по меньшей мѣрѣ, можно требовать отъ критики. Но если мы будемъ игнорировать основныя идеи произведеній даннаго писателя, односторонне выставлять только тѣ или другія его несовершенства, то, несомнѣнно, намъ очень нетрудно будетъ доказать, что величайшіе міровые геніи, въ родѣ Шекспира или Гёте,—ничтожные писаки, о которыхъ, въ сущности, даже и говорить не стóитъ.

Р. И. Сементковскій.

Литература и жизнь [1]).

Памяти Салтыкова.—О лживыхъ словахъ, ихъ многообразіи и разнообразіи.

28 апрѣля минуло десять лѣтъ со смерти Щедрина. Мы не могли своевременно помянуть покойника, но и вообще литература не расщедрилась на поминки. То ли ея вниманіе сосредоточивали на себѣ текущія дѣла,—хотя въ нашей современной жизни едва ли найдется хотя бы одно текущее дѣло, которое не давало бы повода для воспоминаній о Щедринѣ,—то ли у насъ вообще коротка память. Послѣднее вѣрнѣе. Какъ бы то ни было, но единственное, на чемъ стоитъ остановиться изъ всего, связаннаго съ десятою годовщиной смерти сатирика, есть книжка г. Пыпина: „М. Е. Салтыковъ“ [2]).

Ничего новаго, оригинальнаго, яркаго въ характеристикѣ покойнаго сатирика, даваемой г. Пыпинымъ, нѣтъ, но не въ ней и дѣло. Г. Пыпину пришла счастливая мысль стряхнуть пыль забвенія со старыхъ публицистическихъ статей Салтыкова (1863—1864 гг.), не подписанныхъ или подписанныхъ псевдонимомъ, не вошедшихъ въ собраніе его сочиненій, изданное имъ самимъ. Г. Пыпинъ выражаетъ желаніе, чтобы статьи эти были, наконецъ, включены въ собраніе сочиненій, а пока дѣлаетъ изъ нихъ обширныя выписки.

Я слышалъ, что желаніе г. Пыпина скоро осуществится, что въ новое изданіе сочиненій Салтыкова войдутъ и анонимныя и псевдонимныя статьи, печатавшіяся какъ въ „Современникѣ“ 60-хъ, такъ и въ „Отечественныхъ Запи-

---

[1]) Н. Михайловскій. „Русское Богатство“, 1899 г., № 6. (См. выпускъ II, стр. 246.)

[2]) См. „Журн. дѣят. М. Е. Салтыкова“, стр. 1.

скахъ“ 70-хъ годовъ. Этому нельзя не порадоваться, какъ бы ни относился самъ Салтыковъ къ своимъ произведеніямъ, которыя онъ, по тѣмъ или другимъ соображеніямъ, не желалъ перепечатывать. Съ легкой руки Гончарова, у насъ часто говорятъ о „нарушеніи воли“ того или другого писателя, выражающаго желаніе, чтобы иныя изъ его произведеній не перепечатывались. Я думаю, что это желаніе не заслуживаетъ уваженія. При жизни писатель воленъ дѣлать со своими произведеніями, что онъ хочетъ, но послѣ смерти онъ становится достояніемъ исторіи. Мало ли историческихъ дѣятелей, которые имѣли бы всѣ основанія желать, чтобы то или другое ихъ дѣло,—ошибка, слабость, преступленіе,—или черта характера, или даже цѣлая сторона жизни оставались навсегда подъ-спудомъ. Исторія не справляется, однако, съ ихъ желаніями и, когда ей нужно, беретъ изъ ихъ біографій все, что ей нужно. Почему же мы должны дѣлать исключеніе для писателя, слово котораго есть такое же дѣло и относительно котораго существуетъ даже поговорка: „Что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ“? Тѣмъ болѣе, если дѣло идетъ о писателѣ большомъ, оставившемъ значительный слѣдъ въ литературѣ. Въ его литературномъ наслѣдствѣ даже слабыя произведенія или слишкомъ отзывающіяся давно забытою злобой дня могутъ представлять высокій интересъ въ смыслѣ исторіи его личнаго развитія или для характеристики того историческаго момента, въ который ему довелось работать. Я не говорю, конечно, что каждая строчка такого писателя должна перепечатываться, но это уже дѣло разумѣнія и такта издателей или редакторовъ посмертныхъ изданій.

Щедринъ начала шестидесятыхъ годовъ—конечно, не то, что Щедринъ семидесятыхъ, когда развернулись всѣ стороны его изумительнаго таланта. Однако, и тогда уже онъ по праву занималъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ литературѣ своимъ яснымъ умомъ, сверкающимъ остроуміемъ и отзывчивостью къ явленіямъ текущей жизни, изъ которой онъ умѣлъ извлекать черты настолько типическія, что вотъ и теперь, черезъ тридцать слишкомъ лѣтъ, онѣ имѣютъ не только историческое значеніе. Арсеналъ формъ еще не блисталъ тою роскошью, которая обнаружилась впослѣдствіи, но уже и тогда имѣлись налицо оригинальнѣйшія сочетанія фантастики и дѣйствительности, художественныхъ образовъ и

строгой логики, смѣха и слезъ. Что же касается содержанія, идей, то въ этой отношеніи едва ли найдется хоть одно существенное уклоненіе на всемъ длинномъ литературномъ пути Щедрина: въ началѣ шестидесятыхъ годовъ онъ—тотъ же, что и наканунѣ девятидесятыхъ. Иному—въ особенности нынѣ, когда шустрые люди довели быстроту передвиженій, „эволюцій“ (множественное число) до послѣдней степени легкости и граціи,—иному, говорю, это можетъ показаться мертвенною неподвижностью. Въ самомъ дѣлѣ, времена мѣняются: „все течетъ“, какъ сказалъ еще древній философъ; „волна на волну набѣгаетъ, волна погоняетъ волну“, какъ выразился новый поэтъ,—какъ же не мѣняться и людямъ, и особенно людямъ чуткимъ, отзывчивымъ? И не есть ли эта неподвижность свидѣтельство именно недостаточной чуткости, слабой отзывчивости на запросы времени?

Но уже, просто, самое слово „неподвижность“ какъ-то не идетъ къ нервной, энергичной, неустанно дѣятельной фигурѣ Щедрина, и очевидно тутъ что-нибудь да не такъ. И, конечно, не такъ. Съ двухъ сторонъ не такъ—и со стороны времени, и со стороны человѣка. За тридцать пять лѣтъ, протекшихъ съ того времени, когда Щедринъ писалъ статьи, о которыхъ у насъ пойдетъ рѣчь, конечно, очень многое и очень сильно измѣнилось въ русской жизни. Временами темпъ этихъ измѣненій такъ, повидимому, ускорялся, что люди трусливые (не говоря о корыстно-заинтересованныхъ) даже приходили въ нѣкоторый ужасъ, а люди наивные и прирожденные оптимисты ликовали сверхъ всякой мѣры. Проницательный умъ Салтыкова и его рѣдкое знаніе русской жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, во всѣхъ слояхъ общества, отъ верхняго края до нижняго, не давали ему мѣста ни среди трусливыхъ, ни среди наивныхъ. Онъ слишкомъ хорошо зналъ наше прошлое, чтобы не желать или бояться быстраго удаленія отъ него, но зналъ также и его цѣпкость и силу, зналъ, что даже та его доля, которая формально лежитъ въ исторической могилѣ, время отъ времени встаетъ и будетъ вставать въ видѣ противоестественныхъ живыхъ призраковъ, налагающихъ свою печать на подлинную дѣйствительность. Отсюда не только, вообще, его скептицизмъ по отношенію къ нашему прогрессу, но, и въ частности, тѣ поразительныя сатирико-фантастическія видѣ-

нія, которыя такъ часто оказывались предвидѣніями. Это были продукты не мистическаго вдохновенія, передъ которымъ внезапно разверзается занавѣсъ будущаго, а вполнѣ сознательнаго пріема наблюденія и вывода. Въ *Помпадурахъ и помпадуршахъ* онъ самъ сообщаетъ этотъ свой секретъ и оканчиваетъ такъ:

„Говорятъ о карикатурѣ и преувеличеніяхъ, но нужно только осмотрѣться кругомъ, чтобы обвиненіе это пало само собой. Не останавливайтесь на настоящей минутѣ, но прозрѣвайте въ будущее. Тогда вы получите цѣлую картину волшебствъ, которыхъ, быть-можетъ, еще нѣтъ въ дѣйствительности, но которыя, несомнѣнно, придутъ".

Вѣра въ свѣтлое будущее никогда не покидала Салтыкова, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ думалъ, что у насъ „тѣ же самыя основы жизни, которыя существовали въ XVIII вѣкѣ, существуютъ и теперь". Такъ выразился онъ въ одномъ частномъ письмѣ въ 1871 г., напечатанномъ въ 1889 г., послѣ его смерти. Но и раньше и позже 1871 г. онъ держался того же мнѣнія, и смотрѣлъ на русскую жизнь, именно, съ этой точки зрѣнія. Лучше, чѣмъ кто-нибудь, понималъ онъ великое значеніе освобожденія и послѣдующихъ реформъ, но его сатирическое вниманіе сосредоточивалось на тѣхъ юридически оформленныхъ или неоформленныхъ „основахъ жизни", которыя грозили задержать движеніе, или дѣйствительно его задерживали, или же выдвигали на авансцену „гробы повапленные" — новыя формы старой сущности. При этомъ жизнь не предъявляла ничего такого, что могло бы измѣняющимъ образомъ повліять на его коренныя убѣжденія, но кругъ явленій, ими освѣщаемыхъ, все расширялся и углублялся. Такимъ образомъ, если tempora и mutantur, то не очень уже быстротечно, по крайней мѣрѣ, съ точки зрѣнія Салтыкова, каковую точку зрѣнія онъ, впрочемъ, достаточно оправдалъ и доселѣ, посмертно продолжаетъ оправдывать своими предвидѣніями. И недаромъ онъ въ найденномъ въ его бумагахъ началѣ „оправдательной записки" говоритъ о „мучительной воспріимчивости, съ которою онъ всегда относился къ современности". Что касается неподвижности его основныхъ принциповъ, то что же вы подѣлаете съ такимъ упрямымъ человѣкомъ, который (въ 1881 г., въ частномъ письмѣ) пишетъ: „Мнѣ кажется, что писатель, имѣющій въ виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иныхъ идеаловъ, кромѣ тѣхъ, которые изстари волнуютъ человѣчество. А именно:

вобода, равноправность и справедливость". Онъ не мечталъ ыть новаторомъ, онъ примыкалъ къ тому, что „изстари олнуетъ человѣчество"; онъ—эта краса и гордость русской итературы, этотъ слонъ... И когда посмотришь на множе ство нынѣшнихъ проповѣдниковъ „новыхъ словъ", поне-золѣ подумаешь:

Какія крохотны коровки!
Есть, право, менѣе булавочной головки!..

Лично для себя Салтыковъ выбралъ задачу—„спасти идеалъ свободнаго изслѣдованія, какъ неотъемлемаго права всякаго человѣка, и обратиться къ тѣмъ современнымъ основамъ, во имя которыхъ эта свобода изслѣдованія попирается".—Можетъ показаться, что, какъ ни велика эта задача сама-по-себѣ, она слишкомъ мала или узка, односторонняя, чтобъ ею одною исчерпывалась столь блестящая и долголѣтняя литературная дѣятельность, какова дѣятельность Салтыкова. И, конечно, не одинъ этотъ мотивъ говорилъ въ немъ. Но если мы примемъ во вниманіе то, какъ понималъ онъ эту какъ-будто спеціальную задачу, въ какомъ объемѣ и въ какихъ развѣтвленіяхъ,—то увидимъ, что она, во-первыхъ, далеко не такъ спеціальна, и что, во-вторыхъ, принявъ ее за исходную точку, мы выяснимъ себѣ очень и очень значительную долю духовнаго наслѣдства Салтыкова.

Когда я, тотчасъ послѣ смерти Щедрина, писалъ о немъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ", то, вслѣдъ за общимъ наброскомъ, вызваннымъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ утраты, первую же главу детальной оцѣнки его дѣятельности посвятилъ его „отношенію къ литературѣ" [1]). Это было естественно. За тѣ почти сорокъ лѣтъ, что я вращаюсь въ литературной средѣ, я не встрѣчалъ человѣка, который былъ бы, такъ сказать, болѣе, чѣмъ Салтыковъ, литераторъ, въ лучшемъ, идеальнѣйшемъ смыслѣ этого слова. Это былъ какой-то монахъ отъ литературы, сознательно, весь цѣликомъ ей отдавшійся, благоговѣйно относившійся къ ея общественной роли и съ тѣмъ большею скорбью или негодованіемъ отмѣчавшій ея вольныя или невольныя уклоненія отъ этой высокой и отвѣтственной роли. Сидя въ своей

[1]) См. стран. 92.

писательской кельѣ, не отрываясь отъ письменнаго стола, онъ могъ сказать, вмѣстѣ со своимъ Крамольниковымъ, что у него „не было никакой иной привязанности, кромѣ читателя, никакой иной радости, кромѣ общенія съ читателемъ". И онъ не тяготился этимъ своего рода аскетическимъ житіемъ, ибо сознавалъ себя причастникомъ великаго дѣла. „Scripta manent",—часто напоминалъ онъ, а однажды съ рѣдкою въ немъ восторженностью прибавилъ: „Semper manent, in saecula saeculorum!", и выразилъ мнѣніе, что „ничто такъ не поясняетъ идею вѣчности, какъ представленіе о литературѣ".

Изъ этого благоговѣйнаго отношенія къ литературѣ въ принципѣ, въ ея задачахъ и цѣляхъ, отнюдь не слѣдуетъ, что литературное дѣло есть дѣло „совершенствованія спеціальности въ самой себѣ". Даже совсѣмъ напротивъ. Въ 1864 г., въ рецензіи на вышедшія тогда въ приложеніи къ „Русскому Вѣстнику" „Новыя стихотворенія" А. Н. Майкова, Салтыковъ писалъ:

„Для всѣхъ очевидно, что искусство мало-по-малу начинаетъ расширять свои предѣлы и допускать въ свою область такіе элементы, которые долгое время считались ему чуждыми. Искусство жило отдѣльною отъ дѣлъ сего міра жизнью; оно направлено было къ тому, чтобы украшать и утѣшать, и, надо сказать правду, исполняло свою задачу очень исправно, то-есть обманывало и обольщало, насколько хватало у него силъ. Будучи плодомъ досужества, оно обращалось исключительно къ досужеству же; услаждало досуги досужихъ людей, и это сообщало ему тотъ чистенькій, аристократическій характеръ, который составляетъ необходимую принадлежность всякаго рода успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ".

Признавая за поэзіей „досужихъ" людей извѣстныя, правда, очень малыя заслуги, Салтыковъ отмѣчаетъ затѣмъ приливъ новыхъ силъ—людей изъ „темнаго царства"—и продолжаетъ:

„По мѣрѣ вторженія въ сферу досужества новыхъ силъ, прежнія отношенія искусства къ жизни дѣлаются все болѣе и болѣе невозможными. Жизнь заявляетъ претензію стать исключительно предметомъ для искусства, и притомъ не праздничными, безмятежно идиллическими и сладостными, но и будничными, горькими, рѣжущими глаза сторонами. Мало того: она претендуетъ, что въ этихъ послѣднихъ сторонахъ и заключается самая „суть" человѣческой поэзіи, что игривые ландшафты и надзвѣздныя пространства, хотя и могутъ еще, по нуждѣ, оставаться болѣе или менѣе пріятными аксессуарами, но дѣйствительнаго, истинно-человѣческаго содержанія искусству ни подъ какимъ видомъ дать не могутъ. Искусство, слѣдуя этой теоріи, принимаетъ характеръ преимущественно человѣческій или, лучше сказать, общественный (такъ какъ человѣкъ, изолированный отъ общества

немыслимъ), и чѣмъ ближе вглядывается въ жизнь, чѣмъ глубже захватываетъ вопросы, ею выдвигаемые, тѣмъ достойнѣе носить свое имя".

Эта страничка изъ исторіи русской литературы, въ этомъ именно освѣщеніи, не разъ и впослѣдствіи занимала Салтыкова (въ *Кругломъ годѣ*, въ *Похоронахъ*, въ *Письмахъ къ тетенькѣ*, въ *Пестрыхъ письмахъ*; подробнѣе см. объ этомъ въ моихъ „Сочиненіяхъ", т. V, стр. 146—148). Только въ этихъ позднѣйшихъ изложеніяхъ дѣло идетъ уже не о лирикѣ, какъ въ рецензіи на стихотворенія Майкова, а о литературѣ вообще, въ самомъ широкомъ смыслѣ, и авторъ беретъ нѣсколько иные оттѣнки красокъ для характеристики литературы „досужества", съ одной стороны, и позднѣйшей литературы—съ другой. Къ первой, то-есть къ литературѣ сороковыхъ годовъ, Салтыковъ относится уже гораздо мягче; она рисуется ему иногда въ видѣ сказочной царевны, запертой въ неприступномъ чертогѣ, чуждой жизни; она „не принимала дѣятельнаго участія въ негодованіяхъ и протестахъ жизни, но не участвовала и въ ея торжествахъ". И это дѣлаетъ сатирика снисходительнымъ къ ея „малокровію", какъ онъ выражался. Что же касается позднѣйшей литературы, на которую Салтыковъ возлагалъ въ 60-хъ годахъ столько надеждъ, именно потому, что она вступила въ общеніе съ жизнью и, слѣдовательно, становилась на пути къ тому, чтобы „достойно носить свое имя", то въ семидесятыхъ годахъ онъ пришелъ относительно ея къ такому неутѣшительному итогу: „Литература искала общенія съ жизнью, а обрѣла общеніе съ пустяками,—какая неожиданность можетъ быть горше и чувствительнѣе этой?"

Это сопоставленіе мнѣній Салтыкова, выраженныхъ имъ объ одномъ и томъ же предметѣ въ разное время, поучительно. Оно даетъ образчикъ того, какъ, вообще, „эволюціонировалъ" Салтыковъ. Его основная точка зрѣнія остается непоколебимою, „неподвижною", но она захватываетъ новыя явленія жизни.

Въ той же рецензіи стихотвореній Майкова находимъ слѣдующія любопытныя строки:

„Вторженіе новой жизни собственно въ нашу литературу выразилось или въ формѣ сатиры, которая провожаетъ въ царство тѣней все отживающее, или же въ формѣ не всегда ясныхъ и опредѣленныхъ привѣтствій тѣмъ темнымъ, еще неузнаннымъ силамъ, которыхъ наплывъ такъ ясно всѣми чувствуется. Это и понятно. Новая жизнь еще слагается; она не

можетъ и выразиться иначе, какъ отрицательно, въ формѣ сатиры, или въ формѣ предчувствія и предвѣдѣнія".

Салтыковъ ждалъ многаго отъ новой жизни, отъ „новыхъ силъ" изъ „темнаго царства" и привѣтствовалъ ихъ наплывъ, но онъ и тогда уже былъ достаточно остороженъ, чтобы признавать ихъ пока еще темными, еще не узнанными. Впослѣдствіи, когда новая жизнь выдвинула „столповъ" въ родѣ Дерунова, Антошки Стрѣлова, Хрисашки Полушкина, Разуваева и, вообще, „чумазыхъ", а также Балалайкиныхъ и писателей въ родѣ Подхалимова или Ивана Непомнящаго,—Салтыковъ уже совсѣмъ иначе „привѣтствовалъ" ихъ. Но это отнюдь не была перемѣна убѣжденій въ направленіи вражды къ „новой жизни" или любовнаго обращенія къ старой, къ той, которую онъ съ самаго начала своей дѣятельности такъ охотно „провожалъ въ царство тѣней". Эту послѣднюю онъ провожалъ все туда же до конца дней своихъ, и въ этомъ отношеніи нѣтъ разницы, напримѣръ, между *Мишей и Ваней* 1863 г. и предсмертной *Пошехонской стариной*: та же негодующая яркость красокъ, то же клеймо позора. Но, продолжая гнѣвно оглядываться на прошлое и съ надеждою смотрѣть въ будущее, Салтыковъ видѣлъ во всѣхъ этихъ Деруновыхъ, Балалайкиныхъ, Подхалимовыхъ, конечно, порожденія новаго времени, новыхъ условій жизни, но вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ или иначе, поддерживающія основы прошлаго. Въ частности, дорогой для него „идеалъ свободнаго изслѣдованія" мало выигрывалъ отъ вторженія въ жизнь этихъ новыхъ силъ.

Въ книжкѣ г. Пыпина читатель найдетъ нѣкоторыя любопытныя соображенія Салтыкова о проектѣ (1862 г.) новаго закона о печати, разрѣшившемся въ уставъ 1865 г., о замѣчаніяхъ на этотъ проектъ „Русскаго Вѣстника" и, вообще, объ отношеніяхъ печати и цензуры. Этотъ послѣдній, общій вопросъ еще недавно, можно сказать на-дняхъ, горячо дебатировался въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ", главнымъ образомъ, кн. Трубецкимъ, съ одной стороны, и кн. Цертелевымъ—съ другой; и самая горячность этихъ дебатовъ теперь, спустя тридцать пять лѣтъ послѣ того, какъ на ту же тему горячился Салтыковъ,—свидѣтельствуетъ, я думаю, о проницательности сатирика, когда онъ не весьма вѣрилъ, что tempora mutantur. Я не могу касаться этого вопроса въ мѣру его значительности и предпочитаю не касаться совсѣмъ.

Кромѣ границъ, полагаемыхъ свободному изслѣдованію извнѣ, въ виду государственныхъ или иныхъ соображеній, есть еще внутреннія, въ самихъ изслѣдователяхъ и ихъ взаимныхъ отношеніяхъ лежащіе факторы, препятствующіе свободѣ изслѣдованія, ограничивающіе или извращающіе ее. Къ нимъ-то мы и обратимся.

Читатель благоволитъ припомнить интересную статью А. Г. Горнфельда „Муки слова", напечатанную въ нашемъ сборникѣ. Въ самомъ орудіи выраженія нашихъ впечатлѣній, чувствъ, мыслей, сужденій —въ словѣ—есть нѣкоторое препятствіе, если не для „свободнаго изслѣдованія", какъ таковаго (а иногда и для него), то для сообщенія его процесса и результатовъ другимъ; препятствіе, доставляющее въ иныхъ случаяхъ людямъ настоящія „муки". Отсылая читателей для этой стороны дѣла къ статьѣ г. Горнфельда, я остановлюсь на оборотной сторонѣ, на которую въ упомянутой статьѣ имѣются только намеки.

Авторъ цитируетъ „Подростка" Достоевскаго: „Можетъ-быть, я очень худо сдѣлалъ, что сѣлъ писать: внутри безмѣрно больше остается, чѣмъ то, что выходитъ въ словахъ. Ваша мысль, хотя была и дурная, пока при васъ, всегда глубже, а на словахъ смѣшнѣе и безчестнѣе. Версиловъ мнѣ сказалъ, что обратно тому бываетъ у скверныхъ людей. Тѣ лгутъ, имъ легко, а я стараюсь писать всю правду,—это ужасно трудно". Г. Горнфельдъ припоминаетъ еще великолѣпную фигуру Нумы Руместана, этого человѣка необыкновенно легкаго слова и, вмѣстѣ съ тѣмъ, лжеца изъ лжецовъ, виртуоза словесности и лжи, хотя, пожалуй, и не „сквернаго", потому что онъ, въ сущности, человѣкъ добродушный и пакоститъ ближнимъ часто совершенно безсознательно.

У Салтыкова есть цѣлая коллекція этихъ людей, которымъ не только незнакомы „муки слова", но въ распоряженіи которыхъ въ каждую данную минуту въ изобиліи имѣются слова для сокрытія, замаскированія или извращенія правды. Тутъ и просто болтуны необузданные, и „торговцы пафосомъ", и лицемѣры словоточивые, и предатели, и клеветники, и ловкачи, умѣющіе однимъ словомъ повернуть бесѣду или „изслѣдованіе", такъ-сказать, на фиктивные рельсы, на ложный путь. Ложь во всѣхъ ея многоразлич-

ныхъ видахъ и разновидностяхъ неутомимо преслѣдовалась сатирикомъ, и даже тамъ, гдѣ въ его картинахъ, повидимому, все заслоняютъ другіе его враги,—произволъ, жестокость,—лжи неизмѣнно отводится свое мѣсто. Такъ, напримѣръ, въ страшной исторіи капитана Савельцева и тетеньки Анфисы Порфирьевны, Анфиса прежде, чѣмъ заглотать мужа своимъ волчьимъ ртомъ, виляетъ лисьимъ хвостомъ, надуваетъ его обманными словами смиренія и примиренія. Въ сказкѣ *Добродѣтели и пороки* во главѣ послѣднихъ стоитъ „самъ Отецъ Лжи". Правда, и онъ однажды спасовалъ передъ новымъ лицомъ, призналъ за нимъ пальму первенства въ дѣлѣ зла. Сатирикъ разсказываетъ: „Даже Отецъ Лжи, который думалъ, что нѣтъ въ мірѣ той подлости, которой бы онъ ни произошелъ,—и тотъ глаза вытаращилъ". Но это новое лицо было Лицемѣріе, то-есть тоже ложь.

Въ писателѣ, такъ высоко ставившемъ задачи своей профессіи и такъ цѣликомъ ей отдавшемся, естественна эта ненависть къ обманному, лживому слову,—ложь, вѣдь, во всякомъ случаѣ стоитъ поперекъ дороги къ идеалу свободнаго изслѣдованія, а при случаѣ активно возстаетъ противъ него. Но не слишкомъ ли ужъ большое значеніе придаетъ ей нашъ сатирикъ? Не слишкомъ ли много зарядовъ гнѣва и остроумія на нее тратитъ? Вонъ, благодушный дѣдушка Крыловъ отдѣлался отъ нея „римскимъ огурцомъ"...

Послушаемъ другого, иностраннаго и гораздо болѣе стараго писателя, котораго кто-то, не безъ основанія, назвалъ первымъ французомъ, осмѣливавшимся мыслить.

Старикъ Монтень называетъ лживость „проклятымъ порокомъ" и говоритъ, что если бы мы понимали все ея ужасное значеніе, то преслѣдовали бы ее сильнѣе, чѣмъ какія бы то ни было преступленія. „Только благодаря слову (или рѣчи—parole), разсуждаетъ онъ, мы—люди и общаемся съ другими людьми"; обманное, лживое слово нарушаетъ взаимныя человѣческія отношенія, въ корнѣ подрываетъ общеніе. Если бы, подобно истинѣ, ложь „имѣла только одно лицо",—мы были бы въ лучшемъ положеніи, потому что всегда понимали бы слова лжеца наоборотъ; но оборотная сторона истины многообразна, и поле ея дѣйствія безгранично. Лгущій человѣкъ и тотъ, кому онъ лжетъ,—даже не люди другъ для друга. И Монтень приводитъ чье-то изреченіе, что мы чувствуемъ себя лучше въ обществѣ

звѣстной намъ собаки, чѣмъ въ обществѣ неизвѣстнаго намъ человѣка. Цитируетъ онъ и Плинія, выразившаго мысль, что люди разныхъ націй, говорящіе на разныхъ, взаимно незнакомыхъ языкахъ,—собственно не люди другъ для друга. Монтень понимаетъ, что возможны „крайнія и очевидныя опасности", въ виду которыхъ неправда дозволительна. И все-таки, заключаетъ онъ, „насколько лживое слово менѣе соціально (moins sociable), чѣмъ молчаніе!

Не помню, какой юмористъ заставилъ героя своего разсказа говорить въ теченіе трехъ дней всѣмъ правду, то-есть все, что онъ знаетъ или думаетъ. Изъ этого произошелъ цѣлый рядъ то комическихъ, то трагическихъ столкновеній, и, въ концѣ концовъ, герой долженъ былъ отказаться отъ своей задачи. При сложности нашихъ житейскихъ отношеній, при множествѣ облегающихъ насъ со всѣхъ сторонъ условностей, разумѣется, немыслима полная правдивость во всѣ стороны; иначе любая сплетница, любой предатель и доносчикъ могли бы претендовать на титулъ соли земли, а лучшіе люди сплошь и рядомъ сѣяли бы вокругъ себя горе, не говоря уже о томъ, что и сами сидѣли бы, можетъ-быть, по кутузкамъ. Есть чистѣйшіе, благороднѣйшіе поступки, чувства, отношенія, которымъ нечего стыдиться, но которыя по обстоятельствамъ должны скрываться за завѣсой лжи или молчанія; и есть мерзости, которыя по самому существу своему должны прятаться въ темнотѣ. Смѣшивать эти двѣ категоріи въ одномъ понятіи „проклятаго порока" было бы, конечно, большою ошибкой. На практикѣ различеніе ихъ есть дѣло добросовѣстности и такта. Но въ принципѣ Монтень совершенно правъ, поднимая ложь на градусникѣ зла далеко выше уровня морали римскаго огурца и комизма хлестаковщины. Въ принципѣ лживое слово есть, несомнѣнно, явленіе противообщественное по преимуществу, именно потому, что слово есть орудіе общенія. И замѣчаніе Монтеня о томъ, что молчаніе все-таки „общественнѣе" обманнаго слова, чрезвычайно тонко и вѣрно. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда ложь является по обстоятельствамъ необходимостью, это не говоритъ противъ Монтеневскаго принципа, а лишь свидѣтельствуетъ о ненормальности условій, въ которыхъ намъ приходится жить. Въ виду же всѣхъ этихъ осложненій нельзя лучше выразить мысль Монтеня, какъ знаменитыми словами знамени-

таго русскаго писателя: „обращаться со словомъ нужно честно". Эта формула обнимаетъ и случаи вынужденной лжи, и случаи обязательнаго молчанія. Выше въ составѣ щедринской коллекціи лжецовъ я помянулъ, между прочимъ, предателя. Но, вѣдь, устами предателя, равно какъ и какой-нибудь сплетницы, можетъ говорить сама истина. Да, но въ самомъ основаніи предательства и злостной сплетни лежитъ, если не прямо ложь, то безчестное отношеніе къ слову.

Это-то нечестное отношеніе къ слову, въ самомъ широкомъ смыслѣ и во всемъ многообразіи и разнообразіи его, и составляло всегда предметъ сатирическаго вниманія Салтыкова. Припомнимъ нѣсколько типическихъ образчиковъ изъ его коллекціи.

Балалайкинъ разсказываетъ, что поставлялъ невѣстъ кокандскому хану Насръ-Эддину, и за это ханъ отблагодарилъ его балыкомъ и кувшиномъ воды. Одинъ изъ собесѣдниковъ замѣчаетъ, что ханъ не очень-то расщедрился.

„Que voulez-vous, mon cher!—отвѣчаетъ Балалайкинъ: — эти ханы... нѣтъ въ мірѣ существъ неблагодарнѣе ихъ! Впрочемъ, онъ мнѣ еще пару шакаловъ прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился нѣсколько дней, поѣздилъ по Невскому, да и отдалъ Росту въ зоологическій садъ. Главное дѣло завываютъ какъ-то, ну, и кучера искусали. И представьте себѣ, кромѣ бифштексовъ, ничего не ѣдятъ, канальи! И непремѣнно, чтобъ изъ кухмистерской Завитаева—извольте-ка отсюда да на Пески три раза въ день посылать!"

Вотъ образчикъ необузданно-лживой словесности, лганья въ самой элементарной формѣ, на первый взглядъ недалеко ушедшей отъ хлестаковщины. Однако, это только на первый взглядъ. Хлестаковъ вретъ, такъ-сказать, прямолинейно, въ томъ смыслѣ, что въ средне-общественномъ мнѣніи всѣ его фантазіи вмѣняются въ честь или заслугу: лестно, когда ты имѣешь такую импонирующую внѣшность, что тебя принимаютъ за главнокомандующаго; лестно быть авторомъ „Женитьбы Фигаро", „Роберта Дьявола" и проч.; лестно, когда тридцать пять тысячъ курьеровъ скачутъ съ приглашеніемъ управлять департаментомъ, и т. д. и т. д. Не таково лганье Балалайкина. Уже роль поставщика невѣстъ кокандскому хану не принадлежитъ къ числу одобряемыхъ средне-общественнымъ мнѣніемъ, а Балалайкинъ, разсказывая объ этомъ своемъ занятіи, нимало не запинаясь, прибавляетъ еще, что кандидатокъ въ невѣсты у него много: „Каждое утро весь Фонарный переулокъ такъ и ломится въ дверь; даже

олодые люди приходятъ, право! звонокъ за звонкомъ". тѣмъ Балалайкинъ вретъ еще и еще и, между прочимъ, отчуетъ гостей фигами, присланными ему въ подарокъ объ-ханомъ, и поясняетъ:

— Я ему тутъ одно свѣдѣньице въ дипломатическихъ сферахъ выдалъ... такъ, пустячки!

— Балалайкинъ! пощадите! вѣдь, вы себя въ измѣнѣ отечеству обличете!—воскликнули мы въ ужасѣ.

— Ah, mais entendons-nous! Я, дѣйствительно, свѣдѣньице для него звѣдалъ, но онъ черезъ это самое свѣдѣньице сраженіе потерялъ—поните въ томъ ущельѣ, какъ бишь его?.. Нѣтъ, господа, я въ этихъ дѣлахъ стороженъ! А онъ мнѣ, между прочимъ, презентъ!"

У Балалайкина нѣтъ и тѣхъ скудныхъ понятій о нравственномъ, приличномъ или хвалы достойномъ, какія есть Хлестакова, которому никогда, даже въ самомъ зенитѣ го вранья, не пришлю бы въ голову хвастаться поскудною олью поставщика невѣстъ кокандскому хану или двойнымъ редательствомъ „дипломатическихъ сферъ" и Эюбъ-хана. Въ Балалайкинѣ интересны, именно, эти вполнѣ беззастѣнчивые, изворотливые словесные узоры на „нѣтовомъ полѣ" нравственныхъ принциповъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, Балалайкинъ, хотя и готовъ на всякую, самую отчаянную подлость и мерзость, сплошь и рядомъ злоупотребляетъ словомъ вполнѣ безкорыстно, изъ любви къ искусству, по пылкости фантазіи, и даже не гонится за тѣмъ, чтобы ему повѣрили. Это—артистъ въ душѣ, жрецъ чистаго искусства.

Въ другомъ родѣ артистъ, производящій уже не комическое, а трагическое впечатлѣніе,—Іудушка Головлевъ; это—высшее изъ созданій Салтыкова, которое одно доставило бы ему вѣковѣчную славу. Приводить образчики словесности этого гнуснаго архилицемѣра я не буду: слишкомъ былъ бы труденъ выборъ, ибо здѣсь каждая строчка образцовая.

Обратимся къ *Благонамѣреннымъ рѣчамъ*. И эта частная коллекція лжецовъ и словесниковъ слишкомъ богата, чтобы мнѣ пришла въ голову мысль ее исчерпать, да и не въ этомъ моя задача. Нѣсколькихъ штриховъ для насъ достаточно.

Сынъ Дерунова докладываетъ отцу о ходѣ операціи скупки у крестьянъ хлѣба. Онъ давалъ мужикамъ по шести гривенъ за пудъ, они не согласились и повезли, было, хлѣбъ въ другое мѣсто, но тамъ ихъ прижалъ деруновскій же приказчикъ, и имъ пришлось отдать по полтиннику. Хотя,

такимъ образомъ, операція окончена блистательно, старикъ Деруновъ все-таки сердито волнуется и называетъ мужиковъ, просившихъ шесть гривенъ, „бунтовщиками“ и „стачечниками“. Авторъ, присутствующій при этомъ разговорѣ, недоумѣваетъ,—какой же это бунтъ? Деруновъ разъясняетъ:

„А по-твоему, баринъ, не бунтъ? Мнѣ для чего хлѣбъ-то нуженъ? самъ что ли экую махину съѣмъ? въ амбарѣ что ли его гноить буду? Въ казну, сударь, въ казну я его ставлю! Армію, сударь, хлѣбомъ продовольствую! А ну какъ у меня изъ-за нихъ, курицыныхъ сыновъ, хлѣба-то не будетъ? Помирать что ли арміи-то? По-твоему это не бунтъ?“

Нелишеннымъ остроумія словеснымъ оборотомъ, представляющимъ, однако, въ сущности, настоящее пустословіе, Деруновъ переводитъ разговоръ о своемъ карманѣ на нѣкоторые фиктивные рельсы, на которыхъ и въѣзжаетъ благополучно въ область любви къ отечеству и народной гордости. Наѣзды лживой фразы, пустозвонной словесности въ эту область особенно возмущали Салтыкова. Вспомните патріотическія рѣчи казнокрада Удодова въ *Страшномъ годѣ*, безпардонное лганье на тему „l'ordre, la patrie et notre sainte religion“ въ *Ташкентцахъ приготовительнаго класса* и проч., и проч., и проч.

И вотъ, эта лживая словесность, эта пустозвонная фраза, это нечестное отношеніе къ слову переносится въ литературу, то-есть въ сферу, въ глазахъ Салтыкова исключительно высокую и даже нѣсколько мистически сопоставляемую съ идеей вѣчности. Чѣмъ бы ни вызывалось это явленіе,—прямою ли продажностью, какъ въ редакціяхъ „Красы Демидрона“ и „Словеснаго Удобренія“, простою ли пустопорожностью, какъ въ „пѣнкоснимателяхъ“, этихъ „василискахъ празднословія“, сочетаніемъ ли этихъ элементовъ, какъ въ Иванѣ Непомнящемъ и Подхалимовѣ,—негодованію Салтыкова не было предѣловъ. Именно, не было предѣловъ. Тутъ, столь свойственное нашему сатирику, несмотря на роскошь его фантазіи, чувство художественной мѣры иногда измѣняло ему. Такъ, вольнонаемный редакторъ „Красы Демидрона“ Очищенный, несомнѣнно, слишкомъ карикатуренъ. Такъ, великолѣпный въ своемъ негодующемъ кипѣніи лирическій отрывокъ „Властитель думъ“, несомнѣнно, ничѣмъ не оправданъ подъ перомъ „нашего собственнаго корреспондента“.

„Негодяй—властитель думъ современности... Смотрите, какъ твердо ступаетъ онъ по негодяйской стезѣ и какими неизреченно-безстыжими

глазами взираетъ на все живущее! Прислушайтесь, какою увѣренностью звучитъ его голосъ, когда онъ говоритъ: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила въ немъ наглость; наглость, въ свою очередь, застраховала его отъ возможности какихъ-либо потрясеній. Взглянувши на него, вы не запутаетесь въ опредѣленіяхъ; вы скажете прямо: это негодяй!—И все для васъ будетъ ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяснившагося, цѣльнаго. Онъ какъ-то сразу просіялъ изъ тьмы и самъ о себѣ засвидѣтельствовалъ. И проникъ всюду, во всѣ слои такъ-называемаго общества, во всѣ профессіи, во всѣ мѣста. Вездѣ онъ является съ открытымъ лицомъ, вездѣ возвѣщаетъ о себѣ:—Вы меня знаете? Я—негодяй! Я—ярмо, призванное раздавить жизнь. Я—позоръ, призванный упразднить убѣжденіе, честность, правду, самоотверженіе. Я—распутство, поставившее себѣ задачей наполнить вселенную гноемъ измѣны, подкупа, вѣроломства, предательства", и т. д.

Можно ли себѣ, хоть съ какою-нибудь отдаленною тѣнью вѣроятности, представить, что это—отрывокъ изъ фельетона, написаннаго „нашимъ собственнымъ корреспондентомъ" для „Красы Демидрона"? Вѣдь, этотъ корреспондентъ все равно что Подхалимовъ, а Подхалимовъ, хотя и можетъ писать въ любомъ вкусѣ, стилѣ и направленіи по заказу, но откуда же ему взять этотъ кипящій гнѣвомъ тонъ по адресу „властителя думъ—негодяя", образъ и подобіе котораго онъ на себѣ носитъ?

Къ Подхалимову, впрочемъ, сатирикъ относится сравнительно благодушно. Онъ признаетъ за нимъ талантливость и воспріимчивость и склоненъ смотрѣть на него, какъ на „жертву общественнаго темперамента". У него и наружность „не самостоятельная: сейчасъ брюнетъ, сейчасъ—блондинъ; отсвѣчиваетъ". Честнаго отношенія къ слову съ него, конечно, спрашивать нечего.

„Писалъ онъ всяко: и забористо, и благодушно, и хлестко, и съ „прохвалою"—какъ для хозяйскаго интереса пригоднѣе. Умиленіе по обстоятельствамъ потребуется—онъ умилится; ликованіе—онъ возликуетъ; вѣра въ славное будущее—онъ и отъ вѣры не прочь. Только унывать не любилъ, а по части „прострации" даже смѣшные каламбуры отпускалъ. Но ежели потребуется серіозно уронить слезу—онъ слова не скажетъ, уронитъ. „Нельзя, скажетъ, безъ сердечной боли видѣть, какъ многіе, вмѣсто того, чтобы уповать"... И пойдетъ, и пойдетъ. А потомъ утретъ слезу—смотришь, и опять всѣмъ весело. Словомъ сказать, на всѣ руки парень: колесомъ вертится, на канатѣ пляшетъ, сядетъ задомъ напередъ на лошадь и за хвостъ держится".

Но сатирикъ задается вопросомъ: „Понимаетъ ли Подхалимовъ, что онъ лжетъ, или не понимаетъ? Участвуетъ ли хоть капля сознательности въ той фальши, которую онъ

распространяетъ вокругъ себя, или эта фальшь льется изъ него сама-собою, какъ льется вода изъ незапертаго крана?"

Вопросъ, оставляемый Салтыковымъ безъ отвѣта, и въ высшей степени для него характерный. Онъ задаетъ его себѣ по поводу не только безпардоннаго вранья Подхалимова, а и патріотическаго словоизверженія казнокрада Удодова и жестоко лицемѣрной словоточивости Іудушки Головлева. Онъ напрягаетъ мысль, чтобы объяснить себѣ это ненавистное ему, но и загадочное для него явленіе, и далеко не всегда находитъ объясненіе. Слишкомъ онъ цѣнилъ естественное назначеніе слова,—орудія общенія,—чтобы не изумляться лживой словесности, какъ явленію не только противообщественному, но и противоестественному, почти невозможному. И онъ, во всякомъ случаѣ, съ трудомъ или, по крайней мѣрѣ, неохотно допускалъ сознательность этого оскорбленія слова. Однако, сознательная или безсознательная ложь,—отъ этого не измѣняется ея общественное значеніе въ тѣхъ случаяхъ, когда она таковое, вообще, получаетъ. И когда такой представитель этой лжи, какъ Подхалимовъ, хвастаетъ: „Печать-то, вѣдь, сила",—сатирика одолѣваютъ мрачныя, скорбныя и гнѣвныя думы. Да, печать сила. Когда-то это было, главнымъ образомъ, только упованіе, только принципъ, едва-едва начинавшій осуществляться, но уже наполнявшій сердца писателей гордостью и надеждой, даже до чрезмѣрности, въ виду общихъ условій нашей жизни. Теперь—это фактъ. Но какой это жалкій, мелкій, унизительный фактъ! Сила—Подхалимовъ, сила—Иванъ Непомнящій, сила—„Краса Демидрона" и „Словесное Удобреніе". Какая же это сила? Гдѣ объекты и районъ ея вліянія? О Подхалимовѣ говорить нечего. Этотъ многаго отъ жизни не требуетъ и, съ зажмуренными глазами беззаботно пройдя свое жизненное поприще, умретъ, можетъ-быть, гдѣ-нибудь подъ заборомъ во славу „міроѣдовъ", какъ онъ, впрочемъ, беззлобно, называетъ своихъ патроновъ. Но при удачѣ изъ Подхалимовыхъ и выходятъ патроны. Таковъ, напримѣръ, Иванъ Непомнящій. Это, впрочемъ, имя собирательное.

„Прошедшее его имѣло слегка либеральный характеръ. Одинъ Непомнящій (имя собирательное) дразнился въ фельетонцахъ; другой—въ статьяхъ публицистическаго характера; третій—тиснулъ какую-то брошюрку, и самъ не помнитъ о чемъ. Словомъ сказать, и тотъ, и другой, и третій

наслѣдили-таки слѣдовъ, покуда балагурили за чужой счетъ. Теперь сдѣлавшись обладателями сокровища (газеты), они понимаютъ, что надо эти слѣды замести хвостомъ. И вотъ, одинъ Непомнящій объявляетъ, что, въ сущности, онъ никогда не дразнился, а просто балагурилъ; другой, что если онъ язвилъ въ одну сторону, то можетъ, по требованію, язвить и въ другую; третій, что онъ и самъ, не зналъ, что дѣлалъ, но впередъ „не будетъ". И тутъ же представляютъ образцы будущаго хорошаго поведенія. Вѣроломство и подвохи украшаютъ столбцы вперемежку съ лестью и куреніемъ ѳиміамовъ. Одинъ Непомнящій наускиваетъ весело и бойко; другой производитъ то же самое съ шипѣніемъ и пѣною у рта; третій не знаетъ, какъ ему поспѣть за двумя первыми... Въ виду упроченія ея (газеты) будущаго, не должно быть рѣчи ни объ идеяхъ, ни о цѣляхъ, ни объ убѣжденіяхъ, ни о чемъ, кромѣ наивѣрнѣйшихъ способовъ удержать за собой сокровище. Непомнящій употребляетъ всѣ усилія, чтобы проникнуть въ мысль и вкусы вліятельной среды: справляется у приспѣшниковъ, угадываетъ смыслъ улыбокъ и тѣлодвиженій, напоминаетъ о своей неизмѣнной готовности, а иногда даже удостоивается собесѣдованій. Язвитъ онъ исключительно безоружныхъ, тѣхъ, которые на его наускиванье не могутъ дать прямого отпора. Такой образъ дѣйствія и до сихъ поръ извѣстенъ у насъ подъ именемъ полемики. Изречетъ ликующій доброволецъ какую-нибудь безспорную „истину", въ родѣ, напримѣръ, обвиненія въ неблагонадежности, и торжествуетъ, зная заранѣе, что отвѣтъ на такое обвиненіе немыслимъ".

Газета Непомнящаго пользуется большимъ успѣхомъ, такъ какъ ежедневно снабжаетъ читателей множествомъ новостей и слуховъ, поданныхъ бойко, весело, подъ пикантнымъ соусомъ. Завтра большая часть этого багажа окажется вздоромъ, но въ запасѣ имѣется новый вздоръ.

„Запасшись этимъ ворохомъ, читатель на цѣлый день обезпеченъ. Онъ ходитъ по улицѣ, навѣщаетъ знакомыхъ и цѣлый день лжетъ на основаніи данныхъ, почерпнутыхъ имъ изъ газеты Непомнящаго 1-го. Знакомые его, получающіе газету Непомнящаго 2-го, въ свою очередь лгутъ. Происходитъ обмѣнъ сумбурныхъ мыслей, которыя, впрочемъ, имѣютъ за собою то преимущество, что не даютъ жизни окончательно замереть. Ибо этотъ-то, именно, сумбуръ и называется жизнью".

Болѣе спеціально направленную силу представляетъ „Словесное Удобреніе", газета, издаваемая мануфактуръ-совѣтникомъ Кубышкинымъ и имѣющая задачей отождествленіе интересовъ производства и распространенія кубышкинскихъ ситцевъ и миткалей съ интересами „благочинія" и „государства". Въ остальныхъ своихъ частяхъ, впрочемъ, „Словесное Удобреніе" являетъ большое сходство съ газетой Непомнящаго, только что развѣ злобы въ немъ больше. „Словесное Удобреніе" шло хорошо, и сотрудники его „были сыты".

„И чѣмъ больше были сыты, тѣмъ больше ярились. Наконецъ, до того разъярились, что стали выбѣгать на улицу и суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ, изрыгали хулу и клевету. Проклинали человѣческій разумъ и указывали на него, какъ на корень гнетущихъ насъ золъ; предвѣщали всевозможныя бѣдствія; поселяли въ сердцахъ трепетъ; сѣяли ненависть, раздоръ и междоусобіе и проповѣдывали всеобщее упраздненіе".

Вотъ нѣкоторые образцы того нечестнаго отношенія къ слову, которое и изумляло и возмущало Салтыкова въ „новой жизни" и заставляло его мягче относиться къ старой, „досужей" литературѣ, чѣмъ онъ относился къ послѣдней въ шестидесятыхъ годахъ. Конечно, и въ той литературѣ существовали Булгарины и Гречи, обладавшіе „суконными языками, облитыми змѣинымъ ядомъ" и прочими атрибутами лживой словесности. Но это было пятно, грязное, позорное, временами, пожалуй, даже страшное, и все-таки только, пятно, а не фонъ. Фонъ составляли оторванность отъ жизни и сравнительно невинная ложь „надзвѣздныхъ пространствъ, успокоительныхъ вѣяній и усладительныхъ сновъ". Та литература была плодомъ „досужести" и къ досужимъ же людямъ обращалась. Теперь не то. Всколыхнутая событіями конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ жизнь предъявила литературѣ новыя требованія, и „литература искала общенія съ жизнью", но волею судебъ „обрѣла общеніе съ пустяками". Общеніе съ пустяками—таковъ теперь общій фонъ, но въ то время какъ Ахбѣдные, Крамольниковы и прочіе, „сохранившіе за собою нравственную опрятность", изнываютъ въ тоскѣ среди этой сѣти пустяковъ и ни въ какомъ случаѣ не могутъ назвать себя силой,—Непомнящіе, Подхалимовы, Очищенные живутъ, какъ рыба въ водѣ, и безпрепятственно предаются „проклятому пороку". И если лживое слово, сказанное какимъ-нибудь Иваномъ какому-нибудь Сидору, есть въ принципѣ, по существу, явленіе противообщественное, то тѣмъ паче таковымъ надо признать цѣлую струю лживой словесности, изо-дня-въ-день направляемую на многое множество Ивановъ и Сидоровъ, которые впитываютъ въ себя эти плоды нечестнаго обращенія со словомъ и, въ свою очередь, распространяютъ ихъ. И, вѣдь, не одно ужъ поколѣніе воспиталось на этой противообщественной духовной пищѣ.

Я нѣсколько дольше, чѣмъ предполагалъ, задержался на всѣмъ извѣстномъ Щедринѣ семидесятыхъ годовъ, а

часъ ждетъ книжка г. Пыпина и мало кому нынѣ извѣстный Щедринъ шестидесятыхъ годовъ. Но это одинъ изъ тѣхъ писателей, относительно которыхъ трудно встать въ опредѣленныя рамки: слишкомъ онъ для этого самъ изъ всѣхъ условныхъ рамокъ выпираетъ своею грандіозною дѣятельностью. Мы и въ шестидесятыхъ годахъ возьмемъ его съ той же точки зрѣнія вражды къ обманному слову, къ лживой словесности.

Достойно вниманія, что загадка „благонамѣренныхъ рѣчей", на постановку и рѣшеніе которой Салтыковъ потратилъ столько силъ, занимала его еще въ 1863 г. Уже тогда, въ первомъ же номерѣ „Современника", вышедшемъ послѣ временнаго запрещенія журнала, онъ въ статьѣ *Наша общественная жизнь* старался „опредѣлить, что такое благонамѣренность". Опредѣленіе это оказывалось чрезвычайно труднымъ, по новости самаго слова. Это не мѣшаетъ, однако, сатирику хорошо знать, какъ „благонамѣренный" проводитъ свой день. Утромъ онъ читаетъ „Сѣверную Почту"; насладившись ея чтеніемъ и узнавъ, сверхъ того, „въ чемъ заключается сегодняшняя благонамѣренность", онъ бесѣдуетъ съ г. Старчевскимъ (тогдашнимъ издателемъ „Сына Отечества"); затѣмъ, „подъ вліяніемъ этой бесѣды, благонамѣренный заходитъ къ Доминику, гдѣ съѣдаетъ три пирожка, а буфетчику сказываетъ, что съѣлъ одинъ. Затѣмъ до обѣда онъ гуляетъ по Невскому, обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Михайловскій, и день оканчивается блистательнымъ образомъ на балѣ у безземельныхъ, но гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга". Но при этомъ благонамѣренный долженъ имѣть „хорошій образъ мыслей". Что это, собственно, значитъ,—объяснить трудно, „потому что выраженіе это скорѣе чувствуется чѣмъ понимается". Повидимому, отличительный признакъ хорошаго образа мыслей есть невинность. „Невинность же, съ своей стороны, есть отчасти отсутствіе всякаго образа мыслей, отчасти же отсутствіе того смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла".

Таковъ зародышъ всей великолѣпной портретной галлереи *Благонамѣренныхъ рѣчей*. Зародышъ росъ и развивался и въ ширь, и въ высь, и въ глубь. Онъ охватилъ не только людей „хорошаго образа мыслей", утаивающихъ два пирожка у Доминика, обѣдающихъ въ долгъ у Дюссо и веселящихся

на балахъ гостепріимныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга, да и смыслъ этихъ утаенныхъ пирожковъ и этого веселья углубился. Интересъ „благонамѣренныхъ рѣчей“ поднялся до общаго противорѣчія между тѣмъ „образомъ мыслей“, который признается ими „хорошимъ“, и образомъ дѣйствій говорящихъ эти рѣчи, противорѣчія, достигающаго послѣднихъ степеней наглости или наивности, притомъ въ области высшихъ нравственно-политическихъ вопросовъ. Слабъ человѣкъ, и несоотвѣтствіе между словомъ и дѣломъ—слишкомъ обыкновенное явленіе, чтобы резонно было расходовать на него удары сатирическаго бича въ такомъ количествѣ и съ такою силой, какъ это дѣлалъ Салтыковъ. Но въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ совсѣмъ особеннымъ видомъ противорѣчія. Деруновъ не воруетъ пирожковъ у Доминика и не обѣдаетъ въ долгъ у Дюссо; не дѣлаютъ этого, понятно, и Антошка Стрѣловъ, Хрисашка Полушкинъ и проч. Ни Деруновъ, ни Іудушка не балуются на балахъ гамбургскихъ принцессъ, а m-me Персіянова, Проказнина и проч. и соотвѣтственнаго учрежденія не имѣютъ въ своемъ распоряженіи. Но всѣ эти болѣе или менѣе пламенные ораторы благонамѣренныхъ рѣчей, стоя на стражѣ признаваемыхъ ими основъ современнаго общественнаго строя, каждымъ своимъ шагомъ, всею своею жизнью ихъ нарушаютъ, ухитряясь въ то же время укрываться подъ ихъ защитою. Распутничая безъ зазрѣнія совѣсти, они не только твердятъ о святости семейнаго права, но во имя его грозятъ непокорнымъ дѣтямъ смирительнымъ домомъ или же прямо губятъ ихъ. Обдирая всѣхъ, кого ободрать можно, то-есть посягая на чужую собственность, они не только разглагольствуютъ на тему о священномъ правѣ собственности, но и объявляютъ, напримѣръ, бунтовщиками крестьянъ, желающихъ продать свой хлѣбъ по шести гривенъ за пудъ. Грабя казну безъ мѣры и пощады, они въ то же время не только произносятъ пламенныя рѣчи во славу отечества, но и призываютъ къ отвѣту тѣхъ, кто, по ихъ мнѣнію, имѣетъ объ отечествѣ неправильныя понятія...

Но этотъ грандіозный обзоръ нечестнаго отношенія къ слову, иллюстрированный картинами и портретами высокой художественной цѣнности, былъ еще впереди, когда Салтыковъ впервые задумался надъ загадочнымъ смысломъ слова:

„благонамѣренность". Тогда, кромѣ вышеупомянутаго зародыша, въ видѣ утаенныхъ у Доминика пирожковъ и проч., онъ ставилъ въ связь съ этимъ словомъ другое, столь же, по его мнѣнію, загадочное слово—„нигилизмъ". Извѣстно, какую сложную и разнообразную сенсацію произвели „Отцы и дѣти" Тургенева. Старая это исторія, давно быльемъ поросла, и самая кличка „нигилистъ" не разъ уступала свое мѣсто другимъ. Нынѣшнему свѣжему читателю, обыкновенно очень мало свѣдущему въ нашихъ прошлыхъ, даже недавнихъ дѣлахъ или, — что еще хуже, — имѣющему объ нихъ извращенное понятіе, трудно представить себѣ всю бурность волненія изъ-за „Отцовъ и дѣтей". Салтыковъ ставитъ въ вину Тургеневу самое слово „нигилистъ", по слѣдующимъ соображеніямъ:

„Благонамѣренные" накинулись на слово „нигилистъ" съ ожесточеніемъ, точь-въ-точь какъ благонамѣренные прежнихъ временъ накидывались на слова фармазонъ и вольтерьянецъ. Слово „нигилистъ" вывело ихъ изъ величайшаго затрудненія. Были понятія, были явленія, которыя они до тѣхъ поръ затруднялись такъ назвать, теперь этихъ затрудненій не существуетъ: все это нигилисты; были люди, физіономія которыхъ имъ не нравилась, которыхъ рѣчи производили въ нихъ нервное раздраженіе, но они не могли дать себѣ отчета, почему именно эти люди, эти рѣчи производятъ на нихъ именно такое дѣйствіе; теперь все сдѣлалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Такимъ образомъ нигилистъ, не обозначая собственно ничего, прикрываетъ собою всякую обвинительную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамѣренному, и если бъ Иванъ Никифоровичъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на свѣтѣ такое слово, то онъ, навѣрно, назвалъ бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнемъ съ писаною торбой, а нигилистомъ. Человѣкъ, который ходитъ по улицѣ безъ перчатокъ,—нигилистъ, и человѣкъ, который заявитъ сомнѣніе насчетъ либерализма Василія Александровича Кокорева, тоже нигилистъ. „Онъ нигилистъ! онъ не вѣритъ ни во что святое!" вопятъ благонамѣренные, и само-собою разумѣется, что Василію Александровичу это нравится. Однимъ словомъ, нигилистъ есть человѣкъ, безпрерывно испускающій изъ себя какой-то тонкій ядъ, отъ котораго мгновенно дурѣютъ слабыя головы мальчишекъ... Нигилисты обязаны выносить на себѣ всѣ грѣхи міра сего. Тявкнетъ ли на улицѣ шавка—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты ее подучили; пойдетъ ли безъ времени дождь,—благонамѣренные кричатъ: это нигилисты заговариваютъ стихіи! Этого мало: лѣтомъ 1862 года по случаю частыхъ пожаровъ въ Петербургѣ ходили слухи о поджогахъ — благонамѣренные воспользовались этимъ, чтобы обвинить нигилистовъ".

И не разъ еще возвращался Салтыковъ къ кличкѣ „нигилистъ", негодуя на безсмысленность и неопредѣленность этого слова, дающую всѣмъ охочимъ людямъ возможность обращаться съ нимъ нечестно. Но нѣкоторые представители

печати не замедлили присоединить къ нему, какъ термину укоризненному или прямо ругательному, и другія слова, имѣющія вполнѣ опредѣленное значеніе, но придали имъ „смыслъ нарочито-порочный“ и стали разсыпать ихъ направо и налѣво, „не принимая въ соображеніе ни то, къ кому эти эпитеты относятся, ни то, по какому случаю они прилагаются, ни то, чтó они дѣйствительно означаютъ. Таковы: „космополитизмъ“, „сепаратизмъ“, „демократизмъ“, „матеріализмъ“. Относительно этихъ терминовъ „дѣло заранѣе полагается для всѣхъ яснымъ“. Въ дѣйствительности же при помощи ихъ напускается вящшій туманъ, и „потому-то именно и пріятно положеніе мысли нападающей, что она, благодаря туману, можетъ посылать свои удары, не подвергаясь опасности быть сбитою съ выгодной позиціи. Туманъ нуженъ для всѣхъ, страдающихъ „мыслебоязнью“, каковы бы ни были источники этой болѣзни— природное ли тупоуміе или корыстныя соображенія. И если теоретическаго тумана мало, пускается въ ходъ интрига.

„Интригуетъ такой человѣкъ не очень хитро, но зато усердно, безъ отдыху... И велика бываетъ его радость, когда онъ убѣждается, что врагъ, наконецъ, сваленъ,—и, притомъ, сваленъ средствами самыми незамысловатыми, почти что съ помощью одного лганья! Гвалтъ, безтолковое карканье стономъ стоитъ надъ болотомъ, и долго потомъ дрянное болотное населеніе будетъ передавать изъ рода въ родъ трогательную повѣсть о томъ, какъ нашимъ чибисамъ удалось взять въ полонъ коршуна“.

Обладатели „привилегированныхъ идеаловъ“, какъ выражался Салтыковъ, которые нынѣ плодятся, какъ самыя плодущія бактеріи, появились на горизонтѣ русской литературы очень скоро послѣ того, какъ литература эта окрылилась, было, „идеаломъ свободнаго изслѣдованія“. Во главѣ ихъ стоялъ Катковъ, самъ начавшій съ горячаго поклоненія идеалу свободнаго изслѣдованія. Но уже въ 1863 г. Салтыковъ имѣлъ основаніе обратиться къ „Русскому Вѣстнику“ и его приспѣшникамъ съ такою отповѣдью:

„Вѣдь, притязанія ваши клонятся, ни много ни мало, къ тому, чтобы сдѣлать изъ всѣхъ дѣятелей литературы чистописцевъ, смиренно заносящихъ на бумагу изреченія М. Н. Каткова; ну, нѣтъ, на это мы несогласны! И совсѣмъ не потому мы несогласны, чтобы считали для себя унизительнымъ писать подъ диктантъ М. Н. Каткова, а просто потому, что имѣемъ свой собственный образъ мыслей“. И далѣе: „Милостивые государи! Конечно, справедливость сама-по-себѣ великое слово, но потому-то именно и слѣдуетъ пользоваться этимъ словомъ съ осторожностью. По поводу чего вы требуете справедливости? По поводу вашей же собственной не-

праведливости. Къ кому требуете справедливости? Въ самимъ себѣ!.. Вы ребуете справедливости; вы, которые сами насквозь проникнуты ненавитями и неправосудіемъ всякаго рода; вы, которые шагу не можете стуить безъ того, чтобы не допросить съ пристрастіемъ, чтобы не кинуть ѣни язвительнаго подозрѣнія, чтобы не уськнуть и не кивнуть головой а тѣхъ, которыхъ вы, правильно или неправильно, считаете врагами своего спокойствія! Сердца ваши преисполнены желчью и оцтомъ; языкъ ашъ источаетъ ядъ клеветы; руки ваши сводятся судорогою, и вы хотите, тобы къ этому позорному зрѣлищу, къ этой хладной ненависти, сдѣлавшейся почти ремесломъ, оставались равнодушными и даже оказывали дань уваженія и снисходительности!"

Претензія на „привилегированные идеалы" или на „единоторжіе мысли", которая уже сама-по-себѣ составляетъ нечестное отношеніе къ слову, не говоря о пріемахъ, которыми она осуществляется, и впослѣдствіи вызывала не разъ гнѣвныя отповѣди Салтыкова. Но въ области обманныхъ словъ, лживой словесности, у него были и другіе враги. „Фраза" въ техническомъ смыслѣ фразерства была, вообще, предметомъ его ненависти, заключала ли она въ себѣ просто празднословіе, хотя бы и невинное, или была пущена ради преслѣдованія какихъ-нибудь темныхъ цѣлей. „Фраза" есть, во всякомъ случаѣ, или субъективно-лживое слово, то-есть несоотвѣтствующее подлиннымъ мыслямъ и чувствамъ говорящаго, или объективно-лживое, не есть несоотвѣтствующее подлиннымъ фактамъ жизни, или, наконецъ, сочетаніе той или другой лжи. Затѣмъ возможны, конечно, варіанты. Иной фразеръ лжетъ безъ особенной задней мысли, а просто, безсознательно, увлекаясь музыкой своей рѣчи, а иной съ холоднымъ расчетомъ нанизываетъ слово на слово, но обманный и, слѣдовательно, противообщественный характеръ остается за фразой всегда.

Вотъ образчикъ отношенія Салтыкова къ фразерству аксаковскаго „Дня":

„Предположимъ, что я начинаю свое обозрѣніе такимъ образомъ:

„Милостивые государи! Русляндія заслоняетъ отъ нашихъ глазъ истинную, православную, святую нашу Русь". Я знаю, что это я выдумалъ, что Русляндіи никакой нѣтъ, что и Русь была да сплыла, а есть Россія, которую никто и ничто, по причинѣ обширности сюжета, заслонить не можетъ; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я знаю также, что такое начало, навѣрное, дастъ мнѣ возможность со всею безопасностью помѣстить въ моемъ обозрѣніи и фигуру взволнованной души и фигуру патріотическаго уязвленія,—именно, тѣ двѣ ужасныя фигуры, которыя преимущественно точатъ мое риторическое существовованіе. II вотъ, я начинаю пространно объ-

яснять, что такое Русляндія и что такое Русь; изъ объясненій моихъ выходитъ, что Русляндія есть нѣчто такое, что заслоняетъ Русь, а Русь есть нѣчто такое, что заслоняется Русляндіей,—больше, клянусь, ничего не выходитъ. Но это нимало меня не смущаетъ, ибо, въ сущности, я не о томъ и забочусь, чтобы изъ моего краснорѣчія что-нибудь выходило, а о томъ только, чтобы сказать нѣсколько „жалкихъ словъ", и чтобы при этомъ состояло налицо самое краснорѣчіе. Я знаю, что всегда найдутся люди, которые ни одного жалкаго слова безъ умиленія проглотить не могутъ,—на нихъ-то я и разсчитываю".

Излюбленныя Аксаковымъ метафоры и „фигуры" Салтыковъ дискредитировалъ, просто вскрывая ихъ содержаніе, которое оказывалось безсодержательностью. Надо, однако, замѣтить, что вражда къ „фразѣ" заводила иногда Салтыкова слишкомъ далеко, и, напримѣръ, его критическій разборъ поэмы Альфреда Мюссе „Ролла", изъ котораго г. Пыпинъ дѣлаетъ нѣсколько выписокъ, страдаетъ чрезмѣрною прямолинейностью. Надо, впрочемъ, замѣтить, что, вообще, критическія замѣтки Салтыкова о беллетристическихъ произведеніяхъ (въ „Современникѣ" онъ ихъ помѣщалъ довольно много), хотя по справедливому замѣчанію г. Пыпина, и „заключаютъ обыкновенно мѣткія и остроумныя сужденія", но, въ цѣломъ, составляютъ наименѣе цѣнную часть его наслѣдства. Онъ былъ слишкомъ публицистъ и сатирикъ для того, чтобы быть литературнымъ критикомъ.

Какъ-то разъ, въ замѣткѣ о нѣкоторыхъ мнѣніяхъ г. Невѣдомскаго, я цитировалъ одно мѣсто изъ хроники Салтыкова „Общественная жизнь", напечатанной въ февральской книжкѣ „Современника" за 1864 годъ. Въ этой цитатѣ „старый народникъ", какъ называетъ Салтыкова г. Невѣдомскій, обличающій сатирика въ оскорбительномъ, барскомъ отношеніи къ мужику, въ „жалѣніи", замѣняющемъ, дескать, „справедливость",—„старый народникъ" требуетъ, именно, справедливости и отвергаетъ „жалѣніе". Въ этомъ смыслѣ, пожалуй еще характернѣе слѣдующія его слова: „Жизнь русскаго мужика тяжела, но не вызываетъ ни чувства безплодной и всегда оскорбительной жалостливости, ни, тѣмъ менѣе, идиллическихъ присѣданій". Съ этой точки зрѣнія написана вся хроника, равно какъ и статья „Лѣто въ деревнѣ" въ августовской книжкѣ „Современника" за 1863 годъ. Здѣсь Салтыковъ опять-таки воюетъ съ лживою словесностью, рисующею „картинки на розовомъ маслѣ", „сочиняющею мадригалы и конфетные билетики". И онъ тѣмъ болѣе имѣетъ

на это право, что самъ хорошо знаетъ деревенскую жизнь во всѣхъ ея деталяхъ. Передъ нами встаетъ рядъ тяжелыхъ, мрачныхъ картинъ, освѣщенныхъ, однако, не высокомѣрнымъ презрѣніемъ къ „деревенскому идіотизму", а именно чувствомъ справедливости, побудившимъ и впослѣдствіи Салтыкова поставить „проблему о мужикѣ" или о „человѣкѣ, питающемся лебедой".

Мнѣ остается извлечь изъ матеріаловъ, даваемыхъ книжкою г. Пыпина, еще только одинъ эпизодъ, стоящій во всей литературной дѣятельности Салтыкова совершенно одиноко.

Къ молодежи сатирикъ всегда относился съ вѣрою, надеждою и любовью (понятное дѣло, не къ той, которую онъ заклеймилъ названіемъ „ташкентцевъ приготовительнаго класса"), и въ шестидесятыхъ годахъ не мало копій сломалъ за нее. Но послѣ „Отцовъ и дѣтей" Тургенева, съ одной стороны, и „Что дѣлать?" Чернышевскаго, съ другой, въ средѣ тогдашняго молодого поколѣнія сложились явленія, къ которымъ Салтыковъ отнесся съ величайшею суровостью. Великъ,—разсуждаетъ онъ,—грѣхъ лживой словесности, напускающей туману, злоупотребляя безсмысленными или неосмысленными кличками, которыми она надѣляетъ молодое поколѣніе. Но заблужденію публики содѣйствуютъ и „нѣкоторые вислоухіе и юродствующіе, которые съ ухарскою развязностью прикомандировываютъ себя къ дѣлу, дѣлаемому молодымъ поколѣніемъ, и, схвативъ одни наружные признаки этого дѣла, совершенно искренно исповѣдуютъ, что въ нихъ-то вся и сила. Эти люди считаютъ себя какими-то сугубыми представителями молодого поколѣнія, забывая, что дрянь есть явленіе общее всѣмъ вѣкамъ и странамъ, и что совершенно несправедливо и даже непозволительно навязывать ее исключительно современному русскому молодому поколѣнію". Во всякомъ дѣлѣ, во всякой партіи возможны свои enfants terribles, утрирующіе или извращающіе извѣстные принципы вслѣдствіе легкомысленнаго и поверхностнаго къ нимъ отношенія. До поры до времени они большой бѣды не представляютъ. Но вотъ изъ ихъ среды возникаютъ „горлопаны, юродствующіе и вислоухіе". Они „проповѣдуютъ громко, самодовольно и съ ожесточеніемъ". И „нѣтъ мысли, которой наши вислоухіе не обезславили бы, нѣтъ дѣла, котораго они не засидѣли бы".

„Объ enfants terribles можно бы еще объясниться, что это просто милые люди, на невинную переимчивость которыхъ стоитъ только не обращать вниманія, чтобъ она упала сама-собою; о вислоухихъ же этого сказать нельзя, потому что они лѣзутъ впередъ, входятъ въ азартъ, выдаютъ себя за людей серіозныхъ и убѣжденныхъ и подбираютъ себѣ поклонниковъ. Посторонній зритель, непосвященный, смотритъ на вислоухаго уже съ нѣкоторымъ трепетнымъ смиреніемъ, какъ на сосудъ нѣкій, въ которомъ заключена мудрость будущаго, и если ему порой кажется, что эта мудрость смахиваетъ на ерунду, то онъ тутъ же спѣшитъ поправиться и увѣрить себя, что это оттого ему такъ кажется, что онъ самъ преисполненъ ерунды, а что ерунда вислоухаго есть дѣйствительно мудрость, но только мудрость не настоящаго, а будущаго“.

Повторяю, это единственный, въ своемъ родѣ, эпизодъ во всей литературной дѣятельности Салтыкова. Больше ему не приходилось вступать въ такого рода конфликты съ горлопанами, юродствующими и вислоухими. И вотъ, развѣ теперь, если бы онъ былъ живъ, онъ вспомнилъ бы эти эпитеты; теперь, когда изъ него самого дѣлаютъ то какого-то спеціалиста „жалѣнія“, то представителя сословнаго дворянскаго духа, а „мудрость будущаго“ видятъ въ томъ, что его Деруновы, Колупаевы, Разуваевы и проч. „превратятся въ свою противоположность“...

Ник. Михайловскій.

КРИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
о произведеніяхъ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА.

Съ портретомъ и біографическимъ очеркомъ и примѣчаніями, написанными **Н. ДЕНИСЮКЪ.**

Выпускъ первый (1856—1863 гг.).

Въ первый выпускъ вошли статьи: Н. Добролюбова, Н. Чернышевскаго, П. Анненкова, А. Дружинина, Е. Эдельсона и др.; статьи изъ „Отечественныхъ Записокъ", „Библіотеки для чтенія", „Голоса", „Сына Отечества", „Спб. Вѣдомостей", „Сѣверной Пчелы", „Русскаго Инвалида" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 руб.**

Помѣщенныя *въ первомъ выпускѣ* критическія статьи касаются слѣдующихъ произведеній Щедрина: „Губернскихъ очерковъ", „Сатиръ въ прозѣ" и „Невинныхъ разсказовъ".

Выпускъ второй (1864—1875 гг.).

Во второй выпускъ вошли статьи: Д. И. Писарева, А. М. Скабичевскаго, Н. К. Михайловскаго, В. П. Буренина, барона Н. А. Корфа, Герцо-Виноградскаго, В. Г. Авсѣенко, О. Миллера и др.; статьи изъ „Русскаго Слова", „Эпохи", „Спб. Вѣдомостей", „Вѣстника Европы", „Недѣли", „Новаго Времени", „Русскаго Міра", „Биржевыхъ Вѣдомостей", „Одесскаго Вѣстника", „Сына Отечества", „Искры", „Отечественныхъ Записокъ", „Гражданина", „Новостей" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 руб.**

Во второмъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Исторія одного города", „Дневникъ провинціала въ Петербургѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „Губернскіе очерки", „Сатиры въ прозѣ", „Невинные разсказы", „Ташкентцы", „Помпадуры и помпадурши" и др.

Выпускъ третій (1876—1881 гг.).

Въ третій выпускъ вошли статьи: А. М. Скабичевскаго, В. В. Маркова, В. С. Соловьева, С. А. Венгерова, В. Буренина, Евг. Маркова, А. Введенскаго, Е. Утина и др.; статьи: изъ „Русскихъ Вѣдомостей", „Сына Отечества", „Недѣли", „Гражданина", „Современныхъ Извѣстій", „Биржевыхъ

Вѣдомостей", „Молвы", „Дѣла", „Голоса", „Спб. Вѣдомостей", „Русскаго Міра", „Новаго Времени", „Новостей", „Сѣвернаго Вѣстника", „Русской Рѣчи", „Кіевлянина", „Вѣстника Европы" и т. д. **М. 1905. Цѣна 1 рубль.**

Въ третьемъ выпускѣ разработаны слѣдующія произведенія Щедрина: „Благонамѣренныя рѣчи", „Экскурсіи въ область умѣренности и аккуратности", „Круглый годъ", „За рубежомъ", „Господа Головлевы", „Современная идиллія" и др.

Выпускъ четвертый (1882—1888 гг.).

Въ четвертый выпускъ вошли статьи: К. К. Арсеньева, А. И. Введенскаго, М. Протопопова, В. Буренина, П. К. Щебальскаго и др.; статьи: изъ „Вѣстника Европы", „Русскаго Вѣстника", „Вѣка", „Дѣла", „Новаго Времени", „Русской Мысли", „Гражданина" и т. д. **М. 1905 г. Цѣна 1 рубль.**

Въ четвертомъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Письма къ тетенькѣ", „Современная идиллія", „Пошехонскіе разсказы", „Запутанное дѣло", „Губернскіе очерки", „Сатиры въ прозѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „За рубежомъ", „Признаки времени", „Письма о провинціи", „Господа Ташкентцы", „Дневникъ провинціала", „Помпадуры и помпадурши", „Дворянская мелодія", „Дворянская хандра", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности", „Круглый годъ", „Сказки", „Пестрыя письма", „Пошехонская старина".

Выпускъ пятый (1889—1899).

Въ пятый выпускъ вошли статьи: А. Пыпина, Н. Михайловскаго, А. Скабичевскаго, К. Арсеньева, В. Чуйко, С. Трубачева, К. Ѳ. Головина (Орловскій), Н. Каблукова, Евг. Соловьева (Андреевичъ), Р. И. Сементковскаго и т. д. **М. 1905 г. Цѣна 1 рубль.**

Въ пятомъ выпускѣ разобраны слѣдующія произведенія Щедрина: „Журнальныя статьи, напечат. въ Современникѣ", „Письма къ тетенькѣ", „Благонамѣренныя рѣчи", „Круглый годъ", „За рубежомъ", „Пестрыя письма", „Мелочи жизни", „Ташкентцы", „Письма о провинціи", „Въ средѣ умѣренности и аккуратности", „Дневникъ провинціала", „Пошехонскіе разсказы", „Исторія одного города", „Помпадуры и помпадурши", „Господа Головлевы", „Пошехонская старина", „Губернскіе очерки", „Невинные разсказы", „Сатиры въ прозѣ", „Признаки времени", „Сказки".